

Л. Г. Зубкова



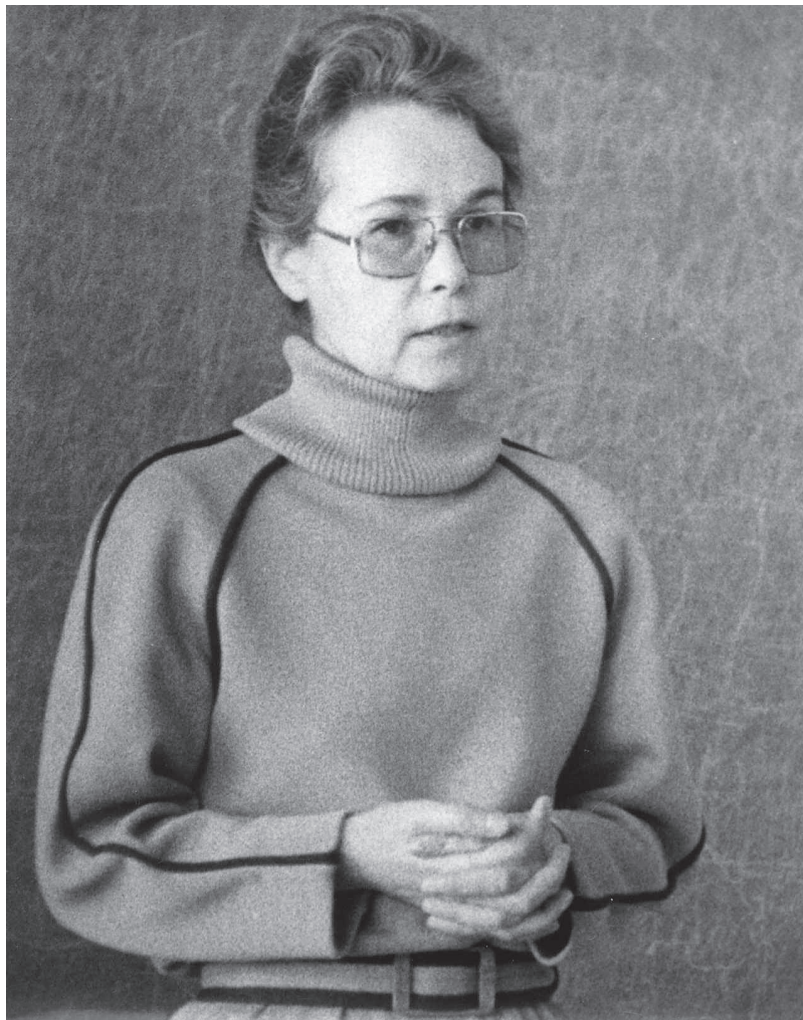
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЯЗЫКЕ

Л. Г. Зубкова

ЭВОЛЮЦИЯ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ЯЗЫКЕ

STUDIA PHILOLOGICA





### **Людмила Георгиевна Зубкова**

Узник фашистских концлагерей в Литве и Германии — вместе с младшей сестрой Ниной и родителями Верой Петровной и Георгием Георгиевичем Зубковыми (июнь 1941 г. — март 1945 г.).

Доктор филологических наук, профессор. Преподавала в ведущих отечественных университетах и в университетах Индонезии, Австрии, Англии, Италии, США. Почетный профессор РУДН.

Автор более 300 печатных работ по общему и частному языкознанию. В числе книг монографии и учебные пособия по теории языка и истории его изучения.

S T U D I A   P H I L O L O G I C A







Л. Г. Зубкова

ЭВОЛЮЦИЯ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ЯЗЫКЕ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МОСКВА 2015

УДК 80/81  
ББК 81  
3 91

3 91 **Зубкова Л. Г.**

Эволюция представлений о Языке. — М.: Языки славянской культуры, 2015. — 760 с. — (Studia philologica).

ISBN 978-5-94456-211-0

В книге на материале ключевых концепций, разработанных начиная с античности по сей день, показаны истоки и эволюция идей, заложивших основы современного понимания языка.

Прослеживается решение двух центральных проблем: язык в отношении к внешнему и внутреннему миру человека (Часть I), язык как система знаков (Часть II).

Книга предназначена филологам различных специальностей, студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям и всем интересующимся теорией и историей языкознания.

**УДК 80/81  
ББК 81**

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-94457-211-0



9 785944 572110 >

© Л. Г. Зубкова, 2015

© Языки славянской культуры, 2015

*Самоотверженной  
спасительнице нашей семьи  
моей обожаемой сестре  
Нине Георгиевне Зубковой,  
щедро наделенной  
высшими человеческими  
достоинствами  
С благоговением*



*Нина Георгиевна Зубкова*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие</i> .....	11
<b>Введение. Эволюция общей теории языка</b> .....	17
1. Основное направление эволюции .....	17
2. Аспектирующие и синтезирующие концепции .....	29
3. Решение основных проблем общей теории языка в синтезирующих концепциях в отличие от аспектирующих .....	33

### ЧАСТЬ I

#### МИР — ЧЕЛОВЕК — ЯЗЫК

<b>Глава 1. Человек и его язык</b> .....	49
1.1. Эволюция личностного начала в человеке .....	49
1.2. Антропологический подход к языку .....	58
<b>Глава 2. Язык в отношении к внешнему миру</b> .....	72
Выводы .....	90
<b>Глава 3. Язык в отношении к внутреннему миру человека:     язык — психика — мышление</b> .....	93
3.1. Античность: <i>Гераклит, Парменид, Протагор,         Демокрит, Платон, Аристотель</i> .....	93
3.2. Средневековье: <i>отцы церкви, модисты</i> .....	103
3.3. Новое время: <i>рационалистическое направление,         эмпирико-сенсуалистическое направление,         философия истории</i> .....	105
3.4. Лингвистические учения XIX — начала XX в.: <i>В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня, Г. Пауль,         И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр</i> .....	130

3.5. Лингвистические учения XX в.: Э. Сепир, Б. Л. Уорф, Г. Гийом, Э. Бенвенист, Л. Блумфилд, Н. Хомский . . . . .	189
В ы в о д ы . . . . .	233
<b>Глава 4. Язык в отношении к внутреннему миру человека:</b> <b>язык как форма мысли . . . . .</b>	<b>241</b>
4.1. К определению формы и материи в античной классике: Платон, Аристотель . . . . .	241
4.2. Язык как форма в лингвистических концепциях XIX–XX вв.: В. фон Гумбольдт, А. Шлейхер, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Н. С. Трубецкой, Л. Ельмслев, Г. П. Мельников . . . . .	249
4.3. Языковое содержание как внутренняя форма мыслительного содержания . . . . .	276
4.4. Основное направление эволюции представлений о формальной природе языка . . . . .	279
<b>Глава 5. Язык в отношении к надсистемам —</b> <b>физической, социальной, психической . . . . .</b>	<b>285</b>
5.1. Внешняя детерминанта языка . . . . .	285
5.2. Функции языка в надсистемах . . . . .	305
<b>ЧАСТЬ II</b>	
<b>ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ</b>	
<b>Глава 6. Языковой знак . . . . .</b>	<b>315</b>
6.1. Истоки современных представлений о языковом знаке . . . . .	315
6.1.1. Античность: софисты, Демокрит, Платон, стоики, Эпикур, Аристотель . . . . .	315
6.1.2. Средневековье: отцы церкви . . . . .	326
6.1.3. Новое время: рационалистическое направление, эмпирико-сенсуалистическое направление . . . . .	327
6.2. Основные методологические подходы к теории языкового знака в XIX — начале XX в. . . . .	333
6.2.1. Синтезирующий подход: В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня . . . . .	333
6.2.2. Аспектирующий подход: Ф. де Соссюр . . . . .	352
6.3. Развитие синтезирующего подхода к языковому знаку в XX в.: Э. Сепир, К. Бюлер, Э. Бенвенист . . . . .	363
6.4. Основное направление эволюции представлений о природе языкового знака . . . . .	394

<b>Глава 7. Сущностные свойства и внутренняя</b>	
<b>детерминанта языка как системы знаков</b> . . . . .	400
7.1. От потребностей самовыражения и взаимопонимания	
к внутреннему строю языка как системы знаков . . . . .	400
7.2. Сущностные свойства языковой системы знаков . . . . .	405
7.3. К истории определения внутренней детерминанты	
языкового строя: <i>Э. Б. де Кондильяк, В. фон Гумбольдт,</i>	
<i>А. Шлейхер, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ,</i>	
<i>Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Г. Гийом, Г. П. Мельников</i> . . . . .	409
7.4. Внутренняя типологическая детерминанта языка	
в аспекте его сущностных системных свойств . . . . .	425
<b>Глава 8. Язык как система знаков</b> . . . . .	434
8.1. Язык и речь: <i>эмпирико-сенсуалистическое направление,</i>	
<i>французские энциклопедисты, В. фон Гумбольдт,</i>	
<i>А. Шлейхер, А. А. Потебня, Г. Пауль,</i>	
<i>И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Г. Гийом,</i>	
<i>Э. Бенвенист</i> . . . . .	434
Выводы . . . . .	467
8.2. Внутренний строй языка: <i>модисты,</i>	
<i>рационалистическое направление</i>	
( <i>«Грамматика» и «Логика» Пор-Рояля,</i>	
<i>эмпирико-сенсуалистическое направление</i>	
( <i>«Грамматика» Э. Б. де Кондильяка,</i>	
<i>В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня, Г. Пауль,</i>	
<i>И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Э. Сепир,</i>	
<i>Э. Бенвенист</i> . . . . .	470
<b>Глава 9. Система и системные принципы</b> . . . . .	576
9.1. Диалектика Платона как ключ к системности языка . . . . .	576
9.2. От отношения части и целого к целостности	
языковой системы и значимости ее элементов:	
<i>В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня,</i>	
<i>И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. В. Крушевский,</i>	
<i>Ф. де Соссюр</i> . . . . .	591
9.3. Характеристика отношений в структурной лингвистике:	
<i>дескриптивная лингвистика, Пражская школа,</i>	
<i>глоссематика</i> . . . . .	612
9.4. Современные определения системы	
и принципов системности . . . . .	635



---

<b>Глава 10. Основные проявления системности языка в свете его сущностных свойств</b> . . . . .	643
10.1. Асимметрия как закономерное следствие действующих в языке системных принципов и его сущностных свойств . . . . .	643
10.2. Автономность значащих единиц языка в их иерархии . .	654
10.3. Грамматическая категоризация в ракурсе двойного означивания . . . . .	661
10.4. Принцип знака в категориально-иерархической организации языка . . . . .	672
10.5. Грамматическая мотивированность знака и целостность языковой системы. . . . .	694
10.5.1. К обоснованию метода и результатов исследования . . . . .	694
10.5.2. Знак в системе языка и ее целостность . . . . .	699
 <b>Заключение. Язык и языковедное мышление: к обоснованию определяющей роли языкового мышления (на примере отечественной традиции в теории языка)</b> . . . . .	710
1. Эволюция языковедного мышления и его отношение к языковому мышлению . . . . .	710
2. Духовные и языковые корни отечественной традиции в теории языка. . . . .	722
 <b>Литература</b> . . . . .	737

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Общая теория языка складывалась на протяжении многих веков. Начиная с античности и по сей день представления о языке постоянно развиваются, углубляются, уточняются. На смену одним концепциям приходят другие.

Обозреть все более или менее значительные концепции одному исследователю вряд ли по силам. Поэтому в данной книге анализ по необходимости ограничен кругом базовых, ключевых учений, разработанных классиками философской и лингвистической мысли.

Практически до конца XVIII в. знание о языке формируется в рамках философии, логики, филологии, теологии. В античности к числу ключевых безусловно принадлежит учение Платона (427–347 до н. э.), который в своих диалогах «Кратил», «Парменид», «Софист» и др. чутко выразил атмосферу эпохи. Кроме того, учены учения Протагора (ок. 480–410 до н. э.), Демокрита (460–370 до н. э.), Аристотеля (384–322 до н. э.), Эпикура (341–270 до н. э.), стоиков (III в. до н. э. — II в. н. э.). В новую эру немаловажную роль сыграли откровения и догадки отцов церкви — Василия Кесарийского (ок. 330–379), Григория Нисского (ок. 335 — ок. 394), Аврелия Августина (354–430), Иоанна Дамаскина (ок. 675 — до 753); взгляды на язык модистов — Мартина Дакийского, Боэция Дакийского, Иоанна Дакийского, Томаса Эрфуртского и др. (конец XIII — начало XIV в.); представления о языке приверженцев рационалистического направления, среди которых вдохновленные Р. Декартом (1596–1650) авторы Пор-Рояля — А. Арно (1612–1694), Кл. Лансло (1619–1695), П. Николь (1625–1695), а также философы–энциклопедисты; воззрения на язык философов эмпирико-сенсуалистического направления — Ф. Бэкона (1561–1626), Т. Гоббса (1588–1679), Дж. Локка (1632–1704), Э. Б. де Кондильяка (1715–1780); идеи исторического развития языка в трудах основоположников философии истории Дж. Вико (1668–1744), И. Г. Гердера (1744–1803).

Наконец, в русле идей немецкой классической философии трудами В. фон Гумбольдта (1767–1835) были заложены основы общей теории языка. С этого времени лингвистика выделяется в самостоятельную область знания, а учение В. Гумбольдта по праву возглавляет ряд последующих ключевых лингвистических концепций. В языкознании XIX–XX вв. к ним отнесены теории таких ученых, как А. Шлейхер (1821–1868), А. А. Потебня (1835–1891), Г. Пауль (1846–1921), И. А. Бодуэн де Куртэнэ (1845–1929), Н. В. Крушевский (1851–1887), Ф. де Соссюр (1857–1913), Н. Я. Марр (1864/65–1934), Э. Сепир (1884–1939), Б. Л. Уорф (1897–1949), Л. Блумфилд (1887–1949), Л. Ельмслев (1899–1965), Н. С. Трубецкой (1890–1938), К. Бюлер (1879–1963), С. О. Карцевский (1884–1955), Р. О. Якобсон (1896–1982), Г. Гийом (1883–1960), Э. Бенвенист (1902–1976), Г. П. Мельников (1928–2000), Н. Хомский (1928).

Разумеется, этот список может быть расширен. В него следовало бы включить многих философов, семиотиков, лингвистов, не ограничиваясь отдельными ссылками на Ч. С. Пирса, Ч. У. Морриса, Э. Кассирера, Ф. И. Буслаева, Ф. Ф. Фортунатова, Л. В. Щербу, В. В. Виноградова, Е. Куриловича и т. д.

Обретя самостоятельность, языкознание стимулировало развитие научной мысли в смежных областях — в философии, психологии, семиотике и т. д. С другой стороны, открытия в гуманитарной сфере и новые философские идеи сохраняют свое влияние на теорию языка и в XIX–XX вв. Но от рассмотрения этих идей пришлось отказаться. В частности, отложен запланированный анализ «Философии символических форм» Э. Кассирера (1874–1945), хотя такой анализ был бы интересен и сам по себе, и с точки зрения развития идей философии языка, заложенных в учении В. фон Гумбольдта, и, например, в плане сопоставления с формами и типами мышления, выделенными А. А. Потебней. Исключение сделано лишь для теории эволюции, которую выдвинул замечательный французский ученый, философ и теолог П. Тейяр де Шарден (1881–1955) в книге «Феномен человека», поскольку его синтезирующее учение в сущности *объясняет* обнаруженную в данном исследовании закономерную смену философско-лингвистических воззрений на соотношение бытия, мышления и языка.

В предыдущих публикациях автора «Лингвистические учения конца XVIII — начала XX в.: Развитие общей теории языка в системных концепциях» (1989), «Из истории языкознания: общая теория языка в аспектирующих концепциях» (1992), «Язык как форма. Теория

и история языкознания» (1999/2003)<sup>1</sup>, «Общая теория языка в развитии» (2002/2003)<sup>2</sup> дается целостное изложение ключевых общелингвистических концепций. Насколько возможно, показан вклад каждой из них в разработку следующих проблем: объект, предмет, метод(ы) и структура языкознания, его место в системе наук; функции языка; язык и общество; язык — мышление — действительность; языковой знак; язык и речь; система и структура языка; природа межъязыковых различий; развитие языка. Чтобы воспроизвести каждую из концепций в целостном виде и с единых позиций, прежде всего выявляется детерминанта концепции, т. е. исходная методологическая установка, определяющая решение основных лингвистических проблем.

Задача настоящего издания — дополнить характеристику отдельных концепций обсуждением *эволюции воззрений на ту или иную проблему общей теории языка*.

В своих общелингвистических исследованиях и в практике преподавания автор неизменно исходит из *единства теории и истории языкознания*. Как полагает автор, системный подход к теории языка достигается путем двоякого рассмотрения той или иной проблемы: с одной стороны, *в контексте определенной концепции*, с другой стороны — *в контексте эволюции решений* данной проблемы на протяжении веков.

Отбор рассматриваемых в книге проблем обусловлен утвердившимися представлениями о сущности языка. Надлежащее понимание сложного системного объекта, каким является и язык, обычно опирается на целое семейство определений. В качестве кардинальных определений языка за основу взяты следующие:

- язык — особый мир-посредник между миром внешних явлений (природой, вселенной, универсумом) и внутренним миром человека (его психикой, его мышлением);
- язык — форма мысли;
- язык — средство общения между людьми;
- язык — общественное установление знаковой природы;
- язык — *система* знаков, не сводимая к их совокупности.

---

<sup>1</sup> Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов классических университетов, обучающихся по филологическим специальностям.

<sup>2</sup> Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Филология».

Такое понимание языка в свою очередь предопределило структуру книги. Она состоит из введения, двух частей и заключения.

Во **Введении** «Эволюция общей теории языка» характеризуются выявленное в ходе анализа ключевых учений *основное направление эволюции представлений о соотношении бытия, мышления и языка*; два основных типа концепций — синтезирующие и аспектирующие; суть главных расхождений между ними.

В **Части I** «Мир — Человек — Язык» рассматривается *отношение языка к внешнему и внутреннему миру человека*, т. е. к тем надсистемам, в которых существует и функционирует язык, — физической, социальной, психической. В центре внимания — *эволюция представлений о взаимоотношениях между языком и мышлением* в соответствии с растущей самостоятельностью человека во внешнем мире по мере развития самосознания и усиления личностного начала.

**Часть II** «Язык как система знаков» посвящена *эволюции представлений о языковом знаке, о соотношении языка и речи, о внутреннем строе языка*. Показано *формирование системного подхода к языку*. Определены *основные проявления системности языка*, вытекающие из его сущностных свойств — членения, категоризации, знаковости.

В **Заключении** «Язык и языковедное мышление» автор предлагает свое *обоснование типологического влияния родного языка* и впитанного с детства языкового сознания *на теоретическое мышление языковедов*.

По данным проведенного исследования, эволюция представлений о языке в его отношении к миру и человеку, к мышлению и психике в основном отражает развитие личностного начала в человеке, обусловленное ростом его самосознания в процессе познавательной деятельности. В результате в языковой семиотике всё больше осознается значимость прагматики. Попытки свести семиотику языка к одной синтактике по сути оказались несостоятельными. Триединство мира, человека и его языка требует единства семантики, прагматики и синтактики в семиотическом анализе. Только такой подход дает ключ к должному пониманию языка и его функций.

Эволюция представлений о языке как системе знаков отражает общее движение познания целостных объектов — от нерасчлененности к анализу и далее к синтезу.

В языковом мышлении конкретное целое — каждый отдельный язык — представляет собой синтез универсальных, групповых (генетических, типологических, ареальных) свойств с индивидуальными

характеристиками. В языковедном мышлении первоначально были зафиксированы универсальные свойства, затем — групповые. Среди групповых характеристик первыми были выделены генетические, позднее — типологические, наконец — ареальные. Труднее всего определить строго индивидуальные черты, ибо они так или иначе переплетаются с универсальными и групповыми свойствами. В данной книге отражен вклад универсальной грамматики и морфологической типологии в изучение системы языка.

В свете таких детерминантных свойств языкового строя, как характер грамматической категоризации и глубина иерархического членения, автором выявлена взаимозависимость между двумя планами языка и раскрыты механизмы его целостности.

Рассмотрение языкового знака через призму категориально-иерархической организации языкового целого позволило обосновать единство и системную мотивированность знака как двусторонней сущности. Грамматическая мотивированность языкового знака есть важнейшее проявление системности и целостности языка.

**Жанр книги** трудно определить однозначно.

С одной стороны, это *научное исследование*, обобщающее а) многолетнее изучение истории формирования и развития общей теории языка, б) изыскания автора, посвященные природе знака в системе языка (помимо указанных выше книг см. монографию «Принцип знака в системе языка», вышедшую в свет в 2010 г.).

С другой стороны, это *учебное пособие* по теории и истории языковедения от Платона до Г. П. Мельникова и Н. Хомского.

Наконец, это своего рода *вадемекум* по истории идей.

Чтобы проследить формирование языковедной мысли на базе философии и логики и по возможности полно и объективно воссоздать систему взглядов классиков лингвистики на ту или иную проблему общей теории языка, представляется необходимой максимальная опора на источники, а не на их переложения и критику. Отсюда постоянное цитирование и нередко развернутые извлечения из рассматриваемых трудов — начиная с «Грамматики» и «Логики» Пор-Рояля и кончая лингвистическими концепциями на рубеже XXI в.

Среди сочинений, предшествующих Новому времени, более или менее детально анализируются основополагающие диалоги Платона. В освещении иных античных теорий автор опирается главным образом на антологию текстов, переизданную в 1996 г., и на фундаментальные исследования А. Ф. Лосева. Изложение взглядов на язык отцов церкви и модистов основывается не на авторском анализе источ-

ников, а на том описании, которое дают в «Истории лингвистических учений» Ю. М. Эдельштейн (1985) и И. А. Перельмутер (1991).

Детерминантные положения определенного лингвистического учения, имеющие методологическую значимость для выявления его существа, могут повторяться и повторяются при обращении к разным аспектам данной теории — и для того, чтобы показать таким образом ее целостность, и потому, что одно и то же положение оборачивается разными сторонами в контексте разных проблем.

Большая часть схем и таблиц составлена автором. Исключением являются известные схемы Ф. де Соссюра, К. Бюлера, Г. Гийома и Г. П. Мельникова.

Список использованной литературы включает три раздела: 1) источники, 2) труды по истории философии и языкознания, а также антологии, хрестоматии, энциклопедии, 3) труды по рассматриваемым проблемам теории языка. Если на ту или иную работу нет прямых ссылок в тексте, она представлена во втором и третьем списках без предваряющего шифра.

Автор выражает искреннюю признательность всем коллегам, кто откликнулся в форме отзыва или рецензии в печатных изданиях на указанные публикации. Автор признателен сотрудникам, оказавшим техническую помощь в работе над данной книгой.

Самая сердечная благодарность сестре — Нине Георгиевне Зубковой, подготовившей рукопись к печати. Без ее самоотверженной заботы и поддержки все последние годы, без ее доброты, участия и чуткого внимания, без ее постоянной помощи и советов этой книги не было бы.

## ВВЕДЕНИЕ

# ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА

### 1. Основное направление эволюции

Два мира властвуют от века,  
Два равноправных бытия:  
Один объемлет человека,  
Другой — душа и мысль моя.

*Афанасий Фет*

Язык — это мир, лежащий  
между миром внешних явлений  
и внутренним миром человека.

*Вильгельм фон Гумбольдт*

История общелингвистических представлений может быть поучительна во многих отношениях. Во-первых, потому, что в языке объективируется знание и язык является важнейшим средством фиксации, хранения и передачи информации из самых разных областей знания о *мире*. Во-вторых, потому, что язык неразрывно связан с мышлением и, следовательно, история языкознания наряду с историей логики могла бы служить познанию форм и законов *мышления* в его эволюции. В-третьих, потому, что эволюция общелингвистических представлений отражает общий ход познания сущности самого *языка*.

Однако существует мнение, будто общая теория языка настолько непоследовательна, что ее эволюцию невозможно проследить [Ельмслев 1960в: 268]<sup>1</sup>. Такое мнение может показаться вполне правомерным, если сравнить исходные принципы основных лингвистических

---

<sup>1</sup> В квадратных скобках даются ссылки на работы, включенные в список литературы. После имени автора работы и года ее издания, если необходимо, римскими или арабскими цифрами указывается том, книга и т. д. Далее после



направлений последних двух столетий и вспомнить, как яростно ниспровергаются время от времени все предшествующие теории языка и как меняется определение самого предмета лингвистики в разных направлениях.

Для всего этого периода характерно настойчивое стремление понять сущность языка как предмета *самостоятельного* исследования. В самом начале XIX в. В. фон Гумбольдт впервые ставит задачу определить язык «сам по себе и для себя», «как цель в самом себе» [Гумбольдт 1985: 348, 377]. В середине того же столетия с призывом изучать язык «как таковой», «как самоцель» выступает А. Шлейхер [Schleicher 1850: 1; 1869: 120]. В начале XX в. в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра звучит та же мысль: «*единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя*» [Соссюр 1977: 269]. Но что такое язык в самом себе и для себя, язык как самоцель, язык как таковой, понимается далеко не одинаково. Для В. Гумбольдта изучить язык сам по себе и для себя значит «рассмотреть язык с точки зрения разносторонних связей человека» [Гумбольдт 1985: 348]. С позиций А. Шлейхера лингвистическое изучение языка должно быть ограничено «естественными» свойствами, сближающими его с природными организмами, а с точки зрения Ф. де Соссюра за основу следует принять структурные характеристики.

Наблюдаемая непоследовательность лингвистических учений может быть объяснена по-разному. С одной стороны, можно вслед за Ф. де Соссюром всё свести к *субъективному* фактору, полагая, что «в лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, ...здесь точка зрения создает самый объект» [Соссюр 1977: 46], а значит, сколько точек зрения, столько и «объектов». С другой стороны, признав объективно-онтологическую природу языка, можно отнести непоследовательность лингвистической теории за счет сложности, многомерности, многосторонности самого объекта, вследствие чего основу научного описания языка могут составить разные его свойства. Впрочем, в отсутствие должного обоснования выбор того или иного свойства в качестве определяющего не свободен от элемента случайности и субъективного произвола. В результате вновь и вновь раздаются заявления, что до сих пор язык изучали «с чуждых ему точек зрения» [Там же: 54].

Поскольку понимание сущности исследуемого объекта — в данном случае языка — зависит не только от субъективных способностей и установок исследователя, но прежде всего от особенностей самого *объекта*, немаловажное значение приобретает лингвистический кругозор исследователей, их ориентация на те или иные *конкретные языки*. Известно, например, что многовековой «европоцентризм» общей теории языка определенно сказался на представлениях о его строе, о том, какие языковые единицы и грамматические категории являются универсальными.

Вклад частного языкознания в общелингвистическую теорию тоже зависит от объекта исследования. Так, весомый вклад русистики в общее языкознание, в разработку основ современных представлений о внутреннем строе языка в значительной мере предопределен системными свойствами русского языка, а именно — высокой степенью грамматичности и членораздельности в условиях последовательной грамматической категоризации.

Указанные свойства русского языка явились важнейшими предпосылками для того, чтобы прежде всего на его материале учеными, воспитанными в русской или, шире, славянской лингвистической традиции, — А. А. Потебней, И. А. Бодуэном де Куртенэ, Н. В. Крушевским, Ф. Ф. Фортунатовым, Н. С. Трубецким, С. О. Карцевским, Р. О. Якобсоном и др., были заложены основы современных системных представлений о внутреннем строе языка (см. **Заключение**).

Наконец, понимание сущности языка в разных лингвистических направлениях явно зависит от того, насколько учитываются его связи, отношения и функции в *надсистеме*, в которой он существует и которую «обслуживает».

Предпринимавшиеся в XX в. попытки построения теории языка «с чисто имманентными целями» — безотносительно к естественным вещам и их отношениям (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев) и на антименталистской основе (Л. Блумфилд) — выявили свою несостоятельность и лишний раз доказали необходимость адекватного философского обоснования, в частности, того, что является трансцендентным по отношению к языку, а что — имманентным.

Наука о языке, как справедливо настаивает А. А. Реформатский, нуждается в философских и методологических предпосылках понимания природы и роли языка среди явлений действительности [Реформатский 1987: 20–21]. Не случайно сам Александр Александрович свой курс «Введение в языковедение» начинает именно с объективно-онтологических характеристик языка: «Язык есть важнейшее

средство человеческого общения. Без языка человеческое общение невозможно, а без общения не может быть и общества, а тем самым и человека. Без языка не может быть и мышления, то есть понимания человеком действительности и себя в ней» [Реформатский 1967: 7]. Итак, по А. А. Реформатскому, язык, являясь важнейшим средством общения, оказывается в одном онтологическом ряду с *обществом, человеком и его мышлением*, отражающим понимание человеком *действительности* и себя в ней.

Следовательно, *языкознание в поисках своего предмета не может обойти основной вопрос философии* как учения об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру — *вопрос об отношении мышления к бытию, духовного, идеального к материальному, субъективного к объективному*. Исходное противоположение мира, универсума, вселенной человеку лежит в истоках языка и включает в себе всё его содержание [Гийом 1992: 161–162]. Поэтому и определение языка как предмета языкознания должно опираться на то же «великое противостояние».

Такое определение, дающее ключ к сущности, семиотическим свойствам и функциям языка, было предложено В. фон Гумбольдтом, который является основоположником языкознания не потому, что положил ему начало, а потому, что заложил его основы. Согласно В. Гумбольдту, «сущность языка состоит в том, чтобы отливать в форму мыслей материю мира вещей и явлений» [Гумбольдт 1984: 315]. «Вечный посредник между духом и природой», «язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Там же: 169, 304; выделено мною. — Л. З.]. И это особый мир уже потому, что, будучи единством объективного и субъективного, «язык одновременно есть и отражение и знак, а не целиком продукт впечатления о предметах и [не целиком] произвольное творение говорящих» [Там же: 320]. «Каждый отдельный язык есть результат трех различных, но взаимосвязанных воздействий: реальной природы вещей, ...субъективной природы народа, своеобразной природы языка» [Там же: 319]. Классический семантический треугольник, связывающий слово, реальный объект и мысль об этом объекте в сознании субъекта, является, таким образом, проекцией трех указанных воздействий.

Обращенность языка к внешнему миру и к человеку определяет основной, базовый характер языкознания (А. А. Потеня, Г. Гийом), его особое положение в системе наук, пограничное между естественными и гуманитарными, антропологическими науками (И. А. Бодуэн де Куртенэ).

Степень адекватности той или иной лингвистической концепции природе языка может оцениваться по тому, в какой мере при его анализе учтено единство и взаимодействие всех трех миров (реального, мыслительного, языкового) и соответственно насколько учтена взаимосвязь трех аспектов семиотики — семантики, прагматики и синтактики.

**Основным звеном в триединстве мира, человека и языка является человек.** Вот почему В. фон Гумбольдт включает языкознание в сравнительную антропологию как ветвь философско-практического человековедения, а И. А. Бодуэн де Куртенэ предостерегает от отвлечения языка от человека, чем грешат, по его мнению, многие языковеды, в их числе А. Шлейхер, Г. Штейнталь, младограмматики, а позднее, добавим, и такие структуралисты, как, например, Л. Ельмслев.

Ввиду неразрывной связи языка с его носителем особенно важное значение приобретает само понимание человека: признается ли единство человека и природы, единство индивида и общества, единство в человеке природного и социального, индивидуального и общественного, физического и психического, единство человеческой психики (бессознательного и сознания, познавательных и эмоционально-волевых компонентов сознания, чувственного и рационального отражения действительности), единство общего, особенного и отдельного в человеке, единство исторического процесса.

Представления о языке неотделимы от представлений о человеке и его отношении к миру в ту или иную эпоху. **Эволюция общей теории языка как посредника между миром и человеком отражает осознание растущей автономности человека с его внутренним миром и развивающимся самосознанием по отношению к познаваемой вселенной**, с одной стороны (ср.: [Потебня 1976: 170, 305, 409; Гийом 1992: 155]), **и последующее осознание автономности языка по отношению к мышлению** — с другой.

Это общее направление эволюции отчетливо прослеживается по указанным ниже ведущим концепциям, хотя отступления от генеральной линии (не всегда, очевидно, должным образом осознаваемые) имелись с самого начала. Уже в античности, когда в споре древних о сущности именованья впервые был поставлен вопрос об отношении языка к миру и человеку, о роли природного и человеческого начала в языке, сосуществовали весьма разнородные тенденции в понимании отношений между миром внешних явлений, внутренним миром человека и языком. Так, по заключению Ф. Бэкона, Эмпедокл, Анаксагор,

Анаксимен, Гераклит и Демокрит «подчиняли свой разум природе вещей, между тем как Платон подчинял мир мыслям, а Аристотель подчинял мысли словам» [Антология... 1970: 220].

Основное направление в эволюции общей теории языка на протяжении выделенных мною пяти периодов можно проследить по ключевым философско-лингвистическим и собственно лингвистическим учениям: античных мыслителей (I период), модистов (II период), авторов Пор-Рояля (III период), Э. Б. де Кондильяка, В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни (IV период), Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, Э. Бенвениста (V период).

**I.** В античности с характерным для нее внеличным, вещевистским, чувственно-материальным миропониманием, когда при нерасчлененности человека и природы на первый план всё же выступает природа и в человеке видят лишь ее частицу, когда идеальное мыслится вполне вещественно [Лосев 1988а; 1988б; 1994б], бытие, мышление и язык воспринимаются слитно, синкретично, во всяком случае более синкретично, чем в последующие эпохи, так что мыслимое и высказываемое отождествляется с сущим. Согласно Пармениду, «слово и мысль бытием должны быть: одно существует лишь бытие» (цит. по: [Богомолов 1985: 83]). То, что «категории бытия, мышления и языка осознаются античной философией в их единстве, но очень нечетко в их противоположности» [Троцкий 1996: 26], отразилось, в частности, и в толковании понятия *logos*, и в учении Аристотеля о категориях [Бенвенист 1974: 111].

**II.** В Средние века под влиянием христианского монотеизма античный принцип вещи, тела, природы сменяется принципом личности, общества, истории [Лосев 1992: 62]. С осознанием противоположности природы и человека, с одной стороны, и нераздельного и неслиянного единства души, ума и слова в человеке — с другой, осознается и вторичность языка по отношению к действительности.

В грамматическом учении модистов сами причины языкового строя усматриваются в естественной связи грамматики как основы языка с объективной реальностью. Грамматическая категоризация возводится к миру вещей. В языке как отражении реальной действительности и «грамматика берет свое начало от вещей». Поскольку же «...природы вещей и по виду и по существу одни и те же у всех», то и «логика одна и та же у всех, следовательно, и грамматика» (Иоанн Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 18, 14]). Таким образом, созданная модистами первая универсальная грамматика получает онтологическое обоснование и выводится из единства мира.

**III.** В Новое время под влиянием гуманистического мировоззрения эпохи Возрождения, проникнутого безграничной верой в человека и его разум, причины языкового строя начинают искать не в окружающей человека действительности, а в его внутреннем мире, прежде всего в разуме. Онтологическое обоснование языковой категоризации сменяется логическим. Появляются универсальные рациональные грамматики, авторы которых выводят грамматическую категоризацию из общих для всех народов и во все времена действий ума, операций рассудка, законов логического анализа мысли.

**IV.** Позднее в противоборстве рационализма с набирающим силу сенсуализмом наряду с признанием вторичности языка по отношению к бытию и мышлению всё более осознается влияние языка на формирование мысли и восприятие действительности, меняющееся в соответствии с историческим характером языка. Исходя из активной роли языковых знаков и отношений между ними в образовании идей, в развитии — на основе чувственного восприятия — воображения, созерцания, памяти, размышления, в языке начинают видеть формирующий мышление «аналитический метод» [Кондильяк 1980; 1983], «образующий орган мысли» [Гумбольдт 1984: 75], «систему средств видоизменения или создания мысли» [Потебня 1989: 227]. Тем самым признается человекообразующая, антропогенная природа языка. На нее указывали И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт, а позднее А. Шлейхер, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Бенвенист, Г. Гийом.

1. Начиная с Э. Б. де Кондильяка анализ соотношения языка и мышления не ограничивается одними универсальными закономерностями, характеризующими язык и мышление вообще безотносительно к их идиоэтническим свойствам. Язык — не только условие формирования мышления вообще. Обнаруженная склонность народов к разным высшим видам мыслительной деятельности объясняется характером, «духом» языка. Одни языки, с точки зрения Э. Б. де Кондильяка, способствуют деятельности воображения, другие благоприятствуют анализу [Кондильяк 1980: 268–269]. Само постижение мира также, оказывается, зависит от языка: ведь люди «привыкли постигать вещи тем способом, каким эти вещи выражены на родном языке» [Там же: 264].

2. Наиболее полно диалектику языка в его отношении к миру и человеку раскрыл В. фон Гумбольдт, опиравшийся в своем учении о языке на достижения как рационализма, так и сенсуализма.

Гумбольдт признает конструктивную роль языка вообще и, более того, каждого отдельного языка в отношении мышления, особенно

тогда, когда сам язык превращается в самостоятельную силу. По Гумбольдту, «мышление не просто зависит от языка, — оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным языком», «различные языки являются для наций органами их оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт 1984: 317, 324]. Но при этом Гумбольдт вовсе не исключает изначального воздействия мышления на язык. Он различает в языковом мышлении и в собственно языковом содержании универсально-логический и идиоэтнический компоненты.

В согласии с рационалистической традицией Гумбольдт полагает, что общие законы языка и процесс употребления звуковой формы в основном обусловлены мышлением, его требованиями к языку, во внутренней форме которого осуществляется акт превращения мира в мысли. Формы мышления, сущность которого Гумбольдт видит в различении мыслящего субъекта и объекта мысли [Там же: 301], соотнесены с языком в первую очередь через обозначение общих отношений, которые большей частью принадлежат непосредственно формам мышления и определяются интеллектуальной необходимостью. «Создание грамматических форм подчиняется законам мышления, совершающегося посредством языка» [Там же: 155]. Так как «общие, подлежащие обозначению отношения между отдельными предметами, равно как и грамматические словоизменения, опираются большей частью на общие формы созерцания и на логическое упорядочение понятий» [Там же: 103], Гумбольдт считает возможным говорить об общей для всех языков единой внутренней форме [Там же: 242].

Однако единство не означает тождества. Идиоэтнический компонент накладывает свой отпечаток не только на лексику (это влияние признавали и до Гумбольдта), но, что гораздо важнее, и на грамматическую категоризацию, формируя особое грамматическое видение. В конечном счете способ представления и категоризации понятий в грамматическом строении языка зависит, по Гумбольдту, от «способа укоренения человека в действительности» — его направленности на чувственное или рациональное восприятие. Индивидуальное своеобразие внутренней формы и, значит, языковой категоризации в каждом данном языке в большей мере сопряжено, по-видимому, с чувственным познанием действительности. Известное единообразие внутренней формы в языках мира имеет преимущественно рациональную природу.

Хотя объективная сфера, совокупность познаваемого независима от языка, заложенное в языке как отражении мировидение



не может не влиять на восприятие действительности. Независимо от того, «...вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности», «...ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное... <...> Человек преимущественно — да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [Гумбольдт 1984: 104, 80]. И тем не менее, несмотря на самобытность заключенного в каждом языке мировидения, он приближает человека «к пониманию запечатленной в природе всеобщей формы» благодаря тому, что «...закономерностям природы сродни закономерность языкового строя» [Там же: 81].

3. Более радикальную позицию по вопросу об отношении языка к миру и человеку занимает А. А. Потебня.

В трактовке Потебни, отношение между мыслительными и языковыми категориями противоположно тому, какое предполагали рационалисты. Оценивая вклад языка в преобразование дословных элементов мысли и в само ее содержание, в создание отвлечений, Потебня приходит к выводу, что, будучи переходом от бессознательности к сознанию, язык вторичен по отношению к мышлению, взятому в совокупности всех его форм, однако по отношению к сознательной умственной деятельности язык есть «первое по времени событие» [Потебня 1976: 69]; «лишь при помощи языка созданы грамматические категории и параллельные им общие разряды философской мысли; вне языка они не существуют и в разных языках различны» [Там же: 285]; «от того, каковы грамматические категории, зависит наше мышление, его общий характер, полнота и глубина; от различия этих категорий самое содержание мысли различно у разных народов, сродных между собою и находящихся в одних и тех же климатических и иных условиях» [Потебня 1973: 237–238].

Поскольку же язык — «изменчивый орган мысли», в нем «...нет ни одной неподвижной грамматической категории» — ни общей, ни частной [Потебня 1958: 83]. Исторический характер языка исключает универсальность языковой категоризации. Более того, согласно Потебне, осознававшему относительный характер языковых различий, их зависимость от места в составе целого, «нет ни одной грамматической и лексической категории, обязательной для всех языков» [Потебня 1976: 259].

Изменчивость и категориальное своеобразие языка не могут не повлиять на мировосприятие, на его упорядочение через посредство



мышления. «Как в слове впервые человек сознает свою мысль, так в нем же прежде всего он видит ту законность, которую потом переносит на мир» [Потебня 1976: 164]. Через призму изменчивой индивидуальности языка «мир человечества в каждый данный момент субъективен; ...он есть смена мирозерцаний» [Там же: 422], и сама «личность, мое я есть тоже обобщение содержания, изменяющегося каждое мгновение» [Там же: 283]. Поскольку ход объективирования предметов, так же как содержание самосознания, постоянно изменяется и развивается, соответственно изменяется сам тип языкового мышления, а значит, и различие / неразличие и степень различия субъективного и объективного в процессе познания [Там же: 170, 420–421].

V. В концепциях XX в. — Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, Э. Бенвениста — всё отчетливее утверждается мысль об определяющем влиянии языкового отражения и формального моделирования не только на мышление и организацию понятийных систем, но и на восприятие и членение реального мира (подробнее см. в [Зубкова 1999/2003]). В свете исторического характера и идиоэтнической специфики внутренней формы языка универсальность языковой категоризации всё чаще подвергается сомнению. Статус универсального в сущности признается только за фундаментальным семантическим противоположением лексического и грамматического, или, иначе, конкретных и чисто-реляционных значений, по Э. Сепиру, понятийных и структурных идей, по Г. Гийому. Данное противоположение, как показал Г. Гийом, строится на отношении всеобщего (универсального) и единичного, простирающемся из базового отношения Мир (Универсум)/Человек [Гийом 1992: 130, 162–163].

Логическим завершением лингвоцентризма, заявленного гипотезой лингвистической относительности, является исторически предшествующая концепция Ф. де Соссюра, который исходит из того, что «естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], ибо «язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на естественном положении вещей» [Соссюр 1990: 94].

Схематически основное направление эволюции философско-лингвистических воззрений на соотношение бытия (Б), мышления (М) — как важнейшего проявления внутреннего мира человека — и языка (Я) можно представить так:

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV} \quad \text{V}$$

$$(\text{БМЯ}) \Rightarrow (\text{Б} \rightarrow [\text{МЯ}]) \Rightarrow (\text{Б} \rightarrow [\text{М} \rightarrow \text{Я}]) \Rightarrow (\text{Б} \rightleftarrows [\text{М} \rightleftarrows \text{Я}]) \Rightarrow (\text{Б} \leftleftarrows [\text{М} \leftleftarrows \text{Я}])$$

На протяжении первых трех «долингвистических» периодов наблюдается переход от синкретичного восприятия бытия, человека с его внутренним миром и языка (I) к осознанию первичности бытия, природы вещей по отношению к мышлению и языку, логике и грамматике (II) и, далее, к рациональному, логическому обоснованию языковой категоризации (III). В последние два периода — со времени обретения лингвистикой самостоятельного научного статуса — наряду с признанием вторичности языка по отношению к бытию и мышлению всё более осознается обратное воздействие языка на формирование мысли и восприятие действительности, так что в гипотезе лингвистической относительности (V) определяющим фактором во взаимодействии бытия, мышления и языка в конечном счете оказываются не закономерности природы, как у В. фон Гумбольдта (IV), а язык.

Осознание самостоятельности языка происходит постепенно вместе с изменением понимания мира и человека и отношения человека к миру. Вполне закономерно, что вторичность языка по отношению к бытию была осознана раньше, чем его зависимость от мышления, а влияние языка на мышление было замечено до того, как утвердилось представление об определяющей роли языка в членении и восприятии человеком действительности.

Указанной эволюцией взглядов на соотношение бытия, мышления и языка задается генеральное направление развития общей теории языка с античности до наших дней. В частности, в соответствии с изменением взглядов на соотношение бытия, мышления и языка эволюционирует и представление о функциях языка по отношению к бытию и мышлению. Первоначально в языке видят совокупность имен вещей и, следовательно, средство обозначения вещей, затем — средство выражения и передачи универсальной мысли. Только потом язык предстает как средство образования идей и, наконец, как средство членения и восприятия бытия, причем у каждого народа свое.

Сообразно с осознанием самостоятельности языка по отношению к миру и человеку объяснение грамматического строя как основы языка сначала ищут во внешнем мире (модисты), затем во внутреннем мире человека (авторы Пор-Рояля, Э. Б. де Кондильяк, В. фон Гумбольдт) и лишь потом в самом языке (структуралисты).

Так же постепенно — лишь по мере обретения человеком самостоятельности по отношению к природе, по мере роста его самосознания — в общей теории языка осознается, что триединство мира, человека и языка реализуется в единстве общего, особенного и отдельного.

Поскольку человек — это и представитель рода, и представитель этноса, и самосознающий себя индивид, постольку различаются всеобщий человеческий язык (в отличие от языка животных), язык данного этноса (в отличие от других племенных и национальных языков), язык данного индивида (в отличие от языков иных членов той же этнической общности). Вследствие этого и мир в языковом отражении тоже многослоен: мировидение человека вообще отличается от отражения действительности у животных, мировидение данной нации отличает ее от других наций, мировидение данного индивида выделяет его среди остальных индивидов.

Диалектическое единство общего, особенного и отдельного в языке, вполне осознанное В. фон Гумбольдтом и И. А. Бодуэном де Куртенэ, в практику лингвистических исследований внедрялось поэтапно путем восхождения от абстрактного к конкретному. В логическом направлении предметом исследования был всеобщий человеческий язык (универсальная грамматика), в романтическом направлении и в этнопсихологии — национальные языки. Языки индивидов до недавнего времени находились на периферии лингвистических исследований. Хотя уже В. фон Гумбольдт конечную цель языка видел в индивиде [Гумбольдт 1985: 397], всё, в чем проявляется свободное самоопределение индивида — его чувства, воля, каприз, произвол, всё, что касается индивидуального использования языка, долгое время выводилось из языкознания либо в филологию (А. Шлейхер, Г. Пауль), либо во второстепенную часть внутренней лингвистики — лингвистику речи (Ф. де Соссюр). Даже если декларировалась необходимость изучать говорящего индивида, как это делали младограмматики, в центре внимания оказывался языковой узус (и, значит, социальная природа языка), а отнюдь не язык индивида. Положение изменилось лишь во второй половине XX в., когда рост самосознания человека повлек за собой интерес лингвистов к «языковой личности». Объектом изучения всё больше становятся языки отдельных индивидов, и соответственно внимание исследователей с семантики и синтактики языковых знаков переключается на прагматику [Степанов 1985] и обыденное языковое сознание, в том числе метаязыковое, как ключ к языкам индивидов.

В целом такое понимание эволюции лингвистической мысли вполне согласуется с предложенным П. Тейяром де Шарденом определением эволюции как возрастания сознания [Тейяр де Шарден 2002].

В этом плане названные этапы в развитии общей теории языка соотносительны, хотя и не совсем совпадают, с тремя типами неоплатонизма, эволюционировавшего от космологизма к теологизму

и, далее, к антропоцентризму [Лосев 1978: 94–95], и с тремя парадигмами мышления — семантической, синтактической и прагматической, выделенными Ю. С. Степановым в науке о языке, философии и искусстве слова [Степанов 1985].

## 2. Аспектирующие и синтезирующие концепции

Подлинно системное целостное знание о сущности языка достижимо лишь исходя из триединства мира, человека и языка, из единства разносторонних связей и свойств человека.

Далеко не все рассмотренные ниже лингвистические концепции отвечают этим требованиям.

Логика естественного развития научного знания такова, что подавляющее большинство теоретических концепций носит аспектирующий характер. По определению Г. П. Мельникова, *аспектирующие концепции* акцентируют свое внимание на отдельных сторонах исследуемого объекта, и потому они часто противоречат друг другу. Неудивительно, что разработка каждой новой теории, выдвигающей на первый план очередной частный аспект языка в качестве самого важного, нередко начинается с отрицания либо одного из предшествующих аспектирующих направлений (ср.: младограмматическое направление в оппозиции к натуралистическому, неолингвистика в оппозиции к младограмматизму, гипотеза лингвистической относительности как антитеза рационалистической теории языка), либо всей «старой» лингвистики (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев, Л. Блумфилд, Н. Я. Марр).

*Синтезирующие концепции* «позволяют соотнести аспектирующие концепции на определенном уровне разработанности общих представлений об объекте, например о языке», и «перейти к более глубокому пониманию его *сущности* как органического *целого*». В отличие от аспектирующих концепций синтезирующие «не могут оказаться *противоречащими* друг другу, отменяющими друг друга. Они должны быть последовательными *стадиями развития системы знаний об объективных сущностных* характеристиках объекта и, значит, выполнять функцию формирования *методологии* данной науки, а не частных ее *методов*, как аспектирующие концепции» [Мельников 1986: 14–15].

В языкознании XIX–XX вв. к числу аспектирующих принадлежат, например, концепции А. Шлейхера, главы *натуралистического* направления; Г. Пауля, ведущего теоретика младограмматического

направления, взявшего за основу *индивидуальную психологию* человека; Ф. де Соссюра, предтечи современного *структурализма*; *антименталиста* Л. Блумфильда; Н. Я. Марра, поставившего во главу угла *социальную* природу языка.

В понимании сущности языка как предмета самостоятельного лингвистического исследования названные концепции в большей или меньшей степени ограничиваются одним из частных аспектов, нередко пытаясь подвести под него все остальные. В результате язык сводится либо к естественным (природным), либо к индивидуально-психическим, либо к структурным, либо к социальным характеристикам. Соответственно языкознание определяется то как естественно-историческая, то как культурно-историческая, то как семиологическая, то как социологическая наука.

Так или иначе для всех этих концепций характерно *непонимание триединства мира, человека и языка, метафизическое противопоставление природного и социального, физического и психического, индивидуального и общественного в языке и его носителе — человеке*. Отсюда принципиальные расхождения указанных учений в определении отношения языка к миру и человеку, а значит, и в решении конкретных лингвистических проблем. Так, если для А. Шлейхера язык — это естественный организм, складывающийся под влиянием жизненных условий и среды обитания независимо от воли и произвола человека, то с позиций Ф. де Соссюра естественные вещи вообще не имеют отношения к языку и внешние условия не влияют на его внутренний организм, а в трактовке Н. Я. Марра любой язык является «искусственным созданием» общественности, неотделимым от материальной культуры. В случае отождествления языка с естественным, природным организмом в его развитии усматриваются циклы возникновения, роста, расцвета, старения и распада, аналогичные «возрастам» человека и чрезвычайно напоминающие фазы этногенеза в концепции Л. Н. Гумилева, который рассматривает этнос как явление биосферы [Гумилев 2002]. Если же за основу берется социальная сторона языка, то в его развитии на первый план выдвигаются социальные закономерности и, следовательно, социальный прогресс как определяющий фактор. Одностороннее сведение языка либо к природным, либо к социальным свойствам методологически одинаково неудовлетворительно, так как при этом игнорируется двоякая сущность человека и его языка — природная и социальная одновременно.

Недооценка *диалектического единства противоположностей в языке и его носителя*, непонимание действительного места данного аспекта в соотношении с остальными рано или поздно обнаруживают свою несостоятельность. С развитием языкознания ограниченность аспектирующих концепций с их однобокой ориентацией либо на семантику, либо на прагматику, либо на синтактику становится самоочевидной, и тем скорее, чем они последовательнее. Яркий пример тому — суровая, даже уничтожающая и не во всём справедливая критика в адрес А. Шлейхера и Н. Я. Марра.

Несмотря на известную ущербность аспектирующего подхода к изучению объектов действительности, на определенных этапах развития науки он не только неизбежен, но даже необходим. Он позволяет глубоко проанализировать и ярче высветить ту или иную сторону объекта, разработать специальные методы его исследования и, как в доказательствах от противного, лучше понять значение других сторон и таким образом подготовить базу для построения новых синтезирующих теорий. Наконец, анализ аспектирующих концепций весьма продуктивен в методологическом плане. Вот почему они требуют не менее внимательного и бережного отношения, чем синтезирующие, системные учения, в большей или меньшей степени ориентирующиеся на триединство мира, человека и языка.

Первый известный синтез в изучении языка был осуществлен Платоном на основе диалектического анализа в диалоге «Кратил» двух теорий именованя — «природной» и «договорной». По существу, Платон предложил первую системную концепцию языкового знака, базирующуюся на единстве объективного и субъективного.

Самый значительный синтез в области общей теории языка — заслуга В. фон Гумбольдта. Его лингвистическое учение явилось синтезом двух сосуществовавших на протяжении многих веков тенденций в познании языка — рационалистической и сенсуалистической. Гумбольдт не просто закрепил, но глубоко обосновал взгляд на язык как на особый мир, выступающий посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека. Вскрыв диалектику взаимоотношений между языком и духом, языком и мышлением, языком как отражением и знаком, Гумбольдт своим учением о форме, основывающимся на деятельностной природе и функциональном предназначении языка, заложил фундамент современного системного подхода к языку в его отношении к миру и человеку.

Последующий синтез, реализованный в трудах А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртенэ, позволил раскрыть специфику знаковой

природы языка как исторически изменяющейся формы развивающейся мысли и выявить закономерности его системной организации.

К синтезирующим лингвистическим учениям XX в. принадлежат психосистематика Г. Гийома и системно-типологическая концепция Г. П. Мельникова. Они стали новым шагом на пути дальнейшего осмысления взаимоотношений языка и речи с миром внешних явлений и внутренним миром человека. Дух синтеза отличает также концепцию Э. Бенвениста. В ней показана неразрывная связь символичности и членораздельного характера языка с наличием содержания, пристекающим из органического единства языка и мышления.

Идеи синтеза весьма актуальны и для современного этапа развития лингвистики. Общая теория языка нуждается в новом системном осмыслении огромного фактического материала, накопленного как в самой лингвистике, так и в смежных областях знания, обращающихся к языку как объекту исследования.

Хотя поступательное развитие общей теории языка связано прежде всего с синтезирующими концепциями, в смене одной аспектирующей концепции другой также есть своя закономерность, за которой стоит общий ход познания, отражающий эволюцию как возрастание сознания. Не случайно, прежде чем было в полной мере осознано единство в языке природного и социального, физического и психического, сначала в нем выдвигается на первый план природное, физическое начало, и приверженцы натуралистического направления уподобляют язык природным организмам, полагая, что в нем действуют неизменные естественные законы, исключаящие волю и произвол человека. Затем младограмматики усматривают в языке психофизическое образование. И лишь позднее он квалифицируется как чисто психическое явление (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев) и как чисто социальное создание (Н. Я. Марр).

Таким образом, указанное выше основное направление эволюции общей теории языка прослеживается не только в последовательности синтезирующих учений, но и в смене одних аспектирующих концепций другими. А так как языковедное (лингвистическое) мышление определенно отражает сущностные свойства языка и языкового мышления, то эволюция общей теории языка в его отношении к миру и человеку, бытию и мышлению, очевидно, соотносится с «всеобщим движением языкового развития», с изменением на разных его этапах, как показали В. фон Гумбольдт и А. А. Потебня, степени автономности языка по отношению к духу и мышлению, соотношения объективного и субъективного в языковом мышлении.

### **3. Решение основных проблем общей теории языка в синтезирующих концепциях в отличие от аспектизирующих**

Систематическое обозрение основных общелингвистических проблем в трактовке И. Г. Гердера, В. Гумбольдта, А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртене позволяет заключить, что к началу XX в. на базе рассмотренных синтезирующих концепций, вобравших в себя достижения философской и лингвистической мысли своего времени и предшествующих эпох, в языкознании сложилась целостная теория языка, которая по праву может считаться системной. Ее системность подтверждается сопоставлением с аспектизирующими концепциями А. Шлейхера, Г. Пауля и Ф. де Соссюра.

**Язык как предмет языкознания.** В центре внимания синтезирующих, системных концепций находятся взаимоотношения языка и человека, языка и общества, языка и природы. Причем имеется в виду не только и не столько человек вообще и человеческий род как целое, сколько конкретный индивид и конкретный народ, нация как индивид. Поскольку «личность есть индивидуальный сгусток (узел, связь, структура, система, тождество, метод или какая-нибудь единичная закономерность) природных, общественных и исторических отношений» [Лосев 1989б: 4], индивид как языковая — и, следовательно, социализованная — личность оказывается в фокусе взаимодействия языка со средой, а это значит, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю — к человеку, к конкретной языковой личности» [Караулов 1987: 7].

Невозможность лингвистического анализа без обращения к «человеческому фактору» в социальном и индивидуальном аспекте, равно как и в отвлечении от внешнего мира, была очевидной для авторов синтезирующих концепций. В самом деле, согласно Гумбольдту, генетически «язык столько же создание лица, сколько народа». Функционально, будучи посредником между миром и человеком и являясь средством социального общения, язык неотделим от индивидуального способа представлений человека и служит орудием для разнообразнейших индивидуальностей, только в речи индивида достигая окончательной определенности. И хотя «...общество — это необходимая среда для его существования, но отнюдь не единственная цель, к которой он стремится. Конечная цель его всё же, — подчеркивает



Гумбольдт, — индивидуум, в той мере, в какой индивидуум может быть отделен от человечества» [Гумбольдт 1985: 397]. Затруднительность такого отделения обусловлена в первую очередь социальной природой человека, для которого тяга к общественному бытию является не внешним, а внутренним свойством. Индивидуальность человека есть другая сторона индивидуальности его общества [Там же: 383]. Поэтому самовыражение и общение индивидов возможны лишь на основе социально выверенных, узואльно закрепленных в языке элементов, их функций и отношений, на базе общего фонда идей.

Развивая эти мысли, Бодуэн объявляет реальной величиной в языковедении не язык в отвлечении от человека, но самого человека как носителя языкового мышления, каковым он обладает, однако, лишь будучи членом общества. Язык — средство социализации индивида и его мышления.

Поскольку сущность языка проявляется в его функционировании в отношении к мыслительной деятельности и к речевому общению, синтезирующие концепции включают употребление языка в сферу лингвистики.

В своем идеальном, внутреннем бытии язык рассматривается как деятельность, а в индивидуальном языковом мышлении наряду с элементами языка различаются психо-социальные процессы. Как связующее звено между миром и человеком, язык признается не просто орудием и средством общения, не просто выражением готовых мыслей. Язык — это еще и средство познания человеком мира и самого себя. Отсюда понятия языкового мировидения, языкового знания, т. е. восприятия и познания мира (материального, индивидуально-психического, общественного) в языковых формах.

Иное понимание языка в аспектирующих концепциях — прямое следствие отвлечения его от среды и в первую очередь от человека. Например, Шлейхер определяет язык как независимый от волеизъявления индивида естественный организм, подчиненный от природы данным неизменным законам [Schleicher 1869: 120]. Употребление языка, его духовная сторона, более подчиненная свободному самоопределению индивида, выводятся Шлейхером из языкознания в филологию.

Точно так же «разводят» эти науки младограмматики. В противоречии с собственным требованием изучать говорящего человека [Остгоф и Бругман 1964: 187], поскольку язык «по-настоящему существует только в индивидууме» [Там же: 193] и «...в действительности существует лишь индивидуальная психология» [Пауль 1960: 36],

младограмматики — в лице Пауля — в то же время заявляют, что языкознание занимается общими, узуально упроченными языковыми отношениями, а их индивидуальное использование — дело филологии [Пауль 1960: 54].

Равным образом и для Соссюра язык — нечто социальное по существу и независимое от индивида [Соссюр 1977: 57]. Социальное мыслится как внешнее по отношению к индивиду.

Таким образом, все рассмотренные аспектирующие концепции «спотыкаются» на том, что диалектическое *единство* социального и индивидуального представляют как антиномию.

Отрыв языка от внутренней духовной деятельности человека приводит к тому, что в аспектирующих концепциях языку приписывается пассивность, деятельностное представление языка вновь вытесняется пониманием его как продукта и ни о какой познавательной функции языка уже нет речи.

**Методы исследования.** Противоположение двух видов концепций обусловлено методологически. В основе системных концепций, исследующих язык в единстве всех его сторон и многообразных типов связей, лежит *диалектический* метод. Односторонняя абсолютизация того или иного аспекта в составе языкового целого (например, природного у Шлейхера, структурного у Соссюра) — примета *метафизического* метода.

Диалектичность синтезирующих концепций и метафизичность аспектирующих особенно хорошо видна тогда, когда исследователь, подобно Гумбольдту и Соссюру, оперирует дихотомиями. Для Соссюра, так же как для Шлейхера, главное — развести разные стороны объекта, для Гумбольдта — выявить закономерности их взаимодействия. В действительности противопоставленные Соссюром стороны — синтагматика и парадигматика, синхрония и диахрония и т. п., различаясь, образуют *единство* и потому разведены отнюдь не столь резко, как казалось Соссюру. Это со всей определенностью показал Ю. С. Степанов [Степанов 1975: 254–266] на примере постулатов Соссюра.

В соответствии с диалектическим методом синтезирующие концепции исходят из единства исторического и логического. Исторический взгляд на язык принимается за основу системного подхода: система рассматривается не как случайный плод эволюции, а как закономерный результат всего предшествующего развития.

В аспектирующих концепциях применение исторического метода так или иначе ограничивается. Прежде всего за пределы лингвистики

или на ее периферию выводится внешняя история языка, связанная с исторической судьбой народа. Полный разрыв между историческим и логическим наблюдается тогда, когда, как в концепции Соссюра, внутренняя история языка сводится к случайности.

Есть разница и в отношении к частным общенаучным методам. Синтезирующие концепции, опираясь на наблюдение, широко пользуются дедукцией, разного рода обобщениями, которые позволяют не только восстановить прошлое, объяснить настоящее, но даже предсказать будущность языка. В позитивистски ориентированных аспектирующих концепциях — натурализме, младограмматизме, «кроме наблюдения, допускается только основанное на нем и по необходимости выведенное из него заключение». Исходя из толкуемого в духе позитивизма монистического принципа, «ничего не ищущего по ту сторону вещей и считающего сущность вещи и ее явление за предметы тождественные» [Шлейхер 1864: 4], Шлейхер отделяет от лингвистики философию языка, изучающую его как абстрактное, идеальное образование, и ограничивается анализом «более внешних и более доступных сторон языка — его звуков и форм» [Шлейхер 1964: 108].

**Структура языкознания.** С развитием языкознания его структура всё более усложняется и к началу XX в., как показал Бодуэн, приобретает весьма разветвленный характер.

Практически все рассмотренные учения, включая младограмматическое, относившее языкознание к историческим наукам, разграничивают изучение строя и развития языков, т. е. описательное и историческое языкознание. При этом, как правило, подчеркивается связь между ними и обосновывается необходимость исторического подхода к описанию языковых состояний. Исключение составляет Соссюр: противоположность синхронии и диахронии представляется ему совершенно абсолютной и не терпящей компромисса [Соссюр 1977: 116].

Наиболее общее расхождение между синтезирующими и аспектирующими концепциями касается вопроса о том, какая дисциплина должна заниматься изучением индивидуальной стороны речевой деятельности, употребления языка — филология (так считали Шлейхер и Пауль, продолжавшие традиции XVIII в. в разграничении изучения строя языка и его употребления) или языкознание. В последнем случае также возможны разногласия. Соссюр выделяет изучение речи в отдельную, причем второстепенную, лингвистическую дисциплину. Синтезирующие концепции рассматривают язык и речь как совокупное единство.

Другое расхождение (впрочем, связанное с первым) касается дисциплинарного статуса исследований содержательной стороны языка. С точки зрения Шлейхера, всё духовное, как и всё индивидуальное, склоняется в сторону филологии [Schleicher 1869: 120]. Это относится и к учению о строе предложения, и, очевидно, к учению о функциях.

В рамках синтезирующих концепций учение о содержательной стороне языка не может быть выведено за пределы лингвистики, ибо, согласно Гумбольдту, «...внутренняя и чисто интеллектуальная сторона языка и составляет собственно язык; она есть тот аспект (Gebrauch), ради которого языковое творчество пользуется звуковой формой» [Гумбольдт 1984: 100]. Не случайно Потебня и Бодуэн выделяют учение о значении в самостоятельную лингвистическую дисциплину.

**Место языкознания в системе наук.** В определении места языкознания среди наук синтезирующие и аспектирующие концепции также следуют разным принципам. Для аспектирующих концепций характерно стремление *отграничить* языкознание *от смежных наук*, причем отношение его к отдельным отраслям знания определяется по-разному — в соответствии со взятым за основу аспектом. В результате языкознание квалифицируется то как естественная (Шлейхер), то как историческая (Пауль), то как семиологическая наука (Соссюр).

Синтезирующие концепции, исходя из «человекообразующей» роли языка, относят языкознание к наукам о человеке. Но учитывая единство человека и природы, человека и общества, единство в человеке и языке природного и социального начала, а также принимая во внимание действие принципа системности во всех этих объектах, синтезирующие концепции постулируют *единство человеческого знания*. Поэтому в трактовке данных концепций языкознание, являясь основной наукой по отношению ко всем остальным отраслям знания, служит связующим звеном между естественными и гуманитарными науками. При этом подчеркивается, что с развитием познания будет происходить всё большее расширение спектра связей языкознания с другими науками и всё большее его сближение со смежными дисциплинами. Современное развитие науки полностью подтверждает это предвидение Бодуэна.

**Язык и мышление.** Различия между синтезирующим и аспектирующим подходом к решению данной проблемы определяются тем, насколько учитывается, во-первых, единство человеческой психики, единство сознания, а во-вторых, историческое развитие мышления.

В аспектирующих концепциях связь языка и человеческой психики понимается односторонне. За основу берется то бессознательное, то, напротив, сознание, но так, как будто забывают, что «человеческий разум не сухой свет, его окропляют воля и страсти» [Бэкон Ф. 1972: 22]. Стремление освободить язык от воздействия человеческой индивидуальности приводит к пониманию языка как выражения только мышления, но не воли и чувств [Schleicher 1869: 5], к представлению о независимости языка от воли индивидуальной и коллективной, с одной стороны, и соответственно о его пассивности — с другой [Сосюр 1977: 55, 52]. Сведение многообразных взаимоотношений человеческой психики и языка к тождеству между языком и мышлением [Schleicher 1869: 5], в свою очередь, приводит к отождествлению последнего с универсально-логическим компонентом. Этому способствует также непонимание исторического хода мысли.

В противоположность аспектирующим концепциям в синтезирующих, начиная с Гердера, исходят из единства бессознательного и сознания, его познавательных и эмоционально-волевых компонентов, чувственного и рационального отражения внешнего мира. В полной мере это единство человеческой психики в ее взаимоотношениях с языком было показано уже Гумбольдтом. Благодаря такому подходу наряду с универсально-логическим был выделен идиоэтнический компонент мышления, а язык стал трактоваться как орган *оригинального* мышления и восприятия. С учетом исторического развития мышления язык оказывается лишь одной из его форм, в которой, сменяя друг друга и взаимодействуя, сосуществуют элементы образного и понятийного мышления. Во внеязыковом мышлении различаются формы, предшествующие языковому мышлению, и формы, развившиеся на его основе. Всё более утверждается идея взаимосвязанности языка и мышления в их поступательном развитии. Подчеркивая зависимость языка от мышления, возможность сознательного влияния человека на язык на определенном этапе развития, синтезирующие концепции указывают в то же время на активную, преобразующую роль языка в отношении мышления.

**Язык и действительность. Языковой знак.** В синтезирующих концепциях язык как одна из форм мысли признается соответственно специфической формой отражения объективного мира. Язык как мировидение, с одной стороны, обнаруживает способ укоренения народа (и, в известной степени, индивида) в действительности, а с другой — служит средством познания человеком мира и самого себя. Специфичность языкового мировидения — одно из проявлений специфичности

человеческого сознания, создающего субъективный образ объективного мира, причем образ живой, подвижный, меняющийся по мере развития познавательной деятельности человека. Историзм познания проявляется в смене мировидений и их наложении друг на друга, в сохранении пережитков прежних мировидений в каждом данном состоянии языка.

Чтобы эта смена могла осуществляться, система языковых знаков должна обладать способностью к расширению, что и проявляется, в частности, в способности содержания слова к росту. Эта способность заложена в самом строении знака и обусловлена, по Потебне, тем, что означаемое имеет иерархическую структуру, компоненты которой связаны отношениями последовательного намека: семантически более бедный и формальный элемент намекает на более содержательный (представление → ближайшее значение → дальнейшее значение). Иерархическая структура знака вскрывает механизм обобщения и классификации явлений действительности, с одной стороны, и механизм, обеспечивающий взаимопонимание в процессе общения — с другой. Благодаря такой структуре знак оказывается единством социального (народного) и индивидуального (личного) и может служить средством самовыражения и общения разнообразнейших индивидуальностей. Отражательная природа означаемого языкового знака заставляет отвергнуть догму о произвольности языкового знака.

Иное решение данной проблемы предлагает Соссюр. С его точки зрения, «...естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114]. Поэтому об отражательной природе языка у него нет речи, и вопрос об отношении языка к действительности, об отношении языкового содержания к мыслительному не поднимается. Означаемое (понятие), так же как означающее (акустический образ), сводится к значимости. Следовательно, соссюрское «понятие» отнюдь не тождественно ни логическому (научному) понятию, ни тому наивному понятию, которым оперируют в обыденном употреблении носители данного языка. При таком отторжении языка от действительности произвольность (точнее, условность) оказывается в числе основных признаков языкового знака и языка в целом.

**Система языка.** С конца XVIII в. представления о строении языковой системы и механизмах, обеспечивающих ее целостность, эволюционировали, пожалуй, наиболее заметно. К началу XX в. в рамках синтезирующих концепций системный характер языка стал вполне очевиден.

К этому времени в соответствии с различием функций, выполняемых языком в процессе умственной деятельности и в процессе общения, осознается противоречивое единство в языке идеального, внутреннего и материального, внешнего, взаимосвязь языка и речи.

В языковом строе были выделены основные единицы языка, на базе ассоциативной психологии выявлены основные типы связывающих их отношений, благодаря этому установлена структура языковой системы, ее многоуровневость и иерархичность; обнаружена и описана вариативность языковых единиц (прежде всего фонемы и морфемы) и определена роль относительных характеристик и функциональных свойств в их отождествлении.

В результате удалось доказать целостность языка и раскрыть ее механизмы. К ним относятся: многослойность, иерархичность языковой формы каждого языка, совмещающей в себе свойства ряда соподчиненных форм; иерархические отношения между внутренней и внешней формой языка, их взаимосвязь, оборачиваемость формы и материи, формы и значения; иерархия элементов, проявляющаяся как в отношениях единиц разных рангов, так и в отношениях единиц одного ранга и их модификаций; наличие общих стремлений, тенденций и свойств, проникающих все компоненты языка; зависимость элементов, характеризующих их свойств и отношений от места и функции в составе языкового целого; ассоциации по сходству и смежности (парадигматические и синтагматические отношения) между единицами одного ранга; параллелизм (изоморфизм) фонетики, морфологии, синтаксиса.

Кроме того, в синтезирующих концепциях осуществлен синтез структурно-функциональных и генетических представлений о языке, в частности раскрыт закономерный, исторически обусловленный характер языкового состояния; установлена динамичность системы в каждом данном состоянии, в том числе благодаря наличию в ней сильных и слабых мест, а также вследствие сосуществования типологически разных форм и хронологических слоев.

Существенной особенностью языковой системы является ее деятельностный характер. Язык может успешно выполнять свои функции лишь путем совмещения свойств созидającego процесса, порождающего организм и продукта порождения. Только на этой основе осуществляется взаимодействие языка как системы со средой — человеком, обществом, внешним миром. Важнейшим результатом этого взаимодействия является отражающееся в языке мировидение,

однако влияние среды этим не ограничивается, распространяясь и на внешнюю форму.

Самая известная среди аспектирующих учений концепция языковой системы, разработанная Соссюром, в сущности таковой не является, ибо, основываясь на понятии значимости, Соссюр сводит систему лишь к ее структурному компоненту, да и то неполному — без учета иерархических связей и динамических характеристик структуры.

**Природа межъязыковых различий.** Эта проблема в одних аспектирующих концепциях (в том числе у Шлейхера и Соссюра) занимает периферийное положение, в других (например, у Пауля) практически не рассматривается. При ее решении ни Шлейхер, ни Соссюр не учитывают социальный фактор. У Шлейхера на первый план выдвигается природный фактор — материальные условия жизни, воздействующие на анатомию мозга и речевых органов. Согласно Соссюру, «...языковая дифференциация обусловлена ...временем» [Соссюр 1977: 234], географическое разнообразие языков вторично. Что касается социального фактора, то внутренний организм языка не зависит от условий и образа жизни народа, его нравов и психологического склада. Поскольку язык — система знаков, межъязыковые различия суть знаковые различия, выражающиеся в соотношении абсолютно произвольных и частично мотивированных знаков.

Для синтезирующих концепций проблема межъязыковых различий является одной из главных. Начиная с Гердера и кончая Бодуэном, авторы синтезирующих концепций связывают межъязыковые различия с комплексным действием природных, социальных и исторических факторов. Особое внимание уделяется духовному своеобразию наций, способу их укоренения в действительности, так как этим обусловлены специфика мировидения, а значит, и содержательные различия между языками, в свою очередь накладывающие отпечаток на восприятие мира.

Среди формальных особенностей (помимо традиционно отмечавшихся различий в звуковых, собственно знаковых характеристиках) были выделены структурные расхождения «значимостного» типа, касающиеся соотношения сходных категорий, степени связи одних форм и категорий с другими и т. п.

Благодаря наличию общих тенденций, пронизывающих весь строй языка, межъязыковые различия носят системный характер.

**Развитие языка.** В отличие от аспектирующих концепций, в особенности натуралистической, противопоставляющей доисторический



период жизни языка историческому, в синтезирующих учениях развитие общества и развитие языка не отрываются друг от друга и рассматриваются как единый процесс культурно-исторического и языкового развития.

Понимание специфики языкового развития зависит от того, учитывается ли диалектическое единство необходимости и случайности в языковых изменениях. Среди аспектирующих концепций есть и такие, которые акцентируют внимание на необходимом, и такие, которые видят в языковых изменениях только случайное. К числу первых принадлежит концепция Шлейхера, к числу вторых — учение Соссюра. По мнению Шлейхера, развитие языков и их распад подчинены объективным универсальным законам, ибо природа человека везде одинакова. Согласно Соссюру, в диахронии «... всё происходит по чистой случайности» [Соссюр 1977: 119].

Характерное для синтезирующих концепций диалектическое решение вопроса впервые было предложено Гумбольдтом. По мысли Гумбольдта, наряду с закономерным развитием, скрепленным причинно-следственными связями, в языке действует непредсказуемое самостоятельное творческое начало. Действие этого начала и непреднамеренность изменений, происходящих главным образом в сфере бессознательного, означают отсутствие плановости языковых изменений и невозможность их телеологического объяснения.

Тем не менее объективный прогресс человека как одного из звеньев природы, поступательное развитие человеческого разума, безграничное ввиду неисчерпаемости мира для познания, предполагают прогресс и поступательное развитие языка. Движущей силой возникновения и развития языка признаются прежде всего потребности мысли и развивающейся познавательной деятельности человека, эволюция его самосознания и мировосприятия.

Поскольку язык по своей природе — явление социальное, психическое и системное одновременно, языковые изменения, как показал, в частности, Бодуэн, подчиняются законам социальным и психическим и обусловлены системно. В результате взаимодействия указанных факторов, а также ввиду перекрещивания изменений в разных аспектах языкового строя и в разных областях языковой деятельности развитие языков отнюдь не обязательно протекает только в одном направлении — от простого к сложному. Против этой точки зрения, поддержанной Шлейхером и Паулем, выступали и Гумбольдт, и Потебня, и Бодуэн. Наряду с «прогрессом» в языке не исключен и «регресс». В особенности это относится к морфоло-

гическому строю языка. И Гумбольдт, и Бодуэн отрицают последовательный ступенчатый прогресс морфологического строя от изоляции через агглютинацию к флексии. Более единообразны тенденции развития звуковой и содержательной стороны языка. Здесь Бодуэн усматривает постепенный прогресс, который толкуется им как постепенное челочевение языка. Язык как отражение и средство познания характеризуется постоянным обогащением содержательной стороны. Ее развитие, как показал Потепня, отличается системностью и правильностью, что в свою очередь обусловлено закономерностями развития мысли. Она же со временем становится более сложной, отвлеченной, связанной и быстрой. Соответственно в содержательной стороне языка развитие идет от простого, конкретного к сложному, отвлеченному. Тем не менее и здесь наблюдаются довольно регулярные отступления от генеральной линии. Так как ход мысли возможен не только от частного к общему, но и наоборот, так как язык отражает постоянную смену поэтического, образного и прозаического, понятийного мышления, то восходящее к образному, конкретному слову безобразное, отвлеченное слово вновь может обрести образность, конкретность.

Языковые изменения исходят из системы, определяются системой (ее состоянием и направлением развития) и в конечном итоге приводят к изменению самой системы. В частности, может измениться структура языка, а именно группировка элементов по противопоставлениям и различиям и иерархия этих противопоставлений.

К системным факторам языковых изменений относятся:

- 1) начало, принцип языка, определяющий общие стремления языкового развития;
- 2) влияние накопленного материала, усиливающееся по мере накопления;
- 3) собственные динамические свойства разных сторон и элементов языка — их устойчивость или, напротив, предрасположенность к изменениям (в частности, содержательная сторона языка ввиду тесной связи с мыслительной деятельностью более подвижна: она может измениться даже при неизменной внешней форме);
- 4) отсутствие равновесия в системе ввиду наличия сильных и слабых мест (причем в процессе общения их дифференциация усиливается);
- 5) несовершенство языковой системы: асимметрия звучания и значения, формы и содержания, наличие обособленных, редких форм, излишек одних форм и недостаток других и т. п.

Изменения частных систем языка не являются автономными. Бодуэн выявил взаимосвязь фонетических изменений с морфологическими, в том числе влияние функциональной значимости фонем — степени их морфологизации, семасиологизации и социализации — на историческую устойчивость. В этих свойствах фонем, как в капле воды, отразилось единство социальной природы, системного устройства и исторического характера языка. Аналогичная взаимозависимость была отмечена Потебней в отношениях между лексической семантикой и синтаксисом, морфологией и синтаксисом. Изменение значения слова и развитие грамматических категорий осуществляются в предложении и не проходят для него бесследно. По мере всё большей дифференциации частей речи и членов предложения его единство возрастает.

Внешние факторы также отнюдь не безразличны для языковой системы. В частности, согласно Гумбольдту, языковые контакты влияют на степень исторических преобразований языка, причем внутренняя форма по сравнению с внешней и в этом случае отличается большей подвижностью. Языковые контакты способствуют обогащению языкового содержания, ограничивают сферу материально значимого и могут изменить внутреннюю устремленность формы.

\* \* \*

Проведенное сопоставление лингвистических теорий, рассмотренных в книге [Зубкова 2002/2003], помогает понять, почему именно на базе синтезирующих концепций был разработан системный подход к языку. Решающее значение имело то обстоятельство, что синтезирующие концепции в противоположность аспектирующим учитывают не только внутренние характеристики системности — целостность, структурность, многоуровневость, иерархичность, но и единство, активное взаимодействие, взаимосвязанность языковой системы и среды, причем в понятие среды включается и человек, как социальное существо и потому носитель и пользователь языка, и общество, нужды которого обслуживает язык, и внешний мир, являющийся средой обитания человеческого общества и служащий не только источником языкового и внеязыкового содержания, но и связующим звеном в процессе социального общения с помощью языковых средств. Взаимодействием со средой объясняются активный характер языка, деятельностная форма его существования и способность выполнять познавательную функцию.

---

Анализ синтезирующих концепций прошлого убеждает также в том, что именно к ним восходят «парадигмальные устои современной науки о языке, определяющие его исторический характер, социальную природу, системно-знаковое устройство и психическую сущность» [Караулов 1987: 8]. В отличие от аспектирующих концепций в синтезирующих эти характеристики не противопоставляются друг другу и не считаются взаимоисключающими, а, напротив, рассматриваются в единстве и взаимодействии.



**Часть I**

**МИР — ЧЕЛОВЕК — ЯЗЫК**



# Глава 1

## ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЯЗЫК

Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! <...> Это — огромно! В этом — все начала и концы... Всё — в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга.

*М. Горький*

### 1.1. Эволюция личностного начала в человеке

Выделить язык как самостоятельный объект во внутреннем мире человека, отделив язык от нераздельно и неслиянно связанного с ним языкового мышления, оказалось труднодостижимой задачей. Ее выполнение предполагает отчетливое различение мыслящего субъекта и объекта мысли, а значит, развитое самосознание, характеризующее человека как личность.

Познание языка в триединстве мира, человека и его языка неотделимо от познания человека в его отношении к миру.

С одной стороны, «человек как “предмет познания” — это ключ ко всей науке о природе», — писал П. Тейяр де Шарден [Тейяр де Шарден 2002: 396]. Ведь «расшифровать человека значит, в сущности, попытаться узнать, как образовался мир и как он должен продолжаться образовываться» [Там же: 397]. Но «человек может приблизиться к этой чисто объективной сфере не иначе как присущим ему способом познания и восприятия, следовательно, только субъективным путем» [Гумбольдт 1984: 319], и потому изучение природы *«есть изучение произведений человеческого духа, так как оно выражается*



в непрерывном изменении взглядов человека на явления природы» [Потебня 1989: 207].

С другой стороны, человек — это и ключ к науке о языке, так что понимание сущности языка неразрывно связано с тем, каким представляется человек — пассивным, лишенным рефлексии, исторического сознания и памяти, воли, инициативы и свободы выбора, как, например, у Ф. де Соссюра, или же деятельным, творческим, как у В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни.

Убедительные аргументы в пользу творческой природы человека можно найти в учении П. Тейяра де Шардена, идеи которого во многом созвучны не только идеям его старшего современника и единомышленника В. И. Вернадского, но также авторов синтезирующих лингвистических концепций XIX в., в первую очередь В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни.

Происхождение человека П. Тейяр де Шарден связывает с одной из последовательных стадий великого глубинного процесса. В нем «...геогенез... переходит в биогенез, который в конечном счете не что иное, как психогенез.

С критическим переходом к рефлексии раскрывается лишь следующий член ряда. Психогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез ступевывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией — вначале зарождением, затем последующим развитием духа — ноогенезом» [Тейяр де Шарден 2002: 292].

Соответственно в зональной структуре нашей планеты помимо металлической барисферы (в центре), каменистой литосферы, текучих оболочек гидросферы и атмосферы, выделяются биосфера, а вне биосферы и над ней — «мыслящий пласт», или, иначе, ноосфера. Так, «несмотря на незначительность анатомического скачка, с гоминизацией начинается новая эра» [Там же: 293]. И именно в человеке Тейяр видит «ось (или стрелу), указывающую особое направление развития мира (всегда в сторону роста сознания и личности)» [Там же: 494].

Тейяр протестует против того мнения, будто человек уже давно не изменяется, будто в людях «биологическая эволюция достигла потолка» [Там же: 412]. Он убежден, что «жизнь, достигнув своей мыслящей ступени, не может продолжаться, не поднимаясь структурно всё выше» [Там же: 348]. «Эволюция — это в первую очередь психическая трансформация» [Там же: 276], «эволюция — возрастание сознания» [Там же: 356], и человек, подчеркивает Тейяр, «не что иное, как эволюция, осознавшая саму себя» [Там же: 333–334]. Для сознания «остановка или возврат назад невозможны по той простой

причине, что всякое возрастание внутреннего видения есть, по существу, зарождение нового видения, включающего в себя все другие и влекущего еще дальше. <...> Чем больше человек будет становиться человеком, тем меньше он согласится на что-либо иное, кроме бесконечного и неистребимого движения к новому» [Тейяр де Шарден 2002: 345], а значит, к творчеству, которое в философии определяется как «деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [ФЭС 1989: 642].

Подобно И. А. Бодуэну де Куртенэ, утверждавшему, что «жажда знаний и стремление к ее удовлетворению свойственны только человеку, и человеку высокоорганизованному, сознательному» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 221], П. Тейяр де Шарден убежден: «Ничто на Земле не может, по-видимому, ни насытить нашу жажду знаний, ни исчерпать нашу способность изобретения» [Тейяр де Шарден 2002: 395]. Процесс гоминизации (или *человечения*, по Бодуэну) как духовной эволюции означает постоянное движение к большей самостоятельности и сознательности [Там же: 462].

Центральный феномен, который возвышает человека над животными и делает человека человеком, — это, по Тейяру, *рефлексия*, ведущая к *индивидуализации* самого себя внутри себя. «Рефлексия — это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как *предметом*, обладающим своей специфической устойчивостью и специфическим значением, — способность уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь» [Там же: 274]. «*Знать, чтобы знать. А может быть, еще больше: знать, чтобы мочь*» [Там же: 362]. «*Больше мочь, чтобы больше действовать. Но в конечном счете и в особенности: больше действовать, чтобы полнее существовать*» [Там же: 363].

Благодаря рефлексии «изменяется вся структура жизни. До сих пор живой элемент был так сильно поработан филой, что его собственная индивидуальность казалась побочной и принесенной в жертву» [Там же: 282]. Изначально, когда на месте культуры нет еще ничего, кроме языка, целиком замещающего духовное развитие, «индивиды растворены... в народной массе» [Гумбольдт 1984: 49]. Только с появлением рефлексивности, как полагает Тейяр, «под более яркой реальностью коллективных преобразований скрыто происходило параллельное движение к индивидуализации. Чем больше каждая фила заряжается психикой, тем больше ее структура стремится к “зернистости”. Значение животного по отношению к виду возрастает. Наконец, на уровне

человека этот процесс ускоряется, и явление оформляется окончательно» [Тейяр де Шарден 2002: 283]. Но оформляется оно довольно поздно, насколько можно судить, например, по философским и литературным источникам, а также на основании языковых данных.

Внеличный всеобщий вещиизм, отличающий, по А. Ф. Лосеву, античное миропонимание и в первобытно-общинной, и в рабовладельческой формации [Лосев 1988а: 55, 58, 67; 1994б: 505], накладывает свою печать и на понимание человека. Исходный телесный вещиизм базируется на отрицании личности [Лосев 1988б: 90]. «...Человек трактуется в античности не как личность в ее субстанции, но как вещь. <...> ...Будучи трактована как вещь, личность понималась здесь как проявление природы, как эманация всё того же чувственно-материального космоса, а не как специфическая и самостоятельная субстанция, которая была бы выше природы и глубже чувственно-материального космоса» [Лосев 1994б: 277].

Становление самостоятельности человеческого индивидуума Лосев относит к последним векам общинно-родовой формации, когда человек перестал чувствовать себя ничтожеством перед природой, что нашло отражение уже в поэмах Гомера [Там же: 236]. Однако и у Гомера «...человек мыслится частицей великой природы, но не индивидуальной, неповторимой и целостной, пусть даже только физической, личностью» [Там же: 511]. Лишь в послегомеровской Греции, начиная с классической трагедии (особенно у Еврипида), зарождается представление о человеческой личности, да и то преимущественно в физическом смысле [Там же: 512–515].

Разделение умственного и физического труда в эпоху рабовладельческой формации, возникновение особой умственной деятельности означало разделение внутреннего и внешнего, идеального и материального, субъективного и объективного [Там же: 368]. И в период античной классики природа, чувственно-материальный космос уже трактуется только как объект [Там же: 238]. Что же касается человека, то и рабовладельческая формация «...построена на понимании человека не как личности, а как вещи: раб есть безличная вещь, способная производить целесообразную работу; и рабовладелец есть безличный интеллект, способный быть принципом формообразования для рабского труда и имеющий огромные возможности для погружения в свое интеллектуальное самосозерцание. ...Рабовладельческая формация заставляла всякую личность понимать в ее существенной зависимости от ее тела, от ее вещественной стихии» [Лосев 1988а: 52], как отражение и обобщение сил природы и природного человека.

Вопрос о соотношении субъекта и объекта, согласно Лосеву, впервые возникает с конца IV в. до н. э. в послеклассический период античной культуры, когда по мере частичного освобождения рабов на первый план выступают субъективные потребности и интересы человека, что способствует развитию дифференцированного индивидуализма. Однако решается этот вопрос не в плане дуализма, а как наличие объекта в субъекте, поскольку человеческий субъект и в эпоху эллинизма мыслит себя как эманацию всеобщего, теплого и дышащего космического организма [Лосев 1994б: 285]. Субъект становится личностью лишь в атрибутивном смысле, т. е. в смысле наличия большого числа личностных элементов — материальных и идеальных признаков, но не дорастает до личности как субстанции, в которой материальное и идеальное образуют нерасторжимое тождество [Лосев 1988а: 48–49, 76–77]. «Личность, не сводимая на природу, возникла не раньше средневекового монотеизма или возрожденческой абсолютизации земного человека» [Там же: 54].

Современное противопоставление объекта субъекту как активно-му самосознающему началу в познавательном процессе и предметно-практической деятельности возводят к родоначальнику «новой философии» Р. Декарту. «Однако самосознание как принцип философии и культуры еще не обрело полной автономии у Д.: истинность исходного принципа как знания ясного и отчетливого гарантирована существованием бога» [ФЭС 1989: 153]. Тем самым сохраняется унаследованное из античности противоположение разных результатов познавательной деятельности — темного и светлого знания — в зависимости от того, кто является познающим субъектом — человек или бог(и).

«Рожденное христианством сознание ценности субъективно-личного» [Там же: 153] в средневековом неоплатонизме еще глубоко телологично: личностное начало связывается с абсолютной универсальной надмировой и надчеловеческой божественной личностью. В эпоху Возрождения неоплатонизм развивает культ «самоутвержденной и космически устремленной земной и человеческой личности». «Возрожденческий человек мыслил себя в первую очередь творцом и художником наподобие той абсолютной личности, творением которой он себя сознавал» [Лосев 1978: 91, 94]. Интерес же к любому конкретному живому индивиду, к обладающей самосознанием и свободой выбора отдельной личности становится господствующим лишь в эпоху Просвещения. Особенно ярко он проявляется в немецкой классической философии, в частности благодаря И. Канту, движению «Бури

и натиска», романтикам. А началась эта новая эпоха в духовной жизни Германии, по словам А. В. Гульги, летом 1755 г., когда была поставлена пьеса Г. Э. Лессинга «Мисс Сара Симпсон», в которой на смену персонажам из древней мифологии и всемирной истории пришли простые люди [Гульга 1986: 5].

Согласно М. И. Стеблину-Каменскому «...господствующая роль частных лиц в литературных произведениях — одно из крупнейших достижений нового времени. В средневековой литературе частных лиц вообще не было. Персонажи средневековых литературных произведений — либо исторические лица, т. е. какой-то определенный король или полководец и т. п., либо олицетворение какого-то положения в обществе, т. е. вообще король, вообще монах, вообще купец и т. п. <...> Таким образом, в средневековой литературе индивидуализация и обобщение исключают друг друга» [Стеблин-Каменский 1971: 66]. Только с возникновением интереса к человеческой личности самой по себе «в литературе нового времени стала возможной индивидуализация, которая в то же время и обобщение. Частные лица реалистического романа и есть сочетание индивидуализации и обобщения» [Там же: 66–67].

Именно слабость индивидуализирующего личностного начала составляет отличительную особенность духовного мира «саг об исландцах», исследованных М. И. Стеблиным-Каменским.

Для XIII–XIV вв., когда они были написаны, еще характерны, во-первых, не утраченное *единство человека и природы*, о чем свидетельствует отсутствие эстетического восприятия природы, предполагающего «противопоставленность ее человеку как объекта, внешнего по отношению к нему» [Там же: 62], а во-вторых, «неосознанность границ человеческой личности» [Там же: 39]. «Человек раскрывается... через его отношение к другим людям», и «в сагах изображаются по существу не отдельные люди, а определенный вид отношений между людьми, а именно — нарушение мира, распря, ее поводы, протекание и последствия». «Внутренний мир отдельного человека сам по себе никогда не изображается в сагах», ибо в те времена «...отсутствовал интерес к отдельной личности самой по себе. Человеческая личность была меньше выделена в представлении людей» [Там же: 51].

Неосознанность границ человеческой личности проявляется, в частности, в неосознанности авторства древнеисландских саг, что очевидно прежде всего из данных языка. «В древнеисландском языке не было слов, при помощи которых можно было бы выразить понятия “автор”

или “авторство”, и, следовательно, эти понятия не существовали для людей древнеисландского общества. <...> Выразить понятие “автор” описательно как “тот, кто сочинил” или “тот, кто написал” и т. п. было, в сущности, тоже невозможно. В древнеисландском языке не было слова со значением “сочинять”». Древнеисландские глаголы *rita* (или *ríta*) и *skrifa* — оба значат ‘писать’ — «никогда не подразумевали авторской активности как чего-то отличного от записывания, списывания или переписывания. Другими словами, значение “сочинять”, “быть автором” не было вычленено в них» [Стеблин-Каменский 1971: 39–40].

Указанная неосознанность авторства вследствие слабости личностного начала присуща не одним древним исландцам. Как следует из записок А. А. Потебни по теории словесности, слабость личностного начала есть общая характеристика, отличающая древность от нового времени. В древности, «в так называемый эпический или народно-поэтический период», человеку свойственна «повальная несамостоятельность личной мысли» [Потебня 1976: 406, 407], что обуславливает «слабую печать индивидуальности» «при самом первом появлении произведения в устах одного лица» [Там же: 410]: «... продуктивность лица столь сходна по качеству с продуктивностью других лиц той же коллективной единицы, что лицо само не находит оснований смотреть на свою продуктивность как на свою исключительную собственность и, наоборот, на произведения других как на чужие» [Там же: 409].

В сравнении с древним человеком современного цивилизованного человека отличает «вера в общество и в свои личные силы как источник его (общества. — Л. З.) жизни, как рычаг его движения» [Там же: 405]. «Господствующий тип среди наиболее развитых классов современного общества — люди сознательной, самоуверенной мысли» [Там же]. «Быстрые изменения жизни нового времени связаны с твердою верою в себя, в превосходство личной мысли (основанной на коллективной) перед этою последнею...»

Подобно тому как в рядах организмов по направлению от более простых к более сложным увеличивается сила сопротивления влиянию среды и различие между процессами, совершающимися в организмах и их среде, и в человеческом мире есть ряд ступеней развития, характеризующих всё большею и большею силою самодеятельности, то есть меньшею степенью подражательности, обнаруживаемой лицом под влиянием других лиц и общества» [Там же: 409].

В этой связи представляется вполне закономерным, что, по данным В. В. Виноградова, «в древнерусском языке до XVII в. не было потребности в слове, которое соответствовало бы, хотя отдаленно,

современным представлениям о личности, индивидуальности, особи. <...> Общественному и художественному сознанию древнерусского человека до XVII в. было чуждо понятие... об отдельном человеческом “я” как носителе социальных и субъективных признаков и свойств (ср. отсутствие в древнерусской литературе жанра автобиографии, повести о самом себе, приемов портрета и т. п.)» [Виноградов В. В. 1946: 10]. Само слово личность, известное со второй половины XVII в., обрело современное значение лишь в первой половине XIX в.

«С возникновением “личности”, наделенной путем “персонализации” способностью к бесконечной индивидуальной эволюции, ветвь перестает нести будущее исключительно в своем безликом целом» [Тейяр де Шарден 2002: 283]. Причем, как и Гумбольдт, Тейяр настаивает на том, что подлинная индивидуализация невозможна вне связи с другими. «Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с другими людьми» [Там же: 359]. «Чтобы быть полностью самими собой, нам надо идти... в направлении конвергенции со всем остальным, к другому. Вершина нас самих, венец нашей оригинальности — не наша индивидуальность, а наша личность, а эту последнюю мы можем найти в соответствии с эволюционной структурой мира, лишь объединяясь между собой. ... Настоящее Его возрастает обратно пропорционально “эгоизму”» [Там же: 377].

Верую, что «Вселенная есть эволюция», что «Эволюция движется к Духу», что «Дух завершается в личности» [Там же: 451], Тейяр верит в общую устремленность Вселенной в будущее [Там же: 453]. «Удивительную перспективу растущей гуманизации человечества» он связывает с феноменом *социализации*. «Чем больше человечество технически организует свое множество, тем больше в нем *pari passu* (одновременно. — Л. З.) возрастают психическая напряженность, осознание времени и пространства, вкус и способность к открытиям» [Там же: 413].

«Специфическим и существенным содержанием происходящего в данный момент в человечестве биологического процесса является последовательная выработка коллективного человеческого сознания. <...> *Своей осевой живой частью Вселенная одновременно и равномерно дрейфует в сторону сверх-сложности, сверх-средоточия, сверх-сознания.*

С этой точки зрения (к которой сходятся и сводятся такие современные науки, как физика, химия и биология) феномен человека в природе впервые обретает определенный и связный смысл. В прошлом во главе животной жизни стоял человеческий индивид, обладавший высочайшей сложностью и превосходной центральностью



своей нервной системы. А в будущем во главе гоминизированной жизни окажется ожидаемое образование высшего сообщества (неизвестного еще на Земле типа), в котором все человеческие индивиды окажутся одновременно завершенными и обобщенными» [Тейяр де Шарден 2002: 500].

В свете указанных Тейяром закономерностей эволюции как возрастания сознания получает объяснение довольно позднее ее открытие наукой. Идеи активности сознания и его развития внедряются в научный обиход корифеями немецкой классической философии. В частности, для Ф. В. Й. Шеллинга, как следует из его «Системы трансцендентального идеализма» (1800), «философия является... историей самосознания, проходящего различные эпохи»: от простого ощущения до продуктивного (интеллектуального) созерцания, от продуктивного созерцания до рефлексии (размышления о самом себе), от рефлексии до акта воли (цит. по: [Гулыга 1986: 173]). «Лишь в середине XIX века опять-таки под влиянием биологии начал наконец проливаться свет, выявляя *необратимую взаимосвязь* всего существующего. Обнаружилась последовательность развития жизни и вскоре после этого последовательность развития материи» [Тейяр де Шарден 2002: 330]. Затем «одна за другой всколыхнулись все области человеческого знания, подхваченные одним и тем же глубоким стремлением к изучению какого-либо вида развития» [Там же: 331].

Не составило исключения и теоретическое языкознание, ставшее самостоятельной научной дисциплиной именно тогда, когда была осознана активная творческая, созидательная роль языка как посредника между миром и человеком, когда было выявлено влияние языка на самого человека — и на его внутренний мир, и на восприятие им внешнего мира, когда благодаря трудам Э. Б. де Кондильяка, И. Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни и их последователей становится очевидным, что главная функция языка — человекообразующая, поскольку в языке и с помощью языка осуществляется переход от бессознательного к сознательной умственной деятельности, образуется и усложняется мысль, развивается продуктивное воображение, зарождается самосознание, а значит, и способность поставить себя на место другого, сострадать ему, выделяется особое «творческое» мышление в неязыковой форме, предполагающее, по А. А. Потебне, значительную степень самосознания и познания природы, т. е. совершается всё то, что делает человека человеком.

Поскольку же «развитие в человеке его человеческой природы зависит от развития языка» [Гумбольдт 1984: 167], то неудивительно,



что, едва только возникнув, теоретическое языкознание сосредоточило свои усилия на выявлении закономерностей языкового развития и весь XIX век в науке о языке был веком «историческим».

К языкознанию как науке в полной мере приложимо требование П. Тейяра де Шардена: эволюция — «основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, — вот что такое эволюция» [Тейяр де Шарден 2002: 331]. Эволюционного подхода требует сама природа языка как посредника между миром и человеком, ибо, «подобно самому человеку, каждый язык есть постепенно развертывающаяся во времени бесконечность» [Гумбольдт 1984: 171].

Многое заставляет предполагать, что уровень развития самознания не достиг еще своей высшей точки. Не случайно так поздно выделяется особое языковое знание наряду со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным и знанием научным, теоретическим [Бодуэн де Куртэнэ 1963, II: 79] и до сих пор наблюдается смешение «понятий из разных областей нашего мышления: мышления языкового, мышления языковедного или лингвистического и мышления вообще» [Там же, II: 288]. Не случайно отсутствует последовательное разграничение мыслительного и языкового содержания, а «в нашем обыденном языке... всё время каким-то трудно различимым образом смешиваются высказывания на языке—объекте с высказываниями на метаязыке» [Налимов 1974: 79].

## 1.2. Антропологический подход к языку

Антропоцентризм (антропологический подход) — наряду с экспансионизмом, функционализмом, экспланарностью — провозглашен в языкознании одной из доминант современной научной парадигмы [Кубрякова 1995а: 280]. Тем самым как будто предполагается, что исследование языка возможно и безотносительно к человеку — носителю языка с его интуицией, чувствами, эмоциями, волей и, наконец, мышлением, которое протекает в языковой форме. Отсюда противоположение двух подходов к языку — антропоцентричного и системцентричного [Алпатов 1993]. Но ведь речь идет о человеческом языке. Лингвистика, изучающая естественный язык человека, не может не быть антропологической; изучение языка (тоже, разумеется, осуществляемое человеком) не может быть отделено от «человеческого фактора», даже если такие попытки предпринимаются. Языковедное мышление иссле-

дователя в конечном итоге в большей или меньшей степени основано на его собственном языковом мышлении (см. **Заключение**). Поэтому определение современной лингвистики как антропологической в сущности избыточно. Оно может быть оправдано лишь возникшей недавно необходимостью «человечения» лингвистики в ответ на угрозу ее дегуманизации в крайних течениях структурализма. Сказанное не исключает, однако, непреходящей значимости вопроса о роли языка в жизнедеятельности человека как элемента мироздания, о влиянии языка на человека, о проявлениях человеческого начала в языке, о специфически человеческих свойствах языка. Не случайно этот вопрос волновал умы начиная с глубокой древности.

Знаменитый античный спор о природе наименования (по природе вещей или по закону, обычаю, установлению людей) — это прежде всего спор о соотношении природного и человеческого, объективного и субъективного в языковых знаках. Спор этот, по заключению Платона в диалоге «Кратил», выявил несостоятельность одностороннего преувеличения либо природного, либо человеческого начала в языке. Применительно к языку односторонний антропоцентризм, когда «человек есть мера всех вещей», так же неприемлем, как односторонний «натуроцентризм». Ведь даже в отдельном слове, как заметил позднее Т. Гоббс, возможны два типа значений: значение, обусловленное природой представляемой вещи, и значение, обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего.

Конституирующая роль языка в жизни человека была вполне осознана в борьбе рационалистического и сенсуалистического направлений в философии языка, когда стала ясна — прежде всего благодаря Э. Б. де Кондильяку — необходимость языка для формирования человеческого мышления. С осознанием роли языка в становлении сознательной умственной деятельности, и в частности абстрактного мышления, в развитии самосознания, в творческой познавательной деятельности в полной мере выявляется *главная, фундаментальная функция языка* — **антропогенная**, человекообразующая (разумеется, наряду с другими человекообразующими факторами).

На антропогенную природу языка указывали:

- *И. Г. Гердер*: «Человек становится разумным благодаря языку» [Гердер 1977: 234]; только «речь пробудила дремлющий разум», воспламенила наши чувства и превратила человека в человека [Там же: 96, 235];

- *В. фон Гумбольдт*: «Язык следует рассматривать... как непосредственно заложенный в человеке, ибо сознательным творением

человеческого рассудка язык объяснить невозможно. <...> Человек является человеком только благодаря языку, а для того чтобы создать язык, он уже должен быть человеком» [Гумбольдт 1984: 313, 314]; «Человек становится человеком лишь через язык, а язык становится языком лишь потому, что только в слове ищет созвучия для мысли» [Гумбольдт 1985: 412];

• *А. Шлейхер*: «Только язык делает человека человеком», язык — «единственный и характеристический признак человечества» [Шлейхер 1868: 10, 14];

• *А. А. Потебня*: «Мы не знаем человека до языка» [Потебня 1989: 202];

• *И. А. Бодуэн де Куртенэ*: «...Для всего человечества начало языка равнозначно с началом его истории» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 99]; «При постепенном развитии от низших, дочеловеческих видов человек с точки зрения языка стал человеком лишь тогда, когда развил у себя язык, или речь, в их современном виде» [Там же, I: 209];

• *Э. Бенвенист*: Язык — «феномен человеческий», он «в природе человека» как его «атрибут». «Невозможно вообразить человека без языка и изобретающего себе язык. <...> В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим человеком. И язык, таким образом, необходимо принадлежит самому определению человека» [Бенвенист 1974: 293];

• *Г. Гийом*: «Язык человека обладает антропогенным аспектом» [Гийом 1992: 164].

Антропогенные свойства языка не ограничиваются его ролью в развитии разума. По мере эволюции философско-лингвистической мысли всё более осознается, что с психической стороны человека *говорящего отличает от животных не только разум, но и воображение*. Воображением же пробуждается, согласно Ж.-Ж. Руссо, способность к состраданию, а оно есть «первое чувство людской взаимосвязи». «Люди навсегда остались бы ничем иным, как чудовищами, если бы природа не дала им сострадания в помощь разуму» [Руссо 1998: 97]<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Это положение Ж.-Ж. Руссо вполне актуально и поныне. В условиях духовного разложения, считает известный современный писатель Альберт Лиханов, чтобы «оставаться просто человеком», необходимо «развивать в своем сердце сострадательность, как важнейшее человеческое достоинство. Без него — мы стадо мыслящего скота» [Лиханов 2010: 6].

В понимании Ж.-Ж. Руссо, «...сострадание есть всего лишь такое чувство, которое ставит нас на место того, кто страдает» [Руссо 1998: 97–98]. «Лишь переносясь за пределы нашего “я” и отождествляя себя со страждущим существом, мы проникаемся к нему жалостью. ...Мы страдаем не в себе, а в нем» [Руссо 2001: 105]. Последнее возможно, если человек уже обладает способностью к различению мыслящего субъекта и объекта мысли, а значит, если он мыслит. (В определении В. фон Гумбольдта, «сущность мышления состоит в рефлексии, то есть в различении мыслящего и предмета мысли» [Гумбольдт 1984: 301].) «Кто никогда не размышлял, — продолжает Ж.-Ж. Руссо, — не будет ни милосердным, ни справедливым, ни сердобольным; он также не будет и мстительным. Кто лишен воображения, ощущает только себя самого, он одинок среди рода человеческого» [Руссо 2001: 105–106].

В свою очередь воображение и размышление, как доказывал Э. Б. де Кондильяк, обязаны своим совершением языковым знакам: «пользование знаками есть истинная причина развития воображения, созерцания и памяти», а тем более размышления, которое рождается из воображения и памяти [Кондильяк 1980: 99, 105].

Поскольку определяющим, активным началом в формировании воображения, мышления и вообще всей сознательной умственной деятельности [Потебня 1976: 69] оказывается язык, именно он, по мнению классиков языкознания, и делает человека человеком, именно ему принадлежит человекообразующая функция, позволяющая говорить о языковом начале человека.

Уже Ж.-Ж. Руссо видел *источник происхождения языков в душевных потребностях* [Руссо 2001: 90]. «...Не будь у нас иных потребностей, кроме физических, мы прекрасно могли бы обойтись без слов и вполне понимали бы друг друга, прибегая лишь к языку жестов» [Там же: 88].

Позднее и В. фон Гумбольдт отстаивает ту точку зрения, что возникновение языка обусловлено не утилитарными материальными потребностями. Он вызван к жизни внутренней потребностью человечества в развитии духовных сил, в свободном общении человека с себе подобными [Гумбольдт 1984: 51, 81].

Человечение языка, о котором писал И. А. Бодуэн де Куртенэ, диктуется духовным предназначением языка и предполагает человечение самого человека, его объективный прогресс как одного из звеньев природы [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 258–264; II: 118–128]. Способностью действовать свободно, по своему выбору, способностью к самосовершенствованию [Руссо 1998: 82–83], жадной знаний и стремлением

к ее удовлетворению [Бодуэн де Куртене 1963, I: 221], словом, всем, что отличает человека от животного, он обязан своему языку: «условный язык принадлежит лишь человеку. Вот почему человек развивается в хорошем или дурном направлении, а животные не развиваются вовсе» [Руссо 2001: 89].

*Благодаря языку человек становится не просто человеком, а творческой личностью.* По мере накопления «капитала мысли» в процессе познания человек познает не только мир, но и свое «я», для постижения которого необходимы также другие социализованные индивиды. Соответственно *растет самосознание человека*, благодаря чему он обособляется и *выделяется из массы как личность* [Потебня 1976: 68–70].

*Благодаря языковому общению человек социализуется*, становясь общественным существом.

Наконец, *благодаря языку обеспечивается относительная автономия человека в мире* [Гийом 1992: 125, 147, 159]. И это относится как к отдельному индивиду, так и к обществу в целом, поскольку и индивид, и общество возможны лишь благодаря языку: «именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга» [Бенвенист 1974: 27].

Ввиду антропогенной природы языка изучение его *в антропологическом аспекте* приобретает первостепенное значение. В наиболее полном виде программа такого изучения языка была сформулирована В. фон Гумбольдтом. Стремясь «рассмотреть язык с точки зрения разносторонних связей человека» [Гумбольдт 1985: 348], он включает сравнительное языковедение в сравнительную антропологию как ветвь философско-практического человековедения, а к числу *объектов языковедения* относит «язык и постигаемые через него цели человека вообще, род человеческий в его поступательном развитии и отдельные народы» [Гумбольдт 1984: 311]. По мысли Гумбольдта, антропологический подход к языку требует «толковать характер и строение отдельного языка, опираясь на природу “человека говорящего” вообще» [Гумбольдт 1985: 361]. Исходя из человеческой природы, языковедение должно выяснить, «как всеобщий человеческий язык проявляется в отдельных языках различных наций» [Там же: 382], с одной стороны, и каким образом любой язык приобретает «способность служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Гумбольдт 1984: 165] — с другой. В конечном счете изучение языка должно служить «цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» [Гумбольдт 1985: 383],

а это отношение, как установил А. А. Потебня, существенно меняется с накоплением «капитала мысли» по мере познания мира.

Совокупность познаваемого, согласно В. Гумбольдту, независима от языков. Однако «человек может приблизиться к этой чисто объективной сфере не иначе как присущим ему способом познания и восприятия, следовательно, только субъективным путем» [Гумбольдт 1984: 319], а раз так, то «объективная истина проистекает от полноты сил субъективно индивидуального. Это возможно только посредством языка и через язык» [Там же: 320], который выступает посредником между духом и природой [Там же: 169], между человеком и внешними объектами [Гумбольдт 1985: 405]. Как особый «мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт 1984: 304], «каждый отдельный язык есть результат трех различных, но взаимосвязанных воздействий: реальной природы вещей..., субъективной природы народа, своеобразной природы языка» [Там же: 319].

В соответствии со способом укоренения человека в действительности и преобладающей направленностью его сознания, либо погруженного в глубины духа, либо ориентирующегося на внешнюю действительность [Там же: 172–173], «один язык несет в себе больше последствий своего употребления, больше условности, произвола, другой же ближе стоит к природе» [Гумбольдт 1985: 379–380]. Но независимо от того, «вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности» [Гумбольдт 1984: 104], любой язык всегда является единством объективного и субъективного: «ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное» [Там же: 80].

Действенная активность субъективного начала служит основанием для известных явлений антропоморфизма в языковом отражении реальной действительности. Неудивительно, что, «будучи языком мыслящего человека, идеальный универсум построен по образу и подобию самого человека, который одновременно и зритель и наблюдатель — глазами тела и глазами разума — действительного универсума, реального мира» [Гийом 1992: 157]. Отсюда принципиальная невозможность жесткого разграничения семантики и прагматики: как показал А. А. Потебня, отношение знаков к обозначаемым объектам неотделимо от отношения к знакам познающих данные объекты субъектов — носителей языка, а последнее отношение в свою очередь зависит от накопленного «капитала мысли». Это понимал уже Дж. Вико, полагавший, что именно «Человек незнающий делает

самого себя правилом Вселенной» [Вико 1994: 147] и, не ведая естественных причин, создающих вещи, приписывает вещам и явлениям свою собственную природу, одушевляет их, творит их соответственно своим собственным представлениям и идеям [Там же: 132–133]. Спустя два века Э. Кассирер, в частности, уточняет: «Различение пространственных отношений, так же как и различение численных отношений, берет начало от человеческого тела и его частей, чтобы затем распространиться на весь чувственно созерцаемый мир» [Кассирер 2002, I: 160].

Обращенность языка как формы мысли к внешнему миру и человеку определяет *основной*, базовый характер языкознания [Потебня 1989: 204, 207–208], его особое положение в иерархии наук [Гийом 1992: 17] на границе между естественными и гуманитарными, антропологическими науками [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 326]. Основная задача истории языка, по определению А. А. Потебни, состоит в том, чтобы «показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе» [Потебня 1976: 17].

Языковой мир как посредник между миром внешних явлений и внутренним миром человека изменяется с изменением двух других миров. А так как в триединстве мира, человека и языка ведущим началом выступает человек, то изменение языкового мира — это в первую очередь результат воздействия субъективного начала, следствие познавательной деятельности человека в процессе освоения мира, в ходе которой изменяется и сам человек.

Согласно А. А. Потебне, «исходное состояние сознания есть полное безразличие *я и не-я*» [Там же: 170]. «Познание своего *я* есть другая сторона познания мира, и наоборот» [Там же: 305]. «Чтобы уловить свои душевные движения, чтобы осмыслить свои внешние восприятия, человек должен каждое из них объективировать в слове и слово это привести в связь с другими» [Там же: 171]. Ход объективирования предметов в языковых знаках является одновременно процессом образования взгляда на мир, а так как это объективирование — явление развивающееся, то и «содержание самосознания, то есть разделение всего, что есть и было в сознании, на *я* и *не-я* есть нечто постоянно развивающееся» [Там же: 170]. Следовательно, сама «личность, мое *я* есть тоже обобщение содержания, изменяющегося каждое мгновение» [Там же: 283]. Развивая на этой основе идеи В. Гумбольдта, А. А. Потебня синтезирует его определение языка как деятельности и мировидения: «мир человечества в каждый данный момент субъективен; ...он есть смена мирозосерцаний»



[Потебня 1976: 422], и язык — это «не отражение сложившегося мирозерцания, а слагающая его деятельность» [Там же: 171].

Воздействие субъективного начала в ходе этой деятельности усиливается по мере обретения человеком автономности в мире, с ростом самостоятельности человека по отношению к природе, с развитием самосознания.

Растущая автономность человека во вселенной определенно прослеживается в истории философско-лингвистической мысли, в смене воззрений на язык и его функции.

Когда в древности в языке видели совокупность имен вещей, причем вещей не только чувственно-материальных, но еще и живых, одушевленных, даже разумных, то человек тоже понимался как вещь, как проявление природы, ее частица, но не как личность [Лосев 1988а; 1988б].

Автономность человека осознается в последовательности *общее* → *особенное* → *отдельное*, что находит свое отражение в смене фокуса языковедных исследований — от «всеобщего» человеческого языка к национальным языкам и, наконец, к языкам отдельных индивидов. Соответственно меняется предмет языковедного анализа: вначале исследуются универсальные (общечеловеческие) свойства языков, затем их идиоэтническая специфика и, наконец, индивидуально-личностные языковые проявления. В том же направлении возрастает внимание к эмоционально-чувственному, волевому началу в человеке и его языке.

Рационалистическое определение языка в качестве средства выражения универсальной мысли исходит из того, что человек — существо разумное и этим выделяется из животного мира. В универсальных рациональных грамматиках в сущности речь идет о всеобщем человеческом языке, носителем которого является человек как *представитель рода*. Принимается за данное, что все люди независимо от языка мыслят в общем одинаково. Языковые структуры если не тождественны логическим, то восходят к ним. Поэтому различия между языками сводятся к звуковой форме и не касаются содержательной стороны. Именно звуковые различия служат основанием для первоначального разделения людей на «своих», говорящих на родном, привычном языке, и «чужих», говорящих на чужих, непривычных языках (таковы «варвары» для эллинов, «немцы» для славян).

До тех пор пока языковые структуры «считались в основном совпадающими с логическими структурами мысли» и между бытием, мышлением и языком усматривалось в пределе некое тождество,



субъект «определяется лишь тем, что он **мыслит**, а не тем, **как** он мыслит» [Автономова 1988: 245].

С ростом национального самосознания всё острее ощущаются идиоэтнические различия в самом мышлении, и в романтическом направлении язык воспринимается не как выражение универсального неизменного мышления, но как воплощение особого «духа», «гения» каждого отдельного народа, его национального самосознания, и человек оказывается в первую очередь *представителем этноса, народа, нации*.

Лишь во второй половине XIX в. — не в последнюю очередь благодаря развитию психологии — раздается призыв младограмматиков изучать обычного *говорящего индивида*. Но реализуется этот призыв только в конце XX в., когда семиотика переключилась с семантики и синтактики на прагматику, хотя уже сенсуалисты и эмпирики Нового времени Ф. Бэкон, Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк пришли к заключению, что люди расходятся в восприятии одних и тех же явлений вследствие различий в природе, наклонностях, интересах, страстях, а также в воспитании и образовании. Поэтому каждый индивид — в тенденции — имеет свой язык, и таким образом обеспечивается «способность языка служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Гумбольдт 1984: 165].

Ввиду недооценки данного назначения языка как его «конечной цели» (по В. Гумбольдту) *единство в человеке и его языке индивидуального и общественного* долгое время не просто не осознается, но отторгается, так же как и связанное с ним *единство эмоционального и рационального*.

Укоренившаяся с середины XII в. традиция противопоставлять *грамматику как науку*, учение о языковом строе, подчиняющемся строгим *объективным законам*, с одной стороны, и *грамматику как искусство*, учение о языковом употреблении, допускающем сознательный *субъективный выбор* в пользовании языком, с другой, в сущности сохраняется и в XIX в., причем в разных лингвистических направлениях. Поскольку индивидуальное начало со времен Протагора ассоциируется с произволом, капризом, прихотью, а позднее — с чувствами, эмоциями, волей, все проявления индивидуального выводятся за пределы языка и науки о нем — в филологию (А. Шлейхер, Г. Пауль) или в такую второстепенную языковедческую дисциплину, как лингвистика речи (Ф. де Соссюр).

И в XIX в., и даже в XX в. в аспектирующих лингвистических учениях не было должного понимания единства в человеке и в его

языке *природного* и *социального*, *психического* и *физического*. Этим и объясняется последовательное выдвижение натуралистической, психологической, социологической и даже антименталистской концепции языка.

Подлинно диалектическое понимание природы человека и его языка было заложено и развито на основе системного подхода в синтезирующих лингвистических концепциях В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртенэ, а позднее в трудах Г. Гийома, Г. П. Мельникова и др. В них язык анализируется в неразрывном единстве с человеком. При этом утверждается:

- единство человека и природы (мира, вселенной, универсума);
- единство человека и общества;
- единство в человеке природного и социального, индивидуального и общественного, физического и психического;
- единство человеческой психики (чувственного и рационального отражения действительности, бессознательного и сознания, познавательных и эмоционально-волевых компонентов сознания);
- единство общего, особенного и отдельного в человеке.

Из первых двух базовых единств–противостояний — Универсум / Человек и Человек / Человек — определяющим, исходным, если следовать Г. Гийому, является первое, заключающее в себе всё содержание языка. Именно оно лежит в истоках языка [Гийом 1992: 161–162], что следует и из гумбольдтовского определения языка как посредника между миром и человеком.

Поскольку в триединстве, образуемом миром, человеком и его языком, человек как представитель рода, представитель этноса и индивид представляет собой единство общего, особенного и отдельного, постольку и человеческий язык, и отражающийся в нем мир также характеризуются единством общего, особенного и отдельного (см. выше **Введение**, раздел 1).

При собственно системном, диалектическом подходе к языку в учениях В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни постоянно подчеркивается *творческая сущность* как человека, так и языка. Гумбольдт обосновывает ее самым законом человеческого бытия: «общий закон существования человека в мире состоит в том, что он не может породить ничего, что немедленно не превратилось бы в фактор, оказывающий на него обратное воздействие и обуславливающий его дальнейшее творчество» [Гумбольдт 1984: 227]. Этот закон определяет и взаимоотношения человека и его языка. «Создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества» в развитии духовных сил,

в пробуждении самосознания [Гумбольдт 1984: 51]. «...Поскольку человек есть животное общественное — в этом специфика его характера, — поскольку другой ему нужен не для защиты, оказания помощи, воспроизведения, сохранения жизненных привычек (как некоторым видам животных), а потому, что он возвышается до осознания Я, а Я без Ты представляется его рассудку и чувству бессмыслицей, — то в его индивидуальности (в его Я) одновременно освобождается индивидуальность его общества (его Ты). Следовательно, нация также является индивидом, а отдельный человек — индивидом индивида» [Гумбольдт 1985: 283]. Более того, «...каждая личность несет в себе всю человеческую природу, только избравшую какой-то частный путь развития» [Гумбольдт 1984: 64]. Таким образом, социальная природа самосознающего себя индивида есть его внутреннее свойство. Именно как общественное явление «язык начинается непосредственно и одновременно с первым актом рефлексии, когда человек из тьмы страстей, где объект поглощен субъектом, пробуждается к самосознанию» [Там же: 301]. Тем не менее всеобщее языкотворческое начало в человеке характеризуется неизбежной индивидуализацией, ибо человек «всякий раз своими усилиями создает в себе язык» [Там же: 98]. В свою очередь «...язык поднимает человека до доступной ему ступени интеллектуальности» [Там же: 167] и «увлекает дух, поддержанный работой многих, на новые пути в сущность вещей» [Гумбольдт 1985: 376]. Деятельное творческое начало в человеке обуславливает деятельность природу языка и творческий характер речевого общения, в котором актуализируется языковое сознание как «основной творческий и преобразующий принцип» [Там же: 396]. Не говоря уже о неисчерпаемости множества значений и связей в языке, даже масса оформившихся элементов языка «несет в себе живой росток бесконечной определмости. Поэтому в каждый момент и в любой период своего развития язык, подобно самой природе, представляется человеку — в отличие от всего уже познанного и продуманного им — неисчерпаемой сокровищницей, в которой дух всегда может открыть что-то еще неведомое, а чувство — всегда по-новому воспринять что-то еще не прочувствованное» [Гумбольдт 1984: 82].

По заключению А. А. Потебни, «...язык есть полнейшее творчество, какое только возможно человеку, и только потому имеет для него значение» [Потебня 1976: 212]. Творческая сущность языка предопределена его познавательной функцией [Там же: 259], которая обуславливает активную роль языка в умственной деятельности. Как переход от бессознательности к сознанию [Там же: 69] и далее

к самосознанию язык не только создает мысль [Потебня 1976: 171], но преобразует ее в высшие формы, подготавливая почву для невыразимого словом творческого мышления, которое предполагает уже «обособление и выделение из массы личности художника, следовательно, возможность значительной степени самосознания и познания природы, коим начало полагается языком» [Там же: 191]. Ввиду бесконечности мира и неисчерпаемости его для познания язык — не просто система знаков, «он есть система знаков, способная к неопределенному, к безграничному расширению» [Потебня 1981: 134]. Неограниченность развития языка обусловлена требованиями развивающейся мысли, по отношению к которым язык всегда беден [Потебня 1976: 436]. «Нельзя себе представить такого состояния человека, когда бы он, говоря, не производил в себе усложнения мысли» [Там же: 368]. Поэтому «народ, пока жив, беспрестанно переделывает язык, применяя его к изменчивым потребностям своей мысли» [Потебня 1977: 165].

Несмотря на указанные методологические преимущества синтезирующих концепций сравнительно с аспектирующими, последние так или иначе тоже обращены к человеческому началу в языке. Как ни рассматривать язык, возможность полностью абстрагироваться от человека в ходе лингвистического анализа иллюзорна. Это относится и к так называемым системоцентричным концепциям, к каковым В. М. Алпатов причисляет учения И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра и направления американского и европейского структурализма. Другое дело, как понимается человек. Какой человек стоит за системоцентричными концепциями, также зависит от аспектирующего или синтезирующего характера лингвистической концепции, от того, насколько учитывается триединство мира, человека и его языка. Эта зависимость легко обнаруживается при сравнении аспектирующих концепций Ф. де Соссюра и Л. Блумфилда с синтезирующей концепцией И. А. Бодуэна де Куртенэ (а тем более с концепциями В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни).

Через всё творчество И.А. Бодуэна де Куртенэ сквозной линией проходит неприятие анализа языка в отрыве от человека и социального общения людей. Для Бодуэна в лингвистике «...реальной величиной является не “язык” в отвлечении от человека, а только человек как носитель языкового мышления» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 182]. «Человек в целом как объект для изучения принадлежит одновременно ко всем трем “мирам”: ко вселенной, к органическому миру и к миру психо-социальному» [Там же: 191], причем все эти миры

взаимосвязаны, так что любой индивид — это и одно из звеньев природы, и человек общественный. Процесс речевой коммуникации охватывает психический мир общающихся индивидов, биологический и физиологический мир их организмов, внешний, физический мир и социальный мир. «Когда мы говорим в общей форме об индивидах, мы должны прежде всего выделить антропологический аспект живых организмов, а также социальный аспект человеческих индивидов, которых мы рассматриваем как представителей всего человечества, обладающих речевой способностью вообще и входящих в определенную лингвистическую общность в частности» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 194–195].

Таким образом, Бодуэн уловил диалектику общего, особенного и отдельного (общечеловеческого, этнического / национального и индивидуального) в человеке как единстве природного (антропологического) и социального, индивидуального и общественного, биологического / физиологического и психического, а также сознательного и бессознательного, интеллектуального и чувственного.

Применяя эту диалектику к исследованию языка, Бодуэн настаивает на том, что в анализе языковых категорий следует исходить не из лингвистического мышления, не из истории языка и сравнительной грамматики, а *из объективного языкового мышления индивидов*, входящих в состав данного племенного или же национального коллектива. Сходным образом основные свойства морфологического построения языков он предлагает определять путем сравнительной характеристики не столько языков, сколько людей по свойственному им языковому мышлению.

В концепции Ф. де Соссюра физический мир не имеет отношения к лингвистике [Соссюр 1977: 114], ибо «язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку» [Там же: 61]. Человек у Соссюра предстает пассивным, лишенным рефлексии, исторического сознания и памяти, воли, инициативы и свободы выбора. То же относится и к коллективу. Пассивность индивида и общества проявляется в их отношении к языку. «Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим». Индивид «сам по себе не может ни создавать его, ни изменять». И хотя «...речь есть индивидуальный акт воли и разума» [Там же: 52], однако и в нем свобода индивида ограничена, так как «...в речи синхронический закон обязателен в том смысле, что он навязан каждому человеку принуждением коллективного обычая» [Там же: 125]. «Не только отдельный человек не мог бы, если бы захотел, ни в чем изменить сделанный уже языком выбор, но

и сам языковой коллектив не имеет власти ни над одним словом; общество принимает язык таким, какой он есть» [Соссюр 1977: 104]. Хотя социальная природа языка принимается за «одно из его внутренних свойств» [Там же: 110], Соссюр прибегает к ней, в сущности, только для того, чтобы обосновать свое понимание языка как системы целиком относительных значимостей: «Для установления значимостей необходим коллектив; существование их оправдывает только обычай и общее согласие; отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной значимости» [Там же: 146]. Поэтому, по Соссюру, «...язык никогда не существует вне общества» [Там же: 110], но общество, «будучи по природе инертным, выступает прежде всего как консервативный фактор». Язык «привязан к косной массе коллектива» [Там же: 107], а «...действующий в коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно принимают», и «...наиболее блестящим подтверждением этому является язык» [Там же: 104]. «Из всех общественных установлений язык предоставляет меньше всего возможностей для проявления инициативы» [Там же: 106–107].

Очевидно, именно в таких условиях инвариантной функцией языка может стать функция регуляции поведения, «наведения порядка» в сознании собеседников. И совершенно закономерно, что, по словам А. Н. Рудякова, «наиболее отчетливо идею о регулятивности языка высказал Л. Блумфилд» [Рудяков 2001: 225].

Ведь для антименталиста Л. Блумфилда язык — это форма поведения человека, в котором он видит только тело и физиологические процессы. Соответственно речевая деятельность в интерпретации Л. Блумфилда сводится к цепи стимулов и реакций [Блумфилд 1968] и носит, по сути, биологический характер, практически не отличающий человека от животных.

При сравнении столь различных взглядов выдающихся лингвистов XIX–XX вв. на природу человека естественно возникает вопрос, не стоит ли за этим расхождением какая-то реальность. Не изменил ли человек своей творческой сущности в потребительском обществе? Не превращается ли он в автомат, пусть даже «хорошо одетый и хорошо накормленный автомат» (по Э. Фромму), который работает по заданной программе в режиме «стимул → реакция, стимул → реакция» и которым легко могут манипулировать сильные мира сего? В эпоху глобализма этот вопрос звучит особенно тревожно.

## Глава 2

### ЯЗЫК В ОТНОШЕНИИ К ВНЕШНЕМУ МИРУ

Человек — свёрнутая Вселенная,  
Вселенная — развёрнутый человек;  
всё, что есть в человеке, есть во Вселенной,  
всё, что есть во Вселенной, есть в человеке;  
сверните Вселенную, её не будет,  
разверните человека, его не будет.

*М. Т. Панченко\**

Под внешним миром понимается прежде всего природный (естественный) мир, универсум, вселенная. Позднее, когда вполне осознается, что язык — это общественное явление, во внешнем мире особо выделяется также социальный мир.

**Античность.** Для античной культуры вплоть до конца IV в. до н. э. характерны нерасчлененность человека и природы, субъекта и объекта, материального и идеального, вещевистское восприятие действительности. Указанная нерасчлененность — свойство мифологического мышления, которое знает только чувственно-материальную действительность, так что даже сфера идеального носит чувственно-материальный характер. Вещи окружающего мира представляются живыми, одушевленными, разумными.

Явный отпечаток мифологического мышления содержит в себе и философия **ПЛАТОНА** — основателя объективного идеализма. Как пишет А. Ф. Лосев, будучи человеком античной культуры, которая «ценила в человеке в первую очередь его здоровое, трудоспособное, идеально организованное тело, ...Платон, формально противопоставивший свой идеальный мир чувственному, фактически не мог оставь-

---

\* Из интервью Л. Н. Васильевой «Комплекс полноценности» // Литературная газета. 24–30 ноября 2010 г., № 47–48 (6302). С. 4.

ся при таком дуализме раз и навсегда. Материя оказалась у него в конечном счете прекрасным, идеально организованным чувственным космосом, а идеальный мир оказался наполненным вещами, людьми, природными и общественными явлениями, но только данными в виде предельно точно сформированных первообразов, вечно неподвижных, но и вечно изливающихся в материальную действительность. <...>

Платоновский идеализм формально и структурно признает безусловный онтологический примат идеи над материей» [Лосев 1994а: 48–49].

Однако «у Платона не идеи образуют собой наивысшую действительность, но Единое, которое есть не что иное, как тождество всего идеального и материального, как тот первопринцип, из которого только путем его разделения возникает идеальное и материальное. <...> С другой стороны, Платон ввел ограничения для своего идеального мира не только сверху, в виде Единого, но и снизу, в виде Мировой Души. Если идеальный мир вечно неподвижен, а материальный вечно движется, то такое противопоставление возможно для Платона лишь потому, что существует начало одновременно и неподвижное и в то же время вечно движущее. Это и есть Душа Космоса и Душа всего, что в него входит; она и есть то идеальное, которое одновременно дает способность двигаться и жить всему живому и неживому. <...> Если же прибавить к этому, что самым прекрасным, самым возвышенным и благородным порождением идеального мира с его Единым и с его Душой является у Платона чувственный Космос и гармоническое движение небесных светил, то станет ясным, что эти концепции Единого и Мировой Души, идеально осуществляющие себя в материальном, чувственном космосе, продиктованы Платону всё той же античной природой его объективного идеализма» [Там же: 49–50].

Соответственно представлению о мире как совокупности вещей, которые являются порождением и отражением идей, язык понимается как *совокупность имен вещей*. Поэтому в центре античной философии языка — имя. Отношение знаков к миру внешних явлений (семантика) выступает на первый план.

Тем не менее уже в античном споре о принципах именования («по природе» именуемых вещей или «по установлению» именующих людей) встает вопрос о соотношении в языке природного и человеческого начала, объективного и субъективного, отражательных и знаковых свойств. Что такое имя? — создание природы, подобное теням или отражениям в воде и зеркале, выражающее сущность вещи и/или ее природные свойства, или же человеческое установление, произ-



вольное, условное, случайное? Вердикт Платона, вынесенный устами *Сократа* познавательной ценности имен, гласит: «Не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих» [Платон 1994, 1: 679]. При этом односторонний «натуроцентризм» последователей *Гераклита* для Платона так же неприемлем, как односторонний «антропоцентризм» *софистов*, полагавших вслед за *Протагором*, что «человек есть мера всех вещей». В целях познания истинной природы языковых знаков необходим синтез природного и человеческого начал, а не одностороннее выпячивание либо того, либо другого.

**Средневековье.** Если в античности на первом плане природа, чувственно-материальные интуиции, то с началом новой эры выдвигаются личностные интуиции [Лосев 1992: 216], которые в Средние века всё более укрепляются под влиянием христианского монотеизма. Основным принципом, по которому происходит разделение языческого античного и христианского средневекового мировоззрений, согласно А. Ф. Лосеву, следующий: «античность — это принцип вещи, тела, природы и, в конце концов, чувственно-материального космоса, в то время как христианство — это принцип личности, общества, истории или, конкретнее говоря, сотворения космоса сверхкосмической личностью» [Там же: 62]. Соответственно в Средние века и особенно в Новое время возрастает внимание к проявлениям человеческого начала в языке, в первую очередь универсальным, общечеловеческим.

Развивающаяся рационалистическую традицию средневековая схоластическая философия опирается на античное наследие, прежде всего на Платона и Аристотеля, в учении которых схоласты видели норму естественного знания, доступного человеческому разуму [Аверинцев 1989в: 639]. Под влиянием Платона и Аристотеля в схоластике идет многовековой спор об онтологической и гносеологической природе универсалий (общих понятий): имеют ли роды и виды реальное существование независимо от сознания, а если имеют, то существуют ли они самостоятельно, вне вещей, как учил Платон, или пребывают, по Аристотелю, в единичных вещах как их сущности; или обозначенные именами концепты воспроизводят объединяемые в человеческом уме сходные признаки единичных вещей; или универсалии существуют только в мышлении, а может быть, это всего лишь имена (*nomina*) вещей, просто «звуки голоса». Указанные точки зрения на соотношение бытия, мышления и языка вполне определились уже в конце XI — начале XII в., и в соответствии с ними выделились три направления: реализм (крайний и умеренный), концептуализм и номинализм (умеренный и крайний) [ФЭС 1989: 672, 576, 279, 427; Реферовская

1985]. Влияние этих направлений сказалось и на решении рассматриваемых общелингвистических проблем, причем не только в Средние века — в учении модистов, но и в Новое время. Модисты исповедовали умеренный реализм, в воззрениях Т. Гоббса и Э. Б. де Кондильяка проявился номинализм, в теории познания Дж. Локка — концептуализм.

О взглядах средневековых мыслителей на язык и его взаимоотношения с миром и человеком можно судить, в частности, по учениям отцов церкви и модистов.

**Отцы церкви.** Христианские мыслители II–VIII вв. — так называемые отцы церкви: Василий Великий, Григорий Нисский, Аврелий Августин и др. — считают язык творением и отличительным признаком человека как существа разумного, наделенного Богом творческой способностью, которая включает в себя и речевую способность. Язык необходим для общения человека с человеком, чтобы открывать друг другу свои мысли, которые иначе — вне материального выражения — не могут быть сообщены другим [Эдельштейн 1985: 184–185].

Отцы церкви исходят из универсальности, единства мира и его первичности по отношению к языку.

Вслед за Платоном отцы церкви считают познавательную ценность имен ограниченной. «...Не за именем следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей» (Василий Великий; цит. по: [Эдельштейн 1985: 200]). «Различие в вещах определяется не тем или иным высказыванием о них, а наоборот, вещи сами определяют то или иное высказывание о себе. Природа вещей остается неизменной, всё равно, имеется о них высказывание или нет. Никогда высказывание не изменяет природу вещей» (Иоанн Воротнецки; цит. по: [Эдельштейн 1985: 203]).

**Модисты** (конец XIII — начало XIV в.) сосредоточивают основное внимание на отражательных свойствах не столько отдельных имен, сколько грамматических категорий. В понимании модистов, «вещь вне сознания имеет многие свойства», или модусы существования. Им соответствуют модусы познания и модусы обозначения. «...Вещь внешняя, вещь познанная и вещь обозначенная суть одна и та же вещь, поэтому и модусы существования, модусы познания и модусы обозначения по существу суть одно и то же» (Мартин Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 24]).

Так как язык отражает реальную действительность, то и «грамматика берет свое начало от вещей» и носит универсальный характер. В самом деле, «...природы вещей и по виду и по существу одни и те

же у всех, следовательно, одни и те же свойства вещей, которые суть модусы существования, от которых берут начало модусы понимания и вследствие этого модусы обозначения, а затем и модусы построения» (Иоанн Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 18]).

Как видно, в поисках исходных причин языкового строя, его истоков модисты не замыкаются рамками самого языка, а исходя из его отношений к внешнему и внутреннему миру человека показывают обусловленность человеческого сознания и человеческого языка свойствами той реальной действительности, в которой как в надсистеме живут и функционируют носители языка. В результате языковые (грамматические) явления встраиваются модистами в следующую цепочку универсальных связей иерархического характера: природа вещей → свойства вещей, или модусы существования, → модусы познания (понимания) → модусы обозначения → модусы построения. Таким образом грамматика получает онтологическое объяснение.

Единство мира, полагают модисты, определяет единство человеческого мышления и обуславливает единство грамматического строя. «Поскольку природы вещей и модусы существования и понимания, от которых берет начало грамматика, сходны у всех, то по этой причине сходны и модусы обозначения...; и так вся грамматика, которая есть в одном языке, сходна с той, которая есть в другом языке...» (Бозий Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 14]). Так из единства мира вещей выводится *универсальность* грамматики.

Основными общими модусами обозначения, определяющими грамматическую категоризацию, служат три модуса, восходящие к модусам существования. Таковы:

- 1) модус устойчивого положения (состояния и покоя), или модус сущего, свойственный имени;
- 2) модус течения, становления, движения, или модус бытия, присущий глаголу;
- 3) модус расположения, характеризующий условия, обстоятельства устойчивого положения или становления, — им обладают неизменяемые части речи.

**Новое время.** С приближением Нового времени всё более осознаётся влияние человеческого начала на восприятие мира внешних явлений, мира вещей. В результате всё чаще возникает сомнение в универсальности реального мира, человеческого сознания и языка (его грамматики). Поскольку, согласно Ф. Бэкону, «... все восприятия как чувства, так и ума относятся к человеку, а не к миру» [Бэкон 1972, 2: 196], в поисках знаний люди в соответствии со своими прирожденными свойствами,

воспитанием, образованием и т. д. обращаются не столько к большому общему миру, сколько к малым мирам [Бэкон 1972, 2: 197].

К концу XVIII в. и приверженцам рационализма становится ясно, что «...на вещи смотрят по-разному в разных регионах и в разные эпохи» («Литературная энциклопедия. Грамматика и литература»; цит. по: [Бокадорова 1987: 81]). И причиной тому является в основном действие «человеческого фактора».

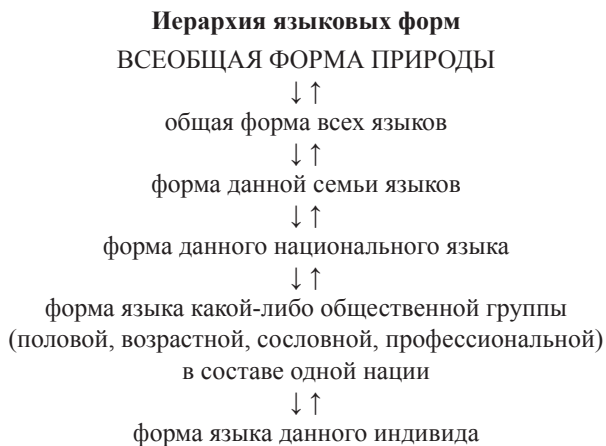
**XIX–XX вв.** Различия в восприятии мира вещей получили объяснение в концепции **В. фон ГУМБОЛЬДТА**, который в отличие от *рационалистов* и *эмпириков–сенсуалистов* рассматривает познание мира в единстве рационального и чувственного, сознания и бессознательного, а самого человека — в единстве общественного и индивидуального.

Благодаря единству чувственного и рационального познания каждый язык, в дефиниции Гумбольдта, есть «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» одновременно [Гумбольдт 1984: 63].

По Гумбольдту, язык как отражение мира внешних явлений неотделим от *индивидуального* способа представлений человека [Там же: 317]. «Поскольку ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное, каждую человеческую индивидуальность, даже независимо от языка, можно считать особой позицией в видении мира» [Там же: 80]. Каждый язык в неразрывном единстве с сознанием создает *субъективный* (идиотнический, национально-специфический) образ объективного мира. «Разные языки — это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [Гумбольдт 1985: 349], и «грамматические различия языков заключаются в различии грамматических видений», причем в противовес рационалистической точке зрения Гумбольдт утверждает, что «грамматика более родственна духовному своеобразию наций, нежели лексика» (Гумбольдт; цит. по: [Рамишвили 1984: 20–21]). Но и элемент лексики — «...слово — не эквивалент чувственно воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова» [Гумбольдт 1984: 103]. А осмыслен он может быть по-разному (свидетельством тому явление синонимии). Под действием активного творческого начала в языковом отражении мира «...язык не просто пассивен, не только впитывает впечатления, но из всего бесконечного многообразия возможных интеллектуальных устремлений *выбирает* одно определенное, *перерабатывая* в ходе своей *внутренней деятельности* любое внешнее

влияние» [Гумбольдт 1984: 66; выделено мною. — Л. 3.]. Таким образом, «...языковые образования возникают в результате взаимодействия внешних впечатлений и внутреннего чувства в соответствии с общим предназначением языка, сочетающим субъективность с объективностью в творении идеального, но не полностью внутреннего и не полностью внешнего мира» [Там же: 123].

Указанное взаимодействие прослеживается во всей иерархии языковых форм, выделенных Гумбольдтом, — от формы языка отдельного индивида до общей формы всех языков, отражающей всеобщую форму природы (см. схему).



Благодаря единству иерархически связанных форм «в языке таким чудесным образом сочетается индивидуальное с всеобщим, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит на одном языке, а каждый человек обладает своим языком» [Там же: 74].

Более того, даже тогда, «...когда, следуя за ним (языком. — Л. 3.), мы вступаем в мир звучаний, реально окружающий нас мир, не покидает нас; закономерностям природы сродни закономерность языкового строя, и с помощью последнего пробуждая к деятельности высшие и человечнейшие (menschlichsten) силы человека, язык приближает его к пониманию *запечатленной в природе всеобщей формы*» [Там же: 81; выделено мною. — Л. 3.]. Так за иерархией форм вскрывается единство человека и общества, человека и природы.

Единство человека и природы проявляется, в частности, в том влиянии, какое оказывает заложенное в языке как отражении мировидение

на восприятие действительности. По утверждению Гумбольдта, «человек преимущественно — да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [Гумбольдт 1984: 80].

В отличие от В. фон Гумбольдта глава натуралистического направления **А. ШЛЕЙХЕР** опирается на философию натурализма, согласно которой природа является единым и универсальным принципом объяснения всего сущего [ФЭС 1989: 392]. В понимании Шлейхера, язык — не посредник между природой и духом, а *естественный организм*, подчиненный от природы данным неизменным законам образования, свойства которого находятся вне волеизъявления индивида [Schleicher 1869: 120]. Так как сам язык относится к сфере природы, языкознание принадлежит к естественным наукам.

А. Шлейхер солидарен с теми своими предшественниками и современниками — И. Г. Гердером, В. фон Гумбольдтом, Я. Гриммом, кто признавал естественное происхождение языка. Он является «продуктом постепенного развития по определенным законам жизни». Возникновение языка как явления материального неотделимо от развития человека, его мозга и речевых органов. «Если язык обуславливается материальным строением тела человеческого, то следует допустить, что язык произошел и образовался мало-помалу вместе с развитием мозга и звуковых органов; язык есть не что иное, как симптом этого развития» [Шлейхер 1868: 10]. Человек стал человеком «только вместе с образованием языка» [Там же].

«...Жизнь языка, — считает Шлейхер, — не отличается существенно от жизни всех других живых организмов — растений и животных. Как и эти последние, он имеет период роста от простейших структур к более сложным формам и период старения, в который языки всё более и более отдаляются от достигнутой наивысшей степени развития и их формы терпят ущерб» [Schleicher 1869: 37] (цит. по: [Звегинцев 1964: 114]). В соответствии с этапом становления образуется класс в системе языков: сначала изолирующий, затем агглютинирующий и наконец флективный. И здесь, таким образом, по заключению Шлейхера, действует тот же закон, что и в ряду природных организмов. «Кристалл, растение, животное точно так же обозначают моменты в понятии организма, подразделения в системе природных существ, как и эпохи в развитии земли» [Schleicher 1850: 10].

Подобно другим природным организмам, замечает Шлейхер, «...языки изменяются, пока они живут» [Шлейхер 1864: 9], причем

изменяются непрерывно, постепенно и медленно [Там же: 3, 6, 13]. Но, как и в органической жизни, «...с самого начала в языках существуют различные потенции развития; одни языки обладают большей способностью к более высокому развитию, чем другие» [Schleicher 1869: 41] (цит. по: [Звегинцев 1964: 115]).

Как и всё живое, включая человека, язык, согласно Шлейхеру, зависит от среды обитания. «...Язык образовывался однородно у людей совершенно однородных. <...> При других условиях иначе образовались и языки, и, по всей вероятности, различие языков находилось в прямом отношении к различию жизненных условий людей вообще» [Шлейхер 1864: 12]. Поэтому «...языки соседних народов были более сходными, чем языки людей, живших в разных частях света» [Там же]. Сходство языков — следствие сходных природных условий. «И в позднейшей жизни языков обнаруживается аналогичное явление: в основном одинаковые и живущие в одних и тех же условиях люди изменяют свой язык тождественным образом, следуя внутреннему неосознанному стимулу» [Schleicher 1869: 40] (цит. по: [Звегинцев 1964: 114]).

Коренная причина языковых различий, по Шлейхеру, — не в духовной, а в материальной стороне человека. Поскольку язык основывается на анатомическом сложении мозга и звуковых органов, «может быть, что разность в языках зависит от... мельчайших различий в качестве мозга и звуковых органов» [Шлейхер 1868: 4]. «Чем различнее были внешние условия, под которыми человек развился до человека, тем различнее могли образоваться и языки» [Там же: 12] в соответствии с материальным основанием языка в организме человеческого тела [Там же: 13].

**А. А. ПОТЕБНЯ** вслед за В. фон Гумбольдтом исходит из единства мира, человека и его языка, а значит, из единства человека и природы, единства человеческого знания, в котором тесно переплетаются результаты познания человеком как самого себя, так и явлений внешней природы. А. А. Потебня убежден: «Познание своего я есть другая сторона познания мира, и наоборот» [Потебня 1976: 305]. Поскольку же «всякое познание, по существу, исторично» [Там же: 306], то, ввиду взаимозависимости объективного и субъективного в познавательной деятельности, изучение природы «...*есть изучение произведений человеческого духа*, так как оно выражается в непрерывном изменении взглядов человека на явления природы» [Потебня 1989: 207]. Поэтому история языка должна показать его роль в образовании последовательного ряда систем, которые отражают изменение отношения развивающейся личности к природе [Потебня 1976: 171].

В первое время своей жизни ребенок еще не отделяет себя от мира. В его сознании отсутствует различение субъекта и объекта, *я* и *не-я*. По мере овладения внешними предметами окружающего мира в ребенке «образуется и самое *я*; состав этого *я* зависит от того, насколько оно выделило из себя и объектировало *не-я*, или, наоборот, от того, насколько само выделилось из своего мира» [Потебня 1976: 170].

От степени разграничения *я* и *не-я*, а значит, от развитости самосознания зависит и образующийся взгляд на мир. Поскольку содержание самосознания личности постоянно развивается, соответственно субъективный взгляд на мир тоже изменяется [Там же: 170–171], вследствие чего мир человечества предстает как смена мирозерцаний [Там же: 422]. Активная роль в этом процессе принадлежит языку, который, будучи деятельностью, не просто *отражает* сложившееся мирозерцание, но *слагает* его [Там же: 171].

**И. А. БОДУЭН** де КУРТЕНЭ, как и А. А. Потебня, основывается на единстве научного знания.

По Бодуэну, в науке вообще и в языкознании в частности «наблюдение и опыт распространяются на все три известные нам области мировой жизни:

1) на один единый, самодовлеющий всемирный физический организм, бесконечный в пространстве и вечный во времени, управляющийся механическими, физическими и химическими законами;

2) на доступные нашему наблюдению только на земле, замкнутые в себе миры физиологическо-биологические, ограниченные пространством и временем, но путем наследственности и передачи один в другого переходящие;

3) на возникающие в недрах биологических миров индивидуальные, вполне самодовлеющие миры психические, не поддающиеся пространственным измерениям, но, каждый сам по себе, заново зарождающиеся, с течением времени изменяющиеся и бесследно исчезающие» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 129–130].

Таким образом выстраивается следующая иерархия миров: физический → биологические → психические.

Языкознание Бодуэн относит к наукам, которые исследуют отражение явлений внешнего и внутреннего мира в человеческой психике [Там же, I: 214]. Они изучают: «а) либо психические субституты того, что мы представляем себе как существующее вне нас, т. е. природы с нашим телом включительно; б) либо то, что мы считаем существующим и происходящим только в нас, т. е. психологию



в самом широком значении этого слова, психологию индивидуальную, психологию коллективную с социологией и т. п.» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 326].

В понимании Бодуэна, «язык, правда, в своем основании является совокупностью психических единиц; но средства проявления и обозначения этих единиц принадлежат миру физическому, точнее — физиологическому и физическому.

Поэтому-то всестороннее изучение языка разлагается:

- 1) на изучение той физической среды, в которой происходит языковое общение между людьми;
- 2) на изучение физиологических средств и функций, с помощью которых достигается языковое общение между людьми;
- 3) на изучение самих же языковых представлений как в их совокупности, так и по отдельным категориям» [Там же, II: 133].

«...Само психическое содержание, представления, связанные с языком и движущиеся в его формах, но имеющие независимое бытие, представляют собой предмет исследования отдельной части грамматики, а именно науки о значении, или семасиологии. Здесь мы исследуем отражение внешнего и внутреннего мира в человеческой душе за пределами языковых форм» [Там же, I: 214].

Исходя из сказанного, положение языкознания в системе наук со временем уточняется. Первоначально Бодуэн лишь допускает, что по природе предмета исследования языкознание могло бы считаться *звеном, соединяющим* естественные и антропологические науки [Там же, I: 37]. Позднее языкознанию, так же как и другим наукам о человеке, твердо отводится место *между* естественными и гуманитарными науками. Промежуточное положение языкознания обусловлено тем, что жизнь человека как живого организма, подобно Янусу, двулика: «...одно лицо ее обращено к внешнему миру, к природе, а другое — к личности, к психике человека» [Там же, II: 326]. Следовательно, язык нельзя постигнуть ни безотносительно к внешнему миру, ни безотносительно к человеку как носителю языкового мышления, тем более что «...все проявления человеческого существа касаются различных областей природы в ее целостности и, исходя из этого, их надо рассматривать в тесной связи с общим миропониманием» [Там же, II: 189]. «Человек в целом как объект для изучения принадлежит одновременно ко всем трем “мирам”: ко вселенной, к органическому миру и к миру психо-социальному» [Там же, II: 191]. Социальное общение с помощью языка охватывает четыре «мира»: психический мир общающихся индивидов,

биологический и физиологический мир соответствующих организмов, внешний физический мир (как последующий передатчик), социальный мир [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 191–192].

Вслед за В. фон Гумбольдтом И. А. Бодуэн де Куртенэ считает язык своеобразным мировоззрением и вводит понятие языкового знания. «В языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих. Поэтому мы вправе считать язык особым знанием, т. е. вправе принять третье знание, знание языковое, рядом с двумя другими — со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным, и знанием научным, теоретическим» [Там же, II: 79]. Под языковым знанием понимается «воспринимание и познание мира в языковых формах» [Там же, II: 95]. Это выводимое из языкового мышления знание включает в себя «знание всех областей бытия и небытия, всех проявлений мира, как материального, так и индивидуальное-психического и социального (общественного)» [Там же, II: 312].

Имея в виду выводной характер языкового знания, Бодуэн специально рассматривает количественную сторону языкового мышления. «Мы различаем, — указывает Бодуэн, — идеал всеобщего безграничного мира и всё большее приближение к нему в мире конечном. Точно так же мы различаем бесконечную совокупность всех явлений и процессов, которые можно объединить понятием языкового мира, и воплощение понятия языка, или человеческой речи, в фактические отдельные отрезки, сводящиеся в конечном итоге к индивидуальным языкам.

Мы вмещаем в своей голове приблизительное представление, например, польского языка, но никогда и нигде не встретим человека, вмещающего всю совокупность польского языкового мышления» [Там же, II: 312–313]. Нам остается только конструировать его модель.

В этой связи, «признавая язык третьим знанием, знанием языковым, мы должны помнить, что только незначительная частичка наличных особенностей и различий физического и общественного мира обозначается в данный момент в речи человеческой» [Там же, II: 83]. Причем языковое отражение внешнего мира носит избирательный и изменчивый характер, меняясь от языка к языку и от эпохи к эпохе.

«В одном языке отражаются одни группы внеязыковых представлений, в другом — другие. То, что некогда обозначалось, лишается со временем своих языковых экспонентов; с другой стороны, особенности и различия, ранее вовсе не принимаемые в соображение, в более

поздние эпохи развития того же языкового материала могут получить вполне определенные экспоненты (таково, например, различие формальной определенности и неопределенности существительных, свойственное нынче романскому языковому миру, но чуждое состоянию латинского языка). Известные эпохи жизни языка благоприятствуют обнаружению одних сторон человеческой психики в ее отношении к внешнему миру, другие — обнаружению других сторон; но в каждый момент жизни каждого языка дремлют в зачаточном виде такие различия, для которых недостает еще особых экспонентов. Это столь метко Бреалем названные *idées latentes du langage* (потаенные языковые представления)» [Бодуэн де Куртене 1963, II: 83–84].

В результате в языке как особом знании отчетливо проявляются хронологический принцип, а также влияние явлений природного и социального характера. «В каждом языке мы можем выделять и определять наслоения и пережитки различных мировоззрений, или следовавших друг за другом в порядке хронологическом, или же отражающих собою различные стороны явлений природы и общественной жизни (наслоения религиозные, метафизические, общественные, юридические, естественно-исторические и т. д.)» [Там же, II: 79].

**Ф. де СОССЮР**, так же как Дж. Локк и В. фон Гумбольдт, не считает язык номенклатурой предметов [Соссюр 1990: 121]. Но в отличие от В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртене, видевших в языке особую форму отражения действительности — специфическое мировидение, Ф. де Соссюр полагает, что «...естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], «...язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на естественном положении вещей» [Соссюр 1990: 94], тем более что знаки, соотнесенные с предметами внешнего мира, не типичны для языка [Там же: 120–121]. В языке как системе значимостей, определяемых совокупностью отношений, отношения строятся в отвлечении от реальной связи, направленной на предмет. Важнейшее свойство языковых знаков, по Соссюру, — их независимость от реальности, «отсутствие *всякого рода* видимой связи с обозначаемым объектом» [Там же: 91]. Так как «язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку» [Соссюр 1977: 61], то, с точки зрения Соссюра, «...нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык» [Там же]. Условия существования языка (история расы и цивилизации, политическая история, внутренняя политика государства, культура, церковь и школа, географические факторы),

хотя и связаны с языком, влияют лишь на внешние по отношению к внутренней системе языка характеристики: границы распространения, дробление на диалекты, взаимодействие с другими языками, образование литературного языка, его взаимоотношения с разговорным языком, развитие специальных языков и т. д. [Соссюр 1977: 59–60].

В концепциях американских ученых **Э. СЕПИРА** и **Б. Л. УОРФА**, выдвинувших широко известную *гипотезу лингвистической относительности*, язык не изолируется от внешнего мира, как у Ф. де Соссюра, однако в отличие от синтезирующих теорий рассматривается в качестве *определяющего фактора по отношению к окружающему миру*.

Убедившись, что в одном и том же языке и в разных языках идентичная мысль может быть выражена различными формальными структурами в зависимости от наличия / отсутствия тех или иных грамматических категорий, **Э. Сепир** приходит к заключению о *несоизмеримости членения опыта в разных языках, об относительности понятий и в целом формы мышления* [Сепир 1993: 258]. Именно эти положения легли в основу гипотезы Сепира — Уорфа.

Первоначально Сепир исходит из единства окружающего мира и внутреннего содержания отражающих этот мир языков [Там же: 193, 252]: «Окружающий мир, подлежащий выражению посредством языка, один и тот же для любого языка» [Там же: 252]. Переход от одного языка к другому он уподобляет переходу от одной геометрической системы задания точек определенного пространства к другой, меняющей лишь «ощущение ориентации» [Там же].

Позднее для Сепира становится очевидным, что «... “реальный мир” (в кавычках! — *Л. З.*) в значительной мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы. Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности». Более того, «миры, в которых живут различные общества, — это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками», как представлялось когда-то. «Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» [Там же: 261].

Согласно Сепиру, язык не просто обозначает опыт, но приобщает индивида к общепринятому пониманию окружающего мира (а значит, и к социальному миру), предопределяет его истолкование, замещает

опыт, взаимодействует с ним. Вследствие этого взаимодействия язык «в своем конкретном функционировании не стоит отдельно от непосредственного опыта и не располагается параллельно ему, но тесно переплетается с ним». Вот почему «...нередко трудно провести четкое разграничение между объективной реальностью и нашими языковыми символами, отсылающими к ней; вещи, качества и события вообще воспринимаются так, как они называются» [Сепир 1993: 227].

Подобная мифологизация языкового мышления, по-видимому, обусловлена тем, что определяющую роль в языковом поведении Э. Сепир отводит интуиции, бессознательному, а «...в бессознательном отражаемая реальность сливается с переживанием субъекта» [ФЭС 1989: 58].

В интерпретации **Б. Л. Уорфа**, ведущим началом в триединстве бытия, мышления и языка выступает язык. Его формирующее влияние через посредство мышления распространяется и на природу. «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [Уорф 1960б: 174]. Сегментация непрерывного потока непрерывно изменяющихся явлений природы в ее развитии и бесконечном разнообразии ее движения, красок, форм производится отнюдь не одинаково и, следовательно, не является универсальной: «...языки расчленяют мир по-разному» [Там же: 176].

Поскольку же язык содержит бессознательные гипотезы, относящиеся к бытию [Уорф 1960а: 197], это не может не влиять на восприятие бытия и на поведение людей. «...В той или иной ситуации люди ведут себя соответственно тому, как они об этом говорят» [Уорф 1960в: 154].

Научная картина мира, по мнению Уорфа, производна от его языковой картины. В частности, сложившееся в западной системе мышления представление о предметной сущности действительности объясняется тем, что индоевропейские языки рисуют мир в виде собрания отдельных предметов. Неудивительно, что «...восприятие вселенной как собрания отдельных предметов различных размеров — это наиболее полная характеристика классической физики и астрономии» [Уорф 1960а: 192].

Из указанного влияния языка на теоретическое знание следует, что «...никто не волен описывать природу абсолютно независимо, но все мы связаны с определенными способами интерпретации... <...> Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что *сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем*» [Уорф 1960б: 175; выделено мною. — Л. 3].

Из европейских лингвистов отчасти сходную с Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом позицию по данному вопросу занимает Э. **БЕНВЕНИСТ**. В его интерпретации «язык *вос-производит* действительность» [Бенвенист 1974: 27].

Только на основе этой первичной своей функции язык становится орудием коммуникации между индивидами.

«...Познание мира обусловлено способом выражения познания. Язык воспроизводит мир, но подчиняя его при этом своей собственной организации» [Там же].

Символизм языка в семиотическом и семантическом измерениях усваивается и развивается «...по мере того, как человек овладевает окружающим миром и мышлением, с которыми он в конечном итоге соединяется. ...Основные из этих символов и их синтаксис неотделимы для человека от вещей и от опыта, в котором он с ними сталкивается: он овладевает ими по мере того, как открывает их как реальности» [Там же: 125].

«Для говорящего язык и реальный мир полностью адекватны: знак целиком покрывает реальность и господствует над нею; более того, он и *есть* эта реальность» [Там же: 93]. «Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала наш язык» [Там же: 36]. Структура языка включает в себе начальную модель (отдаленное предчувствие) мышления и реальной действительности [Там же: 32]. «*Поскольку язык есть орудие упорядочения окружающей действительности и общества, он накладывается на мир, рассматриваемый как “реальный”, и отражает “реальный” мир*» [Там же: 122; выделено мною. — Л. 3]. Каждый язык членит реальность не по неким универсальным меркам, а «на свой особый лад» [Там же].

Даже понятия процесса и объекта, лежащие в основе различения глагола и имени, не воспроизводят объективных свойств действительности, а являются результатом ее языкового выражения. Это не свойства, внутренне присущие природе. Это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу [Там же: 168–169].

Данный вывод подтверждается у Бенвениста анализом категорий, выделенных Аристотелем в качестве универсальных (таких, как *субстанция*, или *сущность*, *количество*, *качество*, *отношение*, *место*, *время* и т. д.). Оказалось, что, в интерпретации Бенвениста, они «являются прежде всего языковыми категориями и Аристотель, выделяя их как универсальные, на самом деле получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит» [Бенвенист 1974: 107]. «То, что можно *сказать*, — утверждает Бенвенист, — ограничивает и организует то, что можно *мыслить*. Язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами» [Там же: 111]. Потому-то Аристотель, стремившийся определить свойства объектов, «установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства» [Там же]. Таким образом у Э. Бенвениста выстраивается следующая иерархия: категории языка → (определяют) категории мышления → (определяют) свойства вещей.

Нетрудно заметить, что она противоположна той иерархии, которая была предложена модистами.

**Г. ГИЙОМ**, анализируя триединство Мир (Универсум, Вселенная) — Человек — Язык, рассматривает язык как отражение двух противостояний: Универсум/Человек и Человек/Человек. Определяющими признаются отношения Человека к Универсуму.

«Именно благодаря этим отношениям, основе всех других, включая непосредственные социальные отношения, люди могут общаться друг с другом. Они не могут выйти за их пределы.

В истоках языка человека... лежит не маленькое противостояние *Человек / Человек*, но великое противостояние *Универсум / Человек*» [Гийом 1992: 161], из которого возникает и от которого не отделяется противостояние *Человек / Человек*.

Соответственно и структура языка возникла «не из встречи человека с человеком, а из вечного противостояния человека и вселенной, универсума, из специфически человеческих условий этого столкновения, определенным зеркалом которых и стала структура языка» [Там же: 162].

В первую очередь в противостоянии вселенной человек становится человеком и, более того, личностью. В процессе становления и развития человеческой личности ведущая роль отводится духовному началу, «которому мыслящий человек обязан тем, что он собой представляет и чем становится во вселенной» [Там же: 159].



По мысли Гийома, «человек живет в мире; он видит мир физически, глазами. Но он видит его взглядом человека только тогда, когда он увидел его в себе.

Мы видим окружающий нас мир только посредством того образа мира, который носим в себе. Это посредничество неотделимо от человеческого взгляда. Мир глазами человека — это вид мира на основе обработки, которой мы умеем подвергать мир, заключенный в нас. <...> Я вижу только мысленно реализованное, мысленное внутреннее содержание.

Если вместо этого видения, реализованного мысленно, отличного от любого другого, у меня было бы непосредственное видение реальности, я не был бы человеком». Видение реальности при обязательном посредстве образа, «через канал предварительного мысленного представления» — отличительная черта человека. Непосредственное видение реальности — свойство животного [Гийом 1992: 144].

Становление человеческой личности означает обретение человеком независимости. Так как «...человек живет во вселенной и, следовательно, принадлежит вселенной», то «...получить в ней свою независимость — значит *меньше* принадлежать вселенной и *больше* подчинить вселенную себе. Средство достижения этого заключается в противопоставлении вселенной, где он (человек) живет, той вселенной, которая живет в нем и местом которой стал он, мыслящий человек. Эта вселенная — язык» [Там же: 125].

В языке записаны потребности мышления, «находящегося в постоянном и подсознательном поиске проникновенного самопознания, гораздо менее зависящего от узкосоциальных отношений между людьми, чем от экстрасоциального, уходящего корнями в бесконечность отношения человека, существующего во вселенной, к этой вселенной, в глубине которой он утверждает свою силу и относительно растущую автономию» [Там же: 155].

С течением времени физическому универсуму всё больше противостоит психический универсум. «...Это внутренний универсум, который среди мыслящих существ может создать в себе только человек. Этот идеальный универсум, который человеческий разум содержит в себе в свернутом виде, и представляет собой язык». Он отражает «меру самостоятельности человеческой личности по отношению к универсуму», меняющуюся с развитием человечества [Там же: 159].

«Базовый контраст состоит в инверсии противопоставления физического универсума, места существования человека, своему антаго-



нисту — психическому, нефизическому универсуму, существующему в человеке.

Следствием этого непрерывного и неосознанного контраста (он не порождается сознанием, наоборот, сознание порождается им) являются следующие основные особенности психомеханизма.

Отношение человека и универсума — это отношение принадлежности, крайними теоретическими формами которой могут быть:

а) полная принадлежность человека универсуму и, соответственно, нулевая принадлежность универсума человеку, откуда полное подчинение человека мировым силам, игрушкой которых он становится;

б) полная принадлежность универсума человеку и, соответственно, нулевая принадлежность человека универсуму, откуда полное подчинение мировых сил силам человека, т. е. бесконечному, абсолютному знанию человека.

Именно между этими двумя крайними, чисто теоретическими формами устанавливается действительная форма отношения человека и универсума. Она состоит в следующем: какая угодно, но не абсолютная принадлежность человека универсуму в самом начале, от которой постепенно, на протяжении веков, человек, *умеющий ее измерять* (это его привилегия), освобождается. Это освобождение дает людям данного пространственно-временного ареала бесповоротную самостоятельность относительно универсума, отождествляемую с цивилизацией, которая изучается в связи с тем, какими максимальными возможностями и глубиной она обладает в данном ареале» [Гийом 1992: 159–160].

## Выводы

1. Интерпретация языка в отношении к внешнему миру меняется вместе с изменением представлений об отношении между внешним миром и человеком — от нерасчлененности природы и человека до их всё более усиливающегося противопоставления.

Преобладание природного начала над человеческим или, наоборот, человеческого начала над природным (иначе говоря, натуроцентризма или антропоцентризма, воплощенного в лингвоцентризме) хорошо видно даже в случаях известного синкретизма реальной действительности и языка, как в античной теории именовании вещей «по природе», с одной стороны, и в гипотезе Сепира — Уорфа, с другой стороны. В античности мир вещей представляется первичным, и потому он выступает в качестве интерпретанты (интерпретирующего начала) по отношению к языку как совокупности имен вещей; согласно гипотезе

Сепира — Уорфа, напротив, реальный мир моделируется — членится и категоризируется — благодаря языку, прежде всего через посредство грамматики.

В отсутствие явного синкретизма языка и действительности в отношении между свойствами вещей и языковыми категориями у модистов доминируют свойства вещей, у Э. Бенвениста — категории языка.

2. В той или иной форме натуроцентризм в подходе к языку юридически дает себя знать начиная с античности и кончая XIX в.

Первоначально натуроцентризм в анализе языковых фактов касается главным образом именованій отдельных вещей, хотя уже в античности (в диалоге Платона «Кратил») и в высказываниях отцов церкви познавательная ценность имен характеризуется отрицательно. Тем самым были как будто подточены основы натуроцентризма.

Однако на рубеже XIII–XIV вв. вновь предпринимается попытка доказать зависимость языка от природы вещей, но только теперь не отдельных именованій, а всего грамматического строя языка, грамматической категоризации. Такую попытку осуществили модисты. Обосновывая универсальный характер грамматики, модисты объясняют его единством мира и, значит, сходством природы вещей у всех людей независимо от того, на каком языке они говорят.

Крайним выражением натуроцентризма в языкознании является натуралистическое направление. Его глава А. Шлейхер видит в языке естественный материальный организм, подчиняющийся неизменным объективным законам. Соответственно язык относится к сфере природы, подобно другим живым организмам.

В действительности, как показал И. А. Бодуэн де Куртенэ, язык, служащий общественным, или психо-социальным, проявлением жизни человечества, следует рассматривать исходя из принадлежности говорящего человека и ко вселенной, и к миру органическому, и к миру психо-социальному [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 191].

По заключению Г. Гийома, в истоках языка и в основе его структуры лежит великое противостояние Вселенной и Человека. Записанные в языке потребности его носителя в самопознании зависят прежде всего от отношения Человека к Вселенной, которое эволюционирует от более или менее полного подчинения человека окружающему миру к росту самостоятельности человеческой личности в универсуме.

3. По мере того, как осознается влияние человеческого начала на отражение в языке внешнего мира, возрастает внимание к взаимодействию в языке объективного и субъективного. Доказывая — в том

числе через понятие мировидения — активное влияние субъективного начала на восприятие мира внешних явлений, В. фон Гумбольдт признает также существование «запечатленной в природе всеобщей формы», отражающейся и в форме языка.

Диалектический подход В. фон Гумбольдта к языку не находит продолжения в ряде более поздних аспектирующих, по сути, концепций. Так, В. фон Гумбольдт не согласился бы с точкой зрения А. Шлейхера, видевшего в языке природный организм, свойства которого находятся вне волеизъявления индивида. Неприемлема для В. фон Гумбольдта и противоположная крайность, отличающая концепцию Ф. де Соссюра, в которой язык рассматривается в отвлечении от мира естественных вещей и их отношений. Не стал бы В. фон Гумбольдт и преувеличивать роль языка в восприятии и членении окружающего мира так, как это делал, например, Б. Л. Уорф, которому мир представлялся в виде калейдоскопического потока впечатлений.

Взгляды В. фон Гумбольдта на язык в его отношении к внешнему миру получили поддержку и дальнейшее развитие в синтезирующих лингвистических концепциях. В первую очередь это концепции, возникшие на славянской почве. В частности, А. А. Потебня, исходя из историзма познания человеком мира и самого себя, вводит определение языка как *деятельности, слагающей мирозерцание*, и выдвигает на первый план *познавательную* функцию языка; И. А. Бодуэн де Куртенэ выделяет особое *языковое знание* наряду со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным и знанием научным, теоретическим. В XX в. идеи В. Гумбольдта получили свое продолжение прежде всего в концепции Г. Гийома, исходившего, в сущности, из тредиинства бытия, мышления и языка.

Итак, язык в его отношении к внешнему миру, ко Вселенной неотделим от человека и его внутреннего мира. В конечном счете, всё, включая язык, упирается в отношение Человека и Вселенной.

## Глава 3

### ЯЗЫК

### В ОТНОШЕНИИ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА:

### *ЯЗЫК — ПСИХИКА — МЫШЛЕНИЕ*

#### 3.1. Античность

Первоначально в античности отсутствует четкое различие материального и идеального, чувственного восприятия и мышления, в котором также видят явление чувственной природы [Лосев 1992: 548]. Ум, мышление понимается как сама объективная действительность, как атрибут материальных субстанций [Там же: 455, 542–546].

Представление об упорядочивающей роли некоего разумного начала в чувственно-материальном космосе — логоса у **Гераклита**, ума у **Анаксагора**, воздуха как обладающего мышлением первоначала у **Диогена Аполлонийского** — приводит к идее о приоритете рационального познания над чувственным. Она сохраняет свою силу и в последующей рационалистической традиции вплоть до XVII в.

Уже в ранней классике (у **Парменида** и **Демокрита**) и особенно в период зрелой и поздней классики (у **Платона** и **Аристотеля**) различие способов познания и его результатов представляется обусловленным онтологически — противоположением двух миров. С одной стороны, это изменчивый мир становления, каким является чувственный мир, «область зримого» (по Платону), с другой — это мир неизменного, единого и вечного бытия, «область умопостигаемого». Познание изменчивого мира становления опирается на чувственное восприятие, на чувственный опыт и дает ненадежное, темное знание, или, иначе, мнение (докса). С точки зрения Парменида, «мир доксы всецело обусловлен человеческим языком, произвольно установившим множество “имен” для одного сущего» (цит. по: [Лебедев 1989б: 463]). Познание мира неизменного бытия осуществляется

с помощью разума, рассудка, мышления. Рациональное познание дает точное, светлое знание (эпистеме) и приводит к истине.

Познаваемый объект	Познающий субъект	Способ познания	Результат познавательной деятельности
Изменчивый чувственный мир становления («мир по мнению», область зримого)	Человек	Чувственное восприятие, вера и уподобление	Докса (мнение) — ненадежное, темное знание
Мир неизменного бытия, мир идей («мир по истине», область умопостигаемого)	Боги	Мышление, разум	Эпистеме — точное, светлое знание

Ощущением — слухом, зрением, обонянием и т. д. — нельзя схватить ни сущность, ни истину, ни знание, ибо, как полагает Платон, «...не во впечатлениях заключается знание, а в умозаклчениях о них», когда душа рассматривает подобное и неподобное, тождественное и различное, прекрасное и дурное, доброе и злое «в их взаимном соотношении, сравнивая в самой себе настоящее и прошедшее с будущим. <...> Жесткость жесткого она ощущает через прикосновение, равно как и мягкость мягкого. <...> О сущности же того и другого — что они собой представляют — и об их взаимной противоположности, а также в свою очередь о сущности этой противоположности пытается у нас судить сама душа, то и дело возвращаясь к ним и сравнивая их между собой». Не случайно телесные способности предвзряют душевные. «...Людам и животным от природы присуще с самого рождения получать впечатления, которые через тело передаются душе, а вот размышления о сущности и пользе всего этого появляются с трудом, долгое время спустя, после многих стараний и учения, если вообще это приходит» [Платон 1993, 2: Тезтет 186а–е; с. 244–245].

За античным противоположением мнения истине, в свою очередь, кроются разные познающие субъекты — несовершенный человеческий и идеальный божественный. Мнение, согласно **Ксенофану** и **Пармениду**, — удел всех смертных, истина — достояние богов, которые, будучи формообразующим принципом–идеей чувственно-материального космоса, представляют собой «обобщение тех или иных природных свойств» [Лосев 1992: 63].

Неудивительно, что с поворотом философии 2-й половины V в. до н. э. к человеку антитеза истины и мнения всё чаще соотносится с противоположением природного начала (physis), закона, данного

людям богами, закону (*nomos*), установлению (*thesis*), обычаю, искусству (*technē*) человека.

Подлинность рационального познания проистекает из провозглашенного Парменидом тождества бытия и мышления. В определении Парменида, «мыслить и быть — одно и то же», «одно и то же мысль и то, о чем мысль» (цит. по: [Лебедев 1989б: 462; Богомолов 1985: 82]). Данное тождество охватывает и язык. По Пармениду, сущее есть то, что может мыслиться и высказываться. Следовательно, «слово и мысль бытием должны быть: одно существует лишь бытие» (цит. по: [Богомолов 1985: 83]).

**ПЛАТОН.** «Ко времени Платона уже давно научились отличать психическое от телесного и ценить первое выше второго» [Лосев 1993: 438]. Примат умопостигаемого, рационального над чувственным получает развитое обоснование в объективном идеализме Платона, в его мифологически окрашенном учении о самостоятельном существовании *идей* в качестве *общих и родовых понятий*. Это учение явилось основой разработанной Платоном *теории общего как закона для единичного* [Лосев 1994а: 57].

**Диалектика общего и единичного.** В трактовке А. Ф. Лосева, «...свою идею вещи Платон понимал прежде всего как *принцип* вещи, как *метод* ее конструирования и познания, как *смысловую модель* ее бесконечных чувственных проявлений, как смысловую ее предпосылку (“гипотезу”), наконец, как такое *общее*, которое представляет собой *закон для всего соответствующего единичного*. При этом материя является функцией идеи. В таком смысле идея оказывается *пределом* бесконечно малых чувственных становлений, своего рода их интегралом» [Там же: 47; выделено мною. — Л. 3.]. В диалектике общего и единичного (индивидуального) общее — идея, или эйдос, — играет определяющую, формообразующую роль порождающей модели. Причем у Платона общее обладает приматом над единичным не только логически, но также онтологически и хронологически [Лосев 1993: 422–423]. Однако и единичное отнюдь не пассивно, обнаруживая устремленность к общему как к своему *пределу* [Там же: 4].

Под общими понятиями Платон имеет в виду такие, например, идеи, как «равное само по себе», «прекрасное само по себе», «доброе само по себе» и т. д. Согласно Платону, «...мы непременно должны знать равное само по себе еще до того, как впервые увидим равные предметы и уразумеем, что все они стремятся быть такими же, как равное само по себе, но полностью этого не достигают. ...Такая

мысль возникает и может возникнуть не иначе как при помощи зрения, осязания или иного чувственного восприятия. <...> Итак, именно чувства приводят нас к мысли, что всё воспринимаемое чувствами стремится к доподлинно равному, не достигая, однако, своей цели... Но отсюда следует, что, прежде чем начать видеть, слышать и вообще чувствовать, мы должны были каким-то образом узнать о равном самом по себе — что это такое, раз нам предстояло соотносить с ним равенства, постигаемые чувствами: ведь мы понимаем, что все они желают быть такими же, как оно, но уступают ему». А коль скоро «...видим мы, и слышим, и вообще чувствуем с того самого мига, как родились на свет», то «...знанием равного мы должны были обладать еще раньше», значит, «...мы приобрели его до рождения и с ним появились на свет» [Платон 1993, 2: Федон 74e–75abc; с. 29].

«...С той же необходимостью, с какой есть эти сущности (“равное”, “прекрасное”, “доброе” и т. п. — *Л. 3.*), существует и наша душа, прежде чем мы родимся на свет» [Федон 76e; с. 31].

Итак, имеются два вида сущего: сущности наподобие «равное само по себе», «прекрасное само по себе», с одной стороны, и любые вещи, которые называют равными или прекрасными, одноименные упомянутым сущностям, с другой стороны. Они противопологаются по ряду признаков, высшим проявлением которых служат душа и тело. «...Божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим собою подобно — и тоже в высшей степени — наше тело» [Федон 80b; с. 36].

Указанное противопоставление сопряжено с противоположением несоставного составному. Всё несоставное не подвержено распаду. Всё составное и сложное по природе «распадается таким же образом, как прежде было составлено» [Федон 78c; с. 33]. Отсюда разумно предположить: «...несоставные вещи — это те, которые всегда постоянны и неизменны, а те, что в разное время неодинаковы и неизменностью вовсе не обладают, — те составные» [Федон 78c; с. 33–34].

«Равное само по себе», «прекрасное само по себе» — «...любая из этих вещей, единообразная и существующая сама по себе, всегда неизменна и одинакова и никогда, ни при каких условиях не подвержена ни малейшему изменению». В отличие от этого любые другие вещи: люди, кони, плащи, которые мы называем равными или

прекрасными, — «буквально ни на миг не остаются неизменными ни по отношению к самим себе, ни по отношению друг к другу» [Федон 78e; с. 34].

Изменяющиеся вещи можно «ощутить с помощью какого-нибудь из чувств, а неизменные [сущности] можно постигнуть только лишь с помощью размышления — они безвидны и незримы. <...> Итак, ...мы установили два вида сущего — зримое и безвидное. <...> Безвидное всегда неизменно, а зримое непрерывно изменяется» [Федон 79a; с. 34].

**Взаимопереход противоположностей.** В изменчивом чувственном мире основанием для взаимоперехода противоположностей служат процессы порождения и становления. «В любом случае, когда налицо две противоположности..., например, прекрасное и безобразное, или справедливое и несправедливое, или тысячи иных противоположностей», противоположное возникает из противоположного [Федон 70e; с. 22–23].

«Так как противоположностей две, то возможны два перехода — от одной противоположности к другой или, наоборот, от второй к первой. Например, между большей вещью и меньшей возможны рост и убывание, и об одной мы говорим, что она убывает, о другой — что растёт. <...> Но ведь не иначе обстоит дело с разъединением и соединением, с охлаждением и нагреванием и во всех остальных случаях; у нас не всегда может найтись подходящее к случаю слово, но на деле это всегда и непременно так: противоположности возникают одна из другой, и переход этот обоюдный» [Федон 71ab; с. 23]. «Если бы возникающие противоположности не уравнивали постоянно одна другую, словно описывая круг, если бы возникновение шло по прямой линии, только в одном направлении и никогда не поворачивало вспять, в противоположную сторону, — ... всё в конце концов приняло бы один и тот же образ, приобрело одни и те же свойства, и возникновение прекратилось бы» [Федон 72b; с. 25]. Так, «...если бы всё причастное к жизни умирало, а умерев, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, — разве не совершенно ясно, что в конце концов всё стало бы мертво и жизнь бы исчезла?» [Федон 72cd; с. 25]. Одно это уже доказывает, что «...душа умершего продолжает существовать и обладает известной способностью мыслить» [Федон 70b; с. 22].

**Знание как припоминание.** Поскольку же душа бессмертна и «...нет ничего такого, чего бы она не познала» ранее здесь, на земле, или в потусторонней жизни, постольку «...она способна вспомнить то, что прежде ей было известно. И раз всё в природе друг другу



родственно, а душа всё познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, — люди называют это познанием — самому найти и всё остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать» [Платон 1994, 1: Менон 81cd; с. 589], т. е. восстанавливать с помощью чувств прежнее знание, уже тебе принадлежавшее [Платон 1993, 2: Федон 75e; с. 30].

Припоминание (воспоминание) в толковании Платона не тождественно с памятью, так же как не тождественны тело и душа. Платон называет памятью сохранение ощущения, «когда... *душа и тело* оказываются сообща в одном состоянии и *сообща возбуждаются*» [Платон 1994, 3: Филеб 34a; с. 35; выделено мною. — Л. 3.]. А вот «когда *душа сама по себе, без участия тела*, наилучшим образом воспроизводит то, что она испытала когда-то совместно с телом, мы говорим, что она вспоминает. <...> Равным образом когда душа, утратив память об ощущении или о знании, снова вызовет ее в самой себе, то всё это мы называем воспоминаниями» [Там же: Филеб 34bc; с. 35].

Таким образом, в понимании Платона, заключает А. А. Тахо-Годи, «...память связана с чувственными ощущениями и знаниями, а воспоминание — с чисто духовным ощущением и знанием» [Тахо-Годи 1994: 823].

На пути духовного знания человек постигает истину «в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия» [Платон 1993, 2: Федр 249bc; с. 158].

Развивая эту мысль позднее в диалоге «Филеб», Платон сравнивает душу с книгой, в которой записываются не только мнения и речи, но также образы: «Мне представляется, что наша душа походит... на своего рода книгу. <...> Память, направленная на то же, на что направлены ощущения, и связанные с этими ощущениями впечатления кажутся мне как бы записывающими в нашей душе соответствующие речи. И когда такое впечатление записывает правильно, то от этого у нас получают истинное мнение и истинные речи; когда же этот наш писец делает ложную запись, получают речи, противоположные истине. <...> ...В наших душах в то же самое время обретается и другой мастер. <...> Живописец, который вслед за писцом чертит в душе образы названного». Этот живописец приступает к работе, «когда кто-нибудь, отделив от зрения или какого-либо другого ощущения то, что

тогда мнится и о чем говорится, как бы созерцает в самом себе образы мнящегося и выраженного речью», при этом образы истинных мнений и речей истинны, а ложных — ложны [Платон 1994, 3: Филеб 38e–39abc; с. 42–43].

Учение Платона о знании как припоминании уже известного в прежние времена и, более того, приобретенного бессмертной душой до рождения человека послужило толчком к тому, чтобы в философии и языкознании утвердилось представление о существовании так называемых *врожденных идей*. Такое представление было закреплено в рационалистической традиции Декартом, поддержано картезианцами Пор-Рояля, а в современной лингвистике — Н. Хомским.

**Мышление и речь.** В триединстве бытия, мышления и языка античные мыслители особенно подчеркивают глубочайшее единство составляющих внутреннего мира человека — мышления и языка/речи. Необходимость различения языка и речи осознается много позднее.

Развернутое обоснование речи, ее структуры в соотношении с родственными состояниями души, включая мысль, дается Платоном в диалогах «Теэтет» и «Софист» [Платон 1993, 2].

Мышлением Платон называет «рассуждение, которое душа ведет сама с собою о том, что она наблюдает <...> ...Мысля, она делает не что иное, как рассуждает, сама себя спрашивая и отвечая, утверждая и отрицая. Когда же она, медленнее или живее уловив что-то, определяет это и более не колеблется, — тогда мы считаем это ее мнением. Так что... иметь мнение — значит рассуждать, а мнение — это словесное выражение, но без участия голоса и обращенное не к кому-то другому, а к самому себе, молча» [Платон 1993, 2: Теэтет 189e–190a; с. 249].

В «Софисте» развивается положение о единстве речи и с мышлением, и с бытием в целом. Платон считает невозможным изолированное рассмотрение речи. «Отделять всё от всего», «разъединять каждое со всем остальным означает полное уничтожение всех речей, так как речь возникает у нас в результате взаимного переплетения идей» [Платон 1993, 2: Софист 259de; с. 333]. Это следствие того, что выделенные Платоном самые главные роды: бытие, покой, движение, тождество и различие — не изолированы друг от друга. Они взаимодействуют и перемешиваются между собой [Софист 257a, 259a; с. 329, 332]. «...Речь для нас — это один из родов существующего: лишившись ее, мы, что особенно важно, лишились бы философии. <...> Если бы она была у нас отнята или ее бы совсем не существовало, мы ничего не могли бы высказать» [Софист 260a; с. 333].

«У нас... есть двоякий род выражения бытия с помощью голоса. <...> Один называется именем, другой — глаголом. <...> Обозначение действий мы называем глаголом. <...> Обозначение с помощью голоса, относящееся к тому, что производит действие, мы называем именем. <...> Но из одних имен, последовательно произнесенных, никогда не образуется речь, так же и из глаголов, произнесенных без имен. <...> ...Эти слова, высказанные в таком порядке, не представляют собой речь», т. е. высказывание. Ср. *лев, олень, лошадь*, с одной стороны, *идет, бежит, спит* — с другой. «Высказанное никак не выражает ни действия, ни его отсутствия, ни сущности существующего, ни сущности несуществующего, пока кто-либо не соединит глаголов с именами. ...Первое же сочетание [имени с глаголом] становится тотчас же речью — в своем роде первою и самую маленькою из речей» [Софист 261e–262c; с. 336]. Например, «когда кто-либо произносит “человек учится”, то... в этом случае он сообщает о существующем или происходящем, или происшедшем, или будущем и не только произносит наименования, но и достигает чего-то, сплетая глаголы с именами. ...Он ведет речь, а не просто называет, и такому сочетанию дали имя речи. <...> Подобно тому как некоторые вещи совмещаются одна с другой, другие же нет, так же и обозначения с помощью голоса: одни не сочетаются, другие же, взаимно сочетаясь, образуют речь. <...>

Речь, когда она есть, необходимо должна быть речью о чем-либо: ведь речь ни о чем невозможна» [Софист 262cde; с. 336–337]. «...Не относясь ни к чему, она и вообще не была бы речью» [Софист 263c; с. 338].

По своему качеству речи бывают истинными и ложными: «...истинная высказывает... существующее, как оно есть... Ложная же — нечто другое, чем существующее» [Софист 263b; с. 338].

Состояния, родственные речи, а именно «...мышление, мнение, представление, как истинные, так и ложные, все возникают у нас в душе» [Софист 263d; с. 338]. В отношении между мышлением и речью можно усмотреть некое тождество, однако отнюдь не полное: «...мысль и речь одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением... Поток же звуков, идущий из души через уста, назван речью» [Софист 263e; с. 338–339]. В речах содержатся утверждение и отрицание. «Если это происходит в душе мысленно, молчаливо», то оно называется мнением. «...Когда подобное состояние возникает у кого-либо не само по себе, но благодаря ощущению», правильно назвать его представлением. Иными словами, «...мышление явилось

нам как беседа души с самой собой, мнение же — как завершение мышления, а то, что выражаем словом “представляется”, — как смешение ощущения и мнения» [Софист 264ab; с. 339].

Тождество речи и мышления обеспечивается тем, что в основе искусства речи, так же как в основе рассуждения в процессе мышления, лежат две диалектические (логические) способности. С одной стороны, «это способность, охватывая всё общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно», т. е. возводить частное к общему. С другой стороны, «это, наоборот, способность разделять всё на виды, на естественные составные части», т. е. выводить частное из общего [Платон 1993, 2: Федр 265de; с. 176].

**Аристотель** полагает, что без этих двух способностей познание невозможно: «...истина и ложь состоят в соединении и разделении» [Античные теории... 1996: 65]. Определение мышления через операции разделения и соединения находим позднее у Э. Б. де Кондильяка и В. фон Гумбольдта. Соответственно сущностными свойствами языка являются неразрывно связанные друг с другом членораздельность и категоризация.

Исходя из единства языка и мышления, Аристотель делает вывод: «...Нет различия между доказательствами, относящимися к слову, и доказательствами, относящимися к мысли. Нелепо полагать, что доказательства, относящиеся к слову, и доказательства, относящиеся к мысли, не одни и те же, а разные» (цит. по: [Перельмутер 1980a: 159]). Такой вывод, в свою очередь, основывается на том, что в триединстве бытия, мышления и языка категории онтологические, логические и грамматические мыслятся Аристотелем, а позднее и стоиками, синкретично.

В оценке современных историков философии, «...учение Аристотеля о категориях — синтетическая и в то же время недифференцированная концепция, в которой категории суть одновременно характеристики бытия, как и логические и грамматические характеристики» [Богомолов 1985: 200]. «Неразработанность вопроса об отношениях и связях категорий — логических и лингвистических — привела к тому, что найденные Аристотелем категории выступают у него то как категории бытия (метафизические), то как категории познания (гносеологические), то как категории языка (грамматические)» [Асмус 1975: 42–43].

Указанный синкретизм отчетливо проявляется в античном толковании понятия *логоса*. Согласно **Гераклиту**, логос — это и слово/мысль, и сущность обозначаемой вещи. Как показывает А. Ф. Лосев, античный

«“логос” — понятие логическое, языковое и в то же время материальное, натурфилософское» [Лосев 1992: 320], в котором мысль и слово образуют единое, нераздельное целое. Логос — это и «мысль, адекватно выраженная в слове и потому неотделимая от него», и «слово, адекватно выражающее какую-нибудь мысль и потому от нее неотделимое» [Лосев 1994б: 216]. Естественный синкретизм теоретического знания в эпоху его становления отражается в логосе нерасчлененностью единиц и категорий как из сферы мысли, так и из сферы языка. Логос — это понятие, категория, суждение, умозаключение, рассудок и разум, с одной стороны, а также слово, предложение, высказывание, разговор, речь — с другой [Там же].

В эпоху классики «logos не мыслится вне  $\rho\eta\acute{o}\nu\epsilon$ , вернее, мысленный logos — это тоже мысленное  $\rho\eta\acute{o}\nu\epsilon$ ; ...у каждого  $\rho\eta\acute{o}\nu\epsilon$  есть свой logos. Итак,  $\rho\eta\acute{o}\nu\epsilon$  и logos в этот период связаны нерасторжимой связью не только потому, что всякое слово–логос — это  $\rho\eta\acute{o}\nu\epsilon$ , но еще и потому, что всякий смысл–логос выражен, явлен в  $\rho\eta\acute{o}\nu\epsilon$ » [Борисенко 1985: 168].

Следовательно, если в триединстве бытия, мышления и языка исходным представляется мир неизменного, единого и вечного бытия и лишь одно оно признается существующим, то тождественными оказываются не только бытие и мышление, но также мышление и язык, как в рационалистически ориентированных учениях Платона и Аристотеля.

Отношения тождества в триединстве бытия, мышления и языка служат основанием именованя «по природе» именуемых вещей. Известная «правильность» соответствующих имен проистекает из способности языковых знаков отражать определенные свойства объективной сущности.

В заданной **Протагором сенсуалистической традиции** (идеалистического направления) на первый план выступает не сущее, а *человек как мера всех вещей*. Провозглашение софистами человека одновременно и критерием истины означало снятие оппозиции божественной истины и человеческого мнения ввиду относительности любого знания [Лебедев 1989в: 521]. Чувственное восприятие изменчиво, по Протагору, и потому, что сущее текуче и изменчиво, и потому, что люди «в разное время воспринимают разное смотря по разнице их состояний» (цит. по: [Богомолов 1985: 119]). А так как тезис Протагора «Человек — мера всех вещей» распространяется и на язык, возникает сомнение, можно ли воспринятое нами сущее изъяснить и сообщить другому с помощью речи. Поскольку сущее

не совпадает ни с мыслью, ни со словом, «...никто не вкладывает (в слова) тот же смысл, что другой» (цит. по: [Лебедев 1989а: 130]). Соответственно и правильность имен представляется софистам относительной, условной, субъективной. Она есть не что иное, как договор и соглашение.

### 3.2. Средневековье

В отличие от античных мыслителей **отцы церкви** (II–VIII вв.) утверждают не только *нераздельное*, но и *неслиянное* единство души, ума и слова. «...Слово происходит от мысли и ума» (Ириней Лионский). Ум рождает слово, и без этой естественной его способности (нераздельной и всегда с собой соединенной) «...он умерщвлен будет и станет ни к чему негодим» (Симеон Новый Богослов). «Наше слово, выходя из ума, ни всецело тождественно с умом, ни совершенно различно» (Иоанн Дамаскин) (цит. по: [Эдельштейн 1985: 169–171]). Таким образом исключается как независимость мышления и языка друг от друга, так и их тождество.

Осознавая — в духе универсалистских тенденций раннего христианства — всеобщность человеческой природы, отцы церкви убеждены в единообразности человеческого мышления и в универсальной сущности языков, различающихся лишь своей внешней формой.

**Модисты** объясняют онтологическую природу языкового строя через посредство сознания. Такой подход продиктован их ориентацией на общие (абстрактные) грамматические значения (*significata generalia*). Сопряженные с представлениями разума грамматические значения в конечном счете восходят к общим свойствам вещей, воспроизводят их. Таким образом, «грамматика берет свое начало от вещей, ибо она не есть создание разума», «сознание не является достаточной причиной модусов обозначения» (Иоанн Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 18, 26]). Модусы познания лишь выполняют посредническую функцию между модусами существования и модусами обозначения. Соответственно выстраивается цепочка модусов: модусы существования (*modi essendi*) → модусы познания (*modi intelligendi*) → модусы обозначения (*modi significandi*). Основные модусы обозначения определяют грамматические значения частей речи, побочные обуславливают частные грамматические категории [Там же: 23].

Ранние модисты, в частности Мартин Дакийский, исходят из тождества вещи внешней, вещи познанной, вещи обозначенной. «Подобно

тому как соотносятся вещь внешняя, вещь познанная и вещь обозначенная, точно так же соотносятся модусы существования, модусы познания и модусы обозначения. Но вещь внешняя, вещь познанная и вещь обозначенная суть одна и та же вещь, поэтому и модусы существования, модусы познания и модусы обозначения по существу суть одно и то же, хотя они и различаются между собой побочными признаками» (Мартин Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 24]). Вследствие указанного тождества модусы обозначения не могут быть ни знаками модусов познания, ни знаками модусов существования: «ничто не может быть знаком самого себя» (Мартин Дакийский; цит. по: [Там же: 25]).

Поздние модисты связывают тождество трех типов модусов только с *пассивными* модусами познания и обозначения, которые находятся в познаваемой и обозначаемой вещи и материально совпадают с модусом существования, отличаясь от него лишь тем, что соответствующее свойство вещи рассматривается не независимо от каких-либо связей, а в отношении к познанию и языку как обладающее *потенцией* быть познанным и обозначенным [Там же: 27–28].

*Активный модус познания* в отличие от пассивного есть свойство не вещи, а сознания, как познанное в познающем. «Активный модус познания означает свойство сознания», — разъясняет Томас Эрфуртский. «Активный модус познания есть модус, посредством которого сознание воспринимает модус существования или свойство самой вещи», — уточняет Сигер из Куртрэ. В интерпретации И. А. Перельмутера, это образ познанного свойства, представление о нем [Там же: 29], свидетельствующее об *активной творческой роли сознания* в отражении реальной действительности.

«Каждый *активный модус обозначения* в конечном счете происходит от какого-либо свойства вещи» (Томас Эрфуртский; цит. по: [Там же: 40]; выделено мною. — Л. З.). Однако трактуется он по-разному. С точки зрения Томаса Эрфуртского, «активный модус обозначения, поскольку он есть свойство значащего звучания, материально находится в значащем звучании, как в субъекте». Сигер из Куртрэ полагает иначе: «Активные модусы обозначения не находятся, однако, в звучании как субъекте, поскольку активные модусы обозначения суть некие представления самого разума; представления же разума остаются в разуме и пребывают в нем, они не уходят вовне» (цит. по: [Там же: 30]). В толковании, предложенном И. А. Перельмутером, «если активный модус обозначения находится в самом звучании, то это значит, что он служит знаком пассивного модуса обозначения, т. е. в конечном счете знаком определенного свойства явления; если же активный



модус обозначения принадлежит особой мыслительной сфере, сфере языкового содержания, то отсюда следует, что в функции знака он выступать не может» [Перельмутер 1991: 29–30], поскольку, согласно Сигеру из Куртрэ, знак должен быть материальным — звучащим, воспринимаемым<sup>1</sup>.

В общем, модисты определенно делают шаг к вычленению собственно языкового содержания: они различают понятия субстанции, акциденции как логические категории и модусы обозначения как основание грамматической категоризации [Там же: 36–37], «стремятся выделить те собственно языковые, формально-грамматические признаки, которые составляют существо предложения» [Там же: 57], отличают синтаксические понятия подлежащего и сказуемого от логических понятий субъекта и предиката [Там же: 58], разграничивают грамматическую согласованность / несогласованность слов и их смысловую (логическую) совместимость / несовместимость [Там же: 55–56].

### 3.3. Новое время

**Рационалистическое направление.** В Новое время, когда в теории познания на протяжении XVII–XVIII вв. сложились рационализм и сенсуализм как два самостоятельных философских направления, рационалистическая тенденция в общей теории языка достигла наивысшего расцвета во Франции.

Классическим образцом рациональной грамматики стала «Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля», разработанная **Антуаном Арно** и **Клодом Лансло** (1660). Она была дополнена и развита в не менее известном труде Антуана Арно и **Пьера Николая** «Логика, или Искусство мыслить», изданном двумя годами позже (1662).

В триединстве бытия, мышления и языка авторы Пор-Рояля — в отличие от Парменида, для которого в конечном счете «одно существует лишь бытие», и модистов, исходивших из первичности мира вещей, — выдвигают на первый план не бытие, не мир вещей,

---

<sup>1</sup> Критики модистов, в частности Иоанн Аурифабер и номиналисты, напротив, считают отображение предмета в сознании в виде представления или понятия естественным знаком, «знаком по природе», первичным по отношению к произвольным звуковым знакам языка. При этом и сфера собственно языкового ограничивается звуковой стороной (см. [Перельмутер 1991: 60–61; Реферовская 1985: 282]).



а мышление. При этом они руководствуются учением Августина, лежащим в основе разделяемой ими идеологии янсенизма. «...Как говорит святой Августин, никто по крайней мере не может сомневаться в том, что он есть, что он мыслит, что он живет; ...*поскольку он мыслит*, достоверно по крайней мере то, что *он есть* и что *он живет*, так как невозможно отделить бытие и жизнь от мышления и представить себе, что *мыслящее не существует и не живет*» [Арно и Николь 1991: 299; выделено мною. — Л. 3.]. Кратко и емко та же идея выражена Р. Декартом: «Cogito ergo sum» ‘Мыслю. Следовательно, существую’. Данной точки зрения придерживаются и логики Пор-Рояля, также указывающие на значимость субъективного начала.

Решая вопрос о достоверности знания и критериях истины, А. Арно и П. Николь доказывают, что «...познаваемое умом более достоверно, чем познаваемое чувствами» [Там же: 297]. И в этом они также опираются на святого Августина, «утверждавшего вслед за Платоном, что суждение об истине и критерий, позволяющий ее распознать, относятся не к чувствам, а к уму: Non est iudicium veritatis in sensibus (‘Чувства не могут судить об истине’. — Л. 3.)» [Там же: 299–300].

Античное разграничение умопостигаемой и чувственной материи сменилось у Декарта противопоставлением двух субстанций — неделимой мыслящей субстанции и протяженной и делимой телесной субстанции.

Вслед за Декартом Арно и Николь также различают тело и дух как два вида субстанции, при этом видовым отличием тела они считают протяженность, видовым отличием духа, или собственным признаком души, — мышление. Таким образом, тело — протяженная субстанция, а дух — мыслящая субстанция [Там же: 56], нематериальная и бестелесная [Там же: 164].

С точки зрения авторов «Логики», «...мышление отнюдь не является модусом (свойством, атрибутом. — Л. 3.) протяженной субстанции» [Там же: 42]. Если мы исследуем, что значит мыслить, то «...увидим, что в идее мышления не заключено ничего из того, что заключено в идее протяженной субстанции, называемой телом, и что можно даже отрицать относительно мышления все свойства тела — обладать длиной, шириной и глубиной, иметь различные части, быть такой-то и такой-то формы, быть делимым и т. д., — не уничтожая тем самым нашей идеи мышления. Отсюда мы заключим, что мышление не есть модус протяженной субстанции, ибо модус по самой его природе нельзя помыслить, отрицая вещь, модусом которой он является»

[Арно и Николь 1991: 310–311]. Между тем, «...отрицая относительно мышления протяженность и все сопутствующие ей свойства, мы тем не менее вполне можем его помыслить» [Там же: 42]. «Из этого мы также выведем, что, поскольку мышление не есть модус протяженной материи, оно должно быть атрибутом другой субстанции и, таким образом, мыслящая и протяженная субстанция должны быть двумя реально различными субстанциями» [Там же: 311].

В противопоставлении двух субстанций Декарт и его последователи, как до них Платон и Аристотель, утверждавшие примат идеи—эйдоса—формы над материей, исходят из онтологического превосходства умопостигаемого над чувственным, мыслящей субстанции над протяженной. Соответственно и в гносеологии на первый план выдвигается познание природы самого ума. Авторы Пор-Рояля убеждены, что «такое познание, если при этом исследовать одно только умозрение, превосходит познание любых телесных вещей, ибо они неизмеримо ниже духовных» [Там же: 31].

Из четырех действий ума: представления, суждения, умозаключения и упорядочения (метода) — важнейшими, основополагающими в процессе познания вещей являются первое и второе.

«Представлением (*concevoir*) называют простое созерцание вещей, которые представляются нашему уму, как, например, когда мы представляем себе (*nous représentons*) Солнце, Землю, дерево, круг, квадрат, мышление, бытие, не вынося о них никакого суждения. Форма же, в какой мы представляем себе эти вещи, называется *идеей*» [Там же: 30].

В зависимости от способа мыслить, а именно чистого разума или воображения, представления вещей в рассудке либо являются чисто духовными, либо соотносятся с телесными образами.

В этой связи исповедующие рационализм авторы Пор-Рояля оспаривают главный принцип сенсуализма — о чувственном происхождении идей. Они отрицают чувственное начало не только чисто духовных идей «бестелесных вещей», но даже тех, что рисуются нашим воображением в виде телесных (чувственных) образов. В частности, говоря о *чувстве, ощущении, зрении, слухе* и т. п., авторы Пор-Рояля считают необходимым различать: 1) определенные движения в органах тела (например, в глазе и в мозге), 2) восприятия воздействующих предметов, возникающие в душе по поводу движений в телесном органе, 3) «суждения, прибавляемые нашей душой к восприятиям, которые возникают в ней по поводу движений, происходящих в органах тела» [Там же: 80–81].

Поскольку душа способна формировать идеи сама [Арно и Николь 1991: 38], «...неверно, что все наши идеи берут начало в чувствах; напротив, можно сказать, что ни одна идея в нашем уме не происходит из чувств — разве только окказионально, в том смысле, что движения, возникающие у нас в мозге (а только их и способны вызывать наши чувства), дают душе повод (occasion) образовать различные идеи, которые она иначе бы не образовала, хотя в этих идеях почти никогда не бывает ничего похожего на то, что происходит в чувствах и в мозге, и к тому же есть очень много идей, которые не заключают в себе совершенно никакого телесного образа и не могут быть соотнесены с чувствами...» [Там же: 39].

Однако «...люди говорят совсем не для того, чтобы выразить, что они созерцают, но почти всегда для того, чтобы составить суждения о предметах». Суждение, т. е. вторая операция рассудка, по определению авторов «Грамматики», «является собственно деятельностью нашего сознания и способом нашего мышления», «основной формой мысли» [Арно, Лансло 1990: 92]. «Суждением (juger) называют действие нашего ума, посредством которого он, соединяя различные идеи, утверждает об одной, что она есть другая, либо отрицает это, как, например, когда, обладая идеей Земли и идеей круглого, я утверждаю о Земле, что она есть круглая, либо отрицаю, что она такова» [Арно и Николь 1991: 30].

Поскольку с мышлением неразрывно связаны не только суждения и умозаключения, но, кроме того, сомнение, воление, желание, чувство, воображение, то суждение как форма мысли понимается весьма широко. К суждению авторы «Грамматики» относят «различного рода соединения (conjonctions), разъединения (disjonctions) и другие подобные им операции рассудка, а также — иные движения нашей души, такие, как желания, приказание, вопрос и прочие» [Арно, Лансло 1990: 92–93].

*Мышление* в представлении авторов Пор-Рояля неотделимо от языка вследствие того, что сообщать свои мысли другим можно только с помощью внешних знаков «и привычка эта настолько сильна, что, даже когда мы размышляем наедине с собой, вещи представляются нашему уму не иначе, как вместе со словами, в которые мы привыкли их облекать, говоря с другими людьми» [Арно и Николь 1991: 31].

Вместе с тем авторы Пор-Рояля — аналогично, в частности, Григорию Нисскому [Эдельштейн 1985: 172–173] — как будто допускают возможность мышления без опоры на язык: «если бы наши размышления над своими мыслями имели отношение только к нам

самим, достаточно было бы созерцать мысли сами по себе, не облекая их в слова и не пользуясь какими-либо иными знаками» [Арно и Николь 1991: 31]. Такое допущение проистекает из того, что сами идеи, согласно рационалистическим представлениям, формируются без помощи языка, без опоры на чувственные знаки. Языковые знаки — слова — нужны человеку для обозначения и выражения *готовых* мыслей, для их *передачи* и постижения в процессе общения [Арно, Лансло 1990: 89–90], но отнюдь *не для их создания*.

В соответствии с исходными философскими принципами авторы Пор-Рояля, будучи убежденными картезианцами, возводят *грамматическую категоризацию* уже не к свойствам вещей, как модисты, а к действиям ума, операциям рассудка, к структуре мысли, а именно к структуре суждения. Благодаря таким основным действиям ума — операциям рассудка, как представление и суждение, в сознании различаются предмет, или объект, мысли и форма мысли. Отсюда наиболее общее разделение слов на слова, обозначающие *предметы*, или *объекты, мыслей*, и слова, обозначающие *форму мыслей* [Там же: 93]. Далее производится последующая категоризация объектов мыслей.

В определении логиков Пор-Рояля, «...предметы наших мыслей суть либо вещи, либо способы [бытия] вещей» [Арно и Николь 1991: 101]. Вещь, или субстанцию, «мыслят как существующее само по себе и являющееся субъектом (предметом–носителем свойств. — Л. 3.) всего, что в нем мыслится». Способ бытия вещи, или модус, или атрибут, или качество, или акциденция, «будучи мыслимым в вещи как нечто, не обладающее самостоятельным существованием, определяет ее быть известным образом, благодаря чему ее называют такой-то» [Там же: 40]. «Слова, которые служат для обозначения тех или других, называются *именами*. Те, что обозначают вещи, называют *именами существительными*, например, *земля, солнце*. Те, что обозначают способы [бытия], одновременно указывая на субъект, которому они присущи, называются *именами прилагательными*, например, *хороший, справедливый, круглый*» [Там же: 101].

В силу соозначающей природы «...прилагательные имеют, по существу, два значения: отчетливое, а именно значение модуса, или способа [бытия], и смутное, а именно значение субъекта (предмета–носителя свойств. — Л. 3.). И хотя значение модуса более отчетливо, оно, однако, является косвенным, и наоборот, значение субъекта, хотя оно и смутно, является прямым» [Там же: 102].

Дальнейшее разделение существительных зависит от широты либо ограниченности выражаемых идей, а именно от их единичности

либо общности. Единичными называются идеи, которые представляют только одну вещь; общими, родовыми называются идеи, которые представляют множество вещей. Для обозначения единичных идей служат имена собственные — *Сократ, Рим, Буцефал*. Общие, родовые идеи обозначаются именами нарицательными — *человек, город, конь* [Арно и Николь 1991: 51–52].

«У общих идей, — подчеркивают авторы «Логики», — очень важно строго различать содержание (*compréhension*) и объем (*étendue*)» [Там же: 52]. Объем «может варьироваться в зависимости от того, как употребляется имя: либо во всем объеме, либо как его часть, определенная или неопределенная» [Арно, Лансло 1990: 135]. К средствам сужения объема прежде всего относятся грамматическая категория числа и артикли [Там же: 115].

Наряду с именами в качестве главных видов слов, выделяемых в составе суждений–предложений, выступают также *местоимения* и *глаголы*, причем «...два последних вида слов заменяют имена, но только различным образом» [Арно и Николь 1991: 100]. Их функционирование сопряжено со свойствами характеризующей речь протяженной субстанции. «Местоимения употребляют вместо имен, чтобы избежать их докучливого повторения» [Там же: 102]. Различение имен и местоимений производится с точки зрения отчетливости либо смутности представляемых идей. «Общим для всех местоимений является то, что они смутно обозначают имя, которое они заменяют» [Там же: 103]. Так же смутно и значение артикля [Там же: 105–106].

Для прояснения природы глагола необходимо обратиться к структуре суждения. Согласно Арно и Николу, «помыслив вещи посредством идей, мы сопоставляем эти идеи; обнаруживая, что одни из них соответствуют друг другу, а другие — нет, мы связываем их либо разделяем. Это называется *утверждать* или *отрицать*, а в общем — *выносить суждение*».

Соответственно в *предложении* «...должно быть два термина: тот, относительно которого что-либо утверждают или отрицают, — его называют *субъектом*, и тот, который утверждают или отрицают, — он называется *атрибутом* или *praedicatum*».

Однако мыслить эти два термина еще недостаточно, чтобы ум связывал их либо разделял. Такое действие нашего ума выражается в речи глаголом *есть*, или самим по себе — когда мы утверждаем, или с отрицательной частицей — когда мы отрицаем» [Там же: 112]. Например: *Бог есть справедливый, Бог не есть справедливый*.

«Но хотя всякое предложение необходимо заключает в себе эти три вещи (субъект, атрибут и глагол *есть*. — Л. 3.), тем не менее... в нем может быть и два слова, и даже одно» [Арно и Николь 1991: 112], что влечет за собой **нарушение тождества между суждением и предложением**. И это нарушение так или иначе связано с выражением утверждения или отрицания.

Если исходить из структуры суждения, «...глагол с точки зрения того, что для него существенно, есть слово, обозначающее утверждение» [Там же: 111]. Для выражения общего значения утверждения достаточно одного-единственного глагола *есть*. Между тем язык располагает обычно множеством глаголов, а связка *есть* в предложении нередко отсутствует. Дело в том, что, «...следуя естественной склонности сокращать свои выражения, люди, как правило, передают одним и тем же словом, помимо утверждения, и другие значения.

I. Они соединяют с утверждением значение некоторого атрибута». В двусловном предложении *Петр живет* глагол «заключает в себе само утверждение и, сверх того, атрибут *быть живущим* и, таким образом, всё равно, сказать ли *Петр живет* или *Петр есть живущий*. Отсюда проистекает большое разнообразие глаголов в каждом языке» [Там же: 107].

II. «В некоторых случаях с утверждением соединяют субъект предложения, так что два слова или даже одно могут образовать целое предложение». В двусловном предложении *Sum homo* ‘*Я есть человек*’ «...*sum*, обозначая утверждение, включает и значение местоимения *ego*, которое служит субъектом этого предложения». В однословных предложениях *Живу*, *Сижу* глаголы «заключают в себе утверждение и атрибут, а в первом лице — еще и субъект: *Я есть живущий*, *Я есть сидящий*. Отсюда произошло различие лиц, имеющееся обычно у всех глаголов» [Там же: 108]. Присоединением утверждения к субъекту предложения объясняется разнообразие в глаголах не только лиц, но и чисел [Арно, Лансло 1990: 157].

III. С утверждением соединяют также указание на время, «отсюда произошло различие времен, которое также обыкновенно является общим для всех глаголов» [Арно и Николь 1991: 108].

Таким образом, исходя из структуры суждения, с одной стороны, и стремления людей сделать свою речь более краткой — с другой, логиками Пор-Рояля была установлена природа глагола (как слова, выражающего обычно утверждение некоторого атрибута с указанием лица, числа и времени), объяснена множественность глаголов (несмотря на достаточность с логической точки зрения одного лишь

глагола *есть*), выявлено происхождение категорий лица, числа и времени, раскрыты причины соответствующих нарушений тождества между суждением и предложением.

Указанные нарушения (также, очевидно, обусловленные стремлением к краткости) наблюдаются и во многих других случаях, в частности в простых предложениях, составных по своему субъекту и/или атрибуту, если последние представляют собой сложные термины типа *незримый Бог, зримый мир* и т. п. Ср.: *Незримый Бог создал зримый мир* или *Бог, который незрим, создал мир, который зрим* [Арно и Николь 1991: 119]. В обоих случаях в предложении заключены три суждения: *Бог незрим (Бог есть незримый)*, *Бог создал мир (Бог есть создатель мира)*, *Мир зрим (Мир есть зримый)* [Арно, Лансло 1990: 130; Арно, Николь 1991: 119].

Синтаксические связи в составе предложения могут быть согласованы со структурой суждения, поэтому согласовательные конструкции во всех языках, рассмотренных авторами, имеют почти единообразную сущность [Арно, Лансло 1990: 204]. Так, поскольку суждение с необходимостью включает то, о чём утверждается, и то, что утверждается, постольку «...никогда не встречается номинатива, который не был бы связан с некоторым глаголом, выраженным или подразумеваемым», и, напротив, «...не встречается глагола, который не имел бы своего номинатива, выраженного или подразумеваемого». Значит, в предложении так или иначе должны быть представлены глагол и «нечто, подлежащее утверждению, а это не что иное, как субъект глагола, который обычно и является номинативом, относящимся к данному глаголу» [Там же: 206–207].

В свою очередь, из соознающей природы имен прилагательных следует, что «...не может быть прилагательного, которое не относилось бы к какому-либо существительному, потому что прилагательное уже само по себе неявно указывает на имя существительное, являющееся субстанцией формы, ясно обозначенной этим прилагательным» [Там же: 207].

В противоположность согласовательным конструкциям «синтаксис управления (*la syntaxe de régime*) практически чисто произволен, а поэтому весьма различен в разных языках» [Там же: 205–206]. Хотя «...без падежей нельзя было бы в полной мере понять связь слов в предложении» [Там же: 106], однако произвол проявляется уже в том, что «...в одних языках управление осуществляется за счет падежей, в других — вместо падежей используются частички, фактически заменяющие падежи и способные к обозначению некоторых падежей»



[Арно, Лансло 1990: 206]. Если целям управления служат предлоги, «...ни один язык в отношении предлогов не следует велению разума, заключающемуся в том, что одно отношение (rapport) должно было бы обозначаться одним предлогом и что один и тот же предлог должен был бы обозначать только одно отношение. Ибо во всех языках встречается обратное» [Там же: 143].

В соответствии с причудами обихода один и тот же глагол может управлять различными падежами и использовать при этом различные предлоги, выражая одно и то же значение [Там же: 208–209].

Столь же произвольно употребляется категория рода (в тех языках, где она имеется). Лишь у части существительных род мотивирован различиями по полу. «В других случаях род существительных никак не мотивирован и создается лишь причудами обихода» [Там же: 103]. Отсюда возможное варьирование рода слов от одного языка к другому и в каждом отдельном языке как с течением времени, так и в тот или иной определенный период.

Таким образом, в эволюции рационалистических идей прослеживается определенная генеральная линия. **В античности исходят из тождества мышления и языка, в Средние века — из нераздельного, но неслиянного их единства, в Новое время — из зависимости языка от мышления как порождающего начала.**

Эта зависимость является определяющей в соотношении грамматики и логики, но совсем не тотальной, поскольку мыслящая субстанция взаимодействует в языке с протяженной. Это взаимодействие проявляется и в указанном выше стремлении людей к сокращению протяженности, и в самой природе языковых знаков. Будучи двусторонними сущностями, они представляют собой асимметричное единство значения и звучания. Вследствие необходимости произвольных «внешних знаков» для передачи мысли, «...мы связываем наши идеи со словами так, что нередко принимаем во внимание скорее слова, а не вещи. <...> Хотя у людей часто бывают разные идеи об одних и тех же вещах, они обозначают эти идеи при помощи одних и тех же слов... Одни и те же люди в разном возрасте смотрят на одни и те же вещи по-разному, но они всегда объединяют свои идеи этих вещей под одним именем; поэтому, когда они произносят или слышат это имя, они легко сбиваются, связывая с ним то одну идею, то другую» [Арно и Николь 1991: 79].

Действие субъективного фактора, а именно «вмешательство воли, нарушающей и расстраивающей способность суждения», является внутренней причиной ложных суждений в повседневной жизни



и в обыденных разговорах [Арно и Николь 1991: 266]. Узы самолюбия, личного интереса и страсти — «...это главное, что движет нами, когда мы выносим суждения... Мы судим о вещах не по тому, каковы они сами по себе, а по тому, каковы они по отношению к нам; истинность и полезность для нас одно и то же» [Там же: 267].

Вследствие указанных особенностей языковых знаков, сопрягающих в себе объективное с субъективным, их анализ с необходимостью требует сочетания логического подхода с психологическим. В «Логике Пор-Рояля» убедительно раскрыта дополнительность этих двух подходов к мышлению [Субботин 1991: 400].

С течением времени психологический подход обусловил всё большее внимание к субъективному фактору, к «причудам обихода», к нарушениям тождества между мыслительными и языковыми единицами, подрывающим принцип универсализма, характерный для рационалистической тенденции.

В XVIII в. становится ясным, что в языке универсальное существует в единстве с индивидуальным, специфическим. И поэтому в языке действуют два вида начал. «Первые — всеобъемлющи, свойственны всем языкам, ибо содержатся в самой природе вещей и в тех различных операциях, на которые способен человеческий разум: таковыми являются определение и использование имен, глаголов и большинства других частей речи. Другие начала являются глубоко индивидуальными для каждого языка. Принципы их относятся к словам и манере речи, свойственным только одному языку» (Ресто П.; цит. по: [Бокадорова 1987: 45]). Индивидуальные начала выражают дух, гений данного языка, обусловленный особым духовным складом говорящих на этом языке.

«Общие всем языкам основные принципы» были четко сформулированы французскими энциклопедистами в «Методической энциклопедии. Грамматика и литература» (1789). В трактовке энциклопедистов, в сущности подытоживающей идеи рационалистического понимания языка начиная с античности, провозглашается единство человеческого мышления у всех народов и во все времена, что, в свою очередь, обуславливает универсальность языковых категорий. **«Законы логического анализа мысли являются неизменно одними и теми же везде и во все времена, ибо природа и операции, на которые способен человеческий разум, являются общими для всех людей».** Язык служит средством выражения (но не образования) готовых, сформированных мыслительных единиц (врожденных идей в духе Платона). «Все языки неизбежно подчиняют свое развитие законам логического

анализа мысли», и потому «...здравая логика и есть основание грамматики» (цит. по: [Бокадорова 1987: 80]).

Оказалось, однако, что и всеобъемлющие начала языка, строго говоря, не являются универсальными, если учитывать способности человеческого разума и особенности мыслительной деятельности в их действительном разнообразии.

**Эмпирико-сенсуалистическое направление.** Изменению представлений о механизмах и свойствах человеческого мышления способствовало развитие эмпирико-сенсуалистических идей в трудах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка в английской философии, Э. Б. де Кондильяка во французской.

Восходящий к античности исходный принцип сенсуализма гласит: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах».

В учениях эмпириков и сенсуалистов утверждение приоритета чувственного познания сопрягается с осознанием громадной (Бэкон, Локк) и даже определяющей (Кондильяк) роли языка в познавательной деятельности, несмотря на его несовершенство как средства познания. Вследствие осознания активности языка в его взаимодействии с мышлением изменяются взгляды и на само мышление. Изменения касаются нескольких аспектов.

**1.** Из активности субъективного человеческого начала с неизбежностью следует *активная роль языка в формировании мышления*.

Соответственно переосмысляются функции языка, их иерархия. Выдвигавшаяся ранее на первый план функция сообщения, выражения мысли, желаний, чувств, с точки зрения Т. Гоббса и Э. Б. де Кондильяка, вторична. В толковании **Т. Гоббса**, первичная функция языка — «регистрация хода мысли», закрепление их в памяти и, тем самым, приобретение знаний [Антология... 1970: 318–319].

Отсюда функциональное разграничение слов–меток и слов–знаков, которое, следуя Т. Гоббсу, поддержали Дж. Локк [Локк 1985: 534] и Г. В. Лейбниц [Лейбниц 1983: 340]. По определению Т. Гоббса, «имена по своему существу прежде всего суть *метки* для подкрепления памяти. Одновременно, но во вторую очередь они служат также для обозначения и изложения того, что мы сохраняем в своей памяти». «Разница между метками и знаками состоит в том, что первые имеют значение для нас самих, последние же — для других» [Гоббс 1964: 62].

Согласно **Э. Б. де Кондильяку**, язык — это прежде всего средство образования идей [Кондильяк 1983: 240]. Осознание истинного

назначения языка дает возможность Кондильяку по-новому осветить происхождение человеческого знания с позиций сенсуализма. В определении Кондильяка, «органы чувств — *источник* наших знаний; различные ощущения, восприятие, сознание, воспоминание, внимание и воображение (если рассматривать два последних только как не находящиеся еще в нашем распоряжении) суть *материалы* наших знаний; память, воображение, которыми мы распоряжаемся по своему усмотрению, размышление и другие действия *пускают* эти материалы в дело; знаки, которым мы обязаны совершением самих этих действий, суть *инструменты*, которыми они пользуются, а связь идей — *первая пружина*, приводящая в движение все другие» [Кондильяк 1980: 300; выделено мною. — Л. 3.], и «первоначало наших знаний» [Там же: 295]. В свою очередь, «...выясняя, к чему эта связь восходит, можно видеть, что она порождена применением знаков» [Там же: 135].

Как видно из приведенного определения, Кондильяк, по существу, различает доязыковое и языковое мышление. В его понимании это низшие (первичные) и высшие (вторичные) действия души.

Необходимое условие развертывания действий души — общение. В отсутствие общения люди способны только к первичным действиям души: ощущению, восприятию, воспоминанию и отчасти к произвольному вниманию и воображению [Там же: 154, 183]. Память, продуктивное творческое воображение, размышление предполагают связь идей, а следовательно, употребление знаков во взаимном общении [Там же 154]. «...Пользование знаками есть истинная причина развития воображения, созерцания и памяти» [Там же: 99], а тем более размышления, которое, рождаясь из воображения и памяти, различает, сравнивает, соединяет, расчленяет и таким образом анализирует идеи. «...Если бы мы совсем не имели наименований, мы совсем не имели бы абстрактных идей; если бы мы совсем не имели абстрактных идей, мы не имели бы ни родов, ни видов; а если бы мы не имели ни родов, ни видов, мы не могли бы ни о чем рассуждать» [Кондильяк 1983: 244]. Так Кондильяк доказывает, что, вопреки картезианцам, *операции рассудка не только не определяют употребление знаков, но, напротив, сами зависят от них.*

Поскольку язык как аналитический метод формирует мышление, «...всё искусство рассуждать сводится к искусству хорошо говорить» [Там же: 245], а значит, к связи знаков, к отношениям, к аналогии [Там же: 274]. «...Аналогия, дающая закон, без которого было бы невозможно понимать друг друга, не допускает абсолютно произвольного выбора» слов и выражений [Там же: 272]. Основу взаимопонимания

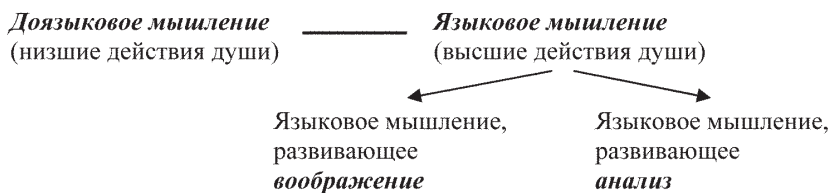
в процессе общения составляет, по Кондильяку, «общий фонд идей» [Кондильяк 1982: 446–447], образующийся благодаря аналогии.

Однако понимание, хотя и опирается на общий фонд идей, не предполагает, согласно Кондильяку, ни тождества мысли, ни тождества языка у лиц, принадлежащих к одной и той же языковой общности. Ведь «...люди видят вещи по-разному, соответственно приобретенному ими опыту»; отсюда расхождения между носителями одного языка в числе и качестве идей, выражаемых многими названиями [Кондильяк 1980: 168].

Кроме того, надо иметь в виду, что мышление в понимании Кондильяка включает в себя наряду со всеми способностями рассудка и все способности воли: мыслить — это значит не только ощущать, обращать внимание, сравнивать, судить, размышлять, воображать, рассуждать, но и желать, иметь страсти, надеяться, бояться и т. д. [Кондильяк 1983: 215]. Поэтому «...каждый имеет свой язык, соответственно своим страстям» и своему характеру [Кондильяк 1980: 261].

Последнее относится не только к отдельным лицам одной нации, но и к народам, говорящим на разных языках. «...Каждый язык выражает характер народа», его дух [Там же: 261–262]. «Поскольку характер языков складывается постепенно и сообразно характеру народов, он должен непременно иметь некое преобладающее качество», которое Кондильяк связывает с предрасположенностью к воображению или к анализу [Там же: 268]. Сообразно с характером языков возможны различные типы языкового мышления. Одни языки упражняют преимущественно воображение, другие — анализ. «Самый совершенный язык занимал бы среднее положение, и народ, который говорил бы на нем, был бы народом великих людей» [Там же: 269].

Таким образом, в представлении Кондильяка, необходимо различать следующие основные типы мышления:



Противоположение типов языкового мышления как будто имеет исторические основания. Языковое мышление, способствующее деятельности воображения, характерно для эпохи зарождения языка. «...Язык с самого своего возникновения должен был быть весьма

образным и метафорическим» [Кондильяк 1980: 253–254]. Развитие языка и абстрактного мышления предполагает усиление в языковом мышлении механизмов, благоприятствующих анализу.

2. Становятся всё более очевидными *присущие индивидам особенности в мышлении и языке*: *один и тот же человек в разное время, а тем более разные люди, даже если они говорят на одном языке, мыслят по-разному*. Причем в отличие от давних и недавних предшественников, включая картезианцев из Пор-Рояля, Дж. Локк и Т. Гоббс не просто отмечают расхождения идей об одних и тех же вещах у разных людей и у одного того же лица в разном возрасте, но вскрывают механизмы мыслительных различий в зависимости а) от свойств воспринимаемых объектов и б) от особенностей воспринимающих мир субъектов.

Дж. Локк опровергает общепринятое положение, будто «...люди имеют врожденные идеи и первоначальные знаки, запечатленные в их уме с самого начала их существования» [Локк 1985: 154]. На самом деле, считает Локк, «на опыте основывается всё наше знание, от него в конце концов оно происходит. Наше наблюдение, направленное или *на внешние осязаемые предметы, или на внутренние действия нашего ума, которые мы сами воспринимаем и о которых мы сами размышляем, доставляет нашему разуму весь материал мышления*» [Там же]. Таким образом, существуют два источника всех наших идей — «внешние материальные вещи как объекты *ощущения* и внутренняя деятельность нашего собственного ума как объект *рефлексии*» [Там же: 155].

Согласно Локку, основу знания составляют простые чувственные идеи, точнее — идеи тех совершенно неотделимых от тел механико-геометрических свойств, с помощью которых пытался объяснить всю природу Декарт. Таковы протяженность, форма, покой и движение [Там же: 177]. «*При восприятии простых идей разум по большей части пассивен*» [Там же: 168]. При создании производных идей ум, напротив, активен. В этом случае ум совершает некоторые собственные действия, либо *соединяя* несколько простых идей в одну, либо *сопоставляя, сравнивая* простые или сложные идеи друг с другом, либо *обособляя, абстрагируя* идеи от всех других реально сопутствующих им идей. Так в результате индивидуальной познавательной деятельности субъекта в уме образуются: 1) *сложные* идеи (например, идеи *золото, свинец, красота, благодарность*), 2) идеи *отношения* (например, отношения *причины и следствия, времени и места*), 3) *общие* идеи (например, *человек, металл, белизна*) [Там же: 212].

«Так как сложные идеи субстанций составляются из простых идей, которые предполагаются существующими вместе в природе, то всякий вправе включить в свою сложную идею те качества, которые он находит соединенными. Так, для субстанции золота один довольствуется цветом и весом; другой считает необходимым в своей идее золота присоединить к цвету его растворимость в царской водке, а третий — его плавкость...; иные включают ковкость золота, его [химическую] устойчивость и т. д., как их учили традиция и опыт» [Локк 1985: 541–542].

«Отсюда всегда и неизбежно получается, что сложные идеи субстанций у людей, употребляющих для них одно и то же название, очень разнообразны и поэтому значения этих названий очень неопределенны» [Там же: 542], что ведет к непониманию, ошибкам и спорам.

В еще большей степени сказанное относится к смешанным модусам, сложные идеи которых образуются «через соединение идей в уме, зависимое от нашей воли, но независимое от какого бы то ни было первоначального образца в природе» [Там же: 487]. Как показывает Локк, «...имена очень сложных идей, каковы, например, большей частью слова из области морали, редко имеют в точности одно и то же значение у двух различных лиц; ибо сложная идея одного редко совпадает со сложной идеей другого, а часто отличается и от идеи одного и того же лица, от той идеи, которая была у него вчера или которая будет у него завтра» [Там же: 536–537]. «...Даже у людей, желающих понять друг друга, они не всегда обозначают одну и ту же идею как для говорящего, так и для слушающего. Хотя слова “слава”, “благодарность” тождественны в устах всех людей целой страны, однако сложная собирательная идея, которую все представляют себе и имеют в виду этими именами, очевидно, весьма различна у людей, говорящих на одном и том же языке» [Там же: 538].

В соответствии с отсутствием или наличием какого-либо первоначального образца в природе меняется и характеристика имен идей по признаку произвольности/непроизвольности. Степень произвольности убывает от имен смешанных модусов (например, *справедливость*) к именам субстанций (например, *золото*) и, наконец, к именам простых идей (например, *движение*). «...Названия *смешанных модусов* обозначают идеи совершенно *произвольно*; имена *субстанций* не совершенно произвольны, но *соответствуют прообразам, хотя и не совсем строго определению*; имена же *простых идей* всецело взяты от существования вещей и *вообще не произвольны*» [Там же: 486].

**Т. Гоббс** в отличие от Дж. Локка связывает различия в образовании идей у разных людей не с наличием или отсутствием некоего образца в природе, а с различным восприятием одних и тех же вещей разными субъектами. В самом деле, «...одна и та же вещь вызывает одинаковые эмоции не у всех людей, а у одного и того же человека — не во всякое время. <...> И хотя природа воспринимаемого остается всегда одной и той же, тем не менее различие наших восприятий этой вещи в зависимости от разнообразного устройства тела и предвзятых мнений накладывает на каждую вещь отпечаток наших различных страстей». «Имена таких вещей, которые вызывают в нас известные эмоции, т. е. доставляют нам удовольствие или возбуждают наше неудовольствие, имеют в обиходной речи непостоянный смысл»: они «...помимо значения, обусловленного природой представляемой при их помощи вещи, имеют еще значение, обусловленное природой, склонностями и интересами говорящего. Таковы, например, имена добродетелей и пороков, ибо то, что один человек называет *мудростью*, другой называет *страхом*; один называет *жестокостью*, а другой — *справедливостью*; один — *готовством*, а другой — *великодушием*; один — *серьезностью*, а другой — *тупостью* и т. п.» [Антология... 1970: 326]. Вот почему, слушая других людей, чтобы понять их, «нам приходится принимать во внимание намерение, повод и контекст в такой же мере, как и сами слова» [Гоббс 1964: 462].

**3.** Когда в философии на смену метафизическому методу приходит диалектический, постепенно утверждается **исторический взгляд на мышление и язык**. Исторический подход к внутреннему миру человека, намеченный уже Ф. Бэконом, отличает, в частности, учения не только последовательного сенсуалиста Э. Б. де Кондильяка, но также философов, развивавших принцип историзма не без воздействия сенсуализма, — Дж. Вико и И. Г. Гердера. В соответствии с историческим подходом отвергаются неизменность мышления и укоренившееся благодаря Р. Декарту представление о врожденности идей. Первичность чувственного опыта в процессе познания определяет развитие мышления в направлении от конкретного, образного к абстрактному, логическому.

В древности, как полагал **Ф. Бэкон**, «...ум человеческий был еще груб<sup>2</sup> и бессилён и почти неспособен воспринимать тонкости мысли,

---

<sup>2</sup> Ср. у Дж. Вико: «...При своем возникновении все вещи должны быть по своей природе грубыми» [Вико 1994: 127].



а видел лишь то, что непосредственно воспринимали чувства» [Бэкон 1972: 231].

Этой грубостью ума, согласно **Дж. Вико**, и определяется последовательность развития познавательных способностей: «...человек сначала чувствует, затем взволнованно замечает, наконец, размышляет чистым умом» [Вико 1994: 147].

Первые люди, которых Вико называет «тупыми, неразумными и ужасными животными» [Там же: 131], — это «как бы дети рода человеческого, неспособные образовать интеллигибельные родовые понятия вещей» [Там же: 87]. Отличаясь «медленностью сознания», «...первые люди или совсем не имели разума, или имели его очень мало», «...они были совершенно лишены рассудка, но обладали сильными чувствами и могущественной фантазией» [Там же: 179, 306, 132].

«...Первые люди не могли вследствие своей слишком чувственной природы применить погребенную под их неукротимыми чувствами способность абстрагирования от предметов свойств и форм, из которых складывались отдельные воспринимаемые и представляемые ими вещи» [Там же: 133].

Их сознание, неспособное в силу грубости «выделить нужную для своих целей суть вещей» [Там же: 176], «было совершенно лишено абстрактности, не утончено, не спиритуализировано, так как они были целиком погружены в чувства, возбуждены страстями, погребены в телах» [Там же: 134]. Их сознание было конкретно и направлено на единичное, на частности [Там же: 304, 305]. «...Люди не могли абстрагировать форму и свойства от субъекта» [Там же: 149], «не умели абстрагировать форму от материала» [Там же: 148].

И это не могло не отражаться на восприятии окружающей действительности. «...Человек незнающий делает самого себя правилом Вселенной» [Там же: 147]. Не зная естественных причин, создающих вещи, первые люди приписывали вызывавшим удивление вещам и явлениям свою собственную природу, творили их соответственно своим собственным представлениям и идеям [Там же: 132–133], так что «...всей Вселенной, поскольку они могли ее воспринять, и всем частям Вселенной приписывали они существование в качестве одушевленной субстанции» [Там же: 135], а из всей природы делают они «обширное одушевленное тело, которое чувствует страсти и страдания» [Там же: 134]. Так Человек «из самого себя сделал целый Мир», в котором небо, море «смеются», ветер «свистит», волна «шепчет», в котором камень и руда имеют «жилы», плоды — «мясо» и «кости», реки — «рукава» [Там же: 147]. И так «...во всех Языках большая



часть выражений перенесена на вещи неодушевленные с человеческого тела, с его частей, с человеческих чувств и с человеческих страстей» [Вико 1994: 146].

Поскольку, в представлении Вико, «...развитие идей и развитие языков шли нога в ногу», а «Порядок идей должен следовать за Порядком вещей» [Там же: 90, 91], постольку «...поэтический способ выражения в силу необходимости человеческой природы зародился прежде прозаического, как Мифы — Фантастические Универсалии — в силу необходимости человеческой природы зародились прежде Рациональных, т. е. Философских Универсалий» [Там же: 177].

Поэтический язык «был порожден языковой бедностью и необходимостью себя выразить. Это доказывает первоначальный способ Поэтического выражения: гипотипозис (изображение. — Л. З.), образ, уподобление, сравнение, метафора, перифраза, фразы, объясняющие вещи их естественными свойствами, описания, подобранные из явлений или самых ничтожных, или особенно ощутимых, и, наконец, описания посредством добавлений эмфатических и даже излишних» [Там же: 176].

Лишь «...когда и сознание и язык стали в высшей степени подвижными, появилась проза, которая... говорит почти что интеллигбельными родовыми понятиями» [Там же: 179].

Так как первые люди, «...люди детского мира были по природе возвышенными Поэтами» и «все Языческие Нации... были в самом своем начале поэтическими», то «...у всех наций сначала существовала речь в стихах, а потом — в прозе», и во всех языках «...значения слов взяты у тел и телесных свойств и перенесены на предметы ума и души» [Там же: 84, 86, 90].

В силу универсального характера поступательного движения наций один и тот же способ поэтически мыслить и выражать себя и Дж. Вико, а за ним и И. Г. Гердер обнаруживают у наций, удаленных друг от друга во времени и по месту обитания, например у древних греков и китайцев [Там же: 154].

Единообразие природы всех первых наций обуславливает общность и единство оснований всех языков. Как поступательное движение наций, так и развитие языков нога в ногу с развитием идей подчинены универсальным закономерностям. Народные языки возникают из человеческой природы, совершенно развитой и *равной* во всех людях [Там же: 496, 497].

Не зная происхождения народных языков вообще и слов в частности, «...все Филологи слишком легко приняли на веру, что эти языки

имели произвольно установленное значение, тогда как вследствие своего естественного происхождения они должны были иметь естественное значение. Это легко заметить на народном латинском языке...; почти все слова в этом языке образованы путем переноса или из природы, или из естественных свойств, или из чувственно воспринимаемых явлений; вообще метафора составляет наибольшую часть слов в языках всех наций» [Вико 1994: 168–169]. Загромождение словами скрытого происхождения, провоцирующими представление о произвольности значений, Вико считает свойством языков, образовавшихся «из смешения многих варварских языков, от которых до нас не дошла история их происхождения и их переносов» [Там же: 170].

Но равенство человеческой природы и естественное происхождение человеческого языка вступает как будто в противоречие с многообразием естественных языков. «...Почему существует столько же различных Народных Языков, сколько существует народов?» Вико объясняет это различием климатических условий: «...народы вследствие различия климатов получили различную природу, чем было вызвано множество различных обычаев». Соответственно «...их различная природа и обычаи породили столько же различных языков. Таким образом, вследствие различия своей природы, они с разных точек зрения смотрели на одну и ту же пользу или необходимость для человеческой жизни, почему и оказались по большей части различными, а иной раз и противоположными многочисленными привычками Наций; именно так и не иначе появилось столько различных языков, сколько их существует. Очевидность этого подтверждается пословицами, максимами человеческой жизни: по существу они одни и те же, хотя и выражены со стольких же точек зрения, сколько существовало и существует Наций» [Там же: 169]. Тем не менее «по существу они понимаются совершенно одинаково всеми нациями, древними и современными» [Там же: 80].

Отсюда удивительно тонко сформулированная идея универсального Умственного Словаря и общего Умственного, Идеального Языка, инвариантного по отношению ко всем национальным языкам как своим модификациям. «Необходимо, чтобы в природе человеческих вещей существовал некий Умственный Язык, общий для всех наций: он единообразно понимает сущность вещей, встречающихся в общественной человеческой жизни, и выражает их в стольких различных модификациях, сколько различных аспектов могут иметь вещи» [Там же: 80]. Умственный Словарь «мог бы нам дать значения всех различно артикулированных языков, сведя их все к некоей единой

по существу идее; рассматривая ее в различных модификациях, народы из этих модификаций получили множество различных слов» [Вико 1994: 170]. «Если разьяснять при помощи их (“Умственных Слов, общих для всех Наций”. — Л. 3.) единообразные идеи о сущностях, которые в различных модификациях нации мыслили по поводу одних и тех же обстоятельств человеческой необходимости или пользы, общих для всех наций, но рассматриваемых с разных сторон в зависимости от различия в местонахождении наций, их неба, а тем самым их природы и обычаев, то эти слова расскажут нам о Происхождении различных словесных Языков, сходящихся в одном общем Идеальном Языке» [Там же: 519].

**Э. Б. де Кондильяк** связывает эволюцию языка с развитием человеческих потребностей.

Исходя из определяющей роли языка в такой мыслительной операции, как анализ, т. е. в членении и соединении мысли в соответствии с отношениями между вещами [Кондильяк 1983: 195], Кондильяк видит в языке *аналитический метод*. «Анализ производится и может быть произведен только при помощи знаков» — сначала *языка действия*, затем *языка членораздельных звуков* [Там же: 238].

Изменения в степени точности языков как аналитических методов обусловлены изменением потребностей.

«Именно потребности давали людям первые поводы обратить внимание на то, что происходило в них самих, и выразить это телодвижениями, а затем названиями. Следовательно, эти наблюдения имели место только относительно потребностей, и различали многие вещи лишь постольку, поскольку потребности побуждали делать эти наблюдения. А ведь потребности (первоначально. — Л. 3.) относятся исключительно к телу. Первые названия, дававшиеся тому, что мы способны испытывать, обозначали лишь чувственную деятельность» [Кондильяк 1980: 239]. Соответственно на первых порах «языки были точными методами, поскольку люди говорили только о вещах, относящихся к насущным потребностям», и на опыте могли убедиться в правильности или неправильности своего анализа, своих суждений [Кондильяк 1983: 238]. Поэтому «...первые языки были наиболее пригодными для рассуждения... Возникновение идей и способностей души должно было быть очевидным в этих языках, где было известно первое значение слова и где аналогия всегда определяла другие значения. Названия идеям, которые ускользали от чувств, давали исходя из названий тех чувственных идей, от которых они происходили. И вместо того чтобы рассматривать их как имена, принадлежащие самим

этим идеям, их считали образными выражениями, показывающими их происхождение. Тогда, например, не думали, означает ли слово *субстанция* нечто другое, чем то, что “есть под”; означает ли слово *мысль* нечто другое, чем *обдумывать*, *взвешивать*, *сравнивать*» [Кондильяк 1983: 242]. Всё это благоприятствовало взаимопониманию в процессе общения, и «люди никогда не понимали друг друга лучше, чем тогда, когда давали названия чувственно воспринимаемым предметам» [Кондильяк 1980: 241].

Однако с течением времени, по мере удовлетворения насущных потребностей и появления всё менее и менее насущных и, наконец, бесполезных потребностей, люди чувствовали всё меньшую потребность анализировать и подвергать свои суждения испытанию опытом [Кондильяк 1983: 239]. «Таким образом, языки стали весьма ошибочными методами» [Там же: 240].

Этому немало способствовало усиление международных торговых связей, вследствие чего «языки смешивались, и аналогия не могла больше руководить умом в определении значения слов» [Там же]. А так как «...искусство рассуждать следовало всем изменениям языка» [Там же: 243], то заимствования пагубно влияют и на язык, и на мышление, особенно в науке. «Язык был бы гораздо более совершенным, если бы народ, который его создавал, развивал искусства и науки, ничего не заимствуя у какого-либо другого народа, так как аналогия в этом языке ясно показала бы развитие знаний и не было бы нужды искать их историю в другом месте. Это был бы действительно научный язык, и он был бы единственно научным. Но когда языки представляют собой нагромождение многих иностранных языков, в них смешивается всё. Аналогия больше не может вскрыть в различных значениях слов происхождение и формирование знаний» [Там же: 242].

Вот почему грамматикам и философам языки показались во многих отношениях произвольными. Стали предполагать, что обычаем создает их, как хочет, что «...правила, принятые в языках, — лишь каприз употребления языков, т. е. что они часто совсем не имеют правил. <...> Значит, не следует удивляться, если до сих пор никто не подозревал, что языки также являются аналитическими методами» [Там же: 240–241]. Отсюда непонимание того, что «...для нас естественно думать согласно привычкам, которые языки заставили нас усвоить. Мы думаем с помощью языков; будучи правилами наших суждений, они образуют наши знания, мнения и предрассудки» [Там же: 241].

В итоге Кондильяк приходит к заключению, что «...всё искусство рассуждать сводится к искусству хорошо говорить» [Там же: 245].

А так как рассуждать — значит выражать *отношения* [Кондильяк 1980: 240], то для того чтобы языки вновь стали точными аналитическими методами и мы могли образовать точные идеи, надо, пользуясь словами, 1) искать в них только отношения, в которых вещи находятся к нам и друг к другу, 2) «считать их только средством, в котором мы нуждаемся, чтобы думать», и определять выбор слов самой большой аналогией, 3) «искать их первоначальное значение в их первом употреблении, а все другие значения — в аналогии» [Кондильяк 1983: 246].

Как видно, в конечном счете, всё искусство рассуждать, так же как и всё искусство говорить, сводится к аналогии, к связи знаков [Там же: 274]. Поэтому и догма о произвольности должна быть отвергнута. «Языки не являются беспорядочной грудой выражений, взятых случайно, или выражений, которыми пользуются лишь потому, что условились ими пользоваться. Если употребление каждого слова предполагает соглашение, то соглашение предполагает причину, заставляющую принимать каждое слово, и аналогия, дающая закон, без которого было бы невозможно понимать друг друга, не допускает абсолютно произвольного выбора» [Там же: 272]. В сущности, речь идет о роли языковой системности в обеспечении взаимопонимания.

**И. Г. Гердер** вслед за Э. Б. де Кондильяком признает активную роль языка в формировании мысли. Средством создания идей он считает так называемый «внутренний язык». Понятие внутреннего языка у И. Г. Гердера развивает понятия слов-меток у Т. Гоббса, умственных слов и идеального умственного языка у Дж. Вико.

По Гердеру, внутренний язык, «язык разума» образуется осознанными *приметами* образов восприятия, которые выступают *памятными знаками* отчетливых понятий. Способность к выделению таких примет и к осознанию их в качестве отличительных особенностей образов характеризует человека как сознающее существо, так что «во всяком языке можно распознать один и тот же человеческий разум, ищущий приметы и признаки вещей» [Гердер 1977: 252].

Уступая животным по остроте чувств и силе инстинктов, человек обладает более свободными и универсальными чувствами, более ясным восприятием, смышленостью, способностью к рефлексии, самосознанием. Органическое строение человека, в частности более совершенное, чем у животных, строение мозга, предрасполагает его к способности разума [Там же: 81, 85–91], которая реализуется в обществе вместе с развитием речи.

Как «духовное, а не плотское средство образования идей» внутренний язык сам по себе не предназначен для целей общения и создан человеком не как [говорящим] членом общества, но как сознающим существом «независимо от помощи органов речи или человеческого общества» [Гердер 1959: 143]. Даже если человек не говорит (например, одинокий дикарь или немой), он мыслит, а значит, пользуется приметами как элементами языка.

Возникновение внешнего, звукового, языка обусловлено *единством чувственной, познающей и волевой природы человека* [Там же: 140]. Как чувствующее существо человек уже обладает языком, и именно звуковым языком, ибо всякое чувство, считает Гердер, выражается в звуке [Там же: 152].

Таким образом, человек уже как чувствующее и сознающее существо должен был создать язык. Однако, учит Гердер, имеющиеся генетические задатки не могли бы реализоваться, если бы человек не был общественным существом. Способность к рефлексии есть лишь «разумная *способность*», *задатки* разума, а не разум как таковой. Человек не рождается «с прирожденным инстинктивным разумом». «Разум — не прирожден» [Гердер 1977: 100] и «лишь весьма поздно возделывается в нас». «...Мы являемся на свет, — продолжает Гердер, — будучи лишь способны воспринять разум, но не будучи в силах ни возыметь его, ни завоевать собственными силами» [Там же: 120]. «Человек с детских лет учится разуму» [Там же: 100]. «...Развитие его способностей зависит от других» и является результатом воспитания, «каждый человек лишь благодаря воспитанию становится человеком» [Там же: 229]. «...Он воспитывался в обществе и воспитывался для общества; не будь общества, он не родился бы и не стал человеком» [Там же: 212]. Поэтому, утверждает Гердер, «разум не что иное, как *внятое* — усваиваемое, уразумеваемое» [Там же: 100]. С одной стороны, «разум — ...сумма воспитания всего человеческого рода», а с другой — «воспитание его человек довершает..., воспитывая себя на чужих образцах» [Там же: 229]. Так общечеловеческое переплетается с индивидуальным и коллективным. Чтобы человек мог выделить и осознать приметку, «всегда нужно, чтобы кто-нибудь помогал ему запечатлеть в душе различия между вещами» [Там же: 98]. Следя за глазами окружающих людей, вслушиваясь в их речь, ребенок «с их помощью учится различать первые понятия» [Там же: 100]. «...В зависимости от получаемых человеком впечатлений, от образцов, которым он следовал, от внутренней силы и энергии, слагавшей все впечатления в сокровенную пропорцию человеческого существа, в зависимости от всего этого и разум человека

скуден или избыточен, здоров или болезнен, уродлив или строен, как самое тело» [Гердер 1977: 100–101].

Особое средство для воспитания людей Гердер видит в языке. «Человек становится разумным благодаря языку» [Там же: 234]: «будучи лишен языка, человек, даже живя среди людей, не может дойти до представлений разума», ибо «мало способны добиться *сами по себе* хваленый человеческий разум и человеческое чувство». Только «речь пробудила дремлющий разум», воспламенила наши чувства [Там же: 96] и превратила человека в человека [Там же: 235].

*Становление языка есть одновременно и становление разума.* Когда в результате опыта вместе с первыми отчетливыми понятиями появились первые звучащие слова, «разум и язык сделали сообща свой первый робкий шаг» [Гердер 1959: 144]. Для последующей истории человеческого рода характерно «поступательное развитие языка благодаря разуму и разума благодаря языку» [Там же: 153]. Оно происходит вследствие их взаимосвязи и проявляется в эволюции мышления от конкретного, образного к абстрактному и в соответствующем преобразовании языка с переходом от детского и юношеского возраста к зрелому и преклонному. С течением времени язык утрачивает чувственный образный характер и метафоричность, ограничивает синонимию и свободу расположения слов, приобретает правильность и точность выражения, следуя порядку идей.

Однако свойственное человеку единство чувственной, познающей и волевой природы делает необходимым сосуществование и в языке «философской» стороны с «нефилософской». Поэтому, несмотря на постоянное совершенствование языка одновременно с поступательным развитием разума, «ни один человеческий язык, язык чувственных существ, не может вполне соответствовать разуму», точно так же, как «...не может он достигнуть и полной поэтической красоты» [Там же: 131]. Несовершенство языка, «рассматривать ли его как узы, соединяющие людей, или как орудие разума» [Гердер 1977: 236], подводит Гердера к пониманию деятельности природы языка: «язык должен лишь направлять внимание наблюдающего природу человека, должен повести его к самостоятельному, деятельному пользованию душевными силами» [Там же: 239].

Ввиду единства человеческой природы механизмы мыслительной деятельности и виды душевных способностей, с точки зрения Гердера, в общем не зависят от ступени культурного развития. «Различие между народами просвещенными и непросвещенными, культурными и некультурными — не качественное, а только количественное»



[Гердер 1977: 230]. Оно касается лишь *соотношения* отдельных душевных (мыслительных) способностей: то, что одни мыслят в образах, другие — в абстрактных понятиях. Но и первобытный дикарь, и современный философ связывают понятия сходным образом, о чем свидетельствуют аналогичные особенности всех языков у всех народов в том, что касается их составных элементов и развития.

Тем не менее «ступень культурного развития», «возраст человеческого духа», определяя соотношение мыслительных способностей и тем самым образ мысли, отражается и на характере языка. В соответствии с преобладающим в данном «возрасте» видом душевных способностей Гердер различает два основных типа языков: язык поэзии, поэтический, красивый язык (язык чувств и страстей), свойственный первобытным народам, и язык прозы, или иначе, совершенный, философский язык (язык рассудка), присущий цивилизованным народам.

Под влиянием поступательного движения времени на образ мысли людей с изменением возраста и типа языка изменяются его выразительные и функциональные возможности: язык, более всего пригодный для поэзии, не может быть в той же мере философским языком [Гердер 1959: 121], и наоборот.

Как и всё на Земле, языки возникают в определенных условиях места, времени и в связи с природным и складывающимся характером народов. Индивидуальное своеобразие языка — результат действия множества факторов, но ведущим является национальный характер, в формировании которого особая роль отводится традиции, а также условиям и роду трудовой деятельности.

Характер, кругозор, образ жизни каждого народа проявляется в чувствах и влечениях людей, в фантазии, в чувственном мирозерцании, в присущем способе видеть природу, в естественной предрасположенности к усвоению, сочетанию, развитию определенных представлений и образов, в способе представлений и, наконец, несмотря на признаваемое единство человеческого разума, в самом складе мышления и образе мыслей, в рассудке.

В свою очередь, «... в каждом языке запечатлелся рассудок и характер народа» [Гердер 1977: 239]. «Гений народа» отражается и в фонетике, и в лексике, и, что особенно важно, в грамматике, в том числе в явлениях «значимостного» порядка (по Ф. де Соссюру), т. е. в соотношении, распорядке, взаимосогласии членов языка [Там же: 239–240]. Так как языки различаются «по своему содержанию и духу», И. Г. Гердер сомневается в возможности адекватного перевода с одного языка на другой [Гердер 1959: 306–307].



### 3.4. Лингвистические учения XIX — начала XX в.

Следующий этап развития языковедных представлений характеризуется *синтезом* основных достижений *рационалистической и сенсуалистической традиций* в изучении языка. Такой синтез наметился уже в трудах И. Г. Гердера, однако в полной мере он был осуществлен лишь в учении В. фон Гумбольдта, которое впитало в себя высшие достижения немецкой классической философии.

**В. ГУМБОЛЬДТ**, в совершенстве владея диалектическим методом, рассматривает познание *в единстве чувственного и рационального*: «Разум не может постигнуть того, на что нет даже намек в сфере чувств и восприятий; но также нельзя вобрать в свою сущность что бы то ни было, что хоть как-то не подготовлено в сфере понятий» [Гумбольдт 1985: 325]. Язык же как посредник между миром внешних явлений и внутренним миром человека, между природой и духом «всегда с необходимостью опирается на совокупность человеческой духовной силы; из нее нельзя ничего исключить, потому что она охватывает собою всё» [Гумбольдт 1984: 66], включая *бессознательное*<sup>3</sup> и *сознание*, а в сознании (наряду с *эмоциями и волей*) — различные формы *чувственного и рационального* отражения объективной реальности (начиная с *ощущения* как исходной формы отражения и кончая его высшей формой — *мышлением*). Поскольку разные области психического взаимодействуют друг с другом, постольку в языке как полностью идеальном объекте «...то одновременно, то поочередно действуют инстинкт, чувство и рассудок, причем рассудок в свою очередь исправляет действие чувства, а чувство — действие инстинкта» [Гумбольдт 1985: 414].

«Рефлектирующего языкового сознания у истоков языка предполагать не приходится» [Гумбольдт 1984: 155–156], — считает Гумбольдт. Так как именно «...язык поднимает человека до доступной ему ступени интеллектуальности» [Там же: 167], то, очевидно, рефлектирующее языковое сознание вырабатывается в результате развития языка и перехода «от более чувственного к чисто интеллектуальному настроению души» [Там же: 219], по мере того как «...сумрачная область неразвитого чувства всё больше светлеет» [Там же: 167]. В раннем состоянии вследствие большей впечатлительности первых говорящих людей и при недостатке абстракции

<sup>3</sup> Впервые бессознательное получило четкое определение в «Монадологии» Г. В. Лейбница, изданной посмертно в 1720 г.

«...индивидуальное чувственное восприятие опережает обобщенное восприятие рассудка» [Гумбольдт 1984: 279]. «Очень возможно даже, — предполагает Гумбольдт вслед за Гердером, — что первое применение языка — насколько можно подняться мыслью к столь ранним его истокам — было простым выражением чувства» [Там же: 170]. Соответственно первым источником формирования звукового языка служит живость и образность видения мира. Созерцание и ощущение выступают как опоры деятельности духа. При этом сама созерцательность не пассивна, она «питается живейшим и гармоничнейшим напряжением всех духовных сил» [Там же: 156], среди которых огромную роль играет живость и творческая сила воображения, впечатления.

К важнейшим условиям возникновения, функционирования и развития языка Гумбольдт относит *социальный фактор*. «...Общество — это необходимая среда для его существования» [Гумбольдт 1985: 397], и возникновение языка немислимо вне общества. «...Происхождение и преобразования языка никогда не принадлежат одному человеку, но только — общности людей; языковая способность покоится в глубине души каждого отдельного человека, но приводится в действие только при общении» [Там же: 381]. Причем возникновение языка, убежден Гумбольдт, обусловлено не утилитарными потребностями, в частности потребностью во взаимопомощи (для этого хватило бы нечленораздельных звуков) и взаимопонимании, а потребностью мысли, потребностью в свободном общении с другими людьми. В этом смысле и «в свой начальный период язык тоже всецело человечен» [Гумбольдт 1984: 81].

Складываясь в постоянном взаимодействии чувственного и рационального познания, каждый язык представляет собой «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» [Там же: 63], обычно с перевесом либо первого, либо второго в зависимости от индивидуального характера языка.

Характер языка ярко обнаруживается в противопоставлении *поэзии* и *прозы*. По Гумбольдту, «...поэзия и проза суть прежде всего пути развития интеллектуальной сферы как таковой», а затем уже проявления языка. «Поэзия схватывает действительность в ее чувственном облике, воспринимает ее внешние и внутренние проявления, но не вдается в ее истоки и причины, а, скорее, намеренно отбрасывает эту ее бытийную сторону; чувственные явления поэзия сочетает силою фантазии и ею же превращает их в картину художественно-идеального целого. Проза разыскивает в действительности как раз те корни,

которыми та внедрена в бытие, и нити, связующие ее с этим последним. Сочетая работою мысли факт с фактом и понятие с понятием, она стремится установить их объективную взаимосвязь в свете единой идеи» [Гумбольдт 1984: 183].

**Язык и дух.** Если под духом понимать «совокупность человеческой духовной силы» [Там же: 66], не сводимую исключительно к сознанию, как у Декарта, то язык в отношении к духу вторичен. По своему происхождению язык — «продукт инстинкта разума» [Там же: 314], «непроизвольная эманация духа» [Там же: 49].

1. Как порождение духа [Там же: 162] и главное его проявление [Там же: 50, 69] язык зависит от духовной силы народа. На язык влияют:

а) *мощь* направленной на него *духовной энергии* (чем она сильнее, тем закономерней и богаче развивается язык [Там же: 47, 230]);

б) *духовное устремление народа*, «способ укоренения» его в действительности в соответствии с преобладающей направленностью сознания, «либо погруженного в глубины духа, либо ориентирующегося на внешнюю действительность» [Там же: 173], вследствие чего один народ вкладывает в язык больше субъективности, другой — больше объективной реальности [Там же: 104];

в) *степень предрасположенности духа к языкотворчеству* [Там же: 51].

2. С накоплением запаса слов, по мере складывания системы правил и грамматических форм язык превращается в *самостоятельную силу* [Гумбольдт 1984: 82; 1985: 405].

3. Обретая самостоятельность, язык начинает оказывать на дух *обратное формирующее воздействие*, и оно тем сильнее, чем более развит грамматический строй [Гумбольдт 1984: 69, 329, 347].

4. Таким образом внутренняя духовная деятельность и язык вступают в *отношения взаимовлияния* [Там же: 69, 230]: дух действует на язык, а язык — на дух [Там же: 75], в особенности во второй период языкового развития — с переходом от построения языка к его употреблению [Там же: 163–164], когда реализуется стремление к синтезу языковой формы и индивидуальной формы духа и возникает литература [Там же: 223].

5. В результате постоянного взаимодействия вырабатывается *единство* языка и духа [Там же: 69].

6. Наконец, вследствие слияния языковой формы с индивидуальной формой духа между ними устанавливается своеобразное *тождество*. И тогда можно сказать: «...Язык народа есть его дух, и дух

народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное» [Гумбольдт 1984: 68].

В целом между духом и языком складываются следующие виды связей: 1) влияние духа как порождающего начала на язык, 2) определенная самостоятельность языка по отношению к духу, 3) обратное воздействие языка на дух, 4) взаимовлияние духовной деятельности и языка, 5) их нераздельное единство и даже 6) своеобразное тождество в период совершенствования языка.

**Язык и мышление.** Взаимоотношения между языком и духом раскрываются, детализируются во взаимоотношениях между языком и мышлением — важнейшей составляющей в совокупности человеческой духовной силы. Так как язык служит посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека, соответственно с функциональной точки зрения «сущность языка состоит в том, чтобы отливать в форму мыслей материю мира вещей и явлений» [Гумбольдт 1984: 315]; в свою очередь, «сущность мышления состоит в рефлексии, то есть в различении мыслящего и предмета мысли», субъекта и противопоставленных ему объектов [Там же: 301].

В. фон Гумбольдт рассматривает следующие основные типы взаимоотношений между языком и мышлением.

1. Развитие и совершенствование языка, являющегося творением «природы человеческого разума» [Там же: 314], стимулируется потребностями духовной, мыслительной силы.

*Влияние мышления на язык* обнаруживается, по меньшей мере, в двух аспектах.

а) Поскольку «...всякое мышление состоит в разделении и соединении» [Там же: 127], постольку и язык «вечно разъединяет и связывает» [Там же: 236]. Вот почему вслед за Э. Б. де Кондильяком, видевшем в языке аналитический метод, В. фон Гумбольдт выделяет *членение* в качестве сущностной характеристики языкового устройства: «...сущность языка заключена в членораздельности, без которой язык просто был бы невозможен, а идея членения пронизывает его целиком» [Гумбольдт 1985: 410]. Причем «понятие членения есть логическая функция языка, в той же мере, в какой оно является функцией самого мышления» [Там же: 414].

б) Общие законы языка и процесс употребления внешней (звуковой) формы также обусловлены мышлением [Гумбольдт 1984: 75]. Формы мышления соотношены с языком в первую очередь через обозначение общих отношений [Там же: 126], которые «большей частью принадлежат непосредственно формам мышления» [Там же: 94].

«Создание грамматических форм подчиняется законам мышления, совершающегося посредством языка, и опирается на соответствие (Congruenz) звуковых форм этим законам» [Гумбольдт 1984: 155].

2. *Влияние языка на мышление* состоит, по Гумбольдту, в том, что организм языка «в качестве закона обуславливает (bedingt) функции мыслительной силы человека» [Там же: 314]. Хотя непосредственная цель языка — выражение мысли [Там же: 100], но, вопреки рационалистическим представлениям, язык — не просто средство выражения мышления вообще, по крайней мере, по трем причинам.

а) Функциональные возможности языка не ограничиваются *выражением* мышления, ибо язык не является совокупностью произвольных знаков готовых понятий [Там же: 324]. В понимании Гумбольдта, язык — не пассивное орудие мышления, а ***образующий орган мысли*** [Там же: 75], необходимое завершение и дополнение мысли [Там же: 227, 304].

До языка в мыслительной материи есть только «совокупность чувственных впечатлений и произвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [Там же: 73]. Доязыковое мышление является неопределенным и бесформенным [Гумбольдт 1985: 364, 406]. «...Стремление возвысить до ясных понятий впечатления от внешнего мира и смутные еще внутренние ощущения, а из связи этих понятий произвести новые» [Гумбольдт 1984: 304–305] осуществляется благодаря языку — посредством звуковой материализации интеллектуальной деятельности в речи.

Внутренний строй языка обуславливается тем, насколько ограничены в нем обозначения понятий индивидуальных предметов и обозначения общих отношений, а это, в свою очередь, зависит от *способа представления грамматических форм в соответствии с их понятием*. Последний «определяет языковой организм и является исключительно важным, будучи не только главным фактором, оказывающим влияние на дух и мировоззрение нации, но также самым надежным пробным камнем того языкового сознания, которое в каждом языке должно рассматриваться как основной творческий и преобразующий принцип» [Гумбольдт 1985: 396].

Так, развивая идеи своих предшественников — Э. Б. де Кондильяка и И. Г. Гердера, В. фон Гумбольдт доказывает, что язык, хотя и зависит от мышления, сам является органом возникновения и формирования идей [Там же: 369].

Активность языка в его связях с мышлением позволяет Гумбольдту существенно уточнить познавательные возможности языка:

«Из взаимообусловленной зависимости мысли и слова явствует, что языки являются не только средством выражения уже познанной истины, но и, более того, средством открытия ранее неизвестной» [Гумбольдт 1984: 319].

б) Опираясь на совокупность человеческой духовной силы, язык связан не с одним только мышлением. «...Совокупная духовная сила определяет собою всякую мысль, всякое ощущение и воление» [Там же: 66]. Как единство чувственного и рационального отражения действительности язык объединяет в себе определенное мирозерцание и способ сочетания мыслей [Там же].

в) Если язык выражает мысль, она, как правило, не является исключительно общей, универсальной. Понятие «мышление вообще» столь же относительно, сколь и понятие «язык вообще». Поэтому, говоря о зависимости мышления от языка, Гумбольдт подчеркивает: «...Мышление не просто зависит от языка вообще, — оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным языком» [Там же: 317], причем под отдельным языком понимается и язык общества (народа, нации), и язык индивида. С одной стороны, язык — «орудие мыслей и чувств народа» [Гумбольдт 1985: 377], и «...различные языки являются для наций органами их оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт 1984: 324]. С другой стороны, конечная цель языка — индивид [Гумбольдт 1985: 397], и «...назначение любого языка — служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Гумбольдт 1984: 165], также отличающихся друг от друга оригинальным мышлением и восприятием. В результате любой национальный язык «в качестве единого языка дробится внутри одной и той же нации на бесконечное множество языков, а в качестве этого множества сохраняет единство, придающее ему определенный отличительный характер по сравнению с языками других наций» [Там же].

3. Из сказанного ясно, что «язык и интеллектуальный уклад ввиду их постоянного взаимодействия нельзя отделить друг от друга» [Там же: 196]. В частности, существует *неразрывная связь* между формированием языка и выработкой формального мышления: «преобладающая мыслительная активность придает языку формальную направленность, а преобладающая формальность языка поднимает мыслительную активность» [Там же: 343].

4. Вследствие взаимодействия языка и мышления между ними должно существовать определенное *соответствие*. «Чтобы соответствовать мышлению, язык, насколько это возможно, своим строением должен соответствовать внутренней организации мышления. <...>

В то время как число слов языка представляет объем его мира, грамматический строй языка дает нам представление о внутренней организации мышления.

Язык должен сопутствовать мысли. Мысль должна, не отставая от языка, следовать от одного его элемента к другому и находить в языке обозначение для всего, что делает ее связанной» [Гумбольдт 1984: 345]. По мнению Гумбольдта, «... в полном соответствии с развитием идей пребывают только языки с развитым грамматическим строем» [Там же: 347]. «То, что языки, при отсутствии грамматических форм или располагая очень несовершенными грамматическими формами, отрицательно воздействуют на интеллектуальную деятельность, вместо того чтобы ей благоприятствовать, вытекает... из природы мышления и речи» [Там же: 348].

5. Несмотря на межъязыковые различия в степени соответствия между строением языка и внутренней организацией мышления, каким бы ни был язык, «он никогда и ни при каких условиях не может стать абсолютным пределом для человека» [Там же: 231]. «В области самого мышления действие языка исключает всякую остановку в каком-либо достигнутом пункте. Обнаружение истины, определение законов, в которых обретает отчетливые границы духовное, не зависят от языка» [Гумбольдт 1985: 375].

Зависимость и в то же время независимость языка от мышления заложены в диалектическом единстве человеческой природы, совмещающей общественное начало с индивидуальным, так что язык — принадлежность и общества, и индивида. «Язык принадлежит мне, — пишет Гумбольдт, — ибо каким я его вызываю к жизни, таким он и становится для меня; а поскольку весь он прочно укоренился в речи наших современников и в речи прошлых поколений — в той мере, в какой он непрерывно передавался от одного поколения к другому, — постольку сам же язык накладывает на меня при этом ограничение. Но то, что в нем ограничивает и определяет меня, пришло к нему от человеческой, интимно близкой мне природы, и потому чужеродное в языке чуждо только моей преходящей, индивидуальной, но не моей изначальной природе» [Гумбольдт 1984: 83].

Непрерывно передаваемый от поколения к поколению язык именно в качестве общественного явления превращается в самостоятельную силу, «в особую область бытия, реализующегося всегда только в сиюминутном мышлении, но в своей цельности от мысли независимого» [Там же]. Говоря о «сиюминутном мышлении», Гумбольдт имеет в виду индивида, в речи которого «... язык достигает своей



окончательной определенности» [Гумбольдт 1984: 84]. «В том, как язык видоизменяется в устах каждого индивида, проявляется, вопреки... могуществу языка, власть человека над ним. <...> За влиянием языка на человека стоит закономерность языковых форм, за исходящим от человека обратным воздействием на язык — начало свободы» [Там же].

6. Как ни «...ничтожна сила одиночки перед могущественной властью языка», «...все-таки каждый со своей стороны в одиночку, но непрерывно воздействует на язык» [Там же: 83], что исключает тождество элементов языка логическим единицам. В частности, слово «не служит оболочкой для законченного понятия, но просто побуждает слушающего образовать понятие собственными силами, определяя лишь, как это сделать» [Там же: 165]. Эта самодеятельность мышления, так же как способность языка служить орудием самовыражения для разнообразнейших индивидуальностей и быть средством общения между ними на протяжении целого ряда поколений, возможны потому, что в языке как средстве познания связываемое со словом представление предмета «не должно быть всякий раз ни исчерпывающим, ни раз и навсегда данным, поскольку оно способно на всё новые и новые преобразования» [Там же: 306]. Вот почему «...никогда невозможно представить подлинный смысл, совокупность всех объединенных признаков... слова как определенную и завершенную величину» [Гумбольдт 1985: 365]. Вот почему «никто не понимает слово в точности так, как другой, и это различие, пускай самое малое, пробегает, как круг по воде, через всю толщу языка. Всякое понимание поэтому всегда есть вместе и непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах — вместе и расхождение» [Гумбольдт 1984: 84].

Итак, согласно В. фон Гумбольдту, несмотря на подчиненность языка законам мышления, с одной стороны, и активную роль языка в образовании, оформлении мысли — с другой, взаимодействие языка и мышления, обуславливающее определенное соответствие между строением языка и внутренней организацией мышления, не означает их тождества. Тесно связанные друг с другом, язык и мышление относительно независимы друг от друга, как того требует диалектика общественного и индивидуального в языке и мышлении.

**А. А. ПОТЕБНЯ**, основываясь на учении В. фон Гумбольдта и исходя из принципа историзма, не только уточняет и детализирует, но, более того, существенно развивает представления предшественников о языке и мышлении и их соотношении друг с другом.



**Формы мысли в эволюции психики.** Так же как Э. Б. де Кондильяк и В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня отрицает тождество языка и мышления уже потому, что мышление существует не в одной-единственной, языковой, форме. Однако в отличие от своих предшественников *Потебня разграничивает не две формы мышления — доязыковую и языковую, а три.* Кроме двух названных, он выделяет еще более высокую — *творческую* — форму мысли, которая, хотя и подготавливается языком, «невыразима словом и совершается без него» [Потебня 1976: 68]. Таковы «замысел, план, идея художника или ремесленника, которые могут быть выражены только известным сочетанием форм, цветов, звуков» [Потебня 1989: 203]. *Необходимость различения трех перечисленных форм мышления Потебня связывает с основным направлением в эволюции человеческой психики — от бессознательности к сознанию и, далее, к самосознанию.*

Доязыковое мышление осуществляется в сфере бессознательного. «Крайняя бедность и ограниченность сознания до слова не подлежит сомнению», — утверждает Потебня [Потебня 1976: 168]. Значение языка в истории человеческой мысли он видит в том, что «... язык есть переход от бессознательности к сознанию». Сознательная умственная деятельность без языка невозможна, так как она предполагает понятия, а они образуются посредством слова. Таким образом, заключает Потебня, хотя по отношению к мышлению, взятому в совокупности всех его форм, язык вторичен, однако по отношению к сознательной умственной деятельности язык есть «первое по времени событие» [Там же: 69].

Именно как «средства преобразования первоначальных, доязычных элементов мысли» языки могут быть названы «средствами создания мысли» [Там же: 259], точнее — той доли мысли, которая объективируется в членораздельном звуке и без него не существует [Потебня 1989: 203].

Коль скоро собственно языковое мышление образуется *благодаря* языку, Потебня считает ошибочным мнение, будто языки являются «только средствами обозначения мысли уже готовой, образовавшейся помимо них, как действительно думали в прошлом, отчасти и в нынешнем веке» [Потебня 1976: 258; выделено мною. — Л. 3].

Огромную роль в процессе перехода от бессознательности к сознанию и в развитии самосознания Потебня отводит слову. «... Слово нужно душевной деятельности для того, чтобы она могла стать сознательной, и появляется как дополнение тогда, когда есть уже все прочие условия перехода к сознательности» [Там же: 69], т. е. ког-

да имеются: 1) низшие, исходные формы мысли в виде чувственных образов, 2) междометия как первая группа членораздельных звуков и 3) общество.

Слово — это и средство сознания единства и общности чувственного образа [Потебня 1976: 153–154], и средство его разложения [Там же: 164], и средство перехода «в более исключительно человеческую форму мысли» — от образа предмета к понятию о нем [Там же: 84], и, наконец, акт самосознания и показатель степени его развития [Там же: 168–171]. Всякое новое слово — «наиболее явственный для сознания указатель на совершившийся акт познания» [Там же: 446].

Развивая мысль, язык и сам «изменяется в течение веков под влиянием действующей на него мысли» [Там же: 70] и подготавливает появление более высоких ее форм. Так, «творческая мысль живописца, ваятеля, музыканта... предполагает значительную степень развития, которая дается только языком» [Там же: 68]. Дело в том, что «...зодчество, ваяние и живопись предполагают уже обособление и выделение из массы личности художника, следовательно, возможность значительной степени самосознания и познания природы, коим начало полагается языком» [Там же: 191].

Итак, согласно Потебне, «...область языка далеко не совпадает с областью мысли. В середине человеческого развития мысль может быть связана со словом, но в начале она, по-видимому, еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее ее требованиям и как бы потому, что не может вполне отрешиться от чувственности, ищет внешней опоры только в произвольном знаке» [Там же: 68].

Таким образом, язык как форма мысли предполагает предшествующие и последующие ее формы — до слова и выше него. Иначе говоря, следует различать языковое и неязыковое мышление: «...вне слова и до слова существует мысль; слово только обозначает известное течение в развитии мысли» [Там же: 538]. Многое в самой мысли не требует языка, и современный человек владеет разными формами мысли.

**Формы языкового мышления.** Поскольку, если следовать В. фон Гумбольдту, реализующееся в языке мышление состоит в различении мыслящего и предмета мысли, субъекта и объекта, постольку и в анализе форм языкового мышления А. А. Потебня исходит из противоположности субъективного и объективного и степени ее осознания.

Так как «мысль наша по содержанию есть или образ, или понятие» [Там же: 166], Потебня разграничивает *образное (поэтическое)* и *понятийное (прозаическое, научное)* мышление. Для него поэзия

и проза — не исторически сменяющие друг друга возрасты и типы языка, как у И. Г. Гердера, не пути развития интеллектуальной сферы, как у В. фон Гумбольдта. В понимании А. А. Потебни, это *способы мышления*, приемы, *формы мысли*, причем «не какие-нибудь временные формы мысли, от которых человечество может отделаться с развитием, а формы постоянные, находящиеся в известном взаимодействии» [Потебня 1976: 487].

В генетически первичном *образном*, или поэтическом, мышлении Потебня выделяет два способа мышления: *мифический* и *собственно поэтический* — в зависимости от отношения сознания к связи между образом (представлением) и значением (содержанием). «...Сознание может относиться к образу двояко: 1) или так, что образ считается объективным и потому целиком переносится в значение и служит основанием для дальнейших заключений о свойствах означаемого; 2) или так, что образ рассматривается лишь как субъективное средство для перехода к значению и ни для каких дальнейших заключений не служит.

Первый способ мышления называем мифическим..., а второй — собственно *поэтическим*. Этот второй состоит в различении относительно субъективного и относительно объективного содержания мысли. Он выделяет научное мышление, тогда как при господстве первого собственно научное мышление невозможно» [Там же: 420–421].

Итак, образное мышление в самой своей основе неоднородно: различение относительно субъективного и относительно объективного содержания мысли характерно для бессознательного, различение того и другого — для сознания. Как видно, движение человеческой мысли от бессознательности к сознанию не ограничивается, в представлении Потебни, переходом от доязыкового мышления к языковому. Во взаимоотношениях между разными формами собственно языкового мышления имеет место сходное движение, и выражается оно «в переходе от признания объективной связи между изображением и изображаемым к ограничению и отрицанию этой связи» [Там же: 279]. Именно в этой последовательности мифическое мышление сменяется собственно поэтическим, а последнее — прозаическим (научным).

При мифическом способе мышления, т. е. «при состоянии мысли, не дающем возможности явственно разграничить субъективное познание от объективных его источников, слово, как наиболее явственный для сознания указатель на совершившийся акт познания, как центр относительно изменчивых элементов чувственного образа, должно было представляться сущностью вещи» [Там же: 446–447].

Собственно поэтическое мышление, а значит, «метафоричность выражения, понимаемая в тесном смысле, начинается одновременно со способностью человека сознать, удерживать различие между субъективным началом познающей мысли и тем ее течением, которое мы называем (неточно) действительностью, миром, объектом» [Потебня 1976: 434–435]. «По мере того как мысль посредством слова идеализируется и освобождается от подавляющего и раздробляющего ее влияния непосредственных чувственных восприятий, слово лишается исподволь своей образности. Тем самым полагается начало прозе, сущность коей — в известной сложности и отвлеченности мысли» [Там же: 210].

Однако движение языкового мышления, по наблюдениям Потебни (в частности над словообразованием), не является однонаправленным. Хотя «количество прозаических стихий в языке постоянно увеличивается согласно с естественным ходом развития мысли», с усложнением ее, с усилением ее отвлеченности [Там же: 210], «нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления» [Потебня 1958: 347], как того требует познание окружающего мира. Ведь в процессе познания «...непосредственную ценность для нас имеет только конкретное, и отвлечения создаются лишь ради разработки этого конкретного и подчинения его мысли» [Там же: 35]. Поэтому как в прошлом, так и в настоящем «...правильный ход мысли состоит в восхождении от частного к общему, а потом, на основании этого процесса, и в обратном движении» [Там же: 34]. Соответственно «образность языка, в общем, не уменьшается. Она исчезает только в отдельных словах и частях слов, но не в языке, ибо новые слова создаются постоянно, и тем больше, чем деятельнее мысль в языке, а неперемное условие таких слов есть живость представления. Чем сильнее развивается язык, тем более в нем количество слов этимологически прозрачных» [Потебня 1976: 369].

Таким образом, «...постоянная смена поэтического и прозаического мышления идет без конца и назад и вперед. <...> ...Ежеминутно мы нуждаемся в поэтической форме именно потому, что у нас в языке постоянно происходит мелкое, но в результате могучее превращение поэтических форм в прозаические, и наоборот, возникают новые поэтические формы из прозаических. Для создания мысли научной поэзия необходима» [Там же: 536]. «...Поэзия не раз когда-либо в прошедшем человечества и не изредка, от времени до времени, а постоянно служит источником науки, которая в свою очередь питает новое

поэтическое творчество» [Потебня 1976: 414]. Это взаимодействие поэзии и прозы как основных форм мысли обеспечивает возможность дальнейшего развития языка в целях удовлетворения опережающих потребностей мысли [Там же: 436].

Во второй половине XIX в. с обретением психологией статуса самостоятельной науки языковедение всё дальше отходит от картезианского отождествления психического с сознанием. Отказ от такого отождествления тесно связан с растущим осознанием роли бессознательного в языке, что особенно характерно в психологическом направлении лингвистики для младограмматиков.

В отличие от этнопсихологии М. Лацаруса и Г. Штейнтала **младограмматики** сосредоточили внимание не на социальной психологии, а на психологии отдельных индивидов.

Ведущий теоретик младограмматизма Г. ПАУЛЬ в своей книге «Принципы истории языка» (1880) исходит из того, что «все психические процессы протекают лишь в психике индивида и нигде больше. Ни народный дух, ни такие его элементы, как искусство, религия и т. д., не имеют самостоятельного бытия, и, следовательно, в них и между ними ничего происходить не может» [Пауль 1960: 34]. В частности, «...нет сознания, кроме сознания отдельных индивидов, и... о народном сознании можно говорить лишь метафорически в смысле большего или меньшего сходства явлений сознания у отдельных индивидов» [Там же: 37].

**Психика индивида и «народный дух».** Противопоставляя психику индивида, его сознание народному духу и сознанию, Г. Пауль, а вслед за ним также И. А. Бодуэн де Куртенэ, в сущности, имеют в виду *противоположение конкретного и абстрактного*. Под конкретным Пауль подразумевает «всегда нечто такое, что представляется *реально существующим* и данным в определенных пространственных и временных границах, под абстрактным — некое *общее понятие*, взятое само по себе содержание представлений, свободное от пространственных и временных ограничений» [Там же: 94; выделено мною. — Л. З.].

Это противоположение полностью тождественно отношениям в органическом мире. Как пишет Пауль, «великий переворот, произошедший в зоологии в новейшее время, в значительной мере обязан своим происхождением тому открытию, что реальным существованием обладают только индивиды, что виды, семейства и классы являются на деле лишь обобщениями и разграничениями, произвольно и по-разному устанавливаемыми человеческим умом» [Там же: 58].

Неудивительно, что и лежащая в основе языкознания «психология стала наукой лишь тогда, когда она перестала рассматривать абстракции душевных способностей как реальные самостоятельные предметы» [Пауль 1960: 35].

Значит, и в языкознании «мы должны признать..., что на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов» [Там же: 58]. Из этого следует, что «...каждый индивид обладает собственным языком» [Там же: 60]. «В порождении языка индивида принимает участие великое множество языков других индивидов, вообще всех, с кем он вступает в речевое общение на протяжении всей своей жизни, хотя и в различной мере» [Там же]. В итоге «общение — вот единственно то, что порождает язык индивида» [Там же].

«...Никаких языков, кроме индивидуальных, не существует» [Там же: 459]. «...Та совокупность узусов, которую описательная грамматика называет языком, является просто абстракцией, не имеющей соответствия в реальной действительности» [Там же: 474].

Стремясь устранить «опредмеченные абстракции, заслоняющие от глаз наблюдателя конкретные явления» [Там же: 35], и тем самым преодолеть заблуждения средневековых реалистов, объявлявших абстракции человеческого ума существующими *realiter* вещами [Там же: 34], Пауль решительно отказывается от такой принятой в этнопсихологии абстракции, как «народный дух»: «...Мы, естественно, не можем допустить существования общего духа и элементов этого общего духа» [Там же: 35]. Будучи абстракцией, народный (общий) дух не имеет реального существования.

На самом деле, «...всякое чисто психическое взаимодействие совершается в недрах души индивида. Психическое общение индивидов между собой не может быть прямым, оно всегда опосредовано физическими связями» [Там же: 35–36]. Выделяемый наряду с психическим организмом «физический компонент языка имеет лишь одно назначение — служить посредником при воздействии психических организмов друг на друга, и в этой функции он незаменим» [Там же: 50]. Ведь язык — продукт культуры [Там же: 25], а «чтобы произвести какой-либо продукт культуры, человеческий дух должен постоянно взаимодействовать с человеческим телом и окружающей природой» [Там же: 30]. В речевом общении «всё то..., благодаря чему становится возможным воздействие одного индивида на другого, не является психическим» [Там же: 36]. «Вызвать в другой душе сочетание представлений, соответствующее сочетанию представлений, возникшему

в ней самой, душа может не иначе, как только образуя с помощью моторных нервов физический продукт, который в свою очередь, возбуждая сенсорные нервы другого индивида, вызывает в его душе соответствующие представления, притом в соответствующей ассоциативной связи» [Пауль 1960: 37]. «Само по себе содержание представлений не может, следовательно, передаваться. Всё, что мы, как нам кажется, знаем о содержании представлений другого лица, покоится на выводах из наших собственных представлений» [Там же: 37–38]. «Таким образом, — заключает Пауль, — остается лишь признать, что в действительности существует лишь индивидуальная психология и что никакая этнопсихология... не может быть ей противопоставлена» [Там же: 36].

**Бессознательное и сознание в языке.** С точки зрения Г. Пауля, «самым значительным достижением современной психологии является, быть может, открытие, что многие психические процессы протекают не вполне осознанно и что всё побывавшее в сознании остается как потенция в сфере бессознательного. Эта истина, — утверждает Пауль, — имеет величайшее значение и для языкознания, и Штейнталь весьма широко применял ее в языковедных целях. Все проявления речевой деятельности вытекают из смутной сферы бессознательного. Все языковые средства, используемые говорящими, и, можно сказать, даже кое-что сверх того, чем он пользуется в обычных условиях, хранятся в сфере бессознательного в виде сложнейшего психического образования, состоящего из разнообразных сцеплений групп представлений. <...>

Они (эти группы. — Л. З.) являются следствием всего того, что появлялось ранее в сознании при слушании других и в процессе собственного говорения и мышления с помощью форм языка. Они обуславливают возможность повторного появления в сознании, при наличии благоприятных условий, того, что некогда в нем уже было, а следовательно, также возможность понимания или произнесения того, что ранее понималось или произносилось» [Там же: 46–47].

Сфера бессознательного охватывает весь язык. Она складывается под воздействием «спянного общением сообщества» [Там же: 79]. «Постоянное чувство согласия и единства каждого индивида с товарищами по общению вытекает из самой сущности языка как средства общения. Конечно, сознательного стремления к такому единству нет, но потребность в нем выражается всегда бессознательно как нечто само собой разумеющееся» [Там же: 77–78].



То же относится к порождению отдельных языковых явлений. «...Факты языка порождаются в общем без сознательного намерения», произвольно. Произвольность языковых процессов отличает язык как его «специфическая особенность». При этом, по мысли Пауля, «...следует отграничить естественное развитие языка от искусственного, осуществляемого путем преднамеренного вмешательства в развитие языка с целью нормирования. Сознательные устремления этого рода направлены преимущественно к созданию общего языка на определенной, раздробленной в диалектном отношении территории либо технического языка некоторых профессиональных групп». Но и такой «...искусственный язык вырастает лишь на базе естественного». Сознательное нормирование, считает Пауль, не устраняет действия факторов, определяющих естественное развитие. «Эти факторы продолжают действовать вопреки всякому вмешательству извне, и всё, что, будучи искусственно создано, входит в состав языка, подпадает под их воздействие» [Пауль 1960: 41].

«Несмотря на наличие потребности в норме, выдумать ее произвольно всё равно невозможно. Ведь даже и в этой области сознательные усилия людей не играют решающей роли, хотя здесь они имеют в общем гораздо большее значение, чем в естественном развитии языка. На первых порах в качестве нормы везде выступает не что-то созданное заново, а один из ранее существующих диалектов. Но даже и самый выбор между ними тоже происходит отнюдь не путем какой-то договоренности» [Там же: 491–492]. «С того момента, когда говорящие впервые осознали целесообразность применения такого диалекта для широкого общения, они начинают преднамеренно направлять его дальнейшее развитие» [Там же: 493]. «Более широкая централизация достигается обычно лишь в результате установления подлинных правил для устного преподавания, путем издания грамматик, словарей, учреждения академий и т. д. Но как бы ни была велика роль сознательности и преднамеренности в создании нормы литературного языка, всё это никогда не может приостановить ход бессознательного, непреднамеренного развития..., ибо оно неотделимо от всякой речевой деятельности» [Там же].

Бессознательное господствует как в устной, так и в письменной речи, но сравнительно с устной речью в письменной действие сознания усиливается. В частности, «орфография литературного языка служит в наши дни образцом для всех, неотступно присутствуя в нашем сознании» [Там же: 450]. «...В изменениях орфографии элемент осознанного намерения играет большую роль, чем в изменении



языка... Авторитет отдельных лиц оказывается здесь значительно более весомым, чем в вопросах языка» [Пауль 1960: 452].

Особое внимание Пауля привлекает наблюдаемая в письменной речи «тенденция к графическому различению одинаково звучащих слов с разным значением». «Этот способ дифференциации является одним из самых характерных признаков эмансипации письменной речи от речи устной, приобретения ею всё более самодовлеющего значения. Ведь недаром этот вид дифференциации возникает лишь тогда, когда уже существует подлинный литературный язык, отделившийся от диалектов; причем появляется этот способ дифференциации в результате сознательных размышлений грамматистов. В то же время любопытно отметить тот факт, что и мысль грамматистов тоже не создает новых написаний для того, чтобы отобразить важные с их точки зрения различия, а использует для этой цели лишь случайно возникшие варианты написаний. Там, где таких вариантов нет, стремление к дифференциации не может проявиться... К тому же оно вообще проявляется не во всех тех случаях, когда этого следовало бы ожидать» [Там же: 454]. Так или иначе действие осознанных намерений оказывается ограниченным и в этой области.

Соотношение бессознательного и сознания исторически изменчиво. В тот период развития человеческого рода, когда впервые возникает язык, «...во всех психических процессах вообще еще недостаточно проявляется намерение и сознание, ...в них еще мало индивидуальности» [Там же: 42].

Сравнение с данными истории других отраслей культуры позволяет Паулю оттенить специфические особенности языкового развития. В самом деле, «развитие социальных отношений, права, религии, поэзии и остальных видов искусства обнаруживает тем больше единообразия и тем сильнее производит впечатление естественной необходимости, чем примитивнее ступень развития, на которой находятся люди. Но если в этих областях в ходе исторического развития с возрастающей силой дают знать о себе преднамеренность и индивидуализм, то язык здесь в большей мере сохраняет черты первоначального состояния. При этом язык выступает в качестве первоосновы всякого дальнейшего духовного развития как отдельного лица, так и человеческого рода в целом» [Там же].

Тем не менее в языке, как и в иных отраслях культуры, «...древнейшие первообразования отличаются от позднейших новообразований. Возникновению последних может способствовать сознательное намерение сообщить что-то другим людям, в то

время как при создании древнейших первообразований этого намерения нет. <...> До возникновения языка человек даже и не знает, что с помощью звуков он может что-то сообщить другому человеку. Одного этого довода, пожалуй, уже достаточно для того, чтобы отвергнуть любые предположения о сознательном изобретении языка» [Пауль 1960: 224].

И всё же «изменения, совершаемые сознательно по воле отдельных лиц, отнюдь не исключены. Грамматики трудились над стабилизацией письменных языков. Терминология наук, искусств и ремесел упорядочена и обогащена усилиями мастеров, исследователей и изобретателей. В деспотическом государстве иногда могла проявиться прихоть монарха. <...> Роль такого произвольного установления бесконечно мала сравнительно с медленными, произвольными и бессознательными изменениями, которым непрестанно подвержен языковой узус» в речевой деятельности, а она «...исключает всякое преднамеренное воздействие на узус. В ней не обнаруживается ничего иного, кроме намерения, связанного с испытываемой в данный момент потребностью сделать свои желания и мысли достоянием других» [Там же: 53].

**Психический организм языка.** Согласно Г. Паулю, «представления появляются в сознании целыми группами и поэтому сохраняются в виде групп в области бессознательного» [Там же: 48], образуя психический организм, элементы которого вступают в определенные отношения друг с другом на основе тех или иных ассоциативных связей.

В сложившейся к тому времени ассоциативной психологии под *ассоциацией* понимается связь, образующаяся при определенных условиях между двумя и более психическими явлениями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, представлениями, идеями). Сложные процессы сознания считаются продуктом соединения элементов [ФЭС 1989: 42–43].

В описанном Паулем психическом организме языка действуют разные типы ассоциаций, а значит, и разные типы отношений. Прежде всего это ассоциации одних *рядов* психических явлений с другими. Так, «представления следующих друг за другом звуков ассоциируются с совершаемыми друг за другом движениями органов речи в целостный ряд. Звуковые ряды и ряды артикуляций ассоциируются между собой» [Пауль 1960: 48]. Отношения между членами ряда в Казанской лингвистической школе отнесены к ассоциациям по смежности, а у Ф. де Соссюра они названы синтагматическими.

«С этими (акустико-артикуляционными. — Л. З.) рядами в свою очередь ассоциируются представления, для которых они служат

символами, — притом не только представления синтаксических отношений; не только отдельные слова, но и большие звуковые ряды, целые предложения непосредственно ассоциируются с заключенным в них мыслительным содержанием. Эти по крайней мере вначале приходящие из внешнего мира группы образуют теперь в душе индивида более богатые и сложные соединения, которые лишь в меньшей своей части проявляются сознательно, продолжая затем действовать бессознательно, а в подавляющем большинстве никогда не достигают ясного осознания и тем не менее оказываются действительными» [Пауль 1960: 48].

За перечисленными ниже *группами* представлений, сходных по тому или иному признаку, стоят ассоциации по сходству (или различию), иначе говоря, парадигматические отношения. «Так ассоциируются между собой различные способы употребления слова или оборота речи. Так ассоциируются между собой по родству звуков и значения различные падежи одного и того же имени, различные времена, наклонения и лица одного глагола, различные производные образования от одного корня; далее, все сходные по функции слова, например все существительные, все прилагательные, все глаголы; все производные слова от разных корней, образованные с помощью данного суффикса; все одинаковые по функции формы различных слов, так, например, все родительные падежи, все формы страдательного залога, все перфекты, все конъюнктивы, все первые лица; все слова с одинаковым типом флексии, например в нововерхненемецком — все слабые глаголы с отличием от сильных... Слова, обнаруживающие частичное сходство в типе флексии в отличие от слов более далеких в этом отношении друг от друга, также могут объединяться в группы; равным образом ассоциируются между собой предложения, сходные либо по форме, либо по функции. И так же образуется еще множество типов ассоциаций, отчасти многократно опосредованных, имеющих большее или меньшее значение для жизни языка. Все эти ассоциации могут проявляться не вполне осознанно и тем не менее быть достаточно действительными» [Там же].

В случае ассоциативных связей парадигматического характера явно обнаруживаются *иерархические отношения* между группами, ибо «отдельные группы не существуют независимо друг от друга, на деле имеются более крупные группы, включающие в себя некоторое число более мелких групп, и все они взаимно перекрещиваются» [Там же: 128]. «Необходимо, следовательно, различать более близкие и более отдаленные связи» [Там же: 129].

**Психологические, логические и грамматические категории.**

Не менее важно, предупреждает Г. Пауль, не смешивать группы представлений в психическом организме языка «с категориями, получаемыми путем грамматической рефлексии, хотя обычно они и совпадают друг с другом» [Пауль 1960: 48], особенно часто в языках с менее развитыми формальными средствами [Там же: 344]. При этом надо иметь в виду, что «традиционные грамматические категории лишь весьма несовершенное средство для раскрытия внутренней группировки языковых фактов. Наша грамматическая система отнюдь не разработана с такой тщательностью, чтобы быть адекватной членению психологических групп» [Там же: 52].

Разграничение психологических и грамматических категорий и отношений осложняется необходимостью проводить также различие между логическими и грамматическими категориями, поскольку и между ними нет полного соответствия [Там же: 327]. Это видно, в частности, из анализа категории времени в глагольной системе. Пауль предложил свое, принципиально важное, разъяснение указанных расхождений. По его мнению, «грамматика и логика не совпадают прежде всего потому, что образование языка и его употребление осуществляются не с помощью строго логического мышления, а посредством естественного, не вышколенного движения совокупности представлений, которое в той или иной степени, — в зависимости от способностей или образования, — руководствуется логическими законами или вовсе не считается с ними. Но языковая форма выражения также не совпадает с реальным движением совокупности представлений, отличающимся то большей, то меньшей логической последовательностью, и психологические категории не тождественны грамматическим» [Там же: 57].

Итак, следует различать категории и отношения трех типов: психологические, логические и грамматические.

Отмеченное Г. Паулем «отсутствие всеобщих логических принципов» «для соотношений языковых явлений между собой» [Там же: 313], — помимо подавляющего действия сферы бессознательного и обозначенных выше особенностей языкового мышления, в котором логическое тесно переплетается с психологическим, — объясняется также тем, что, несмотря на воздействие языкового узуса (а оно, несомненно, нивелирует индивидуальные различия, особенно при непрерывном и непосредственном живом общении), «организм, образуемый относящимися к языку группами представлений, развивается у каждого индивида по-своему, приобретая тем самым своеобразную

форму. Даже если такие индивидуальные организмы образованы из вполне одинаковых элементов, то и в этом случае они отличаются один от другого порядком, частотой и интенсивностью появления этих элементов в душе, а также составом группировок, вследствие чего по-разному складывается соотношение сил между различными элементами и самый способ их группировки» [Пауль 1960: 49]. К тому же ни состав группировок, ни соотношение элементов, ни способ их группировки не статичны, ибо «...психический организм, образуемый всеми этими группами представлений, находится у каждого индивида в состоянии непрерывного изменения» [Там же: 48]. В этих условиях логическое мышление лишается статуса универсальности и на первый план выдвигается соотношение психологических категорий с грамматическими.

Действительное соотношение психологических и грамматических категорий, как показывает Г. Пауль, отчетливо выявляется лишь при историческом взгляде на язык. «Всякая грамматическая категория возникает на основе психологической. Первая представляет собой первоначально не что иное, как внешнее выражение второй. Как только действительность психологической категории начинает обнаруживаться в языковых средствах, эта категория становится грамматической. С созданием грамматической категории действительность психологической, однако, не уничтожается. Психологическая категория независима от языка; существуя до возникновения грамматической категории, она продолжает функционировать и после ее возникновения. Благодаря этому гармония, существовавшая первоначально между обеими категориями, с течением времени может быть нарушена. Грамматическая категория является в известной мере застывшей формой психологической категории; она связана с устойчивой традицией. Психологическая же постоянно остается чем-то свободным, живым, принимающим различный облик в зависимости от индивидуального восприятия. Кроме того, изменение значения очень часто способствует тому, что грамматическая категория не остается адекватной категории психологической. Если затем появляется тенденция к выравниванию, то происходит сдвиг грамматической категории, при котором могут возникнуть своеобразные соотношения, не укладывающиеся в существовавшие до того категории» [Там же: 315].

**И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ** поддерживает основные принципы «превосходной», по его признанию, работы Г. Пауля: психологизм, индивидуализм, историзм. Однако он расходится с младограмматиками

в ряде существенных моментов, что мешает причислить его к последовательным приверженцам младограмматизма (ср. [Виноградов В. В. 1963: 11–12]).

**Язык и психика.** И. А. Бодуэн де Куртенэ считает себя «сторонником того направления в языковедении, которое во всех явлениях языка усматривает в первую очередь психический фактор» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 266].

По определению Бодуэна, генетически язык — это универсальный рефлекс «духа» на раздражения и возбуждения со стороны внешнего мира [Там же, II: 66, 72]. Физиологическим субстратом психических процессов служит мозг. «Без мозга нет психических явлений» [Там же, II: 56], так что психичность можно понимать как церебральность [Там же, II: 57].

Как и Г. Пауль, И. А. Бодуэн де Куртенэ признает реально существующими только языки отдельных индивидуумов: «...реально существует только индивидуальный язык как совокупность произносительных и слуховых представлений, соединенных с другими лингвистическими и нелингвистическими представлениями» [Там же, II: 193], с обширным царством значений, которое является «самой внутренней стороной языка» [Там же, I: 260–261]. «С позиции говорящего индивидуума язык есть явление насквозь психическое. Основа всех его проявлений исключительно психическая, центрально-мозговая» [Там же, I: 196].

Поэтому в статье, посвященной Н. В. Крушевскому (1888), И. А. Бодуэн де Куртенэ не принимает укоренившееся в лингвистике понятие дуализма в языке, когда наряду с психическим организмом в языке выделяется физический компонент (Г. Пауль) и язык представляется соединением подсознательно-психических явлений с явлениями физиологическо-акустическими (Н. В. Крушевский). Подобный дуализм И. А. Бодуэн де Куртенэ считает следствием недостаточного понимания природы языка, рассматривающегося в оторванности от человека как не только психического, но вместе с тем и общественного индивидуума [Там же, I: 187–188, 200]. Бодуэн надеется, что со временем победит монистический взгляд. Соответственно язык предстанет как «явление насквозь, однородно психично-общественное» [Там же, I: 200–201].

Сам Бодуэн к такому монистическому взгляду на язык идет всю жизнь, чтобы уяснить, каким образом совмещаются в языке столь различные стороны. В этом нетрудно убедиться, проследив в хронологическом порядке данные им определения языка.

Двустороннее понимание языка, в том числе основывающееся на неразрывной связи физических и психических элементов, звуковой и психической сторон, Бодуэн развивает начиная с одной из ранних работ 1870 г. «Некоторые общие замечания о языковедении и языке» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 47–77]. В ней автор, в сущности предвосхищая сосюрсовское разграничение языка и речи (ср. [Виноградов В. В. 1963: 12]), обращает внимание «на различие языка как определенного комплекса известных составных частей и категорий, существующего только *in potentia* и в собрании всех индивидуальных оттенков, от языка как беспрерывно повторяющегося процесса, основывающегося на общительном характере человека и его потребности воплощать свои мысли в ощущаемые продукты собственного организма и сообщать их существам ему подобным, то есть другим людям (язык — речь — слово человеческое)» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 77]. Определение языка как комплекса составных частей дополняется чрезвычайно важным авторским примечанием: «С этой точки зрения язык (наречие, говор, *даже язык индивидуальный*) существует не как единичное целое, а просто как *видовое понятие*, как категория, под которую можно подогнать известную сумму действительных явлений. Ср. тоже различие науки как *идеала*, как суммы всех научных данных, исследований и выводов от науки как беспрерывно повторяющегося научного *процесса*» [Там же; выделено мною. — Л. 3.]. Таким образом, в приведенном определении языка имеет место противоположение видового понятия, идеала процессу. (С указанным определением перекликается одна из поздних дефиниций языка — 1907 г., согласно которой «...он представляет собой орудие и деятельность» [Там же, II: 140].)

В следующем по времени определении также наблюдается фактически тот самый дуализм в трактовке языка, который был отвергнут Бодуэном в 1888 г. В самом деле, тремя годами ранее — в 1885 г., имея в виду язык говорящего индивида, он пишет: «В языке мы различаем две стороны, психическую и физиологическую, церебрацию и фонацию, иначе говоря: 1) язык в точном значении этого слова и 2) произношение. Сущность языка составляет, естественно, только церебрация, т. е. мозговой процесс, унаследованный и приобретенный путем зоологического развития и под влиянием окружения, приобщенного к общественной жизни. Фонация, однако, необходима как конечный знак церебрации, как связующее звено, посредничающее между церебрациями разных индивидов, способных общаться с помощью языка» [Там же, I: 144].



В программной статье 1889 г. «О задачах языкознания» церебрация и фонация противоплагаются по признакам: внутренний — внешний, центральный — периферический, духовный — чувственный, мозговой — немозговой. «В языке каждой особи мы различаем сторону внутреннюю, центральную и сторону внешнюю, периферическую, т. е. различаем духовную, или мозговую, сторону и чувственную сторону, или область немозговых нервов; иначе говоря, мы различаем язык и говорение» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 212].

В идеальной картине племенного языка «прежде всего мы должны выделить совокупность движений речевого аппарата, движений, зависящих от навыка, от привычки и возможных только в связи с нервным центром, с мозгом. С другой стороны, эти движения речевого аппарата находятся в тесной связи с голосом, с акустикой речи.

В противоположность этой внешней стороне мы имеем в языке внутреннюю (центральную) сторону, сторону психическую, также тесно связанную с произносительными и слуховыми представлениями.

Первая сторона составляет фонацию, или говорение, вторая — церебрацию, или речь вообще» [Там же].

Итак, в языке индивида на первом плане как будто оказывается церебрация, а в языке племени — фонация. Однако и в последнем случае ведущим началом, по всей вероятности, тоже является церебрация. Бодуэн убежден: «Все, что касается человеческого языка, как языка, сосредоточивается в мозгу. Без мозга, без души может существовать говорящая машина, но не человек, мыслящий и общественный, а мышление и общественность суть необходимые условия реального языка» [Там же; выделено мною. — Л. 3.]. О том, что язык зависит не только от условий индивидуального языкового мышления, но и от условий социального общения, Бодуэн пишет и позднее [Там же, II: 193, 204].

Главное в языке — церебрация, психическая сторона, проявляющая свое действие и во внешней стороне. Особая значимость психического во внешней, звуковой стороне языка обосновывается в 1893 г. в статье «Человечество языка»: «...чтобы язык мог реализоваться во внешних, периферических органах речи, он должен реально существовать, жить постоянной непрекращающейся жизнью в языковом центре, в органе церебрации, — будем ли мы считать таковым мозг или независимую от него душу. Доступные слуху звуки и соответствующие им работы органов речи имеют лишь преходящее, временное, исчезающее бытие; истинная, действительно языковая



жизнь присуща лишь образам памяти, лишь представлениям этих звуков и работ. Во всех частях и частицах языка, как бы много физического мы в нем ни находили, пульсирует и может пульсировать лишь чисто психическая жизнь» [Бодуэн де Куртене 1963, I: 260].

В соответствии с таким пониманием языка Бодуэн разрабатывает учение о фонеме как психическом эквиваленте звука, как едином, непреходящем образе / представлении, возникшем путем психического слияния целого ряда впечатлений, полученных от произнесения одного и того же звука в разных фонетических условиях [Там же, I: 351–352]. «Значит, в каждом произношении, — приходит к выводу ученый, — мы должны различать две стороны: 1) отражающуюся в психическом центре, 2) чисто периферийную, чисто внешнюю.

Изучение произношения, или фонации, может быть двояким: 1) изучение чисто произносительной, или фонационной, стороны как физического явления, независимо от языка в точном значении этого слова; 2) изучение психической стороны произношения, стороны представлений, в связи с живым языком. <...> При изучении произношения как **физического** явления мы имеем дело со **звуками** языка, а при изучении **психической** стороны произношения — с фонетическими представлениями, **с фонемами**...» [Там же, I: 353–354; выделено мною. — Л. 3.].

По-видимому, именно наличие в произношении своей психической стороны позволяет Бодуэну уже в конце XIX в. отказаться от прежнего противопоставления психического и физиологического (церебрации и фонации) в пользу различения психического и социального. Вот относящиеся сюда «некоторые из общих положений, к которым довели Бодуэна его наблюдения и исследования явлений языка» (1897): «3) Сущность человеческого языка исключительно психическая. Существование и развитие языка обусловлено чисто психическими законами. Нет и не может быть в речи человеческой или в языке ни одного явления, которое не было бы вместе с тем психическим. 4) Так как язык возможен только в человеческом обществе, то кроме психической стороны мы должны отмечать в нем всегда сторону социальную» [Там же, I: 348].

В определениях, предложенных Бодуэном в начале XX в., последовательно уточняются оба взаимосвязанных фактора — психический и социальный.

Поскольку «...язык в основе своей принадлежит всецело к области явлений **социально-психических**», постольку, по заключению

Бодуэна, данному в 1905 г., «...настоящей причинной связи явлений языка, как и всех других комплексов представлений психически-социального мира, следует искать, с одной стороны, в *индивидуально-психических центрах* отдельных людей как членов известным образом оязыковленного общества, с другой же стороны, в *социально-психическом общении* членов языкового общества» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 118; выделено мною. — Л. 3.].

Реально существующие индивидуальные языки представляют собой комплексы упорядоченных представлений [Там же, II: 131].

В 1908 г. определение языка существенно дополняется путем введения коллективно-психического компонента, с одной стороны, и указания на средства, обеспечивающие социальное общение, с другой стороны. Соответственно «в языке мы различаем его постоянное психическое существование, как *индивидуально-психическое*, так и *коллективно-психическое*, постоянное психическое существование языковых представлений и передачу этих представлений от индивида к индивиду *в результате социального общения с помощью физиологических и физических средств*» [Там же, II: 163; выделено мною. — Л. 3.]. Таким образом и внешний мир оказывается вовлеченным в процесс языкового общения не только как важнейший поставщик внеязыковых семантических представлений. «В случаях общения между индивидами ассоциированные между собой произносительно-слуховые и письменно-зрительные представления передаются во внешний мир, который в результате становится необходимым *условием обобществления и связующим звеном* между членами данного племени или народа» [Там же, II: 296; выделено мною. — Л. 3.].

Наконец, в 1929 г. в одной из последних своих работ Бодуэн делает вывод: «...В собственно языке, т. е. в фактически существующем индивидуальном языковом мышлении, мы находим... психически живые психо-фонетические явления, образы, факты и психическо-социальные процессы», которые имеют место в языковом общении, т. е. в коллективно-языковой жизни, когда «...говорящий через посредство психики дает слушающему понять, что он в данный момент мобилизовал ряд своих языковых представлений, а слушающий воспринимает образующиеся при этом впечатления и чувства» [Там же, II: 338].

Включение в собственно язык, в языковое мышление *психическо-социальных процессов* представляется особенно важным. Хотя И. А. Бодуэн де Куртенэ отличает условия индивидуального языкового мышления от условий социального общения [Там же, II: 193, 204],

однако индивид с его мышлением — это, по Бодуэну, человек, наделенный общительным характером и потребностью сообщать свои мысли другим людям, это всегда член определенным образом оязыковленного общества, короче, это всегда «общественный индивид» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 295]. Социальный аспект человеческих индивидов неотделим от них самих, особенно если, следуя Бодуэну, рассматривать их «как представителей всего человечества, обладающих речевой способностью вообще и входящих в определенную лингвистическую общность в частности» [Там же, II: 194–195]. Отсюда не только индивидуально-психическое, но и коллективно-психическое существование языковых представлений. Выделение же коллективно-психического существования языковых представлений предполагает, в свою очередь, наличие в индивидуальном языковом мышлении также психическо-социальных процессов. Поэтому-то собственно язык, т. е. индивидуальное языковое мышление, представляет собой психо-социальное явление.

Исходя из понимания языка как психо-социального орудия [Там же, II: 151], Бодуэн формулирует требования к изучению языка и уточняет статус языкознания в системе наук.

С позиций Бодуэна, «первым, кардинальным требованием объективного исследования должно быть признано убеждение в безусловной психичности (психологичности) и социальности (социологичности) человеческой речи» [Там же, II: 17]. «Так как основа языка является чисто психической, центрально-мозговой, то, следовательно, языкознание относится к психологическим наукам. Но так как язык может реализоваться только в обществе и так как психическое развитие человека вообще возможно только в общении с другими людьми, следовательно, мы имеем право сказать, что языкознание — наука психологично-социологическая. <...> В связи с тем, что в языке действуют и психические, и общественные факторы, мы должны считать вспомогательными для языкознания науками главным образом психологию, а затем социологию как науку об общении людей в обществе, науку об общественной жизни» [Там же, I: 217] (см. также: [Там же, I: 348, 353]).

Когда Бодуэн заявляет о своем отождествлении социологии «с так называемой психологией народов (Völkerpsychologie)» [Там же, II: 94], то тем самым он ставит социологию на место, которое отводилось ранее психологии народов. Неприятие этнической психологии Бодуэн объясняет характером языкового общения: «Нет и не может быть непосредственных сношений между “душами”, поэтому бессмысленно

говорить об общей душе, признавать “этническую психологию”, “психологию народов” (Völkerpsychologie) в прямом смысле этого слова. “Души” могут общаться между собой исключительно при помощи *органического* мира (индивидуального и коллективного) и при помощи внешнего мира, вселенной» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 190].

В социальном общении между людьми кроме *физического* мира (вселенной) и органического мира (биологических и физиологических организмов как передатчиков или проводников языковых представлений от одного индивида к другому) Бодуэн выделяет еще два мира — «психический мир индивида как реальную базу существования языковых идей в их непрерывной длительности» [Там же, II: 191] и связанный с наличием речевой способности с оци а л ь н ы й мир, в котором происходит «циркуляция идей, выраженных в языке, от одного индивида к другому через посредство человеческого организма и внешнего мира» [Там же, II: 192]. Однако, характеризуя человека в целом, Бодуэн говорит о его принадлежности не к ч е т ы р е м, а к тр е м мирам: ко вселенной, к органическому миру и к миру психо-социальному [Там же, II: 191]. Поскольку «...существование личности возможно лишь при условии ее сосуществования с другими подобными ей личностями» [Там же, II: 190], постольку существует не два отдельных мира — психический и социальный, а *единый* психо-социальный мир. Его единство обусловлено тем, что «психический мир не может развиваться без мира социального, а социальный мир зависит от коллективного существования психических единиц» [Там же, II: 191].

Социальный аспект человеческих индивидов обнаруживается в их языке как «психическо-общественном явлении» [Там же, II: 174]. Поэтому-то Бодуэн, рассматривая человеческих индивидов в социальном аспекте, характеризует их по тому, в какую языковую общность они входят и, следовательно, каким племенным или национальным языком они владеют. Применительно к последнему Бодуэн вводит понятие *коллективной индивидуальности* [Там же, II: 207]. «... (Определенный характерный язык) как реальность, как нечто действительно существующее, может быть исключительно индивидуальным явлением, или, вернее, к о л л е к т и в н о - и н д и в и д у а л ь н ы м (явлением коллективным и индивидуальным)» [Там же, II: 190]. Этнические или национальные языки лишены объективного существования и существуют «исключительно в мирах индивидуально-психических, как смутная и неопределенная идея» [Там же, II: 191].

«Язык племенной и национальный является чистой отвлеченностью, обобщающей конструкцией, созданной из целого ряда реально существующих индивидуальных языков» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 71]. Это язык–идеал [Там же, I: 211–212], язык–абстракция [Там же, I: 228; II: 102].

Руководствуясь указанным различием, Бодуэн считает ошибочным смешение идеи индивидуального языка с идеей «среднего» языка (этнического или национального). Такую ошибку допускают младограмматики, когда они, отвлекаясь, по мнению Бодуэна, от социального общения людей, игнорируют тот факт, что «...общее абстрактное понятие этнического и национального языка растворяется во множественности индивидуумов, во множественности реально существующих миров, говорящих и слушающих, посредником между которыми является внешний мир» [Там же, II: 206].

В соответствии с различием индивидуальных и коллективно-индивидуальных языков необходимо проводить различие как между индивидуальными, так и между коллективно-индивидуальными видами разума и мышления [Там же, II: 202], следует различать психические системы отдельных индивидов и коллективно-индивидуальные психические системы [Там же, II: 194, 204], индивидуальные и коллективно-индивидуальные особенности психической системы индивида. По заключению Бодуэна, «в конце концов трудно провести грань между индивидуально-коллективными и чисто индивидуальными особенностями. Можно сказать, что повторяемость индивидуальных особенностей колеблется между I (особенности, встречающиеся только у данного индивидуума) и  $\Sigma$  (особенности, общие для всех членов данного языкового коллектива)» [Там же, II: 197].

#### **Наследственный и социальный факторы становления языка.**

В силу своей принадлежности ко вселенной, к органическому миру и к миру психо-социальному человек существует во внешнем мире как биологический, психический и общественный индивид, непрерывно меняющийся от зачатия до смерти [Там же, II: 191]. Вот почему, говоря о становлении индивидуального языка, Бодуэн считает должным «обратить внимание на наследственность и на приспособление к условиям физического и социального мира», тем более что «...это приспособление начинает развиваться уже в зародышевом состоянии индивида» [Там же, II: 195].

Единственно научное объяснение возникновения языка дает эволюционная теория, идущая от Эпикура и Лукреция: «...человеческий

язык произошел путем эволюции, путем постепенного, бессознательного, естественного, произвольного развития, путем восхождения от более низких ступеней человеческого развития к ступеням более высоким» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 84–85].

«Филогенетическое становление языка, т. е. возникновение языка, или речи, у всего человеческого рода, мы должны представить себе, — пишет Бодуэн, — прежде всего как результат рефлексов мозга, или “духа”, на раздражения внешнего мира» [Там же, II: 60], который является необходимым условием обобществления и связующим звеном между членами данного племени или народа [Там же, II: 296]. И язык, и общество, и все другие проявления человеческой деятельности возникают путем межчеловеческого общения [Там же, II: 130].

Начало индивидуального языка отличается от филогенетического по своим условиям: «...каждый ребенок наследует у предков языковое предрасположение, языковые способности и находит сразу людей кругом него говорящих, находит готовую языковую среду, возбуждающе на него действующую. Ни того, ни другого не было в зачаточной стадии человеческого языка вообще, т. е. в то время, когда зарождался первобытный язык. <...> Индивидуальный язык рождается и возникает вместе с мозгом, вместе с психикой каждого отдельного человека; хотя человек говорит не сразу, но он приносит с собою способность говорить, а затем, под влиянием окружающих, происходит постепенное развитие и рост данного индивидуального языка» [Там же, II: 84; выделено мною. — Л. З.].

«В процессе постепенного усвоения языка ребенок проходит различные стадии: сначала он ничего не понимает; затем он начинает понимать язык окружающих, но еще не умеет говорить, то есть он находится в состоянии аудиции и пассивной языковой перцепции; наконец, он начинает говорить сам, становится деятельным в языковом отношении, и не только посредством аудиции и перцепции, но и посредством фонации. Само собой разумеется, что языковая церебрация, или языковое мышление, однажды придя в движение, образует постоянную основу приобретения индивидуального языка» [Там же, I: 336]. При этом, вопреки существующим представлениям, «ребенок не повторяет вовсе в сокращении языкового развития целого племени, но, напротив того, ребенок захватывает в будущее, предсказывая особенностями своей речи будущее состояние племенного языка, и только впоследствии пятится, так сказать, назад, всё более и более приравливаясь к нормальному языку окружающих» [Там же, I: 349–350].

Выделив два фактора, участвующие в становлении индивидуального языка, — наследственный (биологический и психологический [Бодуэн де Куртэнэ 1963, II: 195]) и социальный, Бодуэн не приемлет биологический детерминизм, проявившийся, в частности, в концепции А. Шлейхера. Хотя он и признает «наследственность мозга и наследственность способностей, в том числе языковых» [Там же, II: 57], а также «наследственные черты в строении органов произношения (прежде всего — в гистологическом строении), наследственность в области общей речевой способности и, в частности, способности говорить на определенном языке, наследственность определенных произносительных и слуховых способностей и тенденций» [Там же, II: 195], но в то же время полагает, что «язык не может быть унаследован» [Там же, I: 335] и «отдельные языки ни в коем случае не суть нечто само по себе врожденное» [Там же, II: 139]. Бодуэн строго различает биологическое и социальное, биологическое и лингвистическое в образовании индивидуального языка, причем на первый план он выводит социальное начало. «Наследственность является биологическим фактором, тогда как каждый индивид приобретает язык путем социального общения» [Там же, I: 335].

Преимущественное значение социального общения, языковой среды, «лингвистических предков» в сравнении с биологической наследственностью доказывается, в частности, тем, что «китайский или готтентотский по своему рождению ребенок свободно может в языковом отношении стать немцем, если он с самого начала будет воспитываться в немецкой среде, и наоборот. Лингвистические предки — это, таким образом, нечто совсем иное, нежели биологические предки». От биологических предков человек наследует «только самые общие предпосылки языка» [Там же, II: 139], «только способность к овладению языком вообще» [Там же, I: 335], «только языковые способности, языковое предрасположение вообще» [Там же, II: 89].

Что касается специфических «этнографических» (этнических) особенностей, то из них передаются путем наследования (да и то лишь «может быть») «минимальные наклонности к языковому развитию в том или другом направлении» [Там же], «лишь минимальные различия, в минимальной степени различающиеся тенденции» [Там же, II: 139]. Тем не менее «в известных мелких особенностях произношения даже через несколько поколений может сказываться происхождение известного индивида, чуждого данному племени» [Там же, II: 89]. Кроме того, можно унаследовать «склонности к некоторым



определенным направлениям изменений, совершающихся в структуре языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 335].

На этом основании Бодуэн находит возможным «прибегнуть именно к наследственности, чтобы объяснить постоянство происходящих в языке исторических изменений, и именно следующим образом: самые радикальные изменения совершаются во всякое время в языке детей данного языкового сообщества. Глубже всего идут фонетические изменения, выравнивание форм и т. п. В дальнейшем дети постепенно возвращаются к языковому состоянию взрослых, но известная часть изменений, совершившихся в их детском языке, может остаться и в дальнейшем в их индивидуальном языке и, что важнее всего, склонности к таким изменениям, хотя они и возникают у следующего поколения сами собой, спонтанно, переходят к этому поколению путем наследственности. Собираясь или накапливаясь и усиливаясь в ряде поколений, эти изменения, наконец, становятся настолько сильными, что окончательно укрепляются в языке» [Там же, I: 335–336].

**Язык в отношении к бессознательному и сознанию.** В соответствии с психологическими установлениями своего времени И. А. Бодуэн де Куртенэ считает ошибочным отождествление психики с сознанием: «Сознание нельзя отождествлять с психическим движением. Сознание — это только огонек, освещающий отдельные стадии этого “движения”, этой последовательности изменений» [Там же, II: 66]. «Психично не то, что является сознательным, а то, что может быть осознано как представление, понятие или группа представлений и понятий» [Там же, II: 58]. «Психические процессы бессознательны, но они могут быть осознаны. . . . Потенциальная осознаваемость фактически равна бессознательности» [Там же, II: 66].

И. А. Бодуэн де Куртенэ воздает должное бессознательному за десять лет до выхода в свет книги Г. Пауля. Уже в 1870 г. среди общих причин и факторов, вызывающих развитие языка и обуславливающих его строй и состав, Бодуэн называет привычку, т. е. бессознательную память; стремление к удобству в говорении, слушании, движении мысли; бессознательное забвение и непонимание того, чего сознательно не знали и не понимали; бессознательное обобщение (подведение отдельных слов или форм под известные общие категории); бессознательное отвлечение, бессознательное стремление к разделению, к дифференцировке [Там же, I: 58, 102].

Вместе с тем Бодуэн доказывает, что *язык не свободен от вмешательства сознания*. По самой своей функции язык — это психо-



социальное *орудие*, которое существует для человека, и он обязан совершенствоваться «столь важное и неизбежное орудие, каким является именно язык» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 151]. Более того, «...надо овладеть им и подчинить его себе еще в большей степени, нежели другие области психо-социальной или душевно-общественной жизни» [Там же]. Иначе говоря, «...человек должен владеть им еще более полно и сделать его еще более зависимым от своего сознательного вмешательства» [Там же, II: 140].

Во всяком случае, «на известной степени развития человечества» влияние сознания на язык несомненно обнаруживается. В цитированной ранней работе 1870 г. Бодуэн называет важнейшие проявления данного влияния. «Это влияние однообразит формы языка и по-своему совершенствует его, являясь, таким образом, следствием стремления к идеальному... Хотя влияние сознания на язык проявляется вполне сознательно только у некоторых индивидуумов, но всё-таки его последствия сообщаются всему народу, и таким образом оно задерживает развитие языка, противодействуя влиянию бессознательных сил, обуславливающих в общем более скорое его развитие, и противодействуя именно с целью — сделать язык общим орудием объединения и взаимного понимания всех современных членов народа, равно как и предков, и потомков. Отсюда застой в известной степени в языках, подверженных влиянию человеческого сознания, в противоположность скорому и безыскусственному течению языков, свободных от такого влияния. В связи с влиянием сознания находится (сознательное и бессознательное) влияние книг и литературы вообще на язык литературно образованного народа..., влияние грамотности на народный язык...» [Там же, I: 58–59].

Неоднократно констатируя существенные отличия писанно- или письменно-зрительного языка от произносительно-слухового, Бодуэн объясняет их несоизмеримость разным соотношением сознания и бессознательного. Произносительно-слуховой язык — это «продукт природы в самом широком значении этого слова». Он возник «естественным» путем «в основном вне сферы сознания и воли людей» [Там же, II: 319]. «В отличие от этого, язык зрительный, язык оптический (точнее: писанно-зрительный, или графически-оптический) появился путем “искусственным”, как человеческое изобретение, как продукт культуры» [Там же, II: 256].

В полемике с противниками искусственных языков Бодуэн приводит «неопровержимые факты вмешательства сознания в жизнь языка» [Там же, II: 152], даже если он возник «естественным» путем.

«...Обыкновенно только один язык усваивается без участия воли как своей собственной, так и чужой. Это — язык родной» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 137]. Но и в родном языке, и в других «естественных» языках «...мы ограничиваем и преднамеренно изменяем “естественное течение” языковой жизни “искусственным” и сознательно направляемым вмешательством» [Там же, II: 140]. Оно имеет место при всяком обучении языку — всё равно «родной» ли это язык или иностранный, поскольку само «использование языка как предмета изучения с целью способствовать развитию ума состоит в осознательности родного языка», а также других усвоенных языков [Там же, II: 138]. Вообще любое стремление к идеальной языковой норме предполагает участие человеческого сознания в жизни языка [Там же, II: 152]. Поэтому «когда мы исправляем языковые “ошибки” и “описки”, мы грешим против принципа естественности. Всякий языковой пуризм, всякое гонение на языковых “чужаков”, с одной стороны, и все орфографические реформы, с другой, принадлежат к числу искусственных приемов, ограничивающих естественный ход вещей. Множество новых выражений, научных и других технических терминов (*termini tecnici*) возникает только “искусственным” путем, т. е. благодаря сознательному регулированию» [Там же, II: 140].

Представление о невозможности изобрести язык тоже ложно. Оно опровергается бесспорными случаями действительных изобретений языка, перечисленными Бодуэном в статье «К критике международных искусственных языков» (1907). В его понимании, «такие изобретения возникают либо “бессознательно”, вернее полусознательно, благодаря действию “элементарных стремлений”, либо сознательно, преднамеренно, совершенно “искусственным” путем. К первой категории относятся все “искусственные” пограничные языки, “смешанные” языки, с помощью которых осуществляется общение между разноязычными народами (например, между русскими и китайцами, между англичанами и китайцами и т. д.), затем тайные языки и аргос студентов, уличных мальчишек, бродяг и т. д. — в различных странах и в разные времена. Вторая категория включает в себя более или менее “научно” построенные “искусственные” языки, претендующие на то, чтобы функционировать в качестве международных вспомогательных языков» [Там же].

Годом позже в статье «Вспомогательный международный язык» (1908) языки первой категории были разделены на две группы, также различающиеся по степени вмешательства со стороны сознания. Тем самым в соответствии с долей сознательного творчества образуются

три группы искусственных языков. «Итак, у нас имеются 1) известные “искусственные” языки, возникающие “бессознательно” под влиянием “стихийных” факторов, т. е. как результаты собирательного общественного труда. Но уже в этих языках мы можем констатировать содействие сознательной целесообразности или же целесообразного сознания. 2) В значительно большей степени элемент сознания и целесообразности свойствен “языкам” условным, конвенциональным, возникающим в известных закрытых, самодовлеющих кружках и обществах. 3) А уже вполне сознательным выбором и обдумыванием отличаются языки искусственные в строгом смысле этого слова, языки, выдуманные или отдельными изобретателями, или же небольшою группою людей и предназначенные для того, чтобы играть роль международных языков» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 152; нумерация моя. — Л. 3.]. «... Такой “искусственный” язык не передается во власть “стихийных сил”, ибо он должен оставаться под постоянным контролем сознания именно как язык “искусственный”, т. е. как язык сознательно созданный, сознательно передаваемый, сознательно усваиваемый и сознательно воспроизводимый» [Там же, II: 160].

**Язык и мышление.** Согласно И. А. Бодуэну де Куртенэ, «первым проявлением реакции одухотворенного мозга на внешние раздражения является мысль и язык» [Там же, II: 66], из чего следует, что мышление и язык представляются ему как единое целое, хотя в принципе он допускает и внеязыковое мышление [Там же, II: 71, 177].

Бодуэн а priori признает «взаимную зависимость физиологической стороны мозга вместе с продолжением в ней непрерывной физической энергии, с одной стороны, и мышления вместе с языком, с другой.

1) С одной стороны, мышление и язык зависят от мозга. <...>

Результатом обветшания мозга являются забывание и неспособность владеть языком. Фактом является также наследственность мозга и наследственность способностей, в том числе языковых.

2) С другой стороны, очевидно, умственное развитие совершенствует мозговую субстанцию» [Там же, II: 57].

В том мышлении, которое осуществляется в формах языка, И. А. Бодуэн де Куртенэ различает три области: *мышление языковое*, присущее носителям определенной языковой общности (племени, народу, нации); *мышление языковедное*, или лингвистическое, характеризующее научное (теоретическое) мышление о языке; *мышление вообще*.

«...Язык был и есть непременно условие мышления, но мышления вообще» [Там же, I: 227]. Мышление вообще характеризует

человека безотносительно к его этнической принадлежности. Это свойство «человека вообще» в отличие от животных и особенность человеческого языка в отличие от звуков, издаваемых животными.

Бодуэн не всегда четко разделяет «мышление вообще» и «языковое мышление», связанные между собой отношением общего и отдельного. Выявленные по текстам Бодуэна *общие свойства языкового мышления* характеризуют его как единое во многом. К ним могут быть отнесены следующие характеристики.

1) Под языковым мышлением, или языковой церебрацией, понимается «умственное движение в самом мозговом центре» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 228], «в резервуаре всего запаса языковых представлений» [Там же, I: 226]. Причем церебрация, взятая в узком смысле — применительно к языку, отождествляется с языковым мышлением: «...самое важное для продолжения существования языка, — церебрация, — есть закрепление всего того, что относится к языку, сохранение и обработка всех языковых представлений в языковой сокровищнице души, есть языковое мышление» [Там же, I: 263] (ср. [II: 261]).

2) Языковое мышление основано на индивидуальной и коллективно-индивидуальной человеческой психике [Там же, II: 326].

3) Упорядочение языкового мышления, его организация осуществляются главным образом с помощью ассоциаций. «...Всё происходящее в языковом мышлении, — утверждает Бодуэн, — сводится к ассоциациям представлений или идей» [Там же, II: 177].

«...Основная жизнь языка заключается в ассоциации представлений в самых различных направлениях:

а) в направлении делимости предложений и слов на их составные морфологические части, или морфемы;

б) в направлении физического и психического подчеркивания некоторых частей мыслимого и произносимого слова;

с) в направлении представлений структуры языка, т. е. структуры предложений и слов;

д) в направлении ассоциации собственно языковых представлений с внеязыковыми» [Там же, II: 59–60], т. е. с представлениями значения.

Последнее из перечисленных направлений Бодуэн считает приоритетным, ибо сама «...сущность языка состоит в ассоциации представлений внеязыковых с представлениями исключительно языковыми» [Там же, II: 70–71]. Значимость остальных направлений ассоциации вытекает из того, что «...всякое языковое целое лишь постольку

действительно принадлежит языку, поскольку оно ассоциируется с представлениями, с одной стороны, из мира внеязыкового (физического, социального, лично-психического...), с другой же стороны, из мира морфологии языка, т. е. из мира расчленения языковых целых на структурные или строительные элементы» [Бодуэн де Куртене 1963, II: 254].

4) Ассоциации, в учении Казанской лингвистической школы, разбиваются на два типа: ассоциации по смежности, по соседству, точнее — по непосредственной последовательности во времени, *по рядам* и ассоциации по сходству, *по группам* [Там же, II: 76, 78, 288]. Оба типа ассоциаций используются при двояком членении текущей речи на составные части — с фонетической и семасиологически-морфологической точки зрения [Там же, II: 76–78, 251–256, 277 и след.]. Лишь один тип ассоциаций — по сходствам и различиям — используется в собственно языке, когда происходит «группировка языковых представлений в одном только церебрационном центре, без ее осуществления в фонации и аудиции как в периферических и промежуточных процессах языкового общения. Сюда относятся объективно-психическое различие частей речи, объективно-психическое различие содержания и формы, т. е. различие корней и слов вербально-субстантивных (глагольно-существительных) и корней и слов формальных (корней и слов отношения), объективно-психическое различие в языке разных проявлений качественного и количественного мышления, объективно-психическое различие элементов морфологического и семасиологического, объективно-психическая группировка синтаксических, морфологических, семасиологических и фонетических единиц языка по их характеристическим признакам, обуславливающим их более или менее тесное родство и сходство, и т. д.» [Там же, II: 78–79].

5) Языковое мышление носит творческий характер благодаря тому, что «языковое мышление, равно как и его обнаруживание и воспринимание, представляют из себя не простую репродукцию или воспроизведение усвоенного..., а вместе с репродукцией тоже продукцию или производство, состоящее в новом, самостоятельном сочетании усвоенных индивидуальную психикой элементов языкового мышления. Это и есть постоянное, непрерывное “творчество”, свойственное мобилизации языковых представлений в их совокупности, всё равно, обнаруживаются ли они произносительным способом и воспринимаются ли путем слуха (акустически), или же нет. Происходит же это творчество не только в области синтаксиса, т. е.

при сочетании готовых слов во фразы и предложения, но тоже при сочетании морфем в слова.

Есть, правда, отдельные формы слов или синтагмы, только воспроизводимые в своем цельном составе, и именно благодаря частоте употребления, чем они врезаются в память и повторяются чисто автоматически. <...>

Но зато громадное большинство форм возникает в нашей психике благодаря не только простому воспроизведению усвоенного, но вместе с тем путем производства, творчества, путем решения своеобразной пропорции» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 281], когда «...ассоциация по сходству способствует правильной ассоциации по смежности» [Там же, II: 282].

б) «Одинаковые законы человеческого мышления вообще» влекут за собой универсальный характер языковых изменений. «Эти изменения постоянны и вечны, потому что причины, их вызывающие, являются постоянными и вечными» [Там же, I: 249]. Главная причина — во врожденном стремлении человеческого организма к экономии работы [Там же, I: 247]. В результате «...один из общих законов развития языка состоит в том, что звук или созвучие более трудное заменяется с течением времени звуком или созвучием более легким или же что из представлений более конкретных развиваются представления более абстрактные» [Там же, I: 57]. Переход более трудных звуков и созвучий в более легкие удобен «для сбережения действия мускулов и нервов», переход от конкретного к абстрактному — «для облегчения отвлеченного движения мысли» [Там же, I: 58].

Переход от конкретности значений к абстрактности характеризует процесс *человечения* языка, всё больше отличающий его от звуков, издаваемых животными. У животных значения издаваемых звуков «всегда связаны с определенной конкретностью» и «неспособны к абстракции» [Там же, I: 262]. «Слова человеческого языка, напротив, ни в коем случае не являются просто знаками известных конкретных проявлений, но представляют собой а б с т р а к ц и и, которым прямо не соответствует во внешнем мире ничего непосредственно чувственного; вследствие этого они всё более тяготеют, с одной стороны, к мышлению и рассуждению, независимому от чувственности, с другой стороны, к одухотворенному поэтическому творчеству» [Там же].

Отсюда два течения в языковых изменениях значений слов. «Течение, проявляющееся в иносказаниях, в метафорах, в “народной этимологии”, облегчает поэтическое творчество, облегчает оживление

и конкретизацию речи. Наоборот, течение, проявляющееся во всё большем обособлении и абстрагировании слов, облегчает трезвое, прозаическое мышление, облегчает строго научную работу человеческого разума» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 245]. Из этих двух течений преобладает, по-видимому, второе, поскольку язык как неперемное условие мышления вообще не вполне удовлетворяет требованиям абстрактной деятельности. «...Благодаря случайности своего возникновения он часто является непреодолимой преградой для придания мысли логичности, без которой научная деятельность, абстрактная деятельность мозга будет всегда хромать.

В этом стремлении нашего мышления к абстракции состоит еще одно из побуждений к языковым изменениям, главным образом к изменениям так называемого значения путем метафоры или иносказания, путем абстрагирования значения слов как форм для понятий, одним словом, путем соединения, или ассоциации, представлений по сходству в определенном постоянном направлении.

Так, например, слово *rojtnować*, *rojąc* имело первоначально конкретное значение “хватать”, “брать”, “забирать” и т. п.; затем, перенесенное в область слов, обозначающих процессы внутреннего мира, мира мозгового, психического мира, оно приняло абстрактное значение умственного “понимания”, “понятия”. <...> При этом конкретное значение данного слова часто остается забытым и для его выражения образуется новое слово или же применяется какое-нибудь другое, уже существующее. <...> *Rojtnujemy* (понимаем) мы сейчас только чистые продукты мысли, следовательно, творения отвлеченные, абстрактные, в то время как предметы внешнего мира мы *chwytamy*, *łapiemy* и т. д.» [Там же, I: 227].

Стремление «к сбережению работы памяти, к тому, чтобы не отягощать память лишним количеством несвязанных между собою подробностей» [Там же, I: 237], выражается, в частности, в забвении этимологической связи далеких по значению слов. Ср. в польском «слово *człowiek* первоначально обозначало “*chłopca czeladnego*”, “рабочка”, в дальнейшем вообще двуногого рабочего, в противоположность четвероногой рабочей силе, и путем всё большей абстракции оно распространилось на человеческое существо вообще. Таким образом, благодаря забвению, народ завоевал себе в языке отдельный термин для обозначения человека в отвлечении от всяких случайных качеств» [Там же, I: 241].

В целом, «если кое-где и можно заметить шаг назад, т. е. возвращение от абстрактности к конкретности, то общий результат этой



осцилляции — постепенный прогресс, ведущий ко всё большему одухотворению языка.

Мы видим, что в то время как произношение, внешняя речь всё больше стремится из глубины на поверхность, внутренняя речь, языковое мышление всё дальше опускается в глубины человеческой души, становится всё абстрактнее.

Это отдаление, это всё увеличивающееся расхождение между внешней и внутренней речью находит параллель в других сторонах человеческого развития. <...> И высокоразвитое научное мышление становится для человека средством всё более всестороннего и всё более полного господства над природой.

Это всё более глубокое, более многостороннее господство над природой, это овладение внешним миром, это устранение пространственных и временных ограничений — в связи с культурным развитием человечества — отражается и на языке. Достаточно назвать изобретенное много тысячелетий тому назад письмо, а затем новейшие изобретения, как телеграф, телефон и т. д.» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 262]. Остается только добавить телевидение, электронные средства связи и Интернет.

Так за рассуждениями И. А. Бодуэна де Куртенэ о человечении языка вскрывается основополагающая идея триединства бытия, мышления и языка.

Много внимания уделяет Бодуэн *разграничению языкового и языковедного* (лингвистического) мышления. Но и в этом случае он исходит из общих свойств человеческой психики, человеческого ума, человеческого разума.

«Как и все другие ряды явлений, языковые явления также кажутся на первый взгляд хаосом, беспорядком, путаницей. Человеческий разум обладает врожденной способностью освещать этот предполагаемый хаос и находить в нем благоустройство, порядок, систематичность, причинные связи. Языкознание представляет собой *направленную деятельность человеческого разума*, упорядочивающего языковые явления.

Каждый, самый обыкновенный, научно совершенно неподготовленный человеческий ум бессознательно, а частично и сознательно выполняет подготовительные действия. Каждый человеческий ум систематизирует, обобщает, ищет причину. Что касается языка, то каждый отличает прежде всего себя от других, свою речь от речи других людей; каждый отличает свой родной язык от других языков, если только у него была возможность их слышать; каждый



отличает предложения, содержащие мысль, от того, что не является предложением; каждый выделяет отдельные слова со свойственным им значением в противоположность тому, что не является словом. Никому не чужда разница между значением, так сказать, внутренним содержанием и соединением звуков, служащим для передачи этого значения. Может быть, не каждый отдает себе отчет в этом, не каждый в состоянии выразить это, сформулировать; но не подлежит ни малейшему сомнению, что каждому нормальному человеку свойственно это понимание, хотя бы только в виде *подсознательной* дремоты. Наука языкознания не вводит тут абсолютно ничего нового; она только совершенствует и очищает мышление, освобождает его от балласта случайности, а совокупность колеблющихся представлений заменяет цепью *сознательных*, точно определенных *понятий*» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 206; выделено мною. — Л. 3.].

Итак, с одной стороны, оказываются рядовые носители языка, наделенные самым обыкновенным научно не подготовленным умом, а с другой — профессиональные языковеды, обладающие научно подготовленным умом, владеющие наряду с родным языком другими языками, знающие историю языка и сравнительную грамматику. Различие между обычными носителями языка и учеными-лингвистами в основном состоит в *соотношении бессознательного и сознания* в деятельности по упорядочению языковых явлений. Обычные индивиды обрабатывают совокупность колеблющихся представлений языковых элементов в значительной степени *бессознательно*. Тем не менее в их индивидуальной психике на базе ассоциаций по сходству «все элементы языкового мышления, как фонетические, так и морфологические и семасиологические, укладываются сами собою в группы и разряды. Задача исследователя состоит только в том, чтобы верно прочесть в душах человеческих, т. е. *озарить светом* научного сознания то, что в объективном психическом мире сложилось и существует помимо всякой науки» [Там же, II: 260; выделено мною. — Л. 3.]. Соответственно грамматики и учебники отечественного языка тоже «должны бы только *озарять светом сознания существующие в бессознательном и полусознательном состоянии ассоциации языковых представлений* и через их надлежащее освещение и умелое сопоставление помогать носителям этого живого материала делать самим требуемые научные выводы» [Там же, II: 246; выделено мною. — Л. 3.].

Учитывая неодинаковую роль сознания в языковом и языковедном мышлении, Бодуэн уже в упомянутой статье 1870 г. приходит к заключению: «Нужно различать категории языковедения от категорий

языка: первые представляют чистые отвлечения; вторые же — то, что живет в языке, как звук, слог, корень, основа (тема), окончание, слово, предложение, разные категории слов и т. п. Категории языка суть также категории языковедения, но категории, основанные на чутье языка народом и вообще на объективных условиях *бессознательной* жизни человеческого организма, между тем как категории языковедения в строгом смысле суть по преимуществу *абстракции*» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 60; выделено мною. — Л. 3.].

Позднее противоположение бессознательного и сознания в языковом и языковедном мышлении совмещается у И. А. Бодуэна де Куртенэ с противоположением индивидуальной и исторической причинности, что в сущности совпадает с различием синхронного и диахронного анализа в духе Ф. де Соссюра. «В связи с этим, — полагает И. А. Бодуэн де Куртенэ, — надо различать в общем двоякую морфологическую делимость языкового мышления (т. е. речи человеческой), или его разложение на дальше неделимые морфологические элементы (морфемы). Например, русские слова... иначе распадаются на морфемы с точки зрения простого языкового мышления данного времени, а иначе при свете лингвистического мышления, основывающегося на сравнении языков и на истории языка вообще.

Точно так же иначе укладываются альтернации морфем в простом языковом мышлении, а иначе в уме человека, знакомого с историей языка и сравнивающего как настоящее с прошлым, так и разные “родственные” языки» [Там же, II: 289].

Несмотря на отмеченное расхождение, Бодуэн рекомендует лингвистам в большей степени опираться на языковое мышление современников. Так, например, при делении слов на морфемы «все подобного рода деления должны быть не досужими выдумками исследователя, а только должны быть извлечены из объективного языкового мышления индивидов, входящих в состав данного племенного или же национального коллектива. Мы руководствуемся при этом не лингвистическим мышлением, основанным на истории языка и на ученых этимологических выводах сравнительной грамматики, а только читаем в душе обыкновенного человека, определяя свойственные ей взаимоотношения между отдельными элементами языкового мышления. В этом сказывается всё большая “демократизация” наших научных приемов и вместе с тем достигается большая научность изложения, коренящаяся в большей согласованности с самим предметом исследования» [Там же, II: 232]. Последнее замечание И. А. Бодуэна де Куртенэ особенно важно: главное в рекомендуемой ориентации

языковедов на языковое мышление современников — это ее согласованность с предметом лингвистического исследования.

**Ф. де СОССЮР**, как показал анализ его подлинных личных «Заметок по общей лингвистике», разрабатывает свою теорию языка как знаковой системы в противовес научному знанию того времени. По причинам, подробно изложенным в ноябре 1894 г., его не удовлетворяли ни философские и психологические построения, ни лингвистика с ее *гипертрофированным историческим сознанием* [Соссюр 1990: 114]. В каждой из выделенных областей знания имеются и свои достижения, и свои существенные упущения, обусловленные односторонним подходом к изучению языка как произвольной системы знаков.

«...Философы, логики и психологи оказались в состоянии объяснить нам, в чем заключается основополагающее соглашение между... понятием и символом и, в частности, независимым символом, который репрезентирует понятие. Под... независимым символом мы понимаем... такие категории символов, важнейшим свойством которых является отсутствие *всякого рода* видимой связи с обозначаемым объектом и, следовательно, отсутствие даже косвенной зависимости от объекта в своем дальнейшем развитии. <...> Со своей стороны историки и лингвисты объяснили нам, что язык как особая система *независимых* символов подвержен изменениям [во времени]. Но от внимания философов и логиков ускользнуло то обстоятельство, что, как только система символов становится *независимой* от обозначаемых ею объектов, она со своей стороны подвергается *в результате действия фактора времени* сдвигам, которые *логик не в состоянии исчислить*; впрочем, она сохраняет по необходимости свою [непрерывность]. В свою очередь от внимания лингвистов ускользнуло то обстоятельство, что в данном случае предмет, *являющийся объектом воздействия истории*, никоим образом не подвергается обычной исторической оценке... <...>

<Если учесть, что сила знаков обусловлена их условной, произвольной природой, их независимостью от реальности, которую они обозначают, тогда станет ясно, что в багаже человечества это такой предмет, который нельзя сравнить ни с чем иным [**зачеркнуто**].> Действительное положение языка среди человеческих установлений таково, что крайне затруднительно решить, является ли он скорее историческим объектом или чем-то иным, но при нынешних тенденциях в науке безо всякого опасения можно настаивать прежде всего на неисторическом аспекте языка.

Не вызывает сомнений, что язык в любой момент своего существования является *продуктом истории*. Но еще более непреложная истина состоит в том, что в любой момент своего существования этот исторический продукт представляет собой не что иное, как компромисс, последний компромисс, на который идет разум, заключая соглашение с определенными символами, ибо без этого не было бы самого языка» [Соссюр 1990: 91–92].

«...Философское понятие условного знака в [своей основе] совершенно неполное» [Там же: 120], так как в построениях философов совершенно игнорируется действие фактора Времени [Там же: 122]: «...никто из них не занимается тем, что происходит при передаче семиологической системы от поколения к поколению» [Там же: 196].

Игнорирование фактора Времени обуславливает ущербное толкование оснований языка как семиологической системы и непонимание ее своеобразия, а ведь «среди всех других семиологических систем семиологическая система “язык” является единственной системой (вместе с письмом...), которой пришлось подвергнуться испытанию *Временем*. Она не просто основана на взаимной договоренности между соседями, но она основана также на традиции императивного характера, передаваемой от отца к сыну, и подвержена *случайным изменениям, которые возникают в этой традиции*» [Там же].

Точно так же и психологи смотрят на язык как на *застывшую условную* форму, не выходя за пределы горизонтального среза. «...При этом они не имеют ни малейшего представления о социально-исторических феноменах, которые являются... причиной круговорота знаков в вертикальном измерении и не позволяют превратить их в *застывший* или *условный* язык (langage), поскольку последний является беспрерывно обновляющимся результатом деятельности социальных сил и навязывается говорящему без всякого права выбора» [Там же: 146–147].

Важнейшую заслугу исторически ориентированной лингвистики XIX века перед теорией знаков Ф. де Соссюр видит в том, что она открывает для семиологии «новые горизонты». «...Лингвистика познакомила семиологию с *совершенно новой стороной знака*, а именно: она показала, что мы по-настоящему поймем сущность знака только тогда, когда убедимся, что его не только можно передавать, но что он по самой своей природе *предназначен для передачи*, 2° [неограниченное] изменение» [Там же: 103].

Таким образом, Соссюр доказывает неполноту и ложность не только философских и психологических теорий языка, рассматривающих

его вне времени и потому не предполагающих изменений границ между знаками на протяжении веков. «В свою очередь ложными являются представления лингвиста, поскольку он обращает внимание лишь на процесс передачи языковых знаков и на традицию, над которой властвуют механические силы, поэтому он перестает воспринимать языковой знак как по своей сути условный знак» [Соссюр 1990: 120].

Соответственно, указывая «на полную несостоятельность взгляда на связь между понятием и знаком без учета времени, без учета процесса передачи знаков, что только и позволяет экспериментальным путем выявить ценность знака» [Там же: 122], Соссюр не приемлет и проявляющуюся в современной ему лингвистике тенденцию — учитывая исторический фактор, игнорировать состояния [Там же: 115], когда обычно «... всё дело ограничивается объяснением происхождения состояния, само же состояние не вызывает особого интереса, не играет особой роли, которая отличает его как состояние. Однако в языке именно состояния, и только они, обладают способностью к означиванию; к тому же язык без этой способности означивания неизбежно перестал бы существовать как таковой» [Там же: 116; выделено мною. — Л. З.].

Поэтому в соответствии с тремя способами существования знака — в панхронии, в идиосинхронии и диахронии [Там же: 197] — Соссюр, в сущности, обосновывает необходимость их синтеза. Прежде всего требуется анализ языковых знаков на пересечении диахронической и синхронической перспектив. Пренебрежение одной из них пагубно для семиологии.

**Специфика семиологической системы языка как произвольного установления.** Ф. де Соссюр в своей трактовке соотношения между языком и психикой исходит из принадлежности языка к семиологическим системам. В составе языковой (или *речевой* в широком смысле) деятельности собственно язык в отличие от психофизической речи представляет собой чисто психическое явление и состоит исключительно из психических элементов [Там же: 192]. Система языковых знаков определяется как психологическая [Там же: 150]. Соответственно и «...лингвистика есть психологическая наука в силу того, что она есть *семиологическая наука*» [Там же: 196].

Согласно Соссюру, язык, будучи человеческим установлением и семиологической системой, отличается от других человеческих установлений, по крайней мере, в двух отношениях.

Во-первых, «...язык есть установление, не имеющее себе подобных» потому, что «...язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на ес-

тественном положении вещей» в отличие от других установлений, которые «в различной степени основаны на ЕСТЕСТВЕННЫХ отношениях, на соответствии вещей друг другу как основополагающем принципе», коренящемся в глубине человеческой души [Соссюр 1990: 94]. «В силу того обстоятельства, что в языке никогда невозможно обнаружить даже и следа внутренней связи между звуковыми знаками и понятиями, эти знаки ведут независимую материальную жизнь, что совершенно не характерно для тех областей, в которых внешняя форма хотя бы в минимальной степени связана естественной связью с понятием» [Там же: 97]. «...В лингвистике связь, в результате которой звук вызывает в уме понятие и наоборот, является в своих истоках произвольной» [Там же: 135]. «Поскольку полное отсутствие сходства между [знаком и понятием] имеет РАДИКАЛЬНЫЙ характер и не допускает совершенно никаких оговорок, то отсюда следует, что языковая деятельность не регулируется какими-либо человеческими нормами; человеческий разум не может постоянно корректировать и направлять ее и не делает этого» [Там же: 97; курсив мой. — Л. 3.]. Более того, в отличие от других человеческих установлений «...язык не подчиняется направляющей деятельности разума, потому что он с самого начала не есть результат зримой гармонии между понятием и средством его выражения» [Там же: 102; курсив мой. — Л. 3.], о чем свидетельствует произвольность языкового знака.

Во-вторых, язык — единственная семиологическая система, переживающая испытание Временем [Там же: 196], что обуславливает неограниченное изменение знака [Там же: 103]. Между тем первейшим условием использования знаков-символов разумом является их неизменность [Там же: 92]. Она относительно возможна лишь в синхроническом состоянии, если пренебречь непрерывным изменением языка во времени и рассматривать его вне протяженности во времени.

В языке как произвольном и изменяющемся во времени установлении «...состояния имеют свое (внутреннее) органическое обоснование», и поэтому вовсе не нужно знать предшествующую историю, чтобы «понять или выяснить внутренние отношения между знаком и понятием в данный момент» [Там же: 91].

Чтобы приблизиться к соссюровскому пониманию языка как психического явления, представляется необходимым:

- рассмотреть систему понятий, раскрывающих сущность языкового знака в интерпретации Ф. де Соссюра,
- дать характеристику основных видов двойственности, выявленных им в языковой деятельности.

Главное в каждый данный момент — это *отношения* в знаковой системе языка. По мысли Соссюра, «реальность существования отношений, связывающих между собой элементы языка, будучи психологическим фактом огромной важности, не нуждается, так сказать, в доказательстве. Именно этим и определяется язык» [Соссюр 1990: 147]. Вследствие независимости языковых знаков от реального мира и в отсутствие субстрата «любой языковой факт представляет собой отношение, в нем нет ничего, кроме отношения» [Там же: 197].

Отношения лежат в основе таких взаимосвязанных, перекрещивающихся, переплетающихся понятий, как *знак, сема, парасема, член, отличие, отличительный признак, ценность*.

В психической ассоциации, образующей *знак* как целое, это прежде всего *отношение между означающим* (звуком) и *означаемым* (понятием). Первостепенное значение данного отношения определяется тем, что, с точки зрения Соссюра, в лингвистике невозможно «выделить один ряд фактов — ЗВУКИ и второй ряд фактов — ЗНАЧЕНИЯ, по той простой причине, что языковой факт по своей сути не может состоять только из одной из указанных сущностей и для его существования необходимо наличие СООТВЕТСТВИЯ, но ни в коей мере СУБСТАНЦИИ или ДВУХ субстанций». В лингвистике «...только сама корреляция создает *факт, подлежащий рассмотрению*» [Там же: 129].

Именно для того, чтобы обозначить отношение между двумя сторонами языкового знака, Соссюр вводит термин *сема*. Он имеет то преимущество, что лишен неоднозначности термина *знак*, который используется для обозначения не только двусторонней сущности в единстве звучания и значения, но и одной звуковой стороны — означающего. (Эта неоднозначность лежит в основании разных подходов к проблеме двусторонности / односторонности знака в современной лингвистике.)

Такой же двойной смысл характерен и для термина *слово*. Слово — типичный языковой знак. «...Слово живет, только [будучи формой], и оно участвует в *общей жизни* только потому, что обладает [смыслом]» [Там же: 163]. Поэтому недопустимо отождествлять *акустический образ слова*, обозначенный Соссюром термином *сема*, с *семой* как психической *ассоциацией акустического образа с психическим образом* [Там же: 162].

Не менее важно и то, что *сема* — не просто условный знак, связывающий в единое *целое* звуковую сторону с понятийной. *Сема* — это «знак, являющийся частью какой-либо *системы* (также условной)»



[Соссюр 1990: 148] и существующий «не только благодаря соединению фонизма и значения, но и благодаря корреляции с другими семами» [Там же: 149]. Чтобы подчеркнуть *косистематическую природу знаков* [Там же], вводятся термины *парасема* и *член* (часть).

«Для любого слова данного языка другое слово, даже если оно не состоит с ним ни в каком “родстве”, является *парасемой*. Единственным элементарным свойством парасемы является вхождение в ту же психологическую систему знаков» [Там же: 150]. Термин *парасема* указывает на то, что «...данное слово не обладает полной автономностью в системе, в которую оно входит» [Там же]. «...Существование каждой семы зависит от всего ее парасемического окружения в данный момент» [Там же: 151].

Подобно парасеме, термин *член* включает знак-сему в психологическую систему знаков, отличаясь, однако, более широким и отвлеченным значением. «...Слово *член* достаточно хорошо передает тот смысл, который мы вкладываем в слово *сема*», — отмечает Соссюр. И добавляет: «Синхронное состояние складывается из определенного числа *членов* (*termini*), которые распределяют между собой материю, подлежащую означиванию» [Там же], и благодаря *отличиям* друг от друга обретают *ценность*, несмотря на произвольный характер языковых символов.

В отсутствие источников положительной радиации, которые могли бы обеспечить какую-либо естественную связь между двумя сторонами языкового знака, «...самым фундаментальным законом языка является положение о том, что *один* член никогда сам по себе ничего не значит (это прямое следствие того, что языковые символы не связаны с тем, что они должны обозначать)» [Там же: 101]. «Дело в том, что элементы *a* и *b* как таковые по отдельности никак не могут прийти до нашего сознания, которое всегда воспринимает только различие *a/b*» [Там же: 102]. «Таким образом, оба члена имеют ценность только в силу своих *отличий* друг от друга; иначе говоря, ни один член, даже ни одна его часть (...“корень” и т. д.) не могут иметь ценности без подобного переплетения вечно отрицательных различий» ввиду полного или частичного несовпадения со всем остальным [Там же: 101–102]. Отсюда вывод: «...любой знак основывается лишь на негативном ко-статусе» [Там же: 120].

Сказанное распространяется и на язык в целом: «первым универсальным свойством языка (*language*) является то, что он существует посредством различий, *одних только различий*... Однако вторым свойством языка является то, что совокупность этих различий чрезвычай-



но ограничена по сравнению с тем, какой она могла бы быть». Такой ограниченной является «сумма *различий*, которые можно получить, имея 30 или 40 элементов» [Соссюр 1990: 198]. (Очевидно, речь идет о звуковом, а точнее, фонемном составе языка.)

В конечном счете, по утверждению Соссюра, «в отношении языкового факта *элемент* и *отличительный признак* являются всегда одним и тем же. Языку, как и любой другой семиологической *системе*, свойственно не проводить никакого различия между тем, что отличает какой-либо предмет, и тем, что составляет его сущность (потому что “предметы”, которые мы имеем здесь в виду, — это знаки, и все их предназначение, вся их сущность заключаются в том, чтобы быть различными)» [Там же: 197].

Наиболее полно косистематическая природа знака раскрывается в понятии *ценности*, или *значимости*. Оно учитывает и отношения между знаками в системе, и произвольный характер связи между двумя сторонами знака.

В определении Соссюра, «*ценность* в каждый момент своего существования полностью синонимична некоему члену, входящему в систему подобных ему членов, и в каждый момент своего существования она полностью синонимична предмету обмена. Если рассмотреть, с одной стороны, предметы обмена, а с другой — образующие систему члены, то между ними не обнаружится никакого сходства. Свойством *ценности* является способность соотносить эти два ряда вещей». В результате «...ценность располагается по двум осям, определяется одновременно двумя осями», которые образуются соотношениями *сходство* : *несходство* и *сходное* : *сходные* [Там же: 193]. Из этих двух совершенно отличных соотношений Соссюр особо выделяет соотношение *сходство* : *несходство*, которое, по его словам, «составляет самую сущность понятия ценности». Следовательно, понятие ценности адекватно понятию произвольного знака уже потому, что в языке «...в той ассоциации, которая составляет знак, с самого начала нет ничего, кроме двух ценностей, *одна из которых основывается на другой* (произвольность знака)» [Там же: 191].

Поскольку же каждая из сторон знака обретает ценность в отношениях с другими знаками, всякая ценность предполагает наличие *системы* ценностей [Там же: 190]. В системе, которую образуют произвольно устанавливаемые ценности, «...ценностью обладает только то, что может быть использовано сию минуту» [Там же: 191], ибо только синхроническое состояние наделено способностью к означиванию

[Соссюр 1990: 116]. Так от понятия *знака* мы приходим к понятиям *системы* и *состояния* как знакообразующего начала.

**Виды двойственности в языковой деятельности.** Анализируя языковую деятельность, Ф. де Соссюр замечает, что «языковая деятельность, как она дана нам непосредственно, предстает в виде *множества* гетерогенных фактов, которые образуют совокупность, *не поддающуюся классификации*» [Там же: 170].

Однако при более внимательном изучении разнородного множества фактов языковой (шире — речевой) деятельности выявляется, что «...какой бы способ мы ни приняли для рассмотрения того или иного явления речевой деятельности, в ней всегда обнаруживаются две стороны, каждая из которых коррелирует с другой и значима лишь благодаря ей» [Соссюр 1977: 46].

В конечном счете указанная двусторонность разных аспектов языковой деятельности обусловлена самой природой языка, а именно тем, что, по определению Соссюра, он представляет собой систему знаков, в которой главным системообразующим фактором выступает *двусоставное* строение знака. В отличие от других человеческих установлений в языке «...в принципе невозможно, чтобы какая-нибудь языковая сущность (знак **зачеркнуто**) была *односоставной*, поскольку язык предполагает сочетание двух объектов, *между которыми нет связи*, сочетание понятия с символом, лишенным всякой внутренней связи с этим понятием» [Соссюр 1990: 94]. В свою очередь, оба компонента знака являются соотносительными значимостями, вследствие чего «условием всякого языкового факта является наличие как минимум двух элементов; эти элементы могут быть *последовательными* или *синхронными*» [Там же: 163].

Соответственно и «языковую деятельность можно свести к пяти-шести видам ДВОЙСТВЕННОСТИ, или *par сущностей*... <...> Нарушить закон Двойственности невозможно» [Там же: 170].

В «Заметках по общей лингвистике» выделены три вида двойственности. Все они так или иначе связаны с психикой и образуют определенную иерархию, которая поддается вполне логичному объяснению.

1. «Первая пара, или первая *двойственность*: < Две психические стороны знака. >» [Там же].

Психичность — важнейшее свойство языка. Составляющие язык знаки «психичны по своей сущности» [Соссюр 1977: 53]. В определении Соссюра, языковой знак представляет собой локализирующуюся в мозгу психическую ассоциацию слухового (акустического) словесного образа (означающего) и такого явления сознания, как понятие (означаемое).

В соединении смысла и акустического образа «...оба эти компонента знака в равной мере психичны» [Соссюр 1977: 53]. Ввиду нередкого сведения знака к одной звуковой стороне Соссюр специально подчеркивает, «что словесный образ не совпадает с самим звучанием и что он столь же психичен, как и ассоциируемое с ним понятие» [Там же: 51].

Утверждая целостность знака, Соссюр настаивает на единстве двух его сторон. В свете этого единства следует избегать «отрыва звуковой стороны знака от его понятийной стороны и придания *преобладающего значения* одной из сторон» [Соссюр 1990: 148]. Они только «вместе придают знаку индивидуальность» [Там же: 149]. «...Ни психологическая, ни фонологическая реальность в отдельности никогда не могут обусловить возникновение даже мельчайшего языкового факта. — Чтобы возник языковой факт, необходимо объединение двух рядов явлений, но объединение особого рода» [Там же: 147] — ввиду произвольного характера связи между двумя сторонами языкового знака.

Тем не менее в их соотношении проглядывает как будто своя иерархия, но и она неоднозначна. Соссюр высказывает предположение, что «если бы какая-то из двух сторон языкового знака и могла существовать независимо, то это была бы понятийная сторона, понятие как основа знака» [Там же: 191]. Соссюр, кажется, допускает неязыковое мышление, в том числе «чистые понятия (*idées pures*)» [Там же: 152]. В частности, когда вследствие эллипсиса речь прекращается, она уступает место «чистой мысли» [Там же: 146]. В таком случае «...если бы любое понятие (*idée*) характеризовалось устойчивостью, [его можно было бы принять за основу знака]». Между тем «...устойчивое и неизменное понятие — вещь, по-видимому, нереальная» [Там же: 149]. И потому, вероятно, «...принципиальной основой семы является избранный материальный знак» [Там же: 150], т. е. звуковая сторона (сома). Однако знак-сема как целое основан на психической связи друг с другом двух своих психических сторон. Это, по Соссюру, первый факт, который должен быть положен в основу определения языка: «язык есть психическая связь между понятием и знаком» [Там же: 192] (*знаком* в узком смысле слова, т. е. звуковой стороной, точнее — ее акустическим образом).

2. Признание психичности языкового знака, в свою очередь, нуждается в прояснении вопроса о том, какая именно психология выступает в качестве основополагающей — индивидуальная или коллективная. Разрешение данного вопроса находим во втором виде двойственности, указанном Соссюром. Эта *вторая двойственность* — *Индивид | масса*.

Уже в первой лекции, прочитанной Соссюром в Женевском университете в ноябре 1891 г., речь идет в том числе и о значении языковой деятельности для человека — как для человеческого рода в целом, так и для каждого отдельного индивида. Подобно многим своим предшественникам Соссюр полагает, что «...языковая деятельность оказалась замечательнейшим орудием коллективной деятельности, с одной стороны, и индивидуального воспитания, с другой, инструментом, без которого индивид или род в целом действительно никогда не смогли бы даже надеяться развить в том или ином направлении свои врожденные способности» [Соссюр 1990: 36].

Выпячивание индивидуальной стороны в двойственности Индивид | масса для Соссюра неприемлемо. Он считает ирреальным язык, рассматриваемый вне его социальной реальности [Там же: 192]. В заметке, относящейся к 1891–1894 гг., Соссюр пишет: «Языковую деятельность постоянно рассматривают в пределах *отдельного индивида*, а это ложная точка зрения. <...> Язык является социальным фактом. Индивид, приспособленный для языковой деятельности, может использовать свои органы речи только при наличии окружающего его коллектива, к тому же он испытывает потребность использовать их, лишь вступая с ним в отношения. Он полностью зависит от этого коллектива» [Там же: 66]. «Язык, прежде чем он навязывается индивиду, должен получить санкцию коллектива» [Там же: 170].

Итак, «язык социален, или он не существует» [Там же]. «...Для существования языка необходима масса говорящих, которая пользуется Языком. Язык пребывает в коллективной душе, и этот... факт должен быть частью самого определения языка» [Там же: 192]. — Так в поздних заметках Соссюра к последнему курсу лекций 1910–1911 гг. отвергнутый было «дух народа» возрождается в понятии «коллективной души», выявляющейся в социальной сущности языка.

3. Положение о социальном характере языка закрепляется в третьей двойственности. «Третью пару сущностей образуют язык и речь (*la langue et la parole*).

Язык узаконен обществом и не зависит от индивида. К Индивиду, то есть к Речи, относится:

а) Всё, что составляет Фонацию, б) Всё, что является сочетанием элементов. — Всё, что есть Воля.

Двойственность:

Речь	Язык
Индивидуальная воля	Социальная пассивность

Здесь впервые возникает вопрос о двух Лингвистиках» [Соссюр 1990: 171], а именно — *лингвистике* собственно *языка* и *лингвистике речи*.

Проявляющаяся в языке социальная пассивность, по всей видимости, объясняется тем, что воля предполагает сознательную инициативу и право выбора.

Считая языковую деятельность достоянием коллектива, а ее целью — достижение взаимопонимания [Там же: 66], Соссюр связывает абсолютную непрерывность языковой традиции, в частности, с тем, что «...языковая инициатива со стороны одного или нескольких человек невозможна прежде всего по причине действия фактора бессознательности. Можно себе представить проявление сознательной инициативы со стороны нескольких человек, но она тут же будет тормозиться тем фактом, что прекратится взаимопонимание. Если же инициатива иногда и проявляется, то она обычно представляет собой чисто лексические новообразования, и чаще всего материалы для них должны браться из общего языка. Бывают потери, но ничто не создается вновь. Всё только изменяется. <...> ...Сознательная инициатива всех сразу бесполезна, невообразима, не подтверждается примерами» [Там же: 67].

Сковывающая индивидуальную инициативу, язык как социальный феномен навязывается говорящему индивиду без всякого права выбора [Там же: 147]. Всё, что есть воля индивида, проявляется в его речи.

Двойственность языка и речи реализуется в противоположении соответствующих базовых единиц — слова и предложения. В представлении Соссюра, «...предложение существует только в речи, в дискурсивном языке, в то время как слово есть единица, пребывающая вне всякого дискурса, в сокровищнице разума. <...>

Память может подсказать нам *крайне ограниченное* количество готовых предложений. ... Напротив, та же память тысячами поставляет *готовые слова*. Следовательно, способность быть элементом предложения не является *первым* модусом существования слова. Можно считать, что слово существует “до” предложения, то есть независимо от него» [Там же: 159].

Сходное истолкование предложения и слова находим также в последующей французской лингвистической традиции — в концепциях Г. Гийома и Э. Бенвениста. Представление о слове как готовой единице было заложено в панхроническом по сути рационалистическом учении о соотношении языка и мышления.

В соответствии с рассмотренными видами двойственности в языковой деятельности «знак, уже сам по себе двойственный в силу

внутренней ассоциации, которая его образует, и двойственный в силу своего существования в двух системах (очевидно, имеются в виду системы понятий, с одной стороны, и акустических образов — с другой. — Л. З.), находится под двойным управлением» — коллективным в собственно языке и индивидуальным в речи [Соссюр 1990: 170].

Указанными тремя видами двойственности ограничивается число пар сущностей, которые Соссюр выделяет в языковой деятельности, «как она дана нам непосредственно» [Там же].

Однако характеристика языка вообще и собственно языка в частности не сводится к его психической знаковой природе и социальной сущности. Помимо отношения языка к социальной реальности (к массе говорящих), а также к отдельным — всегда социализованным — индивидам, не менее важно его отношение к Времени.

**Язык и Время.** Язык существует не только в обществе, но и во Времени. Этому последнему отношению — Язык и Время — Ф. де Соссюр придает огромное значение и уделяет ему в своих «Заметках...» гораздо больше внимания, нежели остальным видам двойственности, в связи с тем, что именно «...проблема Времени порождает в Лингвистике особые условия, создает для нее особые трудности, особые проблемы, даже является центральным вопросом и может привести к расщеплению Лингвистики на две науки» [Там же: 189]. Вот почему Соссюр обращается к анализу отношения Язык — Время в заметках разных лет.

В лекциях, прочитанных в ноябре 1891 г., Соссюр отмечает действие в языке двух противоположных и притом универсальных принципов — абсолютной непрерывности во времени и постоянного изменения, движения во времени [Там же: 41, 46].

**Принцип непрерывности**, главный, элементарный и очевидный, Соссюр считает «первейшим свойством или первейшим законом передачи человеческой речи»: «...нигде и никогда в истории не наблюдаются разрывы в непрерывной нити языка». В самом деле, «...каждый человек пользуется сегодня тем же языком, что и накануне, и так было всегда» [Там же: 42]. Следовательно, «все языки, на которых говорят в одну и ту же эпоху, имеют одинаковый возраст в том смысле, что у них одинаково долгое прошлое. ... Можно отсчитывать его со времени возникновения языковой деятельности» [Там же: 45]. «... Однажды возникший язык бесконечно развивается и развертывается во времени без каких-либо заранее установленных пределов своего существования» [Там же: 47], ибо «сам по себе язык вечен, то есть передача его не может прерваться по причине, определяемой устройством самого языка» [Там же: 44].

Эти идеи Ф. де Соссюра вполне созвучны идеям В. фон Гумбольдта и И. А. Бодуэна де Куртенэ по данному вопросу. В афористической формулировке В. фон Гумбольдта, «подобно самому человеку, каждый язык есть постепенно развертывающаяся во времени бесконечность» [Гумбольдт 1984: 171]. И. А. Бодуэн де Куртенэ начало каждого из племенных и национальных языков рассматривает «с точки зрения вечности и непрерывности языковой традиции» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 309] и возводит его к началу человеческого языка вообще [Там же: 84–88 и след.]. При таком подходе «все роды и все языки — одинаково древние», «...все человеческие роды берут свое начало в эпоху дочеловека», «...все языки начинаются с доязыкового состояния» [Там же: 299]. «...В самой жизни, в самой истории языка нет эпох, изолированных от предшествующих и последующих» [Там же: 302].

По заключению Ф. де Соссюра, вследствие своей непрерывности «...язык не является строго определенной и ограниченной во времени сущностью» [Соссюр 1990: 45], так что «...понятие языка неопределенно во временном отношении» [Там же: 60].

Непрерывность в передаче существующих языков обеспечивают два фактора, так или иначе сводимые к социальной пассивности собственно языка (в отличие от речи): «...первый — это отсутствие всякой инициативы, ибо любой народ вполне доволен своим родным языком; второй фактор заключается в том, что даже если бы и возникла какая-либо инициатива — а это предполагает наличие совокупности совершенно исключительных обстоятельств, и в частности, употребление письма, — то эта инициатива натолкнулась бы на непреодолимое сопротивление массы говорящих, которые не захотят отказаться от своего привычного языка» [Там же: 44].

Принципу проявляющейся таким образом инерции Соссюр противопоставляет *принцип движения, изменчивости языка во времени* [Там же: 45]. Этот второй принцип столь же универсален, как и первый [Там же: 46], и вовсе не противоречит единству языка во времени, несмотря на то, что «...ни в одном языке не существует постоянного и устойчивого равновесия» и *принцип непрерывного изменения языков*, который постулирует Соссюр, *носит абсолютный характер* [Там же: 47].

Два самых важных фактора языкового изменения соотносительны, как можно заметить, читая подлинные тексты Соссюра, с двумя сторонами знака. «...Первый фактор относится к физиологической и физической стороне речи, а второй фактор соответствует психической и ментальной стороне того же акта» [Там же: 49], причем, это



следует подчеркнуть, указанные стороны речи различаются психически по степени осознанности: «...действие первого фактора проявляется бессознательно, а второго — осознанно» [Соссюр 1990: 49].

Иными словами, «...один ряд факторов затрагивает форму со стороны звучания, а другой затрагивает ее со стороны смысла. ...Один ряд фактов представляет собой чисто *механические* действия, в которых нельзя обнаружить ни цели, ни намерения, а другой ряд — *осознанные, рациональные* действия, в которых возможно обнаружить и цель и смысл» [Там же].

Таковы, с одной стороны, фонетические изменения, а с другой — явления аналогии, которые, по определению Соссюра, представляют собой «*ассоциацию форм* в уме, обусловленную *ассоциацией выражаемых ими идей*» [Там же: 50].

За несколькими исключениями, *психологический* фактор действует совершенно независимо от *механического, физиологического* фактора [Там же: 55]. Указанная независимость согласуется с произвольным характером связи между двумя сторонами знака.

В соответствии с абсолютным характером непрерывного изменения языков, с одной стороны, и знаковой природой языка, с другой стороны, в заметках 1910–1911 гг. Соссюр определяет непрерывность как «отсутствие свободы изменения во времени» [Там же: 188], а изменение толкует через структуру знака. По словам Соссюра, «...изменение является лишь одной из форм *непрерывности*; сам факт продолжающегося существования знаков *обуславливает* их изменение. <...> ...Факт изменения в целом можно верно передать только с помощью выражения “полное *смещение соотношения* между означающим и означаемым” независимо от того, подвергается ли изменению означающее или означаемое. <...> Когда речь идет об изменении во времени, лучше говорить лишь об *общем смещении соотношения членов и ценностей*» [Там же: 188].

Неизбежность изменения вытекает из того простого факта, что «...всякий объект, [который] испытывает действие Времени, изменяется... (Следовательно, язык = сумма отношений между означающим и [означаемым, бытующий в социальной массе, испытывающей воздействие времени, также изменяется].)» [Там же: 189].

Короче, «язык не свободен, поскольку в нем действует принцип непрерывности или безграничной солидарности (массы говорящих. — Л. З.) с прошлыми эпохами. Непрерывность включает в себя факт изменения, которое представляет собой смещение ценностей» [Там же: 192].



Соответственно сема как условный знак и как часть языковой системы, обладающая косистематической, комплексной природой, а значит, и ценностью, также характеризуется непрерывностью и изменчивостью во времени [Соссюр 1990: 148–149].

Непрерывность и изменчивость языка и языкового знака укрепляет Соссюра в мысли о двойственном характере лингвистики. В одной из заметок, датируемых ноябрем 1894 г., он пишет: «Уже в течение многих лет мы придерживаемся убеждения, что лингвистика является *двойственной наукой*» [Там же: 92; разрядка моя. — Л. З.]. Эта двойственность лингвистики представляет собой «глубинное и неискоренимое ее свойство» [Там же], обусловленное тем, что сама природа языка «*изначально двойственна*» [Там же: 90]. Потому и «для объекта изучения [лингвистики] характерна двойственность» [Там же: 99]. Она становится вполне очевидной при сопоставлении традиционной логической грамматики и грамматики исторической. Принципиальное различие между ними в подходе к языку явственно вырисовывается в сравнении его с шахматами.

В интерпретации Соссюра, «теоретики языка до возникновения современной лингвистики и занимавшиеся ею после Боппа постоянно рассматривали язык как шахматную ПОЗИЦИЮ (у которой нет *ни прошлого, ни продолжения*) и ставили вопрос, какова в этой позиции ценность <потенция> соответствующих шахматных фигур. Историческая грамматика, обнаружив, что в шахматной партии есть и ХОДЫ, высмеяла своих предшественников. Со своей стороны она не желает знать ничего, кроме *последовательности ходов*, и по этой причине претендует на безошибочность своего видения партии; позиции в этой партии ее не занимают и уже давно не удостаиваются ее внимания» [Там же: 89]. Каждый из этих двух подходов к исследованию языка, взятый сам по себе, в отрыве один от другого, с точки зрения Соссюра, ошибочен, поскольку «...язык можно сравнить только с шахматной партией во всём ее объеме, то есть включающей как *позиции*, так и *ходы*, как *изменения*, так и *состояния*, характеризующие протекание этой [партии]» [Там же: 90].

Разграничение состояний и событий Соссюр относит к числу фундаментальных [Там же: 115], поскольку «все частные и общие явления, ареной которых может стать язык, либо являются частью *состояний*, каждое из которых они характеризуют в соответствующий момент времени, или же они предстают перед нами в виде *событий*» [Там же: 114]. Следовательно, «...необходимо *отличать* событие от состояния», «противопоставлять или даже подчинять одно

другому», *разделять* их [Соссюр 1990: 119]. «Без этого разграничения нельзя даже установить факты, постичь их, без него не может быть никакой определенности, не может быть [самой лингвистики]» [Там же: 123].

Актуальность разграничения состояний и событий становится неотложной с осознанием понятия ценности и ее специфики в языке как произвольном установлении.

«Когда мы обращаемся к наукам, в которых исследуются *произвольные устанавливаемые ценности* (семиология), а не ценности, которые коренятся в самих вещах, = произвольно устанавливаемый (языковой) знак, то необходимость различения двух осей (оси одновременностей и оси последовательностей. — *Л. 3.*), — подчеркивает Соссюр, — достигает крайнего предела, так как очевидно а priori, что ценностью обладает только то, что может быть использовано *сию минуту*» [Там же: 191]. Почему? Прежде всего потому, что «...реальным является то, что говорящие субъекты хоть в какой-то степени осознают, всё то, что они осознают, и только то, что они могут осознать» [Там же: 72]. Однако же осознание реальных фактов языковой деятельности имеет место только *в данный момент времени*. Поэтому в одной из последующих заметок Соссюра появляется уточнение: «реальным *в данном состоянии языка* является то, что осознается говорящими, всё то, что ими [осознается, и только то, что может ими осознаваться]» [Там же: 80; выделено мною. — *Л. 3.*].

Этот «великий принцип» Соссюр доказывает на примере морфологического анализа «одновременных», «сосуществующих» форм путем их разложения (членения) на осознаваемые говорящими значащие «единицы, низшие по отношению к слову (*sous-unités*)» [Там же], и выявления общих моделей их расположения и функционирования в составе готовых слов и форм [Там же: 79]. «Первейшее» «основное условие любой процедуры морфологического анализа» — «учитывать соотношение одновременных форм в их разнообразии» [Там же: 77], «не выходить за пределы одной эпохи», чтобы можно было опираться на языковое чувство [Там же: 82].

Производимый самим языком анализ подтверждается новообразованиями по аналогии с готовыми формами: «...язык должен был опереться на совокупность одновременных форм, чтобы создать новую форму» [Там же: 77], «всегда элементы новой формы заимствуются из наличных ресурсов» [Там же: 78].

«Следовательно, — заключает Соссюр, — всё зависит от взаимоотношений между родственными формами в каждую данную эпоху.

Тот или иной анализ верен только для ограниченного отрезка времени» [Соссюр 1990: 80], когда он отражает языковую реальность, а «...*реальность* — это факт, осознаваемый говорящими субъектами» [Там же: 74], и наоборот: «... всё то, что определяется языковым чувством говорящих, есть реальность» [Там же: 73].

Необходимость различения двух осей — оси одновременностей и оси последовательностей — диктуется также соображениями системности. События в языке и языковые состояния (иначе, языковые системы), согласно Соссюру, принципиально различны в отношении системности. На оси одновременности, в синхронии, «несмотря на возмущающее действие диахронических событий», «... тенденция к системности или упорядоченности никогда не ослабевает» [Там же: 200]. «Ни одна система не питается предшествующими событиями ни в малейшей степени. Она вызывает представление о стабильности, статичности. В свою очередь никакая *совокупность* событий, рассматриваемых в их собственной упорядоченности, не образует системы; самое большее, что можно увидеть в подобной совокупности событий, это определенное общее направление изменения, которое, однако, не связывает между собой события в качестве исходной величины. <...> Событие всегда само по себе имеет частный характер» [Там же: 201].

Указанные различия между событиями и состояниями в свою очередь объясняют, почему «... в языке именно состояния, и только они, обладают способностью к означиванию» [Там же: 116] и почему знаки имеют косистематическую природу. Как *члены* системы, связанные определенными *отношениями*, знаки благодаря *различиям* по тем или иным *отличительным признакам* обретают *значимость*, обусловленную отношениями в системе языка. Таким образом система, характеризующая данное состояние, обуславливает и формирует косистематическую сущность знака.

Своего рода итогом размышлений Ф. де Соссюра по данному вопросу могут служить следующие определения языка, сформулированные им в одной из ранних заметок к книге по общей лингвистике:

«— I В любой данный момент: [1°] язык представляет собой систему, *внутренне упорядоченную во всех своих частях*, 2° язык зависит от обозначаемого объекта, но свободен и произволен по отношению к нему.

— II Тот же язык... является зависимым производным от фактов, которые не [образуют системы]» [Там же: 112], т. е. от предшествующих событий.

В результате по условиям существования и изменения языка «всегда состояние с исторической точки зрения и осознание современного состояния противопоставлены друг другу. Это два способа существования знака. <...> Они противопоставляются как два возможных состояния слова». Будучи типичным языковым знаком, «каждое слово находится на пересечении диахронической и синхронической перспектив» [Соссюр 1990: 159].

Значит, исследования произвольно устанавливаемых ценностей в такой семиологической системе, какой является язык, требуют неперменного различения двух временных осей — оси одновременностей и оси последовательностей [Там же: 190–191].

### 3.5. Лингвистические учения XX в.

Сравнительно с учениями Э. Б. де Кондильяка, В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни в лингвистических концепциях американских ученых Э. Сепира и Б. Л. Уорфа тенденция акцентировать активную роль языка в отношении к мышлению, опыту, отражению и истолкованию действительности принимает завершённую и иногда даже крайнюю форму.

**Э. СЕПИР. Язык, мышление, интуиция.** Э. Сепир различает в человеческом сознании *мыслительную*, или познавательную, сферу, *волевою* сторону и *эмоции*. В свою очередь в мыслительной сфере он выделяет два плана — *до-рассудочный* и *рассудочный*. Первый оперирует образами, второй — значениями. (В таком контексте «значения» в трактовке Сепира как будто совпадают с понятиями.)

Язык, согласно Э. Сепиру, движется главным образом в *мыслительной* сфере. Сближаясь в этом отношении с А. Шлейхером, Э. Сепир считает, что «...в языке властвует мышление, а воля и эмоция выступают в нем как определенно второстепенные факторы» [Сепир 1993: 54]. *Примат мышления* Сепир объясняет функционально — целями и потребностями общения, а также познавательным по преимуществу характером языка. «Мир образов и значений — бесконечно и постоянно меняющаяся картина объективной реальности, — вот извечная тема человеческого общения... Желания, стремления, эмоции есть лишь личностная окраска объективного мира; они входят в частную сферу отдельной человеческой души и имеют сравнительно небольшое значение для других» [Там же].

Вот почему языковая материя отражает в первую очередь и главным образом *концептуальное* содержание — мир образов и значений,

тогда как «...эмоциональный аспект нашей психической жизни лишь весьма скудно выражен в строении языка» [Сепир 1993: 193]. Более того, по мнению Сепира, выражение воли и эмоций не носит подлинно языкового характера, поскольку используемые для этого средства в сущности представляют собой измененные формы инстинктивных звукоиспусканий и движений, общих у человека с животными [Там же: 54].

Но и движение языка почти исключительно в мыслительной сфере отнюдь не снимает вопроса о соотношении языка и мышления. Для его решения сам Сепир считает необходимым разобраться, не являются ли язык / речь и мышление лишь двумя гранями одного и того же психического процесса, возможно ли мышление вне речи.

Сепир *не признает тождества языка и мышления*, во-первых, потому, что мышление и мыслительная сфера для него не одно и то же, а во-вторых, потому, что функционирование языка он в значительной мере относит к сфере *бессознательного*. По Сепиру, внутреннее содержание как сознания, так и языка неоднородно и изменчиво с точки зрения психической значимости и интенсивности. Оно охватывает любые психические состояния — от конкретных образов до исключительно абстрактных значений и отношений. Но только эти последние Э. Сепир относит к собственно мышлению. Такое ограничение сферы мышления существенно отличает его позицию от взглядов Э. Б. де Кондильяка, В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, понимавших мышление гораздо шире. Если принять ограничение Э. Сепира, то «с точки зрения языка мышление может быть определено как наивысшее скрытое или потенциальное содержание речи, как такое содержание, которого можно достичь, толкуя каждый элемент речевого потока как в максимальной степени наделенный концептуальной значимостью» [Там же: 36]. Хотя такое содержание достижимо, в реальной речи оно не является нормой, ибо «...сам поток речи как таковой не всегда указывает на наличие мысли». Реальное использование языка не всегда имеет отношение к значениям ( $\approx$  понятиям), так как «мы в нашей повседневной жизни оперируем не столько значениями, сколько конкретными явлениями и специфическими отношениями» [Там же: 35]. «Из этого с очевидностью следует, что границы языка и мышления в строгом смысле не совпадают. В лучшем случае язык можно считать лишь внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне символического выражения» [Там же: 36].

В действительности же «в своих основных формах язык есть символическое выражение человеческой интуиции» [Там же: 120].

«Внутреннее содержание всех языков одно и то же — интуитивное знание опыта» [Сепир 1993: 193]. Под *интуицией* Сепир понимает такое знание, которое «недоступно для сознательного оперирования в терминах словесных символов. Это, скорее, ощущение почти неуловимых оттенков тончайших отношений, осуществленных в реальном опыте и потенциально возможных» [Там же: 599; выделено мною. — Л. З.].

Вероятно, не без влияния бихевиоризма, господствовавшего в 20-е годы XX в. в американской психологии, Сепир обнаруживает в значащих языковых формах и в звуках речи «бессознательное структурирование языкового поведения» [Там же: 604]. Оно осуществляется под действием «важной системы поведенческих стереотипов, каждому из которых присущи чрезвычайно сложные и по большей части лишь смутно определяемые функции и которые сохраняются и передаются при минимальном участии сознания» [Там же: 606]. Последнее как будто согласуется с установкой бихевиоризма на устранение сознания из психологии (поскольку оно не поддается непосредственному наблюдению). Но в отличие от последовательных приверженцев бихевиоризма (в языкознании это прежде всего Л. Блумфилд) Э. Сепир вовсе не исключает необходимости действия в языке механизмов сознания. Эти механизмы действуют, когда язык используется на эволюционно высоком уровне «концептуальной структуры».

Однако в повседневной жизни речевые формы обычно не осознаются [Там же: 120]. Неосознанный характер основных языковых форм есть одно из проявлений принудительности и преимущественной бессознательности форм социального поведения вообще [Там же: 265, 600]. Это значит, что «...отношения между элементами жизненного опыта, служащие для придания этим элементам формы и значения, воспринимаются человеком не столько через сознание, сколько в гораздо большей степени через ощущения и интуицию» [Там же: 599]. Каждый язык, будучи формой выражения опыта, обладает законченной формальной ориентацией, которая залегает глубоко в подсознании носителей языка и реально ими не осознается [Там же: 254].

Как *символическое выражение интуиции* язык не сводим исключительно к выражению мышления (точнее, к выражению того типа мышления, который предшественники Сепира называют абстрактным, понятийным, научным, прозаическим). Функции языка значительно шире, ибо это «такое орудие, которое пригодно в любых психических состояниях»: «начиная с таких мыслительных состояний, которые вызваны вполне конкретными образами, и кончая такими состояниями,

при которых в фокусе внимания находятся исключительно абстрактные значения и отношения между ними и которые обычно называются рассуждениями» [Сепир 1993: 36].

Поэтому отсутствие в языке какого-либо понятия отнюдь не означает, что данный язык не способен выразить соответствующее отношение. В частности, «...способность ощущать и выражать причинное отношение ни в коей мере не зависит от способности восприятия причинности как таковой. Последняя способность относится к сфере сознания и интеллекта по своей природе; она требует значительных умственных усилий, как большинство сознательных процессов, и характеризуется поздним этапом эволюции. Первая же способность находится вне сферы сознания и интеллекта по своей природе, развивается очень быстро и очень легко на ранних этапах жизни племени и индивида». Вот почему «...те концепции и отношения, которыми первобытные народы совершенно не способны владеть на уровне сознания, выражаются вне контроля сознания в языках этих народов — и при этом нередко чрезвычайно точно и изящно» [Там же: 254].

Поскольку высшие мыслительные состояния достигаются в результате длительного развития, тождество языка с так понимаемым мышлением невозможно и по генетическим соображениям. Генетически, как предполагает Сепир, «...язык есть орудие, первоначально предназначенное для использования на уровне более низком, чем уровень концептуальной структуры» [Там же: 36]. «...Язык возник до-рассудочно» [Там же: 37], «...язык по своей сути есть функция до-рассудочная» [Там же: 36].

Подобно Э. Б. де Кондильяку, И. Г. Гердеру, В. фон Гумбольдту, А. А. Потебне, Э. Сепир признает *активную роль языка по отношению к мышлению*, в том числе в генетическом аспекте. «...Язык не есть ярлык, заключительно налагаемый на уже готовую мысль», ведь сама «...мысль возникает как утонченная интерпретация его содержания. Иными словами, продукт (мышление. — Л. 3.) развивается вместе с орудием (языком. — Л. 3.)». «...Оно (мышление. — Л. 3.) в своем генезисе и своем повседневном существовании немислимо вне речи» [Там же]. «...Речь есть единственный возможный путь, приводящий нас к этой области» — мышлению [Там же: 37].

«...Разделяемое многими мнение, будто они могут думать и даже рассуждать без языка, является всего лишь иллюзией», которая порождена, согласно Сепиру, во-первых, неумением различать образное мышление и собственно мысль, а во-вторых, отождествлением языка



с его звуковым выражением. Иллюзия эта поддерживается также тем, что символическое выражение мысли может осуществляться вне поля сознания [Сепир 1993: 37].

Тем не менее «...даже наиболее утонченная мысль есть лишь осознаваемый двойник неосознанной языковой символики» [Там же]. «...Значение не получает своего особого и независимого существования, пока оно не нашло своего специального языкового воплощения. <...> Лишь тогда, когда в нашем распоряжении оказывается соответствующий символ, мы начинаем владеть ключом к непосредственно-му пониманию того или иного значения» [Там же: 38].

С другой стороны, Сепир отнюдь не исключает существенной зависимости развития речи от развития мышления: «...мы не должны воображать, что высоко развитая система речевых символов выработалась сама собою еще до появления точных значений, до того, как сложилось мышление при помощи значений. Мы, скорее, должны предположить, что появление мыслительных процессов как особого рода психической деятельности, относится почти к самому началу развития речи, а также что значение, раз возникнув, неизбежно воздействовало на жизнь своего языкового символа, способствуя дальнейшему росту языка» [Там же: 37–38].

Всё это, заключает Э. Сепир, наглядно выявляет сложный процесс *взаимодействия языка и мышления*: «орудие делает возможным продукт, продукт способствует усовершенствованию орудия» [Там же: 38]. Вследствие такого взаимодействия «язык и шаблоны нашей мысли неразрывно между собою переплетены; они в некотором смысле составляют одно и то же» [Там же: 193].

Отсюда огромная познавательная ценность языковых форм и исторических процессов языкового развития для понимания психологии мышления и эволюции в жизни человеческого духа. Примечательно, однако, что, согласно Э. Сепиру, «эта их ценность предопределяется в первую очередь неосознаваемой и не рационализуемой природой языковой структуры» [Там же: 26].

**Б. Л. УОРФ. Предлагаемая антитеза рационалистической теории языка.** Б. Л. Уорф отказывается от неприемлемой для него рационалистической системы взглядов на язык и мышление, установившейся в естественной логике «Всякого человека», в «здравом смысле». В изложении Уорфа она сводится к следующим утверждениям.

- Законы мышления одинаковы для всех людей.
- Мысль зависит от одинаковых для всех обитателей вселенной законов логики, отражающих рациональное начало.



- Формирование мысли, мышление — это самостоятельный, независимый, строго рациональный процесс, «никак не связанный с природой отдельных конкретных языков».

- Понятийное содержание мысли одно и то же независимо от того, на каком языке она выражена.

- Ввиду единства логического мышления, универсальности его законов «...различные языки — это в основном параллельные способы выражения одного и того же понятийного содержания».

- Использование языка подчинено рациональному, или логическому, мышлению.

- «...Речь, т. е. использование языка, лишь “выражает” то, что уже в основных чертах сложилось без помощи языка».

- Функция речи состоит в сообщении мыслей, но не в их формировании.

- Грамматика, являющаяся основой языковой системы, — лишь «инструмент для воспроизведения мыслей» [Уорф 1960б: 169–170, 174].

В качестве антитезы этому логическому подходу к языку Уорф выдвигает свою концепцию, в которой *ведущая роль* безоговорочно *отводится не мышлению, а языку*. Поскольку же мышление опосредует связи языка с действительностью, то формирующее влияние языка через посредство мышления распространяется и на нее, а также на повседневный опыт [Там же: 172] и различные виды деятельности людей [Уорф 1960в: 135].

С точки зрения Уорфа, природа, окружающий мир представляет собой «непрерывный поток явлений» [Уорф 1960а: 192], который отражается в человеческой психике в виде потока ощущений [Там же: 190], калейдоскопического потока впечатлений [Уорф 1960б: 174]. Как видно из анализа представлений о времени, «**всё** есть в сознании, и всё в сознании существует и существует нераздельно. В нашем сознании соединены чувственная и нечувственная стороны восприятия», память и предвидение, прошедшее, настоящее и будущее [Уорф 1960в: 148]. Вследствие нерасчлененности, нераздельности потока природных явлений и человеческой психики «...определить явление, вещь, предмет, отношение и т. п., исходя из природы, невозможно» [Уорф 1960б: 177], категории и типы мира явлений отнюдь не самоочевидны [Там же: 174].

Членение и организация обоих указанных потоков становятся возможными благодаря хранящемуся в сознании языку и прежде всего благодаря *грамматике*.

В понимании Уорфа, «...основа языковой системы любого языка (иными словами, грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза. Формирование мыслей — это не независимый процесс, строго рациональный в старом смысле этого слова, но часть грамматики того или иного языка и различается у различных народов в одних случаях незначительно, в других — весьма существенно, так же как грамматический строй соответствующих языков. <...>

Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы — участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка» [Уорф 1960б: 174–175].

**От грамматической системы языка к организации понятий и членению мира.** Ведущую роль языка по отношению к миру внешних явлений и мышлению Б. Л. Уорф объясняет его системным характером. «...Язык является системой, а не просто комплексом норм» [Уорф 1960в: 164]. Грамматика как основа языковой системы — это не только система моделей и грамматических категорий, способы построения предложений. Это также способы анализа и обозначения восприятий [Там же: 166], средство анализа и синтеза впечатлений [Уорф 1960б: 174]. Система моделей языка — это и средство расчленения мира, и средство организации понятий, и средство распределения значений, причем, судя по разъяснениям Уорфа, распределение грамматических значений задает и организацию понятий, и сегментацию мира.

Так, в английском и других индоевропейских языках распределение большинства слов по двум классам — существительных и глаголов — приводит к разграничению в логике, в структуре суждения–предложения субъекта и предиката, деятеля и действия, объекта и его определения и, обуславливая двустороннее восприятие окружающего мира, делит мир на два полюса — длительные и устойчивые явления, т. е. предметы, и временные и кратковременные явления, т. е. действия [Уорф 1960б: 176–177; 1960а: 193–194, 196].

В языке нутка в отсутствие частей речи предложение не членится на субъект и предикат [Уорф 1960а: 195], «...перед нами как бы монистический взгляд на природу, который порождает только один класс слов для всех видов явлений» [Уорф 1960б: 177]. В результате и о доме, и о пламени можно сказать одинаково: *a house occurs* ‘дом

имеет место' и *a flame occurs* 'пламя имеет место' или *it houses* 'домит' и *it burns* 'горит' [Уорф 1960б: 177].

**Относительность понятийных систем.** Поставив под сомнение универсальную естественную логику «Всякого человека», заменив ее релятивистской логической основой, которая может различаться в зависимости от языка, Б. Л. Уорф усомнился и в существовании универсального понятия «Язык» (язык вообще). Чисто грамматические факты «отнюдь не обязательны для всех языков и ни в каком смысле не являются общей основой мышления» [Там же: 172]. Реально существуют отдельные языки. Поэтому неверно, будто «...“мышление является материалом **языка**”». Скорее «...“мышление является материалом различных языков”», которые формируют его по-разному [Уорф 1960а: 191]. *Отсюда относительность всех понятийных систем, их зависимость от языка* [Уорф 1960б: 176].

Относительность понятийных систем касается не одних более или менее частных обобщений, порождающих лексическую неэквивалентность (наподобие обозначений 'снега' англичанами, эскимосами или ацтеками) [Там же: 178], но и основополагающих понятий 'пространства', 'времени', 'материи', особенно двух последних, у народов Standard Average European 'среднего европейского стандарта' (SAE) и у индейцев хопи.

Опираясь на известные ему данные психологических экспериментов и сравнительный анализ указанных понятий, Уорф высказывает предположение, что «...понимание пространства дается в основном в той же форме через опыт, *независимый от языка*» [Уорф 1960в: 167; выделено мною. — Л. З.]. В отличие от 'пространства' «...понятия “времени” и “материи” не даны из опыта всем людям в одной и той же форме. Они зависят от природы языка или языков, благодаря употреблению которых они развились», от способов анализа и обозначения восприятий, которые закрепились в языке [Там же: 166].

Тем не менее вследствие взаимодействия отдельных понятий в единой понятийной системе определенной модификации подвергается даже общее, казалось бы, данное через опыт понятие пространства. Иначе говоря, «...**понятие пространства** несколько варьируется в языке, ибо, как категория мышления, оно очень тесно связано с параллельным использованием других категорий мышления, таких, например, как “время” и “материя”, которые обусловлены лингвистически» [Там же: 167]. В результате «наш глаз видит предметы в тех же пространственных формах, как видит их и хопи, но для нашего представления о пространстве характерно еще и то, что оно используется

для обозначения таких непространственных отношений, как время, интенсивность, направленность, и для обозначения вакуума, наполняемого воображаемыми бесформенными элементами, один из которых может быть назван “пространство”. Пространство в восприятии хопи не связано психологически с подобными обозначениями, оно относительно “чисто”, т. е. никак не связано с непространственными понятиями» [Уорф 1960в: 167–168].

Еще более значительны лингвистически обусловленные различия между другими соотносительными понятиями.

В частности, по наблюдениям Уорфа, «наше собственное “время” существенно отличается от “длительности” у хопи. Оно воспринимается нами как строго ограниченное пространство или иногда — как движение в таком пространстве и соответственно используется как категория мышления. “Длительность” у хопи не может быть выражена в терминах пространства и движения» [Там же: 166–167].

Иногда же соотносительность понятий как будто и вовсе отсутствует. Так, «наше понятие “материи” является физическим подтипом “субстанции”, или “вещества”, которое мыслится как что-то бесформенное и протяженное, что должно принять какую-то определенную форму, прежде чем стать формой действительного существования. В хопи, кажется, нет ничего, что бы соответствовало этому понятию; там нет бесформенных протяженных элементов» [Там же: 167].

И это различие не просто обусловлено, но «навязано» языком. В языках SAE грамматически различаются, с одной стороны, существительные, обозначающие отдельные предметы определенной формы, а с другой — существительные, обозначающие однородные вещества без четких границ. Первые имеют формы единственного и множественного числа, вторые — в указанном значении — употребляются только в форме единственного числа. Соответственно «законы наших языков часто заставляют нас обозначать материальный предмет словосочетанием, которое делит представление на бесформенное вещество плюс та или иная его конкретизация (“форма”): *glass of water* «стакан воды», *stick of wood* «брусочек дерева» и т. п. [Там же: 144].

В отличие от этого в хопи «...нет особого подкласса — “материальных” существительных. Все существительные обозначают отдельные предметы и имеют и единственное и множественное число. <...> В каждом конкретном случае *water* “вода” обозначает определенное количество воды, а не то, что мы называем “субстанцией воды”. <...> Само существительное указывает на соответствующую форму или сосуд. Говорят не *a glass of water* “стакан воды”, а *kə·yí* “вода”...

В языке хопи нет ни необходимости, ни моделей для построения понятия существования как соединения бесформенного и формы» [Уорф 1960в: 144–145].

Вследствие этих и других различий мыслительный мир, или, иначе, микрокосм, у народов SAE существенно расходится с мыслительным миром индейцев хопи.

В определении Уорфа, «микрокосм SAE, анализируя действительность, использует главным образом слова, обозначающие предметы (тела и им подобные) и те виды протяженного, но бесформенного существования, которые называются “субстанцией”, или “материей”. Он воспринимает бытие посредством двучленной формулы, которая выражает всё сущее как пространственную форму плюс бесформенная пространственная непрерывность, соотносящаяся с формой, так же как содержимое соотносится с формой содержащего. Явления, не обладающие пространственными признаками, мыслятся как пространственные, несущие в себе те же понятия форм и непрерывностей» [Там же: 153].

Если «...английский и ему подобные языки дают возможность воспринимать мир как собрание отдельных предметов и событий, соответствующих отдельным словам» [Уорф 1960а: 192], то в восприятии хопи мир — не собрание отдельных предметов, а «нечто, находящееся в процессе какой-то подготовки». «Микрокосм хопи, анализируя действительность, использует главным образом слова, обозначающие **явления** (events, или точнее eventing)» [Уорф 1960в: 153].

Выявленная зависимость понятийной системы от конкретного языка разрушает былые представления об ее универсальности. Даже такие общие категории, как время и материя, оказываются не всегда существенными, по мнению Уорфа, для построения картины вселенной [Уорф 1960б: 178].

Сказанное не следует, однако, понимать, предупреждает автор, как «исчезновение» самих этих категорий. «Психические переживания, которые мы подводим под эти категории, конечно, никуда не исчезают, но управлять космологией могут и иные категории, связанные с переживаниями другого рода, и функционируют они, по-видимому, ничуть не хуже наших» [Там же].

**Язык и теоретическое знание.** Всё это позволяет предположить существование связи между лингвистически детерминированными нормами мышления и теоретическим знанием. Б. Л. Уорф полагает, что «философские взгляды, наиболее традиционные и характерные для “западного мира”, во многом основываются на двучленной формуле —

форма + содержание. Сюда относятся материализм, психофизический параллелизм, физика, по крайней мере в ее традиционной — ньютоновской — форме, и дуалистические взгляды на вселенную в целом» [Уорф 1960в: 159]. В частности, «...ньютоновские понятия пространства, времени и материи не есть данные интуиции. Они даны культурой и языком. Именно из этих источников и взял их Ньютон» [Там же: 160].

Сам Уорф имплицитно также пользуется указанной двучленной формулой в ходе научного анализа. Эта формула лежит в основе его интерпретации природы, вселенной: *содержание* — непрерывный поток непрерывно изменяющихся явлений природы, *форма* — языковая (и научная) картина вселенной как способ ее восприятия, членения и понимания.

Та же формула заложена в толковании Уорфом человеческой психики: *содержание* — калейдоскопический поток впечатлений, поток ощущений, нераздельное сознание; *форма* — понятийная система, нормы мышления.

Наконец, как следует из проведенного анализа, указанная формула распространяется и на лингвофилософское толкование самого языка в европейской традиции.

Согласно Уорфу, статус *формы* принадлежит в языке *системе* его *грамматических моделей и категорий*. Именно свойства грамматической системы языка «в конечном счете выражаются в особенностях структуры логических или математических построений» [Уорф 1960а: 186]. Так, для типа логического мышления *небезразличен тип синтаксиса*. Взаимоотношения составляющих элементов в предложении напоминают химическое соединение в полисинтетических индийских языках и механическую смесь в аналитическом английском и других индоевропейских языках. “Химический” или “механический” тип сочетания слов обуславливает и соответствующий способ мышления. В основе традиционной для носителей индоевропейских языков логики Аристотеля лежит *механистическое мышление* [Там же: 187–189].

*Научная картина мира*, по мнению Уорфа, *производна от его языковой картины*. В частности, сложившееся в западной системе мышления представление о предметной сущности действительности объясняется тем, что индоевропейские языки рисуют мир в виде собрания отдельных предметов. Неудивительно, что «...восприятие вселенной как собрания отдельных предметов различных размеров — это наиболее полная характеристика классической физики и астрономии» [Там же: 192]. В таком случае, заключает Уорф, «...языки, не изображающие мир в виде отдельных объектов–предметов (так, скажем, как

это происходит в английском и родственных ему языках), указывают нам путь к возможным новым типам логического мышления и новым способам восприятия вселенной» [Уорф 1960а: 193].

Отсюда *познавательная ценность* для Б. Л. Уорфа *любого языка*. Отсюда же его убежденность в невозможности ограничить мышление рамками одного, даже самого искусного, языка. Подобно тому как каждый язык может быть более эффективно понят «с удобной позиции многоязычного сознания» [Там же: 197], так и *познание* отдельных сторон *вселенной* и построение ее всеобъемлющей картины *нуждается в разнообразии типов мышления и способов восприятия*. Возможны иные системы логического мышления помимо традиционной для носителей индоевропейских языков логики Аристотеля. Поэтому сравнительное и контрастивное изучение языков, включая весьма экзотические, является необходимым условием будущего развития мысли и познания истины на основе новых оригинальных типов логического мышления, позволяющих понять некоторые стороны вселенной [Там же: 191–192, 197].

**Г. ГИЙОМ.** Характерный для гипотезы лингвистической относительности (особенно в версии Б. Л. Уорфа) известный перекосяк в понимании взаимоотношений между языком и мышлением был устранен в синтезирующей по сути философии языка Г. Гийома.

**Истоки и функции языка.** В интерпретации Гийома, взаимоотношения языка и мышления осуществляются в первую очередь на основе великого исходного противостояния Универсум / Человек, из которого возникает «маленькое» противостояние Человек / Человек [Гийом 1992: 161].

Во взаимодействии этих двух противостояний формируются противоположения бессознательного и сознания, языка и речи во внутреннем мире человека.

Исходя из иерархии противостояний, лежащих в истоках языка и его функций, Гийом считает ограниченным и упрощенческим общепринятое определение языка как исключительно общественного явления, ибо оно ведет к принижению и недооценке сущности языка и не позволяет объяснить, как он создается и формируется. Учитывая взаимоотношения между людьми, данное определение не учитывает отношений всех и каждого к миру (универсуму), благодаря которым люди вступают в непосредственные социальные отношения и общаются друг с другом. «Признавать в языке социальное явление, каким он является в силу его использования людьми в качестве средства экстерниоризации и передачи своих мыслей и чувств, и не видеть в нем собственно человеческого явления, т. е. внесоциального, заключенного



в самом человеке, говорящем или не говорящем, но думающем, — это значит, — предупреждает Гийом, — лишить себя всякой возможности познания его структуры», отражающей противостояние человека вселенной [Гийом 1992: 162].

В этой связи Гийом считает ошибкой «слишком тесно соотносить построение языка с тем, что происходит во время акта речевой деятельности». На взгляд Гийома, «...язык создается, конечно, в нас, в ходе его использования, но также частично и вне использования, в течение того непрерывного глубокого раздумья, в которое всегда погружены мыслящие люди... ..Самая глубинная часть языка в гораздо большей мере зависит от постоянного глубокого раздумья человеческого мышления, чем от непосредственного упражнения в речи...». Соответственно «...в языке записаны не только потребности мышления в непосредственный момент выражения, но, кроме того, и те, которые можно было бы назвать потребностями молчаливого мышления, занятого вне акта речетворчества самосозерцанием и определением лучших способов перехвата того, что в нем происходит» [Там же: 68].

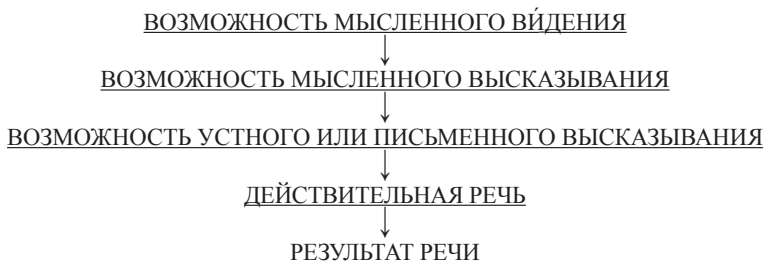
Вот почему в лингвистике необходимо устранить ошибку, состоящую «в недооценке различия *двух уровней* проблем, решаемых в речевой деятельности: проблем *представления*, решенных *вне речи*, в не использованном еще *языке*, и проблем *выражения*, решенных *вне языка*, *в речи*, которая является использованием заранее определившегося и устоявшегося языка. *Язык образуется* не в процессе говорения, а тогда, когда говорения нет, *в тиши мышления*, находящегося *в постоянном и подсознательном поиске* проникновенного *самопознания*» [Там же: 155; выделено мною. — Л. З.].

**Этапные преобразования в процессе порождения языка и речи.** По мысли Г. Гийома, язык человека начинается с того момента, как стало реальным и осуществилось преобразование невозможного выразить словами (*indicible*) в возможное (*dicible*) [Там же: 138].

Появлению возможного выразить словами предшествовал «опыт, которым овладевал человек в процессе своего существования в физическом мире. И этот опыт в силу своей обширности, в силу некогерентного разнообразия, в силу внутреннего накопления не мог быть переведен в представление и поэтому не мог быть выраженным словами» [Там же: 140]. «Человеческий язык существует только с того момента, когда пережитый опыт преобразуется в *представление*» [Там же: 145], когда свойственное животному непосредственное видение реальности заменяется собственно человеческим опосредованным



видением, основанным на обработке образа окружающего мира через канал предварительного мысленного представления [Гийом 1992: 144]. С появлением возможности мысленного видения приобретает возможность мысленного высказывания, которая в свою очередь предполагает такую манеру мышления, когда к мыслимому можно добавить знак и таким образом осуществить переход от возможности мысленного высказывания к семиологической возможности устного или письменного высказывания, а затем к действительной устной или письменной речи — к физическому словесному высказыванию. Этапы указанных преобразований–переходов в структурном механизме деятельности говорящего Гийом представляет в следующей схеме [Там же: 22]:



Данная схема отражает противопоставление *языка* и *речи* как противопоставление *возможности* (потенции) и *действительности* (реализации, актуализации). На первых трех ступенях действуют *бессознательные* механизмы языка, на последующих — *сознательные* механизмы речи [Скредина 1992: 203].

**Язык и мышление.** В толковании функций языка, его роли по отношению к мышлению Г. Гийом сходится с В. Гумбольдтом и А. А. Потебней. Подобно А. А. Потебне, он видит в языке *переход от бессознательного к сознанию*.

Первоначальное состояние бессознательной мысли Г. Гийом, аналогично многим своим предшественникам, характеризует как хаотическое, беспорядочное, «турбулентное» течение. Большое или меньшее упорядочение мыслимого происходит благодаря представлению. «Оно его делит, подразделяет, внутренне организует, систематизирует, чтобы высказать всё, и результатом этих систематизирующих операций является язык» [Гийом 1992: 94]. Язык, в определении Гийома, и есть общее, интегральное представление мыслимого, всего потенциального мышления с некоторой внутренней систематизацией [Там же: 94–95].

Акты представления, образующие язык, обеспечивают, согласно Гийому, дальнейшие собственные возможности человеческого мышления, основанного на глубинных необходимых операциях, в отсутствие которых и сами эти возможности не существовали бы. Совокупности этих глубинных операций, действующие на уровне *интуитивной механики*, создают акты представления языка и возможность человеческого мышления. Подсознательно используемые первичные способности представления порождают сознательное. Они лежат в основе логических способностей к рассуждению [Гийом 1992: 155–156]. И в этом Гийом явно сходится с Кондильяком.

Само создание мыслимого осуществляется путем построения потенциальной мысли и построения языка, причем, как и у И. Г. Гердера, в трактовке Г. Гийома «оба построения идут рука об руку» ([Там же: 163]; ср. [Гердер 1959: 153]). Вследствие этого история человеческого мышления, считает Г. Гийом, как бы зашифрована в структурной истории языка, правдиво отражаясь в категоризации, в историческом следовании его структурных состояний [Гийом 1992: 140].

Для адекватного понимания специфики человеческого мышления и роли языка в интерпретации Гийома надо иметь в виду, что, обсуждая характер связи между языком и мышлением и возможность их отождествления, Гийом настаивает на различении двух различных областей — *собственно мышления* и *возможности мысленного самослежения*. По мнению Гийома, «язык абсолютно независим от самого мышления, но он стремится к отождествлению себя с возможностью, которую имеет мышление в самослежении, т. е. перехвате своей собственной деятельности, какой бы она ни была. Мышление свободно, совершенно свободно и безгранично в своем движении к активной свободе, но средства, которыми оно пользуется для своего собственного перехвата, это средства систематизации и организации, ограниченные по своему количеству, и в своей структуре язык дает их верное отображение. <...> Под таким углом зрения язык представлен совокупностью средств, которые мышление систематизировало и сформировало для того, чтобы обеспечить себе постоянную способность проведения быстрого и ясного, по возможности мгновенного, перехвата того, что в нем развертывается, каким бы ни было это развертывание и его суть» [Там же: 54].

Поскольку «операцией, фундаментальной для построения потенциальной мысли, является перехват мышлением самого себя» [Там же: 163], постольку специфически человеческое «...мышление существует само по себе только в том случае, если оно способно

контролировать (перехватить) себя и тем самым различать в себе отдельные моменты деятельности. Эти перехваты отождествляются с представлением; это то, что является представлением» [Гийом 1992: 109]. А так как представление в свою очередь отождествляется с языком, то ясно, что вместе с ним в сущности создается не только специфически человеческое — языковое — мышление, но и сам человек [Там же: 146]. Поэтому Г. Гийом, как до него В. Гумбольдт [1985: 412] и А. Шлейхер [1868: 10, 14], считает, что «язык человека обладает антропогенным аспектом» [Гийом 1992: 164]. Только благодаря языку обеспечивается относительная автономия человека в мире, в котором он живет [Там же: 125, 147, 159].

**Глубинные мыслительные операции. Отношение всеобщего и единичного в языковом сознании.** Вся архитектура речевой деятельности, вся структура языка строится, согласно Г. Гийому, на отношении всеобщего (универсального) и единичного, а конкретной основой этого отношения является базовое отношение Мир (Универсум)/Человек [Там же: 162–163].

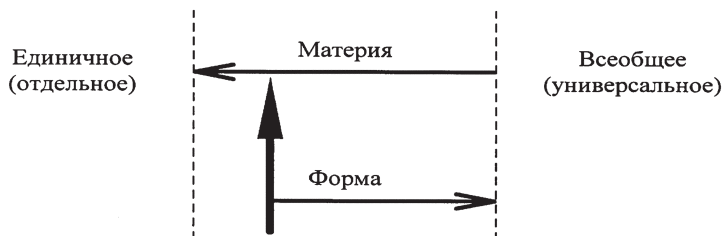
Как показывает Гийом, в основе человеческого (языкового) сознания, в основе мыслительной потенции, включая собственные оперативные возможности мышления, а также в основе всего построения языка, его структуры лежат две главнейшие, базовые потенциальные операции, два противоположных движения мысли, отмеченные уже Платоном: *конкретизирующее* движение в сторону единичного, в направлении от широкого к узкому, от большего к меньшему, свойственное *партикуляризации*, и *обобщающее* движение в сторону всеобщности, в направлении от узкого к широкому, от меньшего к большему, свойственное *генерализации* [Там же: 56, 106, 119]. *Двойная способность языкового сознания — обобщать и индивидуализировать — составляет единое внутренне бинарное целое* [Там же: 119].

**Порождение материи и формы.** К тем же исконным базовым операциям, к тем же движениям мысли возводит Г. Гийом — и, может быть, не без влияния В. Гумбольдта — разграничение материи и формы в языке.

Согласно Гийому, «материя является следствием первого движения мышления», когда «наше сознание, достигнув некоторого состояния абстрактной потенции, отправляется от всеобщего в сторону единичного» [Там же: 112] и происходит мысленное вычленение частного из общего, выделение отдельного из полного универсума, содержащего отдельное [Там же: 115]. В результате этого движения

осуществляется необходимая партикуляризация (сингуляризация, выделение, вычленение, индивидуализация) смысла, образуются *понятийные идеи* [Гийом 1992: 130], происходит индивидуализация семантем [Там же: 115], слово получает свое «начальное значащее содержание» [Там же: 114], формируются основы, или, иначе, материальные части слов [Там же: 111–112, 117–119]. «...Форма же есть результат второго движения мышления — обратно к своему исходному положению», к всеобщему [Там же: 112] и, следовательно, относится к уровню генерализации (универсализации, включения, категоризации), на котором образуются *структурные идеи* [Там же: 130], формальные, морфологические части слов.

Схематически это порождение материи и формы. Гийом представляет так [Там же: 113]:



**Антиномия пространства и времени в языке.** Когда в ходе операции категоризации «абстрагированное из всеобщего в отдельное возвращается обратно во всеобщее» [Там же: 115], это последнее представляет собой уже не полный универсум, содержащий отдельное, а пустой универсум, из которого выделено частное и который тем самым лишен характеризуемого содержания [Там же: 115–116]. Категоризация в таком универсуме может осуществляться лишь путем противопоставления всеобщего, универсального видения самому себе на основе ноологического различения пространства и времени [Там же: 114–116]. Поэтому «слова в наших языках в процессе движения, созидающего их форму и приводящего их к границе всеобщего, от которой они вначале удалились, выходят либо в универсум–Время, либо в универсум–Пространство», образуя таким образом базовое частеречное противоположение *глагола* и *имени* [Там же: 114].

Будучи чистой формой, часть речи как окончательная, завершающая форма не содержит ничего материального и не имеет материального обозначения [Там же: 119].

Приведение слова к той завершающей чистой форме, какой является часть речи, производится с помощью промежуточных формальных операций, которые образуют пред-завершающие формы. Эти промежуточные формы не полностью лишены понятийного содержания и потому имеют материальное обозначение [Гийом 1992: 118–119]. Таковы грамматические показатели категорий представления времени (наклонения, времени, лица) и категорий пространственного представления (рода, числа, падежа...).

В результате всех указанных операций образуются *слова*, которые, по определению Г. Гийома, относятся к *оформленной языковой субстанции* [Там же: 91].

В итоге же, «...целиком опираясь на антиномию пространства и времени, язык (другими словами, область представления или высказывания на доречевом уровне) создает в мыслящем человеке идеальный универсум (*univers-idee*), находящийся в постоянном расширении» [Там же: 157]<sup>4</sup>, неизбежно растущий в количественном и качественном отношении [Там же: 158], меняющийся из поколения в поколение, выявляя таким образом прогресс цивилизации и меру самостоятельности человеческой личности с ее психическим миром по отношению к окружающему миру, физическому универсуму, вселенной [Там же: 159]. «Будучи языком мыслящего человека, идеальный универсум построен по образу и подобию самого человека, который одновременно и зритель и наблюдатель — глазами тела и глазами разума — действительного универсума, реального мира» [Там же: 157]. Сама структура языка становится определенным *зеркалом* специфически человеческих условий *противостояния человека и вселенной* [Там же: 162].

**Э. БЕНВЕНИСТ. Природа человека и язык.** В основе лингвистической концепции Э. Бенвениста лежит не столько антропоцентрический [Степанов 1974: 14–15], сколько *антропогенный* принцип. Сущность этого принципа в понимании Бенвениста становится очевидной благодаря строгому различению функций языка и речи. Исходя из единства человека и природы, Бенвенист признает орудийную, посредническую функцию речи, но ставит под сомнение «упрощенное представление о языке» как орудии общения. Язык — «феномен человеческий» [Бенвенист 1974: 45], и применительно к языку «говорить

---

<sup>4</sup> Ср. с определением А. А. Потебни, согласно которому язык является знаковой системой, способной к неопределенному, к безграничному расширению [Потебня 1981: 134].

об орудии — значит противопоставлять человека природе. Кирки, стрелы, колеса нет в природе. Их изготовили люди. Язык же — в природе человека, и человек не изготавливал его» [Бенвенист 1974: 293]. Язык, подчеркивает Бенвенист, «необходимо принадлежит самому определению человека» [Там же] как *существа разумного*, выделяющегося среди животного царства своей *способностью к символизации*.

«Все свойства языка: нематериальная природа, символический способ функционирования, членораздельный характер, наличие *содержания* — достаточны уже для того, чтобы сравнение с орудием, отделяющее от человека его атрибут — язык, оказалось сомнительным» [Там же].

**Значение символизации для человеческого сознания. Язык — мышление — действительность.** В наиболее общей форме способность к символизации и ее значение для человеческого сознания и общественно-культурной жизни характеризуются у Э. Бенвениста следующим образом.

«Употребить символ — значит зафиксировать характерную структуру какого-либо объекта и затем уметь идентифицировать ее в различных других множествах объектов. Именно эта способность свойственна человеку и делает его существом разумным. *Способность к символизации делает возможным формирование понятия* как чего-то отличного от конкретного объекта, который выступает здесь лишь в качестве образца. *Она является одновременно принципом абстракции и основой творческой фантазии.* Эта символическая в своей сущности репрезентативная способность, лежащая в основании образования понятий, появляется только у человека. У ребенка она пробуждается очень рано, еще до начала речевой деятельности, на заре его сознательной жизни» [Там же: 28; выделено мною. — Л. 3].

«Способность к символизации лежит в основе мыслительных функций. Мышление — не что иное, как способность создавать представления вещей и оперировать этими представлениями. Оно по природе своей символично. Символическое преобразование элементов действительности или опыта в *понятия* — это процесс, через который осуществляется логицирующая способность разума. Мысль не просто отражает мир, она категоризует действительность, и в этой организующей функции она столь тесно соединяется с языком, что хочется даже отождествить мышление и язык с этой точки зрения» [Там же: 29–30].

Саму возможность такого отождествления Бенвенист обосновывает, во-первых, тем, что «...возможность мышления вообще неотрывна

от языковой способности, поскольку язык — это структура, несущая значение, и мыслить — значит оперировать знаками языка» [Бенвенист 1974: 114], а во-вторых, тем, что, как и мысль, «язык есть прежде всего категоризация, воссоздание предметов и отношений между этими предметами» [Там же: 122].

Функция языка задается способностью к символизации. Как наивысшая форма данной способности «язык *воспроизводит* действительность» [Там же: 27]. Только на основе этой первичной своей функции язык, актуализируясь в речи, становится орудием коммуникации между индивидами. (Такая иерархия функций языка весьма сходна с их иерархией у Г. Гийома.)

Поднимая проблему адекватности воспроизведения «реальности» в языке, Э. Бенвенист восстанавливает в правах познавательную функцию языка. Он исходит из того, что, с лингвистической точки зрения, «...не может существовать мышления без языка и что, следовательно, познание мира обусловлено способом выражения познания. Язык воспроизводит мир, но подчиняя его при этом своей собственной организации. Он есть *lógos* — речь и разум в единстве, как понимали это древние греки. И он является таковым потому, что язык — это членораздельный язык, заключающийся в совокупности органически упорядоченных частей и формальной классификации предметов и процессов. Следовательно, передаваемое содержание (или, если угодно, “мысль”) расчленяется в соответствии с языковой схемой. “Форма” мысли придается ей структурой языка. И язык в системе своих категорий также обнаруживает свою посредническую функцию» [Там же: 27]. В этом сжатом изложении самой сути лингвистических взглядов Э. Бенвениста и форма мышления, и воспроизводимый в языке мир предстают в необходимой диалектической связи с языком, его структурной организацией, образуя таким образом триединство, отмеченное ранее синтезирующими концепциями языка.

**Язык и мышление.** Э. Бенвенист критически оценивает прежние воззрения на взаимоотношения между языком и мышлением.

Он отвергает широко распространенное неосознанное убеждение, «будто процесс мышления и речь — это два различных в самой основе рода деятельности, которые соединяются лишь в практических целях коммуникации, но каждый из них имеет свою область и свои самостоятельные возможности; причем язык предоставляет разуму средства для того, что принято называть выражением мысли» [Там же: 104].

Бенвенист исходит из того, что «...мышление и язык взаимно связаны и взаимообусловлены», однако «...их отношения не симметричны» [Бенвенист 1974: 105].

Склонный видеть в мышлении «потенциальную и динамичную силу, а не жесткие структурные рамки для опыта», он не признает примат мышления и считает ошибочным представление о свободе, независимости и индивидуальности мысли, по отношению к которой язык выступает всего лишь одним из ее возможных посредников или орудий [Там же: 114].

Не приемлет Бенвенист и другое заблуждение — будто мышлению внутренне присуща какая-то «логика», которая является внешней и первичной по отношению к языку, так что формальная система языка оказывается слепком с этой логики [Там же].

Ложно и — лежащее в основе гипотезы лингвистической относительности — представление о зависимости познания мира, образа мышления от типа языковой структуры, от строя и особенностей данного языка. «Никакой тип языка, — считает Бенвенист, — не может сам по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления. Прогресс мысли скорее более тесно связан со способностями людей, с общими условиями развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка» [Там же]. Хотя «...возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности», однако «...в процессе научного познания мысль повсюду идет одинаковыми путями, на каком бы языке ни осуществлялось описание опыта. И в этом смысле оно становится независимым, но не от языка вообще, а от той или иной языковой структуры» [Там же].

Если же ориентироваться на «язык вообще», на языковую способность, то *определяющая роль во взаимоотношениях языка и мышления должна быть отведена языку.*

Для Бенвениста вопрос о том, может ли мышление протекать без языка, лишен смысла, ибо «вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику» [Там же: 105].

Вне языка «...мысль если и не превращается в ничто, то сводится к чему-то столь неопределенному и недифференцированному, что у нас нет никакой возможности воспринять ее как “содержание”, отличное от той формы, которую придает ей язык» [Там же]. «Это содержание приобретает форму, лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке...; оно не может отделиться от языка и возвыситься над ним» [Там же: 104–105]. «Чтобы



это содержание могло быть передано, оно должно быть распределено между морфемами определенных типов, расположенными в определенном порядке, и т. д. Короче, это содержание должно пройти через язык, обретя в нем определенные рамки. <...> Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками» [Бенвенист 1974: 105]. Неудивительно поэтому, что, «...пытаясь установить собственные формы мысли, снова приходят к тем же категориям языка» [Там же: 114].

Но хотя «...мысль может восприниматься, только будучи оформленной и актуализованной в языке», структура которого «и придает форму содержанию мысли», Э. Бенвенист в отличие от В. фон Гумбольдта и его последователей полагает, что, «строго говоря, мысль не является материалом, которому язык придает форму, поскольку ни в один из моментов это “содержащее” нельзя вообразить лишенным своего “содержимого” или “содержимое” независимым от своего “содержащего”» [Там же: 105].

Те же идеи единства, а точнее «совмещенной субстанциональности», мысли (содержимого, содержания) и языка (содержащего, формы) Э. Бенвенист развивает применительно к языковому знаку, доказывая *необходимый характер связи между означаемым и означающим*. «В сознании нет пустых форм, как нет и не получивших названия понятий» [Там же: 92]. «Следовательно, означающее и означаемое, акустический образ и мысленное представление являются в действительности двумя сторонами одного и того же понятия и составляют вместе как бы содержащее и содержимое. Означающее — это звуковой перевод идеи, означаемое — это мыслительный эквивалент означающего. Такая совмещенная субстанциональность означающего и означаемого обеспечивает структурное единство знака» [Там же: 93].

**Характер содержания: категории мысли или категории языка?** Рационалистическое положение о примате мышления над языком и его независимости от языка исходит из универсальности мыслительных категорий в отличие от языковых.

Однако анализ категорий, выделенных Аристотелем в качестве универсальных (таких, как *субстанция* или *сущность*, *количество*, *качество*, *отношение*, *место*, *время* и т. д.), приводит Э. Бенвениста к заключению, что они «являются прежде всего языковыми категориями и Аристотель, выделяя их как универсальные, на самом деле получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит» [Там же: 107].

Таким образом, по вопросу о природе отношений между категориями мысли и категориями языка Бенвенист принимает сторону тех философов и лингвистов, которые утверждают *примат языка*. Согласно Бенвенисту, «...“категории мысли” и “законы мышления” в значительной степени лишь отражение организации и дистрибуции категорий языка» [Бенвенист 1974: 36]. Это относится и к категориям Аристотеля. «В той степени, в какой категории, выделенные Аристотелем, можно признать действительными для мышления, они оказываются транспозицией категорий языка. То, что можно *сказать*, ограничивает и организует то, что можно *мыслить*. Язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами» [Там же: 111]. В таком случае Аристотель, стремившийся определить свойства объектов, «установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства» [Там же]. «Отсюда следует, что под видом таблицы всеобщих и постоянных свойств Аристотель дает нам лишь понятийное отражение одного определенного состояния языка» [Там же].

В количественном отношении, по данным Бенвениста, «...набор морфологических категорий, каким бы обширным он ни казался, отнюдь не безграничен. Можно поэтому представить себе некоторую логическую классификацию этих категорий, которая показывала бы их соотношение и законы трансформации» [Там же: 36].

Таким образом, спустя 300 лет после выхода в свет «Грамматики» и «Логики» Пор-Рояля Э. Бенвенист как будто возвращается к рационалистическим идеям о нераздельном единстве языка и мышления, но в отличие от картезианцев и не без влияния Э. Б. де Кондильяка и В. фон Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Л. Уорфа в качестве определяющей стороны этого единства Э. Бенвенист рассматривает не мышление, а язык.

Изложенные выше собственно лингвистические концепции рассматривают язык в отношении к психической деятельности и мышлению, а потому все они могут быть отнесены к «менталистским». Исключение составляет концепция главы американской дескриптивной лингвистики Л. Блумфилда.

**Л. БЛУМФИЛД**, стремясь опираться только на наблюдаемые факты и на психологию бихевиоризма, устраняет из сферы лингвистического анализа сознание, мышление, волю как не поддающиеся непосредственному наблюдению. Теории менталистов он противопоставляет свою теорию человеческого поведения, которую называет материалистической или «механистической». Суть этого противопоставления, по Блумфилду, состоит в следующем.

«Теория *менталистов*, более старая и до сих пор имеющая большое число приверженцев как среди неспециалистов, так и среди людей науки, исходит из того, что вариативность человеческого поведения объясняется вмешательством какого-то нефизического фактора — *духа* или *воли* или *рассудка*..., наличествующего у каждого человека. Дух же, согласно менталистской точке зрения, коренным образом отличается от материальных объектов и, следовательно, подчиняется другим, чем они, видам причинной связи или вообще ей неподвластен. <...>

*Материалистическая* (или, точнее, *механистическая*) теория исходит из того, что вариативность человеческого поведения, включая речь, объясняется только тем, что человеческое тело — это очень сложная система. Поступки людей, согласно материалистической точке зрения, являются частью причинно-следственных отношений, ничем не отличающихся от тех, которые мы обнаруживаем, скажем, при изучении физики или химии» [Блумфилд 1968: 47].

«Приверженцы менталистской психологии полагают, что они могут избежать трудностей определения значений, поскольку они считают, что до произнесения языковой формы в говорящем происходит некий нефизический процесс — возникает *мысль*, *понятие*, *образ*, *ощущение*, *волевой акт* или нечто подобное этому — и что соответствующим же образом в слушающем, воспринявшем звуковые волны, происходит эквивалентный или коррелирующий мыслительный процесс» [Там же: 145]. (В общем именно так представляет акт речевого общения Ф. де Соссюр [Соссюр 1977: 49–51].) «Менталист поэтому может определить значение языковой формы как специфический мыслительный процесс, который имеет место в каждом говорящем и слушающем в связи с произнесением или восприятием данной языковой формы. У говорящего, который произносит слово “яблоко”, в мыслях уже создан образ яблока, и это слово вызывает сходный образ в сознании слушающего. Для менталиста таким образом язык является *выражением мыслей, ощущений* или *желаний*» [Блумфилд 1968: 145].

«Механист такого объяснения не принимает. Он полагает, что *мыслительные образы, ощущения* и т. п. — это всего лишь общепринятые названия для разнообразных телесных движений» [Там же: 146]. «...В целом “мыслительные процессы” представляются механисту лишь традиционными терминами для физиологических процессов, которые 1) либо подходят под определение значения в качестве ситуации говорящего, 2) либо настолько отдаленно связаны с речевым высказыванием, что их роль в ситуации говорящего совершенно не-

значительна, 3) либо являются не чем иным, как воспроизведением речевых высказываний» (во внутренней речи) [Блумфилд 1968: 146].

«Явления, которые менталист называет мыслительными процессами, а механист классифицирует по-иному, в каждом случае касаются лишь одного человека: каждый из нас реагирует на эти явления, когда они происходят внутри нас, но не способен реагировать на них, когда они имеют место в ком-то другом. О мыслительных процессах или внутренних физиологических процессах других людей мы узнаем только из речевых высказываний этих людей или из иных действий, доступных наблюдению. Поскольку этим и исчерпывается всё, с чем нам приходится работать, менталист на практике определяет значения совершенно так же, как и механист, то есть с помощью реальных ситуаций. <...> Фактически, следовательно, все лингвисты — как менталисты, так и механисты — определяют значения в терминах ситуации говорящего, а когда это может что-то дополнительно пояснить, и в терминах реакции слушающего» [Там же: 147].

Сведение человеческого поведения, включая речь, к цепи стимулов и реакций, как и следовало ожидать, не выдержало испытания временем. Отказ от анализа сознания и мыслительных процессов дискредитировал бихевиористическую теорию языка Л. Блумфилда. Стремление вернуть разум, мысль в науки о человеке обусловило поворот американской лингвистики и психологии к «рационалистской» теории языка и мышления. После Л. Блумфилда этот поворот американской науки к «новой» для нее научной парадигме (новой, только если пренебречь концепциями Э. Сепира и Б. Л. Уорфа, а тем более европейской традицией) был сочтен революционным. И его нарекли революцией. По имени ее теоретика ведущего американского лингвиста второй половины XX в. Ноама Хомского революцию называют Хомскианской.

**Н. ХОМСКИЙ.** Из всего множества работ Н. Хомского остановимся на двух — «Язык и мышление» (1968), «О природе и языке» (2005). В первой излагается научное кредо основателя генеративной лингвистики. Последняя, как следует из предпосланного ей эпиграфа, «является самым исчерпывающим обзором взглядов Хомского на широкий спектр проблем» [Хомский 2005: 1].

В книге «Язык и мышление» Хомский рассматривает лингвистику как особую ветвь психологии познания. Чтобы приблизиться к решению классических проблем языка и мышления, он стремится преодолеть то несколько искусственное разделение лингвистики, философии и психологии, которое наметилось в XIX–XX вв. [Хомский 1972: 12].

С точки зрения Хомского, перед подлинной теорией языка стоят две базисные проблемы — проблема корректного описания языков, или *дескриптивная*, и проблема усвоения языка, *объясняющая* то, как описываемые языки вообще можно выучить. «До 1950-х гг., — полагает Хомский, — эти проблемы со всей отчетливостью не вставали, хотя сама дисциплина существует уже тысячи лет» [Хомский 2005: 154]. Посредством сочленения обеих указанных проблем Хомский и его последователи, очевидно, надеялись преодолеть свойственное американской дескриптивной лингвистике стремление описывать языковые явления без каких бы то ни было объяснений.

Судя по сложившемуся к тому времени состоянию методологии структурной лингвистики, психолингвистической теории стимулов и реакций, математической теории связи, теории автоматов, Хомский отвергает все эти подходы к построению моделей использования языка как неадекватные и принципиально неверные. На самом деле, «...если нам суждено когда-либо понять, как язык используется и усваивается, то мы должны абстрагировать для отдельного и независимого изучения определенную систему интеллектуальных способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими другими факторами определяет те виды поведения, которые мы наблюдаем». Иными словами, «...мы должны изолировать и изучать систему языковой компетенции, которая лежит в основе поведения, но которая не реализуется в поведении каким-либо прямым или простым образом» [Хомский 1972: 15]. Нацеливая лингвистику прежде всего на изучение языковой компетенции, Хомский опирается на «знаменитое соссоровское положение о логической первичности изучения *языка* — *langue*» [Хомский 1965: 468].

В предшествующие периоды развития лингвистической мысли, как отмечает Хомский, «...существовало две действительно продуктивных исследовательских традиции, которые, несомненно, имеют большое значение для каждого, кто занимается изучением языка в наши дни. Одна из них — это традиция философской грамматики, которая процветала, начиная с семнадцатого столетия, на протяжении периода романтизма; вторая — это традиция, которую я несколько неточно назвал “структуралистской” и которая преобладала в исследованиях в течение последнего столетия, по крайней мере, до начала 1950-х годов» [Хомский 1972: 33].

Твердые основы современной науки Н. Хомский возводит к XVII в. [Там же: 16], к «первой когнитивной революции» [Хомский 2005: 105]. Особое значение он придает учению Р. Декарта и его

последователей, развивавших представление о творческой природе человека и его языка.

**Креативность языка.** В связи с обсуждением проблемы креативности Н. Хомский обращается к учению о трех видах–уровнях человеческого интеллекта, которое выдвинул испанский ученый Хуан Гуарте в конце XVI в. «Низший из них — “послушный разум”», основанный на показаниях органов чувств. «Следующий, более высокий уровень — нормальный человеческий интеллект — выходит далеко за пределы указанного эмпирического ограничения: он способен “порождать внутри себя, своей собственной силой, те принципы, на которых покоится знание”. <...> ...Он способен порождать новые мысли и находить подходящие новые средства их выражения, причем такими способами, которые полностью выходят за пределы какого-либо обучения или опыта». Различие между этими двумя видами разума и составляет, по Гуарте, различие между животным и человеком. Наконец, третий — высший — вид разума выходит за рамки нормального интеллекта. Он характеризуется истинной творческой способностью, действием творческого воображения. Благодаря этому некоторые, как утверждает Гуарте, «не прибегая ни к ремеслу, ни к науке, говорят такие тонкие и удивительные вещи, причем истинные, что раньше их никто никогда не только не видел, не слышал и не писал, но и даже ни в какой степени о них и не думал» [Хомский 1972: 20–21].

В последующей рационалистской теории языка и в период романтизма в центре внимания оказывается творческая порождающая способность нормального человеческого интеллекта [Там же: 21]. Она «обнаруживается у человека при нормальном использовании языка как свободного орудия мысли» и отсутствует у животных [Там же: 22].

Именно творческое начало выделяет мыслящего и говорящего человека среди животных и вообще в мире природы. Она представляется Р. Декарту в виде огромного сконструированного механизма. Другое дело человек с присущим ему интеллектом. По словам Н. Хомского, «он (Декарт. — Л. З.) показал, как ему думалось, что разум и воля, два фундаментальных свойства человеческого мышления, затрагивают такие способности и принципы, которые не могут быть реализованы даже самыми сложными автоматами» [Там же: 17]. Прежде всего имеется в виду творческий акт использования языка, а именно «специфически человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на основе “установленного языка”, языка, который является продуктом культуры и подчиняется

законам и принципам, частью характерным именно для него, а частью являющимся отражением общих свойств мышления» [Хомский 1972: 17].

По мысли Декарта, разъясняет Хомский в более поздней книге, «...большинство явлений природы можно объяснить в механических терминах: неорганический и органический мир, кроме людей, но также в значительной мере и физиологию человека, его ощущения, восприятие и действия. Пределы механического объяснения достигались тогда, когда эти человеческие функции опосредовались мышлением, уникальным наследием человека, основанным на принципе, который ускользает от механического объяснения: “креативный” принцип, лежащий в основе актов воли и выбора, которые суть “самое благородное, что у нас может быть”, и единственное, что нам “подлинно принадлежит” (в картезианских терминах). Люди лишь “побуждаемы и склонны” действовать определенным образом, но они не действуют “вынужденно” (или случайно), и в этом отношении они не похожи на машины, т. е. на весь остальной мир. Самым поразительным примером для картезианцев было нормальное употребление языка: люди способны выражать свои мысли всё новыми бесчисленными способами, которые ограничиваются телесным состоянием, но не определяются им, соответствуют тем или иным ситуациям, но не обуславливаются ими, и вызывают в других мысли, которые они могли бы выразить похожими способами, — словом то, что мы бы назвали “креативным аспектом использования языка”» [Хомский 2005: 100–101].

Согласно Хомскому, Декарт и картезианцы видят проявление креативности языка в трех его свойствах. Во-первых, «...нормальное использование языка носит *новаторский характер* в том смысле, что многое из того, что мы говорим в ходе нормального использования языка, является совершенно новым, а не повторением чего-либо слышанного раньше, и даже не является чем-либо “подобным” по “модели”... тем предложениям или связным текстам, которые мы слышали в прошлом. Это трюизм, но весьма важный, который часто не замечали и не так уж редко отрицали в бихейвиористский период развития лингвистики» [Хомский 1972: 23]. Между тем наряду с авторами «Грамматики» Пор-Рояля на способность языка выражать бесконечное множество мыслей конечными средствами обращали внимание также Г. Галилей, В. фон Гумбольдт, Ч. Дарвин и другие [Хомский 1972: 28, 32; 2005: 72–76].

Во-вторых, «...нормальное использование языка является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но



и свободным от управления какими-либо внешними или внутренними стимулами», благодаря чему «...язык может служить орудием мышления и самовыражения... не только для исключительно одаренных и талантливых, но фактически и для любого нормального представителя человеческого рода.

Всё же свойства неограниченности и свободы от управления стимулами сами по себе не выходят за рамки механического объяснения». Поэтому картезианцы обратились «к третьему свойству нормального использования языка, а именно к *связности* и “*соответствию ситуации*”» [Хомский 1972: 23–24; выделено мною. — Л. 3].

**Подход к объяснению усвоения и употребления языка.** Названные свойства еще не дают возможности *объяснить* нормальное использование языка. «Свойства человеческой мысли и человеческого языка, подчеркнутые картезианцами, достаточно реальны; они находились тогда, так же как и находятся теперь, за пределами объяснительных возможностей всех хорошо разработанных теорий физического характера. Ни физика, ни биология, ни психология не дают нам ключа к решению этой проблемы» [Там же: 24]. «...Мы сегодня так же далеки, как и Декарт три столетия назад, от понимания того, что же именно дает человеку возможность говорить таким способом, который носит новаторский характер, является свободным от управления стимулами, а также обладает свойствами соответствия ситуации и связности» [Там же].

Вот почему «если мы надеемся понять человеческий язык и психологические способности, на которых он зиждится, мы должны сначала задаться вопросом, что он такое, а не как или для каких целей он используется» [Там же: 88].

Во всяком случае нуждается в коррекции иерархия функций языка. Подобно Т. Гоббсу, Дж. Локку, Г. В. Лейбницу и в особенности Э. Б. де Кондильяку, И. Г. Гердеру, наконец, Г. Гийому, Н. Хомский не считает язык системой коммуникации в собственном смысле слова. По своей функции язык — «это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно же, можно использовать для коммуникации, как всё, что делают люди, — манеру ходьбы, либо стиль одежды или причёски, например. Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка и, возможно, даже не несет в себе какой-то уникальной значимости для понимания его функций и природы» [Хомский 2005: 114]. Не случайно «...употребление языка по большей части направлено на себя: “внутренняя речь” в случае взрослых, монолог в случае детей» [Там же: 115].



В сравнении с коммуникативными системами животных «...человеческий язык... основан на совершенно других принципах» [Хомский 1972: 88]. «Сущностные характеристики человеческого языка, такие как дискретно-бесконечное использование конечных средств..., представляются биологически изолированными, притом это пример совершенно нового развития и в эволюции человека через миллионы лет после отделения от ближайших сохранившихся родственными видов» [Хомский 2005: 76–77].

«...Обладание человеческим языком связано с особым типом умственной организации, а не просто с более высокой степенью интеллекта. <...> ...Сейчас нет лучшего и более многообещающего пути исследования существенных и отличительных свойств человеческого интеллекта, чем путь детального исследования структуры этого уникального человеческого дара» — языка [Хомский 1972: 89].

Свойственные языку высоко абстрактные принципы и структуры определяют характер умственных процессов человека, участвующих в организации такой специфической области человеческого знания, как знание языка. [Там же: 90].

В представлении Хомского, «...наиболее обнадеживающим подходом сегодня является путь описания явлений языка и умственной деятельности как можно более строгим образом, путь попыток создания абстрактного теоретического аппарата, который, насколько возможно, объяснит эти явления и выявит принципы их организации и функционирования, оставив в стороне попытки на данном этапе связать постулированные умственные структуры и процессы с какими-либо физиологическими механизмами или проинтерпретировать мыслительную функцию в терминах “физических причин”» [Там же: 25]. Он убежден, что «...для объяснения нормального использования языка, мы должны приписать говорящему–слушающему сложную систему правил, которые связаны с умственными операциями очень абстрактной природы, применяемыми к представлениям, которые весьма далеки от физического сигнала» [Там же: 76].

Ключом к такому объяснению может служить предложенный картезианцами в «Грамматике» и «Логике» Пор-Рояля анализ предложения *Невидимый Бог создал видимый мир*. Оно включает в себя три суждения: *Бог невидим, Он создал мир, Мир видим*. В толковании Н. Хомского, предложение есть *поверхностная структура*, тогда как система трех суждений — это *структура глубинная*. «...Лежащая в основе глубинная структура, с ее абстрактной организацией языковых форм, “дана уму”, в то время как сигнал, с его поверхностной структурой, производится

или воспринимается телесными органами. А трансформационные операции, связывающие глубинную и поверхностную структуры, являются действительными мыслительными операциями, выполняемыми умом, когда предложение производится или понимается. Различие носит фундаментальный характер. Из последней интерпретации следует, что должна существовать представленная в мышлении фиксированная система порождающих принципов, которые характеризуют и связывают глубинные и поверхностные структуры некоторым определенным образом, другими словами, грамматика, которая как-то используется, когда речь производится или интерпретируется. Эта грамматика представляет лежащую в основе языковую компетенцию» [Хомский 1972: 29–30], управляющую языковым употреблением (*performance*).

В принятой генеративной лингвистической практике описания языков «...*грамматика* состоит из *синтаксического компонента*, который задает бесконечное множество пар глубинных и поверхностных структур и выражает трансформационные отношения между элементами этих пар, из *фонологического компонента*, который приписывает фонетическую репрезентацию поверхностной структуре, и *семантического компонента*, который приписывает семантическую интерпретацию глубинной структуре. ...Некоторые аспекты поверхностной структуры тоже релевантны для семантической интерпретации. ...Полная грамматика должна содержать весьма сложные правила семантической интерпретации, обусловленные, по крайней мере, отчасти, весьма специфическими свойствами лексических единиц и формальных структур рассматриваемого языка» [Там же: 72; выделено мною. — Л. 3].

Преимущество своей теории трансформационной порождающей грамматики перед структурной лингвистикой Н. Хомский видит в том, что предложенные Ф. де Соссюром методы сегментации и классификации на основе синтагматических и парадигматических отношений «в лучшем случае применимы только к явлениям поверхностной структуры и не могут поэтому вскрыть механизмы, которые лежат в основе творческого аспекта использования языка и выражения семантического содержания» [Там же: 34].

Преимущественное внимание Н. Хомского к языковой компетенции, а не к употреблению языка объясняется стремлением устранить понятийную лауну в бихейвиористской психологии, в которой «теория овладения знанием ограничивается узким и, безусловно, неадекватным представлением о том, что усваивается, — а именно системой связей стимулов и реакций, сетью ассоциаций, набором

поведенческих единиц, иерархией привычек или системой предрасположений к ответам определенного характера при заданных стимульных условиях» [Хомский 1972: 91]. Осмысленное изучение овладения знанием, проявляющегося в наблюдаемом использовании языка, возможно лишь *на основе* предварительно разработанной теории компетенции, причем последнюю следует толковать «в том смысле, в котором компетенция характеризуется порождающей грамматикой». Прежде всего нужно понять, что усваивается, и лишь затем можно задаваться вопросом о том, как это усваивается [Там же: 90–92, 117].

**Универсальная грамматика.** В целях объяснения лежащей в основе языка компетенции Н. Хомский обращается к идее универсальной грамматики. В ее определении Хомский, по его словам, «...несколько отходит от традиционного взгляда, согласно которому универсальная грамматика является просто подструктурой каждой конкретной грамматики, системой правил, входящей в самое ядро каждой грамматики» [Там же: 83]. Он следует приверженцам классической рационалистской грамматики и В. фон Гумбольдту, которые придерживались взгляда, что «...в основе любого человеческого языка мы найдем систему, которая универсальна, которая просто выражает уникальные интеллектуальные свойства человека», выделяющие его из животного мира, а потому «...языки сходны только на более глубоком уровне, уровне, на котором выражаются грамматические отношения и на котором должны обнаруживаться процессы, обеспечивающие творческий аспект языка» [Там же: 94, 95]. Коль скоро «...язык представляет прямое “зеркало разума”» [Там же: 9], то, надо полагать, «...определенные аспекты человеческого мышления и умственных способностей в существенной части инвариантны в разных языках», «несмотря на значительный разноречивой во внешней реализации» [Там же: 94].

В своей трактовке универсальной грамматики Н. Хомский опирается на учение В. Гумбольдта о форме языка (см. следующую главу). «...Мы должны рассматривать языковую компетенцию — знание языка — как абстрактную систему, лежащую в основе поведения, систему, состоящую из правил, которые взаимодействуют с целью задания формы и внутреннего значения потенциально бесконечного числа предложений. Такая система — порождающая грамматика — дает экспликацию идеи Гумбольдта о “форме языка”» [Там же: 89]. «Такая грамматика определяет язык в гумбольдтовском смысле, а именно как “рекурсивно порождаемую систему, где законы порождения

фиксированы и инвариантны, но сфера и специфический способ их применения остаются совершенно неограниченными”<sup>5</sup>.

В каждой такой грамматике есть конкретные, идиосинкратические элементы, набор которых определяет один специфический человеческий язык, и есть общие универсальные элементы, условия, налагаемые на форму и организацию любого человеческого языка, которые составляют предмет изучения “универсальной грамматики”. Среди принципов универсальной грамматики находятся..., например, принципы, которые различают глубинную и поверхностную структуру и которые ограничивают класс трансформационных операций, связывающих их» [Хомский 1972: 90].

Итак, предмет универсальной грамматики составляют «принципы, которые задают форму грамматики и которые определяют выбор [конкретной] грамматики соответствующего вида на основе определенных данных... Исследование универсальной грамматики, понимаемой таким образом, — это исследование природы человеческих интеллектуальных способностей. Оно пытается сформулировать необходимые и достаточные условия, которым должна удовлетворять некоторая система, чтобы считаться потенциальным человеческим языком, — условия, которые не просто случайно оказались применимыми к существующим человеческим языкам, а которые коренятся в человеческой “языковой способности” и образуют, таким образом, врожденную организацию, которая устанавливает, что считать языковым опытом и какое именно знание языка возникает на основе этого опыта. Универсальная грамматика, следовательно, представляет собой объяснительную теорию гораздо более глубокого характера, чем конкретная грамматика, хотя конкретная грамматика некоторого языка может также рассматриваться как объяснительная теория» [Там же: 38].

**Врожденная умственная структура как основание универсальной грамматики и знания языка.** Размышляя над психологической проблемой объяснения человеческого знания, Н. Хомский отмечает: «...Мы не можем не поражаться огромному несоответствию между знанием и опытом, в случае языка — между порождающей грамматикой, которая выражает языковую компетенцию говорящего, и скудными,

---

<sup>5</sup> В переводе Г. В. Рамишвили с немецкого на русский это определение языка ближе к авторскому смыслу. В. фон Гумбольдт видел в языке «вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными» [Гумбольдт 1984: 78].

дефектными данными, на основе которых он построил для себя эту грамматику» [Хомский 1972: 96]. В качестве первого приближения к порождающей грамматике некоторого языка следует задаться вопросом: «Какова должна быть начальная структура мышления, чтобы она обеспечила ему способность построить такую грамматику на основе чувственных данных?». Хомский исходит из предположения о существовании врожденной умственной структуры, позволяющей усвоить язык. «...Она, видимо, является способностью, специфической для данного биологического вида и в основном независимой от умственных способностей... Мы знаем, что грамматики, которые конструируются в действительности, лишь слегка варьируются среди носителей одного и того же языка, несмотря на широкие вариации не только в умственных способностях, но также в условиях, при которых усваивается язык. <...> ...Если мы действительно сравниваем порождающие грамматики, которые должны постулироваться для различных носителей одного и того же языка, мы находим, что сходства, считающиеся само собой разумеющимися, четко выражены и что расхождения немногочисленны и носят периферийный характер. Более того, представляется, что диалекты, которые, с поверхностной точки зрения, значительно удалены друг от друга, даже с трудом понимаемые при первом столкновении с ними, имеют огромное центральное ядро общих правил и процессов и очень немногим различаются в своих внутренних структурах, которые, как кажется, остаются инвариантными на протяжении долгих исторических эпох. Более того, мы обнаруживаем существенную систему принципов, которые не меняются от языка к языку даже в случае, если эти языки, насколько нам известно, совершенно не родственны» [Там же: 97].

Все эти сходства между носителями одного и того же языка, между различными диалектами, между неродственными языками приводят Хомского к заключению: «Мы должны постулировать врожденную структуру, которая достаточно содержательна, чтобы объяснить несоответствие между опытом и знанием, структуру, которая может объяснить построение эмпирически обоснованных порождающих грамматик при заданных ограничениях времени и доступа к данным. В то же время эта постулируемая врожденная умственная структура не должна быть настолько содержательной и ограничивающей, чтобы исключать определенные известные языки. Существует, другими словами, верхняя граница и нижняя граница степени и точного характера сложности, которая может постулироваться в качестве врожденной умственной структуры» [Там же].

Так Н. Хомский, в сущности, воскресил обоснованные Р. Декартом представления XVII в. о врожденных идеях, о наличии в уме «определенных врожденных интерпретирующих принципов, определенных понятий, которые происходят от самой “способности понимать”, от способности думать, а не прямо от внешних объектов» [Хомский 1972: 101]. В своей теории врожденной универсальной грамматики Хомский видит «дальнейшее развитие классической рационалистской доктрины» [Там же] Оно должно быть нацелено на то, чтобы решить проблему усвоения знания языка. Для этого необходимо, во-первых, вскрыть врожденную схему универсальной грамматики, определяющую “сущность” человеческого языка; во-вторых, детально изучить характер «стимуляции и взаимодействия организма с его окружением, которые приводят в действие врожденные интеллектуальные механизмы»; в-третьих, установить, как «гипотеза о порождающей грамматике языка “согласуется” с данными органов чувств» [Там же: 105–106].

«...В случае языка, — предполагает ученый, — естественно ожидать наличие тесных связей между врожденными свойствами мышления и признаками языковой структуры, ибо язык, в конце концов, не имеет существования, отдельного от его умственной репрезентации. Какими бы свойствами он ни обладал, они обязательно придают-ся ему посредством врожденных умственных процессов организма, который изобрел его и который изобретает его заново с каждым последующим поколением, наряду со всеми теми свойствами, которые связаны с условиями его использования. И снова мы видим, что язык должен по указанной причине быть весьма удачным пробным камнем, с помощью которого должна исследоваться организация умственных процессов» [Там же: 111]. Перспективы такого исследования тем более велики, что «...в работах, активно проводимых сегодня, классические вопросы языка и мышления не получают окончательного решения или даже намека на окончательное решение. <...> Например, центральные проблемы, связанные с творческим аспектом использования языка, остаются такими же недоступными, какими они были всегда» [Там же: 115].

**Языковая способность как развивающееся свойство мозга.** Спустя тридцать лет Н. Хомский возвращается к проблеме креативности и вновь подчеркивает «значимость центрального и одного из наиболее отличительных свойств человеческого языка: использования конечных средств для выражения неограниченного множества мыслей» [Хомский 2005: 72]. «Ответственность» за это

свойство несет специализированный орган языка в человеческом мозге. Поскольку язык как компонент мозга [Хомский 2005: 98] входит в число высших ментальных способностей [Там же: 94], а, согласно современной неврологии, «всё ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга» [Там же: 86, 96, 106, 111], постольку таким развивающимся свойством обладает и языковой компонент мозга. «Этот орган мозга, или... “языковая способность”, принадлежит всему человеческому виду в равной мере... При созревании и взаимодействии с окружающей средой всеобщая языковая способность принимает то или иное состояние, проходя несколько стадий и, по-видимому, окончательно стабилизируясь к пубертатному периоду. Состояние, достигаемое этой способностью, напоминает то, что в обыденном употреблении называется тем или иным “языком”, но лишь отчасти... <...>

Внутренний язык, в специальном смысле, есть некоторое состояние языковой способности. Каждый внутренний язык обладает средствами конструирования ментальных объектов, которыми мы пользуемся для выражения наших мыслей и интерпретации непрерывающегося ряда явных выражений, с которыми мы сталкиваемся. Каждый из этих ментальных объектов соединяет звук и значение в конкретной структурированной форме. Ясное понимание того, как конечный механизм может сконструировать бесконечное множество таких объектов, было достигнуто лишь в XX в. в трудах по формальным наукам. <...> Последние полвека немалая часть изучения языка посвящена исследованию таких механизмов — в изучении языка они называются “порождающими грамматиками» [Там же: 75–76].

Далее Хомский уточняет: «...“специализированный орган языка”, языковая способность (ЯС), является частью биологического наследия человека. Ее начальное состояние представляет собой экспрессию генов и сравнимо с начальным состоянием системы зрительных анализаторов человека; по-видимому, можно предположить, что оно является общечеловеческим достоянием. Соответственно, типичный ребенок усвоит любой язык при надлежащих условиях, даже при жестком дефиците и в “неблагоприятных средах”. Под активизирующим и формирующим воздействием опыта и внутренне детерминированных процессов созревания начальное состояние меняется, что дает позднейшие состояния, которые, похоже, стабилизируются на нескольких этапах, окончательно к пубертатному периоду. Начальное состояние ЯС мы можем представить себе как устройство, которое



отображает опыт в достигнутое состояние L: “устройство усвоения языка” (УУЯ)» [Хомский 2005: 126–127].

Итак, «в общепринятой терминологии... орган языка — это *языковая способность* (ЯС); теория начального состояния ЯС, экспрессии генов, — это *универсальная грамматика* (УГ); теории достигаемых состояний — это *конкретные грамматики*; а сами состояния — это *внутренние языки*, или, коротко, просто “языки”. Начальное состояние, конечно же, не проявляется при рождении, как и в случае других органов, скажем, зрительной системы» [Там же: 98].

Врожденная умственная структура в качестве исходного начала обуславливает врожденную схему универсальной грамматики как начального состояния языковой способности.

**Минималистская программа.** С конца 1970-х гг. на основе принципов универсальной грамматики в исследованиях Н. Хомского и его школы происходит определенная смена направления. Чтобы объяснить усвоение языка детьми, потребовалось уйти от колоссального увеличения количества самых разнообразных систем правил, обнаруживаемых в порождающей грамматике в соответствии с традиционным подходом к структуре языка.

В этих целях был разработан метод, позволивший «вообще устранить правила и конструкции» и ограничиться выявлением лишь самых общих принципов и параметров (ПиП), поскольку некоторые принципы поддаются параметризации. Конкретная грамматика любого языка мыслится теперь как определенная реализация системы общих принципов универсальной грамматики при заданных значениях тех принципов, которые варьируют в известном диапазоне. Каждый данный язык отличается от остальных значениями параметров, допускающих выбор вариантов.

Отбор вариантов в Минималистской программе подчинен принципу экономии [Беллетти, Рицци 2005: 55; Хомский 2005: 141].

Сам этот принцип известен давно — по крайней мере, с середины XIX в. В частности, И. А. Бодуэн де Куртенэ среди общих факторов языковых изменений на первый план ставит стремление к удобству, к экономии усилий [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 58, 102], чтобы облегчить работу двигательных моторных нервов в фонации, работу чувствительных («сенситивных») нервов в аудиции, работу центральных нервов мозговой субстанции в языковом мышлении, церебрации [Там же, I: 226]. «По всем этим направлениям постепенно устраняется, постепенно отбрасывается всё неясное, неопределенное, ненужное» [Там же, I: 263].



Н. Хомский при разработке минималистского подхода к анализу языковой способности и выявлению универсальной грамматики ориентируется главным образом на те внешние системы языка, которые являются внутренними для сознания.

В среде уже существующих внешних систем — внешних для языковой способности, внутренних для сознания — Хомским выделяются: *сенсомоторная* система; система *мышления* (формирования понятий, интенций и т. д.), к которой относятся «общие понятия» или «врожденные идеи»; «*наивная психология*, в частности «интерпретация действий людей в терминах убеждений и желаний, узнавание вещей в мире и того, как они двигаются, и т. д.». «...Всё это не находится всецело в зависимости от языка... Языковая способность должна взаимодействовать с этими системами, иначе она вообще ни на что не годится. <...> ...Единственное условие... заключается в том, что *этим системам должна быть доступна информация, которая хранится в языке*, ведь он, в сущности, представляет собой *информационную систему*» [Хомский 2005: 158–159; выделено мною. — Л. З.].

Хомский допускает, что «...орган языка в мозге приближается к какому-то оптимальному устройству. <...> Если же окажется, что устройство совсем недавно появившегося органа, который к тому же занимает центральное место в жизни человека, приближается к оптимальному, то это можно истолковать как следствие функционирования физических и химических законов в отношении мозга, который каким-то неизвестным образом достиг некоторого уровня сложности» [Там же: 87–88].

Если система языка характеризуется оптимальным устройством, значит, язык должен быть совершенным. А для того, чтобы он был совершенным, следовало бы устранить всё избыточное как несовершенное.

Вообще-то, с позиций Хомского, «...даже тот факт, что существует более одного языка, — это своего рода несовершенство» [Там же: 160].

«...Тяжелейшим случаем является фонологическая система: вся фонологическая система выглядит как величайшее несовершенство, она обладает всеми недостатками, какие только можно помыслить» [Там же: 173]. Поэтому рассмотрение взаимодействия языковой способности с сенсомоторной системой отложено на будущее, а поиск избыточного и подлежащего устранению в универсальной грамматике в первую очередь был применен к синтаксическому компоненту, непосредственно связанному с системой мышления. Следует

устранить такие элементы синтаксических структур, которые не удовлетворяют условиям мыслительной системы — требованиям логической формы.

В этой связи Хомский обращается к особенностям обслуживающей синтаксис словоизменительной морфологии. На поверхностный взгляд, определяющее свойство естественных языков, «морфология — чрезвычайно поразительное несовершенство» [Хомский 2005: 160]. Однако если предположить различие мыслительной системой интерпретируемых и неинтерпретируемых признаков, то далеко не всё в морфологии несовершенно. «Например, число при существительных на самом деле не является несовершенством. Ведь надо же как-то отличить единственное число от множественного, внешним системам надо знать об этом» [Там же: 162]. «Несовершенство кроется в показателях числа при глаголе. Там-то они зачем? При существительном они уже есть, так зачем же они нужны еще и при глаголе или при прилагательном? Там показатели числа выглядят избыточными, и вот это и есть несовершенство. Иначе говоря, этот признак, или проявление этого признака, скажем, множественности при глаголе, не интерпретируется. Оно интерпретируется только при существительном» [Там же: 163].

«То, что согласуется, — надо полагать, глагол, прилагательное, артикль и т. д., — видимо, имеет неинтерпретируемые признаки — признаки, которые не получают самостоятельной интерпретации от внешних систем. Стало быть, зачем они там нужны? В этом-то и есть несовершенство. Несовершенство — это неинтерпретируемые признаки» [Там же: 164].

Сходным образом в системе падежей следует проводить различие между глубинными и структурными падежами. В соответствии с подходом ПиП «падежи делятся на те, которые имеют семантические свойства, как преимущественно датив, и те, которые таких свойств не имеют, как номинатив и аккузатив (или эргатив и абсолютив). <...> И глубинные падежи, те, что связаны с семантикой, на самом деле не являются несовершенством: они маркируют семантическое отношение, о котором надо знать интерпретатору (подобно множественности при существительных). А с другой стороны, зачем нам номинатив и аккузатив (или эргатив и абсолютив), они-то что делают? Интерпретации они не получают: существительные интерпретируются совершенно одинаково, независимо от того, в номинативе они или в аккузативе, это как словоизменительные признаки при прилагательных и глаголах: кажется, будто бы их там быть не должно» [Там же: 165–166].

Отсюда следует, что различение интерпретируемых и неинтерпретируемых признаков имеет функциональный характер. Интерпретируемые признаки обеспечивают взаимодействие с системами сознания — мозга. Неинтерпретируемые признаки обуславливают конкретное состояние языковой способности, вследствие чего характеристика какого-либо конкретного языка — это, по сути, описание системы неинтерпретируемых признаков.

«Работы последних двадцати лет дают значительные основания подозревать, что эти системы неинтерпретируемых признаков во многом похожи в различных языках, хотя по внешнему проявлению признаков различаются довольно систематическим образом, и что немалая часть типологического многообразия языка сводится именно к этому крайне узкому субкомпоненту. <...> *Конкретное состояние ЯС — конкретный внутренний язык — детерминирована отбором из возможных высоко структурированных лексических единиц и установкой параметров, которые ограничиваются неинтерпретируемыми словоизменительными признаками и их реализацией*» [Хомский 2005: 131–132; выделено мною. — Л. 3].

Однако вследствие связи неинтерпретируемых признаков с другими синтаксическими средствами такие признаки не препятствуют взаимодействию с системами мышления. «Представляется, что те же неинтерпретируемые признаки могут фигурировать и в повсеместно присутствующем свойстве смещенности (dislocation) естественного языка. Под этим термином подразумевается то, что словосочетания очень часто артикулируются в одной позиции, а интерпретируются так, как если бы они находились в другом месте, где они способны находиться в похожих выражениях: смещенный субъект пассивной конструкции, к примеру, интерпретируется так, будто он находится в позиции объекта в локальном отношении к глаголу, который ему назначает семантическую роль. Смещенность имеет интересные семантические свойства. Возможно, что “внешние” системы мышления (внешние для ЯС, внутренние для системы сознания — мозга) требуют, чтобы ЯС генерировала выражения с такими свойствами для того, чтобы они должным образом интерпретировались. Есть также основания полагать, что неинтерпретируемые признаки могут быть тем самым механизмом для реализации свойства смещенности, а может даже и оптимальным механизмом для удовлетворения этого условия, внешне налагаемого на ЯС. Если это так, то ни свойство смещенности, ни неинтерпретируемые признаки не представляют собой “несовершенства” ЯС, “недостатки конструкции”...

Эти и другие соображения поднимают более общие вопросы оптимальности устройства: не является ли ЯС оптимальным решением для условий интерфейса, налагаемых системами сознания — мозга, в которые она встроена, сенсомоторной системой и системой мышления?» [Хомский 2005: 132–133].

Н. Хомский склонен к положительному ответу на этот вопрос, предполагая, что возникновение языка произошло «путем какой-то реконструкции мозга, которая ввела в игру физические процессы, вследствие которых возникло *нечто, действующее близким к оптимальному образом*, подобно оболочке вируса» [Там же: 218; выделено мною. — Л. З.].

Таким образом, благодаря различению интерпретируемых и неинтерпретируемых признаков удалось приблизиться к решению поставленных Минималистской программой новых вопросов: имеет ли система языка некое оптимальное устройство, совершенен ли он [Там же: 142], «хорошо ли он сконструирован для взаимодействия с системами, внутренними по отношению к сознанию? [Там же: 156].

Новизна данных вопросов, впрочем, преувеличена. Проблема совершенства — несовершенства языков была поставлена ранее Э. Б. де Кондильяком, глубоко осмыслена В. фон Гумбольдтом и обсуждалась также А. Шлейхером.

Согласно В. Гумбольдту, о совершенстве — несовершенстве языков можно судить по их способности оказывать самостоятельное благотворное влияние на дух. «При наблюдении языка как такового должна быть вскрыта форма, которая среди всех мыслимых форм более всего соответствует задачам языка; недостатки и преимущества конкретных языков нужно уметь оценивать по степени их приближения к этой единственной форме. ...Такой формой должна быть та, которая более всего подходит для общей направленности человеческого духа, своей оптимально упорядоченной деятельностью способствует его росту и не просто облегчает соотносительную согласованность всех его устремлений, но еще более оживляет ее посредством обратного воздействия» [Гумбольдт 1984: 228].

В самих *принципах организации* реальных языков В. Гумбольдт замечает стремление «воплотить идею совершенного языка в жизнь», с тем чтобы обеспечить «последовательное восхождение к наиболее удачному строению языка», способному стимулировать человеческую духовную силу к постоянной деятельности [Там же: 52] и одновременно поддерживать «жизненность и долговечность порождающего начала в языке» [Там же: 197].

Совершенство — несовершенство языков обуславливается *степенью синтеза* «врожденной языковой способности» [Там же: 245], вну-

*треннего языкового сознания, внутренней мыслительной формы со звуком* [Гумбольдт 1984: 197], короче — **степенью синтеза внутренней и внешней формы языка**. Оно проявляется в грамматическом методе построения предложения и в способе грамматической категоризации.

Предполагаемое Н. Хомским оптимальное устройство языка заставляет его отказываться от представления американских структуралистов, будто «...языки могут отличаться друг от друга без предела и произвольным образом» [Хомский 2005: 203]. На самом деле, система языка, «в сущности, единообразна» [Там же: 213], несмотря на многочисленность языков. Вот почему «...дети везде усваивают любой язык, насколько нам известно, а значит, базовая система единообразна. Никаких генетических различий никто обнаружить не смог; может, какие-то и есть, но, видимо, столь малые, что мы не можем их уловить. Так что в основном речь идет о единообразной системе, а значит, со времени ее появления никакой значительной эволюции не было. Система просто оставалась такой. Люди рассеивались, есть группы людей, которые в течение длительного времени жили изолированно, и всё же никто не может уловить никаких языковых различий. Так что, по-видимому, это что-то возникшее совсем недавно, столь новое, что еще не успело претерпеть сколько-нибудь значимой эволюции» [Там же: 214].

Если же допустить, что «...минималистские условия имеют силу для всех состояний языковой способности, включая начальное состояние» [Там же: 191], то тогда подход ПиП, «в сущности, уничтожает принципиальное различие между начальным состоянием и достигнутыми состояниями» [Там же: 192]. Тем самым снимается расхождение между объяснительной адекватностью теории начального состояния (предмета универсальной грамматики) и дескриптивной адекватностью теорий достигнутых состояний (реальных языков) [Там же].

В результате «...программа ПиП по существу разрубила гордиев узел, преодолев напряжение между проблемой дескриптивной и проблемой усвоения языка, или объяснительной; на самом деле впервые в истории дисциплины появилась настоящая модель для теории» [Там же: 153]. Благодаря этому, по утверждению Н. Хомского, «...за последние 20 лет о языке узнали больше, чем за предыдущие 2000 лет» [Там же: 141].

**Язык и внешний мир.** В концепции Н. Хомского язык рассматривается как биологический объект [Там же: 185], биологический орган [Там же: 190] вне отношения к внешнему миру, включая социальный. В понимании автора, «...язык отличается от большинства других биологических систем, в том числе и от некоторых когнитивных систем,

тем, что физические, внешние ограничения, которые он должен учитывать, крайне слабы» [Хомский 2005: 214], хотя, разумеется, «надо иметь свойство, позволяющее каким-то способом говорить о мире, но может быть сколько угодно таких способов» [Там же: 215].

Отношение *слово* — *вещь* Н. Хомским, как и Ф. де Соссюром, в естественный язык не допускается. «В формальной системе, подобной системе Фреге, ... символы предназначаются для того, чтобы выделять вещи, реальные вещи. <...> А вот работает ли так язык, — это большой вопрос. По-моему, не работает», — полагает Н. Хомский [Там же: 161]. И продолжает: «... Если верно, что отношения слово — вещь не существует, как я это себе представляю, то тогда вопрос, почему отношения слово — вещь не существует, пока что чересчур труден» [Там же: 162]. Впрочем, ответом на этот вопрос — в случае правоты Хомского — может служить, во-первых, подчеркиваемая им биологическая природа языка, а во-вторых, то, что базовая структура языка «идет изнутри, а не снаружи» [Там же: 137].

«... С лингвистической точки зрения, — пишет Хомский, — мы можем представить себе конкретный язык L как состояние ЯС; L — это рекурсивная процедура, которая генерирует бесконечное множество выражений. Каждое выражение можно считать неким набором информации для других систем сознания — мозга. ... Со времен Аристотеля... такая информация делится на две категории — фонетическую и семантическую... <...> Каждое выражение, стало быть, представляет собой внутренний объект, состоящий из двух наборов информации: фонетического и семантического. Эти наборы называются “репрезентациями”, фонетической и семантической репрезентацией, но *никакого стойкого изоморфизма между репрезентациями и аспектами окружающей среды нет*. Ни в каком подходящем смысле *внутренний символ и репрезентируемая вещь не спарены между собой*. <...> Фонетическую репрезентацию можно представить себе как множество инструкций для сенсомоторных систем, но *никакой конкретный элемент внутренней репрезентации не соотносен с какой-то определенной категорией событий во внешнем мире* или, может быть, с конструкцией, основанной на движении молекул. *Похожие выводы, как мне представляется, уместны и со смысловой стороны*» [Там же: 128–129; выделено мною. — Л. З.].

Не передавая информации о внешнем мире, «... даже простейшие слова включают в себя много разной информации: о материальном строении, об устройстве и предназначении, о происхождении, о гештальтных и каузальных свойствах и много о чем еще. <...> Те же

выводы остаются в силе для простых существительных, исчисляемых и неисчисляемых — “река”, “дом”, “дерево”, “вода”, личные имена и географические названия, — для “чистейших референтных термов” (местоимений, пустых категорий) и т. д.; а когда мы обращаемся к элементам с реляционной структурой (глаголы, время и вид...), эти свойства усложняются, тем более когда мы переходим к более сложным выражениям. Относительно того, как рано в процессе онтогенеза начинается функционирование этих сложных систем знаний, известно мало, но есть все основания предполагать, что основы их являются частью биологического наследия человека в той же мере, как и способность к стереоскопическому зрению или отдельные виды управления моторикой», которые выявляются в связи с ощущением [Хомский 2005: 130]. Отражательные свойства языка и социальный фактор не упоминаются.

Коммуникация в обществе, да и само общество, с точки зрения Хомского, вовсе не обязательны для существования языка. «Фундаментальным условием, которому должен удовлетворять язык, является пригодность к употреблению, чтобы человек, владеющий им, был в состоянии им пользоваться. Собственно, *языком можно пользоваться, даже если вы единственный человек с языком во Вселенной*, и на самом деле при этом даже будет адаптивное преимущество. Если бы у одного человека вдруг появилась языковая способность, то этот человек получил бы немалые преимущества; *этот человек смог бы мыслить, смог бы четко выражать для себя свои мысли, смог бы планировать, смог бы заострять и развивать мышление*, как мы это делаем во внутренней речи, что оказывает большое влияние на жизнь каждого из нас. Внутренняя речь — это большая часть речи. *Почти все употребление языка направлено на себя...* <...> В более многочисленной группе необходимо только, чтобы эта (языковая. — Л. З.) способность была общей. *Привязка к внешнему миру чрезвычайно слабая*, и поэтому эта способность может быть очень стабильной, поскольку просто нет смысла ее менять» [Там же: 215–216; выделено мною. — Л. З.].

Невнимание к природной и социальной обусловленности языка не позволило Н. Хомскому должным образом объяснить ни онтогенез языковой способности, ни системы мышления, которые она снабжает информацией. «...Что-то выяснить об этих системах, помимо их взаимодействия с языковой способностью, очень трудно». То же относится к мышлению без языка, хотя «...что-то в этом роде явно существует» [Там же: 178]. Во взаимодействии языка и мышления в качестве детерминирующего начала оказывается скорее язык, чем мышление,



что отличает Н. Хомского от картезианцев, на которых он ориентируется, и сближает, например, с Б. Л. Уорфом.

С исключением отношения языка к внешнему миру лингвистическая концепция Н. Хомского принимает выраженный аспектирующий характер.

### Выводы

Познание объекта начинается с нерасчлененного, синкретичного представления о нем. С развитием познавательной деятельности объект предстает всё более расчлененным и многосторонним. На определенном этапе становится возможным синтез знаний, полученных путем вычленения тех или иных аспектов исследуемого объекта, что позволяет приблизиться к целостному представлению о нем. Чем больше обнаруживается в познаваемом объекте неизвестных ранее свойств, тем актуальнее необходимость нового синтеза. И так до следующего синтеза, ибо познание неисчерпаемо.

Познание внутреннего мира человека проходит те же стадии познания — *от синкретизма к анализу и, далее, к синтезу* (от одного к другому).

В древности *изначально нерасчлененными представляются внешний и внутренний мир человека, материальное и идеальное. С противопоставлением тела и души, телесного и духовного чувственно-материальный мир противопоставляется миру идей.* Первый познается средствами чувственного восприятия человека, второй — божественным умом, разумом, мышлением, которому, естественно, отдается приоритет в постижении истины.

В Новое время наряду с рационалистической традицией набирает силу эмпирико-сенсуалистическая традиция, которая тоже закладывается в античности, но исходит из примата чувственного опыта. *Духовная сфера* в обеих традициях *остается нерасчлененной.* Р. Декарт и его последователи практически отождествляют такие понятия, как дух, душа, ум, сознание, мыслящая субстанция, которой присущи мышление, рассуждение, познание, сомнение, воспоминание, воление. В концепции сенсуалиста Э. Б. де Кондильяка мышление охватывает помимо ощущений и страстей также все способности рассудка и воли.

Опору на умопостигаемое знание рационализм обосновывает наличием в сознании познающего субъекта *врожденных идей и принципов.* И не имеет существенного значения, были ли они внушены



нам бессмертной душой (Платон) или заложены генами (Н. Хомский). Благодаря врожденной языковой способности и наличию «общей для всех языков единой внутренней формы» (В. фон Гумбольдт) *основу всех человеческих языков составляет единая схема универсальной грамматики*, в общих чертах описанная уже картезианцами и поддержанная Э. Б. де Кондильяком.

Выдвижение Р. Декартом на первый план познающего субъекта и его самосознания способствовало росту внимания к проявлениям *субъективного начала в психике* индивидов — к их чувствам, страстям, интересам, оценкам, воле, выражающимся, как пишут авторы Пор-Рояля, *в добавочных идеях*. С точки зрения Э. Б. де Кондильяка, именно чувственное начало обуславливает то, что каждый человек говорит на своем языке.

Диалектическое решение вопроса о соотношении в языке универсального и индивидуального предложил В. фон Гумбольдт, осуществивший синтез рационалистического подхода к языку с эмпирико-сенсуалистическим: «В языке таким чудесным образом сочетается индивидуальное с всеобщим, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит на одном языке, а каждый человек обладает своим языком» [Гумбольдт 1984: 74]. Объясняется это тем, что «речевая деятельность даже в самых своих простейших проявлениях есть соединение индивидуальных восприятий с общей природой человека» [Там же: 77]. Согласно Гумбольдту, универсальное в языке имеет рациональную природу, индивидуальное — чувственную.

Наиболее заметные различия между языками отдельных народов связываются с соотношением в духе народа чувственных и умственных образов. По И. Г. Гердеру, в поэтических языках первобытных народов преобладают наглядные, конкретные чувственные образы, в прозаических, философских языках цивилизованных народов — абстрактные идеи, понятия.

Несмотря на единство чувственной, познающей и волевой природы человека как чувствующего и сознающего существа (И. Г. Гердер), в позднейших лингвистических концепциях волевые и эмоциональные процессы находятся на периферии внимания на том основании, что язык служит главным образом выражению мысли, но не чувства и воли и господствует в нем мышление (ср.: А. Шлейхер и Э. Сепир).

С осознанием активности субъективного начала получает объяснение *активная роль языка не столько в выражении мысли, сколько в самом ее образовании*. Раскрыв созидательные функции языка в мыслительной деятельности, Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гердер, В. фон Гум-

больдт, А. А. Потебня и др. по сути выявили *творческую природу языка*. Благодаря языку, считает Э. Б. де Кондильяк, развиваются такие высшие действия души, как творческое воображение, память, размышление. Без наименований, без словесных знаков не было бы абстрактных идей, понятий (Э. Б. де Кондильяк). Категории языка, в частности грамматические категории, обуславливают «общие разряды философской мысли» (А. А. Потебня), категории мышления (Б. Л. Уорф, Э. Бенвенист). Языку человек обязан своей способностью «бесконечно использовать конечный набор средств» для выражения бесконечной и безграничной области всего мыслимого [Гумбольдт 1984: 110].

В самом деле, разъясняет А. А. Потебня, «количество слов, которые мы употребляем, весьма ограничено; самые богатые по языку писатели, как, например, Шекспир, доходили в употреблении различных слов до максимума 10 000. А у ребенка меньше 100, и, благодаря этой сотне, он может понимать, что никогда не слышал в жизни, потому что средства для выражения мысли — суффиксы те же. Употребление суффиксов, падежных окончаний встречается поминутно. Это можно сравнить с цифрами: цифр 10, а количество их комбинаций, которые можно произвести из этого десятка, составляя разные числа, безгранично. Точно так же и в шахматах. Клеток 64, фигур 32, а количество комбинаций, которые можно произвести с ними, неопределенно» [Потебня 1981: 134–135]. Сходным образом носители языка свободно порождают и легко понимают «бесконечное множество совершенно новых предложений» [Хомский 1965: 465–466].

Творческий характер языка убедительно выявляется, если вслед за Г. Паулем и И. А. Бодуэном де Куртенэ сравнить простое воспроизведение языковых единиц с производством в словообразовании и синтаксисе. В общем, согласно емкой формулировке А. А. Потебни, «... язык есть полнейшее творчество, какое только возможно человеку, и только потому имеет для него значение» [Потебня 1976: 212].

С введением таких понятий, как «Умственный язык, общий для всех наций» (Дж. Вико), «внутренний язык», «язык разума» (И. Г. Гердер), «внутреннее языковое сознание (*der innere Sprachsinn*)», «артикуляционное сознание» (В. фон Гумбольдт), «языковое мышление» (А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ), всё более осознается *психическая сущность языка*. Особо следует отметить, что, по Бодуэну, язык имеет «постоянное психическое существование, как индивидуально-психическое, так и коллективно-психическое».

Значительным шагом в познании психических основ языка стал отказ от декартовского отождествления психики с сознанием, когда

благодаря Г. В. Лейбницу выявилась необходимость разграничить в духовной деятельности *сознание* и *бессознательное*. Такое разграничение было подготовлено различием ясных (отчетливых) и смутных (темных) идей в концепции картезианцев.

Уже В. фон Гумбольдт включает бессознательное в совокупность духовной силы, на которую опирается язык. Более того, по его словам, «...язык целиком зависит от бессознательной энергии, приводящей в действие человеческую индивидуальность» [Гумбольдт 1984: 227]. Видимо, именно в сфере бессознательного зарождается еще неопределенное и бесформенное доязыковое мышление.

А. А. Потетня раскрывает роль языка в переходе от бессознательности к сознательной умственной деятельности — от неразличения субъективного и объективного в содержании образной мысли к их различению, а далее к понятийному мышлению и, наконец, к подготовленному языком творческому мышлению внеязыковыми средствами. Своим учением о разных способах (типах) мышления при переходе от бессознательности к сознанию А. А. Потетня предваряет многие идеи, развитые Э. Кассирером в его главном труде «Философия символических форм» (1923–1929) [Кассирер 2002: 1–3].

И. А. Бодуэн де Куртенэ выделяет ряд бессознательных психических факторов, определяющих строй, состав и развитие языка.

Г. Пауль настаивает на том, что языковой организм есть «нечто неосознанно покоящееся в душе» [Пауль 1960: 51]. Поскольку «...всё побывавшее в сознании остается как потенция в сфере бессознательного», постольку «все проявления речевой деятельности вытекают из смутной сферы бессознательного. Все языковые средства, используемые говорящими..., хранятся в сфере бессознательного в виде сложнейшего психического образования, состоящего из разнообразных сцеплений групп представлений» [Там же: 46–47].

В то же время и И. А. Бодуэн де Куртенэ, и Г. Пауль допускают сознательное вмешательство человека в язык. Причем соотношение бессознательного и сознания исторически меняется. Звуковой (произносительно-слуховой) язык появился вне сферы сознания и воли людей (И. А. Бодуэн де Куртенэ). В начальный период становления и развития языка действие осознанных намерений тоже строго ограничено (Г. Пауль).

Немаловажен и характер языковых преобразований. Ф. де Соссюр полагает, что фонетические изменения, действующие в физиологической и физической сфере, осуществляются бессознательно, явления

же аналогии происходят в психической и ментальной сфере, а потому осознаются.

Последнее подтвердилось наблюдениями над детской речью. Исследования А. Н. Гвоздева, К. И. Чуковского и других ученых свидетельствуют, пишет Р. Якобсон в статье «К языковедческой проблематике сознания и бессознательного» (1978), «о настойчивой “рефлексии над речью у детей”», мало того, первичное усвоение ребенком языка обеспечивается параллельным развитием метаязыковой функции, позволяющей размежевывать приобретаемые словесные знаки и уяснить себе их семантическую применимость», причем это касается явлений как синонимии, так и полисемии. Еще важнее то, что дети стремятся к осознанию не только лексических единиц, но и грамматических категорий, а также стремятся осознать связь между их формой и значением, предлагая свое толкование всех этих явлений [Якобсон 1996: 21–22].

Таким образом подтверждается отмеченное И. А. Бодуэном де Куртенэ на рубеже XIX–XX вв. отсутствие жесткой разделительной линии между бессознательным и сознательным: бессознательные психические процессы могут быть осознаны.

Основополагающую роль в осознании Р. Якобсон отводит метаязыковой функции, т. е. функции толкования, направленной на достижение взаимопонимания в речевой коммуникации. «Взамен бессознательно автоматизированных способов выражения метаязыковая функция вносит осознание речевых компонентов и их отношений» [Там же: 21]. «Активная роль метаязыковой функции, хотя и с немалыми переменами, остается в силе на всю нашу жизнь, сохраняя за всей нашей речевой деятельностью неустанные колебания между бессознательностью и сознанием» [Там же: 23]. Тем не менее «наблюдаемый лингвистами факт неотступного сочетания сознательных и бессознательных факторов в языковом опыте» [Там же: 24] не исключает того, что «наивные» носители языка осознают далеко не всё. «...В нашем речевом обиходе глубочайшие основы словесной структуры остаются недоступны языковому сознанию; внутренние соотношения всей системы категорий — как фонологических, так и грамматических — бесспорно действуют, но действуют вне рассудочного осознания и осмысления со стороны участников речевого общения, и только вмешательство опытного лингвистического мышления, вооруженного строго научной методологией, в силах подойти к тайнам языкового строя» [Там же: 23].

Как видно, соотношение бессознательного и сознания определено связано с различением *языка и речи*, которое, по Соссюру, восходит

к двойственности *социального и индивидуального*. Язык как социальный феномен пассивен и исключает сознательную инициативу ввиду действия фактора бессознательности. Напротив, в речи проявляется индивидуальная воля. С позиций Г. Гийома, в последовательности языка и речи имеет место переход от потенции к реализации, и только в фазе реализации мыслительные операции «подпадают под сознательное наблюдение говорящего» [Гийом 1992: 85], да и то не все.

Так постепенно в собственно лингвистических концепциях осознается необходимость различения *психики и сознания*. По образному выражению И. А. Бодуэна де Куртенэ, сознание — «только огонек, освещающий отдельные стадии» психического движения от бессознательного к осознаваемому.

Поскольку *язык* по большей части функционирует в сфере бессознательного, он *не может быть отождествлен с сознательной умственной деятельностью*. В определении Э. Сепира, язык как «функция до-рассудочная» есть «символическое выражение человеческой интуиции», т. е. знания, недоступного для сознательного оперирования словесными знаками.

*В результате расчленения психической сферы понятие мышления сужается. Соответственно ограничивается возможность отождествления языка и мышления.* По Э. Сепиру, язык является «лишь внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне символического выражения» — на уровне абстрактных значений [Сепир 1993: 36]. Согласно Г. Гийому, благодаря своей структуре, в основе которой лежит отношение всеобщего и единичного, язык обеспечивает мышлению возможность самослежения, без чего мышление не существует. При этом «язык абсолютно независим от самого мышления», а «мышление свободно, совершенно свободно и безгранично в своем движении к активной свободе» [Гийом 1992: 54].

Однако известное тождество мышления и языка всё же не кажется совершенно невозможным, если, отрешившись от заданного Р. Декартом *противопоставления двух субстанций — мыслящей и телесной*, иметь в виду их *единство* как следствие «совмещенной субстанциональности» [Бенвенист 1974: 93]. В трактовке Э. Бенвениста, «...возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности» [Там же: 114], от способности к символизации. Поэтому неязыковое мышление исключается. «...Не может существовать мышления без языка» [Там же: 27], ибо «...мыслить — значит оперировать знаками языка» [Там же: 114], а «...“категории мысли” и “законы мышления”

в значительной степени лишь отражение организации и дистрибуции категорий языка» [Бенвенист 1974: 36]. В этом Э. Бенвенист сходится с Б. Л. Уорфом.

Осознание психической природы языка, его роли в формировании сознательной умственной деятельности приводит к *переосмыслению иерархии языковых функций*. Но из их числа нельзя исключать ни отражение (вос-произведение) объективной реальности и ее познание, ни образование идей (понятий) и формирование мысли, ни выражение и передачу мыслей, воли, эмоций в социальном общении. Предпринимавшиеся попытки «сузить» объект и предмет лингвистики путем исключения взаимодействия языка с одной из его надсистем, будь то физический мир (Ф. де Соссюр, Н. Хомский), социальная среда (Н. Хомский) или сфера сознательной умственной деятельности (Л. Блумфилд), в конечном счете не имеют перспективы.

Трудно согласиться с односторонней тенденцией видеть в языке биологическое явление в ущерб человеческой природе и социальной сущности языка как средства коммуникации. Такая тенденция отличает не только концепцию Н. Хомского, но и творчество Р. Якобсона, утверждавшего в 1968 году, что «...способность понимать язык, усваивать язык, использовать язык является биологической» и что «язык... в основе своей является биологическим феноменом, тесно связанным со всеми другими феноменами, с проблемами молекулярной коммуникации, с взаимодействием между молекулами, с феноменами коммуникации между животными и даже между растениями» [Якобсон 1996: 213, 217].

Не случайно только в последовательно синтезирующих системных концепциях В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни, исходивших из триединства мира, человека и его языка, проблема отношения языка к внутреннему миру человека получила наиболее полное и на сегодняшний день, очевидно, наиболее адекватное освещение. Обусловлено это также тем, что в данных концепциях язык и воплощающаяся в нем духовная деятельность исследуются в их единстве и обоюдном влиянии друг на друга.

Из достижений и заблуждений рассмотренных учений следует, что во взаимодействии языка, психики и мышления должны учитываться:

- единство чувственного и рационального познания в процессе отражения объективной реальности,
- взаимосвязь бессознательного и сознания в психическом отражении субъектом объективной реальности и в речевой деятельности,

- принципиальное различие в соотношении бессознательного и сознательного в разных формах языкового мышления — мифическом, собственно поэтическом и прозаическом (научном),

- специфика отражательных свойств мышления и языка как формы мысли,

- роль языка в образовании и выражении мысли,

- творческий характер мышления, в том числе языкового,

- связь языкового мышления с внеязыковыми формами мышления,

- взаимодействие образного и понятийного языкового мышления,

- единство универсально-логического и идиоэтнического в языковом мышлении,

- единство социального и индивидуального в языковом мышлении.

В результате этих и иных возможных связей и взаимодействий психическая сфера, в которой существует собственно язык, обретает *целостность*.

## **Глава 4**

### **ЯЗЫК**

### **В ОТНОШЕНИИ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА:**

### **ЯЗЫК КАК ФОРМА МЫСЛИ**

#### **4.1. К определению формы и материи в античной классике**

Язык как форма — понятие чрезвычайно емкое, глубокое, многоаспектное, но прежде всего это форма мысли.

Определение языка как формы мысли опирается на различение и противопоставление понятий формы и материи, формы и содержания.

Эволюция данных понятий в истории философии отразилась и на лингвистических представлениях о сущности языка и природе мышления, о характере их отношений друг к другу.

Первичные определения этих и других основополагающих философских понятий восходят к античной классике, прежде всего к Платону и Аристотелю.

Поскольку суждения античных философов в отношении рассматриваемых понятий даны в разбросанном виде и не сведены воедино, они излагаются здесь главным образом в обобщающей интерпретации А. Ф. Лосева — крупнейшего исследователя античной философии, в том числе в терминологическом аспекте. За основу взят сводный итоговый анализ античной философской и эстетической терминологии в завершающем, восьмом, томе его «Истории античной эстетики» [Лосев 1992; 1994б]. Отсюда частое цитирование не только самих античных философов, но и А. Ф. Лосева.

Согласно Аристотелю, «...большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются, причем сущность хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях, — это они считают



элементом и началом вещей» [Аристотель 1975: 71]. В этой материалистической по своему характеру первоначальной философской тенденции «природа» (*physis*) — это «живое и самодвижущееся целое, развивающееся на своей собственной основе» благодаря единству управляющего генетического «начала» (греч. ἀρχή, *archē*) с субстанциональной стороной — «элементами» (греч. στοιχεῖα, *stoicheia*, лат. *elementa*) [Богомолов 1985: 40–41].

В ранней античной классике элементы мыслятся синкретично. Они «являются не только материально-физическим бытием, но также и бытием смысловым, идеальным. Однако эта их идеальность пока еще нераздельна с их телесной материальностью» [Лосев 1992: 544]. Смысловая идеальность элементов предстает в субстанциональном *тождестве* с телесной областью. Не будучи самостоятельной субстанцией, не образуя особой сферы бытия, идеальное является *атрибутом* телесной субстанции, признаком материальной действительности [Там же: 544–545]. Напомним, согласно Пармениду, «одно и то же мысль и то, на что мысль устремляется. Ибо нельзя отыскать мысли без бытия, в котором осуществлена эта мысль. Ведь не существует и не будет существовать ничего другого, кроме бытия, так как судьба связала бытие с законченностью в себе и неподвижностью» (цит. по: [Лосев 1992: 545]).

В то же время осознается, что без идеального как атрибута бытия была бы только одна бесформенная материя. Лишь под воздействием ума, считает Анаксагор, первоначально хаотический материал, беспорядочная и неподвижная смесь вещества приводится в движение, приобретает порядок и становится оформленным материалом [Там же: 546, 603; Богомолов 1985: 104].

Сама материя мыслится в ранней классике как *становление* вообще всего оформленного [Лосев 1992: 605].

Более или менее последовательное различение материального и идеального устанавливается не ранее средней классики и окончательно торжествует только в зрелой классике [Там же: 544], прежде всего благодаря Платону.

**ПЛАТОН.** Платоном выделяются три основные области бытия: ум, материя и соединение того и другого в единое целое [Платон 1994, 3: 433–500 («Тимей»: 29с–92b); Лосев 1994г: 598]. Наивысшую действительность образует Единое, представляющее собой тождество идеального и материального и тот первопринцип, из которого только путем его разделения возникает противоположение идеального и материального [Лосев 1994а: 49]. В этом противоположении

существующее вне и независимо от человека «...идеальное обладает у Платона *приматом* над материальным. Идеальное управляет материальным, создает его, осмысливает его. Так что не идеальное есть отражение материального, а материальное есть отражение идеального» [Лосев 1994в: 817]. Соответственно «...вещи не рассматриваются в изолированном эмпирическом существовании, но для каждой вещи фиксируется ее смысл, ее специфическая идея, а потом все эти идеи объединяются в одно целое, трактуются как общая идеальная действительность и объявляются порождающими моделями для всего вещественного мира» [Лосев 1994г: 598], который является отражением, воспроизведением и осуществлением вечного и неизменного мира идей–моделей (греч. *παράδειγμα*, *paradeigma*) [Лосев 1994а: 47]. Таким образом, Платон стоит на позициях объективного идеализма.

Однако общая материалистическая тенденция античной философии дает себя знать и в объективном идеализме Платона. Прежде всего она обнаруживается в чувственной, материальной данности идей [Лосев 1994г: 594]. Не случайно, как и в ранней классике, эйдос и идея (греч. εἶδος, ἰδέα) у Платона сохраняют связь со зрительным восприятием человека, так что и у него эйдос и идея — это «то, что видно», только не глазами, а умом. Тем самым предполагается чисто умственное, мысленное видение [Лосев 1994б: 95, 104], основывающееся на том, что «...в чистом уме тоже имеется свой собственный умственный материал, так или иначе умственно построенный» [Лосев 1992: 606]. Соответственно ум у Платона — уже *не атрибут* телесной субстанции, а самостоятельная категориальная *субстанция* и субстанциональная первопричина всех вещей [Там же: 549–552, 555].

Понятие материи также переосмысливается. Исходя из огромной обобщенности становления оформленного, Платон заключает, что материя как предельное обобщение всех возможных материалов «вообще лишена всякой формы», ибо «...иначе в материи ничего не могло бы воплощаться целиком и окончательно» [Там же: 605].

«Восприемница и как бы кормилица всякого рождения» [Платон 1994, 3: 452], «...всегда воспринимая всё, она никогда и никоим образом не усваивает никакой формы (μορφήν)», «принимает любые оттиски, находясь в движении и меняя формы под действием того, что в нее входит, и потому кажется, будто она в разное время бывает разной» [Там же: 453]. «Начало, которому предстояло вобрать в себя все роды вещей, само должно было быть лишено каких-либо форм (εἶδῶν)», «чуждо каким бы то ни было формам», т. е. оно должно быть

бесформенным (ἄμορφον) [Платон 1994, 3: 453–454]. Будучи полной бесформенностью, лишенной всяких свойств, материя представляет собой чистую возможность любого бытия — как чувственного, так и умственного.

В трактовке Платона А. Ф. Лосевым, материя — «это та среда, совершенно пустая и бесформенная, в которой зарождаются вещи как отпечатки вечных идей», это «такое *ничто*, которое может стать *любой вещью, всем*. Отсюда у Платона упорно формулируется такого рода диалектическая триада: *идея (эйдос); бесформенная, незримая и вполне иррациональная материя*, или чистое становление; и, наконец, *возникающая из соединения этих двух принципов материальная вещь* со всеми ее обыкновенными чувственными качествами. Эта материальная вещь, следовательно, содержит в себе и нечто неподвижное, идеальное, поскольку она есть нечто, и вечно подвижную, колеблющуюся форму, всегда готовую перейти в другую форму, всегда могущую *возникнуть и погибнуть*. Таким образом, Платон учит о *двух материях* — *первичной*, бесформенной и иррациональной, и *вторичной*, чувственно оформленной, всегда подвижной и текучей. С точки зрения объективного идеализма Платона, эта триада *чистой идеи, чистой материи и материи вторичной*, чувственно-текучей, *глубоко диалектична*» [Лосев 1994г: 602].

Особого внимания — в плане эволюции понятий формы и материи, формы и содержания — заслуживает подлинно диалектическое понятие вторичной — оформленной, «окачествованной» [Лосев 1992: 621] — материи, предвещающее понятие «последней материи» у Аристотеля, каковая, будучи *возможностью* той или иной формы, одновременно есть особая *действительность* и как таковая «обладает своими особыми, ей одной принадлежащими признаками» [Асмус 1975: 17].

Развитие диалектики идеи и материи в зрелом и позднем периодах творчества Платона дает основание А. Ф. Лосеву заключить, что, вопреки укоренившемуся — явно под влиянием Аристотеля — представлению, «...объективный идеализм Платона вовсе не есть дуализм в традиционном смысле слова, но самый настоящий монизм» [Лосев 1993: 502] (см. также [Богомолов 1985: 187–191]). Принимая во внимание *отождествление* идеи с материей в порождаемой вещи, Платон развивает учение о *единстве* идеального и материального как диалектическом единстве противоположностей [Лосев 1993: 502–503]. Поэтому Платон не признает дуализм идей и вещей, означающий полный отрыв идеи вещи от самой вещи. Неприятие идей

как изолированных сущностей отчетливее всего проявилось в диалоге «Парменид» (129a–135b) [Платон 1993, 2: 349–357]. Согласно Платону, идеи вещей не могут быть отделены от самих вещей, ибо вещь, не содержащая в себе никакой идеи самой себя, лишается всяких признаков и свойств и перестает быть сама собой [Лосев 1993: 503]. Идея не может быть абсолютно отделенной от вещи и в силу активности вещи в ее стремлении к идее как *пределу становления* вещи (см. диалог «Пир» [Платон 1993, 2]), и в силу активности идеи как *порождающей модели* вещи (см. диалог «Федр» [Там же]) [Лосев 1993: 435, 455]. Соответственно вещь может воплощать идею с разной степенью совершенства [Там же: 458]. Это последнее положение нашло свое отражение и в учении Платона о правильности имен, о большей или меньшей степени правильности в интерпретации человеком идеальной сущности вещей, о различных степенях присутствия идеальных сущностей в человеческом сознании (см. диалог «Кратил» [Платон 1994, 1]) [Лосев 1994в: 834–835].

Не являясь изолированными сущностями по отношению к порождаемым вещам, идеи не являются таковыми и по отношению друг к другу. «Ибо все идеи суть то, что они суть, лишь в отношении одна к другой, и лишь в этом отношении они обладают сущностью... В свою очередь... находящиеся в нас [подобия], одноименные [с идеями], тоже существуют лишь в отношении друг к другу» [Платон 1993, 2: 355]. (В этом определении Платона можно видеть корни современного лингвистического понятия концептуальной значимости, введенного Ф. де Соссюром.)

**АРИСТОТЕЛЬ.** Различая вслед за Платоном идеальное и материальное, Аристотель исходит из их тождества и не только не допускает, но критикует дуализм идеи (эйдоса) и материи, который он предполагает у Платона [Аристотель 1975, 1], но который в действительности опровергается самим Платоном в его зрелых сочинениях [Лосев 1992: 608 и др.; Богомолов 1985: 187–191].

Позднейшая «традиция во что бы то ни стало разрывать Платона и Аристотеля приводит к тому, что платоновский эйдос переводят как “идею”, а аристотелевский эйдос — как “форму”» [Лосев 1994б: 114]. Соответственно противопоставление материи и формы возводится к Аристотелю [ФЭС 1989: 711–712].

Однако у самого Аристотеля форма-μορφή (morphē) и форма-эйдос далеко не одно и то же, и материи противопоставляется не morphē, а именно эйдос. Это явствует, во-первых, из учения Аристотеля о четырех принципах-началах-причинах бытия и всякой

вещи, во-вторых, из его же учения о возможности и действительности, а в-третьих, из того, что понятия материи и формы соотносительны у Аристотеля с понятиями возможного (потенциального) и действительного (актуального).

В учении Аристотеля о четырех принципах–началах–причинах вещи и любого бытия вообще (включая природу, душу, ум) можно видеть развитие учения Платона об идее как порождающей модели вещи и пределе ее становления. Соответственно помимо материи и эйдоса–формы Аристотель выделяет еще два принципа–начала — собственно причинный и целевой.

Таким образом, у Аристотеля «...о причинах говорится в четырех значениях». Одной такой причиной он считает «сущность, или суть бытия вещи», которая определяется далее как «форма, или первообраз», как «целое, связь и форма». Другой причиной выступает материя, или субстрат (например, части [целого]), «то содержимое вещи, из чего она возникает». Третьей причиной является «то, откуда начало движения», изменения или покоя, «то, что действует», т. е. «производящее», «изменяющее». Четвертая причина, противоположащая последней, — «“то, ради чего”», или благо (ибо благо есть цель всякого возникновения и движения)» [Аристотель 1975, 1: 70, 146–147].

Как видно, указанные причины характеризуют вещь в ее становлении. Становление же в учении Аристотеля есть переход возможности (греч. *δύναμις*, *dynamis*, лат. *potentia*) в действительность (греч. *ἐνέργεια*, *energeia*, лат. *actus*).

В качестве потенции выступает субстрат вещи, то, из чего она возникает, т. е. *материя*. Взятая сама по себе, в предельно обобщенном виде, «первая» материя «неопределенна», «бесформенна» и лишена каких бы то ни было признаков. Это «то, что само по себе не обозначается ни как определенное по существу, ни как определенное по количеству, ни как обладающее каким-либо из других свойств, которыми бывает определено сущее» [Аристотель *Мет.*, VII, 3, 1029a] (цит. по: [Богомолов 1985: 208]; ср.: [Аристотель 1975, 1: 190]). Материя — только *возможность* становления и бытия, «субстанционально данная потенция» [Лосев 1992: 609–610]. В представлении Аристотеля, «она уже не живое, изменяющееся начало, самодвижущаяся природа–фюсис первых философов, но неподвижная, пассивная, неоформленная масса, требующая отличного от нее источника движения» [Богомолов 1985: 210]. Сама по себе она неизменна, и «...материал, из которого или состоит, или возникает какая-либо из вещей, ... не способен к оформлению и к изменению своею собственной силой» [Аристотель

Мет., V, 4, 1014b] (цит. по: [Лосев 1994б: 246]; ср.: [Аристотель 1975, 1: 149]).

В качестве такой силы и действующей причины, осуществляющей переход возможности в действительность, выступает *форма-эйдос*, а не форма-morphē, понимаемая главным образом как внешнее оформление вещи и как потенция (dynamis). По наблюдениям А. Ф. Лосева, у Аристотеля «...morphē оказывается почти тем же самым, что и dynamis» [Лосев 1994б: 113].

Форма-эйдос в иерархии выделенных причин является определяющим, творящим началом, представляющим собой суть бытия вещи, ее сущность, от которой исходит начало движения [Аристотель Мет., V, 4, 1015a — 1975, 1: 150].

«Эйдос вещи, будучи некоей общностью и некоей единичностью, в то же самое время является и определенного рода цельностью» [Лосев, Тахо-Годи 1993: 317], обеспечивающей целостность вещи как организма [Там же: 319–320] и ее качественную определенность.

Выступая в роли модели (paradeigma) вещи, «эйдос вносит различения в *материю*». Он же «создает из нее нечто определенное, благодаря чему только и можно ее назвать субстанцией» [Лосев 1994б: 115].

Отсюда вывод: причина для материи и первая причина бытия вещи «есть форма, в силу которой материя есть нечто определенное; а эта причина есть сущность [вещи]» [Аристотель Мет., VII, 17, 1041b — 1975, 1: 221]. «...Материя обозначается как природа [вещи] вследствие того, что она способна определяться через эту (формальную) сущность» [Аристотель Мет., V, 4, 1015a] (цит. по: [Лосев 1994б: 247]), «способна принимать эту сущность» [Аристотель Мет., V, 4, 1015a — 1975, 1: 150].

Так как переход возможности в действительность предполагает, с одной стороны, процесс *осуществления*, актуализации вещи, т. е. энергию (греч. ἐνέργεια, *energeia*), а с другой — конечный результат и цель перехода, *осуществленность* вещи, т. е. энтелехию (греч. ἐντελέχεια), то эйдос у Аристотеля является энергийным, актуализирующим началом, имеющим энтелехийную направленность. Эйдос-форма, или сущность, «есть цель возникновения» [Там же]. Следовательно, именно эйдос «есть ответ на вопрос, что такое данная вещь, чем она отличается от прочих вещей, как она становится и как она в результате этого становления приходит к своей цели. Эйдос, можно сказать, по Аристотелю, — это ставшая чтойность» [Лосев 1994б: 114] (см. также: [Лосев 1992: 458]).

В свою очередь эйдос как «ставшая чтойность» (греч. τὸ τὶ ᾗν εἶναι, *to ti ēn einai* 'то-что-делает-вещь-тем-что-она-есть', схоластич.

*quidditas* ‘чтойность’) и есть энтелехия [Лосев 1992: 581]. Тем самым в эйдосе–форме совмещаются действующая и целевая причины.

В результате основное, фундаментальное противоположение образуют *материя* и *эйдос–форма*. Господствующим началом в этом противоположении является эйдос–форма. В самом деле, «...про вещи, которые существуют или возникают естественным путем, мы всё еще не говорим, что у них есть [свойственная им] природа, хотя уже наличен тот материал, на основе которого они естественным образом возникают или существуют, если у них нет [еще] видовой формы. От природы, таким образом, существует то, что состоит из обеих этих частей (то есть и из материи и из формы)» [Аристотель *Мет.*, V, 4, 1015a] (цит. по: [Лосев 1994б: 246]; ср.: [Аристотель 1975, 1: 150]).

Как материя определяется через эйдос–форму, так и для оформления эйдоса необходима материя [Лосев, Тахо-Годи 1993: 343–344]. Будучи сущностью вещи, эйдос как «ставшая чтойность» воплощает в себе единство, тождество эйдоса–формы и материи, внутреннего и внешнего в одном и цельном бытии. Это тождество исключает существование эйдосов (идей, форм) отдельно, обособленно от вещей, а значит, исключает дуализм идей и вещей, ибо невозможно, «чтобы отдельно друг от друга существовали сущность и то, сущность чего она есть», т. е. идеи как сущности вещей и сами вещи [Аристотель *Мет.*, XIII, 5, 1079b — 1975, 1: 330].

Совмещение в эйдосе (т. е. в идеальной, формальной причине) действующей и целевой причин, с одной стороны, тождество эйдоса–формы и материи — с другой, означает, таким образом, нераздельное *единство* всех четырех причин–принципов бытия [Лосев, Тахо-Годи 1993: 344]. Это позволяет свести их к одному и единственному художественно-творческому первопринципу. Каждая вещь является результатом творчества, и степень ее художественности, материального совершенства и целесообразности зависит от того, насколько совершенно воплощены в ней все четыре принципа в их целостном единстве [Там же: 331–337].

Единство материи и формы, возможности и действительности раскрывается, далее, в их взаимообратимости в *иерархическом строении бытия*. «Поскольку все существующее на чем-нибудь основывается и из чего-нибудь происходит, постольку все обязательно имеет свою материю; и та форма, которая возникла из материи, сама является материей для более высокой и организованной формы, так что имеется “первичная” и “крайняя” материя (*Мет.* XII 3, 1069b 35–38; V 4, 1015a 7–10). Над этой чистой, первичной и бесформенной материей надстраиваются



все основные типы чувственно воспринимаемой материи, то есть земля, вода, воздух и огонь. Над этими надстраиваются состоящие из них сложные образования, с... четырьмя основными причинами... И, наконец, над всем возвышается та материя, которая свойственна всеобщему и вечному Уму—перводвигателю, так как этот свой ум Аристотель тоже понимает фигурно. Такого рода умопостигаемая материя оказывается уже тождественной с формой. Повсюду форма предполагает для себя материю как тот строительный материал, из которого она возникает. Но если брать материю и форму в предельном смысле, то есть в виде Ума—перводвигателя, то в нем мыслится уже такая форма, для осуществления которой нет никакой предшествующей материи, и такая материя, которая не есть просто возможность формы, но уже есть сама форма» [Лосев 1992: 610]. Таким образом, как высшая ступень бытия ум — идея идей, эйдос эйдосов — является и формой форм.

Присущее уму тождество мыслящего с мыслимым характеризует его как вечную целостность, которая обладает собственной чисто умственной материей. В соответствии со своей потенциально-энергетической и эйдетически-энтелехийной сущностью ум—перводвигатель представляет собой причину и цель всего сущего [Там же: 553–554].

В конечном счете, несмотря на отождествление эйдоса—формы и материи, Аристотель, подобно Платону, утверждает примат активного, движущего, формообразующего идеального начала над материей становления и бытия как субстанционально данной потенцией.

В рассматриваемых ниже лингвистических концепциях нетрудно заметить влияние античных мыслителей, в частности учения Платона о триаде *чистая идея (эйдос) — бесформенная первичная материя — оформленная (окачествованная) вторичная материя* и учения Аристотеля о четырех принципах—началах—причинах любого бытия. Эти учения послужили прологом к осмыслению и объяснению, в том числе в функциональном аспекте, сущностных свойств естественных системных объектов, к каковым принадлежит и язык.

#### **4.2. Язык как форма в лингвистических концепциях XIX–XX вв.**

Применительно к языку учение Аристотеля о четырех принципах—началах—причинах вещи и любого бытия наиболее полно воплотилось в концепции основоположника теоретического языкознания **В. фон ГУМБОЛЬДТА**. Именно в его трудах, глубоко раскрывших



диалектику языка в его отношении к миру и человеку, язык впервые предстает как *форма*, как *целостный организм* и как *деятельность* одновременно.

В учении В. фон Гумбольдта на первый план выдвигается причинно-целевое — генетическое — начало. Язык характеризуется как «созидающий процесс» [Гумбольдт 1984: 69], как «деятельность (*Energieia*)»: «язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли» [Там же: 70]. «Цель ее — взаимопонимание» [Там же: 71], возможное лишь «через со-мышление» [Там же: 302]. Таким образом, эта деятельность имеет, с одной стороны, внутреннюю направленность — на выражение мысли, а с другой — внешнюю, социальную направленность. Достижение обеих этих целей требует энергии (*энергейи*), деятельности, во-первых, в силу отсутствия тождества между языком и мышлением, причем не только вследствие различий в самой природе понятия и звука, но и потому, что язык должен «бесконечно использовать конечный набор средств» для выражения бесконечной и поистине безграничной совокупности всего мыслимого [Там же: 110], а во-вторых, в силу мыслительных и языковых различий между индивидами. Благодаря деятельностной природе языка преодолевается нетождественность языка и мышления и достигается определенное взаимопонимание между разнообразнейшими индивидуальностями.

Ведущая роль в достижении обеих указанных целей принадлежит *форме языка*, которая определяется как энергичная, энтелехийная и системно-структурная сущность одновременно, а именно — как «постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности» [Там же: 71].

Гумбольдт придает форме столь большое значение, что для него само «понятие языка существует и исчезает вместе с понятием формы, ибо *язык есть форма и ничего, кроме формы*» [Там же: 361; выделено мною. — Л. З.]. Обосновывается это действием целевого начала, обуславливающим примат формы над материей: «в абсолютном смысле в языке не может быть никакой неоформленной материи, так как всё в нем направлено на выполнение определенной цели, а именно на выражение мысли». Поэтому всё в нем (вплоть до первичного его элемента — членораздельного звука, «который становится членораздельным благодаря приданию ему формы») вскрывает «единый способ образования языка» и пронизано духовным *единством* как формирующим началом [Там же: 72–73].

Всепроницающее действие формы ведет к тому, что из беспорядочного хаоса разрозненных элементов (слов, правил, аналогий, исключений) образуется «единое органическое целое» [Гумбольдт 1984: 70], «совершенно устроенный организм» [Там же: 109]. С этой точки зрения, «...форма языка есть синтез отдельных, в противоположность ей рассматриваемых как материя, элементов языка в их духовном единстве» [Там же: 73; выделено мною. — Л. 3.].

Но по существу это синтез вторичного порядка. Ему предшествует синтез двух материй, двух форм, результатом которого и является форма языка во всей ее целостности, включая отдельные элементы — как значащие, так и незначащие.

Действительная материя, соответствующая языковой форме, находится, по Гумбольдту, за пределами языка [Там же: 72]. «...Это, с одной стороны, звук вообще, а с другой — совокупность чувственных впечатлений и произвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [Там же: 73; выделено мною. — Л. 3.].

И звуковая, и мыслительная материя характеризуется как изначально нерасчлененная [Там же: 317]. Однако «бесформенное» и «неопределенное» (в полном соответствии с Платоном и Аристотелем) доязыковое мышление [Гумбольдт 1985: 364, 406] всё же не совсем лишено оформления. Поэтому, согласно Гумбольдту, в «бесформенном» доязыковом мышлении тем не менее выделяются произвольные движения духа, чувственные впечатления от внешнего мира, смутные еще внутренние ощущения [Гумбольдт 1984: 73, 304–305], неясные мысли [Гумбольдт 1985: 376] и зарождается потребность в понятии [Гумбольдт 1984: 57].

Вполне отчетливое членение обеих материй осуществляется в их взаимодействии друг с другом. «Как мыслительным анализом производится членение и выделение звуков путем артикуляции, так и обратно эта артикуляция должна оказывать расчленяющее и выделяющее действие на материал мысли и, переходя от одного нерасчлененного комплекса к другому, через членение пролагать путь к достижению абсолютного единства» [Там же: 317].

В соответствии с видом преобразуемой материи Гумбольдтом различаются две формы — *внутренняя* (мыслительная, интеллектуальная) и *внешняя* (звуковая).

Но так как «порождение языка — синтетический процесс» [Там же: 107], то в результате полноценного синтеза создается такое взаимопроникновение не только материи и формы, но и обеих форм, что

они «перестают существовать как отдельные сущности» [Гумбольдт 1984: 197].

Диалектическое единство материи и формы раскрывается Гумбольдтом, во-первых, через феномен оборачиваемости их ролей, а во-вторых, через понятие *оформленной* (окачественной) *материи*. Оборачиваемость ролей формы и материи означает: «...то, что в одном отношении считается материей, в другом отношении оказывается формой» [Там же: 72]. Данное явление обнаруживается и во взаимодействии языка с духом и мышлением, и в самом языке. «Дух творит, но в том же творящем акте противопоставляет сотворенное самому себе, позволяя ему воздействовать на себя уже в качестве объекта» [Там же: 198]. «Дух, которым мы постигаем, сравниваем, упорядочиваем, рассматриваем, вчуже пронизывает всё внутреннее творчество языка как некую окружающую его инаковость, и язык, представляющий в сущности форму его мышления, становится для него как бы заново материей, заново же перерабатываемой им в идеи, стимулирующей и производящей новые идеи» [Гумбольдт 1985: 365]. Таким образом, будучи и формой мышления, и его материей, язык в качестве *оформленной материи* сам становится генератором идей, содержания, т. е. «выступает как своеобразная форма создания и общения идей» [Там же: 305].

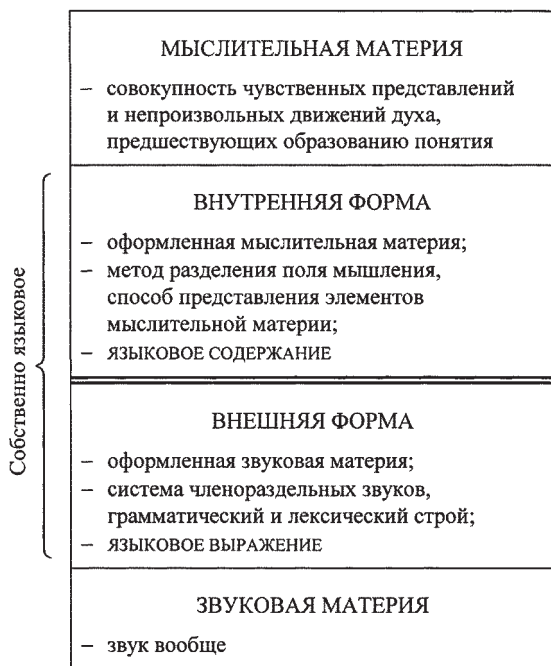
Строго говоря, эту функцию формирования мира идей (*Ideengebiet*) [Гумбольдт 1984: 316] выполняет внутренняя форма языка, которая и характеризует его как форму мышления, причем форму активную. *Внутренняя форма представляет собой свойственный данному языку способ организации мыслительной материи*, «способ представления», «осмысления», «модификации» ее элементов [Гумбольдт 1984: 103, 149, 317; 1985: 396], «метод разделения поля мышления» [Гумбольдт 1985: 364] (ср. с понятием аналитического метода у Кондильяка).

Все преобразования мыслительной материи осуществляются в соответствии с преобладающей направленностью сознания данного народа на чувственное созерцание, внутреннее восприятие или отвлеченное мышление [Гумбольдт 1984: 177], выявляя тем самым присущий ему «способ укоренения... в действительности» [Там же: 172].

Преобразованная таким образом мыслительная материя составляет интеллектуальную (внутреннюю, содержательную) сферу (сторону, область) языка, которая получает материальное выражение, как бы встраиваясь во внешнюю форму. Последняя включает в себя все «строевые элементы» — систему членораздельных звуков, грамматический и лексический строй.

По отношению к мыслительному содержанию интеллектуальная сфера языка есть форма, по отношению к звуковой, внешней стороне, выражению — содержание.

В результате получается следующая схема:



Способность наделять выражением всё мыслимое в процессе духовной деятельности опирается на внутреннюю форму. Именно она вводит духовную деятельность в определенное русло, колею, открывает «путь» к выражению мысли. Именно во внутренней форме совершается «акт превращения мира в мысли», осуществляется отражение мира. В этом смысле понятие внутренней формы языка вполне соответствует этимологическому значению самого понятия формы как эйдоса, «видения». Внутренняя форма и есть «видение» «материи мира вещей и явлений», причем «в каждом языке заложено самобытное мирозерцание» [Гумбольдт 1984: 80], свойственное именно данному субъекту — будь то народ или даже отдельный индивид. Соответственно семантика языка, если следовать духу учения Гумбольдта, неотделима от прагматики: внутренняя форма языка дает *субъективный* образ *объективного* мира. Отсюда следует, что «значительная часть содержания каждого языка находится... в неоспоримой зависимости

от этого языка, и их содержание не может оставаться безразличным к своему языковому выражению» [Гумбольдт 1984: 318].

Однако Гумбольдт не порывает и с предшествующей универсалистской рационалистической традицией. Он полагает, что «...форма всех языков в своих существенных чертах должна быть одинаковой» [Там же: 227]. Поскольку отдельные языки — лишь проявления всеобщего человеческого языка [Гумбольдт 1985: 382], постольку «...к одной форме восходят, по существу, формы всех языков, если только речь идет о самых общих чертах» [Гумбольдт 1984: 74]. В особенности это относится к интеллектуальной сфере языка, к его внутренней форме, а именно к обозначению общих отношений, ибо «общие отношения большей частью принадлежат непосредственно формам мышления» [Там же: 94], так что «создание грамматических форм подчиняется законам мышления, совершающегося посредством языка, и опирается на соответствие (Congruenz) звуковых форм этим законам» [Там же: 155]. Универсальный компонент языкового содержания, позволяющий говорить об общей для всех языков единой внутренней форме [Там же: 242], касается связей и отношений представлений, необходимых для обозначения понятий и для построения речи [Там же: 74], и явно имеет логическое происхождение: «общие, подлежащие обозначению отношения между отдельными предметами, равно как и грамматические словоизменения, опираются большей частью на общие формы созерцания и на логическое упорядочение понятий» [Там же: 103]. Таким образом, по Гумбольдту, индивидуальное своеобразие внутренних форм (т. е. языкового содержания) отнюдь не исключает их известного единообразия в языках мира. Первое в большей мере сопряжено с чувственным познанием действительности, второе имеет преимущественно рациональную природу.

Так как «сущность языка состоит в том, чтобы отливать в форму мыслей материю мира вещей и явлений» [Там же: 315], то понятно, почему, с точки зрения Гумбольдта, «...внутренняя и чисто интеллектуальная сторона языка и составляет собственно язык; она есть тот аспект (Gebrauch), ради которого языковое творчество пользуется звуковой формой» [Там же: 100]. Тем самым в единстве внутренней и внешней формы ведущая роль отводится внутренней — содержательной — стороне. Впрочем, и звуковая форма языка служит тем же целям. В частности, природу и сущность членораздельного звука составляет его «мыслеобразующая способность» [Гумбольдт 1984: 84–85, 95; 1985: 410, 412]. Это следствие того, что порождение языка предполагает синтез его внешней и внутренней формы. Именно

в синтезе формируется «художественный творческий принцип», сближающий язык с искусством [Гумбольдт 1984: 108–109, 306]. И именно степень синтеза внутренней мыслительной формы со звуком определяется степень совершенства языка [Там же: 197].

Отсюда ясно, что и корреляция между языковым содержанием и его формальным выражением, значением и звучанием должна меняться в соответствии со степенью синтеза двух форм языка.

**А. ШЛЕЙХЕР** в понимании соотношения между языком и мышлением как будто вновь возвращается к традициям рационализма. Рассматривая язык как подчиненный от природы данным неизменным законам образования естественный организм, свойства которого находятся вне волеизъявления индивида [Schleicher 1869: 120], Шлейхер исходит из универсальности закономерного рационального начала, исключаящего волю и произвол человека. Все проявления свободной воли человека, свободной духовной деятельности, все причуды и капризы обихода, языкового употребления, проблемы общения и взаимопонимания он выводит за пределы языкознания в филологию.

По своим функциям язык у Шлейхера — «...не непосредственное выражение чувства и воли, но только мысли» [Ibid.: 5]. Таким образом само понятие мышления сужается: с исключением способностей воли оно сводится к способностям рассудка; ср. [Кондильяк 1983: 215].

В определении Шлейхера, «язык есть воспринимаемый ухом симптом действия многосложных материальных отношений и качеств в мозге и в звуковых органах с их нервами, костями, мускулами и т. д.» [Шлейхер 1868: 3]. «Материальные отношения, лежащие в основе языка, и слышимое действие этих отношений относятся друг к другу как причина и действие, как вообще сущность и явление» и, стало быть, тождественны [Там же: 4]. Принимая как данное тождество указанных материальных отношений и звуковой стороны языка, Шлейхер в ряде своих дефиниций прямо отождествляет язык–речь и мышление. «Язык есть звуковое выражение мысли, проявляющийся посредством звука мыслительный процесс» [Schleicher 1869: 4]. «Язык есть... звуковое выражение мышления, мышление вслух, как, наоборот, мышление есть беззвучная речь» [Ibid.: 5]. В подобных отождествлениях отчетливо проявляется стремление Шлейхера к монизму, к устранению противоположения духа и материи (природы), содержания и формы, сущности и явления [Шлейхер 1864: 3–4].

Мышление, будучи деятельностью мозга, нуждается для своего выражения в языке, так же как дух в теле, и «мыслить можно только посредством языка» [Schleicher 1850: 5]. Вероятно, поэтому мышление

и язык не представляют собой отдельные сущности. Не случайно мышление и звук рассматриваются Шлейхером как два момента *языка* [Schleicher 1869: 5] и, в частности, в мышлении он видит «сторону языка, его содержание, функцию звука» [Ibid.: 6].

Подобно авторам Пор-Рояля, Шлейхер выделяет в едином по сути мышлении два элемента, две стороны, которые он определяет как материал и форму мысли. Материал мысли образуют понятия и представления, которые предполагаются как *имеющиеся, наличные*. Форму, или формальную сторону, мысли образуют отношения между ними. В мышлении оба эти элемента, «естественно, так же нераздельны и всегда одновременно существуют, как вообще форма и содержание» [Ibid.].

«Язык имеет своей задачей создать звуковой образ представлений, понятий и существующих между ними отношений, он воплощает в звуках процесс мышления» [Ibid.]. Благодаря разнообразию и широкой сочетаемости, беглости, способности к быстрым и многократным изменениям звуки наиболее пригодны для передачи мысли. Ни в какой другой *среде* невозможно было бы такое свободное и быстрое течение мысли [Ibid.]. «Представления и понятия, поскольку они получают звуковое выражение, называют значением. Функции звука состоят, следовательно, в значении и отношении» [Ibid.: 7].

Однако, вопреки декларированному тождеству языка и мышления, Шлейхер видит существенные различия между ними. В то время как в действительной мысли обе ее стороны — материал и форма — нераздельны и никогда не выступают обособленно, в языке обязательно выражение лишь материала мысли — представлений и понятий: «...без их звукового выражения язык немислим» [Schleicher 1850: 6]. Что касается формы мысли — отношений, то они могут оставаться не выраженными в звуке несмотря на то, что в мысли они никогда не отсутствуют [Ibid.: 7].

Указанное различие побуждает Шлейхера пересмотреть свою первоначальную точку зрения, согласно которой в языке нет какого-либо третьего элемента, кроме значения и отношения [Ibid.: 6]. Так как «...сущность каждого отдельного языка определяется способом звукового выражения значения и отношения» [Schleicher 1869: 8], в языке, кроме функций (значений и отношений) и используемого для их выражения звукового материала, выделяется третий элемент — форма. Под ней понимается отсутствие или наличие выражения отношений и то положение, которое занимают выражение значения и выражение отношения относительно друг друга. Таким образом, сущность языка определяется тремя моментами — *звуком, формой и функцией* [Ibid.: 8–9].



В целом отношения между языком и мышлением в концепции А. Шлейхера могут быть представлены следующей схемой:

МЫШЛЕНИЕ	МАТЕРИАЛ понятия и представления
	ФОРМА отношения между понятиями и представлениями
ЯЗЫК	ФУНКЦИИ ЗВУКА значения и отношения
	ФОРМА способ звукового выражения значений и отношений
	ЗВУКОВОЙ МАТЕРИАЛ

Степень совершенства звукового выражения мысли, а значит, и языка определяется тем, выражены или нет отношения, а если выражены, то как — так же слитно со значением, как в самой мысли, или раздельно.

**А. А. ПОТЕБНЯ**, развивая идеи В. фон Гумбольдта, сосредоточивает свое внимание на отношениях между формой и содержанием. Рассматривая язык как форму мысли, в которой по мере роста «капитала мысли» осуществляется переход от бессознательности к сознанию и самосознанию, А. А. Потебня разграничивает внеязычное мыслительное содержание, с одной стороны, и язычное содержание — с другой.

Доязычная мысль, по Потебне, имеет те же свойства, что первичная материя у Платона и Аристотеля и доязыковое мышление у Гумбольдта. Первоначально хаотическое состояние мысли [Потебня 1958: 181] представляет собой нерасчлененную массу несвязных впечатлений [Потебня 1976: 170, 302]. Правда, «...в дословесном состоянии языка могли быть объединены известные связки впечатлений...; но самое содержание этих связок тогда не было разложено, расчленено. Кроме этого, существовала целая масса несвязных, но соединенных в такие связки впечатлений» [Потебня 1989: 214].

Исходная форма языкового мышления — чувственный образ [Потебня 1976: 171]. Дальнейший рост «капитала мысли», формирование понятийного и творческого мышления осуществляются благодаря языку и его содержанию.



В сочинении «Мысль и язык» (1862) Потебня различает в слове два содержания — *объективное*, заключающее в себе только один признак, и *субъективное*, в котором множество признаков. «Первое содержание слова есть та форма, в которой нашему сознанию представляется содержание мысли» [Потебня 1976: 114]. В отношении к внешней звуковой форме это первое — объективное — содержание слова является внутренней формой. «*Внутренняя форма* есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль» [Там же: 115].

В капитальном труде «Из записок по русской грамматике» (т. I–II, 1874) Потебня указывает, что язычное содержание заключено, во-первых, в «*представлении*», т. е. в признаке–посреднике между вновь познаваемым и прежде познанным, который выступает средством их сравнения и заменяет соответствующий образ или понятие [Потебня 1958: 17–18], а во-вторых, в народном «*ближайшем значении*», которое включает общее и грамматическое значение наряду с частным и лексическим значением и является формальным по отношению к личному дальнейшему значению [Там же: 19–20, 36]. Язычное содержание служит способом представления, внутренней формой, символом, образом, знаком внеязычного мыслительного содержания, заключенного в «дальнейшем», «внешнем» значении, «намеком» на него.

Через анализ внутренней формы слова и ее роли для языка и мысли А. А. Потебня вслед за В. Гумбольдтом приходит к выделению того, что позднее Л. Ельмслев [Ельмслев 1960в] обозначил как субстанцию, а Г. П. Мельников [Мельников 1989] — как содержание. Это «оформленная материя», «уже получившая оформление материальность», «материя, уже обретшая форму», «оформившийся материал» у В. Гумбольдта [Гумбольдт 1984: 72–73, 97, 98, 163], «сформированный материал» у А. А. Потебни [Потебня 1976: 182].

Сформированный «окачествованный» материал есть результат воздействия языковой формы, а именно внутренней формы, на мыслительную и звуковую материю в процессе их синтеза, который А. А. Потебня рассматривает как творчество, ибо для него синтез и творчество — понятия синонимичные. То, что «синтез, творчество очень отличны от арифметического действия...» [Там же: 181], видно уже из того, что «внутренняя форма в самую минуту своего рождения изменяет и звук и чувственный образ» [Потебня 1976: 180].

Вклад языка в преобразование дословных элементов мысли и в само ее содержание огромен.

Во-первых, когда «...вместо множества признаков поставлен один», *«работа мысли через это упрощается, и тем достигается возможность в данный промежуток времени обнимать мыслью указание на гораздо большее количество содержания. Когда мы говорим, мы затрагиваем огромное количество комплексов мысли, но в свою речь вводим только намеки на них.* Это похоже на то, что совершается в торговле, когда меновая торговля заменяется денежной или когда такие знаки ценности, как металл, кожи, раковины, заменяются бумажными деньгами. То, что делает представление с чувственными восприятиями (со значением) (то есть *всё это сокращение труда мысли*), похоже на то, когда мысли заменяются алгебраическими знаками, благодаря чему сложные численные задачи сводятся к простым отношениям. [А сокращение труда мысли дает ей возможность ворочать всё большими и большими массами...]» [Потебня 1989: 216].

Во-вторых, «...всё, что не дано чувственными восприятиями», привнесено в мысль языком, с его помощью. А это очень много. «Из самого небольшого опыта, — пишет Потебня, — можно убедиться, что в нашем внутреннем мире — том мире, который каждый носит в себе, — *лишь самое незначительное количество комплексов находится в непосредственной связи с чувственными восприятиями* (выделено мною. — Л. З.)<sup>1</sup>. Мы говорим, например: “Черная птица летит”. Разве мы видим птицу, ее качество (черная) и то, что она летит? В чувственном восприятии черной летящей птицы, в том образе, который дает нам образ, не дано ни действующее лицо (субстанция), ни его качество, ни его действие, и всё это прибавлено нашею мыслью — мыслью сознательно. ...Всё это прибавлено *языком*, то есть мышлением при помощи языка» [Там же: 214]. «...Преобразование мысли состоит... в создании отвлечений» [Потебня 1973: 238]. «Лишь при помощи языка созданы грамматические категории и параллельные им общие разряды философской мысли; вне языка они не существуют и в разных языках различны» [Потебня 1976: 285]. А так как грамматические категории (прежде всего здесь имеются в виду части речи — существительное, прилагательное, глагол) — «это рамки, в которые

---

<sup>1</sup> Позднее на это обстоятельство обратил внимание Ф. де Соссюр, заметивший, что «лишь случайно языковой знак соответствует предмету, производящему определенное воздействие на органы чувств, например *лошадь, огонь, солнце*» [Соссюр 1990: 120–121]. На этом основании делается вывод о непричастности естественных вещей и их отношений к лингвистике [Соссюр 1977: 114].

втискивается содержание мысли нерасчлененной, не препарированной», то «...от того, каковы грамматические категории, зависит наше мышление, его общий характер, полнота и глубина; от различия этих категорий самое содержание мысли различно у разных народов, сродных между собою и находящихся в одних и тех же климатических и иных условиях» [Потебня 1973: 237–238].

Итак, отношение между мыслительными и языковыми категориями в трактовке Потебни противоположно тому, какое предполагали рационалисты, включая авторов Пор-Рояля. Определяющим фактором признается теперь не мышление, а язык. Отсюда различия в мышлении и его содержании у разных народов. Это различие усугубляется отсутствием грамматических и лексических категорий, обязательных для всех языков [Потебня 1976: 259]. Отрицание общечеловеческой природы грамматических категорий может быть объяснено тем, что А. А. Потебня задолго до Ф. де Соссюра вполне осознал относительность грамматических различий, их зависимость от целостной системы языка и вплотную подошел к понятию значимости. Ввиду параллелизма грамматических категорий и общих разрядов философской мысли последние также должны иметь относительный характер.

Ведущую роль в видоизменении доязычной (дословесной) мысли и в создании мысли, выражающейся в языке, А. А. Потебня отводит внутренней форме. Минимум внутренней формы — представление, выражающее лишь один признак мыслимого содержания. Именно представление «видоизменяет и совершенствует те агрегаты восприятий, какие застает в душе» [Там же: 183], и ведет к превращению чувственного образа в понятие. «Разница между чувственным образом и понятием та, что чувственный образ есть нерасчлененный комплекс почти одновременно данных признаков». В понятии же «...одновременность известного количества признаков превращается в последовательность, ибо психологически понятие есть всегда процесс, длинный ряд» [Потебня 1989: 219]. В этом процессе формирования понятий «...только представление вызывает дальнейшие, исключительно человеческие преобразования чувственного образа» [Потебня 1976: 147]. К ним относятся: объединение признаков, комплексно данных в чувственном образе, установление их внутренней связи, группировка вокруг представления как центра образа и тем самым отделение данного объекта мысли от других [Там же: 186, 302], сознание единства и общности чувственного образа, сознательное обобщение и классификация наблюдаемых явлений [Потебня 1989: 215–216]. В результате «...посредством представления, объединяющего чувственную схему

и отделяющего предмет от всего остального, то есть сообщающего ему идеальность, устанавливается внутренняя связь восприятий, отличная от механического их сцепления» [Потебня 1976: 186]. Тем самым полагается начало гармонии во всей совокупности наших восприятий [Там же: 186–187].

Сформированный таким образом материал мысли приобретает значительные творческие потенции, о чем свидетельствует сама возможность постоянного роста мыслительного содержания и соответственно расширения значения слова. Но и эта возможность также заложена в представлении. Благодаря его активной роли содержание в известном смысле выводится из формы, составляющей часть самого содержания. В самом деле, «...лишь объединив чувственные образы посредством представления, мы создаем такой объект мысли, которого содержание способно развиваться, — создаем формы, в которые удобно будет ложиться всякий новый признак» [Потебня 1989: 216]. Задавая направление мысли, внутренняя форма несет в себе, таким образом, зародыш «бесконечной (новой) определенности раз сформированного материала» [Потебня 1976: 182], способна возбуждать самое разнообразное, неисчерпаемое возможное содержание.

Каждое применение слова к новым признакам, заключенным в значении слова помимо представления (а значение, по Потебне, есть совокупность признаков, заключенных в чувственном образе), увеличивает его содержание. «Посредством соединения представления с другими представлениями производится расчленение образа, *превращение его в понятие*, установление связи между мыслями, их подчинение и соподчинение (классификация)» [Там же: 302]. И «...так как количество признаков в каждом кругу восприятий неисчерпаемо, то и понятие никогда не может стать замкнутым целым» [Там же: 194], а потому и «язык не есть совокупность знаков для обозначения готовых мыслей, он есть система знаков, способная к неопределенному, к безграничному расширению» [Потебня 1981: 134]. Ведь и мир, средством познания которого является язык [Там же: 133], «неисчерпаем для познания» [Потебня 1958: 59].

Язык как «средство или, лучше, система средств видоизменения или создания мысли» [Потебня 1989: 227] формирует и наши представления о мире. «Как в слове впервые человек сознает свою мысль, так в нем же прежде всего он видит ту законность, которую потом переносит на мир» [Потебня 1976: 164]. Это стремление развивается в понятие: «...только понятие (а вместе с тем и слово как необходимое его условие) вносит идею законности, необходимости, порядка

в тот мир, которым человек окружает себя и который ему суждено принимать за действительный» [Потебня 1976: 161]. «Дробность, дискурсивность мышления, приписываемая языку, создала тот стройный мир, за пределы коего мы, раз вступивши в них, уже не выходим» [Там же: 168]. Эти положения А. А. Потебни вполне созвучны идеям В. Гумбольдта и его современных последователей.

Определяя внешнюю форму в произведении искусства и в языке, А. А. Потебня четко отличает ее от соответствующей материи. Внешняя форма понимается им «не в смысле грубого материала (полотно, краски, мрамор), а в смысле материала, подчиненного мыслью (совокупность очертаний статуи)» [Там же: 178]. Внешняя форма «в статуе не есть грубая глыба мрамора, но мрамор, обтесанный известным образом, в картине — не полотно и краски, а определенная цветная поверхность, следовательно, сама картина. <...> *Внешняя форма слова тоже не есть звук как материал, но звук, уже сформированный мыслью*» [Там же: 176; выделено мною. — Л. 3].

Источником звукового материала языка является рефлексия чувства в звуках. «Язык животных и человека в раннюю пору детства состоит из рефлексий чувства в звуках» [Там же: 109]. «Звук как материал» — это рефлексивный звук, в том числе междометие. «Звук, уже сформированный мыслью», — это членораздельный звук. «Членораздельный звук... существует лишь как форма мысли, нераздельно связанная с нею» [Потебня 1989: 203]. «В природе он встречается только в человеческой речи, служит только для изображения мысли, а потому только от свойств мысли заимствует все свои признаки» [Потебня 1976: 104]. Главная роль и в этом случае принадлежит внутренней форме. Когда «...междометие под влиянием обращенной на него мысли изменяется в слово» [Там же: 110], обусловленное внутренней формой (представлением) «изменение звука состоит (не говоря о позднейших, более сложных звуковых явлениях) в устранении того страстного оттенка, нарушающего членораздельность, какой свойствен междометию» [Там же: 180]. Следовательно, внутренняя форма способствует членораздельности звука. Отсюда вытекает, что такие общечеловеческие свойства языков, как символичность и членораздельность [Там же: 259], — явления взаимосвязанные.

Далее, «по мере того как уменьшается необходимость отражения чувства в звуке, увеличивается другого рода связь звука и представления. Звук, издаваемый человеком, воспринимается им самим, и образ звука, следуя постоянно за образом предмета, ассоциируется с ним.

При новом восприятии предмета или при воспоминании прежнего повторится и образ звука, и уже вслед за этим (а не непосредственно, как при чисто рефлексивных движениях) появится самый звук. <...> Ассоциация восприятий предмета и звука, заменяющая непосредственное рефлексивное движение голосовых органов таким, в котором произнесение звука посредствуется его образом в душе, есть одно из необходимых условий создания слова» [Потебня 1976: 111]. В речевом общении «членораздельный звук, издаваемый говорящим, воспринимаясь слушающим, пробуждает в нем воспоминание его собственных таких же звуков, а это воспоминание посредством внутренней формы вызывает в сознании мысль о самом предмете» [Там же: 139].

Таким образом, с закреплением противопоставления сформированного материала и форме, и материалу общая схема соотношения в языке звуковой и мыслительной сфер принимает в концепции А. А. Потебни следующий вид:

Собственно языковое	<b>МАТЕРИАЛ ДОЯЗЫЧНОЙ МЫСЛИ</b>
	– хаотичная, нерасчлененная масса несвязных впечатлений, включающая нерасчлененные связки впечатлений
	<b>СФОРМИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ МЫСЛИ</b>
	– лично-объективное МЫСЛИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОГО МЫШЛЕНИЯ: дальнейшее (внешнее) значение, эволюционирующее от очень ограниченного целостного чувственного образа через все более насыщенный и расчлененный образ к понятию
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА МЫСЛИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ</b>
	– народное язычное содержание: представление (образ образа) и ближайшее значение
<b>ВНЕШНЯЯ – ЗВУКОВАЯ – ФОРМА МЫСЛИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ</b>	
– образ членораздельного звука	
<b>СФОРМИРОВАННЫЙ МЫСЛЮ ЗВУКОВОЙ МАТЕРИАЛ</b>	
– членораздельный звук	
<b>ЗВУК КАК МАТЕРИАЛ</b>	
– рефлексивный нечленораздельный звук; – звук как рефлексия чувства	

Собственно языковым в этом единстве А. А. Потебня, подобно В. Гумбольдту, считает форму: «...в языке нет ничего, кроме формы внешней и внутренней» [Потебня 1958: 47; выделено мною. — Л. 3.], причем определяющей является внутренняя форма, т. е. содержательная сторона языка.

**И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ** в отличие от А. А. Потебни больше внимания уделяет связям внешней, периферической **фонетической стороны** с внутренней, центральной психической стороной, в составе которой он различает психическое содержание — **семасиологическую сторону** — и формы, в которых движутся представления значения, — **морфологическую сторону** [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 212–214].

Внутренняя, центральная психическая сторона (перебразия), ЯЗЫК	<b>СЕМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ЯЗЫКА</b> (мыслительная материя)	} Собственно языковос
	<b>МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ЯЗЫКА</b>	
Внешняя, периферическая физиологическая сторона (фонация), ПРОИЗНОШЕНИЕ	<b>ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА</b> (звуковая материя)	

Подобно тому как В. фон Гумбольдт усматривает **характер** языка (а это «нечто еще более высокое и самостоятельное», чем форма [Гумбольдт 1984: 163]), «в способе соединения мысли со звуками» [Там же: 167], так И. А. Бодуэн де Куртенэ исключительно языковым началом считает «способ, каким звуковая сторона связана с психическим содержанием» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 133], т. е. морфологическую



сторону. Эта последняя трактуется как структура языка, как собственно языковая **форма**, организующая ранее неоформленную **субстанцию** звуковых проявлений, как «морфологическая артикуляция, состоящая в членении предложения на слова, слов же — на значащие части» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 263]. Наряду с «морфологическим», или «семасиологически-морфологическим», членением на значащие единицы существует еще фонетическое членение на произносимые единицы, которое также производится «сверху вниз». Таким образом, в соответствии с противоположением внешней и внутренней стороны языка принимается двоякое иерархическое членение потока человеческой речи — на произносимые и знаменательные единицы.

В результате Бодуэн идет дальше своих предшественников и современников в анализе (разложении) языкового целого, в выделении единиц языка и связывающих их отношений. Им введены понятия *фонемы* и ее составляющих (кинемы, акузмы, кинакемы); понятие *морфемы* как наименьшей, далее неделимой, значащей единицы, являющейся составной частью слова; понятие *синтагмы* как простейшей неделимой единицы синтаксиса. Так как при этом учитываются альтернативности фонем и морфем, т. е. сосуществование их разновидностей (вариаций, вариантов, модификаций, видов, видоизменений и т. п.), то по существу Бодуэн уже проводит то различие единиц—инвариантов и единиц—вариантов, которое лишь к середине XX в. было терминологически закреплено дескриптивистами. Наиболее полно такое различие разработано им на фонетическом уровне. По определению Бодуэна, в дивергенциях или неофонетических альтернативах (чередованиях) одной и той же фонемы последняя является «психическим объединителем всех этих видоизменений» [Там же, II: 217], отвлеченностью, результатом обобщения, очищенным «от положительно данных свойств действительного появления или существования» в звуках языка [Там же, I: 122]. Сущность же так называемых артикулированных (= членораздельных) звуков человеческой речи Бодуэн видит в их *оформленности благодаря взаимным отношениям* друг к другу [Там же, I: 259].

Теория отношений, выделенных на ассоциативно-психологической основе, принадлежит, бесспорно, к важнейшим достижениям Казанской лингвистической школы. Помимо иерархических конститутивных отношений, связывающих единицы разных рангов в каждом из членений и обеспечивающих целостность языка как системы систем, были выявлены отношения, в которые вступают друг с другом единицы одного ранга, и показана роль этих отношений в двояком членении.



Фонетическое членение строится как будто исключительно на ассоциациях по смежности (т. е. на синтагматических отношениях), а при морфологическом, смысловом членении в качестве вспомогательных используются также ассоциации по сходству (иначе говоря, парадигматические отношения), которые служат основой для делимости и группировки представлений в психическом центре.

Фонетическое членение связано с семасиологически-морфологическим через семасиологизацию и морфологизацию средств и единиц фонетического членения, т. е. через ассоциации их с различием [лексических] значений или [грамматических] форм. При этом Бодуэн исходит из того, что сама «...сущность языка состоит в ассоциации представлений внеязыковых с представлениями исключительно языковыми» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 70–71] и «...всякое языковое целое лишь постольку действительно принадлежит языку, поскольку оно ассоциируется с представлениями, с одной стороны, из мира внеязыкового (физического, социального, лично-психического...), с другой же стороны, из мира морфологии языка, т. е. из мира расчленения языковых целых на структурные или строительные элементы» [Там же, II: 254].

Таким образом, заменив различие «материи» (Stoff) и «формы» (Form) различием внеязыковых (семасиологических и фонетических) и чисто языковых (морфологических) представлений, «представлений построения», И. А. Бодуэн де Куртенэ подчеркивает их единство: «...в каждой единице языка и в каждой части единицы имеется нечто внеязыковое и нечто чисто языковое» [Там же, II: 185].

**Ф. де СОССЮР** сохраняет определение языка как формы. При этом форме противопоставляется субстанция [Соссюр 1977: 145, 154], под которой понимается бесформенная материя, но не оформленный материал, как позднее у Л. Ельмслева [Ельмслев 1960в]. Соответственно не принимается и противопоставление формы содержанию, которое, по Гегелю (а именно с его влиянием связывают пристрастие Ф. де Соссюра к дихотомиям–антиномиям [Холодович 1977б: 652, 670]), включает форму и «материю» как снятые моменты, так что содержание объемлет собой и форму, и «материю» [ФЭС 1989: 595].

В отличие от своих предшественников Ф. де Соссюр пытается полностью освободить язык от каких бы то ни было признаков субстанциональности (материальности). Он исходит из того, что «...язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на естественном положении вещей» [Соссюр 1990: 94], поэтому «...естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114]. Не случайно, вопреки В. фон Гумбольдту, который видел

в языке одновременно и отражение (мировидение), и знак и потому возражал против сведения языка к совокупности произвольных знаков [Гумбольдт 1984: 320, 324], Ф. де Соссюр, напротив, считает, что «...вся система языка покоится на иррациональном принципе произвольности знака» [Соссюр 1977: 165].

В понимании Соссюра, язык как форма служит посредствующим звеном между двумя изначально не расчлененными аморфными массами — мышлением и звуковой субстанцией. «Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Предусловленных понятий нет, равным образом как нет никаких различий до появления языка» [Там же: 144]. С другой стороны, и «поток речи, взятый сам по себе, есть линия, непрерывная лента, где ухо не различает никаких ясных и точных делений». В доказательство Соссюр ссылается на восприятие иноязычной речи: «Когда мы слышим речь на неизвестном языке, мы не в состоянии сегментировать воспринимаемый поток звуков. Такая сегментация вообще невозможна, если принимать во внимание лишь звуковой аспект языкового факта» [Там же: 136], поскольку в языке ни *звуки*, ни *значения сами по себе не выделяемы*. «...Языковой факт по своей сути не может состоять только из одной из указанных сущностей и для его существования необходимо наличие СООТВЕТСТВИЯ, но ни в коей мере СУБСТАНЦИИ или ДВУХ субстанций» [Соссюр 1990: 129]. Только их *сочетание и создает форму*: «...язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс», становясь таким образом «областью членораздельности» [Соссюр 1977: 145]. Понятия «становятся [конкретными] языковыми сущностями лишь благодаря ассоциации с акустическими образами» [Там же: 135], а «звуковая цепочка только в том случае является языковым фактом, если она служит опорой понятия» [Там же]. «Лишь тогда, когда мы знаем, какой смысл и какую функцию нужно приписать каждой части звуковой цепочки, эти части выделяются нами, и бесформенная лента разрезается на куски. В этом анализе, по существу, нет ничего материального» [Там же: 136]<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> В этой связи нельзя не заметить, что И. А. Бодуэн де Куртенэ, первоначально трактовавший членение речи на произносимые фразы, слова, слоги, звуки как физическое, физиологическо-акустическое [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 121, 183], опирающееся, в частности, на механизмы дыхания, позднее пришел к выводу, что произносительно-слуховой стороне свойственно «беспрерывное течение физиологических работ и акустических впечатлений» [Там же, II: 214], «отделение же единиц происходит в психике» [Там же, II: 215] благодаря морфологизации и семасиологизации произносительно-слуховых элементов.

В отсутствие «даже и следа внутренней связи между звуковыми знаками и понятиями» [Соссюр 1990: 97] «...выбор определенного отрезка звучания для определенного понятия совершенно произволен» [Соссюр 1977: 145]. Отсутствие же такой связи объясняется, помимо других соображений, тем, что, в понимании Соссюра, «акустический образ» не является действительным акустическим образом, так же как «понятие» — это не понятие в собственном смысле слова.

Уже Л. Ельмслев заметил, что отождествление означающего с акустическим образом вступает у Ф. де Соссюра в противоречие с определением языка как чистой формы. Ведь «“акустический образ”, о котором идет речь в нескольких местах “Курса”, — это, очевидно, психическое отражение материального факта; таким образом, язык связывается со звуковой материей» [Ельмслев 1960б: 62], т. е. «...язык понимается как форма в субстанции, а совсем не как нечто от субстанции независимое» [Ельмслев 1960а: 52]. Однако если следовать духу учения Ф. де Соссюра — его постулату о независимости языка от реальной действительности, то имеющий чувственную природу акустический образ [Соссюр 1977: 99] и понятие как формы отражения не могут принадлежать языку. Чтобы снять «неосознанное допущение о наличии субстанции» [Соссюр 1990: 107] в знаке и подчеркнуть «связывающее оба его компонента отношение» [Соссюр 1977: 147], Соссюр сводит знак к отношению между означаемым и означающим. Данное отношение, которое зиждется на несходстве одной стороны знака с другой, составляет, согласно Соссюру, самую сущность понятия ценности и образует одну из ее осей [Соссюр 1990: 193–194].

Другая ось ценности, неразрывно связанная с первой, образуется синтагматическими и ассоциативными (= парадигматическими) отношениями данного знака с остальными членами системы. И означаемое как концептуальная ценность, и означающее как материальная ценность определяются отрицательно — теми отличиями, которые обнаруживаются в отношениях данного знака к прочим членам системы.

Коль скоро «...в той ассоциации, которая составляет знак, с самого начала нет ничего, кроме двух ценностей, *одна из которых основывается на другой* (произвольность знака)» [Там же: 191], языковой знак по необходимости имеет комплексную, косистематическую природу [Там же: 148–149], а система, понимаемая как совокупность отношений [Соссюр 1977: 160], первична по отношению к своим членам [Соссюр 1977: 146; 1990: 110, 200], ибо в любом языковом факте нет ничего, кроме отношения [Соссюр 1990: 197].

Таким образом, с точки зрения Соссюра, язык как форма «есть система чистых значимостей, определяемая исключительно наличным состоянием входящих в нее элементов» [Соссюр 1977: 113]. Это система, в которой нет ничего, кроме проистекающих из нее различий [Там же: 152–154]. Это совокупность отношений [Там же: 155, 160], т. е. структура, лишенная как звуковой, так и мыслительной субстанции.

Общее соотношение формы и субстанции в концепции Ф. де Соссюра выглядит так:

<b>МЫШЛЕНИЕ</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>– хаотичная по природе, смутная, расплывчатая, аморфная, нерасчлененная масса;</li> <li>– неопределенный план смутных понятий</li> </ul>									
Собственно языковое	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>ЯЗЫК КАК ФОРМА</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧИМОСТИ</b></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>– посредствующее звено между мыслью и звуком;</li> <li>– область членораздельности;</li> <li>– система чистых значимостей;</li> <li>– совокупность смысловых и звуковых различий;</li> <li>– совокупность отношений (синтагматических и ассоциативных), то есть структура</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>– смысловые различия, проистекающие из синтагматических и ассоциативных отношений членов системы</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗНАЧИМОСТИ</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>– звуковые различия, проистекающие из синтагматических и ассоциативных отношений членов системы</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>ЯЗЫК КАК ФОРМА</b>	<b>КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧИМОСТИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– посредствующее звено между мыслью и звуком;</li> <li>– область членораздельности;</li> <li>– система чистых значимостей;</li> <li>– совокупность смысловых и звуковых различий;</li> <li>– совокупность отношений (синтагматических и ассоциативных), то есть структура</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– смысловые различия, проистекающие из синтагматических и ассоциативных отношений членов системы</li> </ul>	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗНАЧИМОСТИ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– звуковые различия, проистекающие из синтагматических и ассоциативных отношений членов системы</li> </ul>	
	<b>ЯЗЫК КАК ФОРМА</b>	<b>КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧИМОСТИ</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>– посредствующее звено между мыслью и звуком;</li> <li>– область членораздельности;</li> <li>– система чистых значимостей;</li> <li>– совокупность смысловых и звуковых различий;</li> <li>– совокупность отношений (синтагматических и ассоциативных), то есть структура</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– смысловые различия, проистекающие из синтагматических и ассоциативных отношений членов системы</li> </ul>								
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗНАЧИМОСТИ</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>– звуковые различия, проистекающие из синтагматических и ассоциативных отношений членов системы</li> </ul>									
<b>ЗВУКОВАЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ СУБСТАНЦИЯ</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>– смутная, аморфная, нерасчлененная масса;</li> <li>– непрерывная бесформенная лента;</li> <li>– неопределенный план звучаний</li> </ul>									

В постсоссюровском языкознании были внесены дальнейшие уточнения в понятие формы. Они связаны в первую очередь с различием между *языком* и *речью*.

**Н. С. ТРУБЕЦКОЙ**, исходя из разграничения языка и речи у Ф. де Соссюра, вводит отношение между ними в *обозначаемый* и *обозначающий аспекты речевой деятельности*. В обеих этих сферах язык имеет дело с *абстрактными* правилами и *конечным*, исчисляемым инвентарем единиц, а речь оперирует *неисчислимым* множеством *конкретных* явлений. Общую схему речевой деятельности в понимании Н. С. Трубецкого [Трубецкой 1960: 8–9] можно представить так:

ОБОЗНАЧАЕМОЕ	РЕЧЬ	<b>“Конкретное сообщение,</b> которое имеет смысл только как целое” (“Число различных <b>конкретных представлений</b> и <b>мыслей</b> , которые могут быть обозначены в речевых актах, бесконечно”.)
	ЯЗЫК	<b>“Абстрактные правила:</b> синтаксические, фразеологические, морфологические и лексические”, “согласно которым вся область значений членится на составные части, упорядоченные соответствующим образом” (Конечное исчисляемое число единиц. “Число ... лексических значений, существующих в языке, ограничено”.)
ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ	ЯЗЫК	<b>“Правила,</b> согласно которым упорядочивается <b>звуковая сторона</b> речевого акта” (“Звуковые нормы, из которых складываются единицы обозначающего, конечны и исчисляемы, количественно ограничены”. “...Единицы обозначающего в языке образуют упорядоченную систему”.)
	РЕЧЬ	<b>“Конкретный звуковой поток —</b> физическое явление, воспринимаемое на слух”, непрерывная, внешне неупорядоченная последовательность переходящих друг в друга звучаний (“Артикуляторные движения и соответствующие им звучания, возникающие в речи, до бесконечности многообразны”.)

**Л. ЕЛЬМСЛЕВ** попытался совместить противоположения «форма — материя / субстанция» и «язык — речь».

Согласно Л. Ельмслеву, Ф. де Соссюр, противопоставляя язык и речь, соотносит понятие формы с языком не всегда последовательно, вследствие чего язык трактуется то как «чистая форма» (как чистая структура соотношений, как схема), то как «форма в субстанции» [Ельмслев 1960а: 52]. Ельмслев стремится очистить понятие формы от малейших намеков на субстанциональность.

Следуя соссюрговскому определению языка как совокупности отношений, Ельмслев рассматривает язык как имманентную структуру [Ельмслев 1960в: 279]. Соответственно для Ельмслева язык как чистая форма — это схема взаимных соотношений, сетка синтагматических и парадигматических отношений [Ельмслев 1960а: 53; 1960г: 59],

короче — сеть зависимостей, сеть функций [Ельмслев 1960б: 47; 1960г: 58], элементы которой являются чисто оппозитивными, релятивными и негативными сущностями, не имеющими никаких позитивных свойств [Ельмслев 1960г: 60].

Основным предметом изучения лингвистики, по Ельмслеву, является *знаковая функция* как «конституирующее качество языка» [Ельмслев 1960б: 48]. Знаковая функция имеет место между двумя сущностями — *выражением* и *содержанием*, которые необходимо предполагают друг друга и определяются противопоставительно и соотносительно — только по своей взаимной солидарности [Ельмслев 1960в: 307, 318]. «Различие между выражением и содержанием и их взаимодействием в виде знаковой функции является основой структуры любого языка» [Там же: 317].

Знаковая функция образует **форму содержания** и **форму выражения** [Там же: 312].

В отличие от Ф. де Соссюра, противопоставлявшего форме лишь нерасчлененную материю / субстанцию, Л. Ельмслев, как и А. А. Потебня, в сущности, следует Платону, противопоставившему бесформенной первичной материи оформленную вторичную материю. Соответственно Ельмслев наряду с формой различает, с одной стороны, **материал** как фактор, «общий для всех языков вообще» [Там же: 308], который и в содержании, и в выражении существует предварительно в виде аморфной массы, как нерасчлененная сущность, *нерасчлененный аморфный континуум* [Там же: 309, 310, 313], а с другой стороны — **субстанцию**, которая возникает путем *проекции формы на материал*, вследствие чего неоформленный материал различно располагается, членится, формируется в разных языках [Там же: 309–310]. «Это похоже, — пишет далее Ельмслев, — на одну и ту же горсть песка, которая принимает совершенно различные формы, или на облако в небе, с каждой минутой меняющее свои очертания на глазах Гамлета. Подобно тому как песок может принимать различные формы, а облако вновь и вновь менять свои очертания, принимает различную форму или различную структуру в разных языках и исследуемый нами материал» [Там же: 310]. Таким образом, в субстанции материал, несмотря на чувственную текучесть, не существует вне формы: в каждый данный момент и горсть песка, и облако имеют какую-то форму. Иное дело, что она подвижна и одна форма может тут же смениться другой.

И в плане содержания, и в плане выражения материал подчинен форме в качестве субстанции [Там же: 310, 314]. Форма независима и произвольна в отношении к материалу, который она формирует

в субстанцию [Ельмслев 1960в: 310]. В той зависимости, которая связывает форму и субстанцию, форма, будучи необходимой предпосылкой для существования субстанции, является постоянной, субстанция — переменной [Там же: 361]: «на основе произвольной реляции между формой и субстанцией одна и та же сущность лингвистической формы может манифестироваться в совершенно различных субстанциональных формах при переходе от одного языка к другим» [Там же: 352].

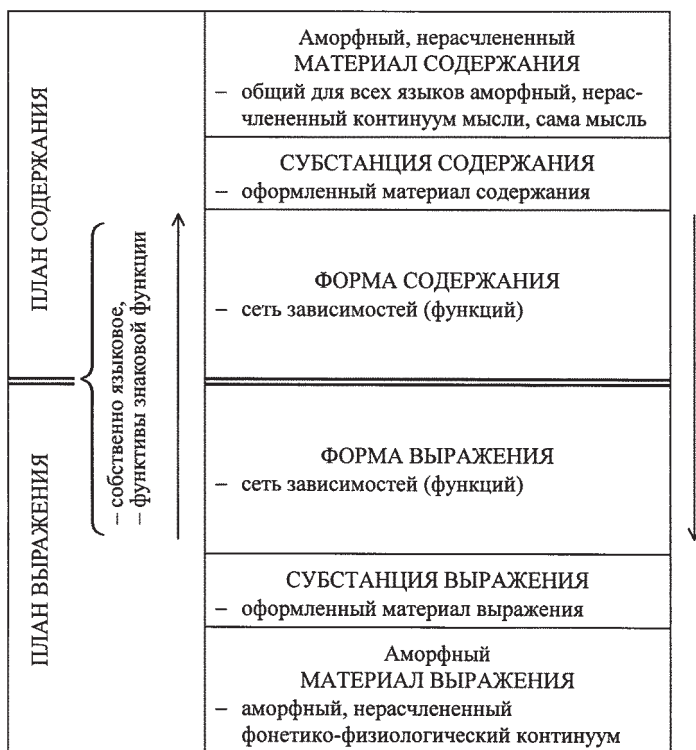
Так как субстанция, манифестирующая языковую форму, или иначе схему, отождествляется у Ельмслева с языковым узусом [Там же: 361], то противопоставление формы и субстанции есть противопоставление *схемы* и *узуса*. Это последнее противопоставление коррелирует, согласно Ельмслеву, с сосюрровской дихотомией «язык — речь» и могло бы заменить ее [Ельмслев 1960г: 66]: язык как чистая форма, определяемая независимо от ее социального осуществления и материальной манифестации, — это схема [Там же: 59], речь — это реализация [Там же: 64]. В трактовке Ельмслева, «...теория реализации включает в себя всю теорию субстанции» и имеет в качестве подлинного объекта узус, понятие которого покрывает в сущности понятия нормы и акта речи. «Реализация схемы обязательно является узусом» [Там же: 65]. Таким образом, **язык** — это **форма** и **схема**, **речь** — это **субстанция** и **узус**.

В итоге с учетом дихотомии язык — речь исходное соотношение формы и материи применительно к языку принимает у Л. Ельмслева вид (см. с. 273), по сути близкий к схеме А. А. Потемби (см. с. 263).

Л. Ельмслев наглядно показывает неудовлетворительность, неполноту принятого Ф. де Соссюром двоичного деления на форму и субстанцию, ибо в действительности имеет место различие двух форм разных иерархий — языковой формы и формы материала [Ельмслев 1960в: 377]. В качестве последней выступает языковая субстанция, являющаяся субстанцией по отношению к данной языковой форме и формой по отношению к общему для всех языков материалу. «Таким образом, то, что с одной точки зрения является “субстанцией”, с другой точки зрения является “формой”» [Там же: 337].

Сходная оборачиваемость характеризует определяемые противопоставительно и соотносительно планы языка. Вследствие этого «...план выражения и план содержания могут быть исчерпывающе и непротиворечиво описаны как совершенно аналогичные по своей структуре, так что можно предвидеть идентично определяемые категории в обоих планах. Это является еще одним существенным подтверждением того





взгляда, что содержание и выражение следует рассматривать как взаимосвязанные и равные во всех отношениях сущности» [Ельмслев 1960в: 318]. То, что «...обе стороны (оба плана) языка имеют совершенно аналогичную категориальную структуру» [Там же: 356], дает основания для вывода об их изоморфизме. Подобные представления позднее были закреплены терминологически, например, в обозначениях инвариантных и вариантных единиц обоих планов (ср.: фон — аллофон — фонема, морф — алломорф — морфема, сема — аллосема — семема и т. п.).

Однако «аналогичное» не значит «тождественное». Логической «предпосылкой необходимости оперировать двумя планами должен быть тот факт, что два плана... не могут иметь абсолютно тождественной структуры, т. е. взаимно однозначного соответствия между функциями одного плана и функциями другого плана. ...Два плана не должны быть **конформальны**» [Там же: 366]. Указанное отсутствие однозначного соответствия традиционно трактуется как проявление произвольной связи между планами. Так это или нет, предстоит выяснить. Но нельзя не согласиться с Ельмслевом, что «...независимо



от того, заинтересованы ли мы в настоящий момент в выражении или в содержании, мы ничего не поймем в структуре языка, если не будем постоянно принимать во внимание взаимодействие обоих планов. Как изучение выражения, так и изучение содержания являются изучением отношения между выражением и содержанием; каждое из этих двух направлений исследования предполагает существование другого, т. е. они взаимозависимы и поэтому не могут быть отделены друг от друга без значительного ущерба» [Ельмслев 1960в: 333].

Ранее эта идея была сформулирована А. А. Потебней. Он считал, что вследствие единства внешней и внутренней формы языка учение о внешней форме, фонетика, рассматривает звуки, «предполагая их знаменательность, но не останавливаясь на ней», а в учении о значении, «...наоборот, внимание сосредоточено на значении, а звуки только предполагаются» [Потебня 1958: 47].

**Г. П. МЕЛЬНИКОВ** внес дальнейшие уточнения в представление о соотношении материала, субстанции и формы в языке. Он опирается на положения материалистической диалектики о взаимовлиянии формы и субстанции, о материальности формы и невозможности существования абсолютно аморфного материала [Мельников 1978: 278]. Соответственно предложенная им схема соотношения языковых, речевых и мыслительных единиц [Там же: 282] отличается от принятой за основу схемы Л. Ельмслева по ряду параметров (см. с. 275).

Во-первых, Г. П. Мельников учитывает, что материал обоих планов лишь относительно аморфен и как таковой не может не оказать известного «сопротивления» воздействию формы [Там же: 278–279]. Следовательно, отношение между формой и материалом не является односторонним, они взаимно воздействуют друг на друга [Там же].

Во-вторых, активная роль формы по отношению к материалу обусловлена тем, что форма в обоих планах («акустический образ» в плане выражения, «значение» в плане содержания) не сводится исключительно к значимости, она имеет собственную внутреннюю структуру [Там же].

В-третьих, признание образной (точнее, отражательной. — Л. З.) природы составляющих компонентов плана содержания позволяет квалифицировать связь между формой (значением) и неязыковленным материалом (смыслом) как отношение намекания. Опираясь, по-видимому, на А. А. Потебню, Г. П. Мельников отмечает «способность значения вступать со смыслами (поскольку они — тоже образны) в окказиональную ассоциацию по сходству и служить, благодаря наличию сходства, *намеком* на смыслы» [Там же: 283].

План содержания		План выражения			
Внеязыковое мыслительное содержание		Монемы		Физическая коммуникативная область	
“материал содержания” — абстрактные и конкретные невербальные мыслительные единицы вне акта коммуникации	“оказиональные и узуальные смыслы” — невербальные мыслительные единицы, узуально или ситуативно ассоциированные со значениями для коммуникации	“значения” — абстрактные образы коммуникативно разграниченных классов невербальных единиц, “семантемы”	“языковые знаки” — акустические образы единиц речевого потока, морфемы (языковые морфемы)	“речевые знаки” — единицы речевого потока, артикулированные морфемы (речевые морфемы), “семемы”	“материал выражения” — однородности в артикуляционно-акустическом пространстве
неязыковленные мыслительные единицы	оязыковленные мыслительные единицы	языковые единицы (“насквозь психичные”), “монемы”		речевые единицы — оязыковленные физические единицы	неязыковленные физические единицы

Позднее, характеризуя язык через категориальную триаду «материя (материал) — форма — содержание», Мельников определяет «содержание» как результат приобретения “материалом” обновленной “формы”», причем в понимании автора «...этот конечный материальный результат, это “содержание” является составным объектом, определенным целым, составленным из частей, системой, включающей в себя свои подсистемы и т. д., и каждая из частей, из систем, внутри себя также согласована» [Мельников 1989: 16]. Наиболее формальной частной реализацией принципа триадичности является выдвинутый Мельниковым принцип синтагматико-парадигматической функциональной согласованности.

В трактовке Мельникова, «категории “парадигматика” — “синтагматика” — “функция” образуют триаду в *структурных* параметрах, представляющих: 1) “**материал**” языкового типа (состав, сходства и различия элементов субстрата системы, т. е. ее *парадигматику*); 2) “**содержание**” языкового типа (сеть связей и взаимодействий внутри конечного сформированного целого, т. е. его *синтагматику*); и 3) “**форму**”, извне содействующую реализации интенции элементов в конечной целостной синтагматике связей, нахождению меры

*согласованности* между парадигматикой и синтагматикой, т. е. *функцию* языкового типа» [Мельников 1989: 20].

Как видно, к языку приложимы три пересекающиеся категориальные триады: материал — форма — содержание, субстрат — функция — субстанция, парадигматика — функция — синтагматика. Эти диалектические триады обнаруживаются и в плане означающих, и в плане означаемых [Там же: 27–29]. Связь между планами, как показал Г. П. Мельников путем детерминантного анализа ряда языков, осуществляется, в частности, благодаря согласованности свойств звуковой субстанции с выполняемыми ею функциями в плане означаемых при данной детерминанте (см., например [Мельников 1968]).

### **4.3. Языковое содержание как внутренняя форма мыслительного содержания**

Понимание языка как диалектического единства языкового содержания и языковой формы наметилось довольно поздно. Оно не могло появиться в античности, поскольку воспринимаемые синкретично «категории бытия, мышления и языка осознаются античной философией в их единстве, но очень нечетко в их противоположности и почти неизменно сливаются. Теория стремится растворить языковую закономерность в онтологической или логической закономерности, и на долю языка остается очень мало специфического помимо его внешней формы» [Троцкий 1996: 26]. Оно не могло появиться и в более поздних концепциях логического направления, когда «логич., синтаксич. и формально-морфологич. аспекты единиц речи воспринимались в их нерасчлененной целостности, предполагающей прямую обусловленность формы логической функцией» [Арутюнова 1990: 274], и соответственно формам языка приписывалось логическое содержание.

До тех пор пока в языке, а точнее — в выражаемом с его помощью содержании, не видят «ничего специфически языкового, несвойственного самим вещам» [Троцкий 1996: 12] либо мыслям о них, до тех пор пока мышление представляется единым и универсальным, а весь язык по существу сводится к его внешней форме и только с ней связываются межъязыковые различия, вопрос о соотношении формы и содержания применительно к самому языку и не ставится — как бы в отсутствие у него собственного содержания. В основном обсуждается соотношение мышления, мыслительного содержания и языка как его формы,

причем обычно отношение между мыслительным содержанием и его языковым выражением считается произвольным и словесные знаки квалифицируются как типичные символы (в соответствии с семиотической интерпретацией Ч. С. Пирса).

Чтобы выделить собственно языковое содержание, необходимо было осознать специфичность языкового отражения действительности.

Зародыши такого осознания можно обнаружить уже в античности (у Платона и стоиков) и в Средние века (у модистов). Но лишь начиная с XVIII в. в философии и лингвистике вполне утверждается мысль о влиянии языка (причем не языка вообще, а каждого отдельного языка) на восприятие внешнего мира, так что люди «привыкли постигать вещи тем способом, каким эти вещи выражены на родном языке» [Кондильяк 1980: 168]. В результате человек «живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [Гумбольдт 1984: 80], а «вещи, качества и события вообще воспринимаются так, как они называются» [Сепир 1993: 227].

При этом общее представление о соотношении языка и мира эволюционирует в соответствии с законом отрицания отрицания. Если для В. фон Гумбольдта чисто объективная сфера — совокупность познаваемого — независима от языков [Гумбольдт 1984: 319], но каждый из них, хотя и по-своему, будучи мировидением, отражает ее и потому «закономерностям природы сродни закономерность языкового строя» [Там же: 81], то, по Ф. де Соссюру, язык не имеет отношения к естественным вещам и их отношениям [Соссюр 1977: 114], он вовсе не основан на естественном положении вещей [Соссюр 1990: 94]. Наконец, Э. Сепир приходит к заключению, что сам реальный мир строится на основе языковых привычек того или иного социума, вследствие чего различные общества живут не в одном и том же мире с различными навешанными на него ярлыками, а в разных мирах [Сепир 1993: 261].

Появление в теории языка понятия собственно языкового образа (языковой картины) мира предполагает (помимо выделения человеком самого себя из окружающего мира, различения мыслящего субъекта и объекта мысли) осознание нетождественности языка и мышления и соответственно отказ от сведения содержательной стороны языка исключительно к мыслительному содержанию, одинаковому, общему для всех языков, и выделение наряду с мыслительным особого языкового содержания. Этому способствовало, с одной стороны, открытие неязыкового мышления и установление неоднородности языкового

мышления у разных народов и в разные времена, а с другой — выявление закономерностей грамматической категоризации на материале всё более расширяющегося круга языков, разграничение в языке лексического и грамматического. Вряд ли случайно, что первыми понятие различающегося от языка к языку «обозначаемого», «высказываемого» языкового содержания — «лектон» — выдвинули стоики, которые «близко подошли к понятию грамматического значения» [Перельмутер 1980б: 204].

Тем не менее долгое время идиоэтническое начало обнаруживают почти исключительно в лексике (Дж. Харрис) [Грамматические концепции... 1985: 26–27] и связывают его с избирательностью номинации в зависимости от образа жизни, обычаев, нравов и взглядов народа [Локк 1985: 340–341], от климатических условий [Вико 1994: 169] и проч., тогда как категориальное значение грамматических форм продолжают считать универсальным. Однако начиная с Э. Б. Кондильяка и И. Г. Гердера грамматике придается всё больший вес в выражении духа народа, в формировании языкового образа мира. По В. Гумбольдту, «грамматические различия языков заключаются в различии грамматических видений», и, несмотря на наличие универсального компонента логического происхождения, в целом «грамматика более родственна духовному своеобразию нации, нежели лексика» (Гумбольдт; цит. по: [Рамишвили 1984: 20–21]). Наконец, согласно Г. Штейнталю и А. А. Потебне, вся содержательная сторона языка, включая грамматику, признается сугубо идиоэтнической [Потебня 1976: 259].

Основные факторы, определяющие языковое содержание, языковой образ мира, были определены уже в XVIII–XIX вв. — в трудах Кондильяка, Гердера, Гумбольдта, Потебни. В первую очередь, это дух народа, «способ ускорения человека в действительности» — его индивидуальная направленность на чувственное и/или рациональное отражение действительности, определяющая соотношение субъективного и объективного в языковых обозначениях [Гумбольдт 1984: 171–177]. Дух народа, его характер, а значит, и дух языка кроме природных условий обитания зависят от социальных факторов — обстоятельств образа жизни и воспитания, от характера и условий трудовой деятельности [Гердер 1977: 203, 206, 344–345] и даже от формы правления [Кондильяк 1980: 260–261].

С утверждением в науке диалектического метода всё более важная роль отводится временному фактору: языковая картина мира меняется с «возрастом» языка, отражающим ступень культурного развития и степень развития сознания. Как показал Потебня, различение

относительно субъективного и относительно объективного содержания мысли, содержание самосознания, способность к отвлеченному мышлению — в частности способность представлять качества и действия независимо от субстанции, способность к выражению отношений, а также количество и качество языковых категорий — явления развивающиеся. Рост «капитала мысли» в ходе познания объективного мира обуславливает эволюцию самосознания и отношения личности к природе, что приводит к смене типов языкового мышления — от мифического к собственно поэтическому и, далее, к прозаическому. Соответственно преобразуется и языковая картина мира.

Аналогично этому в теоретическом языковедном мышлении по мере роста «капитала мысли» всё яснее осознается несовпадение области мысли и области языка, формальный характер языка в целом и языкового содержания в частности по отношению к мышлению.

Кардинальной характеристикой языкового содержания — а следовательно, и языкового мировидения — является единство объективного и субъективного, отражательных и знаковых свойств. *Именно наличие знаковых свойств позволяет противопоставить языковое содержание мыслительному как форму последнего* (см. главу 6).

#### **4.4. Основное направление эволюции представлений о формальной природе языка**

1. Философское понятие формы применительно к языку истолковывается по-разному в зависимости от того, как определяются его функции по отношению к мышлению и каким оно представляется.

В *рационалистической* интерпретации, по отношению к мышлению, уже обладающему собственной внутренней организацией, оперирующему готовыми законченными понятиями как элементами содержания, язык выступает, скорее, в качестве формы—*morphè* и служит внешнему оформлению, выражению мысли, оставаясь в основе своей пассивным началом. Эта пассивность, исключая активное влияние языка на формирование уже каким-то образом сформированной мысли, не означает, однако, ни абсолютной зависимости языка от мышления, ни обязательного и полного их тождества. Согласно воззрениям авторов Пор-Рояля, несмотря на определяющее влияние структуры логического суждения на грамматическую категоризацию, в языке действуют не только законы разума, но также эмоции, воля, капризы и прихоти говорящих. Наконец, языку свойственны законо-

мерности собственно языкового выражения, диктуемые линейным характером материальной — звуковой — стороны, которая представляет собой протяженную субстанцию.

Когда под влиянием сенсуализма наряду с мышлением, осуществляемым в языковой форме, вычленяется неопределенное, бесформенное доязыковое мышление, оно, в сущности, характеризуется в духе Платона и Аристотеля как чистая первая материя. По отношению к этому бесформенному мышлению язык выступает уже не как форма-могрһе, но как форма-эйдос, активное творящее начало, под действием которого лишь заданная в первичной мыслительной материи возможность мышления превращается в действительность, потребность в понятии претворяется в понятийное мышление. Сходным образом язык как форма воздействует на столь же неопределенную и изначально бесформенную звуковую материю, в результате возможность высказывания осуществляется в действительной речи.

Итак, вычленение — благодаря форме-эйдосу — оформленной мыслительной и звуковой материи, противопоставление той и другой первичной — бесформенной, не-окачественной — материи, с одной стороны, и форме, с другой стороны, позволяет, во-первых, разграничить разные типы мышления (доязыковое и языковое), а во-вторых, четко различить язык и речь.

Однако первоначально в лингвистической теории, в частности в трудах В. фон Гумбольдта, чтобы выявить собственно языковое, отделить общее для всех языков от индивидуального, установить природу межъязыковых различий, за пределы языка выводится лишь неоформленная материя. Оформленная материя и сама форма и соответственно речь и язык мыслятся в единстве. Полагая, что язык как таковой имеет дело исключительно с уже получившей оформление материальностью, Гумбольдт подчеркивает в нем синтез, единство, целостность оформленной материи и собственно формы и, вполне отчетливо разграничивая язык и речь, не разводит их так резко, как Ф. де Соссюр и его последователи.

В постгумбольдтовскую эпоху — не без влияния самого Гумбольдта — всё более осознается психическая сущность языка, причем осознание мыслеобразующей функции языковой формы, языкового моделирования переплетается с осознанием места бессознательного в человеческой психике и роли языка в переходе от бессознательности к сознанию. Внимание лингвистов всё больше акцентируется не столько на единстве идеального и материального в языке, сколько



на различии между ними в целях выявления относительно неизменно-го и устойчивого, постоянного, иначе говоря, инвариантного аспекта языковой системы. В соответствии с этим собственно форма противопоставляется далее не только бесформенной материи, нерасчлененному материалу, но и сформированному материалу/субстанции, причем сама форма понимается неоднозначно. У А. А. Потебни, Э. Сепира, Г. Гийома, как ранее у В. фон Гумбольдта, форма сохраняет свою отражательную сущность, тогда как у Ф. де Соссюра и особенно последовательно у Л. Ельмслева она сводится исключительно к совокупности отношений, связей, зависимостей. Тем не менее и те, и другие определяют язык как форму.

2. Настойчивое сведение языка к форме в самых разных лингвистических концепциях тесно связано с поисками в нем собственно языкового, с определением сущности языка.

Начиная с Демокрита, к сущностным свойствам языка относят членораздельность и символичность (знаковость). Именно эти свойства В. фон Гумбольдт считает самобытнейшим существом языка, а А. А. Потебня относит к общечеловеческим. Однако оба эти свойства могут быть сведены к понятию формы, ибо в их основе, как и в основе понятия формы, лежат отношения. Язык — форма и ввиду своей знаковой природы, и как область членораздельности. Знак уже в силу своей заместительной функции и вследствие своей зависимости от других знаков в системе немислим вне отношений как к внеязыковой действительности, так и в самом языке. Членение звуковой и мыслительной материи осуществляется только в их взаимосвязи. Членение языкового целого на элементы производно от связывающих их отношений: иерархических, парадигматических, синтагматических, эпидигматических.

Формообразующая функция отношений не ограничивается тем, что благодаря им осуществляется вычленение элементов языка. Совокупность элементов (даже если это уже вполне оформленные, членораздельные элементы) еще не есть форма, ибо форма должна обладать, кроме того, такими свойствами, как единство, целостность, и, следовательно, в языковом мышлении должно существовать «некое преобладающее качество», обусловленное духом народа, способом его укоренения в действительности — нацеленностью его на воображение или анализ, на чувственное созерцание, внутреннее восприятие или отвлеченное мышление.

Это преобладающее качество языка (его детерминанта), а значит, и духовное своеобразие народа, как показал В. фон Гумбольдт, полнее



всего раскрывается в грамматике, и именно потому, что она состоит исключительно из интеллектуальных отношений. Ведущая роль грамматических связей, категорий и моделей в структурировании языкового целого объясняет, почему понятие языка как формы и представление о собственно языковом связывается прежде всего с грамматикой (или «морфологией» в широком смысле слова, как у И. А. Бодуэна де Куртенэ) и почему формализованность отождествляется у Э. Сепира с грамматичностью.

3. В соответствии с двумя видами материи, соотнесенными в языке как форме в целом и в его грамматическом строе в частности, обычно вслед за В. фон Гумбольдтом разграничиваются две стороны языка — внешняя, собственно формальная (форма выражения) и как бы встраивающаяся в нее внутренняя, содержательная (форма содержания).

Далее начинаются расхождения, иногда весьма существенные, относительно состава и строения каждой из сторон, а также характера связи между ними.

Внешняя, собственно формальная, сторона либо трактуется очень широко, как у Гумбольдта, и включает в себя наряду со звуковой системой весь «внешний» строй, все строевые компоненты (словообразование, словоизменение, синтаксис), либо сводится исключительно к звучанию. При этом сама звуковая сторона то мыслится как оформленная материя, то редуцируется до одних звуковых различий (значимостей), исключаяющих звуковую субстанцию.

Сходным образом и содержательная сторона толкуется по-разному в зависимости от того, признается или нет ее отражательная сущность, а тем самым и основополагающее значение для языка противостояния вселенной и человека, внешнего и внутреннего мира.

В первом случае принимается, что языковое содержание всё же сохраняет отражательную природу мыслительного содержания и представляет собой образ образа внешнего мира. В результате означаемое языкового знака имеет иерархическую структуру, компоненты которой связаны отношениями мотивации, отношениями последовательного намекания — от семантически наиболее бедного носителя языкового содержания к полнокровному мыслительному содержанию.

Во втором случае языковое содержание оказывается чистой концептуальной значимостью.

Но так или иначе в лингвистике постепенно утверждается мысль о нетождественности языкового и мыслительного содержания, о формальном характере языкового содержания по отношению к мыслительному.

Весьма показательно в этой связи само обозначение в исследуемых концепциях базовых типов языковых значений. (В современном терминологическом употреблении, это лексические и грамматические значения.) Поскольку понятие содержания включает в себя материю и форму как снятые моменты, В. фон Гумбольдт различает в языковом содержании два основных типа значений — значения материальные и значения формальные. Позднее, когда форма отождествляется с совокупностью отношений, т. е. со структурой, Э. Сепир противопоставляет материальным значениям реляционные, а Г. Гийом разграничивает понятийные и структурные идеи в плане содержания и материальные и формальные части слов в плане выражения.

4. Несмотря на существенные различия в понимании формальной природы языка, даже в самых полярных концепциях единодушно признается нераздельная связь и, более того, взаимозависимость между обеими сторонами языка как формы. В частности, и В. фон Гумбольдт, и Ф. де Соссюр солидарны в том, что только благодаря указанной взаимозависимости в синтетической (синтезирующей) деятельности на основе согласованности между мыслью и звуком становится возможным членение в обеих сферах и обоюдное разграничение единиц.

Определение характера связи между двумя формами языка существенно зависит от того, принимается ли во внимание их материальная основа. Полное изъятие оформленной материи / субстанции из языковой формы заставляет признать эту связь произвольной, ибо сведение каждой из форм к одним значениям с полным исключением оформленной материи / субстанции снимает вопрос о примате одной формы над другой, и тогда содержание и выражение оказываются равными во всех отношениях сущностями, которые определяются только противопоставительно и соотносительно, так что становится безразличным, какую форму называть содержанием, а какую — выражением.

Только с включением в форму оформленной материи, когда язык рассматривается не просто как форма, но форма *мысли*, активно воздействующая на саму мысль, язык оказывается таким единством двух форм, в котором возможна их самоидентификация, их относительная автономность, но при этом ведущую роль играет мыслительная, интеллектуальная форма, выступающая в качестве содержания по отношению к внешней, звуковой форме.

Лишь при таком подходе не только язык, но и речь предстает как функционально обусловленное единство содержания и формы.

Единство языкового содержания и языковой формы, или, по Гумбольдту, внутренней и внешней формы (а следовательно, и формы

в целом), обусловлено генетически: они образуются лишь во взаимодействии мыслительной и звуковой материи. Поэтому форма как структурированное целое не может не включать в себя базовое отношение между обеими своими сторонами, и по той же причине оно не может быть произвольным. Категориальный характер мышления и самого языка, ярче всего проявляющийся в грамматической категоризации — в силу ее большей обобщенности, с необходимостью предполагает категориальный характер связи между планом содержания и планом выражения, равно как и категориальную мотивированность означающих и их связи с означаемыми в иерархической структуре языковых знаков (см. разделы 10.3 и 10.4).

## Глава 5

### ЯЗЫК В ОТНОШЕНИИ К НАДСИСТЕМАМ — ФИЗИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, ПСИХИЧЕСКОЙ

#### 5.1. Внешняя детерминанта языка

Общесистемологическое понятие *детерминанты* как главной характеристики, главного параметра системы было введено Г. П. Мельниковым применительно к языку. Эффективное функционирование языка требует согласованных отношений между частью и целым, системой и ее элементами, надсистемой и ее системами, адаптации их друг к другу. Согласно Г. П. Мельникову, «...формирующееся в процессе адаптации специфическое свойство системы как целого становится ее *внутренней детерминантой, интенциональный фокус* в надсистеме, задающей направление адаптации системы, — *внешней ее детерминантой*» [Мельников 1989: 13]. Другими словами, внешняя детерминанта языка — это «те внеязыковые факторы, которые определяют функцию и, следовательно, специфику внутренней детерминанты» [Там же: 12], так что в идеале внутренняя детерминанта «логически *выводится* как *неизбежность* из внеязыковых факторов» [Мельников 2003: 132].

Как всегда в развитии научной мысли, отсутствие того или иного термина для обозначения какого-либо явления не означает отсутствия представлений о самом явлении. Это относится и к понятию детерминанты как некоего определяющего язык фактора.

В эволюции научных представлений о том, какие внешние факторы и, значит, какие именно надсистемы — физическая, социальная или психическая, определяют строение и функционирование языка, есть своя логика, которая становится вполне очевидной, если принять в качестве исходных следующие положения:

- «Язык — не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей» [Гумбольдт 1984: 51]. «Вечный посредник между духом и природой» [Там же: 169], «... язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Там же: 304].

- В триединстве мира, человека и его языка базовыми являются отношения всех и каждого к миру (универсуму). «Именно благодаря этим отношениям, основе всех других, включая непосредственные социальные отношения, люди могут общаться друг с другом. Они не могут выйти за их пределы.

- В истоках языка человека... лежит не маленькое противостояние *Человек / Человек*, но великое противостояние *Универсум / Человек*» [Гийом 1992: 161], из которого возникает и от которого не отделяется противостояние *Человек / Человек* [Там же: 162].

- «Эволюция — возрастание сознания» [Тейяр де Шарден 2002: 356] в соответствии с постоянно меняющейся и всё возрастающей мерой самостоятельности человека по отношению к вселенной, в которой он существует [Гийом 1992: 159–160].

- «Эволюция общей теории языка, рассматриваемого в координатах мира и человека, бытия и мышления, отражает осознание растущей автономности человека с его внутренним миром и развивающимся самосознанием по отношению к познаваемой вселенной, с одной стороны, и последующее осознание автономности языка по отношению к мышлению — с другой» [Зубкова 2002/2003: 14].

Обусловливающая внутреннюю детерминанту языка внешняя детерминанта характеризует язык в его отношении к надсистемам, и в конечном счете именно запросы надсистем определяют функции и внутреннее устройство языка как входящего в нее системного объекта. Являясь посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека, язык должен удовлетворять требованиям обоих этих миров, выступающих по отношению к языку в качестве надсистем. Ведущим началом в противоположении мира (вселенной) человеку является мир, выступающий для человека над-средой, «в глубине которой он утверждает свою силу и относительно растущую автономию» [Гийом 1992: 155]. И вполне закономерно, что в соответствии с эволюцией сознания и самосознания внутреннее устройство языка первоначально объясняется миром внешних явлений и под ним понимается собственно природный физический мир, мир вещей в отвлечении от социального мира. Затем внешнюю детерминанту усматривают во внутреннем мире человека, в его разуме.

К «промежуточному» социальному миру (и в этой связи к «духу народа») по существу обратятся лишь тогда, когда с развитием личностного начала в человеке будет осознана индивидуальность общества, когда станет ясно, что «...нация также является индивидом, а отдельный человек — индивидом индивида» [Гумбольдт 1985: 283].

Итак, в качестве внешней детерминанты естественного человеческого языка служат три надсистемы:

- 1) физический мир внешних явлений (Природа / Универсум / Вселенная);
- 2) социальный мир (языковые коллективы, принадлежащие к разным общественным группам);
- 3) внутренний мир человека (психика, внеязыковое сознание).

Ориентация на противоположение Мира Человеку со сначала неосознанным, а затем вполне осознанным принципиальным исключением социального фактора из сферы лингвистики (как в концепции А. Шлейхера) обуславливает универсализм в трактовке и внешнего и внутреннего мира человека, и строевой основы языка, которая изначально усматривается в грамматической категоризации.

**Модисты**, обосновывая универсальность грамматической категоризации, по существу уже пользуются детерминантным подходом. Внешней детерминантой языка для них является реальная действительность, мир вещей, а именно — их свойства, или модусы существования. Внутренней детерминантой выступают основные общие модусы обозначения, из которых последовательно выводятся все общие и частные грамматические категории.

**Картезианцы** внешнюю детерминанту языкового строя ищут во внутреннем мире человека и грамматическую категоризацию объясняют действиями ума, структурой суждения как мыслительной единицы.

В последующем развитии лингвистической мысли тенденции универсализма в характеристике языка сохраняют свою силу в тех аспектирующих концепциях XIX–XX вв., которые рассматривают язык *в отвлечении от человеческого индивида и от духовного начала в жизни народа, в создании и употреблении языка.*

Таковы, в частности, концепции А. Шлейхера, Ф. де Соссюра и Н. Я. Марра.

**А. Шлейхер** видит в языке естественный природный организм, подчиненный данным от природы неизменным законам образования и развития [Schleicher 1869: 120]. Поскольку для Шлейхера природное значит в первую очередь закономерное, исключаящее волю

и произвол индивида, постольку язык в функциональном отношении является выражением мысли, но не чувства и воли [Schleicher 1869: 5]. Употребление языка, выявляющее свободную волю индивида, выражение в языке эмоционально-волевой стороны сознания, социальная природа языка, общественно-исторические аспекты языка как отражения духовной жизни народа и его истории — всё это выводится за пределы языкознания, в филологию. Язык как средство общения также выпадает из области языкознания, а потому коммуникативная функция языка и проблема понимания в речевом общении не обсуждаются.

В основе языка, считает Шлейхер, лежат материальные отношения [Шлейхер 1868: 4]. Это, во-первых, условия жизни людей, среда их обитания, а во-вторых, обусловленное ею материальное строение человеческого тела [Там же: 10], в частности анатомическое сложение мозга и звуковых органов [Там же: 7].

Поскольку всё живое: флора, фауна и сам человек — зависит от среды обитания, зависит от нее и образование языков. Тем самым географическая среда обитания, пространственный фактор, выступает внешней детерминантой, которая объясняет индивидуальные сходства и различия между языками, проистекающие из мельчайших различий в качестве мозга и звуковых органов [Там же: 4].

Чтобы объяснить типологические различия между языками, А. Шлейхер, в сущности, обращается к тому закону внутренней самоизменяемости природных организмов (включая человека и его язык), который ранее, в 1849 г., был сформулирован И. И. Срезневским. По словам русского ученого, «главный закон в жизни и человека и языка — закон самоизменяемости: не от внешних влияний растет, мужает и стареет человек» [Срезневский 1959: 101]. Поэтому «мало исследовать внешние влияния на известный язык, чтобы понять его изменения: должно рассматривать и внутреннее влияние собственного его закона изменяемости. Язык изменялся бы, хотя бы и совершенно не было на него никаких внешних влияний» [Там же: 100]. «...Язык изменяется, живя, точно так же, как зерно, живя, изменяется в дуб» [Там же: 96]. «Дуб по внутренней причине делается дубом, и именно этим дубом, — то же должно сказать и о языке» [Там же: 100].

В понимании А. Шлейхера, «...жизнь языка не отличается существенно от жизни других живых организмов — растений и животных. Как и эти последние, он имеет период роста от простейших структур к более сложным формам и период старения, в который языки всё

более и более отдаляются от достигнутой наивысшей степени развития и их формы терпят ущерб» [Schleicher 1869: 37] (цит. по: [Звегинцев 1964: 114]). «Все высшие формы языка возникли из более простых: агглютинирующие из изолирующих, флективные из агглютинирующих» [Шлейхер 1964: 108]. То обстоятельство, что при одинаковой первоначальной форме не все языки прошли все три стадии развития — от изоляции к агглютинации и от нее к флексии, Шлейхер объясняет тем, что, как в органической жизни вообще, «с самого начала в языках существуют *различные потенции развития*: одни языки обладают большей способностью к более высокому развитию, чем другие» [Schleicher 1869: 41] (цит. по: [Звегинцев 1964: 115; выделено мною. — Л. 3.]). Поэтому одни языки остановились в своем развитии на первой ступени, другие (их большинство) — на второй, и лишь немногие, а именно индогерманские и семитские языки, достигли третьей, высшей, ступени [Schleicher 1869: 46]. Наконец, распад языков в исторический период также находится вне свободного волеизъявления людей и имеет свои причины в *природной* сущности человека. Поэтому он распространяется на все языки [Schleicher 1850: 19]. Итак, преобразующие весь язык процессы «по необходимости происходят изнутри» [Schleicher 1869: 36]. «Как развитие языков, так и их распад протекают по определенным законам» [Ibid.: 47], и эти законы универсальны, ибо «сущность человека в ее главных моментах с необходимостью является повсюду одной и той же» [Schleicher 1848: 3].

Концепция А. Шлейхера критиковалась с разных сторон и во многих отношениях. В частности, по словам Ф. де Соссюра, «давно признано, что Шлейхер насиловал действительность, рассматривая язык как нечто органическое, в самом себе заключающее свои законы развития» [Соссюр 1977: 269]. Выдвижение А. Шлейхером пространственного фактора в качестве внешней детерминанты языков Ф. де Соссюр также отверг (см. ниже).

Стремясь исключить из понятия *язык* всё чуждое ему как совокупности отношений и системе чистых значимостей, **Ф. де Соссюр** отделяет от внутренней лингвистики внешнюю, предметом которой являются условия существования языка. Эти условия не могут, однако, выступать в качестве внешней детерминанты языка, ибо в соответствии с детерминантным положением учения Соссюра «естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике [когда дело идет о значимостях]» [Там же: 114]. Следовательно, «нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался



тот или иной язык. <...> Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку» [Соссюр 1977: 61]. Поэтому, по мнению Соссюра, «...нет языка, которому можно было бы приписать возраст» [Там же: 252]. Поэтому «язык дает сравнительно мало точных и достоверных сведений о нравах и институтах народа, который пользуется этим языком», о психологическом складе народа, о типе мышления данной социальной группы [Там же: 264]. На самом деле, считает Соссюр, «...язык непосредственно не подвластен мышлению говорящих», вследствие чего «...ни одна языковая семья не принадлежит раз и навсегда к определенному лингвистическому типу» [Там же: 266].

Языковая реальность представляется Соссюром как триединство индивидуального аспекта, социальной реальности и категории времени. Однако взятый в индивидуальном аспекте вне социальной реальности язык представляется «чем-то нереальным». Поэтому в полном его определении и в соответствующих схемах, связывающих Язык и Говорящий коллектив, а также Язык, Говорящий коллектив и Время, индивидуальный аспект отсутствует [Там же: 109–111]. Реальный язык есть «нечто социальное по существу и независимое от индивида», «находящееся вне воли тех, кто им обладает» [Там же: 57]. «...Чтобы был язык, нужен *говорящий коллектив*. Вопреки видимости, язык никогда не существует вне общества, ибо язык — это семиологическое явление» [Там же: 110]. Изменению языка по воле заинтересованных лиц препятствует «действие времени, сочетающееся с действием социальных сил; вне категории времени языковая реальность неполна» [Там же].

Итак, чтобы приблизиться к языковой реальности, необходимо исключить волю говорящих индивидов, а действие социальных сил следует рассматривать в сочетании с действием времени, и наоборот. Социальная природа и категория времени в «языковой реальности» являются *внутренними* свойствами языка как системы чистых значимостей.

Во-первых, потому, что такую «языковую систему может создать только социальная жизнь. Для установления значимостей необходим коллектив; существование их оправдывает только обычай и общее согласие; отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной значимости» [Там же: 146].

Во-вторых, «...для говорящего не существует последовательности этих фактов (значимостей. — Л. З.) во времени: ему непосредственно дано только их состояние» [Там же: 114], т. е. отношения

знаков в системе на оси одновременности, в синхронии. Для сознания говорящих лишь синхронический аспект — «подлинная и единственная реальность» [Соссюр 1977: 123]. «Язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической обусловленности» [Там же: 120], причем «так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием» [Там же: 132].

Чтобы оценить роль диахронических факторов, необходимо сопоставить действие времени с влиянием пространства, ибо человек и его язык существуют не только во времени, но и в пространстве. Более того, «тогда как расхождения во времени часто ускользают от наблюдателя, расхождения в пространстве бросаются в глаза всем и каждому» [Там же: 226]. Не случайно именно «географическое разнообразие языков — вот что констатировала лингвистика прежде всего» (уже в античности) [Там же: 227]. Тем не менее, как показывает Соссюр, «само по себе пространство не может оказывать никакого влияния на язык» [Там же: 234]: «... в действительности географический фактор не затрагивает внутреннего организма самого языка» [Там же: 60]. И хотя «обычно мы упускаем из виду фактор *времени*, так как он менее конкретен, нежели фактор пространства, но в действительности языковая дифференциация обусловлена именно временем» [Там же: 234]. «Основная причина разнообразия языков — время» [Там же: 233]. «... *Само изменение*... — ...неустойчивость языка — определяется только действием времени. Итак, географическое разнообразие представляет собой только вторичный аспект общего явления. Единство родственных языков обнаруживается только во времени» [Там же: 234–235].

Если Ф. де Соссюр при определении языка рассматривает говорящий коллектив и время (и в синхроническом, и в диахроническом аспекте) в общем плане как некие универсальные сущности, не вдаваясь в их специфику, то **Н. Я. Марр** в характеристике тех же явлений исходит из социального творчества в процессе *трудовой* деятельности, обуславливающего также единство глоттогенеза в мировом масштабе [Марр 1936: 135]. Возникновение и развитие культуры и языка, по мысли Марра, основывается на творческой, созидательной роли человеческого общества. «... Не “бог” и не “природа”, а общественность сотворила всю и материальную и так называемую духовную культуру». Человеческий коллектив как общественно-производительная сила и действительно творящий фактор создает и самого человека [Марр 1933: 231], его облик, психику, речь [Там же: 90].

Осознание человеком окружающей действительности (и, по-видимому, самого себя. — Л. З.) создается и нормируется, согласно

Марру, в процессе коллективной трудовой деятельности [Марр 1936: 271] благодаря смене орудий и способов производства. До появления искусственных орудий труда — и, значит, до перехода от ручной речи к звуковой — осознание действительности носит ограниченный характер. У доисторического человека «не было способности из общего восприятия предмета, диффузного, выделить что-либо отдельно, осознать отдельные элементы. Как жил он лишь коллективной жизнью, так и мыслил коллективно, не имея в голове представления об индивидуальном, как не было его в общественности» [Марр 1934: 241].

Процесс человечения неразрывно связан с трудовой деятельностью и, что не менее важно, с речевым взаимодействием [Марр 1937: 90]. Защищая хозяйственно-общественный подход к глоттогенезу в противовес мифологическому и естественно-историческому, Марр утверждает: «Корни человеческой речи не на небесах и не в преисподней, но и не в окружающей природе, а в самом человеке, однако не в индивидуальной физической его природе, даже не в глотке, как и не в крови его, не в индивидуальном его бытии, а в коллективе, хозяйственном сосредоточении человеческих масс, в труде над созданием общей материальной базы» [Марр 1934: 141].

Поскольку «язык во всём своем составе есть создание человеческого коллектива, отображение не только его мышления, но и его общественного строя и хозяйства — отображение в технике и строе речи, равно и в ее семантике» [Марр 1936: 70], постольку его следует изучать «комплексно в связи с историей материальной культуры и форм социальной структуры» [Марр 1935: 466]. В определении Марра, задача языкознания состоит в изучении языка «как категории социальных явлений, отражающей в своем содержании и в своем оформлении строй, смысл и устремление хозяйственно-общественной жизни не индивидуума, а человеческого коллектива, не в изоляции отдельных групп, а в целом, в их совокупности, с увязкой различных систем (казавшихся независимыми друг от друга семьями языков) друг с другом как носительниц неразлучно формальной и идеологической типологии различных этапов развития хозяйственно-общественной жизни человечества» [Марр 1936: 129].

Марр отклоняет ту точку зрения, согласно которой «тот или иной морфологический тип может трактоваться как продукт любого времени, точно, например, аморфность, агглютинативность и флективность — друг от друга независимо возникшие категории, проводящие непроходимую грань между так наз. семьями языков и присущие

каждая исключительно той или иной одной семье, или точно они в какой-либо мере случайные явления, которым можно отвести любое место, а не лишь то, которое отводится им как неразрывно связанным друг с другом звеньям в цепи культурного развития человечества» [Марр 1936: 108]. Подобно Шлейхеру, Марр относит аморфную систему к древнейшей типологии, агглютинативную — к последующей, флективную — к третьей [Там же: 48]. Но в отличие от Шлейхера Марр видит в каждой из них отражение особого социального строя, полагая, что «каждое типологическое состояние генетически связано с соответственной ступенью развития общественных форм и ею порождено» [Там же: 49], но не непосредственно, а при посредстве мышления [Марр 1934: 70].

Отход от принципов универсализма в анализе всех трех языковых надсистем — физической, социальной, психической — набирает силу по мере развития в теории познания наряду с рационализмом эмпирико-сенсуалистической традиции.

В мире внешних явлений среди *природных* факторов, обуславливающих различия между языками, в первую очередь называют *климат* (Дж. Вико, Э. Б. де Кондильяк, французские энциклопедисты), а также *географическое положение* (И. Г. Гердер) и — правда, много позднее — *состояние атмосферы* в той или иной местности, влияющее на языковое общение как в слуховой, так и в произносительной области (И. А. Бодуэн де Куртенэ), но, что, очевидно, особенно важно, обращают внимание и на *неопределенную множественность свойств* именуемых объектов (Дж. Локк).

Среди *социальных* факторов, помимо необходимости взаимного общения для создания знаков (Кондильяк), указываются: *форма политического правления* (Вико, Кондильяк, французские энциклопедисты), *«революции, в корне меняющие политическое лицо целых народов»* (энциклопедисты), *ограниченность или интенсивность общения* между народами, в том числе в зависимости от местоположения (Кондильяк, Гердер), *своеобразии образа жизни, обычаев, нравов и взглядов народа* (Локк, Гердер), *условия трудовой деятельности и род занятий* (Гердер), наконец, *ступень культурного развития* (Гердер).

Последнее определяется действием *психического* фактора. Двоякая природа человека как чувствующего и сознающего (мыслящего) существа влечет за собой, несмотря на единые механизмы мыслительной деятельности, возможные социальные и индивидуальные различия в количественном соотношении отдельных душевных

(мыслительных) способностей — чувств и сознания, воображения и рассудка, образного и абстрактного мышления. Специфика чувственного мирозерцания и склада мышления в их соотношении друг с другом обуславливает своеобразие духа, характера каждого народа и его языка.

В целом воздействующие на язык надсистемные факторы образуют определенную иерархию. В представлении Кондильяка она выглядит так: климат → форма правления → характер народа → характер языка. Таким образом выстраивается следующая иерархия надсистем: физическая → социальная → психическая. В психической надсистеме чувственно-эмоциональная составляющая трактуется как первичная сравнительно с механизмами мышления.

За разным соотношением психических составляющих в духе народа стоит «влияние поступательного движения времен на образ мысли людей» [Гердер 1977: 447]. В результате этого влияния, согласно Гердеру, обобщившему сходные идеи Эпикура, Ф. Бэкона, Вико, Кондильяка, складываются два основных типа-возраста языков: язык поэзии (язык чувств, страстей) у первобытных народов и язык прозы (язык рассудка) у цивилизованных народов.

Познавательная активность субъектов, по-разному воспринимающих одни и те же вещи сообразно своим склонностям, эмоциям, воспитанию, интересам, приобретенному опыту и т. д., ведет к тому, что у каждого из индивидов, говорящих на одном языке, в тенденции вырабатывается свой, особый язык (Локк, Кондильяк).

Дальнейшее свое развитие проблема *духовной и языковой индивидуальности разных народов и отдельных лиц* получает в творчестве **В. фон Гумбольдта**, для которого она является центральной.

По Гумбольдту, ведущим началом в триединстве мира, человека и его языка является человек. Изучение языка (и всеобщего человеческого Языка, и его проявлений в языках различных наций) «с точки зрения разносторонних связей человека» [Гумбольдт 1985: 347] служит «цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» [Там же: 383], является «средством познания человека на разных ступенях его культурного развития» [Там же: 349], позволяет «уяснить, как реально осуществляется языковая способность человека... в разные эпохи и в разных концах земли», и таким образом добиться успехов «в изучении развития и пределов человеческого духа» [Там же: 363].

«Подобно самому человеку, каждый язык есть постепенно развертывающаяся во времени бесконечность» [Гумбольдт 1984: 171],

и «повсюду в языках действие времени сочетается с проявлением своеобразия народа» [Гумбольдт 1984: 327], его характера.

Среди отличительных черт характера, замечает Гумбольдт, своеобразии как отдельных индивидуумов, так и целых наций обычно связывается прежде всего с различием «в предметах занятий людей, в продуктах их труда, в способе удовлетворения их потребностей и в образе их жизни» [Гумбольдт 1985: 335]. Но не «хозяйственное и общественное состояние наций» [Там же: 384], а отражающиеся в языках «собственно внутренние различия» [Там же: 336], духовные особенности наций, качество их деятельной силы обуславливают их характер.

Видя «в духовной силе народа реальный определяющий принцип и подлинную определяющую основу для различий языков», Гумбольдт утверждает: «...строение языков человеческого рода различно потому, что различными являются духовные особенности наций» [Гумбольдт 1984: 68].

Исходным началом, детерминирующим своеобразии языка, является «исконный уклад национальной самобытности» [Там же: 169], ее характер, т. е. «вся совокупность внутреннего опыта, чувственности и душевного настроения, пронизывающая своими лучами внешний мир и связанная с ним через внешний опыт и ощущение» [Там же: 55]. У разных народов эта совокупная духовная сила структурируется по-разному в соответствии с *глубиной и способом укоренения в действительности* [Там же: 172], а он определяется тем, какой форме отражения и познания действительности отдается предпочтение — чувственной или рациональной. В зависимости от индивидуальной направленности сознания народа, «либо погруженного в глубины духа, либо ориентирующегося на внешнюю действительность» [Там же: 173], основным источником при образовании языка могут быть разные формы отражения действительности — «чувственное мировосприятие или же глубины мысли, в которых это мировосприятие уже подверглось духовной обработке» [Гумбольдт 1985: 397]. «И то, что может из внешнего мира и из глубин духа перейти в грамматическое строение языка, может там и закрепиться, приспособиться и развиваться» [Там же]. И хотя каждый язык есть «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» [Гумбольдт 1984: 63] одновременно, но различие в духовном складе народа проявляется в языке, в его внутренней форме «главным образом в виде перевеса внешнего влияния над внутренней самодеятельностью или наоборот» [Там же: 67]. Перевес объективного или субъективного обнаруживается

и в лексической семантике, и в грамматической категоризации и зависит от предпочтительно выполняемой языком функции. В соответствии с душевной настроенностью «он (язык. — Л. З.) складывается по-разному у народов, охотно встающих на уединенный путь сосредоточенного раздумья, и у наций, которым посредничество языка нужно главным образом для достижения взаимопонимания в их внешней деятельности. Первые совершенно по-особому воспримут природу символа, а у вторых целые сферы языковой области останутся невозделанными» [Гумбольдт 1984: 61].

Сходным образом объясняется самобытность языков отдельных лиц: «...ведь каждая личность несет в себе всю человеческую природу, только избравшую какой-то частный путь развития» [Там же: 64]. «Способность служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Там же: 165] приобретает языком потому, что «...язык — это не просто средство взаимопонимания, но слепок с мировоззрения и духа говорящего; общество — это необходимая среда для его существования, но отнюдь не единственная цель, к которой он стремится. Конечная цель его всё же — индивидуум, в той мере, в какой индивидуум может быть отделен от человечества» [Гумбольдт 1985: 397]. Указывая на «связь индивида с увеличивающим его силу и инициативу целым» как на «слишком важный момент в духовном хозяйстве человеческого рода» [Гумбольдт 1984: 64], Гумбольдт подчеркивает генетическое внутреннее *единство социального* (национального) и *индивидуального*: будучи «творениями наций», «...языки остаются, однако, созданиями индивидов, поскольку могут быть порождены каждым отдельным человеком, причем только тогда, когда каждый полагается на понимание всех, а все оправдывают его ожидания» [Там же: 66]. Вследствие этого единства «...деятельность отдельных личностей, на какую бы ступень они ни были поставлены своим гением, оставляет по себе непреходящий след только в той мере, в какой они воодушевлены духом своего народа и в свою очередь способны придать жизни своего народа новый размах» [Там же: 64].

Детерминантой лингвистической концепции **А. А. Потебни** и его знаковой теории является признание за языком познавательной функции в качестве наиважнейшей. По определению Потебни, «язык есть средство познания» [Потебня 1981: 133], «известная система приемов познания» [Потебня 1976: 259]. Опосредуя связь человека с миром, «язык постоянно остается посредником между познанным и вновь познаваемым. Как вещественные значения, так и формы должны



быть рассматриваемы как средства и вместе акты познания» [Потебня 1958: 59]. Сама форма существования языка есть деятельность, направленная к познанию человеком мира и самого себя, деятельность, слагающая и постоянно развивающая мирозозерцание и самосознание человека и тем самым меняющая отношение личности к природе [Потебня 1981: 113; 1976: 171].

В силу неисчерпаемости мира для познания [Потебня 1958: 59] язык представляет собой «изменчивый орган мысли» [Там же: 83]. Языки и их разновидности вплоть до личного языка (языка особи) изменяются по месту и времени [Потебня 1968: 8]. Поскольку же «язык возможен только в обществе», его развитие зависит от интенсивности общения и характера общества: «как в одушевленном разговоре личная речь течет свободнее и приобретает достоинства, незаметные при уединенной мысли, так усовершенствование языка народа находится в прямом отношении со степенью живости обмена мысли в обществе» [Потебня 1976: 303 и далее]. Однако *главным, детерминирующим фактором, движущей силой в функционировании языка и его развитии являются потребности непрерывно деятельной мысли* [Потебня 1958: 57, 64; 1976: 399; 1977: 165]. Соответственно и сами «...языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них, и всем своим влиянием на последующее развитие народов» [Потебня 1958: 69]. Индивидуальность каждого языка не исключает его связи с другими языками в некой единой системе: «начала, развиваемые жизнью отдельных языков и народов, различны и незаменимы одно другим, но указывают на другие и требуют со стороны их дополнения» [Потебня 1976: 72].

В лингвистической концепции **И. А. Бодуэна де Куртенэ** реальным объектом выступает «человек как носитель языкового мышления» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 182], рассматриваемый в единстве и взаимодействии всех трех «миров» — вселенной, органического мира и мира психо-социального [Там же, II: 191]. Человеческий индивид как член языкового коллектива — это всегда «общественный индивид». «Между языковыми индивидами и языковыми группами имеется непрерывность и смежность (соседство) в двух направлениях: 1) в пространстве, как смежность пространственная, географическая, территориальная, связанная с языковым общением и взаимным влиянием; 2) во времени, как непрерывность и последовательность поколений, связанная с преданием (с традицией) и с влиянием предков на потомков и даже, наоборот, потомков на существующих еще предков» [Там же, II: 76]. Соответственно, разнообразие языков обуславливают три фактора:



социальный (социологический), пространственный (географический) и временной (хронологический) [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 91].

Определяя язык как психо-социальное, общественное явление, Бодуэн подчеркивает «важность считаться с требованиями географии и хронологии по отношению к языку» [Там же, II: 51], поскольку существующий в пространстве и во времени внешний мир — не только «поставщик» внеязыковых представлений, составляющих основу «языкового знания», но и необходимое условие обобществления и связующее звено между членами данного языкового сообщества. Поэтому различия между языками в собственно языковой морфологической (= грамматической) стороне, «являющейся основной характеризующей чертой человеческого языка» [Там же, II: 163], также следует рассматривать в пространстве и во времени, т. е., «с одной стороны, определять морфологические различия между сосуществующими языковыми мышлениями (сравнительная характеристика на топографической или географической подкладке), с другой же стороны, следить за постепенными переходами одних морфологических типов в другие (историческая эволюция в области морфологии языкового мышления)» [Там же, II: 182]. Эта внутренняя история языка, согласно убеждениям Бодуэна, не может быть оторвана от внешней — географически-этнологической. «Внешняя и внутренняя история языка... влияют взаимно друг на друга. Влияние внешней на внутреннюю кажется сильнее, чем наоборот»; от нее «зависит ускорение или замедление и своеобразие внутреннего развития языка» [Там же, I: 69].

Именно благодаря такому подходу систематика языков в учении И. А. Бодуэна де Куртенэ обретает свою наиболее полную форму, что отличает его синтезирующую концепцию от аспектирующих концепций А. Шлейхера и Ф. де Соссюра.

В синтезирующих концепциях XX в., разработанных **Г. Гийомом** и **Г. П. Мельниковым**, соотношение физической и социальной надсистем не вполне совпадает. Г. Гийом ведущую роль отводит физическому универсуму, тогда как Г. П. Мельников концентрирует свое внимание на значимости социальных факторов. И сам человек, и язык с его функциями понимаются в этих концепциях по-разному. Г. Гийом, различая «собственно человеческое» и социальное, природу собственно человеческого усматривает прежде всего в способности думать, и потому сущность, функциональное назначение и структуру языка Г. Гийом связывает в первую очередь с его отношением к мышлению, с потребностями самопознания человека в его противостоянии вселенной. Если для Г. Гийома человек — это прежде всего *думающее*,

*мыслящее* существо, то Г. П. Мельников сосредоточивается скорее на «общительном характере» *говорящего* человека. На первый план выдвигается социальное начало в человеке и языке. Главной функцией языка оказывается социализация индивидуальных сознаний при получении нового выводного знания в процессе общения.

Согласно *Г. Гийому*, языковые сущности обязаны своим существованием мыслительным операциям [Гийом 1992: 21]. Внутренний мир, мир мысли, идеальный универсум, который создается в мыслящем человеке языком [Там же: 157], представляет собой *образ* окружающего мира, физического универсума. В отличие от животных, считает Гийом, человек видит реальность при обязательном посредстве образа, обработанного в его внутреннем мысленном мире [Там же: 144].

Основополагающий характер отношения человека и универсума сравнительно с социальными отношениями доказывается уже тем, что в процессе общения «язык... выступает посредником между людьми, желающими друг другу сказать какие-то вещи, не обязательно связанные с их отношениями в обществе, к которому они принадлежат, а связанные с отношениями совсем другого рода, отношениями всех и каждого к миру (универсуму), к месту их существования» [Там же: 161]. Базовое отношение человека как части окружающего физического мира к этому миру постоянно меняется по мере освобождения человека от явного подчинения мировым силам, внешнему универсуму и обретению человеческой личностью — в немалой степени *благодаря языку* — растущей относительной автономии во вселенной [Там же: 125, 147, 159–160].

Вечное противостояние Универсум/Человек, заключающее в себе всё содержание языка, является основой того отношения *всеобщего (универсального) и единичного* в мыслительной деятельности, которое определяет язык. Благодаря движению мышления от всеобщего к единичному и обратно в языке происходит порождение материи и формы, образуются понятийные и структурные идеи, осуществляется категоризация, дифференцируются язык и речь (подробнее см. в разделах 3.5, 8.1).

Лингвистическая концепция *Г. П. Мельникова*, вполне оформившаяся к концу XX в., появилась своевременно — тогда,

- когда было осознано противоположение внешнего мира (универсума, вселенной) человеку с его внутренним миром и влияние первого на второй;
- когда во внутреннем мире человека была осознана нетождественность мышления и языка как его формы и вслед за установлением

определяющей, порождающей роли мышления по отношению к языку было выявлено формирующее воздействие языка на мышление;

- когда стала очевидной социальная природа человека и его языка как внутреннее свойство того и другого;
- когда с ростом самосознания и утверждением личностного начала в человеке выявилась известная индивидуальность человеческих сознаний и их языкового выражения.

Развивая в своей лингвистической концепции идеи предшественников, в частности И. А. Бодуэна де Куртенэ, Г. П. Мельников обращается к *психо-социальному миру* и, соответственно, к *социальному аспекту человеческих индивидов*, существующих в определенных условиях *пространства и времени* (ср.: [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 191, 194]). Он показывает, как «общительный характер» «общественных индивидов» [Там же, I: 77, 223] реализуется в языке.

Суть концепции Г. П. Мельникова заключена в стремлении вскрыть осуществляющуюся в языке и через язык *диалектику взаимоотношений индивидуального и социального сознания* в зависимости 1) от особенностей языкового коллектива как надсистемы и 2) от условий общения его членов во времени и пространстве в мире как надсистеме высшего порядка, в которой живет и функционирует человеческое общество.

В определении Мельникова, язык (языковое сознание) как форма есть «средство превращения несоциализированного сознания в социализированное в каждом индивидуальном сознании» [Мельников 2003: 98]. Необходимость такого превращения диктуется одной из важнейших функций языка — «быть средством формирования и поддержания *единства* социального сознания» [Там же: 121].

Поэтому в системной типологии языков, разработанной Г. П. Мельниковым, «исходным при поиске внешних детерминант, определяющим внутренние детерминанты каждого языкового типа, явилось известное положение В. Гумбольдта и его последователей, что язык возникает и развивается в психике индивидов в связи с потребностями духа преодолеть индивидуальную субъективность и подняться до уровня национальной субъективности, т. е. с потребностями превращения индивидуального сознания в социальное» [Там же: 95].

Субъективность национального сознания в конечном счете обусловлена функционально. Функции языков в человеческих коллективах не являются вполне тождественными [Мельников 1989: 11–12] ввиду различий в поводах коммуникации. Это объясняется теми внешними

факторами, которые влияют на условия коммуникации в человеческом коллективе как надсистеме, т. е. внешней детерминантой языка, обуславливающей в свою очередь специфику его внутренней детерминанты, в частности специфику морфологического строя со свойственным ему коммуникативным ракурсом.

Внешняя детерминанта имеет иерархическую структуру. *В качестве наивысшего уровня системности, согласно Мельникову, выступают социально значимые характеристики.* Прежде всего это особенности языкового коллектива, в котором формировался соответствующий языковой тип, и условия языковой коммуникации во внешнем мире. К ним относятся: *величина коллектива* (малый — большой коллектив), *однородность — разнородность его состава* (несмешанное — смешанное население), а также *оседлый или неоседлый (кочевой) образ жизни* и связанный с этим *режим общения*, а именно его *непрерывность — прерывность во времени и в пространстве.*

Малые однородные коллективы с малыми межкоммуникационными перерывами в пространстве и во времени говорят на инкорпорирующих языках. Большие смешанные коллективы общаются на корнеизолирующих языках. В случае больших однородных коллективов большие временные межкоммуникационные интервалы характерны для говорящих на агглютинативных языках, длинные пространственные межкоммуникационные интервалы свойственны общению на флективных языках [Мельников 2003: 129–130].

Язык как «специализированный для коммуникации механизм» [Там же: 100] должен служить средством постоянного распространения новых социально значимых знаний [Там же: 117], быть средством получения нового выводного знания. Главный организующий принцип, формирующий в качестве внешней детерминанты целостную органичную языковую систему, «определяется долей и характером социализируемой информации из сферы личного опыта» [Там же: 119].

Поводом для коммуникации в несмешанных языковых коллективах, говорящих на языках с фиксированным коммуникативным ракурсом, обычно является неполнота информации относительно тех или иных фрагментов картины мира. Дефицит информации в определенном отношении зависит от типовых условий общения. Он касается:

- либо сведений относительно текущей обстановки, положения дел, в тончайших деталях знакомого членам малого однородного языкового коллектива как монолитного целого [Там же: 110];

- либо сведений «об интегрированном результирующем состоянии общеизвестных людей, вещей, мест и т. п., сложившемся за относительно *длительный период* времени, в течение которого воспользоваться какими-либо каналами коммуникации вообще не было возможности» [Мельников 2003: 121];

- либо сведений, относящихся «к целым *классам* явлений, объектов и субъектов, поскольку члены языкового коллектива с *индивидуальными* представителями этих классов бывают, как правило, *незнакомы*» [Там же: 122].

В первом случае средством общения служат инкорпорирующие языки, во втором — агглютинативные, в третьем — флективные, имеющие соответственно обстановочную, качественно-признаковую и событийную внутреннюю детерминанту.

В отсутствие фиксированного коммуникативного ракурса, как в корнеизолирующих языках, на которых говорят смешанные языковые коллективы, внутренняя детерминанта носит окказиональный характер.

*Следующий, низший, уровень* в структуре *внешней детерминанты* образует *психика, внеязыковое сознание индивидов*.

Характерное для носителей инкорпорирующих и агглютинативных языков наличие общих знаний в форме близких индивидуальных образов обуславливает линейную связь поводов сюжетов, относящихся к отдельным фрагментам картины мира, в памяти коммуникантов. У говорящих на флективных и корнеизолирующих языках в отсутствие общих знаний в форме близких индивидуальных образов «поводы сюжетов ассоциированы лишь по родовидовым признакам, образуют не линейную, а сетевую связь» [Мельников 1989: 22].

На уровне отношений между сознаниями индивидов языковые коллективы различаются по степени близости (подобия) не только индивидуальных, но и текущих (преходящих) образов, а также по степени общности мировидения и, следовательно, родовидовых образов. При этом обнаруживается явная корреляция между степенью близости текущих образов в индивидуальных сознаниях и величиной коллектива, с одной стороны, и степенью близости мировидения и однородностью — неоднородностью коллектива, с другой стороны. В малом коллективе имеет место неослабленная близость текущих образов, что отличает носителей инкорпорирующих языков от носителей иных морфологических типов языков. Однородность языковых коллективов, говорящих на инкорпорирующих, агглютинативных и флективных языках, способствует неослабленной близости мировидения

в сознании индивидов. В смешанных языковых коллективах, говорящих на корнеизолирующих языках, близость индивидуальных мировидений ослаблена.

В целом степень близости индивидуальных сознаний членов языковых коллективов последовательно убывает в соответствии с морфологическим типом языков. Она оказывается наибольшей у говорящих на инкорпорирующих языках, ниже у носителей агглютинативных и тем более флективных языков, наименьшей — у носителей корнеизолирующих языков [Мельников 2003: 130, табл. 3].

В том же направлении, вероятно, меняется и *степень противопоставления индивида коллективу*. Эксплицитно эта последняя зависимость была отмечена Мельниковым при характеристике *исходного* типа языков, к каковому он относит языки минимальных однородных языковых коллективов, т. е. инкорпорирующие языки [Там же: 100, 111, 127]. «Очевидно, что чем меньше подобные коллективы, тем более взаимосвязаны и взаимозависимы его члены, тем более монолитную социальную единицу представляют собой эти коллективы, тем более значима для каждого человека информация об обстановке, о состоянии дел в коллективе как монолитном целом и *тем менее типично и значимо противопоставление индивида коллективу*» [Там же: 100; выделено мною. — Л. 3.].

Противоположная ситуация имеет место в процессе смешения представителей многих народов, когда в языке развивается тенденция к корнеизоляции. «В этих условиях резко сужается исходный объем социального, общественного знания; сужается та традиционная сфера содержания, в границах которой представители разных культур имеют основания надеяться на взаимное понимание; сокращается объем общеизвестных языковых единиц и круг тех ситуаций, в которых один человек считает необходимым вступить в общение с другим» [Там же: 123], «увеличивается роль окказионального творческого употребления имеющихся знаков с учетом контекста, конкретной ситуации общения и индивидуальных особенностей слушающего» [Там же: 124]. «...Вероятность наличия в сознании коммуникантов одних и тех же индивидуальных образов еще меньше, чем в случае больших *однородных* коллективов» [Там же: 125], говорящих на агглютинативных и флективных языках.

Однако все эти различия, по мнению Мельникова, в сущности не имеют отношения к мыслительным процессам в зоне внеязыкового сознания. Не отрицая определенного параллелизма между языком и мышлением, языковым и внеязыковым сознанием [Там же: 135], он

убежден, что «процедуры и механизмы мыслительных процессов и актов, осуществляясь в зоне внеязыкового сознания, в зоне отражения и прогнозирования состояний внешней действительности, остаются общими, универсальными для всех народов, независимыми от строя языка» [Мельников 2003: 13].

Системная типология языков проводит (во всяком случае, стремится провести) четкую грань между универсальными и типологическими закономерностями. «Всё, что в речевом потоке и в процессах его формирования, распознавания и понимания зависит от особенностей материального антропофонического субстрата и от общечеловеческих особенностей процессов накопления, хранения и преобразования знаний в психике, проявляется как *универсальные* закономерности и единицы строя языка и речевого потока. Типологическое же своеобразие любого уровня (начиная с уровня общенационального через диалектные, социолектные, вплоть до идиолектных), проявляющееся в конечном счете в особенностях внутренней формы языка, определяется *внешними* факторами, но лишь в той мере, в какой они влияют на условия коммуникации» [Там же: 134].

Итак, «...любой язык, будучи специализированным для универсальной коммуникации компонентом социального сознания, несет на себе следы *общечеловеческих* характеристик сознания и осуществляемого им мышления, т. е. *мышление прямо не влияет на типологическое своеобразие языков* (выделено мною. — Л. З.). Но поскольку — с триадических позиций — язык и речь как продукт формируются под воздействием особенностей условий общения как формы, которые в различных зонах возникновения и функционирования языка существенно отличаются, то это и приводит к типологическому расхождению языков. И лишь в той мере, в какой особенность типа языка, несмотря на наличие непосредственных взаимодействий сознания с внешней действительностью через практическую деятельность, влияет на режимы осуществления мыслительных процессов, своеобразие языкового типа оказывает некоторое косвенное, *вторичное* влияние на картину мира носителей языка. Обычно же, когда настаивают на том, что человек смотрит на мир через очки языкового мировидения, то... отождествляют картину мира с коммуникативным ракурсом... Результатом такого неразграничения оказываются неимоверно преувеличенные представления о степени параллелизма между языком и сознанием, говорением и мышлением» [Там же: 135–136]. (Речь идет, в частности, о гипотезе Сепира — Уорфа и теории Н. Я. Марра.)



Таким образом, определяя внешнюю детерминанту языка как психо-социального явления, как средства социализации индивидуальных сознаний и получения нового выводного знания, как специализированного для целей коммуникации механизма, Г. П. Мельников выдвигает на передний план коммуникативную функцию языка в ее модификациях в зависимости от условий общения и не касается влияния на внутреннюю детерминанту языка духовных особенностей языковых коллективов, которые обусловлены различиями в «способе укоренения человека в действительности», в формах ее отражения, в соотношении чувственного и рационального, конкретного и абстрактного во внеязыковом сознании, что представлялось В. фон Гумбольдту и его предшественникам основополагающим фактором межъязыковых различий. Насколько правомерно принятое Г. П. Мельниковым ограничение, должны показать специальные исследования. Но вряд ли случайны социальные конфликты, коренящиеся, в частности, в различиях между чувственным и рациональным восприятием действительности.

Целостное представление о механизмах внешней детерминанты явно требует синтеза данных о влиянии всех трех миров, в которых существует язык, — физического, социального, психического. Мостиком к решению этой задачи может послужить творческий синтез идей Г. Гийома, Г. П. Мельникова и В. фон Гумбольдта с его предшественниками и последователями.

Кроме того, для полного объяснения своеобразия языкового строя внешними условиями следует уделить должное внимание не только рациональному, но и чувственному отражению действительности во внеязыковом и языковом сознании. Необходимо учесть также различные ценностные ориентации, духовные и прагматические устремления народов. При анализе последних оказываются важны не только генетические и типологические характеристики языков, но и их ареальные связи.

Очевидно, что с учетом всех трех надсистем языка в их полном объеме, с одной стороны, равно как и всех возможных классификационных признаков языков — с другой, научные представления об их внешних детерминантах существенно обогатятся.

## **5.2. Функции языка в надсистемах**

Функции языка определяются его сущностью. От того, как понимается язык и его сущность, зависит и то, какие функции ему приписываются. Поскольку язык, согласно основополагающему определению В. фон Гумбольдта, служит посредником между миром внешних



явлений и внутренним миром человека (в первую очередь его мышлением), постольку и функции языка должны определяться исходя из его отношения к миру и человеку. А так как положение человека в мире и его отношение к миру с течением времени меняются, неудивительно, что в ходе познавательной деятельности представления о мире и человеке претерпевали изменения. Соответственно менялись представления о функциях языка и их иерархии.

Генеральная тенденция в эволюции понимания функций языка в его отношении к миру и человеку может быть определена как прогрессирующее их «человечение» по мере развития самосознания человека в ходе познавательной деятельности, по мере роста автономии человека во вселенной.

Мыслители древности обращались к языку как *средству познания и адекватного выражения мысли* в речевом общении, имплицитно исходя из тождества мыслимого и высказываемого с сущим, из нераздельности речи и мысли, осуществляемой исключительно в языковой форме. Именно этим кажущимся тождеством объясняется то доверие, которое питали к языку и в античную эпоху, и в Средние века. И позднее в рационалистической традиции, утверждавшей примат мышления над языком, языковые функции сводились к потребностям речевого общения, к передаче мыслей и знаний с помощью чувственных знаков.

Недоверие к языку как средству познания и выражения мысли зарождается и упрочивается вместе с осознанием известной самостоятельности языка относительно мышления и бытия, с установлением связи языка с разными сферами психического отражения действительности вследствие единства рационального и чувственного, сознания и бессознательного.

Наиболее значительный перелом в трактовке языковых функций связан с выявлением созидательной роли языка в формировании мышления, а следовательно, и самого *homo sapiens*. С осознанием вклада языка в мыслительную деятельность вскрываются всё новые и новые, не замечавшиеся ранее функции языка, расширяется, уточняется, модифицируется (иногда весьма существенно) понимание традиционно выделявшихся функций.

Ретроспективный обзор основных философско-лингвистических концепций, включая ключевые концепции XX в., позволяет к настоящему времени выделить следующие функции языка, реализующиеся в противостояниях Мир/Человек и Человек/Человек (где под Человеком понимается и человек вообще, и индивид, и общество).

**Функции языка в отношении к миру внешних явлений.** Как посредник между миром и человеком язык одновременно сочетает в себе отражение и знак (В. фон Гумбольдт), и потому первичная функция языка, согласно Э. Сепиру, Г. Гийому и Э. Бенвенисту, состоит в том, что *язык*, точнее — его содержательная сторона, *воспроизводит, отражает объективную действительность*, репрезентируя ее *в знаковой форме*, рассматривая явления действительности символически. Таким образом язык дает субъективный образ объективного мира.

Соответственно языковое отражение действительности не является зеркально-мертвым, пассивным. Язык осуществляет членение, упорядочение окружающей материальной действительности, производит выделение, обобщение, классификацию наблюдаемых явлений и тем самым оказывается *средством познания внешнего мира и передачи информации о нем*.

Так как каждый отдельный язык воспроизводит мир, подчиняя его своей собственной организации, накладывая на него свою модель (Э. Бенвенист), предлагая свое видение (В. фон Гумбольдт), свою интерпретацию мира, перенося на него свою «законность» (А. А. Потебня), язык оказывается средством познания и формой знания не только благодаря нераздельному и неслиянному единству с мышлением. *Язык представляет собой особую форму знания о мире*, отличную от других форм знания — интуитивного, созерцательного, непосредственного, с одной стороны, и научного, теоретического — с другой (И. А. Бодуэн де Куртене). Более того, как показал уже Э. Б. де Кондильяк, и человеческий разум, и человеческие знания обязаны своим происхождением формирующей роли языковых знаков в порождении связи идей.

Заложенное в языке как отражении мировидение не может не влиять на восприятие человеком действительности и на его *поведение* в ней (В. фон Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Л. Уорф).

Итак, язык в его отношении к объективному миру — это:

- 1) форма отражения мира;
- 2) средство его познания;
- 3) форма знания о мире;
- 4) форма поведения человека в мире.

Интерпретация последних трех функций и в целом соотношения языка с миром и человеком зависит от того, соотносится ли язык как отражение преимущественно со сферой бессознательного или с сознанием, признается ли языковое мышление исключительно

универсальным либо идиоэтническим или же совмещающим универсальное с идиоэтническим. Акцентирование идиоэтнического и бессознательного, в котором отражаемая объективная реальность и отношение к ней субъекта не расчлняются, порождает своеобразный гипертрофированный «лингвоцентризм» в оценке соотношения мира, человека и его языка, и тогда языку, как в гипотезе лингвистической относительности, отводится преобладающая роль, и, в частности, из трех форм знания приоритетным объявляется языковое, а научная картина мира оказывается производной от языковой.

**Функции языка в отношении к внутреннему миру человека, к мышлению.** Долгое время язык считали в общем пассивным и вполне адекватным средством выражения, объективации, материализации универсальной мысли, не участвующим в ее образовании. В рационалистической традиции функция выражения мышления рассматривалась как едва ли не единственная ментальная функция языка. И позднее, когда были выявлены и другие функции языка в мыслительной деятельности, функция выражения выделялась практически постоянно. Исключения составляют учение Ф. де Соссюра, видевшего в языке посредствующее звено между мыслью и звуком, средство их обоюдного разграничения и членения, но не средство выражения предустановленных понятий (в отсутствие таковых), и антименталистская концепция Л. Блумфилда, для которого язык — не выражение мыслительных процессов, а лишь орудие общения, понимаемого как цепь стимулов и реакций.

На исходе рационалистической традиции между мыслью и ее языковым выражением в речевом общении всё чаще обнаруживается несоответствие. Оно объясняется по-разному: особенностями познавательной деятельности субъектов, обусловившими неадекватное постижение сущности и качеств именуемых вещей (Платон, Дж. Локк); недостаточным развитием мышления в то время, когда формировался язык (Ф. Бэкон); воздействием чувственно-эмоциональных и, шире, духовных различий как между отдельными индивидами, так и между народами (Т. Гоббс, Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт); типом языка, и прежде всего способом выражения грамматических отношений — внутри слова или вне его (А. Шлейхер).

С осознанием роли субъективного человеческого начала становится всё яснее, что постижение и интерпретация сущности вещей зависит от познающих мир субъектов, от склада их ума, наклонностей, интересов, эмоций, чувств, впечатлений. В результате с течением времени изменяются представления как о характере мышления, так и

о сфере выражаемого в языке. Помимо мышления в нее включаются также различные формы чувственного отражения, воля, эмоции, инстинкт, интуиция и в целом «дух» народа.

Выделяется целый ряд функций, вскрывающих активную роль языка в мыслительной деятельности. Они образуют определенную иерархию.

1. Язык — *средство преобразования*, видоизменения *доязычной бессознательной мысли* — изначально неопределенной, хаотичной, беспорядочной, турбулентной (Э. Б. де Кондильяк, В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня, Г. Гийом).

2. Соответственно язык — *средство перехода от бессознательности к сознательной умственной деятельности* (А. А. Потебня).

3. Сознательная умственная деятельность, оперирующая понятиями, становится возможной потому, что язык — *«аналитический метод»* (Э. Б. де Кондильяк), *«метод разделения поля мышления»* (В. фон Гумбольдт), *категоризация* (Э. Бенвенист).

4. Поскольку «всякое мышление состоит в разделении и соединении» (В. фон Гумбольдт), в категоризации, которая задается языком (Э. Бенвенист), язык выступает *средством образования идей / понятий* (Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня) и *общих философских разрядов (категорий) мысли* (А. А. Потебня, Э. Бенвенист).

5. *Структура языка*, грамматика, морфологический строй *придают форму мысли*, причем в каждом отдельном языке по-разному (Э. Бенвенист, Б. Л. Уорф), обуславливая склад народного ума (И. А. Бодуэн де Куртенэ).

Таким образом, «язык — *образующий орган мысли*» (В. фон Гумбольдт).

6. Язык — *«изменчивый орган мысли» и орудие ее усложнения*. Благодаря своей формальности язык облегчает и стимулирует работу мысли, способствует ее обогащению и развитию разных форм мышления — и образного, и отвлеченного (А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ).

7. Язык осуществляет *регистрацию хода мысли и закрепляет ее в памяти* (Т. Гоббс).

8. Благодаря языку возможен *самоконтроль, самослежение, «перехват мышлением самого себя»* (Г. Гийом).

9. Тем самым *развивается самосознание*, а значит, способность различать относительно объективное и относительно субъективное содержание мысли (А. А. Потебня), отделять объект мысли от мыс-

лящего субъекта, что составляет сущность мышления (В. фон Гумбольдт).

10. В результате для человека язык — *«непрерывное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя»* (А. А. Потебня).

**Функции языка в отношении к человеку.** С осознанием роли языка в становлении сознательной умственной деятельности, и в частности абстрактного мышления, в развитии самосознания, в творческой познавательной деятельности в полной мере выявляется *главная, фундаментальная функция языка — антропогенная, человекообразующая* (разумеется, наряду с другими человекообразующими факторами). Если «человек становится разумным благодаря языку» (И. Г. Гердер), то не будет преувеличением вслед за И. Г. Гердером, В. фон Гумбольдтом, А. Шлейхером, А. А. Потебней, И. А. Бодуэном де Куртенэ, Г. Гийомом, Э. Бенвенистом признать, что именно *благодаря языку человек является человеком*, и не просто человеком, а творческой личностью. По мере накопления «капитала мысли» в процессе познания, в том числе посредством общения с другими людьми, человек познает не только мир, но и свое «я». Соответственно растет его самосознание, благодаря чему он обособляется и *выделяется из массы как личность* (А. А. Потебня). Благодаря языковому общению человек *социализуется*, становясь общественным существом. Наконец, *благодаря языку обеспечивается относительная автономия человека в мире* (Г. Гийом). И это относится как к отдельному индивиду, так и к обществу в целом, поскольку и индивид, и общество возможны лишь благодаря языку: «именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга» [Бенвенист 1974: 27].

**Функции языка в отношении к обществу.** Социальные роли языка не ограничиваются коммуникацией, в процессе которой происходит обмен информацией. Поскольку общение с помощью языка является необходимым условием формирования и развития как общества, так и личности, *первичная функция языка в отношении к обществу есть функция социообразующая, обобществляющая, социализующая*, на что указывали, в сущности, уже Ф. Бэкон и Дж. Локк. «...Только язык и дает обществу возможность существования», соединяя людей в единое целое, — утверждает Э. Бенвенист [Там же: 86].

Следующая и важнейшая общественная функция языка, тесно связанная с первой, может быть обозначена как *социоидентифицирующая, социоопознавательная, социоразличительная*. Согласно В. фон Гумбольдту, «человек говорит, даже мысленно, только с другим или с самим собой, как с другим, и тем самым очерчивает круг

своего духовного родства, отделяет тех, кто говорит, как он, от тех, кто говорит иначе. Эта черта, разделяющая всё человечество на два класса — свой и чужой, есть основа всякой первоначальной общественной связи» [Гумбольдт 1985: 399]. Родная речь, заметил Э. Сепир, служит символом социальной солидарности всех говорящих на данном языке. Об индивидуальности общества, и в частности о духе народа, судят прежде всего по языку. Язык — основа национальной самобытности. Именно язык наиболее глубоко и полно воплощает в себе национальное самосознание.

Одновременно язык является средством индивидуализации каждого отдельного члена общества. «...Способность служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей заключена в глубочайшем существе его природы» [Гумбольдт 1984: 165].

Собственно коммуникативная функция нередко считается определяющей, первичной, что, впрочем, неоднократно оспаривалось. Многие мыслители первичные функции языка связывают с отношением человека к действительности (В. фон Гумбольдт, Г. Гийом), с ее отражением на основе способности человека к символизации (Э. Бенвенист, Э. Сепир), с познанием (А. А. Потебня), а в догумбольдтовскую эпоху чаще всего с мышлением (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. В. Лейбниц, Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гердер). И в самом деле, коммуникативная функция осуществляется на основе тех функций, которыми язык наделен в его отношении к реальному миру: в процессе общения язык может служить средством сообщения, передачи мысли, ее содержания и, соответственно, средством передачи информации о положении дел во внешнем и внутреннем мире человека потому, что язык отражает, воспроизводит действительность, служит средством ее познания и формой знания.

Исходя из отношения языка как знаковой системы к внеязыковой действительности и в связи с его общественной ролью в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929) различаются две функции: коммуникативная (в узком смысле), направленная на означаемое, и поэтическая, направленная на сам знак, точнее — на означающее. В более поздней версии Р. Якобсона это соответственно направленная на референт, контекст референтивная (денотативная, когнитивная) функция (она признается центральной) и направленная на сообщение как таковое поэтическая функция [Якобсон 1975: 199–203].

Реализующееся в процессе речевого общения противостояние Человек / Человек предъявляет свои функциональные требования к языку. С одной стороны, язык должен обеспечить самовыражение

*говорящего и его воздействие на слушающего, а с другой — взаимопонимание* между ними. Для выполнения всех этих функций важно не только то, *что* сказано, но и то, *как* сказано. Взаимопониманию служат, в частности, и такие выделенные Р. Якобсоном функции, как *метаязыковая* и *фатическая*: для взаимопонимания (как, впрочем, и для воздействия на слушающего) необходим не только «общий фонд идей», как показал Э. Б. де Кондильяк, но и общий код (язык) и контакт, канал связи между говорящим и слушающим.

В неразрывной связи с функцией взаимопонимания членов языкового сообщества язык оказывается для человека *средством понимать самого себя*. Понимание человеком самого себя — это и условие (Э. Б. де Кондильяк), и следствие (В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня) понимания его другими.

С нарастающим успехом «очеловечения» (В. фон Гумбольдт, И. А. Бодуэн де Куртенэ), по мере того, как мир из совокупности внешних вещей превращается в человеческий, очеловеченный мир, а это в значительной степени и прежде всего оязыковленный мир, всё более актуальной становится поставленная В. фон Гумбольдтом задача исследовать и язык вообще, и отдельные языки в целях «познания человека на разных ступенях его культурного развития». Коль скоро язык отражает в себе каждую стадию культуры, при установлении социальных функций языка языкознание не может обойти поднятый И. Г. Гердером и В. фон Гумбольдтом вопрос о соотношении определенной ступени развития языка с определенным уровнем культуры. Этот вопрос еще ждет своего решения.

**Часть II**

**Язык**

**как система знаков**





## **Глава 6**

### **ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК**

«...Специфика языкового знака есть не что иное, как сам же человек» [Лосев 1982а: 126]. Поэтому степень адекватности той или иной знаковой теории языка его сути и функциям определяется тем, в какой мере отражены в ней единство человека и природы, человека и общества, единство в человеке природного и социального, физического и психического, единство в человеческой психике бессознательного и сознания, чувственного и рационального, единство в человеке общего, особенного и отдельного, единство исторического процесса, а также единство языка и мышления, единство в языке формы и содержания.

Само понимание природы языкового знака и его свойств зависит прежде всего от того, насколько учитывается триединство мира, человека и языка, единство объективного и субъективного, отражения и обозначения.

#### **6.1. Истоки современных представлений о языковом знаке**

##### **6.1.1. Античность**

Античные теории языкового знака сложились в споре о природе именования.

Одни из них в большей или меньшей степени признают естественную мотивированность языковых знаков, не отрицая вовсе мифологических представлений о природной связи имени и вещи.

Другие, порывая с мифологией, опираются на договорную теорию происхождения языка и трактуют языковые знаки как исключительно произвольные условные установления. Такова, в частности, позиция

софистов и Демокрита. **Софисты** считают правильность имен относительной, условной, субъективной. Они убеждены, что «ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо так называть». Следовательно, правильность имени есть не что иное, как договор и соглашение: «...какое имя кто чему-либо установит, такое и будет правильным» [Платон 1994, 1: Кратил 384d; с. 614].

**Демокрит** выдвигает целый ряд аргументов в пользу происхождения имен от установления, «от случая, а не от природы». Это, во-первых, *многозначность*, или равноименность, когда «...различающиеся между собою вещи называются одним именем». Во-вторых, это *равновесие*, или многоименность, когда различающиеся между собою имена обозначают одну и ту же вещь, заменяя друг друга. В-третьих, это *переименования*. В-четвертых, это *безымянность*, когда несоответствия в словопроизводстве обуславливают недостаток в сходных образованиях [Античные теории... 1996: 37]. Первые два аргумента Демокрита, касающиеся явлений омонимии и синонимии, впервые раскрывают такое сущностное свойство языковых знаков, которое в XX в. было определено прагматиками как асимметричный дуализм [Карцевский 1965; Скаличка 1967а; 1967б; Якобсон 1985: 221, 226].

Случайностью человеческих установлений Демокрит объясняет и разнообразие в характере языков, вследствие чего «...язык оказался не у всех равнозвучным»: положившие начало всем племенам первые объединения людей имели место по всему миру, и «...каждые случайным образом составляли свои слова», устанавливая друг с другом символы для каждой вещи [Античные теории... 1996: 37].

Некоторые из аргументов Демокрита — в связи с обсуждением софистических воззрений — приводят позднее Платон и Аристотель. В диалоге Платона «Кратил» ученик Протагора Гермоген, доказывая условный характер правильности произвольно данных имен, ссылается, во-первых, на возможность переименования, а во-вторых, на различное именование одних и тех же вещей, причем не только у разных народов. В самом деле, «...ведь когда мы меняем имена слугам, вновь данное имя не бывает же менее правильным, чем данное прежде» [Платон 1994, 1: Кратил 384d; с. 614]. Безразлично и то, что «...иногда одни и те же вещи в каждом городе называются особо, у одних эллинов не так, как у других, а у эллинов не так, как у варваров» [385e; с. 615]. «...Сколько имен кто-либо укажет каждой из вещей, столько и будет» [385d; с. 615]. В свою очередь Аристотель пытается объяснить

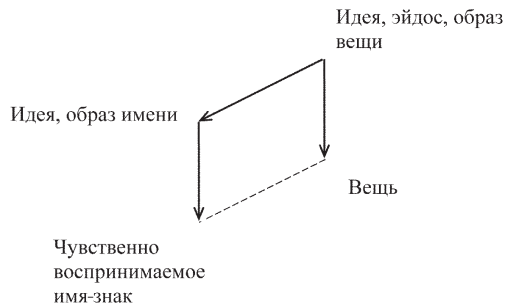
такое явление, как многозначность. Причину многозначности он видит в том, что «...число слов ограничено, ограничено и множество речений, предметы же беспредельны по числу. Поэтому неизбежно одно и то же речение и одно и то же слово означают многое» [Аристотель. О софистических опровержениях, 1, 5] (цит. по: [Перельмутер 1980а: 160]).

В последующий период развития лингвистическая мысль исходила главным образом из произвольности языковых знаков. Однако к настоящему времени становится всё более очевидным основополагающее значение античных доказательств в пользу естественной мотивированности языковых знаков и для постижения самой их сущности и строения, и для понимания истинного соотношения языка и мышления, и для осознания специфики языка как посредника между миром и человеком.

В рационалистически и сенсуалистически ориентированных античных учениях природная мотивированность языковых знаков доказывается по-разному, но так или иначе она оказывается связанной с выделением собственно языкового содержания, отличающегося от содержания мысли.

**Платон**, по существу, диалектически синтезировал в диалоге «Кратил» две теории именования — по природе вещей и по установлению [Платон 1994, 1: Кратил, с. 613–681]. (См. глубокий комментарий А. Ф. Лосева [Лосев 1994в: 826–835], послуживший опорой при анализе диалога.)

Согласно Платону, в акте наименования звучащее имя соотносится не только с именуемой вещью и ее идеальной сущностью, но и с образом (идеей) имени, который отражает *способ интерпретации человеком* сущности вещи. Соответственно, структуру знака составляют 4 компонента: 1) *идея, эйдос, образ* вещи как порождающее ее устойчивое сущностное начало; 2) пребывающая в вечном становлении *вещь*; 3) *эйдос, образ имени*, подобающий, подражающий сущности вещи (т. е. образ образа); 4) воплощение образа имени в слогах и буквах, *чувственно воспринимаемое имя-знак*. Схематически эту структуру можно представить так:



Ведущую роль в структуре знака Платон как объективный идеалист отводит идеальным, образным составляющим, и в первую очередь эйдосу обозначаемой вещи. Платон исходит из того, что, несмотря на постоянное становление, «сами вещи имеют некую собственную устойчивую сущность безотносительно к нам и независимо от нас», «они возникают сами по себе, соответственно своей сущности» [Платон 1994, 1: Кратил 386е; с. 617]. Познающий и именуемый субъект (законодатель, учредитель, присвоитель имен) «воссоздает образ имени, подобающий каждой вещи» [390а; с. 621], путем подражания ее сущности, а не каким-либо внешним свойствам — звучанию, очертаниям, цвету, тоже имеющим какую-то сущность [423de; с. 661].

Платон утверждает наличие некой внутренней связи между именем и вещью на основании *отражения в образе имени* одного из аспектов идеальной сущности вещи (ее идеи, эйдоса, образа). Эта интерпретация человеком идеальных сущностей «в свете какого-нибудь одного, но зато уже определенного их момента» [Лосев 1994в: 831] в первых и позднейших именах осуществляется по-разному. В первых — путем подражания сущности именуемой вещи с помощью голоса, когда на положенный в основу именованного признак сущности намекают в чем-то сходные со свойствами обозначаемого артикуляторно-акустические характеристики звукового состава слова<sup>1</sup>. В позднейших именах семантическая интерпретация идеальных сущностей вещей осуществляется через посредство первых имен, указывающих самим своим значением на признак, послуживший основой именованного.

Правильность наименования зависит и от того, верно или нет постигал вещи учредитель имен [Платон 1994, 1: Кратил 436b; с. 676], и от того, насколько владел он искусством наименования [429ab; с. 666–667; 431cde, 432bcde; 670–671].

«...Хорошо установленные имена подобны тем вещам, которым они присвоены», и представляют собой изображения вещей [439a; с. 679]. Это сближает имена с живописными произведениями. Ведь имя, считает Платон, «в некотором роде есть подражание, как и картина» [430e–431a; с. 669]. А так как при изображении чего-то опреде-

---

<sup>1</sup> Согласно И. М. Троцкому (Тронскому), указанная теория происхождения первых имен восходит к какому-то атомисту. Возможно, им был сам Демокрит, как будто пытавшийся объяснить семантическую природу звука движением речевых органов, воспроизводящим особенности предмета [Троцкий 1996: 20–23].

ленного и вообще при всяком изображении «вовсе не нужно воссоздавать все черты, присущие предмету, чтобы получить образ», то имена, подражающие вещам, изображающие их, и сами вещи не должны быть «во всём друг другу тождественны». Главное, чтобы в образе имени сохранялся «основной облик вещи» [Платон 1994, 1: Кратил 432de; с. 671]. «Пока сохраняется этот основной вид, пусть отражены и не все подобающие черты, всё равно можно вести речь о данной вещи» [433a; с. 672]. «И пока имя выражает вложенный в него смысл, оно остается правильным для того, что оно выражает» [393e; с. 626].

Подобно тому как «...всякое изображение требует своих средств» [424e; с. 662], так и образ имени нуждается в материальном воплощении. Учредитель первых имен, предполагает Платон, опирался на явления звукоименизма и давал вещам названия путем подражания сходным их свойствам [426cde–427abc; с. 664–665], словно примеряя звуки к вещам [424e; с. 662]. Ориентируясь на образ имени, подражающий сущности вещи, «он подбирал по буквам и слогам *знак* для каждой вещи» [427c; с. 665; выделено мною. — Л. 3.]. Естественно, здесь открывался простор для субъективного произвола учредителя имен. Отсюда знаковый характер звуковой стороны имени в ее отношении к идее как имени, так и вещи. Это подтверждается, с одной стороны, звуковыми изменениями, вследствие которых имя может настолько изменить со временем свой внешний вид, что первоначально выражаемый смысл станет недоступным [414cd, 418a, 421d; с. 650, 654, 658]. С другой стороны, о знаковом характере звуковой формы имен свидетельствует явление синонимии. В самом деле, замечает Платон, имеется много имен, которые «разнятся буквами и слогами, а смысл имеют один и тот же» [394c; с. 626]. Следовательно, «...теми же ли слогами или другими будет обозначено одно и то же — не имеет значения. И если какая-то буква прибавится или отнимется, неважно и это, доколе остается нетронутой сущность вещи, выраженная в имени» [393d; с. 625], так что «...сведущий в именах рассматривает их значение, и его не сбивает с толку, если какая-то буква приставляется, переставляется или отнимается или даже смысл этого имени выражен совсем в других буквах» [394b; с. 626].

Знаковость, понимаемая как известная независимость, произвольность звуковой стороны имени в ее отношении к вещи и ее идее, следует и из межъязыковых различий в названиях идентичных вещей. Тем не менее, предупреждает Платон, «...если не каждый законодатель воплощает имя в одних и тех же слогах, это не должно вызывать у нас недоумение». Будь он эллин или варвар, «пока он воссо-

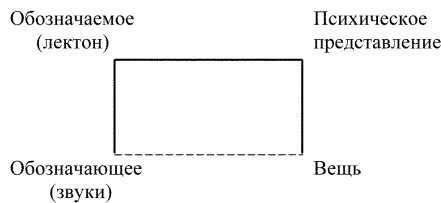
здает образ имени, подобающий каждой вещи, в каких бы то ни было слогах, ничуть не хуже будет здешний законодатель, чем где-нибудь еще» [Платон 1994, 1: Кратил 390а; с. 621].

Поскольку в единстве объективного и субъективного, отражения и обозначения их соотношение может быть различным в зависимости от глубины постижения субъектом (учредителем имен) объективной сущности вещей, познавательная ценность имен, начиная с первых и кончая позднейшими, по Платону, неодинакова. Только в той мере, в какой имя — его образ, идея, смысл — отражает сущность вещи, можно признать: «...кто знает имена, знает и вещи» [435de; с. 675]. Но, будучи низшей ступенью познания, имя дает самое неопределенное и недостаточное знание из выделенных Платоном ступеней познания [Платон 1994, 4: Письма 342ab; с. 493–494]. Ведь идея, образ даже хорошо установленного имени в силу своей вторичности семантически всегда беднее, чем идея вещи, подобием которой оно является. Если же учесть также возможные ошибки учредителя имен в постижении сущности вещей при их наименовании и возможное затемнение первоначального смысла с течением времени, то «...не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих» [Платон 1994, 1: Кратил 439b; с. 679].

У **стойков** платоновскому образу имени (по сути тождественному внутренней форме слова) соответствует *лектон* (*lecton*), словесная предметность. Именно лектон, вещь, выявляемая *обозначающим* звуком, является *обозначаемым* языкового знака. Будучи феноменом бестелесным и умопостигаемым, лектон отличается от психического представления — чувственного (*phantasma*) и умственного (*ennoēma*). В толковании А. Ф. Лосева, «оно (лектон. — Л. 3.) только “возникает” согласно чувственному или умственному представлению, но само по себе не есть ни то и ни другое, а есть просто то чисто смысловое содержание, которое выражено словом» [Лосев 1982б: 172], и, что особенно важно, «...умопостигаемое “лектон” обладает известного рода осмысливающими функциями в отношении чистой, т. е. никак не осмысленной, чувственности» [Там же: 177]. Причем это осмысление (в отличие от психического представления) различается от одного языка к другому, а следовательно, различается и обозначаемое, т. е. сама вещь, выявляемая словом. Вот почему «...мы ее воспринимаем как установившуюся в нашем разуме, варвары же не понимают ее, хотя и слышат слово» (Секст Эмпирик; цит. по: [Лосев 1982б: 169]). Таким образом, языки различаются не только обозначающими своих знаков, но и обозначаемыми.

А. Ф. Лосев особо подчеркивает реляционный характер лектона. «Это у стоиков не просто предмет высказывания, но еще и предмет, взятый в своей соотнесенности с другими предметами высказывания» [Лосев 1982б: 173]. Абстрактное «лектон» получает конкретное выражение лишь в предложении [Там же: 181]. Поэтому одно и то же слово, взятое в разных контекстах, соотносится с разными «лектон» [Там же: 174]. И чем более развернуто высказывание, чем полнее, шире контекст, тем полнее лектон отражает тончайшие оттенки языка и речи [Там же: 180].

Из сказанного ясно, что обозначаемое–лектон рассматривается стоиками, по существу, во всех трех выделяемых ныне семиотических аспектах, т. е. не только в «семантическом», вполне традиционном и обычном для античности, но также в «прагматическом» (отсюда проблема понимания–непонимания: ведь обозначаемое у стоиков есть «понимаемое») и в «синтаксическом». Именно такой всесторонний подход позволил стоикам увидеть в обозначаемом *особую область*, посредствующую между мыслью и вещью, между обозначающим и понимающим субъектом и обозначаемым объектом, что не осталось не замеченным и античными интерпретаторами стоического учения [Там же: 170]. Таким образом, с позиций стоиков знаковая ситуация включает четыре составляющих:



Сам знак стоики определяют как двустороннюю сущность, которая образуется отношением (об)означающего и (об)означаемого. Введенные стоиками однокоренные термины *sēmeîon* ‘знак’, *sēmaînon* ‘(об)означающее’, *sēmainòmenon* ‘(об)означаемое’ подчеркивают эту соотнесенность. С точки зрения адресата речи (слушающего), означающее — это *aisthēton* ‘воспринимаемое’, означаемое — это *noēton* ‘понимаемое’ [Якобсон 1983: 102].

В отношении между именем и вещью стоики усматривают природную связь, характер которой зависит от того, первые это слова или позднейшие.

Первичным источником знания, в понимании стоиков, являются ощущения. Дальнейшая их обработка осуществляется с помощью ассоциаций.



Для первых слов характерно согласие ощущения вещи с ощущением звука. Стоики объясняют это тем, что «...первые слова подражают вещам» (Ориген; цит. по: [Перельмутер 1980б: 185]), но речь идет о подражании не сущности вещи, как у Платона, а ее чувственным свойствам: звучанию, вкусу, осязательному воздействию и т. п. Вследствие такого подражания образуется внутренняя природная связь между двумя воспринимаемыми феноменами — вещью и ее словесным означающим, и «сами вещи воздействуют так, как ощущаются слова: *mel* (мед) — как сладостно воздействует на вкус сама вещь, так и именем она мягко действует на слух; ...*lana* (шерсть) и *verges* (терн) — каковы для слуха слова, таковы сами предметы для осязания» (Августин; цит. по: [Античные теории... 1996: 77]).

В позднейших словах связь звучания и значения носит опосредованный характер. Она выводится из ассоциации по сходству, смежности или контрасту между именуемой вещью и вещью, обозначенной первым именем. «...Так, например, если крест (*сгух*) назван так потому, что жестокость самого слова согласуется с жестокостью боли, которую причиняет крест, то ноги (*сгуга*) названы так не вследствие жестокости боли, а потому, что длиной и твердостью они из всех частей тела наиболее похожи на дерево креста» (Августин; [Там же: 77–78]).

**Эпикур** иначе объясняет природное происхождение имен, а отсюда и изначальное соответствие звучания слова и вещи. Будучи, как и стоики, сенсуалистом и полагая, что «все мысли рождаются из ощущений» (цит. по: [Богомолов 1985: 258]), Эпикур обосновывает природную обусловленность имен не столько свойствами *именуемых объектов*, сколько их *воздействием* во многих и различных отношениях *на именующих субъектов*, на саму человеческую природу. Соответственно разнообразным особенностям местностей и племен люди в каждом племени испытывают особые впечатления и получают особые восприятия со стороны окружающих вещей. Под воздействием каждого из этих впечатлений и восприятий люди по-особому выдыхают воздух при речеобразовании [Античные теории... 1996: 70]. Так объясняются языковые различия в звучании имен, обозначающих одни и те же вещи. Изначальная причина этих различий по существу усматривается в объективно обусловленных этнопсихологических различиях отражения реальной действительности. Разные впечатления — разные звуки. Это положение Эпикура его последователь Лукреций подкрепляет наблюдениями над животными:

...Почему удивительным может казаться,  
 Что человечество, голосом и языком обладая,  
 Под впечатлением разным отметило звуками вещи,  
 Если скоты бессловесные даже и дикие звери  
 Звуками разными и непохожими кликать привыкли  
 В случаях тех, когда чувствуют боль, опасенье и радость?  
 <...>

Стало быть, если различные чувства легко могут вызвать  
 У бессловесных зверей издавание звуков различных,  
 То уж тем более роду людей подобало в ту пору  
 Звуками обозначать все несхожие, разные вещи.

[Античные теории... 1996: 72–73]

Со временем чувственное начало в жизни людей уступает место разумному. «Разум же впоследствии, — полагает Эпикур, — уточнил переданное природой и открыл (кое-что) сверх этого, у одних быстрее, у других медленнее, в одни периоды и времена (делая большие успехи), в другие — меньшие» [Там же: 70]. И имена даются теперь по установлению с общего согласия, исходя из потребностей рассуждения и общения. В результате «впоследствии... в каждом племени сообща установили особые (обозначения) для того, чтобы взаимосообщение стало менее двусмысленным и более сжатым» [Там же]. Ведь в рассуждении, по Эпикуру, «необходимо, чтобы при каждом слове было видно его первое значение и чтобы оно не нуждалось в дальнейшем объяснении» (цит. по: [Богомоллов 1985: 249]). Чтобы снять двусмысленность и сделать значение ясным, имена выбираются «по рассудку согласно обычному способу образования слов» (Эпикур; цит. по: [Перельмутер 1980б: 206]).

Сообразно с этапом языкового развития, очевидно, меняется и состав психических факторов, участвующих в знаковой ситуации. На первом этапе — это особое впечатление, особое восприятие. На втором этапе — в производных словах — «сверх этого» чувственного образа, из которого видно первое значение, присутствует рассудочное представление модели–способа образования слова.

I этап

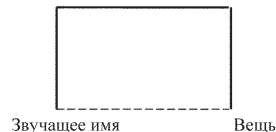
Особое впечатление,  
 особое восприятие вещи



II этап

Рассудочное  
 представление  
 способа обра-  
 зования слова

Чувственный  
 образ вещи



Ни последователи Эпикура, ни скептики не признают существования какого-либо словесного обозначаемого, высказываемого *лектон*, которое отделено от обозначающего звука и от предмета, выступая в качестве посредствующего бестелесного (психического) звена. В знаковой ситуации участвуют только обозначающий звук (слово) и именуемый предмет [Перельмутер 1980б: 205].

Итак, пытаюсь выявить природную мотивированность имени вещи, античная философия расстается с мифологическим отождествлением имен и вещей. «...Если бы они были во всём друг другу тождественны», «тогда всё бы словно раздвоилось» [Платон 1994, 1: Кратил 432d; с. 671]. Подражая вещи, изображая ее, имя лишь «указывает, какова вещь» [428e; с. 666], путем избирательного воссоздания отдельных ее черт [432b, e, 433a; с. 671–672].

Звуковая сторона слова может быть мотивирована двояко — либо объективными свойствами вещи (стойки), либо субъективными особенностями психики (Эпикур), либо тем и другим (Платон). В последних случаях не просто опровергается случайность означающих, но доказывается их идиоэтнический характер: они меняются от одного языка к другому *в соответствии с чувствами, впечатлениями, восприятиями данного языкового сообщества* — племени, народа.

Фундаментальное значение имеет наметившееся у Платона и стоиков различие языкового и мыслительного содержания. Стоическое *лектон* — образование специфическое для каждого данного языка. (Именно поэтому варвары его не понимают, слушая эллинскую речь.) Платоновский *образ имени* также, по-видимому, не обладает свойством универсальности. Во всяком случае, разбирая утверждение Кратила, согласно которому «...определенная правильность имен прирождена и эллинам, и варварам, всем одна и та же» [383ab; с. 613], Платон специально подчеркивает, что степень соответствия между образом имени и сущностью вещи, а значит, и правильность имени должны определяться, исходя из того языка, из которого оно взято [409e; с. 644–645]. Имя, указывая, какова вещь, может — лучше или хуже — отражать в своем образе разные ее качества в зависимости от представлений учредителя имен, от того, насколько постиг он данную вещь и какое ее качество имел в виду, что подразумевал, давая ей имя, подбирая по буквам и слогам знак вещи [399d–401ab, 428e–429b, 430b–e, 431de, 436b; с. 633–634, 666–667, 669–670, 676].

Об избирательности именованья свидетельствует возможность разных этимологических толкований одного и того же имени. Так, имя «Посейдон» (дорийское *Poteidan*) толкуется и как ‘супруг земли’ и как

‘владыка вод’ [Мифы народов мира 1997, 2: 323] (ср. с толкованиями Платона: [Платон 1994, 1: Кратил 402e-403a; с. 636–637]). Отсюда же множественность имен (синонимия), когда «...выражается одна и та же сущность с различных точек зрения» (Аммоний; см.: [Античные теории... 1996: 82]). Но если различные точки зрения на одну и ту же сущность возможны в пределах одного языка, то еще вероятнее они в разных языках.

Принципиально иной взгляд на природу языкового знака имеет **Аристотель** — последовательный сторонник «договорной» теории. Согласно Аристотелю, в знаковой ситуации связаны три компонента: предмет, представление предмета в душе и слово (звучащее или письменное), образующие «знаковый треугольник», к которому восходит современный «семантический треугольник».



В определении Аристотеля, «слова, выраженные звуками, суть символы представлений в душе, а письменна — символы слов». «От природы нет имен; они получают условное значение, когда становятся символом» [Об истолковании 1, 2; 2, 3. — Античные теории... 1996: 65]. Точно так же и «предложение есть звук, имеющий условное значение», и аналогично слову «всякое предложение имеет значение... вследствие соглашения» [Об истолковании 4, 1; 4, 3. — Античные теории... 1996: 66].

Принимая за аксиому условную связь между словом и представлением, Аристотель иначе трактует оба эти компонента и иначе оценивает их с точки зрения универсальности — специфичности, нежели приверженцы естественной мотивированности языковых знаков. Основная причина расхождений — в ином толковании психического компонента, который рассматривается Аристотелем безотносительно к субъективным особенностям отражения объективной действительности. Соответственно из сравнения различных языков Аристотель делает вывод: «Подобно тому как письменна не одни и те же у всех людей, так и слова не одни и те же. Но представления, находящиеся в душе, которых непосредственные знаки суть слова, у всех одни

и те же, точно так же и предметы, отражением которых являются представления, одни и те же» [Об истолковании 1, 3. — Античные теории... 1996: 65].

Таким образом, собственно языковым компонентом в структуре знакового треугольника оказывается только звуковая сторона слова. Содержательная сторона, в которой еще не различаются лексические и грамматические значения, образуется представлениями. Они одинаковы у всех людей, а следовательно, универсальны и не принадлежат языку. Неразличение языкового и мыслительного содержания, отождествление значений слов с представлениями предметов создает иллюзию полной адекватности языковой семантики отражаемой объективной реальности, причем независимо от языка. Поскольку и предметы, и представления у всех одни и те же, то и языковые значения тоже универсальны и, так же как представления, лишены знаковых свойств, будучи исключительно отражательными сущностями. Различия между языками касаются, таким образом, только звуковой стороны языковых знаков.

Эти положения Аристотеля надолго определили развитие лингвистической мысли. Идеи Платона, стоиков, Эпикура, отразившие постепенное открытие античностью трех разных миров — чувственно-материального (природного), мыслительного, языкового, оказались в полной мере востребованными лишь ко времени вычленения языкознания в самостоятельную научную дисциплину, когда стало вполне очевидным наличие у языка собственного содержания, формального по отношению к содержанию мысли.

Нельзя не заметить, что ставшее основополагающим для современной лингвистики гумбольдтовское определение языка как посредника между миром внешних явлений и внутренним миром человека, между природой и духом, в сущности, диалектически разрешает древний спор о природе языка и языковых именовании, причем разрешает его в духе Платона, впервые реализовавшего системный, синтезирующий подход к анализу языковых знаков.

### **6.1.2. Средневековье**

**Отцы церкви.** В понимании отцов церкви, различия между языками касаются внешней формы и обусловлены тем, что «...Бог, восхотев, чтобы люди были разноязычны, предоставил им идти естественным путем, и каждому (народу) как угодно образовать звук для объяснения имен». В результате «...имена образуются, как угодно людям, сообразно их привычкам», и используемые в этих целях «...челове-

ческие звуки суть изобретения нашего рассудка». Соответственно, «...не разноглася относительно знания предметов, люди стали различаться образом именованя (их)». «Иначе именуется небо еврей и иначе хананей, но тот и другой понимают одно и то же, от различия звуков нисколько не ошибаясь в разумении предмета» (Григорий Нисский; цит. по: [Эдельштейн 1985: 195, 185]).

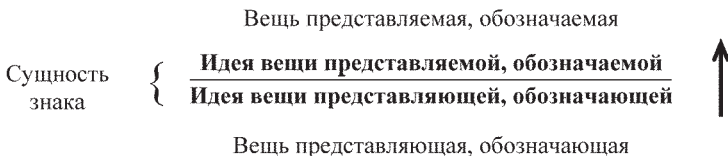
Вместе с тем за различием именованй могут стоять различные представления о предмете и его познанных свойствах. «Например, у каждого есть простое представление о хлебном зерне, по которому мы узнаем видимое нами. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в рассмотрение многое, и даются зерну различные именованя, обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно мы называем то плодом, то семенем — как начало будущего, пищу — как нечто пригодное к приращению тела у вкушающего» (Василий Великий; цит. по: [Там же: 193]).

Хранимый в памяти образ именуемого предмета, «движение души, происходящее в рассудке», является означаемым языкового знака. В отличие от античных знаковых теорий «означающим языкового знака, согласно средневековым учениям о знаке, является не сам звук, но сохраняемый памятью акустический образ слова» [Там же: 171, 204–205]. Таким образом, уже в Средние века языковой знак трактуется как двусторонняя *психическая* сущность. Одна ее сторона, согласно Августину, разделяемая по времени, соотносится со звучащим именем, другая, неделимая, — с обозначаемой вещью.

### 6.1.3. Новое время

**Рационалистическое направление.** Определяя понятие знака, А. Арно и П. Николь исходят из различения объектов двух видов. «Когда объект рассматривается сам по себе, в своем собственном бытии и наш умственный взор не обращается на то, что он может представлять, имеющаяся у нас идея этого объекта является идеей вещи, как, например, идея Земли, Солнца. Когда же некоторый объект рассматривают только в качестве представляющего какой-то другой объект, его идея является идеей знака и этот первый объект называют знаком. Так обычно смотрят на географические карты и на произведения живописи. *Знак заключает в себе, таким образом, две идеи: идею вещи представляющей и идею вещи представляемой, и сущность его состоит в том, чтобы вызывать вторую посредством первой*» [Арно и Николь 1991: 46; выделено мною. — Л. З.], т. е. «...чтобы вызывать

в чувствах посредством вещи обозначающей идею вещи обозначаемой». «...Пока вызывается эта двоякая идея, есть и знак» [Арно и Николь 1991: 48]. Схематически его структуру можно представить так:



Авторы Пор-Рояля не исключают оборачиваемости ролей в структуре знака: «...одно и то же может быть в одном состоянии обозначающим, а в другом — обозначаемым». Более того, одна и та же вещь «может быть одновременно и вещью, и знаком» [Там же: 47].

В трактовке языкового знака-слова, по-видимому, не обошлось без влияния представителя латинской патристики Августина, который задолго до Декарта противопоставил душу телу, значение звучанию как неделимое начало делимому. Согласно Августину, «...название (*nomen*) состоит из звука и значения». Поскольку «...звук... относится к ушам, а значение к уму», то «...в названии, как бы в некотором одушевленном существе, звук представляет собою тело, а значение — душу звука». «Так как всё, что подлечит чувствам, находится в известном месте и времени, или, точнее, занимает известное место и время, то чувствуемое глазами разделяется по месту, а ушами — по времени». Потому и звук имени может быть «разделен на буквы (*utrum nominis sonus per litteras dividi possit*), между тем как душа его, т. е. его значение (*significatio*), не может», ведь «...в нашей мысли оно не представляется... ни длинным, ни широким» (цит. по: [Эдельштейн 1985: 166]).

В определении авторов Пор-Рояля, «...слова суть учрежденные знаки мыслей» [Арно и Николь 1991: 48], и «говорить — значит объяснять свои мысли при помощи знаков, изобретенных людьми для этой цели» [Арно, Лансло 1990: 71].

Подобно другим знакам, речевые знаки имеют две стороны. «Первая — то, чем они являются по своей природе, а именно как звуки и буквы. Вторая — их значение, т. е. способ, каким люди используют их для означения своих мыслей» [Там же].

Первая, материальная, сторона не может считаться специфически человеческой, ибо она «является общей, по крайней мере в том, что касается звуков, для людей и для попугаев» [Там же: 89]. Зато вторая, духовная, сторона «составляет одно из наиболее важных преимуществ

человека перед всеми прочими живыми существами и одно из главнейших свидетельств разумности человека» [Арно, Лансло 1990: 89].

Определив речевые знаки как двусторонние сущности, авторы Пор-Рояля в то же время следовали традиции, отождествлявшей знаковую с произвольностью и сводившей таким образом знаки к одной звуковой стороне, что послужило в дальнейшем поводом для разработки теории языкового знака как односторонней сущности. В самом деле, поскольку «в определении имени... рассматривают всего только звук, делая этот звук знаком идеи, обозначаемой другими словами» [Арно и Николь 1991: 82], то «...слова можно определить как членораздельные звуки, которые используются людьми как знаки для обозначения их мыслей» [Арно, Лансло 1990: 90], «...слова суть отчетливые и членораздельные звуки, которые люди сделали знаками, чтобы обозначить то, что происходит у них в уме» [Арно и Николь 1991: 100].

С точки зрения авторов Пор-Рояля, произвольность касается звука и его соединения с идеей (значением), но не самой идеи. «...Всякий звук по природе своей может обозначать любую идею» [Там же: 83]. «...Такую-то идею соединяют с таким-то звуком, а не с другим совершенно произвольно, но сами идеи отнюдь не являются чем-то произвольным и не зависят от нашей фантазии, по крайней мере те из них, которые ясны и отчетливы» [Там же: 36]. «Ведь от нашей воли не зависит, чтобы идеи содержали то, что нам хотелось бы» [Там же: 83].

Произвольность соединения идеи со звуком отнюдь не препятствует тому, что звуки, которыми обозначают идеи, «в силу приобретенной умом привычки связываются с идеями столь тесно, что одно не мыслится без другого: идея вещи вызывает идею звука, а идея звука — идею вещи» [Там же: 100]. Вот почему «...люди с трудом отделяют от слова идею, с которой они его однажды связали» [Там же: 88]. Более того, «...вследствие необходимости использовать внешние знаки, для того чтобы нас понимали, мы связываем наши идеи со словами так, что нередко принимаем во внимание скорее слова, а не вещи. Это одна из самых распространенных причин путаницы в наших мыслях и рассуждениях» [Там же: 79].

Соответственно, уточненная схема языкового знака принимает следующий вид:





**Эмпирико-сенсуалистическое направление.** Дж. Локк определяет условия возникновения языка как средства сообщения мыслей и передачи знаний, сообразуясь с его знаковой природой. Он называет три таких условия.

Первое условие возникновения языка — это природная *способность людей производить членораздельные звуки*, которые мы называем словами: для сообщения мыслей «...как по обилию, так и по скорости удобнее всего были членораздельные звуки» [Локк 1985: 462], они «являются самыми лучшими и быстрыми знаками, на какие мы способны» [Там же: 367].

Второе условие возникновения языка — это способность «*пользоваться этими звуками как знаками внутренних представлений* и обозначать ими *идеи* в своем уме, чтобы они могли сделаться известными другим и чтобы люди могли сообщать друг другу свои мысли» [Там же: 459]. В понимании Локка, «*слова — чувственные знаки, необходимые для общения*» [Там же: 461].

Употребление слов для сообщения наших мыслей другим предваряется употреблением слов для закрепления наших собственных мыслей в помощь нашей памяти [Там же: 534]. В характеристике двоякого употребления слов Дж. Локк следует Т. Гоббсу, который в соответствии со своим пониманием иерархии функций языка различал слова–*метки* для воспоминания мыслей и подкрепления памяти и слова–*знаки* для сообщения своих мыслей и чувств другим людям [Гоббс 1964, 1: 62].

В определении Т. Гоббса, «*имя есть слово, произвольно выбранное нами в качестве метки, чтобы возбуждать в нашем уме мысли, сходные с прежними мыслями, и одновременно, будучи вставленным в предложение и высказанным кем-либо другим, служить признаком того, какие мысли были и каких не было в уме говорящего*» [Антология... 1970, 2: 345].

Возникновение имен Гоббс считает несомненным результатом произвола, «*ибо тот, кто наблюдает, как ежедневно возникают новые имена и исчезают старые и как различные нации употребляют различные имена, кто видит, что между именами и вещами нет никакого сходства и недопустимо никакое сравнение, не может серьезно думать, будто имена вещей вытекают из их природы*» [Там же], тем более что имена называют не только вещи и свойства, существующие в природе или воображаемые. Есть еще «*отрицательные имена*» типа *ничто, никто, непостижимое* и «*пустые звуки*» (сочетания несовместимых имен) типа *невещественное тело* или *круглый четырех-*

угольник [Антология... 1970, 2: 325]. Всё это, по мнению Гоббса, указывает на то, что имена определяются не сущностью вещей, а волей и соглашением людей.

Дж. Локк также убежден, что слова «стали употребляться в качестве *знаков* идей не по какой-нибудь естественной связи, имеющей между отдельными членораздельными звуками и определенными идеями (ибо тогда у всех людей был бы только один язык), а по произвольному соединению, в силу которого такое-то слово произвольно было сделано знаком такой-то идеи. Стало быть, употребление слов состоит в том, что они суть чувственные знаки идей, и обозначаемые ими идеи представляют собой их настоящее и непосредственное значение» [Локк 1985: 462]. Как видно, Локк отождествляет значение с обозначаемыми идеями, что говорит о неразличении языкового и мыслительного содержания.

Настаивая на том, что «...значение звуков не дано от природы, а только присоединено [людьми], и притом произвольно» [Там же: 482], Локк не считает, однако, что между звучанием и значением слова вообще нет никакой связи. Напротив, «...поскольку словам присущи [определенное] употребление и значения, постольку существует постоянная связь между звуком и идеей и звук предназначен обозначать идею... <...> ...Общее употребление в силу молчаливого соглашения во всех языках приравнивает определенные звуки к определенным идеям» [Там же: 465]. «...*От постоянного употребления между определенными звуками и идеями, которые ими обозначаются, образуется столь тесная связь, что названия, когда их слышат, почти так же легко вызывают определенные идеи, как если бы сами предметы, способные вызывать эти идеи, на самом деле воздействовали на чувства*» [Там же: 464]. (Ср. с учением И. П. Павлова об условных рефлексах, вырабатывающихся на основе второй сигнальной системы.)

В дальнейшем Э. Б. де Кондильяк показал, что и присоединение значений к звукам не является абсолютно произвольным ввиду отношений «аналогии» между знаками (иначе говоря, их системной мотивированности). Благодаря «аналогии» значение неизвестного знака может быть выведено из значения известного знака. Тем самым обеспечивается взаимопонимание в процессе общения.

Третье условие возникновения языка — это способность «*делать эти звуки общими знаками*», обозначающими общие идеи в отвлечении от обстоятельств времени и места и всех других идей, которые могут быть отнесены к какому-либо отдельному предмету [Там же: 459, 467–468]. Так, за исключением собственных имен, «...одно

слово стало обозначать множество отдельных предметов» [Локк 1985: 459].

«Каждая отдельная вещь не может иметь свое название» [Там же: 466] по трем причинам.

1. Ввиду ограниченности человеческой памяти невозможно «образовать и удержать в памяти отличные друг от друга идеи всех отдельных вещей» и особые названия, относящиеся к каждой из этих идей.

2. Для достижения главной цели языка — передачи мыслей и понимания — не годятся названия, относимые к единичным вещам, идеи которых имеются лишь в уме одного данного человека. Такие названия не могут быть понятными для других людей, незнакомых с этими отдельными вещами.

3. Такие названия малопригодны для совершенствования знания, требующего сведения вещей в виды под общими названиями [Там же: 466–467].

К сказанному следует добавить, что не только каждая отдельная вещь обычно не имеет названия, но и не все классы вещей, и не все возможные сочетания простых идей в сложные идеи получают имена в каждом данном языке. «...Причина этого в цели языка. Так как язык имеет целью обозначение или сообщение людьми друг другу своих мыслей с возможно большей скоростью, то люди... снабжают именами такие сочетания идей, которые часто употребляются ими в жизни и разговорах, оставляя другие, которые они редко имеют случай упоминать, разрозненными и без имен, способных связать их в одно целое. А в случае необходимости они предпочитают скорее перечислять составляющие их простые идеи, приводя обозначающие их отдельные имена, нежели обременять свою память умножением сложных идей вместе с их именами, которые им придется редко, а может быть и никогда не придется, употреблять. <...> Это показывает нам, почему в каждом языке бывает немало отдельных слов, которые нельзя перевести каким-либо одним словом другого языка. Так как различные образы жизни, обычаи и нравы делают близкими и необходимыми для одного народа различные сочетания идей, которые другой народ никогда не имел случая сделать или на которые он, быть может, не обращал внимания, то, разумеется, к таким сочетаниям присоединяют имена, чтобы избежать длинных описательных оборотов относительно повседневно упоминаемых вещей, и таким образом они становятся в уме отличными друг от друга сложными идеями» [Там же: 340–341]. Так Дж. Локк объясняет *избирательность наименования* как одно из важнейших проявлений межъязыковых различий.

По той же причине «...языки постоянно изменяются, принимают новые и отбрасывают старые слова. Так как перемена в обычаях и взглядах влечет за собой новые сочетания идей, о которых необходимо часто мыслить и говорить, то во избежание длинных описаний к ним присоединяются новые имена» [Локк 1985: 341].

Таким образом, Локк, анализируя языковые знаки, принимает во внимание все составляющие «семантического треугольника»: обозначаемый объект, его идею и членораздельный звук–слово как знак. Локком рассмотрены отношения между объектом и словом, между словесным знаком и идеей и, что особенно важно, между идеей–значением и обозначаемым объектом. Установлены: общий характер языковых знаков, их произвольность, разная степень соответствия идеи обозначаемому объекту. Различие обозначаемых идей по степени соответствия вещам и их свойствам влечет за собой различия в степени неопределенности значений слов [Там же: 535]. Поскольку «в устах каждого человека слова обозначают те идеи, которые у него имеются и которые он хотел бы выразить ими» [Там же: 463], постольку значения слов, обозначающих такие произвольные совокупности идей, которые соединяются вместе по воле ума, по собственному усмотрению говорящих, не могут не различаться у разных людей [Там же: 537]. «Так как во всех языках значение слов сильно зависит от мыслей, понятий и идей того, кто их употребляет, то... оно неизбежно должно быть очень неопределенным [даже] у людей одного языка и одной страны». В частности, чтение сочинений греческих писателей приводит Дж. Локка к заключению, что «...почти у каждого из них особый язык, хотя слова одинаковы» [Там же: 547]. Позднее Э. Б. де Кондильяк распространяет это положение на всех носителей языка [Кондильяк 1980: 261].

## **6.2. Основные методологические подходы к теории языкового знака в XIX — начале XX в.**

### **6.2.1. Синтезирующий подход**

**В. фон ГУМБОЛЬДТ.** Важнейшим этапом в исследовании языка как единства объективного и субъективного, отражения и обозначения явилось учение В. фон Гумбольдта. Согласно Гумбольдту, язык выступает посредником между миром и человеком, природой и духом. Это его детерминантное свойство. В результате взаимосвязанных воздействий реальной природы вещей, субъективной природы народа

и своеобразной природы языка<sup>2</sup> каждый отдельный язык «одновременно есть и отражение и знак, а не целиком продукт впечатления о предметах и [не целиком] произвольное творение говорящего» [Гумбольдт 1984: 319–320]. Соотношение отражательных и знаковых свойств разнится от языка к языку в зависимости от духа данного народа, от способа укоренения его в действительности [Там же: 172], а именно от индивидуальной направленности народа на чувственное созерцание, на внутреннее восприятие или на отвлеченное мышление [Там же: 177], и, следовательно, от того, «вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности» [Там же: 104]. В соответствии с преобладающей направленностью сознания либо на глубины духа, либо на внешнюю действительность [Там же: 173], «один язык несет в себе больше последствий своего употребления, больше условности, произвола, другой же ближе стоит к природе» [Гумбольдт 1985: 379–380].

Активное взаимодействие языка с природой и духом, превращающее язык в единстве с существующим благодаря ему мышлением в орган оригинального мышления и восприятия нации, не позволяет сводить язык к номенклатуре предметов и/или понятий. «Тот, кто задумывался когда-либо над природой языка, не осмелится утверждать, — полагает Гумбольдт, — что язык — это совокупность произвольных или случайно употребляющихся знаков понятий, что слово не имеет другого назначения и силы, кроме того, чтобы отсылать к предмету, представленному либо во внешней действительности, либо в мыслях» [Гумбольдт 1984: 324]. Поскольку «...языковые образования возникают в результате взаимодействия внешних впечатлений и внутреннего чувства в соответствии с общим предназначением языка, сочетающим субъективность с объективностью в творении идеального, но не полностью внутреннего и не полностью внешнего мира» [Там же: 123], Гумбольдт считает вредным и ограниченным мнение, будто «...слово есть не что иное, как знак для существующей независимо от него вещи или такого же понятия» [Там же: 304]. Вслед за Э. Б. де Кондильяком В. фон Гумбольдт утверждает, что обозначаемые вещи не воспринимаются сами по себе помимо языка и человек «живет с предметами так, как их преподносит ему язык», а что касается понятий, то «ни одно понятие невозможно без языка» [Там же: 80], ибо оно вторично по отношению к слову. Таким

---

<sup>2</sup> Самому языку принадлежит, в частности, художественный творческий принцип, сближающий его с искусством [Гумбольдт 1984: 109].

образом, «слово, действительно, есть знак, до той степени, до какой оно используется *вместо* вещи или понятия» [Гумбольдт 1984: 304; выделено мною. — Л. 3.]. Но не более.

Хотя понятие знака связывается с произволом говорящего [Там же: 320], однако в трактовке Гумбольдта знаковая не тождественна произвольности, а произвольность не означает субъективности, ибо под произвольностью он понимает, скорее, *неопределенность* семантических составляющих знака, чем немотивированность (см. ниже), а под субъективностью — духовное своеобразие данного народа и каждого отдельного индивида в его составе, которое обуславливает самобытное мировидение, накладывающее свой отпечаток на объективное восприятие [Там же: 80, 166].

Коль скоро «...ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное», то и слово «есть отпечаток не предмета самого по себе, но его образа, созданного этим предметом в нашей душе» [Там же: 80] на основе субъективного восприятия последнего (и, значит, так называемый «семантический» аспект знака, по Гумбольдту, неотделим от «прагматического»). Поэтому «...слово — не эквивалент чувственно воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова». А так как осмыслен он может быть в разные моменты и разными людьми по-разному — через разные свойства и разные соотносительные понятия, то именно здесь Гумбольдт видит главный источник не только многообразия выражений для одного и того же предмета [Там же: 103], но и возможных расхождений в значениях [Там же: 320]. «...Сколько обозначений, столько и свойств, через которые осмысливается предмет». Каждое из этих свойств и есть то «звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий», благодаря которому в процессе общения «...у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы» и в пределах которого, «пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова» [Там же: 166].

Диалектика слова, его специфика как знакового образования состоит, следовательно, в том, что «слово не является изображением вещи, которую оно обозначает, и в еще меньшей степени является оно простым обозначением, заменяющим саму вещь для рассудка или фантазии. От изображения оно отличается способностью представлять вещь с различных точек зрения и различными путями, от простого обозначения — тем, что имеет свой собственный определенный чувственный образ»

[Гумбольдт 1984: 305]. И то и другое наводит Гумбольдта на мысль, что «...слово проявляет себя как сущность совершенно особого свойства, сходная с произведением искусства» [Там же: 306].

Раскрывая свойства слова, отличающие его от обычного понятия условного знака, Гумбольдт связывает их не только со способом представления — внутренней формой — означаемого (т. е. с означающим компонентом семантической структуры словесного знака), но и с особенностями самого *означаемого*, тем более что именно они определяют характер означающего. Главное, что отличает означаемое, будь то конкретный физический или «внефизический» предмет, — это его *неопределенность*.

Прежде всего Гумбольдт обращает внимание на «неопределенность предметов, при которой представление их не должно быть всякий раз ни исчерпывающим, ни раз и навсегда данным, поскольку оно способно на всё новые и новые преобразования, — неопределенность, без которой была бы невозможна самодеятельность мышления». В сравнении с неопределенностью конкретных предметов «мысли и чувства имеют соответственно еще менее определенные очертания, могут быть многосторонними, представляемыми в большем числе чувственных образов» [Там же: 306]. Поэтому «...как бы ни был богат и плодотворен вечно юный и вечно подвижный язык, никогда невозможно представить подлинный смысл, совокупность всех объединенных признаков подобного слова (речь идет об обозначении “внефизических” предметов. — Л. З.) как определенную и завершенную величину» [Гумбольдт 1985: 365]. «И как невозможно исчерпать содержание мышления во всей бесконечности его связей, так неисчерпаемо множество значений и связей в языке» [Гумбольдт 1984: 82]. Неопределенность и неисчерпаемость для познания предметов внешнего и внутреннего мира, неопределенность мыслительного содержания коррелируют с известной неопределенностью и потенциальной неисчерпаемостью языкового содержания. Масса оформившихся элементов языка «несет в себе живой росток бесконечной определимости» [Там же: 82]<sup>3</sup>, что заложено в самом характере внутренней формы и что становится вполне очевидным при сравнении языков, когда особенно отчетливо выявляется разнообразие точек зрения на способы обозначения. Вследствие единства объективного и субъективного «...многосторонность предметов в сочетании со множественностью механизмов понимания делают число

---

<sup>3</sup> В переводе А. А. Потебни — «без конечной определимости» [Потебня 1976: 180].



этих точек зрения неопределенным» [Гумбольдт 1985: 378]. В таких условиях выбор одной из них тоже оказывается достаточно неопределенным и может быть истолкован как произвольный даже при тех ограничениях на выбор, которые задает внутренняя форма данного языка, *мотивированная* способом укоренения данного народа в действительности, его духом.

Совмещение отражательных и знаковых свойств в языковом содержании влияет и на отношение звука и значения. «Кажется совершенно очевидным, — пишет Гумбольдт, — что существует связь между звуком и его значением; но характер этой связи редко удается описать достаточно полно, часто о нем можно лишь догадываться, а в большинстве случаев мы не имеем о нем никакого представления» [Гумбольдт 1984: 92]. Тем не менее Гумбольдт говорит о *согласованности между звуком и мыслью* [Там же: 75]. Эта согласованность и составляет **принцип знака** как неотъемлемой части языка, вбирающей в себя свойства целого.

Знак образуется во взаимодействии сил, создающих обозначаемое, с обозначающими силами. Типичный языковой знак — слово, так что «словесное единство в языке имеет двоякий источник: оно коренится во внутреннем, соотнесенном с потребностями мыслительного развития, языковом сознании и в звуке». Обусловленная мышлением «потребность языкового сознания в символическом речевом представлении всех различных видов понятийного единства» приводит к тому, что «...оба фактора — внутреннее языковое сознание и звук — взаимодействуют между собой, причем последний приспособляется к потребностям первого, и трактовка звукового единства тем самым превращается в символ искомого определенного понятийного единства. Последнее, будучи таким образом воплощено в звуке, пронизывает всю речь в качестве одухотворяющего принципа, и звуковая форма, искусно образованная мелодически и ритмически, в свою очередь оказывает обратное воздействие на дух, укрепляя в нем связь организующих сил разума с творческой фантазией, в результате чего переплетение сил, направленных вовне и вовнутрь, к духу и к природе, возвышает жизнь и приводит к гармонической подвижности» [Там же: 127–128]. Так в знаке воплощается единство внутренней и внешней формы языка в результате их синтеза и тем самым совершается единение духа и природы, посредником между которыми служит язык.

Единство звука и понятия / значения в словесном знаке, в свою очередь, сопряжено с таким сущностным свойством языка, как **члено-**



*раздельность*. Каждая из соединяющихся в слове сфер — и звуковая, и мыслительная — членится не сама по себе, а в тесной взаимосвязи с другой [Гумбольдт 1984: 317]. В силу членораздельности, позволяющей формировать из элементов отдельных слов неопределенное число других слов, слово предстает «в своей форме как часть бесконечного целого, языка», а сам язык — как «вечно порождающий себя организм» [Там же: 78].

В иерархическом членении языкового целого слово обнаруживает структурную неоднородность. В отношении к конструкции предложения оно выступает как индивидуальная сущность, как одно *неделимое целое*, обладающее *внешним единством*. В отношении к составляющим его элементам, экспонирующим разные взаимосвязанные понятия, слово есть нечто *членораздельное* и как таковое обладает *внутренним единством* [Там же: 78, 127]. Степень внутреннего словесного единства зависит от того, однородны обозначаемые понятия или нет, а это в свою очередь определяется тем, как осуществляется в данном языке *категоризация*.

В языковой категоризации триединство мира, человека и его языка получает наиболее явное системное выражение.

Как «вечный посредник между духом и природой» [Там же: 169], как «отражение и знак» [Там же: 320], как «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» [Там же: 63], язык сочетает в слове два принципа: объективный принцип обозначения понятия и субъективный принцип логического подразделения, осуществляющий перевод понятия в ту или иную категорию [Там же: 118–119].

Согласно Гумбольдту, «перевод понятия в определенную категорию мышления есть новый акт языкового самосознания, посредством которого единичный случай, индивидуальное слово, соотносится со всей совокупностью возможных случаев в языке или речи. Только посредством этой операции, осуществляемой в самых чистых и глубоких сферах и тесно связанной с самой сущностью языка, в последнем реализуется с надлежащей степенью синтеза и упорядочения связь его самостоятельной деятельности, обусловленной мышлением, и деятельности, обусловленной исключительно восприимчивостью и более связанной с внешними впечатлениями» [Там же: 118]. И взаимодействие звука с языковым сознанием, и обратное воздействие звуковой формы на дух — это во многом следствие языковой категоризации. Благодаря категоризации, в особенности благодаря первоначальным категориям мышления, которые «сами по себе образуют

взаимозависимое целое» [Гумбольдт 1984: 118], язык обретает целостность и систематическую завершенность, что не может не отразиться в строении словесного знака.

Именно благодаря категоризации создается и та «согласованность между звуком и мыслью», на которую указывает Гумбольдт. Более того, поскольку «общие отношения... образуют закрытые системы», «...понятия этого класса выступают в устойчивой аналогии со звуками» [Там же: 94]. Примечательно, что аналогический способ звукового обозначения понятий проявляется, по Гумбольдту, не столько в присутствии самим этим звукам характере, сколько в наличии «в звуковой системе словесных единств определенной протяженности» [Там же]. Внутри простых производных слов, по наблюдениям Гумбольдта, происходит стирание значения и звучания, сокращение компонента, выражающего общее, модифицирующее понятие, в противовес компоненту, заключающему в себе более индивидуальное или определенное обозначение [Там же: 117]. Различение типов словесных знаков и их компонентов по степени протяженности, обнаруживая категориальную мотивированность означающих, ограничивает произвольность языковых знаков.

Значимость этих и других категориальных различий в аспекте взаимодействия языкового сознания и звука тем более велика, что «...мы можем подходить к изучению этого вопроса лишь с обратной стороны, двигаясь к внутреннему сознанию от звуков и их анализа» [Там же: 120]. По мысли Гумбольдта, такой подход к исследованию взаимодействия языкового сознания и звука не только вынужден, но и оправдан, ибо языку присуще соответствие звука действиям духа и, «...подобно языку, он (звук. — Л. З.) отражает вместе с обозначаемым объектом вызванные им ощущения и во всё повторяющихся актах объединяет в себе мир и человека, или, говоря иначе, свою самостоятельную деятельность со своей восприимчивостью» [Там же: 76].

Типологические расхождения во взаимодействии языкового сознания со звуком в словесном знаке также определяются тем, как осуществляется категоризация: получает ли слово модифицирующее категориальное обозначение «применительно к своему положению в речи», т. е. не с помощью грамматических показателей, а через фиксированный порядок слов, как в изолирующих языках, или же «...слово образуется от корня при помощи присоединения к нему общего понятия» [Там же: 118], как в синтетических языках. В последнем случае важно, что обозначается — классы реальных объектов или формы мышления и речи — и каким образом происходит объединение в слове

двух указанных принципов — посредством механического присоединения к индивидуальному понятию определительного дополнительного понятия, т. е. сочетанием двух элементов, как в агглютинативных языках, или посредством одного элемента, переведенного в определенную категорию путем модификации внутренней или внешней, как во флективных языках [Гумбольдт 1984: 119–125].

В соответствии с характером категоризации и нагрузкой грамматических показателей в составе словесного знака языки образуют определенную шкалу. На этой шкале китайский, с одной стороны, и санскрит с семитскими языками — с другой, «образуют два четких конечных пункта», «...все остальные языки можно считать находящимися посредине, то есть между указанными конечными пунктами» [Там же: 244].

**А. А. ПОТЕБНЯ.** Наиболее полное воплощение синтезирующий системный подход получает в знаковой теории А. А. Потебни. Ее истоки восходят к учению В. фон Гумбольдта.

Детерминантой лингвистической концепции Потебни и его знаковой теории является признание за языком познавательной функции в качестве наиважнейшей. По определению Потебни, «язык есть средство познания» [Потебня 1981: 133], «известная система приемов познания» [Потебня 1976: 259]. Опосредуя связь человека с миром, «язык постоянно остается посредником между познанным и вновь познаваемым. Как вещественные значения, так и формы должны быть рассматриваемы как средства и вместе акты познания» [Потебня 1958: 59]. Сама форма существования языка есть деятельность, направленная к познанию человеком мира и самого себя, деятельность, слагающая и постоянно развивающая мирозерцание и самосознание человека и тем самым меняющая отношение личности к природе [Потебня 1981: 113; 1976: 171], иначе говоря, отношение субъективного к объективному.

Познавательная функция языка предопределяет его активную роль в мышлении. Являясь генетически одной из форм мысли [Потебня 1958: 70], знаменующей переход от бессознательности к сознанию [Потебня 1976: 69] и самосознанию, «...язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее» [Там же: 171]. Язык возникает как средство преобразования первоначальных доязычных элементов мысли [Там же: 259] и служит могущественным средством дальнейшего развития и совершенствования мысли [Там же: 153, 201], ее «преобразовательной машиной», причем у каждого народа она своя [Потебня 1973: 238].

Будучи формой мысли, ее «преобразовательной машиной», язык выполняет двоякую функцию в отношении к миру и человеку, его познающему. Сводя почти необъятное множество признаков, составляющих мир познания человека, к ограниченному числу признаков, служащих знаками—представлениями значений, язык как система знаков не только преодолевает противоречие между бесконечностью мира и его познания, с одной стороны, и крайней ограниченностью «сцены» человеческого сознания — с другой [Потебня 1981: 133; 1976: 520], но и оказывается способным к неопределенному, к безграничному расширению [Потебня 1981: 134], чтобы удовлетворить требования постоянно развивающейся мысли, дать каждому индивиду возможность самовыражения и обеспечить взаимопонимание в процессе общения.

Оба указанных свойства языка Потебня объясняет своеобразной природой языкового знака исходя из разграничения внеязычного (мыслительного) и язычного содержания и выявления роли последнего в познавательной деятельности и мышлении, в процессе общения. Язычное содержание, заключенное а) в «**представлении**», т. е. признаке—посреднике между вновь познаваемым и прежде познанным, который служит средством их сравнения [Потебня 1976: 543], и б) в «**ближайшем значении**», является *способом представления, внутренней формой, символом, внутренним знаком* мыслительного содержания, заключенного в «*дальнейшем*», «*внешнем значении*». В соответствии с данным разграничением означаемое внешнего знака имеет иерархическую структуру, между компонентами которой устанавливаются отношения последовательного намекания: *представление* → *ближайшее значение* → *дальнейшее значение*. В этой иерархии семантически более бедный и формальный компонент служит *намеком* на более содержательный. Ближайшее значение является непосредственным знаком дальнейшего значения. Представление выступает знаком по отношению к ближайшему значению и знаком знака по отношению к дальнейшему.

*Внешний знак* или внешняя (звуковая) форма слова, поскольку «...произнесение звука посредствуется его образом в душе» [Там же: 111], имеет две стороны — физическую и психическую. Пока сохраняется представление, внешняя форма является знаком по отношению к представлению, знаком знака по отношению к ближайшему значению и знаком знака знака по отношению к дальнейшему значению. В словах с забытым представлением внешняя форма оказывается знаком ближайшего значения и знаком знака дальнейшего значения. (См. схему.)

## СХЕМА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА ПО А. А. ПОТЕБНЕ

ПРЕДМЕТ КАК ПОЗНАВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ



ДАЛЬНЕЙШЕЕ (ВНЕШНЕЕ) ЗНАЧЕНИЕ

*Мыслительное, лично-объективное содержание в форме образа или понятия. Неопределенное открытое множество признаков, меняющееся от одного носителя языка к другому. Содержит все знания индивида о предмете на данный момент. Эволюционирует от очень ограниченного целостного конкретного чувственного образа через все более расчлененный и насыщенный образ к понятию, которое никогда не может стать замкнутым целым ввиду неисчерпаемости признаков познаваемого объекта.*

**Внеязычное содержание — предмет других наук**



БЛИЖАЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

← частное лексическое  
→ общее грамматическое

*Формальное, наименьшее, народное значение, которое содержит определенное конечное число признаков, общее для всех носителей данного языка в данную эпоху.*

**Внутренняя форма внеязычного содержания мысли (= языковое содержание) — предмет языкознания**



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

← лексического значения  
→ грамматической формы

*Признак, взятый из значения предшествующего слова и служащий знаком значения данного слова. Признак как средство сравнения познаваемого с прежде познанным, посредник между ними (утрачивается с ростом значения слова по мере познания объекта действительности). Это средство: а) объединения остальных признаков образа вокруг представления как центра образа; б) осознания единства образа; в) обобщения, классификации наблюдаемых явлений; г) понимания себя и других.*



ПСИХИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СЛОВА



ФИЗИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ СЛОВА

*Звуковая оболочка слова (= звучащее слово), внешний знак содержания.*

**Внешняя форма**

Следует особо подчеркнуть, что в языке как средстве познания структура знака не может быть ограничена только психическими составляющими, как у Ф. де Соссюра [Соссюр 1977]. Она должна включать в себя и познаваемый предмет, и звук, объективирующий мысль, без чего, как полагает А. А. Потебня, невозможно самопознание [Потебня 1976: 306], ибо «человек обращается внутрь себя только от внешних предметов, познает себя сначала только вне себя» [Там же: 203], так что и «...сознание содержания мысли в звуке... не может обойтись без понимания звука другими» [Там же: 113].

Определяющую роль в мыслительной деятельности, в процессах познания, именовании, общения и, соответственно, в структуре словесного знака Потебня отводит представлению, или *образу* значения [Потебня 1989: 215]. Из сопоставления представления со значением следует, «а) что собственное значение слова не есть полное содержание мысли, связанной со словом, а только один признак, символически обозначающий эту мысль, что слово есть *представление* мысли; б) что изменение значений одного и того же слова и образование от известного слова новых слов устанавливает прежде всего связь представлений, а потом — всего того, что мыслится под представлениями. В этом установлении связи обнаруживается влияние языка на мысль. Принятое в языке сочетание представлений становится исходною точкою для мысли всех говорящих этим языком. <...> Повторение одинакового способа сочетаний образует привычку мысли» и обуславливает «сгиб народного ума, насколько он зависит от языка» [Там же: 444–445].

Именно с представлением Потебня связывает одно из двух существенных общечеловеческих свойств языка — символичность<sup>4</sup>. Все языки с внутренней стороны — «системы символов, служащих мысли» [Потебня 1976: 259]. «Слово только потому есть орган мысли и непрременное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения» [Там же: 196]. В слове, так же как в художественном произведении, различаются внешняя форма, внутренняя форма и содержание. Например, в скульптуре «это — *мраморная* статуя (внешняя форма) женщины с мечом и весами (внутренняя

---

<sup>4</sup> Другое общечеловеческое свойство языков — членораздельность — сам Потебня относит только к звукам [Потебня 1976: 259]. Однако, по сути, через анализ представления он показал механизмы членимости (членораздельности) и в семантической сфере.

форма)..., представляющая правосудие (содержание)» [Потебня 1976: 175].

Все указанные выше свойства языка: как средства познания, как посредника между познанным и вновь познаваемым, как формы мысли, в которой осуществляется переход от бессознательности к сознанию и самосознанию, как средства создания и преобразования мысли — заключены прежде всего в представлении, которое для Потебни и есть собственно знак-символ.

По его определению, «знак в слове есть необходимая (для быстроты мысли и для расширения сознания) замена соответствующего образа или понятия; он есть представитель того или другого в текущих делах мысли» [Потебня 1958: 18]. Содержание мысли, «*значение*, то есть то, что в слове дано чувственным восприятием, *представляет множество признаков, представление — только один*. Следовательно, из значения в представлении устранено всё, кроме того, что почему-то показалось существенным» [Потебня 1989: 215]. Так, «...чувственный образ травы как снеди заключает в себе много признаков, из которых для образования слова выбран лишь один»: слово *трава* в значении 'корм скота' возводится к церковнослав. *травути* 'есть' [Там же: 217].

Замена образа или понятия представлением осуществляется не сама по себе, а через связь, через *сравнение* с другим образом или понятием. Иначе и быть не может, ибо, согласно Потебне, «...исходная точка языка и сознательной мысли есть сравнение» [Потебня 1976: 209], что вытекает из его роли в процессе познания. В понимании Потебни, «познание есть приведение в связь познаваемого (Б) с прежде познанным (А), сравнение Б с А при помощи признака, общего и тому и другому» [Там же: 301]. Соответственно, знак в слове «есть общее между двумя сравниваемыми сложными мысленными единицами, или основание сравнения, *tertium comparationis* в слове» [Потебня 1958: 17]. Этим общим выступает один признак-посредник, который берется из круга признаков, составляющих значение (мыслительное содержание) предыдущего слова [Там же: 25], и является одним из объективных признаков обозначаемого предмета [Потебня 1976: 116]. Таким образом, данный признак связывает значение предыдущего слова со значением последующего слова.

По отношению к обоим этим значениям, каждое из которых включает более или менее сложную совокупность признаков, связывающий их признак является лишь указанием, отношением, но не воспроизведением [Потебня 1958: 17–18, 27–28]. Отсюда *знаковый* характер



данного признака, несмотря на то что сам он принадлежит к кругу признаков обозначаемого, а не находится вне и, так же как другие его признаки, имеет *отражательную* природу; несмотря на то что, будучи внутренней формой содержания, он составляет часть его (ср.: [Потебня 1976: 264]) и с этой точки зрения *не является произвольным*. Присутствие подобного символизма уже в самых начатках человеческой речи приводит Потебню к заключению: «в создании языка нет произвола» [Там же: 116].

Однако отражательная природа признака–представления еще не означает исчерпывающей мотивированности его знакового использования — и ввиду известной случайности закрепления знаковой функции именно за данным признаком, и ввиду «текучести значения» [Там же: 373], т. е. представляемого, обозначаемого содержания мысли. Коль скоро «...мир... неисчерпаем для познания» [Потебня 1958: 59] и «...количество признаков в каждом кругу восприятий неисчерпаемо», так что «...понятие никогда не может стать замкнутым целым» [Потебня 1976: 194], коль скоро «...немыслима точка зрения, с которой бы видны были все стороны вещи», коль скоро «...в слове невозможно представление, исключающее возможность другого представления» [Там же: 229], то нельзя исключить и известную *случайность* ассоциативной связи данного познаваемого объекта именно с этим, а не с каким-либо другим познанным объектом, например круглого матового колпака лампы с арбузом, а колоса кукурузы с веретеном пряжи [Потебня 1958: 17, 27], и именно по данному, а не какому-либо иному признаку, тем более что выбор признака–представления не является осознанным.

Выступая средством доводить до сознания новое значение [Там же: 34] и инстинктивным началом самосознания [Потебня 1976: 170], представление возникает в сфере бессознательного. «...Само оно сознается только тогда, когда направим внимание на свойства нашего слова. Его можно сравнить с глазом, который сам себя не видит» [Потебня 1958: 34–35].

Несмотря на семантическую бедность, а скорее всего, именно благодаря ей, представление играет главную роль в познании и в видоизменении доязычной мысли, и «...только представление вызывает дальнейшие, исключительно человеческие преобразования чувственного образа» [Потебня 1976: 147], подготавливающие условия для перехода от образа к понятию.

Сама возможность постоянного роста мыслительного содержания и, следовательно, расширения значения слова также заложена



в представлении. Благодаря его активной роли содержание в известном смысле выводится из формы, составляющей часть самого содержания. В самом деле, «...лишь объединив чувственные образы посредством представления, мы создаем такой объект мысли, которого содержание способно развиваться, — создаем формы, в которые удобно будет ложиться всякий новый признак» [Потебня 1989: 216].

Применение слова к новым признакам, заключенным в значении слова помимо представления, расширяет его содержание. Вместе с тем растет несоответствие между представлением и значением. По мере того как «посредством соединения представления с другими представлениями производится расчленение образа, *превращение его в понятие*» [Потебня 1976: 302], разрыв между представлением и значением увеличивается. Когда в ряду других признаков представление оказывается несущественным, оно теряется [Потебня 1989: 222–223; 1976: 176].

В результате структура как означаемого, так и знака в целом в трактовке Потебни оказывается весьма динамичной. Эта динамичность обусловлена тем, что ввиду историчности человеческого познания [Потебня 1976: 306] «...содержание самосознания, то есть разделение всего, что есть и было в сознании, на *я* и *не-я*, есть нечто постоянно развивающееся» [Там же: 170]. Соответственно, в ходе познавательной деятельности изменяется и отношение людей к знакам, и воздействие знаков на людей. С эволюцией мировосприятия и самосознания изменяется оценка самой знаковой функции, зависящая от того, осознают или нет носители языка, что словесный знак только обозначает и называет предмет, но не есть сам этот предмет, его суть, что язычное и мыслительное содержание (представление и значение) разнородны и не тождественны.

Неоднократно подчеркивая нетождественность знака–представления и значения [Потебня 1958: 18, 34] и указывая на недопустимость смешения свойств слова и свойств образа и понятия [Там же: 53], Потебня дает пространственное осмысление отношений как внутри языкового знака, так и между языковыми знаками. В само определение знака Потебня включает пространственные ориентиры. «Знак важен для нас не сам по себе, а потому, что, будучи доступнее означаемого, служит средством *приблизить* к себе это последнее, которое и есть настоящая цель нашей мысли. Означаемое есть всегда нечто *отдаленное*, скрытое, трудно познаваемое сравнительно со знаком» [Там же: 16; выделено мною. — Л. 3.].

В своем анализе отношений между означаемым и означающим (прежде всего между значением и его представлением) Потебня исходит из того, что «язык есть искусство, и речь, как всякое произведение искусства, не равна изображаемому» [Потебня 1977: 139]. То же относится и к отдельному словесному знаку, который как элемент языка есть акт бессознательного творчества и обладает свойствами художественного произведения, несмотря на особую природу изобразительности в слове. «...Нет слова, которое могло бы “изобразить”, нарисовать форму, вид предмета, ибо слово может иметь или один признак (представление), или не иметь никакого. Изобразительность слова есть живость его представления», т. е. способа обозначения, но не свойство обозначаемого [Потебня 1958: 53].

«...Во всяком вновь возникающем слове обозначение его значения знаком есть всегда иносказание, аллегория, так как между одним признаком (представлением) и массой признаков (значением) всегда находится значительное расстояние» [Потебня 1989: 217]. «Никогда значение слова... не было равно его внутренней форме, т. е. тому признаку, которым обозначено значение» [Потебня 1977: 113]. «Уже при самом возникновении слова между его значением и представлением, то есть способом, каким обозначено это значение, существует неравенство: *в значении всегда заключено больше, чем в представлении*» [Потебня 1976: 302].

При изначальном неравенстве отношение между означающим (представлением, образом) и означаемым (значением, содержанием) интерпретируется носителями языка по-разному — прежде всего в зависимости от накопленного к тому времени «капитала мысли». Пространственная интерпретация этого отношения приобретает мировоззренческую значимость. Чем меньшим капиталом мысли обладают люди, тем вероятнее, что «при недостаточности наблюдений и при чрезвычайно слабом сознании этой недостаточности» [Там же: 437] «...человек не только не отделяет слова от мысли, но даже не отделяет слова от вещи» [Потебня 1989: 206]. Это тем более вероятно, что «...первоначально расстояние между образом и значением было весьма мало» [Потебня 1976: 421] в силу чрезвычайной ограниченности последнего. Лишь позднее, с расширением значения в процессе познания, с осознанием различия между относительно субъективным и относительно объективным содержанием мысли [Там же: 420], человек осознает разнородность образа и значения. Эта эволюция самосознания и отношения личности к природе находит отражение в смене типов языкового мышления — от мифического к собственно поэтическому и далее к прозаическому.

Соответственно меняется структура означаемого как целостности в его отношении к знаку. Мыслительное содержание слова (его дальнейшее значение) эволюционирует от очень ограниченного целостного конкретного чувственного образа через всё более насыщенный и расчлененный образ к понятию. С ростом содержания образа увеличивается расстояние между ним и представляющим его признаком и всё очевиднее становится их несоизмеримость. Когда вместе с образованием понятия представление становится несущественным, всё реже и реже входит в сознание [Потебня 1976: 301] и, наконец, затемняется [Там же: 303], утрачивая функцию представителя известного мыслительного содержания, тогда трехчленная структура означаемого внешнего знака (представление — ближайшее значение — дальнейшее значение) сменяется двучленной (ближайшее значение — дальнейшее значение). С утратой внутреннего знака—представления заместителем ближайшего и дальнейшего значения остается только внешний знак—звук, слово из образного превращается в безобразное, из знака—символа известного содержания — в чистое указание на мысль [Там же: 167].

Сообразно с этим и отношение говорящих к употребляемым знакам становится менее активным ввиду невозможности объяснить их чем-либо, кроме предания [Там же: 299–300]. Но даже когда представление забылось, оно не исчезает бесследно, и связь между звуком и значением лишь кажется произвольной, ибо сохраняется разница между данным словом и соответствующим словом другого языка «в количестве предикатов, вещественным средоточием коих служило представление» [Потебня 1958: 19].

Из сказанного ясно, что, вопреки сложившемуся мнению [Степанов 1983: 24], Потебня вовсе не ограничивается исследованием языковых знаков исключительно в семантическом аспекте. *Семантический аспект органично сочетается у Потебни с прагматическим*, приобретаемая благодаря этому мировоззренческую значимость: *в концепции Потебни отношение знаков к обозначаемым объектам неотделимо от отношения к знакам познающих данные объекты субъектов — носителей языка*. Рассматривая интерпретацию знаков носителями языка в зависимости от степени развития их самосознания, анализируя отношения между элементами слова — между звуком и значением, представлением и значением, в частности выявляя причины неоднозначного соотношения последних и обосновывая таким образом задолго до С. О. Карцевского принцип асимметричного дуализма языкового знака, заложенный в свойствах как познаваемого объекта

(многосторонность любого предмета), так и познающего субъекта (возможность множества различных точек зрения на один и тот же предмет), Потебня тем самым разрабатывает знаковую теорию языка *в единстве семантики и прагматики*.

Не обойден вниманием и собственно прагматический аспект. Потебня анализирует и отношение говорящих к употребляемым словам, и действие речи и слова на говорящего и слушающего [Потебня 1976: 299–300, 305–308]. Вскрывая механизмы понимания — непонимания в речевом общении через структуру знака, через разграничение общих для всех, «народных», значений, с одной стороны, и «личных» значений — с другой, Потебня показывает, что понимание представляет собой творческий акт, состоящий не в передаче, а в возбуждении мысли [Там же: 305–308], и что именно общее для всех язычное содержание, т. е. «ближайшее, или формальное, значение слов, вместе с представлением, делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга» [Потебня 1958: 20]. Непонимание же обусловлено расхождением дальнейших значений, т. е. мыслительного содержания: «...значение, группа признаков объясняемого, составилось в говорящем и понимающем самостоятельно и потому различно» ([Потебня 1989: 226]; см. также [Потебня 1976: 538–539]).

Рассмотрение процесса понимания служит для Потебни новым подтверждением того, что язык как средство создания мысли не является выражением готовой мысли с помощью условных знаков [Потебня 1976: 307].

Не остается без внимания и *синтактика языковых знаков и ее связь с семантикой и прагматикой*. Для Потебни, поставившего во главу угла познавательную функцию языка, немислимо рассмотрение знака вне знаковой ситуации, поскольку только в ней знак выполняет функцию обозначения конкретного предмета или явления реальной действительности. Так как знаковая ситуация реализуется в контексте, актуализирующем значение языковых знаков и отсылающем к конкретному предмету или явлению обозначаемой действительности, Потебня постоянно подчеркивает, что «всякое значение узнается только по контексту» [Потебня 1990: 207] и что «в слове всё зависит от употребления» [Потебня 1958: 41]<sup>5</sup>. «Только в действительной жизни языка, т. е. в связной речи», устанавливается отношение символа—представления к данному обозначаемому, а не к какому-либо иному,

---

<sup>5</sup> Ср. у Гумбольдта: «Как правило, слово получает свой полный смысл только внутри сочетания, в котором оно выступает» [Гумбольдт 1984: 168].

и тем самым определяется реальное значение словесного знака. «Ни реальное, ни формальное значение слова не могут существовать сами по себе» [Потебня 1977: 113]. Именно употребление выявляет синтаксические свойства знака, его отношения к другим знакам в связной речи и в системе языка, а через отношения обнаруживает его ближайшее и дальнейшее значение (подробнее см. в разделе 8.2).

В отличие от Ф. де Соссюра, А. А. Потебня не сводит систему знаков исключительно к синхронии. В языке как исторически развивающейся знаковой системе реальное и формальное значения слова не существуют сами по себе также потому, что знак как символ–представление есть *отношение* к значению *предыдущего* слова и *указание, намек* на значение *последующего* слова [Потебня 1958: 17–18]. Каждое представление обусловлено рядом предшествующих представлений вплоть до начала слова [Потебня 1977: 113], вследствие чего определение значения формы и слова опирается на исторически предшествующие и последующие категории [Там же: 217]. Системно и исторически обусловлены все элементы означаемого, включая дальнейшее и ближайшее значение. С изменением грамматических категорий изменяется и предложение, в котором они возникают и изменяются [Потебня 1958: 82–83] и без которого было бы невозможно разложение чувственного образа и превращение его в понятие, а значит, и расширение значения слова, ибо для этого требуется соединение и сравнение одного чувственного образа с другими, каковое осуществлялось уже в первоначальных предложениях [Потебня 1976: 159].

Развитие отношений между знаками Потебня рассматривает в пространственно-временной перспективе с опорой на противоположение изобразительности / неизобразительности. В системе языка «...для наблюдателя формы и вообще значения распадаются на две группы. Одни стоят, так сказать, на краю горизонта, так что за ними ничего не видно. Таковы слова этимологически темные, коим предшествующих наблюдатель не знает... Другие ближе к наблюдателю, заключают в себе явственные указания на свои предыдущие» [Потебня 1958: 51]. «...Одновременное существование в языке слов образных и безобразных обусловлено свойствами нашей мысли, зависимой от прошедшего и стремящейся в будущее» [Потебня 1976: 303]. В разделении грамматических категорий, в том числе частей речи, на первообразные и производные, исторически предшествующие и последующие действует тот же принцип, что и в отдельных словах: «как вообще в развитии мысли и языка образное выражение древнее безобразного и всегда предполагается им, так, в частности, понятия

действия, качества суть относительно поздние отвлечения» [Потебня 1968: 218]. Это следствие их «неуказуемости» и «неизобразимости» [Там же: 60]. Сходным образом в развитии предложения, так же как в развитии живописи, отсутствие перспективы древнее ее присутствия, паратактические связи грамматических форм внутри предложения [Там же: 163] и между предложениями [Потебня 1958: 128; 1968: 505] древнее гипотактических.

Историческая обусловленность языковых знаков и отношений между ними означает для Потебни принципиальную невозможность проведения такой жесткой разграничительной линии между историей языка и его состоянием, между диахронией и синхронией, какую пытался провести Соссюр, связывавший существование языка как системы произвольных знаков исключительно с синхронией [Соссюр 1977: 113, 116; 1990: 91, 100, 116, 191]. В трактовке Потебни, языковой знак-символ вбирает в себя неисчерпаемость мира для познания [Потебня 1958: 59] и как следствие неограниченность развития языка [Потебня 1976: 436].

Сама возможность развития, в том числе в понимании человеком мира и себя, заложена в первоначальной символичности слова, в способности его внутренней формы благодаря ее ограничению одним признаком возбуждать самое разнообразное и неисчерпаемое содержание без конечной определенности [Там же: 180–182]. Этому способствует динамичность языкового знака, выражающаяся, в частности, в оборачиваемости формы и содержания [Там же: 177–178], когда «...функции знака и значения не раз навсегда связаны с известными сочетаниями восприятий и... бывшее прежде значением в свою очередь становится знаком другого значения», причем «одно значение слова вследствие своей сложности может послужить источником нескольким знакам, т. е. нескольким другим словам» [Потебня 1958: 17]. Наконец, способность языка к безграничному расширению Потебня связывает еще и с тем, что количество комбинаций, которые можно произвести из наличных элементов языка, так же безгранично, как в цифрах и шахматах [Потебня 1981: 134–135], а «...образность отдельных слов и постоянных сочетаний, как бы ни была она заметна, ничтожна сравнительно с способностью языков создавать образы из сочетания слов, всё равно, образных или безобразных» [Потебня 1976: 370].

Таким образом, органичный синтез системного и исторического подходов к языку с семиотическим позволил А. А. Потебне выявить природу словесного знака, осуществить анализ языковых знаков

в единстве семантического, прагматического и синтактического аспектов и показать, как в языковом знаке–символе претворяется диалектическое единство субъективного и объективного, индивидуального (личного) и социального (народного), психического и физического, бессознательного и сознания, чувственного и рационального, как в единстве языкового и мыслительного содержания реализуется единство формы и содержания, а в единстве синтагматики, парадигматики и эпидигматики — единство языковой структуры. Тем самым А. А. Потемне удалось всесторонне раскрыть то, что А. Белый обозначил как «соединяющий смысл символического познания» [Белый 1910: 29].

### **6.2.2. Аспектирующий подход**

Антитезой рассмотренных знаковых теорий синтезирующего типа является по сути теория **Ф. де СОССЮРА**. Расхождения Ф. де Соссюра с В. фон Гумбольдтом и А. А. Потемней предопределены различием в детерминантах их лингвистических концепций.

Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра, весьма последовательная и систематичная, неоднократно рассматривалась с позиций детерминантного подхода, причем детерминанта ее определялась по-разному. Во главу угла ставили то разграничение языка и речи [Звегинцев 1965: 111], то принцип оппозитивного дуализма [Бенвенист 1974: 54–55], то принцип произвольности языкового знака [Де Мауро 1999: 315, 346], то понятие ценности [Слюсарева 1975: 46–68], то понятие системы, сводимой к совокупности отношений [Зубкова 1992: 49–63].

Хотя каждая из указанных характеристик может претендовать на статус детерминирующей, все они, как показал анализ, в свою очередь могут быть возведены к детерминанте еще более высокого ранга, которая, очевидно, и является исходной. Именно она позволяет, с одной стороны, понять специфику языкового знака и языка как общественного установления знаковой природы с исповедуемой Соссюром семиологической точки зрения, а с другой — оценить его концепцию в сравнении с иными знаковыми теориями на базе современных научных представлений.

Теория языкового знака, выдвинутая Соссюром, имела такое влияние на последующее развитие языкознания, что на какое-то время затмила вклад его предшественников. Между тем само понимание знака как двусторонней идеальной сущности восходит к Платону, и не исключено, что у Соссюра оно сложилось не без влияния



картезианцев. Произвольность языковых знаков в сущности доказывает уже Демокрит, анализирувавший явления так называемого асимметричного дуализма.

Утверждение, будто «ни в одной работе проблема знакового характера языка не была определена столь широко, как это было сделано Ф. де Соссюром» [Слюсарева 1975: 31], тоже спорно. В свете современных знаковых теорий, различающих вслед за Ч. С. Пирсом и Ч. У. Моррисом разные типы знаков (иконы, индексы, символы) и разные аспекты отношений, в которых участвуют знаки (семантический, прагматический, синтактический) [Пирс 1983; Моррис 1983], можно прийти к прямо противоположному выводу — о чрезвычайной узости концепции Ф. де Соссюра, особенно в сравнении с учениями В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни. В самом деле, если следовать Соссюру, то все языковые знаки могут быть отнесены или, по крайней мере, возведены (как в случае относительной мотивированности) к одному типу — знаков-символов и должны рассматриваться лишь в отношениях между собой, т. е. исключительно в синтактическом аспекте.

В определении Ч. С. Пирса, «Символ есть знак, который отсылает к обозначаемому им Объекту в силу закона, обычно — ассоциации общих идей, действующего так, чтобы заставлять нас интерпретировать Символ как отсылающий к этому Объекту» [Пирс 2000: 186]. Будучи конвенциональным знаком, зависящим от привычки [Там же: 215], «всякое обычное слово, такое, как “давать”, “птица”, “свадьба”, является примером символа. Он применим к чему бы то ни было, что может воплощать идею, связанную со словом; но сам по себе не идентифицирует этой вещи» [Там же: 216].

Столь узкое понимание Ф. де Соссюром природы языкового знака, а следовательно, и языка в целом вступает в явное противоречие с традицией, идущей от Платона к В. фон Гумбольдту и А. А. Потебне и далее к современному языкознанию. Согласно этой традиции, язык и языковые знаки рассматриваются в отношении к миру и человеку, в единстве семантики, прагматики и синтактики. Как посредник между миром и человеком, сочетающий в себе объективное и субъективное, язык представляет собой *единство* отражательных и знаковых свойств.

Вслед за Дж. Локком, В. фон Гумбольдтом, И. Тэнном [Aarsleff 1982: 357, 366] Ф. де Соссюр также отказывается «считать язык номенклатурой предметов» [Соссюр 1990: 121]. Но в отличие от многих своих предшественников, рассматривавших язык как особую форму



отражения действительности — как специфическое мировидение, Соссюр исходит из того, что «...естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], ибо «...язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на естественном положении вещей» [Соссюр 1990: 94]. Именно это положение, являющееся подлинной детерминантой всей концепции Ф. де Соссюра, определяет, в частности, его трактовку языкового знака.

Соссюр категорически отрицает, что «...у знака существует внешняя опора», а значит, «*сначала дан предмет, затем знак*» [Там же: 121]. По его мнению, «...случаи, когда в психической ассоциации, образующей сему, несомненно имеется *третий* элемент» и «...сема соотносится с некоей достаточно определенной сущностью внешнего порядка» [Там же: 149], не типичны для языка, поскольку «...имена не составляют основу языка. Лишь случайно языковой знак соответствует предмету, производящему определенное воздействие на органы чувств, например *лошадь, огонь, солнце*» [Там же: 120–121], но «...такая сема *не подчиняется* общим законам образования знака» [Там же: 149]. Как правило, отношения в языке строятся в отвлечении от реальной связи, направленной на предмет [Там же: 121], так что важнейшим свойством языковых знаков, с точки зрения Соссюра, является их независимость от реальности, «отсутствие *всякого рода* видимой связи с обозначаемым объектом» [Там же: 91]. Поэтому восходящая к Аристотелю традиционная трехчленная схема знака, связывающая вещь, ее название–слово и «готовое понятие, предшествующее слову» [Соссюр 1977: 99], должна быть для начала заменена двучленной структурой, включающей *понятие* и *слово*.

Однако Соссюр не ограничивается изъятием «вещи». Развивая положение о независимости языка от реальности, он вслед за «вещью» устраняет из схемы знака всякие намеки на то, будто «...в языке есть какая-то субстанциональность» [Там же: 154].

Прежде всего изгоняется звуковая субстанция. «...Звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь используемый языком материал» [Там же: 151]. Изъятие звуковой субстанции согласуется с принятым Соссюром разграничением языка и речи, тоже направленным на утверждение независимости языка от реальности. Поскольку отношение знака к конкретному предмету, обозначаемому в определенной ситуации, реализуется в речи, то неудивительно, что знак, по Соссюру, — элемент не речи, а языка как виртуально существующей системы. Язык же в отличие от психофизической речи — явление чисто психическое

[Соссюр 1977: 45, 57]. Его сущность «не связана со звуковым характером языкового знака» [Там же: 45]. Будучи элементами чисто психической системы, языковые знаки также «психичны по своей сущности» [Там же: 53]. Поэтому в схеме Соссюра «слово» (название), ничего не говорящее о том, какова его природа — звуковая или психическая, заменяется «акустическим образом» [Там же: 99]:



Но и эта схема не удовлетворяет Соссюра. Во-первых, очевидно, потому, что имеющий чувственную природу акустический образ [Там же] и понятие суть формы отражения и как таковые они не могут быть независимы от реальности, а следовательно, в соответствии с исходным постулатом не могут принадлежать языку. Во-вторых, потому, что ни стороны знака, взятые в отдельности, ни знак в целом не даны заранее и не определены сами по себе [Соссюр 1977: 135; 1990: 107–110, 135]. В языке вообще нельзя найти ни одного такого факта или аспекта, который был бы дан независимо от других [Соссюр 1990: 107]. Это положение, также вытекающее из постулата о независимости языка от реальной действительности, Соссюр распространяет на всю речевую (= языковую) деятельность. Она целиком подчинена закону Двойственности, и нарушить его невозможно [Там же: 170–171]. В частности, «звуковая цепочка только в том случае является языковым фактом, если она служит опорой понятия». Точно так же и понятия «становятся [конкретными] языковыми сущностями лишь благодаря ассоциации с акустическими образами» [Соссюр 1977: 135]. Таким образом *Соссюр обосновывает двусторонний характер языкового знака как фундаментальное свойство* последнего, проистекающее из понимания отдельного языкового факта как *отношения* [Соссюр 1990: 197].

«Означивать (signifier), — учит Соссюр, — это не только наделять знак понятием, но также и подбирать знак понятию» [Там же: 152]. Соответственно, «в языке понятие есть свойство звуковой субстанции, так же как определенное звучание есть свойство понятия» [Соссюр 1977: 135]. В результате знак как «...языковой факт основывается на равновесии между звуками и понятиями» [Соссюр 1990: 134].

Нераздельность двух сторон знака подтверждается, по мнению Соссюра, также тем, что «говорящие субъекты совершенно не сознают *апосемы* (апосема — звуковая сторона, “тело” знака–семь. — Л. 3.),

которые они произносят, как, впрочем, и *чистые понятия* (*idées riges*). Они осознают только *сему*» [Соссюр 1990: 152], т. е. знак как целое. Что касается его составляющих, в частности означающего, то «...в семе звук неотделим от остальной ее части, и мы осознаем звук только в той мере, в какой воспринимаем *всю сему*, то есть вместе со значением» [Там же: 160].

Отвергнув, таким образом, и «неосознанное допущение о наличии субстанции» [Там же: 107], и глубоко укоренившуюся вследствие этого иллюзию *естественной данности* фактов языковой деятельности [Там же: 108], Соссюр доказывает, что для существования языкового факта требуется «наличие СООТВЕТСТВИЯ, но ни в коей мере СУБСТАНЦИИ или ДВУХ субстанций» [Там же: 129]. Выступая «посредствующим звеном между мыслью и звуком» [Соссюр 1977: 144], язык является *формой*, а не субстанцией [Там же: 145]. Лишенный субстанции, знак уже не может трактоваться как соединение понятия и акустического образа. Знак — это прежде всего «связывающее оба его компонента отношение» [Там же: 147]. Поэтому Соссюр отдает предпочтение чисто функциональной схеме знака



Данная схема имеет то преимущество, что в ней благодаря использованию однокоренных терминов наглядно выявляется соотносительность обеих сторон знака между собой и со знаком в целом, их взаимная противопоставленность [Там же: 100].

Независимость языка от реальности обнаруживается и в *характере* отношения между двумя сторонами знака. Этому отношению, покоящемуся на *несходстве* одной стороны с другой, Соссюр придает огромное значение, полагая, что именно оно «составляет самую сущность понятия ценности» [Соссюр 1990: 194].

В то время как в человеческих установлениях, основанных на естественной взаимосвязи вещей, ценности коренятся в самих вещах и определяются последними [Там же: 191], в языке в отсутствие привнесенных извне элементов ценности целиком относительны [Соссюр 1977: 145–146]. В результате из-за отсутствия внутренней связи между двумя сторонами языкового знака «связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна» [Там же: 100]. И это имеет далекоидущие последствия, ибо, с точки зрения Соссюра, принцип

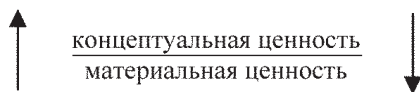
произвольности «подчиняет себе всю лингвистику языка» [Соссюр 1977: 101] и «...вся система языка покоится на иррациональном принципе произвольности знака» [Там же: 165].

Отношение между означаемым и означающим составляет лишь одну из осей ценности. Другая ее ось, неразрывно связанная с первой, образуется отношениями данного знака (сема) с подобными ему членами системы, вследствие чего знак имеет «косистематическую» природу [Соссюр 1990: 149].

В свете косистематической природы языкового знака схема, связывающая понятие и акустический образ, представляется Соссюру неудовлетворительной еще и потому, что она провоцирует ошибочный «взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием» [Соссюр 1977: 146]. Между тем каждая из сторон знака определяется не только отношением друг к другу, но и отношениями данного знака с иными знаками как членами языковой системы.

*Означаемые* знаков — это не заранее данные понятия, а *концептуальные ценности*, которые «определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы» [Там же: 149]. Сходным образом и означающее «по своей сущности отнюдь не является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно». Оно создается благодаря различиям, отличающим данный акустический образ от остальных акустических образов [Там же: 151].

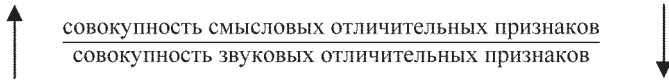
Итак, в составляющей знак ассоциации имеются лишь две ценности, «одна из которых основывается на другой (произвольность знака)» [Соссюр 1990: 191]. Иными словами, понятие ценности покрывает понятие знака, а точнее — понятие знака в концепции Соссюра производно от понятия ценности, т. е. «схема отношения означаемого и означающего... является вторичным продуктом по отношению к ценности» (цит. по: [Слюсарева 1975: 57]). Следовательно, данная схема восходит к схеме



В соответствии с ценностной природой языкового знака «...язык есть не что иное, как система чистых значимостей» (= ценностей) [Соссюр 1977: 144].

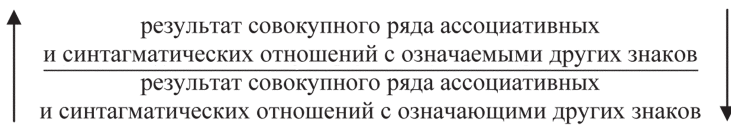
Поскольку из-за отсутствия привнесенных извне элементов ценности определяются лишь отрицательно — теми отличиями, которые

отграничивают один знак от другого в языковой системе, постольку «...любой знак основывается лишь на негативном ко-статусе» [Соссюр 1990: 120]. Поэтому схема знака должна принять следующий вид:



Что же является *основанием* для сравнения знаков при выявлении их отличительных признаков, как обойтись при этом без «внешней опоры» — без отношения к обозначаемой действительности, без субстанции, Соссюр не указывает. Отождествив элементы и отличительные признаки [Там же: 163, 197], он приходит к выводу: «В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть всё то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу» [Соссюр 1977: 154]. Значит, «...в языке нет ничего, кроме различий» [Там же: 152].

В свою очередь, «...образующая язык совокупность звуковых и смысловых различий является результатом двоякого рода сближений — ассоциативных и синтагматических» [Там же: 160]. Каждая из этих сфер «образует свой ряд значимостей» [Там же: 155]. В результате в окончательном своем виде схему знака следовало бы представить так:



Таким образом, знак есть результат совокупного ряда отношений, который, не ограничиваясь отношением, связывающим оба его компонента, включает в себя также ассоциативные и синтагматические отношения данного знака с другими знаками — членами системы. Отсюда с неизбежностью следует вывод: «Любой языковой факт представляет собой отношение, в нем нет ничего, кроме отношения» [Соссюр 1990: 197], чем и объясняется «внутренняя пустота знаков» [Там же: 152], лишенных субстрата в виде отражательных свойств и субстанции.

Анализируя *знак в целостности*, образуемой двумя его сторонами, Соссюр видит в нем нечто положительное и определяет его как

*положительный член системы.* Тем самым опровергается отправное положение, будто «...в языке имеются только различия *без положительных членов системы*» [Соссюр 1977: 152].

По мысли Соссюра, «...утверждать, что в языке всё отрицательно, верно лишь в отношении означаемого и означающего, взятых *в отдельности*; как только мы начинаем рассматривать знак в целом, мы оказываемся перед чем-то в своем роде положительным. Языковая система есть ряд различий в звуках, *связанных* с рядом различий в понятиях, но такое сопоставление некоего количества акустических знаков с *равным* числом отрезков, выделяемых в массе мыслимого, порождает систему значимостей; и эта-то *система значимостей создает действительную связь* между звуковыми и психическими элементами *внутри каждого знака.* Хотя означаемое и означающее, взятые *в отдельности*, — *величины чисто дифференциальные и отрицательные, их сочетание есть факт положительный.* Это даже единственный вид фактов, которые имеются в языке, потому что *основным свойством языкового устройства является как раз сохранение параллелизма между этими двумя рядами различий*» [Там же: 153; выделено мною. — Л. 3.].

В доказательство Соссюр ссылается не на факты синхронии с ее способностью к означиванию [Соссюр 1990: 116], а на бесчисленные диахронические факты, «...когда изменение означающего приводит к изменению понятия и когда обнаруживается, что в основном сумма различаемых понятий соответствует сумме различающих знаков. Когда в результате фонетических изменений два элемента смешиваются..., то и понятие проявляет тенденцию к смешению... А если слово дифференцируется..? В таком случае возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым... И наоборот, всякое концептуальное различие, усмотренное мыслью, стремится выразить себя в различных означающих, а два понятия, более неразличаемые в мысли, стремятся слиться в одном означающем.

Если сравнивать между собой знаки, положительные члены системы, то говорить в данном случае о различии уже больше нельзя. <...> Два знака, каждый из которых содержит в себе означаемое и означающее, не различны (*différents*), а лишь различимы (*distincts*). Между ними есть лишь *противопоставление*. Весь механизм языка... покоится на такого рода противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и смысловых различиях» [Соссюр 1977: 153–154].

В свою очередь, параллелизм между рядами тех и других различий, подтверждаемый, в частности, и названными диахроническими

процессами, заставляет усомниться в том, насколько произвольны отдельные знаки и языковая система в целом.

Итак, развивая свою точку зрения на истинную природу языка как семиологического и лингвистического объекта, независящего от реальности, от естественных вещей и их отношений, Соссюр последовательно отвергает ряд неприемлемых при данной детерминанте определений языка и языкового знака и предлагает взамен свои. Рассматриваемые определения языка соотносительны с определениями знака (см. рисунок)<sup>6</sup>. И те и другие образуют цепь взаимосвязанных переходов.

Согласно Соссюру, язык — это не номенклатура предметов (1), не психофизическое явление (2), не субстанция (3), «не просто совокупность заранее разграниченных знаков» [Соссюр 1977: 136], каждый из которых мог бы мыслиться и вне системы при наличии положительной ценности (4). Язык — это психическое явление (3), форма (4), система чистых ценностей, определяемых только отрицательно (5), система, в которой нет ничего, кроме проистекающих из нее различий (6), это совокупность отношений, которыми определяются отличительные признаки и ценности языковых знаков (7). В конечном счете язык — не совокупность имен вещей, как думали в античную эпоху, не совокупность имен и их связей, как полагали в Новое время (например, Т. Гоббс), а исключительно совокупность отношений, т. е. структура.

В соответствии с таким пониманием сущности языка Соссюр шаг за шагом модифицирует традиционную схему знака (1), постепенно освобождая ее от любых намеков на естественные вещи и их отношения, на субстанциональность. Сначала изымается вещь (2), затем звуковая (3) и психическая субстанция (4). В результате в качестве исходной принимается схема отношения означаемого и означающего (4). Дальнейший анализ этого отношения показывает, что ассоциативная связь означаемого и означающего (4) вторична по отношению к ценности (5), сама ценность вторична по отношению к отличительным признакам (6), а последние вторичны по отношению к существующим в системе связям (7). Так раскрывается «косистематическая природа знаков» [Соссюр 1990: 149].

Лишенный внешней опоры, субстанции, а тем самым и внутренней положительной ценности, языковой знак характеризуется как

---

<sup>6</sup> Чтобы показать эту соотносительность и проследить логику развития предлагаемых дефиниций, ниже при каждом определении языка и знака в скобках указывается номер соответствующей схемы знака на рисунке.

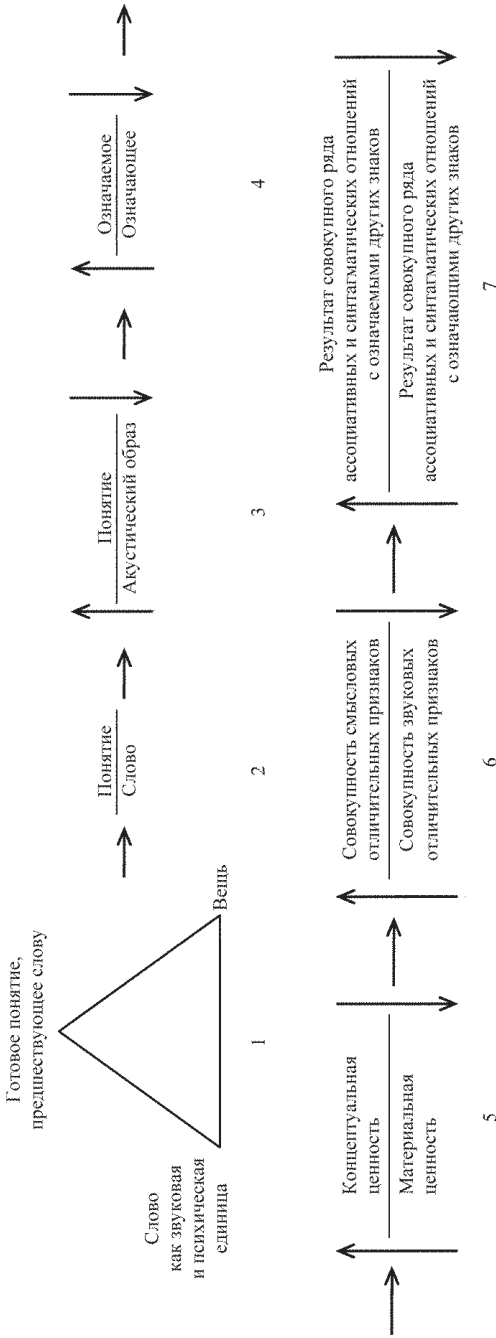


Рисунок. Схемы языкового знака по Ф. де Соссюру:

- 1, 2 — схемы, от которых Соссюр отказывается;  
 3, 4 — схемы, предложенные Соссюром;  
 5, 6, 7 — схемы, последовательно уточняющие понятие означаемого и означающего языкового знака в концепции Соссюра и предполагающие не изолированный знак, а знак в отношениях с другими знаками той же языковой системы.



произвольный и определяется лишь через систему (точнее, структуру) — как ее часть, ее продукт, ее производное. Являясь результатом совокупного ряда отношений, он по необходимости имеет комплексный характер [Соссюр 1990: 148], а следовательно, «язык — это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные члены системы» [Соссюр 1977: 154]. Отсюда понятно, почему, с точки зрения Соссюра, «в области лингвистики связь, которую мы устанавливаем между объектами, предшествует *самим этим объектам* и служит их определению. <...> Прежде всего существуют устанавливаемые нами разного рода отношения» [Соссюр 1990: 110]. «...Ни один элемент не обладает собственным *существованием*» [Там же: 200]. Нельзя «изолировать его от системы, в состав которой он входит». Ввиду первичности системы, понимаемой как совокупность отношений, анализ элементов возможен лишь в направлении от отношений в системе к ее членам, но не наоборот. Система не строится путем сложения ее членов, она не есть сумма членов. Дойти до составляющих язык элементов можно, лишь отпрываясь от совокупного целого [Соссюр 1977: 146].

Стремлением устранить из понятия «язык» всё чуждое его системе, всё, в чем обнаруживается действие внешних по отношению к системе факторов, включая не только «естественные вещи», но и любые проявления индивидуальной свободы говорящих, их разума и воли, определяется в конечном счете и предлагаемая Соссюром структура языкознания. Ни внешнелингвистические факторы, к которым Соссюр относит условия развития и функционирования языка, в том числе языковые контакты и «дух народа», ни явления речи, в частности фонация, звуковая субстанция, индивидуальные комбинации в речи говорящих, не имеют, согласно Соссюру, системообразующего статуса. Поэтому дисциплины, ориентированные на семантический и прагматический аспекты семиологического анализа, а именно внешняя лингвистика в противоположность внутренней, лингвистика речи в противоположность лингвистике языка, оцениваются как второстепенные и отодвигаются на задний план. То же относится и к диахронической лингвистике. На передний план выдвигается таким образом лингвистика языка, которая в сущности сводит семиологический анализ исключительно к синтаксическому аспекту в синхронии, т. е. к совокупности внутризнаковых и межзнаковых отношений в данном языковом состоянии, когда, по Соссюру, реализуется способность к означиванию.

Таким образом, в лингвистической концепции Ф. де Соссюра и природа языкового знака, и сущность языка, и структура языкознания получают свое обоснование и объяснение исходя из детерминирующего постулата о независимости языка — во всяком случае, его виртуальной системы — от естественных вещей и их отношений во внеязыковой реальности.

Примечательно, однако, что, несмотря на стремление жестко отграничить язык от прочих проявлений речевой (языковой) деятельности, Соссюр не исключает всё же из ведения лингвистики ни индивидуальные речевые проявления, зависящие от воли говорящих, ни диахронические факты, ни даже внешние элементы, ибо и то, и другое, и третье небезразлично вовсе для языкового знака. Ведь прежде чем закрепиться в языке, ассоциация понятия со словесным образом предварительно имеет место в акте речи [Соссюр 1977: 57]. Именно явления речи обуславливают эволюцию языка [Там же], и в частности изменения языковых знаков, выражающиеся в сдвиге отношения между означаемым и означающим [Там же: 107–108], так что со временем происходит общее смещение соотношения членов и ценностей в языке как знаковой системе [Соссюр 1990: 188]. История языка, диахронические факты, в свою очередь, сложно переплетены и взаимосвязаны с разнообразными внешними явлениями: историей расы или цивилизации, политической историей и т. д. [Соссюр 1977: 59]. Поэтому наряду с внутренней лингвистикой, лингвистикой языка, синхронической лингвистикой Соссюр выделяет также внешнюю лингвистику, лингвистику речи, диахроническую лингвистику, причем показывает не только их автономность относительно друг друга, но и их взаимодействие. Очевидно, совершенно изолировать язык и языковые знаки от реальной действительности невозможно, и Ф. де Соссюр, по всей вероятности, это осознавал, как ни стремился доказать противоположное.

### **6.3. Развитие синтезирующего подхода к языковому знаку в XX веке**

**Э. СЕПИР.** В поисках сущности языка, обеспечивающей выполнение им функций орудия мышления и «инструмента познания» [Сепир 1993: 260], Э. Сепир из двух самобытнейших свойств языка — символичности и членораздельности — в отличие от В. фон Гумбольдта отдает явное предпочтение символичности, т. е. на первое место он ставит знаковую, семиологическую природу языка. В этой связи Э. Сепир

считает необходимым если не пересмотреть, то уточнить иерархию всеохватных функций языка. Как до него Э. Б. де Кондиляк, а после него Г. Гийом, он убежден, что «...коммуникативный аспект речи преувеличен» [Сепир 1993: 231]. По своей первичной функции «...изначально язык является звуковой реализацией тенденции рассматривать явления действительности символически», и «...именно это свойство сделало его удобным средством коммуникации» [Там же].

Специфика языковых знаков-символов раскрывается Э. Сепиром исходя из общих свойств и типологии символов.

В определении символов Сепир выдвигает на первый план две постоянных характеристики. «Одна из них — то, что символ всегда выступает как заместитель некоторого более тесно посредничающего типа поведения, откуда следует, что всякая символика предполагает существование значений, которые не могут быть непосредственно выведены из ситуационного контекста. Вторая характеристика символа — то, что он выражает сгусток энергии; т. е. его действительная значимость непропорционально больше, чем на первый взгляд тривиальное значение, выражаемое его формой как таковой» [Там же: 205].

Языковые символы подразделяются на первичные и вторичные. Для первичных символов характерно некоторое *объективное* и очевидное *сходство с тем, что́ они замещают* или на что указывают (ср.: стук в дверь как замена акта открывания). Для вторичных, или отсылочных (referential), символов характерна *утрата всякой внешней связи с тем, что́ они замещают* (таковы, например, государственные флаги) [Там же: 263]. Принятый Э. Сепиром принцип различения первичных и вторичных символов напоминает предложенное в 1867 г. Ч. С. Пирсом разделение знаков на *иконы* и *индексы*, с одной стороны, и *символы* — с другой. Иконы и индексы предполагают сходство или реальную связь (физическую смежность) со своими объектами, тогда как символы — конвенциональные знаки, зависящие от привычки [Пирс 2000: 172, 200–219]. «Символы растут. Они возникают, развиваясь из других знаков, в особенности же из икон или из смешанных знаков, имеющих природу как икон, так и символов» [Там же: 217].

В функциональном отношении Э. Сепир различает два типа символики. «Первый из них, который можно назвать *референциальной* символикой, охватывает такие формы, как устная речь, письмо, телеграфный код, национальные флаги, флажковая сигнализация и другие системы символов, которые принято использовать в качестве *экономного средства обозначения*. Второй тип символизма столь же

экономен и может быть назван *конденсационным* символизмом (condensation symbolism), ибо это — чрезвычайно сжатая (condensed) форма заместительного поведения, которая позволяет полностью *снять эмоциональное напряжение* в сознательной или бессознательной форме» [Сепир 1993: 205; выделено мною. — Л. 3.]. Таков, например, «ритуал омовения у больного, страдающего навязчивым неврозом. В реальном поведении оба типа обычно смешиваются» [Там же].

«Символы референциального типа как особый класс несомненно развились позднее, чем конденсационные символы. Вероятно, большая часть референциальной символики восходит к бессознательно вызываемому символизму, насыщенному эмоциональным качеством, который постепенно приобретал чисто референциальный характер по мере того, как связанная с ним эмоция исчезала из данного типа поведения» [Там же: 205–206]. «То, что обычно называется языком, возможно, изначально восходило именно к таким самостоятельным и утратившим эмоциональность крикам, которые ранее снимали эмоциональное напряжение. После того как из вторичных продуктов поведения стала вырабатываться референциальная символика, появилась возможность более осознанно создавать референциальные символы путем сокращенного или упрощенного копирования обозначаемого предмета, как, например, в случае пиктографического письма. При еще большей изощренности референциальный символизм может быть достигнут простым общественным соглашением... Чем менее первичен и ассоциативен символ, чем более он оторван от своего первоначального контекста и чем менее эмоционален, тем больше он приобретает воистину референциальный характер» [Там же: 206].

Главное эволюционное различие между двумя типами символизма Сепир видит в том, что «...референциальный символизм развивается по мере совершенствования формальных механизмов сознания, а конденсационный всё глубже и глубже пускает корни в сферу бессознательного и распространяет свою эмоциональную окраску на типы поведения и ситуации, на первый взгляд далеко удаленные от первоначального значения символа. Таким образом, оба типа символов берут свое начало от ситуаций, в которых знак оторван от своего контекста. Сознательное совершенствование формы превращает такой отрыв в систему обозначения. А бессознательное распространение эмоциональной окраски превращает его в конденсационный символ» [Там же: 206–207].

Языковые знаки Сепир относит к референциальному типу. Это значит, что «...по своей функциональной значимости языковые формы

носят в основном опосредованный характер. Звуки, слова, грамматические формы, синтаксические конструкции и другие языковые формы, усваиваемые нами с детства, имеют определенное значение лишь постольку, поскольку общество молчаливо согласилось считать их символами тех или иных референтов» [Сепир 1993: 600]. По мысли Сепира, «...понять язык с точки зрения психологии — это значит рассмотреть его как чрезвычайно сложный набор таких вторичных, или отсылочных, символов, созданных обществом. Не исключено, что и примитивные выкрики, и другие типы символов, выработанные людьми в процессе эволюции, первоначально соотносились с определенными эмоциями, отношениями и понятиями» и, следовательно, не были произвольными, немотивированными. «Но связь эта между словами или их комбинациями и тем, что они обозначают, сейчас уже непосредственно не прослеживается» [Там же: 263].

Итак, язык — условная символическая система. В формулировке Сепира, «...сущность языка заключается в соотнесении условных, специально артикулируемых звуков или их эквивалентов к различным элементам опыта» [Там же: 34]. «...Он (язык. — Л. З.) сводится к особым символическим отношениям, с физиологической точки зрения произвольным, между всевозможными элементами сознания, с одной стороны, и некоторыми определенными элементами, локализуемыми в слуховых, моторных или иных мозговых и нервных областях, с другой» [Там же: 33].

В речевом цикле Сепир отдает предпочтение актам слушания. С его позиций, «язык есть прежде всего *слуховая* система символов. Конечно, поскольку он артикулируется, он вместе с тем и моторная система, но моторная сторона речи, совершенно очевидно, является вторичной для слушающего. У нормальных людей импульс к речи прежде всего осуществляется в сфере слуховых образов и лишь потом передается моторным нервам, контролирующим органы речи. Но моторные процессы и сопутствующие им моторные ощущения сами по себе не являются конечным, завершающим этапом речевой деятельности. Они и для говорящего и для слушающего лишь средство и контроль, служащие для слухового восприятия. Сообщение, реальная цель речи, с успехом достигается лишь тогда, когда слуховые восприятия слушающего превращаются в его сознании в соответствующий поток образов или мыслей, или и тех и других» [Там же: 38; выделено мною. — Л. З.].

При всей важности внешнего, психофизического, аспекта в процессе общения сущность языка, если не преувеличивать коммуника-

тивного аспекта речи, может быть определена в отвлечении от психофизической основы: «...язык есть вполне оформленная функциональная система в психической, или “духовной”, конституции человека» [Сепир 1993: 33].

«Та легкость, с которой речевая символика может быть перенесена с одной формы восприятия на другую, с техники на технику, сама по себе показывает, что самые звуки речи не составляют языка, что *суть языка* лежит скорее в *классификации, в формальном моделировании, в связывании значений*. Итак, язык, как некая структура, по своей внутренней природе есть форма мысли» [Там же: 41; выделено мною. — Л. 3.], «инструмент выражения значения» [Там же: 42].

Соответственно и «...речь есть значащая функция» [Там же: 43], тогда как «...собственно фонетическая структура речи не относится к внутренней сущности языка, и отдельный звук артикулируемой речи вовсе не является языковым элементом» [Там же: 57]. Чтобы стать элементом языка, языковым фактом, «приобрести хотя бы рудиментарную языковую значимость», локализованный в мозгу речевой звук должен ассоциироваться «с каким-либо элементом или группой элементов опыта — скажем, со зрительным образом или рядом зрительных образов или с ощущением какого-либо отношения». «Этот “элемент” опыта есть содержание или “значение” языковой единицы» [Там же: 33]. Только такая «освященная обычаем ассоциация корневых элементов, грамматических элементов, слов и предложений со значениями или с группами значений, объединенных в целое, и составляет самый факт языка» [Там же: 53].

При этом ассоциация должна удовлетворять следующим двум требованиям.

Во-первых, «ассоциация должна быть чисто символической; иначе говоря, слово должно быть закреплено за образом, всегда и везде обозначать его, не должно иметь иного назначения, кроме как служить как бы *фишкой*, которой можно воспользоваться всякий раз, как представится необходимым или желательным указать на этот образ» [Там же: 34; выделено мною. — Л. 3.].

Во-вторых, в целях успешного общения «мир опыта должен быть до крайности упрощен и обобщен для того, чтобы оказалось возможным построить инвентарь символов для всех наших восприятий вещей и отношений; и этот инвентарь должен быть налицо, чтобы мы могли выражать мысли. Элементы языка — символы, фиксирующие явления опыта, — должны, следовательно, ассоциироваться с целыми группами, определенными классами этих явлений, а не с единичными

явлениями опыта» [Сепир 1993: 34], ибо, и это показал уже Дж. Локк, единичный опыт, пребывающий в индивидуальном сознании, не может быть сообщен (ср.: [Локк 1985: 466–467; Сепир 1993: 34–35]). Ввиду коммуникативной ущербности единичного явления индивидуального опыта «...мы должны *более или менее произвольно объединять и считать подобными целые массы явлений опыта* для того, чтобы обеспечить себе возможность рассматривать их чисто условно, наперекор очевидности, как тождественные» [Сепир 1993: 35; выделено мною. — Л. 3.]. Например, «...речевой элемент “дом” есть символ прежде всего не единичного восприятия и даже не представления отдельного предмета, но “значения”, иначе говоря, *условной оболочки мысли*, охватывающей тысячи различных явлений опыта и способной охватить еще новые тысячи» [Там же; выделено мною. — Л. 3.]. В этих разъяснениях Э. Сепира, в частности в определении значения как условной оболочки мысли, можно видеть, как кажется, развитие идей В. фон Гумбольдта о несводимости содержательной стороны языка исключительно к «отражению», о наличии в ней знаковых свойств, о необходимости различения мыслительного и языкового содержания.

Э. Сепир как будто разграничивает два уровня обобщения в содержательной сфере: обобщенный человеческий опыт (мысли и ощущения) и частный, индивидуальный опыт. Мышление как «язык, свободный от своего внешнего покрова», и есть «своего рода обобщенный язык, своего рода символическая алгебра, по отношению к которой все известные языки только переводы». В этом неязыковом, или, лучше сказать, уточняет Сепир, в *обобщенном языковом*, пласту «подлинно глубокая символика... не зависит от словесных ассоциаций отдельного языка; она прочно покоится на интуитивной подоснове всяческого языкового выражения. <...> На этом более глубоком уровне отношения между мыслями не облечены специфическим языковым одеянием; ритмы свободны, они не прикованы в первую очередь к традиционным ритмам» конкретного языка [Там же: 197].

Различение этих двух пластов — *обобщенного* и *конкретно-языкового* — весьма существенно для функционирования языка как средства литературы. Если дух художника движется в значительной мере в глубинном обобщенном языковом пласту, созданное им литературное произведение переводится на другие языки без всякого ущерба для своего содержания (таковы пьесы Шекспира). В противном случае, когда литературное произведение «построено на одухотворении мате-



риала, а не на самом духе», оно фактически непереводаемо (хороший пример такого рода — лирика Суинберна) [Сепир 1993: 196–198].

**К. БЮЛЕР** в своей книге «Теория языка. Репрезентативная функция языка» (1934) разрабатывает поистине целостную концепцию знака исходя из модели языка как орудия общения.

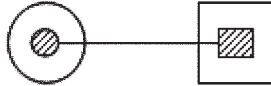
**Знак в свете принципа абстрактивной релевантности.** В определении языка К. Бюлер ориентируется на знаменитую формулу схоластов — *aliquid stat pro aliquo* ‘нечто стоит вместо чего-либо’. Если в отношении замещения заместителем является конкретный предмет, «... всегда возможна двойственная трактовка этого конкретного предмета. Одна из них абстрагируется от функции замещающего как такового, определяя его как нечто для себя (*für sich*) Вторая трактовка, напротив, акцентирует внимание на свойствах, связанных с замещением. Конкретный предмет функционирует “как” знак только благодаря абстрактным моментам и в тесном взаимодействии с ними». Такова суть принципа абстрактивной релевантности [Бюлер 1993: 44].

«Явление *абстракции* занимает центральное место в сематологии» [Там же: 47], или семиологии [Там же: 17]. «Общий закон сематологии заключается в том, что все предметы и процессы в мире, используемые нами как знаки, употребляются по принципу абстрактивной релевантности» [Там же: 205]. «... Когда в роли знака-носителя смысла выступает чувственно воспринимаемая *hit et nunc* вещь, то с выполняемой ею семантической функцией не должна быть связана вся совокупность ее конкретных свойств. Напротив, для ее функционирования в качестве знака релевантен тот или иной абстрактный момент» [Там же: 47].

Ключом к знаковой природе языка для К. Бюлера становятся фонологические идеи Н. С. Трубецкого, в соответствии с которыми «... звуки языка можно и нужно изучать в двух направлениях... С одной стороны, можно исследовать их свойства “для себя”, а с другой — их функционирование в качестве знаков. Первую задачу выполняет фонетика, вторую — фонология», оперирующая фонемами как дискретными звуковыми знаками. «Их семантическая функция — служить в качестве *диакритик* сложных явлений, называемых словами» [Там же].

В типичном словесном языке, обладающем двусторонней сущностью, каждая сторона — не только звуковая, но и семантическая — подчинена принципу абстрактивной релевантности. Поэтому в схеме для назывных слов, т. е. языковых понятийных знаков, К. Бюлер подчеркивает зеркальное строение звукового образа слова и его семантики:





«Заштрихованный малый круг символизирует *совокупность* диакритически релевантных моментов для словесного образа — точно так же, как заштрихованный малый квадрат символизирует совокупность концептуально выделенных моментов для объекта, обозначаемого назывным словом» [Бюлер 1993: 254–255].

**Многосторонность знака в языке как полифункциональном орудии межличностного общения.** Указанными релевантными моментами отнюдь не исчерпывается реальная сложность языкового знака. Прежде всего К. Бюлер отмечает *многосторонность знака*, обусловленную *многосторонностью языка* как инструмента межсубъектного (межличностного) общения.

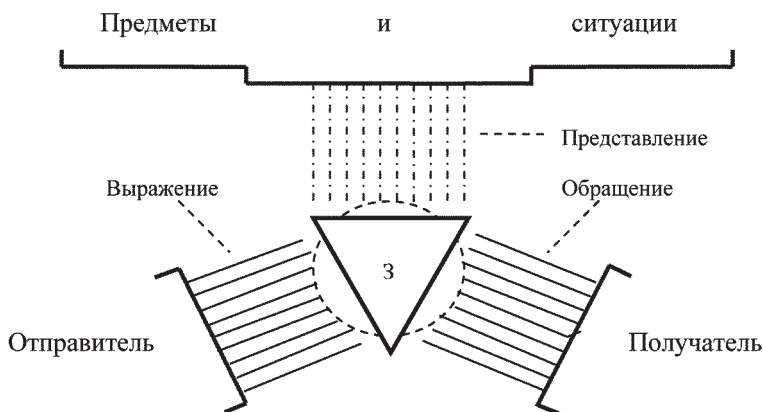
В таком толковании языка К. Бюлер опирается на диалог Платона «Кратил».

В понимании Платона, *говорить* есть действие. «...Действия производятся в соответствии со своей собственной природой» [Платон 1994, 1: Кратил 387а; с. 617] и с помощью орудий, данных для этого от природы [387с; с. 618]. Для действия *говорить* таким орудием служат *имена*. «...Имя есть некое орудие обучения и распределения сущностей, как, скажем, челнок — орудие распределения нити» [388bc; с. 619]. «Правильность имени... состоит в том, что оно указывает, какова вещь» [428e; с. 666]. В процессе общения в ходе взаимодействия между *я* и *ты*, «...произнося какое-то слово, я подразумеваю нечто определенное, ты же из моих слов узнаешь, что я подразумеваю именно это». «И если ты узнаешь это тогда, когда я произношу какое-то слово, то можно сказать, что я как бы *сообщаю тебе что-то*» [434e–435a; с. 674; выделено мною. — Л. 3.].

К. Бюлер распространяет платоновское определение имени на язык в целом. Соответственно, «...язык есть *organum*, служащий для того, чтобы один человек мог сообщить другому нечто о вещи» [Бюлер 1993: 30]. В качестве органа языка подобен вещественным инструментам: «как и орудия труда, язык есть *специально сконструированный посредник*» в общении между людьми [Там же: 1–2]. Отсюда «интерсубъективность языкового механизма», который служит средством регламентации социального поведения членов сообщества на основе знаковой коммуникации [Там же: 3–4].

В предложенной Бюлером схеме–модели языка как органа «круг в середине символизирует конкретное языковое явление. Три переменных фактора призваны поднять его тремя различными способами до ранга знака. Три стороны начерченного треугольника символизируют эти три фактора. Треугольник включает в себя несколько меньше, чем круг (принцип абстрактивной релевантности). С другой стороны, он выходит за границы круга, указывая, что чувственно данное всегда дополняется апперцепцией<sup>7</sup>.

Множество линий символизирует семантические функции (сложного) языкового знака. Это *символ* в силу своей соотнесенности с предметами и положением дел; это *симптом* (примета, индекс) в силу своей зависимости от отправителя, внутреннее состояние которого он выражает, и *сигнал* в силу своего обращения к слушателю, чьим внешним поведением или внутренним состоянием он управляет так же, как и другие коммуникативные знаки» [Бюлер 1993: 34].



В соответствии с указанными семантическими функциями языкового знака язык как инструмент межличностного общения обладает тремя функциями: *репрезентации*, *экспрессии* и *апелляции* [Там же].

Доминантой в инструментальной модели языка является репрезентативная функция [Там же: 36, 136]. Соответственно «...доминирующая функция знаков человеческого языка — *функция репрезентации*» [Там же: 5]. Однако «н е в е р н о, что всё, для чего звук

<sup>7</sup> Апперцепция — «воздействие общего содержания психической деятельности, всего предыдущего опыта человека на его восприятие предметов и явлений» [ФЭС 1989: 35].

является посредническим феноменом, посредником между говорящим и слушающим, охватывается понятием “вещи” или более адекватной понятийной парой “предметы и ситуации”. Скорее верно другое, то, что в создании речевой ситуации не только отправитель как деятель процесса говорения, отправитель как *субъект* речевого акта, но и получатель как тот, к кому обращаются, получатель как *адресат* речевого акта имеют свои собственные позиции. Они являются не просто частью того, что может быть предметом сообщения, но партнерами по общению, и поэтому в конечном счете возможно, что посреднический звуковой продукт обнаружит свою собственную знаковую связь с тем и с другим» [Бюлер 1993: 36]. Короче, языковые знаки выступают в качестве «интерсубъективных посредников» [Там же: 44].

В результате «один и тот же конкретный феномен является знаком предмета, имеет экспрессивную значимость и так или иначе затрагивает получателя, то есть имеет апеллятивную ценность» [Там же: 40]. «...Со всеми словами дело обстоит так, что либо их особое фонематическое оформление (императивы *veni, komm* ‘приходи’), либо определенная музыкальная модуляция, либо даже просто употребление в данной речевой ситуации обеспечивает им роль команды или восклицания и экспрессивного знака. До некоторой степени они всегда несут это в себе. Таким образом, можно утверждать, что языковые феномены в рамках модели органа выглядят *многосторонними*» [Там же: 38].

«Одно и то же конкретное языковое явление многосторонне осмысливается или многосторонне интерпретируется как посредник между отправителем и получателем. <...> Принцип абстрактивной релевантности... объясняет, насколько возможен в обычных условиях многосторонний коммуникативный эффект звукового явления. Он, в частности, возможен там и настолько, где и насколько в звуках отражаются экспрессии, *иррелевантные* для репрезентации, и наоборот» [Там же: 48]. Например, в индоевропейских языках фонематическая структура выполняет репрезентативную функцию, тогда как «...тон, иррелевантный для репрезентации, сопровождает экспрессию и апелляцию», в чем и состоит функция интонации [Там же].

Так или иначе ввиду интерсубъективности языкового механизма его функции не ограничиваются «образующей язык потребностью» в функции наименования. Более того, поскольку язык имеет социальную природу, она проявляется и в процессе именования. По словам Бюлера, «социальное возникло тогда, когда в Адаме пробудилось

человеческое и он дал вещам имена, каждой согласно ее характеру; и полная мера социального, вскрываемого уже у животных, проникает, подобно жизненным сокам, так же и человеческий язык» [Бюлер 1960: 29]. «Не случайно оказываются вынужденными устанавливать основные функции языка на основе обычной ситуации, когда **некто** говорит **другому о чем-либо**» [Там же: 28]. Ориентация на ситуацию объясняет, почему наряду со знаками—названиями в каждом человеческом языке имеются слова—указатели. Таковы, в частности, указатели положения — *здесь, тут, там*, указатели участия — *я, ты, он* [Там же: 29]. По мысли Бюлера, «...язык есть орудие ориентации в общественной жизни также и тогда, когда один подводит другого к тому, что доступно восприятию, и направляет его бодрствующие чувства, дабы он видел и слышал, что происходит вокруг него. Язык знал еще до Канта, что понятия без представления пусты, и устанавливал контакт между нами и пестрым миром чувств; лучшим и простейшим средством для этого является языковой знак» [Там же: 30; выделено мною. — Л. З.]. Из сказанного следует, что «выражение» и «обращение», иначе «экспрессия» и «апелляция», должны быть включены в число «образующих язык потребностей» наравне с репрезентацией. Все они должны учитываться в инструментальной схеме—модели языка, даже если в какой-то речевой ситуации «...на первый план выступает то одна, то другая из трех основных функций звукового языка» [Бюлер 1993: 37]. Так, доминантность функции репрезентации особенно очевидна в языке науки, хотя и он не лишен экспрессивной функции. Правда, у логика экспрессия выражена слабее, нежели у лирика. «На третью, собственно апеллятивную функцию полностью нацелен, например, язык команд; на апеллятивную и экспрессивную функции — в равной степени ласкательные слова и ругательства». В общем, «...каждое из трех отношений, каждая из трех смысловых функций языкового знака открывает и тематизирует свою область лингвистических феноменов и фактов» [Там же].

**Речевое действие и языковое произведение (*Sprechhandlung* — Н, *Sprachwerk* — W), речевой акт и языковая структура (*Sprechakt* — А, *Sprachgebilde* — G).** В совокупном предмете науки о языке «после Гумбольдта практически все крупные языковеды признавали важность различения *energeia* и *ergon*, а после Соссюра — речи и языка» [Там же: 50]. Взамен данных противопоставлений К. Бюлер принимает схему из четырех элементов—полей, объединяя их также попарно:

	I	II
1.	H	W
2.	A	G

«...Речевые действия и речевые акты принадлежат полю I, а языковые произведения и языковые структуры — полю II. <...> В итоге языковые явления можно определить так:

*I. соотносенные с субъектом,*

*II. отвлеченные от субъекта и потому межличностные».*

«...Речевые действия и языковые произведения принадлежат полю 1, а речевые акты и языковые структуры — полю 2». Соответственно различаются *две ступени формализации*: действия и произведения — на *низшей*, акты и структуры — на *высшей* [Бюлер 1993: 51].

«Существуют ситуации, в которых с помощью речи решается актуальная в данный момент жизненная задача, то есть осуществляются *речевые действия*. Но есть и другие обстоятельства, когда мы в поисках адекватного языкового выражения творчески работаем над данным материалом и создаем *языковое произведение*. ...Речь “исполняется” (осуществляется) в той мере, в какой ей удается реализовать практическое решение проблемы в данной ситуации...

*Языковое произведение* как таковое стремится к независимости от положения в жизни индивида и переживаний автора. Результат, представляющий собой произведение человека, имеет тенденцию к обособлению от конкретной ситуации и полной самостоятельности» [Там же: 54]. Так со временем возможно «освобождение смысла предложения от речевой ситуации» [Там же].

*Языковая структура* есть более высокая ступень формализации.

«При лингвистическом описании *структуры* латинского языка или языков банту, *совокупности звуков, словаря или грамматики* речь идет в конечном счете о *системе языковых образований*» [Там же: 58; курсив мой. — Л. 3].

Смысл понятия «языковое образование» показан в книге на примере единиц лексикологии. «Когда лингвист говорит: “слово *отец*”, употребляя при этом форму единственного числа, он имеет в виду целый класс явлений из интересующей его области. ...Слово, соответствующее в индоевропейских языках, например, нем. *Vater*, никогда не могло бы внезапно и не следуя каким-либо законам изменить

фонематический облик или символическую значимость. На основе генетического тождества в истории языка сформировалась единица *Vater*, занявшая определенное место в словаре немецкого языка и всех его диалектов в прошлом и настоящем, поэтому *Vater* трактуется лингвистами как *одно* слово. Такие единицы словаря представляют собой естественные классы, с точки зрения филолога. Грамматист же в слове *Vater* и во многих других единицах словаря одновременно видит, например, и разряд существительных, оставаясь при этом в сфере своих интересов — лингвистического учения о структурах» [Бюлер 1993: 60–61]. Другие общие и частные грамматические категории, например *глагол*, *артикль*, *аккузатив*, также принадлежат к языковым образованиям.

Наименее разработанным и наиболее дискуссионным в схеме четырех полей Бюлер считает понятие *речевого акта*. Сама необходимость в таком понятии и, далее, в различении речевых актов и языковых структур заключается в том, что «...языковая репрезентация везде открывает *простор* для семантической неопределенности, который может уничтожаться только из-за “объективных возможностей”, как это и происходит в человеческой речи. Если бы всё было иначе, ...естественный язык лишился бы своих самых удивительных и ценных свойств, поразительной способности приспособливаться к неисчерпаемому богатству фактов, подлежащих языковой формулировке в каждом конкретном случае» [Там же: 64].

Путь к решению проблемы речевого акта как высшей ступени формализации явлений, соотнесенных с субъектом, Бюлер видит в том, чтобы соотносить с субъектом не все значения и, исключив индивидуально случайное, вести речь «не о непосредственно воспринимаемом в каждом конкретном случае психологическом и лишь дейктически указанном субъекте или Я, ... а о некоем субъекте второй ступени формализации (логическом и трансцендентальном Я)» [Там же: 65].

Однако исследование способов употребления знаков в конкретных языках заставляет оставить «закрытое пространство монад с его субъективно ориентированными значениями» и не более чем воображаемым миром [Там же: 65–66]. Если в анализе языка ориентироваться на модель органона, то «...н а р я д у с теорией актов следует принять во внимание дополняющее ее учение о структурах, составлявшее главный предмет грамматики во все времена» [Там же: 66]. Более того, Бюлер полагает, что «...теория структур, выведенная прежними методами из подлинной модели языка как органона, а тем самым из объективной трактовки языка и сопряженного с ней *социального характера*

языка, должна логически предшествовать или по крайней мере быть логически рядоположной ориентированной на субъект теории актов» [Бюлер 1993: 66].

Модель структуры языка в трактовке Бюлера указывает на то, что языковые феномены в рамках модели органа являются не только многосторонними, но и *многоступенчатыми* знаковыми образованиями. «Уже звуковой образ слова строится как знак и в виде знака; слово *Tische* ‘столы’ как звуковое образование содержит четыре элементарные характеристики... Эти характеристики, *фонемы* слова, функционируют как своего рода *potae*, признаки; они являются *знаками различия* звуковых образов. Далее: целый звуковой образ *Tische* функционирует в осмысленной речи как *знак предмета*; он представляет вещь или класс (вид) вещей. Наконец, слово *Tische* в контексте обладает позиционной значимостью и иногда фонематически обогащается за счет *s* на конце; мы назовем всё это полевыми значимостями, которые может приобретать слово в синсемантическом окружении (внешнем поле)» [Там же: 38]. При переходе от фонем к осмысленным слогам и к словесным формам число элементов последовательно возрастает, например в немецком языке в соотношении 40 // 2000 // 30 000. Тем самым устанавливается очевидная *лестница*, или *иерархия*, *разнообразия* [Там же: 39].

**Язык как двухклассная система. Слово и предложение. Понятие поля.** Среди систем коммуникативных знаков К. Бюлер различает два типа. «Важнейшее различие систем заключается в функционировании глобальных сигналов в одном случае и расчлененных символов в другом» [Там же: 68–69].

К первому типу принадлежат некоторые системы флажковых знаков. Таким системам свойственна *глобальная символизация*. Это значит, что «самым существенным признаком системы следует считать отсутствие какого-либо смыслового членения сигнала, соотнесенного с чувственно воспринимаемыми знаками. <...> ... В типичной коммуникативной ситуации каждый флажковый комплекс функционирует как нерасчлененное коммуникативное средство. Вся система состоит из семантических единиц одного типа или класса. Система представляет собой не что иное, как их сочетание, и является *одноклассным* знаковым механизмом» [Там же: 68]. Неправильно отождествлять подобные глобальные сигналы с предложениями языка или с именами: «...они не являются ни тем и ни другим» [Там же].

Ко второму типу относится система естественного звукового языка, который, как заметил уже В. фон Гумбольдт, обладает двумя

самообытнейшими свойствами — *членораздельностью* и *символическостью* [Гумбольдт 1984: 160]. По Бюлеру, в языке представлены два класса (типа) структур — слова и предложения, лексикон (словарь) и синтаксис, так что «система языкового типа строит каждую законченную (и способную не зависеть от ситуации) репрезентацию в два шага, которые следует разграничивать путем абстракции: выбор слов и построение предложения... Первый класс языковых структур и соответствующих установлений как бы преследует цель разорвать мир на части, расчленив на классы вещей, процессов и т. д., разделить на абстрактные аспекты, каждый из которых коррелирует со знаком, в то время как второй класс стремится заранее предоставить знаковые средства для конструирования того же самого (репрезентируемого) мира на основе отношений» [Бюлер 1993: 69–70].

В двухклассной системе языка «предложение так же не может существовать до слова, как и слово до предложения, поскольку они являются *коррелятивными элементами* одного и того же (скорее всего, достаточно продвинутого) состояния человеческого языка. <...> Абстрактная схема предложения без словесного наполнения так же не может существовать, как какое-либо отношение без членов этого отношения» [Там же: 70–71]. Поэтому при определении слова и предложения «нельзя абсолютизировать тот *или* иной термин, они взаимосвязаны и могут быть определены лишь в рамках корреляции» [Там же: 67].

Требованиями корреляции обусловлено понятие *поля*, которое Бюлер ввел в лингвистику, позаимствовав его из психологии. Чтобы использовать для репрезентации языковые знаки, необходимо поле или множество полей. «То, что они требуются для репрезентации, — это основное сематологическое положение» [Там же: 166]. В языке «в принципе повсюду дело обстоит так же, как в случае нотного стана, географической карты или картины; так или иначе, но должно возникать поле, на котором и с помощью которого можно создать правильно построенное и расчлененное изображение в виде *языкового произведения*» [Там же].

С понятием поля Бюлер связывает проявление некой внутренней сущности в целостной модели языка. «Какое-либо поле в широком смысле этого слова всегда наличествует; соотношение с ним имеется всегда, когда рождается речевой звук и когда он, наделенный значением, вступает в мир». В частности, оно обнаруживается в контексте определенного действия, когда знак получает истолкование



«на основании местоположения в осмысленном поведении посылающего его (говорящего)». Если физическое окружение, в котором выступает знак, и жизненный опыт его производителя отходят на задний план, «...отдельный знак находит опору и смыслонаполнение в структурном образовании с себе подобными. <...> ...Он толкуется и отлично понимается на основе контекста. В крайних случаях синсемантические факторы являются его единственным релевантным полем» [Бюлер 1960: 34–35].

Словесный знак существует в поле предложения. Соединение слов в предложения включает в себя «сигнификативную смену при переходе от знаков, которые *называют* предметы или *указывают* на них, к полю, которое *обозначает* ситуацию» [Бюлер 1993: 234–235].

В конструктивном ряду: фонема, слово, предложение — слово вступает также в отношение с составляющими его фонемами<sup>8</sup>. «Кроме того, словесный знак являет собой целостный образ, он имеет свой “мелодический облик”, который изменяется (как и человеческое лицо) в зависимости от экспрессивных факторов и смены значений аппеллятивной функции» [Там же: 235].

Как целостный образ словесный знак обладает *геиштальтными свойствами*, которые Бюлер объясняет действием словесного акцента и словесной мелодики. Возникающие при этом музыкальные модуляции могут быть релевантны лексически, морфологически, синтаксически. Иными словами, «...каждое слово имеет свой *мелодический облик*, который не определяется целиком и полностью экспрессией, но отчасти передает и его символическую значимость, а также его синтаксическую валентность» [Там же: 161–162].

В итоговом определении Бюлера, «...слова являются *звуковыми знаками языка, обладающими фонемной структурой и способностью к полемому употреблению*» [Там же: 271]. «...К полемому употреблению могут быть способны лишь те единицы, которые мысленно противопоставляются полю и отделяются от него; поле предложения и слова имеют различный характер. Слова находятся в символическом

---

<sup>8</sup> Если же в указанный конструктивный ряд включить минимальную значущую единицу — морфему, то тогда по отношению к составляющим его морфемам слово тоже обнаружит свойства поля. Не случайно фонемная структура корня коррелирует с канонической морфологической структурой слова в данном языке, а в консонантной структуре корневого слова разграничиваются три типа позиций: внутри морфемы, потенциальный морфемный стык, потенциальный словесный стык [Зубкова 2010: 587–589, 696].

поле, занимая определенные позиции в нем... <...> ... Только звуковые образования, обладающие символической значимостью (или сигнальной значимостью в том смысле, в каком ею обладают указательные слова), способны к полевому употреблению» [Бюлер 1993: 273].

Поскольку «...все символы нуждаются в поле, а каждое поле — в символах для того, чтобы добиться приемлемой репрезентации», постольку символы и поле представляют собой «коррелятивные факторы». Вот почему «...их придется определять коррелятивно» [Там же: 170–171]. Соответственно, «...одним из признаков понятия слова является способность звуковых знаков, которые мы называем словами, включаться в (синтаксическое) поле» [Там же: 171].

**Два поля словесных знаков.** Полная модель речевого общения не позволяет К. Бюлеру ограничиться анализом знаков–символов, постоянно занимающих внимание лингвистов. Речевое общение требует разделения словесных знаков на два поля — *символическое* и *указательное*. «Наличие в языке не одного, а двух полей — это уже новая концепция. <...> Она верифицирует на лингвистическом материале тезис Канта, согласно которому понятия без наглядных представлений пусты, а представления без понятий — слепы; она показывает, как речевое мышление одновременно мобилизует названные два фактора, принадлежащие совершенному познанию, в их причудливом, но зримом переплетении. ...Это двойственность, неизбежно присущая любому языковому явлению, а также характеризующая — сегодня, как и всегда, — язык в целом. <...> ...*Теория двух полей* исходит из того, что наглядное указание и представление несколькими способами ровно в той же степени приближаются к сути естественного языка и составляют эту суть, как составляют ее абстракция и понятийное восприятие мира. Это и есть квинтэссенция развиваемой здесь теории языка» [Там же: 2–3].

«...Языковое указательное поле мы отчетливее всего обнаруживаем в *речевом действии*, а поле символов — в обособившемся *языковом произведении*» [Там же: 153].

Для языковой реализации коммуникативных потребностей различение указательных и назывных слов, проводившееся уже первыми греческими грамматистами, является основополагающим [Там же: 76–77].

Все участники общения находятся во власти некоторой системы координат субъективной ориентации. Естественной исходной точкой координат выступает «я» [Там же: 95, 121]. «Указательное поле языка в непосредственном общении — это система “здесь — теперь — я”

субъективной ориентации. Бодрствуя, отправитель и получатель постоянно существуют в этой системе ориентации и в опоре на нее понимают жесты и другие средства наглядного указания» [Бюлер 1993: 136]. В системе «здесь — сейчас — я» основные указательные слова наделены функциями показателя *места*, показателя *времени* и показателя *индивида* [Там же: 99]. Участвуя в конкретном речевом событии, «...отправитель не только занимает определенное положение на местности (как дорожный указатель), но и играет, кроме того, некоторую *роль*, — роль отправителя, отличную от роли получателя. Ведь не только для женитьбы, но и для любого социального происшествия нужны двое, а конкретное речевое событие должно быть описано прежде всего на основе полной модели речевого общения. Если говорящий “хочет указать” на отправителя произносимого слова, то он говорит *я*, а если он хочет указать на получателя, то он говорит *ты*» [Там же: 74]. «То, к чему относятся “здесь” и “там”, изменяется в зависимости от позиции говорящего точно так же, как с переменной ролей отправителя и получателя “я” и “ты” перемещаются от одного речевого партнера к другому и обратно» [Там же: 75]. «Строго говоря, *здесь* указывает на позицию говорящего в данный момент, а эта позиция может изменяться от говорящего к говорящему и от речевого акта к речевому акту. Таким же образом от абсолютно случайных обстоятельств зависит, будут ли два употребления *ты* относиться оба раза к носителю одного и того же собственного имени или нет» [Там же: 96].

С функциональной точки зрения указательные слова суть *сигналы*. В отличие от них «назывные слова функционируют как *символы*» [Там же: 76]. Это символы предметов.

Будучи символом, каждый понятийный знак употребляется всеми для обозначения *одного и того же* предмета в его *качественной определенности*. Такой предмет, имея определенные свойства, «не меняет их существенным образом в зависимости от конкретного случая употребления слова. Ни для каких указательных слов это условие не выполняется и не может выполняться. Ведь сказать *я* может всякий, и всякий, кто это говорит, указывает на иной предмет — не на тот, на который указали бы другие. Если бы мы захотели перевести межличностную многозначность этого единого слова *я* в однозначность, требуемую логиками от языковых символов, то нам бы понадобилось столько собственных имен, сколько имеется говорящих. И в принципе точно так же обстоит дело с любым другим указательным словом» [Там же: 96].

Так же как указательные слова, назывные слова имеют свое поле. Оно реализуется в предложении, которое представляет собой «элементарное языковое произведение» [Бюлер 1993: 329].

Специфика языкового поля символов раскрывается Бюлером в сравнении с другими репрезентативными системами. Бюлер доказывает, что «...языковое мышление и любое другое оперирование предметными символами в познавательных целях так же нуждается в символическом поле, как художник в палитре, картограф — в сетке параллелей и меридианов, композитор — в нотной бумаге или, обобщая, как каждая система двух классов — в репрезентативных знаках» [Там же: 232].

В частности, в целостном живописном произведении цветовые пятна «приобретают различную *изобразительную ценность* в контексте всей картины», когда «...эти изобразительные ценности находятся в синсемантическом окружении и приобретают в нем определенные полевые ценности. Для того чтобы такие структуры могли выявиться, цветовые пятна (обобщенно: чувственно воспринимаемые данные) должны получить знаковую ценность. <...> Контекст изобразительных ценностей на картине является аналогом контекста языковых знаков; и там и здесь имеется синсемантическое окружение. <...> Отправитель, не задумываясь, одновременно производит жесты, мимику и звуки; при этом в качестве синсемантического окружения действует вся совокупность произведенных коммуникативных знаков» [Там же: 150]. «...Подобно тому, как краски живописца нуждаются в холсте, чтобы стать картиной, так и языковым символам требуется окружение, в котором они располагаются. Мы назовем его *полем символов* языка. ...Оно выполняет свою важнейшую миссию благодаря более общему и более четкому охвату того отношения, которое существует между синтаксическими и лексическими явлениями языка» [Там же: 137].

«Языковое поле символов в сложном языковом произведении дает в наше распоряжение еще один класс опор для конструирования и понимания; их можно объединить под общим названием *контекст*; ситуация и контекст... — это два источника, питающих в каждом конкретном случае точную интерпретацию языковых высказываний» [Там же: 136]. Необходимость в такого рода опорах обусловлена природой языковых понятийных знаков. «Не следует думать, будто в языке... звуковой материал благодаря своей наглядной упорядоченности непосредственно представляет собой зеркало действительности и репрезентирует ее. <...> Между звуковой

материей и действительностью стоит совокупность опосредствующих факторов, стоят... языковые посредники» в виде языкового полевого инструментария. Причем «...разные языковые семьи *отдают предпочтение* разным полям посредников и символов, поскольку то, что надо репрезентировать, то есть мир, в котором люди живут, они видят по-разному» [Бюлер 1993: 138].

Суть языковых расхождений в полях символов и посредников становится понятной, если обратиться к синтаксису как учению о классах и формах слов [Там же: 153].

Классы слов, указывает Бюлер, «содержат фундаментальные инструкции для построения текста. <...> В каждом языке существуют избирательные родственные связи: наречие стремится к своему глаголу, то же наблюдается и у других частей речи. ...Слова определенного класса открывают вокруг себя одно или несколько *вакантных мест*, которые должны быть заполнены словами определенных других классов» [Там же: 158]. Значит, для установления частеречной принадлежности слова «начать следует с полевой значимости, которую слова получают в составе предложения... Если глагол типа *amate* ‘любить’ допускает два вопроса: *кто?* и *кого?*, то... функция этого слова в символическом поле предусматривает два вакантных места. Эти два места могут быть заполнены лишь представителями определенного (а отнюдь не любого) класса слов. Слово *albus* ‘белый’ открывает лишь одно вакантное место, которое также должно быть заполнено символами определенного класса». Таким образом, «...проблема частей речи решается только с помощью овладения символическими полями». Иными словами, «...“понятийные категории” появляются только после анализа “структур предложения”» [Там же: 276].

Рассматривая формы слов, мы обращаемся к синтаксическим средствам связи. Исчерпывающей перечень средств выражения связи, выступающих в качестве контекстуальных факторов, был составлен Г. Паулем [Пауль 1960: 145–146], и К. Бюлер полностью приводит соответствующий параграф из книги Г. Пауля. При этом К. Бюлер не упускает из виду типологических различий в использовании контекстуальных факторов: в индоевропейском немецком языке полевым инструментарием служит падежная система [Бюлер 1993: 138, 217–229], тогда как в китайском языке — порядок слов [Там же: 158].

Если следовать Г. Паулю, то из семи названных им средств выражения связи представлений служебные слова и флективное словоизменение «могли сложиться лишь постепенно, в ходе длительного исторического развития, тогда как первые пять уже с самого начала находились

в распоряжении говорящего» [Пауль 1960: 146]. Это «1) простое соположение слов, соответствующих определенным представлениям; 2) порядок слов; 3) различия в силе произношения отдельных слов, сильное или более слабое ударение (ср. нем. *Karl kommt nicht* “Карл не придет” — *Karl kommt nicht* “Карл не придет”); 4) модуляция высоты тона (ср. *Karl придет* — утвердительное предложение и *Karl придет?* — вопросительное); 5) темп речи, обычно тесно связанный с силой произношения и с высотой тона» [Там же: 145–146].

Не исключено, что именно такой ход исторического развития наводит К. Бюлера на мысль об общих закономерностях эволюции знаковой системы и грамматического строя языка. «В истории человечества, — предполагает Бюлер, — взаимопонимание при помощи звуков, по всей видимости, гораздо старше *оформленного* предложения, так же как применение камней в качестве орудий, очевидно, древнее точно обработанных каменных топоров» [Бюлер 1993: 336]. В ходе экспериментального изучения речевого мышления Бюлер убедился в том, что знание формы предложения, его синтаксической схемы, отношений между отдельными частями целостной формы «всегда или почти всегда выступает в роли *посредника* между мыслями и словами» [Там же: 231]. «Формальный мир грамматики, по сути дела, возник в результате подключения синсематических языковых знаков и в соответствии с этим должен был развиваться». Вот почему известные нам человеческие языки представляют собой системы с символическим полем, с чем «должна считаться теория предложения», ибо «...полное предложение характеризуется *замкнутым и заполненным символическим полем*» [Там же: 337].

Чтобы удовлетворить потребности языкового мышления в символическом поле, «человеческий язык как механизм репрезентации, насколько он нам известен сегодня, прошел некоторые стадии развития, заключающиеся во всё возрастающем освобождении от указания и отдалении от живописания» [Там же: 232]. В результате меняется также *соотношение ситуации и контекста* как источников интерпретации языковых высказываний. Тем самым и «в области употребления языковых знаков можно выделить освободительное движение, пожалуй, наиболее знаменательное в становлении человеческого языка. ...Его можно квалифицировать как освобождение (в той мере, в какой это возможно) от *ситуативных вспомогательных средств*; это переход от в основном эмпрактической речи к языковым произведениям, в значительной степени синсемантически самостоятельным (самодостаточным)» [Там же: 337].

Неодинаковую зависимость языковых выражений от ситуативных условий Бюлер показывает на следующих примерах. «Пассажир в трамвае говорит: “Без пересадки!”, сосед в вагоне рассказывает: “Папа римский умер”. Второе выражение снабжено всем необходимым, чтобы и не в трамвайном вагоне быть понятым так же однозначно. Первое — эмпрактически завершаемая, а второе — синсемантически замкнутая речь. <...> Можно утверждать, что где бы ни было высказано в один и тот же день это (второе. — Л. З.) предложение, оно будет понято одинаково при всем различии локальных ситуаций. Таким образом, смысл данного предложения свободен от локальных, но не темпоральных условий речевой ситуации, он свободен от Здесь, но не от Теперь», ибо «говорящий сообщает о событии дня». «Смысл некоторых предложений не зависит и от темпоральных условий, например “дважды два — четыре” и другие научные высказывания» [Бюлер 1993: 337–338].

«В той же мере, в какой репрезентативное содержание языковых выражений освобождается от конкретной речевой ситуации, языковые знаки подчиняются новому порядку, наделяются полевой значимостью в символическом поле, попадают под сопутствующее воздействие *синсемантического* окружения» [Там же: 342].

Но это не исключает взаимодействия символического поля с указательным.

Несмотря на указанное «освободительное движение», наглядные представления и понятия, составляющие суть человеческого языка, продолжают сосуществовать, поскольку он служит орудием межличностного общения в окружающей действительности. Неудивительно, что между сигналами и символами нет жесткой границы, и очевидно, что ее никогда не будет.

В частности, знаки–символы не лишены вовсе указательных свойств. Это становится вполне очевидным, если среди прочих контекстуальных факторов учесть феномен *материальных опор*, входящий «в число повседневных привычек обычного пользования языковыми знаками». «...Коммуникант как говорящий или слушающий должен обращать свое внимание, всю свою внутреннюю созидающую или реконструирующую активность на то, с символами чего являются языковые знаки. В этом случае думают о вещах, о которых говорится, и конструктивная и реконструктивная внутренняя деятельность в значительной мере направляется самим предметом, который уже известен или который задается и создается текстом» [Там же: 157]. Так «если где-либо появляется слово ‘редис’, то читатель сразу же



мысленно переносится за обеденный стол или в огород, то есть, следовательно, в совсем иную “сферу”..., чем при появлении слова ‘океан’» [Бюлер 1993: 156]. Как видно, «...указание, осуществляемое указательным пальцем, не только характеризует функцию указательных слов, но также может быть обнаружено в сфере функционирования знаменательных слов» [Там же: 157]. Не случайно в определенных условиях имена замещают указательные знаки, и тогда лица, например в японском, называются (а не указываются) с соответствием с социальным положением собеседников [Там же: 133–134].

Со своей стороны, указательные слова тоже способны замещать назывные, так что «...любой указательный знак может выполнять номинативную функцию, иначе не было бы никаких местоимений» [Там же: 130]. Способность указательных знаков к такого рода замещениям имеет внутренние предпосылки. Дело в том, что «указательные слова также являются *символами* (а не только сигналами); слова типа *da* и *dort* ‘там’ символичны, они называют, так сказать, геометрическое пространство, то есть то место, окружающее говорящего в каждом конкретном случае, где находится указанный объект, точно так же, как *heute* ‘сегодня’, по сути дела, обозначает совокупность дней, когда это слово может произноситься, *ich* ‘я’ — всех потенциальных отправителей человеческих сообщений, а *du* ‘ты’ — класс получателей сообщений<sup>9</sup>. Тем не менее между этими именами и прочими назывными словами языка сохраняется различие, заключающееся в том, что слова рассматриваемого типа всякий раз требуют спецификации своего значения в указательном поле языка, спецификации, которая осуществляется при помощи чувственно воспринимаемых данных, поставляемых указательным полем в каждом конкретном случае» [Там же: 83].

«Указательные слова не нуждаются в символическом поле языка, чтобы полно и аккуратно выполнять свои обязанности. Но они нуждаются в указательном поле и в детерминации, осуществляемой в каждом конкретном случае при помощи этого указательного поля, или... наглядных моментов данной речевой ситуации. С назывными словами дело обстоит в этом пункте совершенно иначе: правда, они иногда приобретают свой полный смысл эмпрактически..., находясь в указательном поле. Однако это не является неизбежным: в законченном репрезентативном суждении типа  $S \rightarrow P$  языковая репрезентация

---

<sup>9</sup> Вообще, согласно К. Бюлеру, «...формирование класса — привилегия назывных слов, языковых понятийных знаков» [Бюлер 1993: 129].



оказывается в значительной степени независимой от конкретных ситуационных ориентиров» [Бюлер 1993: 110]. Впрочем, и в данном случае К. Бюлер не говорит о *полной* независимости от ситуации. Далее же он замечает: «При систематическом изучении постепенного освобождения смысла предложения от условий речевой ситуации и постепенно возрастающего доминирования символического поля обнаруживается, что предложения  $S \rightarrow P$ , являясь высказываниями о *действительности*, во всех науках пользуются самостоятельностью, но по своему репрезентативному содержанию никогда не могут полностью обойтись без структурных данных указательного поля в той степени, насколько они в строгом смысле слова остаются высказываниями о действительности, экзистенциальными высказываниями» [Там же: 342].

Кроме того, надо иметь в виду, что сфера действия указательного поля охватывает и более сложные языковые произведения. В конструктивном ряду, включающем фонему, слово, (простое) предложение и сложноподчиненное предложение, «заключительный элемент этого конструктивного ряда, сложное предложение, удивительным образом обнаруживает те же дейктические характеристики, которые свойственны [указательным] словам... ..Связи формирующегося высказывания сами используются как дейктическое поле. Контекст является анафорическим полем; формирующееся высказывание само в тех или иных фрагментах требует обращения вспять или вперед, оказывается *рефлексивным*» [Там же: 235]. В результате возникает *контекстуальное указательное поле* как разновидность единого указательного поля [Там же: 114].

**Э. БЕНВЕНИСТ.** Опираясь во многом на Ф. де Соссюра, отдавая должное его вкладу в лингвистику, Э. Бенвенист преодолевает некоторые крайности выдвинутой им знаковой теории благодаря тому, что принцип *оппозитивного дуализма*, который, по мнению Бенвениста, составляет «центральный пункт учения Соссюра» [Бенвенист 1974: 55], преобразуется у Бенвениста в более диалектичный принцип *двустороннего единства*. Тем самым Бенвенист делает шаг к разрешению противоречия «между единством как категорией нашего восприятия объектов и двойственностью, модель которой язык навязывает нашему мышлению» [Там же: 56]. Ревизия принципа оппозитивного дуализма позволила Бенвенисту, в частности, «преодолеть соссюрское понимание знака как единственного принципа, от которого будто бы зависит и структура языка и его функционирование» [Там же: 89], восстановить «подлинную природу знака в его системной обусловленности» [Там же: 96] и немало способствовать тому,

чтобы лингвистика стала наукой, «вновь обретающей единство своего внутреннего плана в бесконечном разнообразии языковых явлений» [Бенвенист 1974: 46].

**Символический способ функционирования, знаковый характер языка** является, по Э. Бенвенисту, важнейшим его свойством. В этой оценке символичности языка Э. Бенвенист вполне солидарен с Э. Сепиром, но заслуга Э. Бенвениста заключается в том, что он рассматривает символичность в необходимой связи с другими существенными свойствами языка: членораздельностью, наличием содержания — ввиду единства языка и мышления, а также их социальной природой.

Согласно Бенвенисту, «...присущая языку знаковая природа есть общее свойство всей совокупности социальных феноменов, которые составляют *культуру*» [Там же: 58].

Культурой Бенвенист называет «человеческую среду, всё то, что помимо выполнения биологических функций придает человеческой жизни и деятельности форму, смысл и содержание. <...> Культура определяется как весьма сложный комплекс представлений, организованных в кодекс отношений и ценностей: традиций, религии, законов, политики, этики, искусства — всего того, чем человек, где бы он ни родился, пропитан до самых глубин своего сознания и что направляет его поведение во всех формах деятельности» [Там же: 31].

В знаковой природе заключено фундаментальное отличие явлений, присущих человеческой среде, от явлений физических и биологических [Там же: 58]. Это отличие Бенвенист объясняет одной из основных особенностей человеческого бытия, может быть, самой глубокой. Она состоит в том, что «...нет естественного, непосредственного и прямого отношения ни между человеком и миром, ни между одним человеком и другим. Необходим посредник — тот символический аппарат, который сделал возможным мышление и язык. За пределами биологической сферы способность к символизации — самая характерная способность человеческого существа» [Там же: 31], неотъемлемая от самой сущности человека [Там же: 28]. Именно этой способностью обусловлено возникновение *homo sapiens* из разряда животных. Именно в ней видит Бенвенист источник мышления, языка и общества [Там же: 29]. «...Именно символ устанавливает ...живую связь между человеком, языком и культурой» [Там же: 32].

Под способностью к символизации Бенвенист понимает «способность *представлять (репрезентировать)* объективную действительность с помощью “знака” и понимать “знак” как представителя

объективной действительности и, следовательно, способность устанавливать отношение “значения” между какой-то одной и какой-то другой вещью» [Бенвенист 1974: 28].

«Роль знака заключается в том, чтобы репрезентировать, замещать какую-либо вещь, выступая ее субститутом для сознания» [Там же: 76]. Благодаря языковым знакам мир, воспроизводимый через их посредство, и формы мышления образуют тесное диалектическое триединство с языком, его структурой.

Аналогичная связь устанавливается при семиологическом подходе между языком, обществом и индивидом, причем Бенвенист доказывает языковую обусловленность как общества, так и индивида.

Опираясь на семиологическое отношение интерпретирования (см. ниже), Бенвенист квалифицирует соотношение языка и общества как «взаимозависимость на основе их способности к семиотизации». Если с социологической точки зрения «...язык функционирует внутри общества, которое включает его в себя» как часть, то в соответствии с семиологическим подходом «...только язык и дает обществу возможность существования. Язык — это то, что соединяет людей в единое целое, это основа всех тех отношений, которые в свою очередь лежат в основе общества. В этом смысле можно сказать, что язык включает в себя общество» [Там же: 86], а не наоборот. Отсюда вывод: «общество возможно только благодаря языку» [Там же: 27].

С другой стороны, «...только благодаря языку возможен индивид. Пробуждение сознания у ребенка всегда совпадает с овладением языком, который постепенно и вводит его в общество как индивида» [Там же: 27–28]. «Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придает реальность, *свою* реальность, которая есть свойство *быть*, — понятию “Его” — “мое я”» [Там же: 293]; «тот есть “его”, кто *говорит* “его”» [Там же: 294]. Но человек осознает себя, свое «я» только в противопоставлении «другому» — «ты». В результате на основе языковой функции ввиду взаимодополнительности и одновременно взаимобратимости «я» и «ты» «...рушатся старые антиномии “я” и “другой”, индивид и общество. Налицо двойственная сущность», в которой диалектическое единство связывает индивида с обществом и определяет их во взаимном отношении [Там же] (ср. [Гумбольдт 1985: 283]). Таким образом, заключает Бенвенист, «именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга» [Бенвенист 1974: 27].

**Семиотическая специфика языка.** Превосходство языка над всеми другими семиотическими системами заключено в природе языковых знаков и способе их функционирования.

«Язык дает нам единственный пример системы, которая является семиотической одновременно и по своей формальной структуре, и по своему функционированию:

1) он реализуется в высказывании, которое имеет референтом определенную вне его лежащую ситуацию: говорить — это всегда говорить о чем-то;

2) в формальной структуре он состоит из отдельных единиц, каждая из которых есть знак;

3) он воспроизводится и воспринимается каждым членом коллектива на основе одних и тех же референтных связей;

4) он представляет собой единственную форму реализации межсубъектной коммуникации.

По этим причинам язык является системой с наиболее ярко выраженным семиотическим характером» [Бенвенист 1974: 86], вследствие чего он обретает способность к семиотическому моделированию, способность — в качестве моделирующей структуры — сообщать другим системам знаковые свойства, свойство передавать значение [Там же: 86–87].

**Двойное означивание.** Истоки превосходства языка над другими знаковыми системами и в том числе истоки его метаязыковой способности «высказывать нечто означивающее о самом означивании», которая служит источником отношения интерпретирования [Там же: 88–89], Э. Бенвенист видит прежде всего в том, что «...язык передает значение специфическим способом, присущим только ему и не повторяющимся ни в какой другой системе. Он обладает свойством *двойного означивания*», сочетая два разных способа означивания — *семиотический* и *семантический* [Там же: 87].

Язык принадлежит к системам с означивающими единицами [Там же: 82], к системам, в которых «...означивание присуще уже первичным элементам в изолированном состоянии, независимо от тех связей, в которые они могут вступать друг с другом». Иными словами, в таких системах означивание «неотделимо от самих знаков» [Там же: 83].

Такой способ означивания, который присущ самому языковому знаку и придает ему статус целостной — хотя и двусторонней — единицы, Бенвенист называет семиотическим.

Каждый знак получает четкую характеристику присущего ему означивания внутри некоторой совокупности знаков, выявляющей

его различительные признаки. «Взятый сам по себе, знак представляет чистое тождество с самим собой и чистое отличие от любого другого, он является означающей основой языка, необходимым *материалом выражения*. Он существует в том случае, если опознается как означающее всей совокупностью членов данного языкового коллектива и если у каждого вызывает в общем одинаковые ассоциации и одинаковые противопоставления. Таков характер семиотического способа и сфера его действия» [Бенвенист 1974: 88; выделено мною. — Л. 3].

Только этот способ положил Ф. де Соссюр в основу своей концепции структуры языка и его функционирования. Принятое Соссюром ограничение семиотического анализа одной синтактикой в ущерб семантике и прагматике обусловлено тем, что, с его точки зрения, отношения в языке строятся в отвлечении от реальной связи, направленной на предмет [Соссюр 1990: 121], и «...языковые символы не связаны с тем, что они должны обозначать» [Там же: 101]. Убежденный в независимости языка от реальности, Соссюр резко отграничивает язык от речи, очевидно, потому, что именно в речи реализуется референция знака к конкретному предмету, обозначаемому в определенной ситуации.

Восстановив в правах познавательную функцию языка, Э. Бенвенист осознает, что соссюровский «...принцип знака нельзя считать единственным принципом языка в его функционировании для познания» [Бенвенист 1974: 89].

Один этот принцип — при том понимании знака, которое дает Ф. де Соссюр и с известными уточнениями в основном принимает Э. Бенвенист, — не раскрывает реальную посредническую роль языка в отношениях между миром и человеком. С исключением из принципа знака референтных связей с обозначаемым, с естественными вещами и их отношениями нельзя понять, как же язык выполняет свою основную, с точки зрения Бенвениста, репрезентативную функцию, а именно — как же язык воспроизводит действительность.

Поэтому Бенвенист счел необходимым восстановить, в сущности, единство языка и речи, одновременно признав наличие в языке двух разных областей — семиотической и семантической. Соответственно во внутриязыковом анализе он выделяет помимо семиотического еще один — семантический — способ означивания, который порождается речью. Необходимость анализа означивания в плане речевого сообщения диктуется тем, что смысл высказывания не является результатом простого сложения составляющих его знаков, а реализуется как целое.

Вернув языку функцию средства познания, Бенвенист не мог не заметить различную познавательную ценность каждого из измерений означивания: «...семантическое означивание основано на всех референтных связях, в то время как означивание семиотическое в принципе свободно и независимо от всякой референции». Вот почему «семиотическое (знак) должно быть *узвано*, семантическое (речь) должно быть *понято*» [Бенвенист 1974: 88].

«Непереходимая грань» между знаком и высказыванием и, стало быть, между двумя измерениями означивания, о которой пишет Э. Бенвенист [Там же: 89], в значительной мере заложена в сосюрвовском понимании знака, на которое ориентируется Э. Бенвенист. Она может быть преодолена, если взять за основу иное понимание знака — то, которое, следуя В. фон Гумбольдту, развил А. А. Потебня, и, таким образом, принять, что языковые знаки являются по своей природе символами, смысл которых хотя и не дан, но всё же задан «намеком» их внутренней формой, допускающей неоднозначную интерпретацию и бесконечно порождающей всё новые и новые смыслы.

**Символизм языка и реальный мир. Природа языкового знака.** В своем полном объеме символизм языка, осуществляющего означивание в двух разных измерениях, — явление динамическое. Согласно Э. Бенвенисту, он *усваивается* и развивается «по мере того, как человек овладевает окружающим миром и мышлением, с которыми он в конечном итоге соединяется. Из этого следует, что основные из этих символов и их синтаксис неотделимы для человека от вещей и от опыта, в котором он с ними сталкивается: он овладевает ими по мере того, как открывает их как реальности» [Там же: 125]. «Для говорящего язык и реальный мир полностью адекватны: знак целиком покрывает реальность и господствует над нею; более того, он и *есть* эта реальность» [Там же: 93]. «Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала наш язык» [Там же: 36], ибо структура языка включает в себе начальную модель и как бы отдаленное предчувствие мышления и реальной действительности [Там же: 32]. «Поскольку язык есть орудие упорядочения окружающей действительности и общества, он накладывается на мир, рассматриваемый как “реальный”, и отражает “реальный” мир» [Там же: 122]. Но при этом каждый язык членит реальность не по неким универсальным меркам, а на свой особый лад в соответствии со своей частной (не универсальной) логикой, отражающей направленность свойственных ему категорий [Там же].

Даже различие имени и глагола Бенвенист не считает универсальным [Там же: 169]. Лежащее в его основе «противопоставление

“процесса” и “объекта” не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том, что такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не свойства, внутренне присущие природе, которые языку остается лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу». В языках другого типа «...отношение между объектом и процессом может оказаться обратным или даже вообще исчезнуть, а грамматические отношения останутся теми же» [Бенвенист 1974: 168].

Ввиду различий в языковом членении мира лингвисты, в отличие от наивных носителей языка, осознают, что «...отношение символов к вещам, которым они, очевидно, соответствуют, можно только констатировать, но не мотивировать» [Там же: 125]. Иначе говоря, отношение языкового знака к явлению или объекту материального мира случайно. Для связи знака с обозначаемой вещью характерно отсутствие необходимости. Поэтому, уточняя положение Ф. де Соссюра о произвольности языкового знака, Э. Бенвенист ограничивает ее сферу лишь отношением знака к материальной действительности. «Произвольность заключается в том, что какой-то один знак, а не какой-то другой прилагается к данному, а не другому элементу реального мира» [Там же: 93].

Иной характер имеет отношение между двумя сторонами языкового знака. Соединение означающего и означаемого в языковом знаке Э. Бенвенист признает «необходимым, поскольку, существуя друг через друга, они совпадают в одной субстанции» [Там же: 96]. В условиях совмещенной субстанциональности в знаке как элементе структурированного целого, в знаке как значимости произвольность связи между означающим и означаемым исключена. Установленная Ф. де Соссюром *относительность* материальной и концептуальной *значимостей* является, по мнению Э. Бенвениста, лучшим доказательством того, что «...они находятся в тесной зависимости одна от другой в синхронном состоянии системы... Все значимости суть значимости в силу противопоставления друг другу и определяются только на основе их различия. Будучи противопоставлены, они удерживаются в отношении необходимой обусловленности» [Там же: 95]. Данное отношение заложено в структурном принципе языка, реализующем такое сущностное свойство языка, как его членораздельный характер.



Членораздельность и наличие содержания характеризуют язык как двустороннюю сущность. «...Язык — это особая символическая система, организованная в двух планах. С одной стороны, язык — физическое явление... <...> С другой стороны, язык — нематериальная структура, передача означаемых, которые замещают явления окружающего мира или знание о них их “напоминанием”» [Бенвенист 1974: 30]<sup>10</sup>. Таким образом, «язык характеризуется прежде всего тем, что имеет всегда два плана: означающее и означаемое» [Там же: 45]. Это свойство языка Бенвенист считает «конституирующим», видимо, потому, что для него передаваемое «содержание» и «мысль» в основе своей совпадают. Иначе и быть не может, если язык «есть *логос* — речь и разум в единстве» [Там же: 27].

Из этого единства, из наличия содержания и организации языка в двух планах проистекают, согласно Бенвенисту, остальные преимущества семиотической системы языка:

— членораздельный, «артикулирующий» характер, а следовательно, способность к самочленению, самокатегоризации, воплощающаяся в иерархической структурной организации языкового целого;

— специфика символического способа функционирования, выражающаяся в передаче значений путем двойного означивания (при наличии означивающих единиц).

Благодаря членораздельности знаковая система языка принадлежит к интерпретирующим. По определению Бенвениста, интерпретирующие системы — это «системы артикулирующие (самочленяющиеся) и имеющие тем самым свою собственную семиотику», а интерпретируемые системы — это «системы артикулируемые (несамочленяющиеся), семиотический характер которых выявляется только при наложении на них решетки какой-либо другой системы выражения» [Там же: 85]. Особое положение языка в мире знаковых систем, употребляющихся в жизни общества, и по отношению к самому обществу Э. Бенвенист объясняет тем, что язык как символическая система является системой интерпретирующей по отношению ко всем другим семиотическим системам. «...Знаки, имеющие хождение в обществе, могут быть полностью интерпретированы посредством знаков языка, но не наоборот. Язык, таким образом, выступает как интерпретант общества» [Там же: 78–79], а «...само общество интерпретируется через язык» [Там же: 79], ибо «никакая другая система

---

<sup>10</sup> «Напоминание» у Э. Бенвениста, очевидно, сопоставимо с «намеком» у А. А. Потебни.



не располагает соответствующим “языком”, с помощью которого она могла бы сама создавать свои категории (самокатегоризоваться) и самоинтерпретироваться в соответствии со своими семиотическими отличиями, тогда как язык в принципе может категоризовать и интерпретировать всё, включая и самого себя» [Бенвенист 1974: 85]. Способность языка создавать свои категории (самокатегоризоваться) и самоинтерпретироваться и делает его интерпретантом всех других семиотических систем [Там же].

#### **6.4. Основное направление эволюции представлений о природе языкового знака**

Природа языкового знака осмысливается через природу и функции языка в целом, и наоборот. Поэтому классический семантический треугольник, связывающий реальный объект, мысль об этом объекте в сознании субъекта и словесный знак, оказывается проекцией трех взаимосвязанных воздействий, характеризующих, согласно В. фон Гумбольдту, язык: реальной природы вещей, субъективной природы народа и своеобразной природы языка, выступающего посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека [Гумбольдт 1984: 319].

С античности до наших дней представления о природе и сущности языкового знака претерпели в общем ту же эволюцию, что общая теория языка, рассматриваемого в координатах мира и человека. Эта эволюция отразила осознание растущей автономности человека с его внутренним миром и развивающимся самосознанием по отношению к познаваемой вселенной, с одной стороны, и последующее осознание известной автономности языка по отношению к мышлению — с другой.

В античности господствует внеличностное, «вещевистское», по А. Ф. Лосеву [Лосев 1988а; 1988б], чувственно-материальное миропонимание. Бытие, мышление, язык воспринимаются в значительной мере синкретично. Этот синкретизм переносится и на словесный знак. «При состоянии мысли, не дающем возможности явственно разграничить субъективное познание от объективных его источников, слово, как наиболее явственный для сознания указатель на совершившийся акт познания, как центр относительно изменчивых элементов чувственного образа, должно было представляться сущностью вещи» [Потебня 1976: 446–447], что подтверждает античная теория именованя вещей по природе, изложенная Платоном в диалоге «Кратил».

Первоначально и знак в целом, и его означаемое представляются как нерасчлененное единство. Поскольку «мысль и речь одно и то же» [Платон 1993, 2: Софист 263е; с. 338], мысль и слово, *logos* и *phōnē* также отождествляются. С одной стороны, логос — это «мысль, адекватно выраженная в слове и потому неотделимая от него», и «слово, адекватно выражающее какую-нибудь мысль и потому от нее неотделимое» [Лосев 1994б: 216]. С другой стороны, логос как содержательное единство мысли и слова, взятого, по С. С. Аверинцеву, «исключительно в смысловом плане» [Аверинцев 1989а: 321], неразделен со своим звучанием (*phōnē*): «*logos* не мыслится вне *phōnē*», и «...у каждого *phōnē* есть свой *logos*» [Борисенко 1985: 168].

В такой интерпретации знака не противопоставлены ни означаемое и означающее, ни содержание и форма, ни тем более содержание мысли и языка.

Осознание различий между языковым и мыслительным содержанием коррелирует с различием объективного и субъективного начала в психическом отражении внешнего мира и, следовательно, предполагает различение самого мыслящего субъекта и объекта его мысли.

Нельзя сказать, что древние совершенно не обращали внимания на действие субъективного начала. Уже Гераклит заметил, что «...хотя логос всеобщ, большинство людей живет так, как если бы они имели собственное понимание». Более того, согласно Протагору, люди «в разное время воспринимают разное, смотря по разнице их состояний». И если Парменид исходит из тождества бытия и мышления и это тождество распространяет на язык: «слово и мысль бытием должны быть: одно существует лишь бытие» (цит. по: [Богомолов 1985: 55, 119, 82–83]), то софист Горгий, напротив, полагает, что сущее не совпадает ни с мыслью, ни со словом и «...никто не вкладывает (в слова) тот же смысл, что и другой» [Лебедев 1989а: 130].

Первые шаги в осмыслении языкового содержания (языковых значений) в качестве специфически индивидуального способа, формы представления всегда более богатого содержания мысли также были сделаны уже в античности, наиболее явно — в учении стоиков, что, очевидно, было связано с наметившимся у них различием вещественных (лексических) и формальных (грамматических) значений.

Введенное стоиками понятие «лектон» представляет то «смысловое содержание, которое выражено словом» и является обозначаемым языкового знака. Будучи бестелесным и умопостижимым, «лектон» «“возникает” согласно чувственному или умственному представлению»

и осмысливает, интерпретирует последнее в разных языках по-разному, причем делает это в соотнесенности с другими предметами высказывания, актуализируясь лишь в предложении. Соотнесенность слова с тем или иным «лектон» меняется в зависимости от контекста [Лосев 1982б: 172–174]. Кроме того, обозначаемое «лектон» — это также «понимаемое», а обозначающее — «воспринимаемое» [Якобсон 1983: 102]. Таким образом, в интерпретации стоиков, знак соотносится и с говорящим, и со слушающим. Это значит, что наряду с семантическим и синтаксическим аспектами знак рассматривается также в прагматическом аспекте — в отношении к носителям данного языка.

Однако наметившееся у Платона, стоиков и Эпикура различие трех разных миров — природного, мыслительного и языкового — тем не менее долгое время остается не востребуемым.

Не без влияния Аристотеля психический компонент знака — представление в душе, идея, образ, понятие — вплоть до Нового времени рассматривается безотносительно к субъективным особенностям отражения объективной действительности и считается универсальным (одним и тем же у всех людей). И хотя под влиянием христианства внимание к проявлениям человеческого начала в языке возрастает, на первый план сначала выдвигаются универсальные, общечеловеческие свойства, что не способствовало разграничению языкового и мыслительного содержания.

С течением времени неуниверсальность психического обозначаемого становится всё очевиднее.

Первоначально — в недрах рационалистической традиции — отступление от универсальности связываются не с понятийным содержанием языковых знаков, а с так называемыми *добавочными идеями*, которые отражают чувства, суждения и мнения говорящего. В интерпретации авторов Пор-Рояля, это идеи, вызываемые, например, «тоном голоса» либо связанные с самими словами, среди которых, несмотря на общность обозначаемого, одни могут быть оскорбительны, другие лестны, одни скромны, другие бесстыдны, одни пристойны, другие неприличны [Арно и Николь 1991: 91–92].

В сенсуалистической традиции с осознанием активности субъектов в познании мира постепенно утверждается точка зрения, согласно которой разные люди и мыслят по-разному, отчего в одно и то же слово может вкладываться разный смысл. Причины смысловых расхождений указываются разные. Так, Т. Гоббс, заметив, что «...одна и та же вещь вызывает одинаковые эмоции не у всех людей, а у одного и того же человека — не во всякое время», объясняет непостоянный смысл

имен вещей, вызывающих в нас известные эмоции, разнообразным устройством тела и предвзятыми мнениями. У таких имен Гоббс выделяет два типа значений: 1) значение, обусловленное природой вещи, и 2) значение, обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего [Антология... 1970: 326]. Вследствие названных индивидуальных различий между говорящими, общаясь с другими людьми, чтобы понять их, «приходится принимать во внимание намерение, повод и контекст в такой же мере, как и сами слова» [Гоббс 1964: 462].

Положение усугубляется тем, что и значения, обусловленные природой вещей, как показал Дж. Локк, могут существенно различаться от человека к человеку. Ввиду многообразия свойств воспринимаемых объектов разные люди в процессе познания составляют разные идеи одного и того же предмета, и его имя получает у разных людей различные значения. Отсюда разнообразие и неопределенность значений названий сложных идей.

С учетом субъективного фактора функции языка и языковых знаков тоже стали нуждаться в пересмотре.

В предшествующей рационалистической традиции язык представляется средством передачи универсальной готовой мысли. Для формирования же мысли — в силу врожденности идей — слова и иные знаки казались ненужными: «если бы наши размышления над своими мыслями имели отношение только к нам самим, достаточно было бы созерцать мысли сами по себе, не облекая их в слова и не пользуясь какими-либо иными знаками» [Арно и Николь 1991: 31].

В потеснившей рационализм философии сенсуализма признается необходимость слов не только и не столько в качестве *знаков* для сообщения своих мыслей другим, сколько для нас самих — в качестве *меток* для подкрепления памяти, для возбуждения в нашем уме мыслей, сходных с прежними мыслями, для регистрации хода мысли [Антология... 1970: 318–319; Гоббс 1964: 62].

Так как в силу познавательной активности субъекта мир идей–значений характеризуется определенной индивидуальностью и переменчивостью, сенсуалисты не исключают наличия «особого языка» у каждого из членов одного и того языкового сообщества [Локк 1985: 547; Кондильяк 1980: 261].

Идея Т. Гоббса о слове–метке, поддержанная как сенсуалистом Дж. Локком, так и рационалистом Г. В. Лейбницем, получает дальнейшее развитие в учении И. Г. Гердера о «внутреннем языке», образуемом из осознанных человеком отличительных примет образов восприятия. По Гердеру, эти приметы выполняют мыслеобразующую

роль: отчетливое понятие рождается лишь из акта осознания приметы [Гердер 1959: 141]. Затем осознанные приметы выступают в качестве памятных знаков понятий. Таким образом, в интерпретации Гердера, психические составляющие означаемого связаны знаковыми отношениями: внутреннее слово–примета — памятный знак мыслительной единицы.

В системных лингвофилософских концепциях XIX в. — в учениях В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни — эта выделенная примета трактуется как свойство, через которое осмысливается предмет, как способ обозначения отдельных предметов внутреннего и внешнего мира, как способ образования понятий [Гумбольдт 1984: 166, 104–105], как признак–представление, как внутренняя форма, *внутренний знак* означаемого лично-объективного внеязычного мыслительного содержания [Потебня 1958: 17–19]. Сам же этот признак–представление является исходным компонентом *языкового* (язычного) *содержания*.

Ввиду бесконечности человеческого познания и, соответственно, *неопределенности*, «открытости» обозначаемых физических и «внефизических» предметов «...представление их не должно быть всякий раз ни исчерпывающим, ни раз и навсегда данным», оно должно быть «способно на всё новые и новые преобразования» [Гумбольдт 1984: 306], так что языковые знаки должны нести в себе «живой росток бесконечной определимости» [Там же: 82]. Вследствие своей семантической бедности, формальности, пустоты признак–представление только *намекает* на постоянно и неопределенно растущее содержание мысли, выступая лишь в качестве знака последнего. Но знак этот особый.

С одной стороны, признак–представление, будучи посредником между познаваемым и прежде познанным, принадлежит к кругу признаков означаемого, т. е. имеет *отражательную* природу и в этом смысле *мотивирован*, даже если его выбор не согласуется с внутренней формой данного языка, мотивированной способом укоренения данного народа в действительности — индивидуальной направленностью его духа на чувственное созерцание, внутреннее восприятие или отвлеченное мышление [Там же: 172, 177].

С другой стороны, в силу неисчерпаемости количества признаков в каждом кругу восприятий [Потебня 1976: 194] «...в слове невозможно представление, исключающее возможность другого представления» [Там же: 229]. Ассоциативная связь данного познаваемого объекта именно с этим, а не с каким-либо другим познанным объектом

и именно по данному, а не по какому-либо иному признаку более или менее случайна, субъективна и в этом смысле *произвольна*.

Благодаря такому совмещению объективного и субъективного, отражательных и знаковых свойств словесные знаки являются по своей природе *символами*, на означаемый смысл которых лишь *намекает* означающая внутренняя форма, допускающая неоднозначную интерпретацию и бесконечно порождающая всё новые и новые смыслы.

Вследствие символической природы словесных знаков «...язык одновременно есть и отражение и знак» [Гумбольдт 1984: 320] не только в совокупном единстве внутренней и внешней формы, но и в отдельно взятой внутренней форме, поскольку в языковом содержании — в лексических и грамматических значениях — отражательные свойства совмещаются со знаковыми.

Переплетение отражательных свойств со знаковыми, объективного с субъективным в языковом содержании обуславливает жизнеспособность языка как средства самовыражения и взаимопонимания разнообразнейших индивидуальностей в течение веков.

Символическая природа языкового знака, его насыщенность «бесконечными смысловыми возможностями», характерными именно для символа [Лосев 1982а: 62–64, 123, 243], обеспечивает творческие потенции языка и как средства познания внешнего мира, и как средства духовного развития. Соответственно, языковой знак–символ — это и акт познания [Потебня 1958: 17], и квант постоянно растущего знания. Поскольку «всякий знак может иметь бесконечное количество значений, т. е. быть символом» [Лосев 1982а: 64], постольку язык — не просто совокупность знаков, а «система знаков, способная к неопределенному, безграничному расширению» [Потебня 1981: 134].

## Глава 7

# СУЩНОСТНЫЕ СВОЙСТВА И ВНУТРЕННЯЯ ДЕТЕРМИНАНТА ЯЗЫКА КАК СИСТЕМЫ ЗНАКОВ

### 7.1. От потребностей самовыражения и взаимопонимания к внутреннему строю языка как системы знаков

Разнообразные потребности общения могут быть сведены к *двум основным потребностям — самовыражения и взаимопонимания.*

Согласно В. фон Гумбольдту, «...назначение любого языка — служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей. <...> Но каждый индивид употребляет его для выражения именно своей неповторимой самобытности» [Гумбольдт 1984: 165]. В. Гумбольдту вторит А. А. Потебня: «Человек говорит, без сомнения, только в обществе; но он говорит прежде всего для самого себя, потому что это есть одна из фаз развития его собственной мысли» [Потебня 1976: 558]. Однако осознание своего Я, его индивидуальности невозможно без другого, без Ты, без взаимопонимания между членами языкового сообщества. Поэтому человек и его язык имеют *диалогическую природу*. В каждом человеке живет стремление порождать язык так, чтобы быть понятым другими людьми [Гумбольдт 1984: 78].

И своим внутренним строем, и всеми разновидностями своей реализации в речи язык служит самовыражению и взаимопониманию разнообразнейших индивидуальностей в их речевом общении.

Взаимодополнительность самовыражения и взаимопонимания, отражая *единство индивида и общества*, опирается на исходное, базовое *отношение между миром и человеком*, которое заключает в себе, как заметил Г. Гийом, *всё содержание языка* [Гийом 1992: 162], накапливаемое в ходе познавательной деятельности.

Будучи посредником между миром и человеком, язык одновременно представляет собой и *отражение, и знак* [Гумбольдт 1984: 320]. *В языковом содержании отражательные свойства переплетаются со знаковыми.* Это следствие *неопределенности означаемого* ввиду многосторонности и потенциальной неисчерпаемости для познания предметов внешнего и внутреннего мира, с одной стороны, и множественности механизмов их субъективного восприятия — с другой.

*Знаковые свойства языка* чрезвычайно расширяют возможности индивидуального самовыражения. (На этом основании возникло даже мифическое, по сути, представление, будто язык — целиком произвольное творение говорящих.)

В то же время «намекательный» характер языковых знаков, их категориальная мотивированность открывают возможность добиться определенного взаимопонимания.

Но так как заложенные в словесных знаках механизмы их понимания всё же ограничивают последнее пределами, допускающими широкие расхождения [Там же: 165–166], возникает потребность в толковании знаков путем семантического их означивания, в частности метаязыковыми средствами, например с помощью предложений, устанавливающих семантическое тождество языковых выражений [Арутюнова 2005: 300–325].

*Отражательные свойства языка* составляют фундамент взаимопонимания, не исключая, впрочем, и некоторого непонимания, поскольку языковое отражение действительности является *единством объективного и субъективного*. Языковая картина мира — это всегда видение мира субъектом, будь то народ или отдельный индивид. И чем больше удельный вес субъективного, тем вероятнее недопонимание в речевом общении. Сама степень различения субъективного и объективного в языковом содержании увеличивается по мере познания человеком объективного мира и, соответственно, с ростом самосознания. Отождествление субъективного образа объективного мира с самим этим миром, иначе говоря, мифический характер языкового мышления, указывает, согласно А. А. Потебне, на отсутствие необходимого «капитала мысли» [Потебня 1976: 420–421, 437, 446–447], на недостаток общей культуры человека. Неудивительно, что эффективность речевого общения напрямую зависит от культурного уровня собеседников, от объема «общего фонда идей», на котором строится взаимопонимание [Кондиляк 1982: 446].

Функциональное предназначение языка как средства самовыражения и взаимопонимания осуществляется в речи благодаря единству



целого ряда противоположностей, которые характеризуют язык, во-первых, в качестве посредника между миром и человеком и, во-вторых, как форму мысли.

Согласно Г. Гийому, базовое отношение Мир (Универсум) / Человек лежит в основе *противоположения всеобщего и единичного*, в свою очередь определяющего всю архитектуру речевой деятельности и всю структуру языка [Гийом 1992: 162–163].

Двойная способность языкового сознания — обобщать и индивидуализировать [Там же: 119] — служит основанием для разграничения *формы и материи* в языке [Там же: 112–114]. Отсюда фундаментальное семантическое *противоположение грамматического и лексического* в плане содержания.

Индивидуальные различия в языковом мировидении, провоцирующие возможность непонимания в речевом общении, в большей степени связаны с лексическими значениями. У индивидов, различающихся по своей образованности, начитанности, кругозору и т. п., степень живости внутренней формы многих лексических единиц неодинакова. По тем же причинам расходится и диапазон парадигматических и синтагматических связей лексических единиц, т. е. их структурное значение.

Категориальные, грамматические значения, образующие грамматическое видение, обуславливают относительное единство мировидения у членов данной языковой общности и создают основу того «общего фонда идей», который необходим для взаимопонимания.

Значимость грамматических видений для обеспечения понимания в процессе общения тем выше, чем грамматичнее язык, иными словами, чем последовательнее проведена в нем грамматическая категоризация и чем больше в нем мотивированных знаков [Соссюр 1977: 165–166], т. е. знаков, построенных по аналогии, которая ограничивает их произвольность [Кондильяк 1983: 236, 272].

На той же двойной способности языкового сознания к обобщению и индивидуализации основывается, по Г. Гийому, *противоположение языка и речи*, в которой реализуется отношение человека к человеку, возникающее из великого противостояния мира и человека [Гийом 1992: 162, 166].

Если продолжить мысль Г. Гийома, то в речевом общении способность к индивидуализации (сингуляризации, партикуляризации, вычленению, дифференциации) дает каждому индивиду возможность самовыражения через свой, особый идиолект, тогда как противоположная способность к обобщению (универсализации, генерализации,

категоризации, классификации), обеспечивая единство соотносительных идиолектов в составе языкового целого, создает языковые предпосылки взаимопонимания. В результате, будучи *единством коллективного и индивидуального*, любой национальный язык «... в качестве единого языка дробится внутри одной и той же нации на бесконечное множество языков, а в качестве этого множества сохраняет единство, придающее ему определенный отличительный характер по сравнению с языками других наций» [Гумбольдт 1984: 165].

В XX в. точка зрения В. Гумбольдта была поддержана Р. Якобсоном: «Несомненно, что для любого языкового коллектива, для любого говорящего единство языка существует; однако этот всеобщий код (over-all code) представляет собой систему взаимосвязанных субкодов» [Якобсон 1975: 197]. Отсюда необходимость в метаязыке как средстве согласования одного субкода с другим(и) в случае расхождения между ними в повседневном общении индивидов. Еще важнее роль метаязыка при обучении языку, особенно при усвоении родного языка ребенком, когда широко используются метаязыковые операции [Там же: 202].

За противоположением языка и речи стоит *противоположение возможности (потенции) и действительности (реализации)* [Гийом 1992: 55, 129] (см. также: [Соссюр 1977: 51]). Переход возможности в действительность осуществляется благодаря *деятельностной природе языка* в самой его *форме*, которая, в понимании В. Гумбольдта, представляет собой «постоянное и единообразное в... деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности» [Гумбольдт 1984: 71].

Индивидуальное своеобразие речи обуславливается тем, что наряду с постоянным и единообразным, иначе говоря — *инвариантным*, общим для всех носителей данного языка, в ней всегда присутствует преходящее, *варирующее* от одного индивида к другому.

Язык как созидающий процесс, как творческая духовная деятельность, претворяющая возможность в действительность, и как форма этой деятельности, обеспечивающая самовыражение и взаимопонимание индивидов, не может быть сведен и не сводится к некой заданной совокупности оформившихся элементов, т. е. к номенклатуре. Он располагает способами продолжить работу духа, представляя собой, по определению В. Гумбольдта, «вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными»

[Гумбольдт 1984: 78]. *Определенность законов порождения* служит основой взаимопонимания. Произвольность объема и способа порождения, точнее — видимая *произвольность выбора того или иного способа порождения*, является основой индивидуального самовыражения.

Благодаря действующим в языке способам, моделям построения и трансформации элементов разных рангов, в каждый данный период существования языка среди его элементов различаются *элементы воспроизводимые и производимые* по узуально закрепленным моделям. Путем порождения всё новых и новых производимых элементов, понимание которых обеспечивается знанием способа и модели их образования, постоянно расширяется *парадигматический потенциал* языковой системы, придавая ей открытый характер. Одновременно растут ее *синтагматические возможности*. Тем самым снимается *противоречие между конечным, казалось бы, набором языковых средств и их бесконечным использованием для выражения бесконечной* и поистине безграничной *совокупности всего мыслимого* разнообразнейшими индивидуальностями (ср.: [Там же: 110]).

В снятии данного противоречия участвуют и вполне оформившиеся как будто языковые элементы, в первую очередь воспроизводимые словесные знаки. Они несут в себе, говоря словами В. Гумбольдта, «живой росток бесконечной определмости». Эта способность бесконечной определмости обусловлена самой природой языковых знаков. Совмещая в себе отражательные и знаковые свойства, они являются символами, смысл которых лишь задан намеком их внутренней формой, допускающей различное толкование и бесконечно порождающей всё новые и новые смыслы. Одно из проявлений «бесконечной определмости» — асимметричный дуализм языковых знаков, их скольжение — в соответствии с требованиями конкретной ситуации и конкретного контекста — по осям *полисемии / омонимии* и *синонимии*. Использование известного знака в новом контексте в новом значении (появление омонима) удовлетворяет потребностям самовыражения говорящего. Встраивание данного омонима в известный синонимический ряд, в предложения, устанавливающие отношения синонимичности, облегчает взаимопонимание.

Итак, ввиду бесконечности мира и неисчерпаемости его для познания, вследствие постоянно развивающегося содержания самосознания язык, чтобы выполнять свои функции, должен быть вечно порождающим себя организмом, а потому язык — это «бесконечное целое» [Там же: 78], это «система знаков, способная к неопределенному, к безграничному расширению» [Потебня 1981: 134], это идеальный

универсум, находящийся в постоянном расширении, неизбежно растущий в количественном и качественном отношении [Гийом 1992: 157–158]. Тем самым язык дает индивиду бесконечные возможности для самовыражения. «Он никогда и ни при каких условиях не может стать абсолютным пределом для человека» [Гумбольдт 1984: 231]. Напротив, развитый язык открывает индивиду как самосознающей себя личности возможность *выбирать* языковые средства применительно к ситуации и условиям общения так, чтобы не только удовлетворить жажду самовыражения, но и познать счастье быть понятым другими.

Поскольку же жизнь индивида привязана к обществу, возможности индивидуального самовыражения ограничены этим обществом, его языком и функциональной дифференциацией последнего. Свободу выбора, помимо самого языка, ограничивают не только *функциональные*, но также *этические и эстетические требования* к речевому общению. Ведь «язык не есть только известная система приемов познания», хотя познание, по А. А. Потебне, является его основополагающей функцией, без которой было бы невозможно, да и не нужно, общение между людьми. «Язык есть вместе путь сознания эстетических и нравственных идеалов» [Потебня 1976: 259], которые закреплены в культуре речевого общения и выработанных ею нормах.

*Культура речевого общения и заключается в том, чтобы максимально способствовать как самовыражению индивидов, так и взаимопониманию между ними, причем лишь теми языковыми и метаязыковыми средствами, которые не оскорбляют нравственное чувство и эстетические идеалы общества и приняты им в качестве эталонных, нормативных.* Очевидно, что только с утверждением в обществе подлинной речевой культуры язык в полной мере обретает свою человечность и реализует исконное призвание человека к свободному духовному общению с себе подобными (ср.: [Гумбольдт 1984: 81]).

## **7.2. Сущностные свойства языковой системы знаков**

Язык как *система знаков* в определении классиков языкознания — В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртене, Э. Сепира, Э. Бенвениста — обладает двумя универсальными (и, как будет показано ниже, взаимосвязанными) сущностными свойствами. Это *символичность* и *членораздельность*.

И то и другое диктуется потребностями мышления, состоящего в разделении и соединении, анализе и синтезе. Для понимания истинной природы и назначения языка необходимо иметь в виду, что «анализ [мысли] производится и может быть произведен только при помощи знаков» [Кондильяк 1983: 238] и «...пользование знаками есть истинная причина развития воображения, созерцания, памяти» [Кондильяк 1980: 99]. Язык служит познанию мира и взаимопониманию между людьми именно потому, что, согласно Кондильяку, является *аналитическим методом*, эффективность которого обеспечивают связи и аналогии знаков.

Взаимосвязь членораздельности и символичности проявляется в изоморфизме языкового целого и отдельного знака: **двуплановая организация языка** соотносится с двусторонностью знака.

Дальнейшее членение языкового целого и его **уровневая структура** обусловлены свойствами языкового знака. Типичный языковой знак, каковым является *слово*, в силу своей *неопределенности* (о чем ниже) нуждается в *актуализации*. Актуализация знака, выявляющая его референтные связи с обозначаемым и тем самым восполняющая недостаточность семиотического означивания семантическим, осуществляется в составе *предложения* [Бенвенист 1974: 87–89]. Целям актуализации служит грамматическая **категоризация**. Осуществлению категоризации в так называемых *формальных, грамматических* языках способствует «различение *морфем*, создающее инвентарь формальных классов и подклассов» [Там же: 25]. Таким образом, в своей иерархической организации «...естественный язык представляет собой результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях» [Там же: 42].

Членораздельность, как показал И. А. Бодуэн де Куртенэ (прежде всего на примере звуковых элементов), предполагает *оформленность* языковых единиц благодаря 1) определенным взаимным отношениям (на основе ассоциаций по смежности и по сходству) [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 259] и 2) взаимодействию двух членений языкового целого — фонетического членения и «морфологической артикуляции», состоящей в последовательном иерархическом членении значащих единиц (предложений на слова, слов на морфемы) [Там же, I: 263]. Отсюда **сложность языковых единиц**, которую Н. В. Крушевский объясняет иерархическими отношениями, а Ф. де Соссюр выводит из совокупности ассоциативных (парадигматических) и синтагматических отношений. В любом случае «язык — это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные члены системы» [Соссюр 1977: 154].

Сложности языковых единиц сопутствует, согласно Н. В. Крушевскому, их неопределенность [Крушевский 1998: 102–104], выражающаяся, в частности, в **вариативности**.

Неопределенность, вариативность членения и вычленяемых единиц в синхронии вызывают необходимость различения *единиц–инвариантов* и *единиц–вариантов* в их функциональной стратификации. В соответствии со степенью членораздельности в языке различаются сильные и слабые места, центр и периферия. Глубина иерархического членения составляет типологическую детерминанту языка, определяющую его морфологический строй и особенности актуализации языковых знаков.

Морфологические колебания строя слов в диахронии, затрагивающие, по наблюдениям И. А. Бодуэна де Куртенэ, соотношения аналитизма и синтетизма, «агглютинации» и «флексии», префиксальности и суффиксальности, обуславливают переходный характер синхронических морфологических состояний языков, их *политипологизм* [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 114–115]. Ввиду изменчивости указанных характеристик «...противопоставление языков синтетических и аналитических или агглютинативных и “флективных” (фузионных) не представляет, в конце концов, ничего особенно фундаментального» [Сепир 1993: 137].

Поскольку «...жизни языка — как в головах отдельных людей, так и в языковом общении — свойственны постоянные колебания, качественная вариативность и количественная растяжимость» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 200], влекущие за собой и «постоянно обновляющуюся группировку по противопоставлениям и различиям» [Там же, II: 173], неудивительно, что Ф. де Соссюру язык представляется «расплывчатой массой», в которой «...только внимательность и привычка могут помочь нам различить составляющие ее элементы» [Соссюр 1977: 136].

Тот факт, что ни уровневое членение языкового целого, ни разграничение языковых категорий и классов, ни синтагматическое членение языковых единиц не являются и не должны быть жестко заданными, определяется функциями языка, которые, в свою очередь, обуславливают специфику языкового знака.

Так как язык служит посредником между миром и познающим его человеком, отражение, вос-произведение действительности в языковом содержании вообще и в означаемых отдельных знаков в частности должно сохранять, говоря словами В. Гумбольдта, «*живой росток бесконечной определмости*» и обладать способностью развиваться,

расширяться в процессе познавательной деятельности. Этого требуют неисчерпаемость мира для познания, эволюция мыслительного содержания и растущее самосознание, необходимость самовыражения и взаимопонимания индивидов, общающихся между собой из поколения в поколение. Требование «бесконечной определенности» тем более актуально, что, несмотря на социальную природу языка, «конечная цель его всё же — индивидуум, в той мере, в какой индивидуум может быть отделен от человечества» [Гумбольдт 1985: 397]. Движимый потребностью к самовыражению, «...каждый человек обладает своим языком» и «всякий раз своими усилиями создает в себе язык» [Гумбольдт 1984: 74, 98].

«Участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе», означает, что язык — это «не отражение сложившегося мирозерцания, а слагающая его деятельность» [Потебня 1976: 171]. В силу своего **деятельностного характера** «язык не есть совокупность знаков для обозначения готовых мыслей, он есть система знаков, способная к неопределенному, к безграничному расширению» [Потебня 1981: 134], для чего необходима подмеченная Ф. де Соссюром «внутренняя пустота знака» [Соссюр 1990: 152].

Соответственно, языковые знаки по своей природе должны быть такими подвижными, изменчивыми *символами*, смысл которых *не дан*, а только *задан* [Аверинцев 1989б: 581], причем задан *намеком*, и потому допускает неоднозначную интерпретацию и дальнейшее развитие в разных направлениях. В самом деле, «количество отдельных значений, обозначаемых словом, почти неопределенно. Каждый чувствует, что, не образуя нового сочетания звуков и не прибегая к изменению их, он может дать слову иное значение» [Потебня 1981: 119].

Подвижность, изменчивость, неопределенность означаемого языкового знака и его референтных связей отчетливо обнаруживается с изменением синтагматического и парадигматического окружения. Отсюда *необходимость двойного означивания языкового знака — семиотического и семантического* [Бенвенист 1974: 87].

Потенциальная неопределенность семиотического означивания заложена и в индивидуальных лексических значениях, и в категориальных грамматических значениях. Степень неопределенности знака в категориальном отношении зависит от морфологического типа языка. Более или менее последовательное разграничение значащих единиц различных уровней — предложения, слова, морфемы —



ограничивает категориальную неопределенность словесного знака, его полифункциональность, диффузность благодаря тому, что функционально-семантическое различие классов словесных знаков получает также морфологическое выражение, тем более если последнее является обязательным. Вот почему во флективно-синтетических языках (наподобие русского) категориальная неопределенность языковых знаков оказывается наименьшей (особенно в сравнении с изолирующими языками), что проявляется и в категориальной мотивированности означающего и его связи с означаемым в структуре флективного словесного знака (см. ниже). Но и в «грамматических» языках подведение знака под ту или иную грамматическую категорию не является жестким и вполне определенным, о чем свидетельствует возможность неоднозначной частеречной квалификации различных лексико-семантических вариантов русского слова. Подвижность частеречных характеристик словесных знаков, в свою очередь, означает *подвижность их семиологического статуса*. Всё это следствие символической природы языкового знака (в указанном выше смысле), его внутренней пустоты.

### **7.3. К истории определения внутренней детерминанты языкового строя**

Язык как форма должен обладать такими свойствами, как единство, целостность. Поэтому проблема детерминантных формообразующих свойств языка интересовала науку задолго до выделения языкознания в самостоятельную дисциплину.

И в онтологически, и в рационалистически ориентированных универсальных грамматиках строевая основа языка усматривалась в грамматической категоризации, и прежде всего в системе частей речи. Именно ее универсальность обосновывают и **модисты**, и авторы **Пор-Рояля**, притом первые исходят из единства мира, а вторые — из единства человеческого мышления.

Понятие детерминанты как специфически индивидуального организирующего начала языкового строя становится актуальным по мере отхода от традиций универсализма. Первоначально специфику языка связывают с его «духом», «гением», «характером», формирующимся сообразно с характером и духовным складом народа.

Едва ли не первым понятие детерминанты применительно к отдельному языку эксплицитно ввел **Э. Б. де КОНДИЛЬЯК**. Обнаружив зависимость внутреннего мира человека, его мышления от языка,



он указал на значение внутренней организации языка, а именно аналогии, количества аналогичных оборотов, не только для связи знаков, но и для связи идей, для совершения тех или других действий души. Кондильяк предположил, что склонность данного народа к определенным действиям души обусловлена «преобладающим качеством» его языка, т. е. тем, что сейчас называют детерминантой. Так как «анализ и воображение — это два столь различных действия, что обычно препятствуют развитию друг друга», то «...очень трудно, чтобы одни и те же языки одинаково благоприятствовали совершению этих двух действий» [Кондильяк 1980: 268]. В соответствии со своим «преобладающим качеством» одни языки способствуют деятельности воображения, другие благоприятствуют развитию анализа. Судя по приведенным Кондильяком примерам, эти преобладающие качества имеют синтаксическую природу. Простота и четкость конструкций французского языка стимулируют развитие аналитических способностей, а перестановка слов, более свободный их порядок, как, например, в латыни, препятствуя анализу, развивают воображение [Там же: 268–269].

Дальнейшее — и наиболее полное — обоснование диалектики универсального и специфического в языке представлено в учении **В. фон ГУМБОЛЬДА** о сущностных свойствах языка и его детерминанте.

В поисках причины различия в строении человеческих языков Гумбольдт обращается не только к их первоисточнику — духовным особенностям наций как «внешней детерминанте», но и к строю самих языков, чтобы «отыскать общий источник отдельных особенностей и соединить разрозненные черты в единое органическое целое» и таким путем, увязав все частности, определить место данного языка среди всех других типов языков [Гумбольдт 1984: 70]. Тем самым Гумбольдт впервые дает определение «внутренней детерминанты». Внутренняя детерминанта и есть тот общий источник отдельных особенностей языкового строя, который позволяет соединить разрозненные черты и увязать все частности в единое целое. При этом Гумбольдт постоянно имеет в виду тесную связь языкового строя с внутренней духовной деятельностью, протекающей в условиях определенной психической надсистемы, в частности учитывается связь языка с мышлением — с операциями разделения и соединения.

Определяющий национальную самобытность способ укоренения народа в действительности накладывает свою печать как на лексику, так и на грамматику.

В лексике «в конкретном обозначении явно участвуют то фантазия и эмоции, руководимые чувственным созерцанием, то тщательно разграничивающий рассудок, то смело связующий дух» [Гумбольдт 1984: 105], так что «...слова одного языка являют больше чувственной образности, другого — больше духовности, третьего — больше рассудочного отражения понятий, и т. п.» [Гумбольдт 1985: 379]. «Одинаковый колорит, какой в результате приобретают названия разнороднейших предметов, выявляет особенности миропонимания той или иной нации» [Гумбольдт 1984: 105].

Сходным образом и представление грамматической категории может быть более чувственным или более духовным и абстрактным [Гумбольдт 1985: 392, 397–398]. А так как грамматика имеет дело с *объясними* отношениями, применяемыми к целой массе отдельных предметов и понятий, то в силу этого, по Гумбольдту, «грамматика более родственна духовному своеобразию наций, нежели лексика» (цит. по: [Рапишвили 1984: 20–21]), несмотря на логическое происхождение, а значит, и универсальность большей части грамматических отношений [Гумбольдт 1984: 94, 103, 155].

И в лексике (при обозначении отдельных предметов внешнего и внутреннего мира), и в грамматике (при обозначении общих отношений) «великая разграничительная линия» между языками «проходит в зависимости от того, вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности» [Там же: 104].

В каждом отдельном языке соотношение объективного и субъективного, также коррелирующее с противоположением чувственного и рационального, оказывается различным в лексике и грамматике и служит их разграничению.

«Обозначение отдельных предметов внешнего и внутреннего мира глубже проникает в чувственное восприятие, фантазию, эмоции и, благодаря взаимодействию всех их, в народный характер вообще, потому что здесь поистине природа единится с человеком, вещественность, отчасти действительно материальная, — с формирующим духом. В этой области соответственно ярче всего просвечивает национальная самобытность» [Там же].

«Общие, подлежащие обозначению отношения между отдельными предметами, равно как и грамматические словоизменения, опираются большей частью на общие формы созерцания и на логическое упорядочение понятий». Они сводятся к обозримой системе, в которой «остается всего меньше места для индивидуального разнообразия» [Там же: 103, 104].

Таким образом, получается, что, согласно Гумбольдту, *обозначение общих отношений является определяющим в формировании как универсальных, так и специфически индивидуальных свойств языка.*

Поскольку же действительная роль грамматического раскрывается лишь в его взаимодействии с лексическим, постольку в поисках сущности языка вообще и источника своеобразия каждого отдельного языка Гумбольдт акцентирует свое внимание на единстве и целостности языковой формы.

Полагая, что сущностью языка, его господствующим принципом является членение, Гумбольдт в то же время считает, что язык немислим без синтеза, обеспечивающего единство формы [Гумбольдт 1984: 246]. Духовное единство формы лежит в основе усвоения языка, и оно же должно служить руководящим принципом в изучении языка: «...только тогда, когда от разрозненных элементов поднимаются до этого единства, получают представление о самом языке. Без такого подхода мы определенно рискуем просто-напросто не понять отдельных элементов в их подлинном своеобразии, и тем более в их реальной взаимосвязи» [Там же: 73].

Если исходить из иерархии членения языкового целого и видеть, далее, сущность языка в форме звуков и идей и их взаимодействии [Там же: 109], то ведущая роль в обеспечении единства и целостности языка закономерно принадлежит синтезу внутренней и внешней формы как элементов первичного членения языка.

В результате соединения звуковой формы с внутренней «...весь строй звуковой формы прочно и мгновенно сливается с внутренним формообразованием» и создается такая полная согласованность главных составляющих языка — звука и мысли, что ни один из этих элементов «не затеняет» другого [Там же: 107]. Следствием совершенного синтеза является такая аналогия между тем, *что* должно быть выражено, и способом выражения [Там же: 122–123], что словесный знак приобретает особую — символическую — природу [Там же: 127–128].

Различаясь обозначением общих отношений, а также «мерой активности и упорядоченной закономерности» самой потребности языкового сознания в символическом выражении понятийного (семантического) единства словесных знаков, языки различаются степенью символичности. В общем она зависит от соотношения лексического и грамматического — от того, как во внутренней (интеллектуальной, содержательной) сфере языка и в его внешней (звуковой) форме осуществляются обозначение понятий индивидуальных предметов

и обозначение общих отношений, применяемых к массе отдельных предметов «частично с целью обозначения новых предметов или понятий, частично для поддержания связности речи» [Гумбольдт 1984: 94], а именно от того, насколько разграничены эти два типа обозначений, как производится логическое упорядочение понятий в сфере общих отношений, каков способ представления грамматических форм в соответствии с их понятием, как представляется родовое понятие — отдельно от индивидуального понятия или слитно.

Тип языка и его совершенство определяются по степени членораздельности и мощи синтеза — по тому, в какой мере разграничены лексические и грамматические значения и насколько слиты их обозначения. И то и другое обусловлено потребностями разделяющей и соединяющей мысли и отражает характер категоризации.

Гумбольдт придает категоризации (классификации) «понятий» огромное значение, ибо «...ни один язык в своем внутреннем строе не может пройти мимо нее». «Это та ось, вокруг которой обращается весь языковой организм». Благодаря категоризации «...к самому акту обозначения понятия добавляется еще особая работа духа, переводящая понятие в определенную категорию мышления или речи» [Там же: 118], и в языке осуществляется связь интеллектуального и чувственного восприятия действительности, а тем самым и связь внутреннего мира человека с миром внешних явлений.

При анализе категоризации Гумбольдт различает два случая: «когда слово образуется от корня при помощи присоединения к нему общего понятия, применимого к целому классу слов, и когда слово получает аналогичное обозначение, но применительно к своему положению в речи» [Там же]. За этим различием стоит градация в осуществлении категоризации в разных языках, причем это относится даже к таким общим грамматическим категориям, как части речи, которые в рационалистической традиции считались универсальными.

В зависимости от способа осуществления категоризации Гумбольдт различает *внутреннюю* и *внешнюю грамматику*.

*В языках с внутренней грамматикой* категоризация, не получая материального выражения в самом слове, осуществляется в речи в составе предложения. Например, изолирующий китайский язык «благодаря правильному порядку слов обнаруживает незримо присутствующую в речи форму». Более того, по словам Гумбольдта, китайский язык пронизывает логически правильная грамматичность. В частности, «в строении китайского языка обнаруживается ощущение истинной и специфической функции глагола. Ставя глагол

в середину предложения, между субъектом и объектом, язык указывает, что глагол главенствует и является душой всего речеобразования. Даже будучи лишенным звуковых изменений, он уже благодаря своей позиции оживляет и приводит всю фразу в движение так, как это подобает глаголу, осуществляя тем самым актуальное полагание языкового сознания или по меньшей мере проявляя внутреннее ощущение этого полагания» [Гумбольдт 1984: 267].

*В языках с развитой внешней грамматикой* — флективных и агглютинативных — категоризация осуществляется в самом слове путем более или менее слитного материального обозначения грамматических форм. Но в агглютинативных языках, уступающих флективным по степени категоризации, отсутствует четкое разграничение вещи и формы, предмета и отношения. Это следствие того, что «...в грамматическом обозначении, которое должно быть чисто формальным, остается материальный (лексический. — Л. 3.) компонент» [Там же: 345], причем «...говорящий, скорее, образует формы в каждый данный момент сам, чем пользуется уже имеющимися», и в них обозначения грамматических отношений состоят из отдельных, более или менее независимых элементов [Там же: 340], связь между которыми недостаточно прочна [Там же: 343], так что агглютинативному «слову» не хватает единства и целостности.

Преимущества флективного метода перед другими состоят, по Гумбольдту, в том, что «...только он придает слову подлинную, как смысловую, так и фонетическую, внутреннюю устойчивость и вместе с тем надежно расставляет по своим местам части предложения, как того требуют мыслительные связи... Поскольку каждый элемент речи берется здесь в его двоякой функции, в его предметном значении и в его субъективном отношении к мысли и к языку, причем обе эти стороны обозначаются сообразно своему удельному весу, с помощью специально предназначенных для них фонетических форм, постольку *самобытнейшее существо языка, его членораздельность и символичность, достигает высших ступеней совершенства.* <...> В самом деле, пока инкорпорирующие и изолирующие языки мучительно селятся соединить разрозненные элементы в предложение или же сразу представить предложение связным и цельным, флективный язык непосредственно маркирует (stempelt) каждый элемент языка сообразно выражаемой им части внутри смыслового целого и по самой своей природе не допускает, чтобы эта отнесенность к цельной мысли была отделена в речи от отдельного слова» [Там же: 160; выделено мною. — Л. 3.].

В соответствии с иерархией значащих единиц флективное слово обладает двояким звуковым единством — *внешним* и *внутренним*. Внешнее единство слова характеризует его как целостность в отношении к конструкции предложения. Внутреннее единство слова характеризует его как тип связи минимальных значащих элементов (названных позднее морфемами): оно создается путем различения звуковой формы последних в соответствии с выражаемым значением [Гумбольдт 1984: 127, 130–131].

Свойственное флективным языкам словоизменение с его прочными грамматическими формами закрепляет вырабатывающееся звуковое различие экспонентов материальных (лексических) значений и грамматических отношений, что способствует различению отдельных артикуляций и распознаванию системы звуков [Гумбольдт 1985: 414].

Таким образом, пример флексии как нельзя ярче показывает, что «каждая особенность языка, коренящаяся во внутреннем языковом сознании, затрагивает всё его устройство» [Гумбольдт 1984: 126], распространяясь на все элементы его иерархической организации — от предложения до звуковых средств, и что выявляющаяся в грамматической категоризации «характерная форма языка отражается в его мельчайших элементах, и каждый из них тем или иным и не всегда явным образом определяется языковой формой» [Там же: 71].

Вслед за В. Гумбольдтом на типологическую значимость грамматической категоризации и противоположения лексического грамматическому обращали внимание, в частности, А. Шлейхер, А. А. Потенция, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Г. Гийом.

**А. ШЛЕЙХЕР**, видевший в языке звуковое выражение мысли, при характеристике того или иного формального класса (типа) исходит из того, *насколько точно данный класс воплощает в звуках процесс мышления* — представлено ли в языке звуковое выражение *обеих* составляющих мысли (т. е. не только понятий и представлений, но и отношений) и как они выражены (так же *слитно*, как в мысли, или *раздельно*). Благодаря такому подходу — явно под влиянием Гумбольдта — в классификации Шлейхера формальный аспект сливается с функциональным.

Стремясь к универсальности, Шлейхер пытается исчислить все теоретически возможные формы морфологической структуры слова. «Мы должны... установить, — пишет Шлейхер, — какие звуковые элементы должен иметь язык, т. е. каков наименьший размер его звуковой словесной формы, какие элементы м о ж е т он иметь и каким

образом могут они менять свое место и входить в сочетания. Встречаются ли эти формы и какие из них в действительности, нас пока совсем не касается» [Arens 1974, 1: 255]. Установленные таким образом *формы сводятся к трем основным классам*, не считая переходных. Полученная *формальная классификация совмещается у Шлейхера со стадильной*. Это становится возможным потому, что в противоположность Гумбольдту Шлейхер отрицает действие в языке непредсказуемого творческого начала. Ограничившись анализом внешних грамматических форм, он считает языковое развитие строго закономерным. Все языки постепенно развиваются от простого к сложному. Но при этом различные языки обладают почему-то неодинаковой способностью к развитию, вследствие чего *Система оказывается отражением Становления*. Это позволяет Шлейхеру дать исчисление классов в порядке их предполагаемого появления. Сам же порядок совпадает с этапами развития грамматических форм, выделенными Гумбольдтом [Гумбольдт 1984: 315–316, 343–344].

«Самая старшая форма языков была повсюду в сущности одна и та же. <...> Самые древние стихии, из которых состояли первоначальные языки, суть звуки, означавшие представления и понятия... На этой первоначальной ступени еще нет выражений для отношений, т. е. части речи еще не различались; глаголов, имен, склонения и спряжения и т. д. еще не было» [Шлейхер 1868: 10–11]. Морфологически сходные по форме первые элементы различались в трех отношениях: 1) в звуках, 2) в понятиях и представлениях, которые выражались звуками, 3) в способности к развитию [Там же: 11]. При обсуждении характера связи между звуком и значением Шлейхер указывает, что «общая необходимость, обусловленность звука значением или отношением достоверно не обнаруживается, даже в одном и том же языке для одного и того же значения часто имеется совершенно различное звуковое выражение». «Наоборот, те же самые звуки обозначают совершенно различное даже в одном и том же языке» [Schleicher 1869: 8]. Иначе говоря, соотношение звука и значения асимметрично.

В зависимости от *способности к развитию* одни языки остановились на данной низшей ступени, другие развились в меньшей или большей степени. Соответственно наряду с первичным изолирующим (= односложным) типом Шлейхер выделяет еще два — агглютинирующий и флективный. В результате языки стали различаться также и по форме.

*Поскольку для звукового выражения мысли в языке обязательно обозначение значений, т. е. представлений и понятий, но не отноше-*



ний, **основным критерием типологической классификации языков является наличие или отсутствие звукового выражения отношений**. Содержание этого критерия, так же как характер и количество других типологически значимых признаков, в работах разных лет не было одинаковым.

Первоначально учитывались два признака — *отсутствие/наличие выражения отношений в слове* и *степень его единства* (табл. 1).

Таблица 1

Признаки	Классы языков		
	односложные (изолирующие)	агглютинирующие	флективные
Выражение отношений в слове	–	+	+
Единство слова	+	–	+

По первому признаку *односложные языки противопоставляются агглютинирующим и флективным*, так что последние два класса друг к другу ближе, чем к первому [Schleicher 1850: 10]. О различии между агглютинирующими и флективными языками с точки зрения выражения отношений не упоминается. По второму признаку *агглютинирующие языки отличаются от односложных и флективных*, но и между *сходными* классами имеется разница. «Односложный язык состоит только из корней, из звуков значений, которые содержат отношение имплицитно, в себе». «...Единство понятия, представления отражается также в звуковом единстве (слог). Слово здесь еще не членимо» и образует строгое единство наподобие кристалла [Ibid.: 7]. В агглютинирующих языках отношения выражены путем более или менее свободного присоединения к неизменяемым корням соответствующих звуков, также восходящих к корням. «Во всех этих языках слово членится на части (отличие от первого языкового класса), но эти части не сливаются прочно в одно целое (отличие от следующего класса)» [Ibid.: 8–9]. Слово оказывается соединением нескольких словесных индивидов и напоминает растение. Выше всего на шкале языков стоят флективные. В них «значение и отношение получают свое звуковое выражение, и единство слова, тем не менее, сохраняется», причем это единство в разнообразии членов, сходное с единством животного организма, и потому более высокое, чем в односложных языках [Ibid.: 9]. Следует особо оговорить, что, когда речь идет о степени слияния элементов слова в агглютинирующих и флективных языках,



имеется в виду взаимодействие экспонентов отношений с корнем и между собой [Schleicher 1850: 8; 1869: 21].

В более поздних работах Шлейхер, уточнив первый признак, стал различать *выражение отношений в слове с помощью разного рода «приставок» и «вставок»* — префиксов, суффиксов, инфиксов, с одной стороны, и *выражение отношений в самом корне путем его модификации* — с другой. Последнее (в отличие от первого) свойственно только флективным языкам и отсутствует в агглютинирующих. Таким образом, уже *по выражению отношений* оказываются *разграниченными все три класса*, но особенно изолирующие и флективные (табл. 2).

Таблица 2

Выражение отношений	Классы языков		
	изолирующие	агглютинирующие	флективные
С помощью «приставок» и «вставок»	–	+	+
Путем модификации корня	–	–	+

Соответственно меняется *степень слияния значащих элементов друг с другом* — от наименьшей в изолирующих языках до наибольшей во флективных. Агглютинирующие языки и в этом случае оказываются промежуточным классом. *В изолирующих языках*, если отношения выражаются с помощью относительно самостоятельных корней с более общим абстрактным значением [Arens 1974, 1: 255], последние свободно присоединяются к определяемым корневым словам. Именно благодаря этой разделности элементов языки данного типа называются изолирующими [Schleicher 1869: 13–14]. *В агглютинирующих языках* выражения отношений теснее срастаются с определяемым корнем и между собой. В результате они, как правило, утрачивают в большей или меньшей степени первоначально полную звуковую форму и сокращаются. «...Однако выражения отношения идут рядом с выражениями значений всё же более или менее несвязанно» [Ibid.: 17]. *Во флективных языках* в модифицируемом корне выражение значения сливается с выражением отношения. Одновременно происходит глубокое слияние корня с «приставками», и благодаря тесному взаимодействию частей слова друг с другом достигается его наиболее прочное единство.

Вследствие указанных различий в форме слова *языки выделенных классов выполняют задачу звукового выражения мысли с разной степенью совершенства. Изолирующий язык* из-за отсутствия выражения отношений «дает не полную картину мыслительного процесса, а только аббревиатуру, намек на него». *Агглютинирующий язык* несовершенен по другой причине, а именно ввиду раздельного выражения значения и отношения и недостатка их единства в слове. Поскольку же «в действительном мышлении одно с другим одновременно предполагается», то и в агглютинирующем языке «мы также не имеем верного изображения мысли в звуке» [Schleicher 1869: 17]. Присущее мышлению внутреннее слияние материала (понятий и представлений) и формы (отношений) в языке «возможно только тогда, когда звук значения, сам корень, может стать регулярно изменяемым с целью выражения отношения» [Ibid.: 19]. «Эта возможность символически обозначать отношение в самом корне, а не с помощью примыкающих первоначально самостоятельных элементов, составляет особенность флексии. Только теперь, при символическом обозначении отношения, задача языкового образования — порождение точного звукового отражения мышления — может рассматриваться как полностью решенная» [Ibid.: 21].

**А. А. ПОТЕБНЯ** с грамматической точки зрения разделяет языки на *формальные* и *неформальные*. Формальные языки «в области своей внутренней формы делают различие между представлением содержания и представлением формы, в какой оно мыслится» [Потебня 1958: 47]. В этих языках частное содержание слов подводится под грамматические разряды таким образом, что лексическое содержание и грамматическая форма составляют один акт мысли и образуют неделимую единицу. Благодаря этому формальные языки способствуют облегчению и ускорению мысли и потому представляют собой «весьма совершенное орудие умственного развития» [Там же: 37].

Менее удобны для мысли «языки, в коих подведение лексического содержания под общие схемы, каковы предмет и его пространственные отношения, действие, время, лицо и пр., требует каждый раз нового усилия мысли. То, что мы представляем формою, в них является лишь содержанием, так что грамматической формы они вовсе не имеют. В них, напр., категория множествен. числа выражается словами “мно-го”, “все”; катег. времени — словами, как “когда-то”, “давно”... <...> Хотя в тех же языках могут быть и более совершенные способы обозначения категорий, но тем не менее для них характерично то, что в них слово, долженствующее обозначать отношение, слишком тяжеловесно

по содержанию; что оно слишком часто включает в себе указание на образ или понятие, чуждые главному содержанию, усложняющие это содержание прибавками, не нужными с нашей точки зрения, уклоняющие мысль от прямого пути и замедляющие ее течение» [Потебня 1958: 38].

Сходство общих грамматических категорий в каких-либо языках может быть обманчиво ввиду возможных различий в частных грамматических категориях. При наличии сходных грамматических категорий соотношение их друг с другом в различных языках не совпадает. Ввиду указанных «значимостных» различий, строго говоря, «нет ни одной грамматической и лексической категории, обязательной для всех языков» [Потебня 1976: 259].

**И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ** видел задачу научной характеристики и классификации языков в том, чтобы отыскать такие характерные и постоянные признаки, которые, обособляя отдельный язык среди прочих, имеют общую значимость и проникают насквозь его фонетический и морфологический (грамматический) строй. На этой основе следует вскрыть общие стремления, обуславливающие своеобразное развитие всего языкового механизма, своеобразный строй и состав данного языка [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 71, 115, 132], т. е., пользуясь современной терминологией, установить его «детерминанту», а далее определить, на чем основываются важнейшие различия морфологических типов [Там же, I: 103], иными словами, каковы их детерминанты.

Если в поисках детерминанты морфологического типа отталкиваться от того универсального свойства естественных языков, которое Бодуэн положил в основу своей концепции двоякого членения языкового целого, а именно — от членораздельности, то, признавая основной характеризующей чертой человеческого языка его морфологическую сторону, его структуру [Там же, II: 163], его форму, его морфологическую артикуляцию, состоящую в членении предложений на слова (синтагмы), слов же — на морфемы [Там же, I: 263], при определении своеобразия сопоставляемых языков следует исходить из глубины морфологического членения, из степени и характера разграничения значащих единиц.

Этот принцип вполне отчетливо прослеживается в данной Бодуэном характеристике синтетических флективных (флексионных, флексивных) ариоевропейских языков в сравнении с аналитическими агглютинативными финско-тюркскими (туранскими, урало-алтайскими) языками [Там же, I: 103–105; II: 184–185].

По глубине иерархического членения языкового целого, по степени разграничения слова и морфемы, а также знаменательных и служебных морфем агглютинативные языки явно уступают флективным. Недостаточное внутреннее единство агглютинативного слова, отсутствие действительной структурной целостности указывает на его *производимый* характер. По наблюдениям Бодуэна, представленные в агглютинативном слове суффиксы, точнее — «корни в роли суффиксов», по большей части существуют в языке самостоятельно, только временно сочетаясь с главным корнем. Поэтому они сохраняют свою отчетливость и обособленность как в семантическом плане (отсюда параллелизм между формой и функцией, т. е. однозначность агглютинирующих словоизменяемых аффиксов), так и в отношении звуковой организации (благодаря прогрессивному направлению звуковых влияний — от остающегося неизменным корня к присоединяемым в случае надобности аффиксам — звуковая форма последних, судя по гармонии гласных и ассимиляции в группах согласных, носит регулярный и, что особенно важно, *предсказуемый* характер).

*Производимой* природой агглютинативного слова (если не исключаяющей, то ограничивающей регрессивные звуковые влияния) объясняются и отсутствие в нем морфологически утилизированных альтернатив одних и тех же морфем (прежде всего корневых), их мономорфизм, а значит, и невозможность дальнейшего членения морфем на морфологизованные и семантизированные составные части вплоть до отдельных произносительно-слуховых элементов (признаков).

Недостаточная развитость грамматических форм сказывается и на особенностях грамматической категоризации. В туранских языках, согласно Бодуэну, преобладает именной характер, самостоятельные глаголы слабо развиты [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 104].

В противоположность этому во флективных языках морфологическое членение предстает в завершенном виде, что находит свое выражение и в последовательном разграничении слова и морфемы. Морфологические компоненты, сливаясь, образуют «одно слово в строгом смысле» [Там же]. Во флективных языках окончания и приставки «существуют только как приставки и окончания», а корни/основы, испытывая регрессивное влияние последующих компонентов, подвержены альтернативам, в том числе морфологически утилизированным, что в свою очередь способствует вычленению фонем и фонемных признаков. Тесное слияние морфологических компонентов слова в единое целое влечет за собой асимметрию между формой и функцией,

одним из проявлений асимметрии выступает свойственный флективным языкам полиморфизм.

Последовательно проведенная грамматическая категоризация обуславливает глагольный характер ариоевропейских языков.

Обязательность употребления грамматических форм объясняет, почему «в ариоевропейских языках имеется грамматическая конгруэнция подчиненных слов с главным словом, в туранских же “строго логически” “склоняется” и “спрягается” только главное слово, конгруэнция же вовсе отсутствует» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 104].

В итоге, явно исходя из различий в глубине морфологического членения, Бодуэн приходит к выводу, что «вместо необоснованного различения языков “флективных” и “агглютинативных” следует говорить, с одной стороны, о различии между сочетанием морфем друг с другом и между психо-фонетическими альтернативами одних и тех же морфем, с другой же стороны, о различии между сочетанием синтагм (слов) и между альтернативами (психо-фонетическими изменениями, чередованиями) одних и тех же синтагм» [Там же, II: 184]. Как видно, иерархическое членение языкового целого на значащие единицы достигло завершенности во флективных языках и остается не вполне завершенным в агглютинативных. В этом и состоит основное типологическое различие между данными языками.

**Ф. де СОССЮР**, так же как и А. А. Потебня, разбивает языки на два класса, но при этом исходит из *степени мотивированности знаков*. «Во всех языках имеются двоякого рода элементы — целиком произвольные и относительно мотивированные, — но в весьма разных пропорциях» [Соссюр 1977: 165]. В одних языках доминирует склонность к употреблению лексических средств и соответственно господствуют немотивированные знаки. В других языках отношения предпочтительно выражаются с помощью грамматических средств и в результате преобладают мотивированные знаки. Те языки, в которых немотивированность достигает максимума, Соссюр называет *лексическими*, а те, где она составляет минимум, — *грамматическими*. По критерию, избранному Соссюром, изолирующие и флективные языки вновь оказываются на разных полюсах.

**Э. СЕПИР** ведущую роль в классификации языков отводит природе выражаемых значений. Так как основополагающим отличительным признаком общей формы языка служит выражение отношений, «...наиболее фундаментальная понятийная основа классификации — это выражение основных синтаксических отношений как таковых

в противоположность их выражению в обязательном сочетании с понятиями конкретного характера» [Сепир 1993: 237]. В результате первичным является разделение языков на *чисто-реляционные* и *смешанно-реляционные*. По мнению Сепира, «...в противопоставлении языков чисто-реляционных и смешанно-реляционных (или конкретно-реляционных) мы имеем дело с чем-то более глубоким, более всеобъемлющим, нежели в противопоставлении языков изолирующих, агглютинативных и фузионных» (флективных. — *Л. 3.*) [Там же: 137].

**Г. ГИЙОМ**, как будто возвращаясь к идеям В. Гумбольдта и развивая их, по характеру слова и его соотношению с предложением выделяет три типологических языковых ареала, соотносимых с основными морфологическими типами языков.

В начальном языковом ареале в отсутствие «структурных» (грамматических. — *Л. 3.*) идей и морфогенеза, необходимого для их выражения, имеет место некоторая интерференция языка и речи, вследствие чего такие языки оперируют словами—предложениями. К языкам, в которых «...достаточно образования понятийных идей», т. е. лексических значений, а морфогенез и, соответственно, части речи отсутствуют, Гийом относит, например, китайский язык [Гийом 1992: 91, 131, 138–139, 207].

Во втором языковом ареале слова характеризуются тем, что «...их оформление не полностью завершается в языке, а заканчивается во время *перехода* (transitus) из языка в речь» [Там же: 40], поэтому обязательное наложение двух видов образования идей, понятийных и структурных, является не совсем одновременным. Таково, по Гийому, положение дел в семитских языках [Там же: 130–131]. С еще большим основанием, на мой взгляд, ко второму ареалу могут быть отнесены классические агглютинативные языки, в которых морфологическое выражение определенных грамматических значений не является строго обязательным: оно наличествует или отсутствует в зависимости от контекста.

И только в третьем ареале слово получает законченное оформление в языке [Там же: 40], ибо благодаря обязательному и одновременному наложению друг на друга двух видов образований — понятийного и структурного — становится возможным приведение слова к той завершающей чистой форме, какой является часть речи [Там же: 117–119]. Вследствие развитой категоризации окончательно закрепляется противоположение слова как потенциальной единицы языка и предложения как реализованной единицы речи, а вместе с ним и противоположение языка и речи.

В концепции **Г. П. МЕЛЬНИКОВА** [1989; 2003] гумбольдтовское понятие внутренней формы конкретизируется в понятии *внутренней детерминанты* как функционально наиболее важного свойства языкового строя, но не отдельного языка, а языкового типа.

В отличие от Э. Б. де Кондильяка и В. фон Гумбольдта, Г. П. Мельников исходит из коммуникативной обусловленности внутренней детерминанты языка. Согласно Мельникову, язык — это прежде всего коммуникативное устройство, а не инструмент мышления [Мельников 1977: 227]. Собственно мышление, с точки зрения Г. П. Мельникова, не вербально и универсально: процедуры и механизмы мыслительных процессов и актов, осуществляясь в зоне внеязыкового сознания, в зоне отражения и прогнозирования состояний внешней действительности, остаются общими, универсальными для всех народов, независимыми от строя языка.

Различия в языковых коллективах, в условиях общения и во внеязыковом сознании, затрагивающие тип связи поводов сюжетов в памяти коммуникантов, степень близости их текущих, индивидуальных образов и мировидения, обуславливают *неотождественность коммуникативной функции языка*, ее вариативность.

Поскольку же «...*смысл* типичного высказывания как *внутренняя форма сообщения* должен быть приспособлен для преобразования типичных поводов в типичном *аспекте* при формировании типичных, для рассматриваемых условий общения, *сюжетов* и при типичных временных и пространственных межкоммуникационных интервалах» [Мельников 1989: 24], то язык как адаптивная коммуникативная система должен обладать определенными особенностями *коммуникативного ракурса*. Именно в коммуникативном ракурсе, в особенностях смысловой схемы типовых высказываний Мельников видел важнейшее проявление *внутренней формы языка*, в которой реализуется *внутренняя детерминанта* системы.

Г. П. Мельниковым определены четыре внутренние детерминанты как четыре главных коммуникативных ракурса и, соответственно, четыре внутренние формы, которые характеризуют выделенные В. Гумбольдтом морфологические типы языков: обстановочная — инкорпорирующий тип, (качественно) признаковая — агглютинирующий тип, событийная — флективный тип, окказиональная — корнеизолирующий тип.

Так становится возможным *объяснить функциональные связи* между *семантическим своеобразием языка* и теми особенностями *условий общения* в языковом коллективе, которые влекут за собой соответствующую модификацию функций языка.



В единстве с внешней детерминантой внутренняя детерминанта оказывается глубоко диалектичной целносистемной характеристикой, учитывающей и те предрасположенности к связям и отношениям, которые вытекают из устойчивого имманентного свойства типологически сформировавшегося языка, и те его свойства и предрасположенности, которые возникают из «диспозиции» языка в сети отношений с объектами окружающей среды.

Внутренняя детерминанта языка как его форма обуславливает свойства, единицы и отношения на всех уровнях, вплоть до фонетического, выявляя таким образом целносистемность языка.

Итак, по мере эволюции общей теории языка всё более утверждается мысль о целносистемности языка как следствии его внутренних детерминантных свойств. Становится ясным, что первичное разделение содержательной сферы на лексику и грамматику и грамматическая категоризация составляют строевую основу языка и обуславливают все его свойства — универсальные, типологические, специфические. Поэтому актуальная задача построения целносистемной типологии языков может быть решена лишь путем установления соотношения лексического и грамматического, а также определения характера и степени развития грамматической категоризации в языках различных типов, в том числе в зависимости от условий общения и специфики языкового коллектива, его национально-самобытных духовных особенностей и коммуникативно релевантных характеристик.

#### **7.4. Внутренняя типологическая детерминанта языка в аспекте его сущностных системных свойств**

Своеобразие и закономерности языков можно в полной мере выявить и объяснить лишь исходя из сущностных системных свойств языка, приистекающих из неразрывной связи его с мышлением.

Как уже указывалось, по определению В. фон Гумбольдта, «...сущность языка заключена в членораздельности» [Гумбольдт 1985: 410]. Подобно тому как «...всякое мышление состоит в разделении и соединении» [Гумбольдт 1984: 127], в анализе и синтезе, так и язык «вечно разъединяет и связывает» [Там же: 236].

Первичное членение языка–речи состоит в разграничении двух сторон — значения и звучания, внутренней и внешней формы (по В. Гумбольдту), плана содержания и плана выражения (по Л. Ельмслеву).



Соответственно язык имеет двойное иерархическое членение: членение в содержательной сфере, которое оперирует значащими элементами — двусторонними по И. А. Бодуэну де Куртене и А. Мартине, односторонними по Л. Ельмслеву, и членение в звуковой сфере, оперирующее незначащими односторонними элементами. В обеих сферах членение осуществляется от высшего уровня к низшему вплоть до простых и далее нечленяемых «конечных» элементов, способных к бесконечному соединению [Гумбольдт 1984: 308, 315]. «...Простое объединение этих элементов образует совокупности, которые в свою очередь стремятся превратиться в части новых совокупностей» [Там же: 85]. Отсюда двунаправленность иерархических связей — как сверху вниз, так и снизу вверх. Последовательное образование всё более сложных совокупностей распространяется и на синтагматику, и на парадигматику элементов одного ранга. В результате понятие членораздельности смыкается с понятиями формы и структуры, а членораздельность, оформленность элементов языка выступает следствием структурных отношений и функциональных связей, организующих языковую систему: иерархических, синтагматических, парадигматических. Иными словами, членораздельность (в широком смысле) предполагает, с одной стороны, собственно членение (членораздельность в узком смысле), а с другой — категоризацию.

Поскольку *система* в общенаучном понимании — это выполняющая некие *функции* в надсистеме *целостная* совокупность *элементов* (*членов*), связанных определенными *отношениями*, постольку *членораздельность* (выделение планов, уровней, единиц разного формата на основе иерархических, парадигматических, синтагматических отношений) в сопряжении с *категоризацией*, которая предполагает объединение вычленяемых элементов в некие совокупности (включая группы, разряды, классы языковых знаков), оказывается *базовой* характеристикой языковой системы и самого знака как двусторонней сущности. В обеспечении *целостности* языковой системы главную роль играют *иерархические* отношения между вычленяемыми значащими единицами, обуславливающие *многомерность* элементов иерархического ряда и, в частности, как показал Э. Бенвенист, соотносительность формы и собственно языкового структурного значения знаковых единиц.

Таким образом, к числу сущностных свойств языка, воздействующих, по-видимому, и на типичный словесный знак, должны быть отнесены: **членение** (членораздельность), **категоризация**, характер которой определяет соотношение *лексического* и *грамматического*,

**иерархия** (в членении и категоризации), **многомерность** языковых единиц вообще и словесного знака в частности вследствие иерархических отношений, которые характеризуют язык как знаковую систему с двойным означиванием — семиотическим и семантическим. Соотношение этих свойств друг с другом можно представить в следующем виде:



Ввиду универсальности указанных свойств «...языки изоморфны: в основе их структуры лежат одни и те же общие принципы» [Якобсон 1963: 95]. Однако степень их реализации различна. Глубина иерархического членения языкового целого, способ категоризации (особенно состав и характер частных, собственно грамматических категорий), степень лексичности / грамматичности различаются от одного типа языков к другому.

Так как «...в языках вообще естественным исходным началом является значение» [Гумбольдт 1984: 234], степень изоморфизма между элементами первого и второго членения, а значит, и степень их противопоставленности зависят прежде всего от того, насколько последовательно проведено иерархически старшее, первичное членение в содержательной сфере. В соответствии с требованиями мышления, которое «никогда не имеет дела с изолированным предметом», а «только создает связи, отношения, точки зрения и соединяет их» [Там же: 306], в языке наряду с обозначением понятий индивидуальных предметов внутреннего и внешнего мира осуществляется обозначение общих отношений, применяемых к целой массе отдельных предметов [Там же: 103–104]. Отсюда первичное разделение содержательной сферы языка на лексику и грамматику.

Это деление лежит в основе различения материального и формального значения у В. Гумбольдта, значения и отношения у А. Шлейхера, материального и реляционного содержания у Э. Сепира. Согласно Э. Сепиру, «...язык стремится к двум полюсам языкового выражения — к материальному и реляционному содержанию, и... между этими полюсами располагается длинный ряд промежуточных значений» [Сепир 1993: 108], причем «схема распределения значений, как они выражены в языке, есть скорее скользящая шкала» [Там же: 106].

То же относится и к положению конкретных языков на шкале лексичности/грамматичности.

Лексика и грамматика и, соответственно, произвольность и относительная мотивированность языковых знаков — это, по Ф. де Соссюру, «как бы два полюса, между которыми движется вся языковая система, два встречных течения, по которым направляется движение языка: с одной стороны, склонность к употреблению лексических средств — немотивированных знаков, с другой стороны — предпочтение, оказываемое грамматическим средствам, а именно — правилам конструирования» [Соссюр 1977: 165–166]. В лексических языках немотивированность достигает своего максимума, в грамматических она снижается до минимума.

Разграничению лексических и грамматических языков, предупреждал Соссюр, не следует придавать буквального значения. Условное разделение языков на грамматические (формальные) и лексические (неформальные) не означает, разумеется, будто первые лишены лексики, а во вторых отсутствует грамматика. Однако нельзя не заметить, что языки могут существенно различаться по характеру и функциям используемых грамматических средств, в том числе по частоте материального выражения грамматических отношений в составе слова, по соотношению в тексте и словаре знаменательных и служебных морфем, мотивированных и немотивированных знаков. Так же как соотношение мотивированных и немотивированных знаков, соотношение в тексте знаменательных и служебных морфем отражает положение языка на шкале лексичности/грамматичности.

Свойственное данному языку соотношение лексического и грамматического образует детерминанту, определяющую основные грамматические тенденции — степень аналитизма и синтетизма, агглютинативную или фузионную технику соединения морфем. Лексичность языка коррелирует с аналитизмом и агглютинацией, грамматичность — с синтетизмом и фузией. Чем ниже частота знаменательных морфем и выше частота служебных, т. е. чем грамматичнее язык на уровне морфем, тем выше степень синтеза, или общей сложности морфемного строения слова, и ниже степень агглютинации [Зубкова 1990: 136–137].

Ключом к соотношению лексического и грамматического служат характер и способ категоризации. Поскольку «мысль не просто отражает мир, она категоризует действительность», постольку и «язык есть прежде всего категоризация, воссоздание предметов и отношений между этими предметами» [Бенвенист 1974: 30, 122].

Важнейшей в силу большей обобщенности и формальной закреплённости является категоризация грамматическая, составляющая строевую основу языка. От способа категоризации зависят и установление той общей категории, под которую подводится то или иное лексическое значение, и та нагрузка, которую получают при этом синтетические и аналитические способы выражения собственно грамматических значений, а следовательно, и то, какой удельный вес приобретают морфологические и синтаксические признаки в разграничении частей речи.

Актуализация грамматических значений различается в зависимости от того, какая грамматическая тенденция господствует в данном языке — синтетическая или аналитическая [Реформатский 1967: 314]. В синтетическом языке вынужденное из предложения слово грамматически самодостаточно благодаря тому, что грамматические значения, в том числе передающие грамматические отношения к другим словам, выражаются в самом слове. В аналитическом языке слово приобретает грамматическую характеристику (и, следовательно, актуализируется) по большей части лишь в составе предложения, тогда как словарное слово нередко полифункционально. Потребность в актуализации грамматических значений еще более увеличивается и нагрузка на позиционное различение классов слов возрастает, если язык «имеет в своем распоряжении грамматику без собственно грамматических форм» [Гумбольдт 1984: 332].

Грамматический строй и лежащий в его основе способ категоризации — внутри слова или применительно к его положению в предложении — определяют соотношение и функциональную нагрузку двух взаимодополнительных способов означивания: семиотического и семантического.

Типология грамматических категорий — в классификации, заложенной А. М. Пешковским [1956] и С. Д. Кацнельсоном [1972] и развитой А. В. Бондарко [1975; 1976; 2002], — соотносительна со степенью разграничения лексического и грамматического, отражательных и знаковых свойств языка. Такая соотносительность становится возможной потому, что сами эти категории неоднородны по степени лексичности / грамматичности, образуя скользящую шкалу от более или менее лексичных к совершенно грамматичным.

**Лексичность языка** проявляется: 1) в ограничении состава используемых грамматических категорий несинтаксическими (словообразовательными) категориями с семантической доминантой, которые имеют более или менее узкое значение и выражаются однозначными формантами, часто еще не вполне утратившими «первоначальный

обозначающий смысл» [Гумбольдт 1984: 120], т. е. свое лексическое значение; 2) в недостаточной формальности используемых категорий ввиду их непоследовательно коррелятивного деривационного характера и отсутствия чисто формальных функций; 3) в ограничении зоны употребления «грамматических форм» пределами действия соответствующей содержательной функции, в их факультативном употреблении в определенных контекстных условиях; 4) в производимом характере образуемых «словоформ».

По всем этим параметрам, указывающим на отсутствие «чистого» словоизменения, наиболее лексичными из традиционно выделяемых морфологических типов являются *изолирующие* языки.

**Грамматичность языка** предполагает: 1) расширение состава грамматических категорий за счет синтаксических и в том числе категорий со структурной доминантой — с формальной (согласовательной) функцией и полностью делексикализованными формантами; 2) наличие категорий последовательно коррелятивных (с грамматически регулярной соотносительностью форм одного и того же слова в рамках одного и того же лексического значения) и альтернативных (характеризующихся отсутствием отношений производности между словоформами); 3) в связи с действием формальных функций обязательное употребление грамматических форм — не только там, где это диктуется основной содержательной функцией, но и там, где они избыточны, и даже там, где они исключены; отсюда расширение общей сферы употребления грамматических категорий — тотальный охват соответствующей части речи, а в случае согласования и нескольких частей речи; 4) воспроизводимый характер словоформ.

Самыми грамматичными языками являются *флективные*.

Что касается положения *агглютинативных* языков на шкале лексичности/грамматичности, то, в определении В. Гумбольдта, агглютинация является «промежуточным состоянием» «между отсутствием какого бы то ни было указания на категории слов, как это наблюдается в китайском языке, и настоящей флексией» [Там же: 124]. Промежуточное состояние агглютинативных языков закономерно выявляется в промежуточном же характере морфемы по степени ее связанности и слова по степени его внутреннего единства; ср. [Гумбольдт 1984; Алпатов 1985; Касевич 1988].

Несмотря на (возможное) богатство грамматических форм и наличие синтаксических категорий, агглютинативные языки, согласно В. Гумбольдту, располагают лишь «аналогами форм», но не подлинными грамматическими формами, ибо «...в грамматическом обозначении,

которое должно быть чисто формальным, остается материальный (лексический. — Л. 3.) компонент» и, следовательно, отсутствует четкое разграничение вещи и формы, предмета и отношения [Гумбольдт 1984: 345]. Наличием лексического компонента в семантической структуре агглютинативных аффиксов, очевидно, объясняется и их грамматическая однозначность. Совмещение же во флексии нескольких разнородных грамматических значений возможно именно благодаря их лексической опустошенности. В отличие от флексий, агглютинативные форманты нередко существуют в языке самостоятельно и только временно сочетаются с известным главным корнем [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 104] ввиду факультативности своего употребления в зависимости от контекста и ситуации. По словам В. Гумбольдта, они представляют собой «более или менее механическое добавление», «сложение, используемое в качестве флексии», но не доведенное до ее совершенства [Гумбольдт 1984: 124]. Всё это указывает на деривационную природу морфологических категорий в агглютинативных языках. Она обнаруживается и в производимом характере словоформ: «...говорящий, скорее, образует формы в каждый данный момент сам, чем пользуется уже имеющимися» [Там же: 340].

В результате агглютинативное слово по степени единства и целостности уступает флективному [Гумбольдт 1984: 120–122, 339; Schleicher 1850: 8–9]. При этом имеет место компенсаторная взаимозависимость между планом содержания и планом выражения. Нечеткому функционально-семантическому разграничению лексического и грамматического соответствует агглютинативная техника соединения морфем, при которой сохраняются четкие морфемные швы, так как семантически ограниченные модификации корня/основы и более или менее лексичных аффиксов фонетически мотивированы и потому предсказуемы. Фузионное соединение морфем при их четком функционально-семантическом разграничении ведет к зачастую непредсказуемой вариативности основ, способствует появлению омосемичных аффиксов и соответственно обуславливает образование во флективных языках чисто формальных грамматических разрядов слов — разных склонений и спряжений, не типичных для агглютинативных языков.

Очевидна фундаментальная значимость дифференциации лексического и грамматического — в соответствии со степенью развития грамматической категоризации — для дальнейшего членения языкового целого. От первичного членения содержательной сферы зависят:

**1. Степень разграничения двух сторон языка, а тем самым и двух его членений.** На незавершенность разграничения звуковой и содержательной сфер, на далеко не полную автономность одного членения по отношению к другому в изолирующих языках указывает, с одной стороны, наличие таких синкретичных элементов, как слогоморфемы, среди которых наряду со значащими возможны и асемантические, обладающие, тем не менее, тождественными или близкими грамматическими свойствами [Касевич 1988: 172], а с другой стороны, регулярное совпадение границ минимальных значащих единиц со слогоразделом. Только тогда, когда с ростом грамматичности языка в меньшей или большей степени утрачивается конгруэнтность значащих единиц низших уровней со звуковыми, когда границы морфем и слов всё чаще начинают расходиться со слогоразделом, когда функциональная асимметрия распространяется на формообразование и таким образом вырабатывается известная автономность соотносительных элементов обоих членений, двоякое членение можно считать вполне сложившимся, а его иерархическая структура принимает завершенный вид.

**2. Глубина иерархического членения, а значит, и уровневая организация языкового целого.** Разграничение слова и морфемы как самостоятельных элементов языка предполагает четкое различие знаменательных и служебных морфем. В лексических (изолирующих) языках при слабой расчлененности лексического и грамматического морфема не обладает автономностью по отношению к слову ввиду их почти абсолютной — реальной или потенциальной — эквивалентности. В отсутствие собственно грамматических морфем и алломорфного варьирования лексических корней затрудняется вычленение фонем и выделение их дифференциальных признаков. В грамматических языках при наличии развитого аффиксального словообразования и словоизменения функционально-семантическое и формальное различие знаменательных и служебных морфем, а также свойственный им полиморфизм способствуют вычленению фонем и их признаков.

**3. Синкретизм или автономность функционально различных членений синтагматически сложных языковых единиц — предложения и слова.** По мере размежевания лексического и грамматического преодолевается синкретизм в выражении предложением и словом различных функций и, благодаря выработке соответствующих формальных средств, в грамматических языках в отличие от лексических более или менее отчетливо разграничиваются в качестве относительно автономных логико-семантическая, конструктивно-синтаксическая



и коммуникативная структуры предложения (ср. [Пауль 1960: 344]), словообразовательная, словоизменительная и морфемная структуры слова.

**4. Парадигматическая группировка и противопоставление языковых единиц одного ранга: видов морфем, классов слов, типов предложений.** Последовательно проведенная грамматическая категоризация обеспечивает не только функционально-семантическое, но и формальное различие: на уровне морфем — знаменательных и служебных морфем, словообразовательных и словоизменительных аффиксов; на уровне слов — знаменательных и служебных слов, частей речи, производных и непроизводных слов разных ступеней мотивированности, лексических и синтаксических дериватов; на уровне предложений — типов предложений, обладающих, подобно слову, собственной системой форм — грамматической и коммуникативной парадигмой, объем которой коррелирует со степенью семантической и синтаксической сложности предложения.

Последовательное формальное разграничение классов слов означает, далее, их типологическую неоднородность. Она выражается, в частности, в градации частей речи, а также производных и производных слов различных ступеней мотивированности по таким параметрам, как степень синтеза, соотношение знаменательных и служебных морфем, преобладающая техника их соединения, соотношение словоизменения и словообразования (их четкое или нечеткое разграничение), тип(ы) словоизменения, тип(ы) словообразования и т. д.

В свою очередь типологическая неоднородность классов слов имеет своим следствием политипологизм языка. Так как грамматическая категоризация языковых единиц вообще и «четкое различие понятий предмета и отношения» путем «придания каждому из них своего собственного выражения» составляет основной принцип строения прежде всего флективных языков [Гумбольдт 1984: 222] как самых грамматичных, то именно им должна быть свойственна и бóльшая типологическая неоднородность. Поскольку же ни один язык не может обойтись без парадигматической группировки слов в грамматические классы, типологическая неоднородность в той или иной степени присуща всем языкам, включая изолирующие [Румянцев 1990: 130, 135, 138; Солнцев 1995: 20–21, 28, 135].



## Глава 8

# ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ

### 8.1. Язык и речь

Различение языка и речи имеет давние корни. Оно восходит к разделению грамматики на грамматическое искусство, допускающее сознательный субъективный выбор в пользовании языком, и грамматическую науку, основанную на точных процедурах и правилах, которые отражают действующие в языке строгие объективные законы. В этом раздвоении грамматики уже намечается сосюрвовское противоположение лингвистики языка лингвистике речи, основанное на дихотомии «язык — речь».

Первое указание на двойственную природу грамматики реально существующих языков находим в середине XII в. у Петра Гелийского [Грошева 1985: 224–226]. По словам А. В. Грошевой, «подобным определением грамматики Петр Гелийский подчеркивает, во-первых, строгие законы, на которых основан язык, во-вторых, элементы сознательного выбора в сфере пользования языком» [Там же: 225].

Позднейшее противопоставление учения о языковом строе (грамматики) и учения о языковом употреблении (литературы) закрепило противоположение науки и искусства в отношении к такому объекту знания, как язык, что нашло отражение во французской «Методической энциклопедии. Грамматика и литература» (1782–1786, 1789).

Значительный шаг на пути различения языка и речи был сделан с развитием сенсуализма, когда становится ясным, что функция языка не ограничивается выражением и передачей мыслей в процессе общения, как утверждалось в универсальных рациональных грамматиках, в частности исходивших из положения Р. Декарта о врожденности идей. Язык играет активную роль в процессе мышления.

Среди тех философов, кто природу собственно человеческого видел скорее в способности «думать», чем говорить, и потому сущность и функциональное назначение языка связывал прежде всего с его активностью в отношении к мышлению, в первую очередь должны быть названы Т. Гоббс, Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк, а также И. Г. Гердер.

Задолго до того, как было осознано различие языка и речи, Т. Гоббс разграничивает слова–метки (*notae*) и слова–знаки. Согласно Т. Гоббсу, «имена по своему существу прежде всего суть метки для подкрепления памяти. Одновременно, но во вторую очередь они служат также для обозначения и изложения того, что мы сохраняем в своей памяти». «Разница между метками и знаками состоит в том, что первые имеют значение для нас самих, последние же — для других» [Гоббс 1965: 62].

Вслед за Т. Гоббсом Дж. Локк и Г. В. Лейбниц также указывают «на *двойное употребление слов*: во-первых, для закрепления наших собственных мыслей; во-вторых, для сообщения наших мыслей другим [людям]» [Локк 1985: 534]. (См. также [Лейбниц 1983: 340].)

Позднее указанное функциональное разграничение меток и знаков получает дальнейшее развитие в концепции И. Г. Гердера — во введенном им различении внутреннего и внешнего языка.

В интерпретации Дж. Локка, Э. Б. де Кондильяка, И. Г. Гердера, язык — не только средство выражения идей, но и средство их образования.

Познавательная активность субъекта в процессе образования идей обуславливает изменчивость и определенную индивидуальность мира идей–значений и, соответственно, — в тенденции — «особый язык» у каждого из носителей данного языка.

С осознанием познавательной активности субъекта всё большее внимание привлекает проблема понимания в речевом общении. Как в отсутствие тождества мысли люди понимают друг друга?

Сенсуалисты рассматривают речь (говорение) и понимание как две стороны одного процесса. По мысли Т. Гоббса, «...если речь специфически свойственна человеку (что, как известно, есть на самом деле), то и понимание также специфически свойственно ему» [Антология... 1970: 326]. Сам Т. Гоббс определяет понимание следующим образом: «Когда человек, слыша какую-нибудь речь, имеет те мысли, для обозначения которых слова речи и их связь предназначены и установлены, тогда мы говорим, что человек данную речь понимает, ибо понимание есть не что иное, как представление, вызванное речью» [Там же: 325–326]. Возможность непонимания, помимо абсурдных

и ложных всеобщих утверждений, Т. Гоббс связывает с метафорами и тропами речи, а также с именами вещей, которые вызывают неодинаковые эмоции у разных людей, т. е. с теми словами, которые имеют «значение, обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего» [Антология... 1970: 326]. У Дж. Локка сфера возможного непонимания оказывается еще шире, охватывая не только имена понятий из области морали, но и имена всех сложных идей, включая идеи субстанций.

Тем не менее, с позиций сенсуалистов, у самых разных людей всё же имеется некий «общий фонд идей» [Кондильяк 1982: 446–447], служащий базой для взаимопонимания. Он создается на основе внешнего чувственного опыта. Так как все идеи состоят «либо из внешних чувственных восприятий, либо из внутренних действий ума в отношении этих восприятий» [Локк 1985: 461], то и любые «слова, в конце концов, происходят от слов, обозначающих чувственные идеи». В частности, замечает Дж. Локк, «...слова, которыми пользуются для обозначения действий и понятий, весьма далекие от чувства, происходят из этого источника и от идей, явно чувственных, переносятся на более неясные значения, обозначая идеи, не относящиеся к области наших чувств». Например, «“дух” в своем первичном значении есть “дыхание”» [Там же: 460]. Той же точки зрения придерживается и Э. Б. де Кондильяк: «...все самые абстрактные термины происходят от первых названий, которые были даны чувственно воспринимаемым предметам» [Кондильяк 1980: 240].

Потребности взаимопонимания несовместимы с произвольностью языковых знаков: «совершенно произвольные знаки не были бы понятны, потому что, если они не аналогичны уже известным знакам, значение известного знака не приведет к значению неизвестного знака. Поэтому именно в аналогии заключено всё искусство языков: языки легко усваиваются, ясны и точны соответственно тому, в какой мере в них проявляется аналогия» [Кондильяк 1983: 236], а значит, насколько они системны.

**В. фон ГУМБОЛЬДТ**, творчески развивая идеи сенсуалистов, уже вполне отчетливо различает как язык и речь, так и виды речевой деятельности. При этом он исходит из деятельности природы языка.

**Деятельностная природа языка.** В логико-грамматическом направлении господствовало статическое представление о языке как продукте. В значительной мере оно было обусловлено тем, что связи языка и человеческого сознания рассматривались, в сущности, одно-сторонне. Во главу угла, естественно, были поставлены отношения

между языком и мышлением, тогда как деятельность чувственного восприятия, его субъективное своеобразие не принимались во внимание. Отождествление языка и мышления, логических и грамматических категорий, представления о законченности понятий «до» языка, их независимости от национального своеобразия последнего, понимание слова как эквивалента предмета или законченного понятия в свою очередь создавали превратное представление о процессе речевого общения как обмене готовыми знаками.

Гумбольдт же исходит из единства интеллектуального и чувственного восприятия, языка и внутренней духовной деятельности человека в создании субъективного образа объективного мира, в акте превращения мира в мысли. Показав всю сложность соотношения языка, чувственного восприятия и мышления, Гумбольдт порывает с односторонними представлениями о статичности языка-продукта и противопоставляет им учение о деятельностной природе языка и творческом характере языкового общения.

Язык изначально самодеятелен, самосоздан, «...в этом плане он вовсе *не продукт* ничьей деятельности» [Гумбольдт 1984: 49; выделено мною. — Л. 3.]. Язык совмещает в себе статическое с динамическим. «По своей действительной сущности, — утверждает Гумбольдт, — язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее» [Там же: 70]. Коль скоро язык является порождением духа, а «...бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности и в качестве таковой» [Там же], то и язык генетически представляет собой «работу духа, направленную на определенную цель» [Там же: 51]. Поэтому «язык следует рассматривать не как мертвый продукт (*Erzeugtes*), но как созидающий процесс (*Erzeugung*)» [Там же: 69]. «Язык есть не продукт деятельности (*Ergon*), а деятельность (*Energeia*). <...> Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли» [Там же: 70]. «Цель ее — взаимопонимание» [Там же: 71]. Таким образом, эта деятельность, с одной стороны, имеет внутреннюю направленность — на выражение мысли, а с другой стороны, внешнюю, социальную направленность — на осуществление назначения языка как средства общения и взаимопонимания между людьми, причем последняя определяет первую (см. ниже). Благодаря деятельностной и одновременно социальной природе языка преодолеваются различия между индивидами в мировидении, в способе соединения мысли со звуками и достигается взаимопонимание.

И выражение мысли, и общение не может быть осуществлено с помощью языка—продукта.

Хотя «...духовная деятельность, направленная на выражение мысли, имеет дело уже с готовым материалом», унаследованным из прошлого, но и этот *готовый материал не есть мертвая масса*. Во-первых, духовная деятельность и его «преобразует» [Гумбольдт 1984: 71], делая «пригодным» для выражения мысли. Те элементы языка, которые получили устойчивую оформленность и могут быть уподоблены мертвой массе, несут в себе «живой росток бесконечной определенности» [Там же: 82] и должны «всегда заново порождаться мыслью, оживать в речи или в понимании» [Там же: 83]. Во-вторых, фонетически оформившийся материал и сам воздействует на наш дух, причем не только потому, что требует соблюдения собственных законов [Там же: 163], но и потому, что «каждое высказанное участвует в формировании еще не высказанного или его подготавливает» [Там же: 308].

Если же видеть в языке не совокупность каких-то частей, а систему, *организм*, то и в этом случае он *не является продуктом*, ибо «...его организм не лежит в виде мертвой массы в потемках души, а в качестве закона *обуславливает* (bedingt) *функции мыслительной силы человека*» [Там же: 314; выделено мною. — Л. 3.].

Наконец, употребление языка в речи также предполагает деятельность.

**Признаки, различающие язык и речь.** Проводимое Гумбольдтом разграничение языка (die Sprache) и речи (das Sprechen) основывается на ряде признаков.

1. *Идеальное / материальное.*

Как непрерывное горение человеческой мысли «...язык всегда обладает лишь идеальным бытием в головах и душах людей и никогда — материальным» [Там же: 158].

Речь — явление материальное [Там же: 343]. Язык порождает речь как материальный продукт [Там же: 329].

2. *Внутреннее / внешнее.*

«...Язык есть орган внутреннего бытия, даже само это бытие, насколько оно шаг за шагом добывается внутренней ясности и внешнего воплощения» [Там же: 47]. Язык, передающийся потомкам «не в виде фрагментарных звуков и речевых построений, а в своем активном, живом бытии», «не является внешним, но именно внутренним» «в своем единстве с существующим благодаря ему мышлением» [Там же: 325].

Речь есть внешнее воплощение и проявление языка: «...реальный язык проявляется только в речи» [Там же: 115].

Обращает на себя внимание активное, деятельностное бытие языка как идеального внутреннего явления ввиду его единства с мышлением и взаимодействия с ним.

### 3. *Порождающий организм / продукт порождения.*

Данный признак не разделяет язык и речь столь однозначно, как предыдущие. Дело в том, что он может быть отнесен и к языку, и к речи по отдельности. Тем самым обнаруживается оборачиваемость их ролей.

«Поистине в языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а *вечно порождающий себя организм*, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными» [Гумбольдт 1984: 78; выделено мною. — Л. 3.]. Следовательно, язык в своем идеальном внутреннем бытии является одновременно и порождающим организмом, и продуктом порождения, причем и последний не статичен ввиду произвольности его объема.

Очевидно, что продукт порождения должен быть не только идеальным, но и материальным, коль скоро язык — это образующий орган мысли, которая, в свою очередь, материализуется в речи [Там же: 75], и сам язык проявляется в речи [Там же: 115]. Однако и речь не только порождается, но и порождает, ибо «язык образуется речью» [Там же: 162–163].

В двух последующих противопоставлениях под речью понимается отдельный акт речевой деятельности, тогда как язык интерпретируется по-разному — то как идеальное образование, совмещающее свойства порождающего организма и продукта порождения, то как деятельность в полном ее объеме — и в языке, и в речи.

### 4. *Совокупность порождений и методов / отдельный акт речевой деятельности.*

«Язык как совокупность своих порождений отличается от отдельных актов речевой деятельности». Так как язык не столько продукт, сколько порождающий организм и созидаящий процесс одновременно, то, «помимо своих уже оформившихся элементов, язык в своей гораздо более важной части состоит из способов (Methoden), дающих возможность продолжить работу духа и предначертывающих для этой последней пути и формы» [Там же: 82].

### 5. *Совокупность актов речевой деятельности / отдельный ее акт.*

«...Под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности» [Там же: 70].

Как совокупное целое и его часть, язык и речь образуют скорее единство, чем противопоставление. «...Язык разделяет природу всего органического, где одно проявляется через другое, общее в частном и где благодаря всепроникающей силе образуется целое. Сущность языка непрерывно повторяется и концентрически проявляется в нем самом; уже в простом предложении, поскольку оно основано на грамматической форме, видно ее завершенное единство» [Гумбольдт 1984: 308]. Недаром определение языка как постоянно возобновляющейся работы духа, направленной на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли, Гумбольдт считает в строгом смысле пригодным «для всякого акта речевой деятельности». Дело в том, что высшее и тончайшее в языке «можно постичь и уловить только в связной речи», ибо «...каждый язык заключается в акте его реального порождения» [Там же: 70]. Будучи творением нации, «только в речи индивида язык достигает своей окончательной определенности» [Там же: 84]. «Ведь даже со стороны значения своих отдельных элементов... речь содержит бесконечно много такого, что при расчленении ее на элементы улетучивается без следа. Как правило, слово получает свой полный смысл только внутри сочетания, в котором оно выступает» [Там же: 168]. (Ср. с аналогичными идеями А. А. Потебни [Потебня 1958: 42].) С другой стороны, чтобы речь как выражение мысли [Гумбольдт 1984: 163] могла поспеть за ее ходом, язык должен располагать «необходимым богатством и широкой свободой сочетания своих элементов» [Там же: 182].

Очевидно, таким образом, что язык и речь образуют совокупное единство. Это верно и с генетической точки зрения. Хотя язык и порождает речь, сам он образуется речью.

**Виды речевой деятельности: говорение и понимание. Социальная природа видов речевой деятельности.** И говорение (речь), и понимание имеют общественную природу, так как «...обычно язык развивается только в обществе» [Там же: 77]. Хотя любой язык служит «орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Там же: 165], однако «жизнь индивида, с какой стороны ее ни рассматривать, обязательно привязана к общению» [Там же: 63]. Вот почему «...язык не может реализоваться индивидуально, он может воплощаться в действительность лишь в обществе, когда попытка говорения находит соответствующий отклик. Итак, слово обретает свою сущность, а язык — полноту только при наличии слушающего и отвечающего» как минимум [Гумбольдт 1985: 400]. Поэтому

несмотря на то, что «...речь всегда исходит от индивида и каждый пользуется языком прежде всего только для самого себя» [Гумбольдт 1984: 165], тем не менее порождение речи имеет социальную направленность. «Человек говорит, даже мысленно, только с другим или с самим собой, как с другим» [Гумбольдт 1985: 399]. Порождая речь, «...каждый полагается на понимание всех, а все оправдывают его ожидания» [Гумбольдт 1984: 66]. В то же время «...человек понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны также и другим людям» [Там же: 77]. Следовательно, понимание — это, с одной стороны, *акт самосознания* [Там же: 305], а с другой — понимание предполагает *со-мышление* с собеседниками [Там же: 302].

**Речь и понимание как деятельность.** И речь, и понимание осуществляются посредством духовной деятельности [Там же: 77, 78]. Процесс речи не есть простая передача материала [Там же: 77], во-первых, ввиду отсутствия тождества между языком и мышлением и их единицами, а во-вторых, вследствие произвольности объема и отчасти также способа порождения.

В процессе общения люди «взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова. Называя обыкновенный предмет, например лошадь, они имеют в виду одно и то же животное, но каждый вкладывает в слово свое представление» [Там же: 166]. Таким образом, «...всякое понимание слагается из объективного и субъективного» [Там же: 328]. В результате «никто не понимает слово в точности так, как другой... Всякое понимание поэтому всегда есть вместе и непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах — вместе и расхождение» [Там же: 84]. Причиной тому — во-первых, нетождественность субъекта и объекта, человека и мира, посредником между которыми выступает язык, во-вторых, двойственный характер речевой деятельности, соединяющей в себе индивидуальные восприятия с общей природой человека, и, в-третьих, соединение в языке как единстве коллективного и индивидуального двух противоположных свойств: любой национальный язык «в качестве единого языка дробится внутри одной и той же нации на бесконечное множество языков, а в качестве этого множества сохраняет единство, придающее ему



определенный отличительный характер по сравнению с языками других наций» [Гумбольдт 1984: 165]. Непонимание и несогласие проявляются в той мере, в какой «...каждый человек обладает *своим* языком» [Там же: 74], в той мере, в какой «каждую человеческую индивидуальность... можно считать *особой* позицией в видении мира» [Там же: 80]. И наоборот, мы понимаем друг друга настолько, насколько верно, что «...весь род человеческий говорит на *одном* языке» [Там же: 74], и в той мере, в какой на собеседников и в целом «...на язык одного и того же народа воздействует и субъективность *одного* рода» [Там же: 80]. Наконец, «понимание каждой вещи уже предполагает в качестве условия своей возможности наличие в познающем субъекте некоего аналога того, что впоследствии действительно будет понято... <...> Ибо оно *всегда состоит из применения ранее имеющегося общего к новому особенному*. Там, где два существа разделены пропастью, там нет моста к их взаимному пониманию; для взаимного понимания необходимо, чтобы это понимание в некоем ином смысле уже существовало» [Гумбольдт 1985: 300: здесь и выше выделено мною. — Л. З.]. «Потребность быть понятым вынуждает обращаться к уже наличествующему, понятному» [Гумбольдт 1984: 309].

В свое время Э. Б. де Кондильяк обозначил это «наличествующее» как *общий фонд идей*: «...общение предполагает в качестве существенного условия, что все люди обладают одним и тем же общим фондом идей» [Кондильяк 1982: 446]. Непонимание, как заметили Т. Гоббс [Гоббс 1964: 462; 1965: 74–75], Дж. Локк [Локк 1985: 462–465, 525, 536, 541, 572, 580], А. Н. Радищев [Радищев 1973: 35], обусловлено несопадением идей, обозначаемых одними и теми же знаками, ввиду индивидуальных различий в восприятии вещей и в знании их свойств.

Кроме того, Гумбольдт указывает ряд дополнительных факторов, на которые опирается понимание. К ним относятся:

1. *Общие для участников речевого акта законы порождения.*
2. *Звуковая форма речи и «согласованность между звуком и мыслью»* [Гумбольдт 1984: 75]. — «Представление, пробуждаемое словом у разных людей, несет на себе печать индивидуального своеобразия, но все обозначают его одним и тем же звуком» [Там же: 166], определенным образом связанным со значением [Там же: 92].
3. *Целостность, системность языка, членораздельность его элементов.* — «...Язык всегда сопутствует человеку только в своей целостности, а не отдельными своими частями» [Там же: 329], и любой членораздельный элемент есть всегда элемент системы. «Чтобы

человек мог постичь хотя бы одно слово... как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем» [Гумбольдт 1984: 313–314]. Именно «в силу членораздельности слово не просто вызывает в слушателе соответствующее значение..., но непосредственно предстает перед слушателем в своей форме как часть бесконечного целого, языка» [Там же: 78], и «...вместе с понятием, всплывающим в душе, согласно звучит всё соседствующее с этим отдельным звеном, вплоть до самого далекого окружения» [Там же: 166].

4. *Накопление материала и рост языковой способности с годами и упражнением.* — «Услышанное не просто сообщается нам: оно настраивает душу на более легкое понимание еще ни разу не слышанного; оно проливает свет на давно услышанное, но с первого раза полупонятое или вовсе не понятое и лишь теперь — благодаря своей однородности с только что воспринятым — проясняющееся» [Там же: 78–79].

**А. ШЛЕЙХЕР**, по сути, исключает речь из сферы лингвистики. В определении Шлейхера, объект лингвистики — «язык, подчиненный от природы данным неизменным законам образования, язык, свойства которого... находятся вне волеизъявления индивида» [Schleicher 1869: 120].

*В языке как объекте исследования лингвиста интересует только организм языка, законы его строения и развития, но не его употребление.* Так как в употреблении языка проявляется свободная воля человека, оно выводится за пределы языкознания и включается в филологию. В частности, к филологии Шлейхер относит проблему понимания [Ibid.]. Коль скоро употребление языка, согласно Шлейхеру, — сфера филологии, он ничего не говорит о коммуникативной функции языка. Язык как средство общения выпадает из области языкознания и потому не обсуждается.

Поскольку объект языкознания принадлежит к области природы, *языкознание причисляется к естественным наукам*, а именно к естественной истории человека. Объект филологии относится к сфере свободной духовной деятельности, т. е. к истории.

В соответствии с господствовавшим тогда пониманием истории Шлейхер видит в ней лишь действие воли отдельных лиц. Поэтому законы здесь — в отличие от природы — отсутствуют.

В противопоставлении языкового организма и его употребления, языкознания и филологии Шлейхер продолжает традиции, сложившиеся в XVIII в. на базе общих грамматик. Подобно тому как

французские энциклопедисты разграничивают грамматику как учение о языковом строе и литературу как учение о языковом употреблении, Шлейхер разводит по разным наукам и научным дисциплинам *организм языка и его употребление, систему и историю*. В этих противопоставлениях можно увидеть прообраз будущих соссоровских дихотомий. Причем Шлейхер показывает, что *разные аспекты языкового организма, различаясь по степени духовности / природности, соотносятся с филологией и лингвистикой неодинаково*, так что последние должны опираться друг на друга в изучении языка. «Филология преимущественно имеет дело с более духовной стороной языка, более подчиненной свободному самоопределению индивида, — с синтаксисом, стилем; меньше попадает в филологическую область учение о более природной стороне языка, о его звуках и формах» [Schleicher 1869: 120]. «Через учение о звуках наша наука теснейшим образом связана с анатомией и физиологией» [Ibid.: 126]. «Учение о звуках — продолжение науки о человеческом теле» [Ibid.: 128]. Физиологию звуков Шлейхер называет базисом всей грамматики, прежде всего общей фонологии [Ibid.: 126–127]. Это одна граница языкознания. Другой стороной через синтаксис языкознание граничит с наукой о духе, прежде всего с филологией. Учение о стиле уже не принадлежит языкознанию. Это наука о духе, историческая, а не естественная [Ibid.: 128].

**А. А. ПОТЕБНЯ** на примере *слова* показывает **взаимодействие познавательной и коммуникативной функций языка в обоих видах речевой деятельности** — и в говорении, и в понимании, особо подчеркивая неразрывную связь познания мира с самопознанием. С точки зрения Потебни, в слове человек познает не только мир, но и самого себя. Процесс самопознания в значительной степени зависит от объективирования слова в звуке, от говорения. Объективируя мысль, слово служит для человека средством разграничения своего *я* и *не-я*, средством формирования самосознания. При этом человек не может обойтись без общества. Он будет понимать себя лишь тогда, когда «изведает на другом понятность своего слова», когда «получит доказательства существования в другом того образа, который до сих пор был его личным достоянием. Средством при этом, как и при понимании другого, будет звук, обнаруживающий для говорящего его собственную мысль» [Потебня 1976: 113]. Вот почему «язык есть средство понимать самого себя» [Там же: 149].

Но слово нужно не только говорящему. «В действительности язык развивается только в обществе, и потому другая сторона жизни слова состоит в его понимании слушающим. Уединенная работа мысли может

быть успешна только на значительной ступени развития и при пользовании некоторыми суррогатами общества (письмом, книгами). <...> ...Только одушевление спора, убеждение, что нас понимают, возражают или соглашаются с нами, служит возбуждением для говорящего и рождает новые достоинства речи, которые не сказываются при уединенном мышлении» [Потебня 1989: 225]. Итак, понимание речи слушающим(и) служит возбуждению мысли у говорящего.

На основании сказанного Потебня вслед за Гумбольдтом считает речь и понимание двумя разными, но неразрывными сторонами одного и того же явления, которые раскрывают его *социальную* природу. С одной стороны, «...говорящий, чувствуя, что слово принадлежит ему, в то же время предполагает, что слово и представление не составляют исключительной, личной его принадлежности, потому что понятное говорящему принадлежит, следовательно, и этому последнему» [Потебня 1976: 172]. С другой стороны, «...при понимании к движению наших собственных представлений примешивается мысль, что мыслимое нами содержание принадлежит вместе и другому. В слове человек находит новый для себя мир, не внешний и чуждый его душе, а уже переработанный и ассимилированный душою другого» [Там же: 141]. Причем и речь, и понимание — процесс творческий. И в том и в другом случае язык выступает посредником между познаваемым и ранее познанным и благодаря этому обеспечивает общение между людьми: «...слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием (и вообще тем, что в данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания прежним запасом мысли» [Там же: 143]. Язык потому может служить средством общения, что является средством познания.

Согласно Потебне, процессы создания и понимания слова аналогичны друг другу, только протекают в обратном порядке. При создании слова в то самое мгновение, когда *познаваемое*  $x$  *объясняется посредством прежде познанного*  $A$ , возникает и *знак*  $a$ , т. е. *представление* как замена познаваемого образа или понятия, как признак, общий для  $A$  и  $x$ . При понимании же слушателю или читателю дан прежде всего *знак*  $a$ , который он должен *объяснить запасом своей прежней мысли*  $A$  и который служит *указанием на познаваемое* им  $x$  [Там же: 543]. Короче говоря, в процессе создания слова мы имеем последовательность  $x \rightarrow A \rightarrow a$ , в процессе понимания —  $a \rightarrow A \rightarrow x$ .

В речевом акте «произнесение звука посредствуется его образом» [Потебня 1976: 111] в сознании говорящего. «Членораздельный звук, издаваемый говорящим, воспринимаемый слушающим, пробуждает в нем воспоминание его собственных таких же звуков, а это воспоминание посредством внутренней формы вызывает в сознании мысль о самом предмете» [Там же: 139].

Однако «в текущих делах мысли», для ее быстроты «только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова» [Потебня 1958: 19]. Замещая, заменяя собою значение (образ или понятие), представление «только намекает на это значение, дает возможность в случае надобности остановиться на нем и постепенно привести его в сознание, но позволяет и не останавливаться» [Там же: 18]. И в самом деле, «...произнося в разговоре слово с ясным этимологическим значением, мы обыкновенно не имеем в мысли ничего, кроме этого значения: *облако*, положим, для нас только “покрывающее”» [Потебня 1976: 114].

*Аналогия* между процессами создания и понимания слова не означает *идентичности* содержания мысли в говорящем и слушающем. Если бы это было так, то «...всякое ложное понимание было бы невозможно» [Там же: 212], а оно встречается на каждом шагу. Причина непонимания состоит в том, что ни познаваемое ( $x$ ), ни запас познанного ( $A$ ) в участниках речевого акта не совпадают. (Значит, следует разграничить  $x_1$  и  $A_1$  в говорящем и  $x_2$  и  $A_2$  в понимающем.) «...Значение, группа признаков объясняемого, составилось в говорящем и понимающем самостоятельно и потому различно» [Потебня 1989: 226]. Во-первых, чувственное восприятие одного и того же предмета у каждого из них имеет свои особенности ввиду различий во внешних условиях, а именно в строении органов восприятия и в точке зрения, которая зависит от положения данного лица во времени и в пространстве. Во-вторых, «...новый образ в каждой душе застает другое сочетание прежних восприятий, другие чувства, и в каждой образует другие комбинации» [Потебня 1976: 140], так что «...сочетания признаков, воспринятых одновременно, в разных лицах будут безгранично разнообразны» [Потебня 1989: 226]. (См. подробный анализ этих различий на примере слова *стол* [Потебня 1976: 538–539].)

Из трех элементов слова — означаемого значения (содержания), представления и звука — более или менее общими между говорящим и слушающим являются знаковые компоненты, составляющие его внешнюю и внутреннюю форму, т. е. звук (знак знака) и представление (знак), а в случае затемнения представления — только

звук [Потебня 1976: 307]. Именно эти элементы (наряду с ближайшим, или формальным, значением) служат средствами понимания. Некоторые различия в произношении и в представлении, не переходя известных пределов, не осознаются и не мешают пониманию [Там же: 139]

Итак, процесс общения не есть передача готовой мысли, и понимание как тождество мысли в говорящем и слушающем — иллюзия [Там же: 307]. Понимание — это «создание известного содержания в себе самом по поводу внешних возбуждений» [Там же: 183], дающих только направление творческой мысли, настраивающих слушающего гармонически с говорящим. Слушающий, «понимая слово, создает свою мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с местом мысли говорящего» [Там же: 307].

«Способность слова всяким пониматься по-своему» не уничтожает, однако, возможности взаимного понимания. «...Слово может быть средством понимать другого», потому что «...содержание слова способно расти», а его внутренняя форма, давая способ развития значений в слушающем, не назначает пределов его пониманию слова [Там же: 180].

Помимо указанных свойств самого слова, возможность взаимного понимания обеспечивается также системностью языка и зависит от *условий общения*. «...Чем теснее круг говорящих и круг их мыслей, тем определеннее для них их намеки, кажущиеся со стороны непонятными». Эта «узость кругозора» может быть постоянной, но может и устанавливаться на время, «как скоро в частном случае направление разговора собеседникам известно» [Потебня 1968: 46].

**Г. ПАУЛЬ. Индивидуальный язык и языковой узус.** Выдвигая на первый план коммуникативную функцию языка и одновременно призывая изучать говорящего индивида, младограмматики как будто продолжают традицию В. Гумбольдта, который рассматривал язык как противоречивое единство индивидуального и социального. *Проблема взаимоотношений индивида и общества — одна из важнейших в концепции Г. Пауля.* «Лишь общество, — пишет Пауль, — создает культуру, лишь оно делает человека историческим существом» [Пауль 1960: 30–31]. В самом формировании языка каждой отдельной личности ее физические и духовные свойства оказываются «фактором весьма второстепенным по сравнению с ролью общения» и воздействием языков других членов сообщества. В частности, возникающие в индивиде комплексы представлений «подготовлены усилиями других». Физиологическими процессами, определенными целесообразными

движениями различных частей своего тела человек также овладевает по примеру других. Отсюда вывод: «Общение — вот единственно то, что порождает язык индивида» [Пауль 1960: 60].

Большое значение придает Пауль *условиям общения: прерывности / непрерывности, непосредственности / опосредованности*. (Ср. [Мельников 1989: 22; 2003: 129 и др.].) В условиях непрерывного живого общения индивидуальные различия сглаживаются. И наоборот, «чем менее интенсивно общение, тем больше возникает и накапливается различий. Возможность дифференциации усиливается еще больше, когда непосредственного общения уже нет вообще, а существует лишь косвенная связь через промежуточные звенья». В результате индивидуальные языки объединяются «в относительно единые и замкнутые группы соответственно природным, а также политическим и религиозным условиям общения» [Пауль 1960: 61].

Утверждая своеобразие психологии и языка каждого индивида, Пауль в то же время подчеркивает *одинаковость простейших психических процессов* и «равномерный характер протекания всех языковых процессов у разных индивидов» [Там же: 42], *слабую выраженность в них индивидуальных особенностей, малую степень индивидуальности во всех психических процессах в период овладения языком*, а ведь именно «...протекающие при овладении речью процессы имеют первостепенную важность для объяснения изменений языкового узуса» [Там же: 55]. «Известная степень соответствия в умственном и телесном строении, в окружающей природе и переживаниях является, таким образом, предварительным условием возможности общения и взаимопонимания между индивидами» [Там же: 38].

«Если бы язык в такой мере не опирался на общие свойства человеческой природы, он не был бы орудием, столь приспособленным для общения. И наоборот, из того обстоятельства, что язык служит орудием общения, неизбежно вытекает, что он отвергает всё чисто индивидуальное, так или иначе навязываемое ему, не впитывая и не удерживая ничего такого, что не было бы санкционировано согласием данной общности людей» [Там же: 42].

Поэтому *основную цель исследователя грамматики составляет, по Паулю, описание* не отдельных индивидуальных языков, а *языкового узуса*. Узус есть «нечто среднее, на основе чего определяются существующие в языке нормы употребления» [Там же: 50].

В частности, «соединение отдельных языковых элементов в группы... осуществляется каждым членом языкового сообщества индиви-



дуально. Таким образом, природа этих групп совершенно субъективна. Но так как элементы, из которых они состоят, в целом одинаковы для определенного языкового сообщества, то и образование групп у всех лиц, принадлежащих к данному сообществу, в силу сходства основных черт их психической организации должно быть аналогичным. Поэтому, как во всех случаях мы на основе некоего среднего уровня определяем языковой узус данного периода, точно так же мы можем для каждого периода развития языка устанавливать более или менее общепринятую систему образования групп» [Пауль 1960: 229].

Противоположение *узуального* и *индивидуального* служит основой для разграничения *предмета языкознания и филологии*. Языкознание, согласно Паулю, «занимается общими, узуально упроченными языковыми отношениями», филология — «их индивидуальным использованием» [Там же: 54]. Указанное разграничение весьма напоминает шлейхеровское разграничение филологии и языкознания и предваряет сосюровское различие языка и речи.

**И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ** видит в языке способ и средство общения людей между собой [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 70, 88, 137]. Такова его функция.

По своему устройству язык — один из комплексов представлений психически-социального мира [Там же, II: 118].

Следующая группа определений характеризует язык как *орудие* и *деятельность* [Там же, II: 140] и подводит к различению *языка* и *речи*. Язык как психо-социальное орудие является суммой, комплексом, совокупностью разнородных категорий, составных частей, членораздельных и знаменательных звуков и созвучий; звуков-символов, ассоциированных со значением; психических единиц, а именно произносительных и слуховых представлений, соединенных с другими языковыми и неязыковыми представлениями [Там же, I: 63, 77; II: 70, 133, 193].

Элементы языка находятся между собою в тесной внутренней связи. И хотя целостный комплекс языковых элементов существует лишь в потенции, в собрании всех индивидуальных оттенков, они соединены в одно целое языковым чутьем данного народа [Там же, I: 60, 77], которое вырабатывается в социально-психическом общении членов языкового общества. Соответственно, «в собственно языке, т. е. в фактически существующем индивидуальном языковом мышлении», Бодуэн находит не только «психически живые психо-фонетические явления, образы, факты», но, что особенно важно, и «психическо-социальные процессы» [Там же, II: 338]. Таким образом, язык — не просто



орудие, представляющее собой комплекс составных частей. Это еще и непрерывно повторяющийся процесс, основывающийся «на общительном характере человека» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 77].

Исходя из этого общительного характера людей, сама языковая способность также определяется Бодуэном в семиотическом ключе — как способность «ассоциировать (сочетать) внеязыковые представления (т. е. вообще представления значения) с представлениями известных движений собственного организма, действующих тем или иным способом на собственные и чужие чувства» [Там же, II: 70]. (Ср. со сходным определением языковой способности у Соссюра — как способности создавать систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям [Соссюр 1977: 49].)

Социальное общение между людьми с помощью языка охватывает, по Бодуэну, четыре «мира»:

«1) Психический мир индивида как реальную базу существования языковых идей в их непрерывной длительности;

2) Биологический и физиологический мир данного организма как первый центробежный передатчик языковых представлений от одного индивида к другому;

3) Внешний физический мир как последующий передатчик;

2<sup>б</sup>. Снова биологический и физиологический мир различных членов языковой общности, являющийся центростремительным проводником при передаче языковых представлений от одного индивида к другому;

1<sup>б</sup>. Психический мир и т. д.; наконец,

4) Циркуляция идей, выраженных в языке, от одного индивида к другому через посредство человеческого организма и внешнего мира представляет собой языковой процесс, происходящий в социальном мире, связанном с наличием речевой способности» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 191–192].

В процессе языкового общения «...говорящие индивиды вызывают у слушающих индивидов — посредством ощущений от физических стимулов — некоторые языковые представления и их ассоциации. То, что при этом слышится и что вызывает ощущения, — это еще не язык, это только знаки того, что дремлет в мозгу, наделенном языком» [Там же, II: 60].

В соответствии с указанной схемой коммуникации устройство языкового механизма, рассматриваемое «в антропологическом аспекте

живых организмов», включает в себя «тройкого рода физиологические органы или снаряды языка: 1) моторные, двигательные, при действиях фонационных, центробежных; 2) сенсорные, чувствительные, при действиях аудиционных, перцепционных, страдательных, центростремительных; 3) центральные. Центральными являются оязыковленные части мозга, вместе с разветвлениями нервов в обоих направлениях — центробежном и центростремительном. Моторные и сенсорные органы, вместе взятые, составляют общую периферическую или “внешнюю” область языкового механизма, в противоположность категории органов исключительно центральных» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 72].

Таким образом, «для физиологии говорение и язык вообще является функцией человеческого организма, функцией сложной и разлагаемой на несколько частных функций (функция мозга вместе с нервными разветвлениями, функция мускулов произношения, функция чувства слуха)» [Там же, II: 70].

С точки зрения психо-социального аспекта человеческих индивидов, «как сложное объективно психическое явление язык состоит из многих групп разнородных представлений: 1) группы представлений фонационных, представлений физиологических движений; 2) группы представлений аудиционных, представлений акустических результатов (последствий) выше поименованных физиологических движений, и 3) группы представлений исключительно церебрационных» [Там же, II: 72].

«Для подсознательного ориентирования в этом хаосе языковых представлений приходит на помощь своего рода подсознательная мнемотехника: группировка представлений по их сходству и случайным соединениям; иначе, ассоциация представлений, являющаяся своего рода обобщением» [Там же, I: 226].

Группировка представлений осуществляется с помощью двух сил: бессознательного обобщения, апперцепции (один из ее видов — аналогия) и бессознательного разделения, дифференцировки [Там же, I: 58, 98].

Картина осложняется, если человек владеет грамотой. В этом случае языковое мышление складывается «благодаря воздействию, с одной стороны, произносительно-слуховых процессов, с другой же стороны, писанно-зрительных процессов междучеловеческого мышления» [Там же, II: 211]. «...Объективизация языковых образов, т. е. того, что мыслится и говорится посредством языка, различна у грамотного и неграмотного» [Там же, II: 331].

Бодуэн различает с этой точки зрения три главные группы людей, с бесчисленными переходными ступенями: 1) кандидатов в говорящие, т. е. младенцев и впервые попавших в данную языковую среду иностранцев; 2) людей только говорящих; 3) людей не только говорящих, но и грамотных.

Для третьей группы существенное значение имеет тип письма, а именно — ассоциируется ли оно прямо с внеязыковыми представлениями (как в идеографии) или же оно «прежде всего приводит в движение фонетико-акустическую сторону языкового мышления» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 332]. В последнем случае играет роль соотношение буквы и звука: «...параллелизм или отсутствие параллелизма между цепью звуков и цепью печатных знаков, между сочетаниями графем и сочетаниями фонем влияет вообще на способ мышления» [Там же, II: 336].

Влияние орфографии на наше мировоззрение зависит от того, все ли элементы звучащей речи (гласные, их долгота, ударение, интонация) отражаются на письме, а также от того, каковы принципы орфографии и сколько их (один или несколько) используется в данном языке [Там же, II: 332–335].

В языковом общении, согласно Бодуэну, мобилизуются коллективно-индивидуальные особенности психических систем членов данной языковой группы. Однако и чисто индивидуальные особенности в сущности таковыми не являются. С одной стороны, не исключена их социальная обусловленность. Например, известная манера говорить может быть связана с общественным положением говорящего, с его средой, образом жизни и т. п. С другой стороны, сами эти особенности тоже влияют на направление социальной передачи языка [Там же, II: 196–197].

Наличие в языке двух начал — индивидуального и коллективно-го — проявляется в самом его строении, в функциональной дифференциации языковых единиц. Весьма примечательны с этой точки зрения следующие рассуждения Бодуэна относительно произносительно-слуховой стороны языка: «При определении соотношения в фонемах элемента индивидуального, психического и элемента коллективного, социального, мы имеем в одних рядах фонем перевес индивидуально-го элемента, перевес подвижных представлений, перевес физиологии, фонации (*t...*, *s...*, *x...*), а в других — перевес элемента коллективно-го, общественного, элемента посредничества при языковом общении, акустики, аудиции (фонемы с представлением носового резонанса, *l*, *h...*, гласные)» [Там же, II: 329].

**Ф. де СОССЮР. Внутренняя лингвистика. Понятие речевой деятельности.** Согласно Ф. де Соссюру, *предметом внутренней лингвистики является речевая деятельность*. Данное определение, на первый взгляд, как будто переключается с определением Г. Штейнтала, который считал предметом лингвистики речь как действие, речь как духовную деятельность [Штейнталь 1964: 128–129]. Но в отличие от Штейнтала Соссюр выделяет исследование условий существования языка и в целом речевой деятельности в две самостоятельные лингвистические дисциплины и относит изучение речевой деятельности лишь к части лингвистики. Для Штейнтала, так же как для Гумбольдта, такое противопоставление условий существования языка языку как системе принципиально невозможно, ибо в конечном счете именно они определяют внутреннюю форму языка.

«Взятая в целом, речевая деятельность многообразна и разнородна» [Соссюр 1977: 48]. На примере индивидуального акта речевого общения Соссюр показал, что речевая деятельность протекает в ряде областей: *физической* (звуковые волны), *физиологической* (говорение, фонация, т. е. речеобразование, и слушание, восприятие) и *психической* (представления языковых знаков, или словесные = слуховые = акустические образы, и явления сознания, называемые понятиями).

«Речевой акт... может быть расчленен на следующие части:

а) *внешняя часть* (звуковые колебания, идущие из уст к ушам) и *внутренняя часть*, включающая всё прочее;

б) *психическая часть* и часть *непсихическая*, из коих вторая включает как происходящие в органах речи физиологические явления, так и физические явления вне человека;

в) *активная часть* и *пассивная часть*: активно всё то, что идет от ассоциирующего центра одного из говорящих к ушам другого, а пассивно всё то, что идет от ушей этого последнего к его ассоциирующему центру» [Там же: 51; выделено мною. — Л. 3.].

Активную часть речевого акта, которая исполняется говорящим индивидом, Соссюр называет *речью*. Внутри психической части речевого акта к речи относится активная экзекутивная сторона, т. е. ассоциация данного понятия с соответствующим акустическим образом в мозгу говорящего. Социальный аспект речевой деятельности, т. е. собственно язык–система, локализуется в пассивной рецептивной стороне психического акта — «там, где слуховой образ ассоциируется с понятием» [Там же: 52]. Взятый в своем социальном аспекте, язык выявляется в выравнивании знаков у всех лиц, общающихся друг с другом. Он складывается благодаря способности к ассоциации

и координации в условиях взаимосвязи знаков. «...Именно эта способность играет важнейшую роль в организации языка как системы» [Соссюр 1977: 51].

Итак, «у речевой деятельности есть две стороны: *индивидуальная* и *социальная*, причем одну нельзя понять без другой» [Там же: 47].

Кроме того, Соссюр проводит различие между *системой* и *историей*: «В каждый данный момент речевая деятельность предполагает и *установившуюся систему* и *эволюцию*; в любой момент речевая деятельность есть одновременно и *действующее установление* и *продукт прошлого*» [Там же; выделено мною. — Л. 3.].

Организирующим началом всей этой совокупности явлений выступает язык. Именно он вносит в нее *единство* [Там же: 49]. В частности, единство физической, физиологической и психической областей речевой деятельности обеспечивается тем, что язык как система двусторонних знаков вырабатывает свои единицы во взаимодействии мышления и звуковой субстанции [Там же: 145], так что ни мысль, ни звук не могут быть абстрагированы, оторваны друг от друга. Именно благодаря этому «...звук, сложное акустико-артикуляционное единство, образует в свою очередь новое сложное физиолого-мыслительное единство с понятием» [Там же: 47].

**Язык и речь.** Вслед за В. фон Гумбольдтом, Г. Паулем и И. А. Боудуэном де Куртенэ в концепции Ф. де Соссюра язык как явление социальное противопоставляется речи. В основе данного противоположения лежит критерий, согласно которому «...внутренним является всё то, что в какой-то степени видоизменяет систему» [Там же: 61]. Для языка «его социальная природа — одно из его внутренних свойств» [Там же: 110]. Взятый в индивидуальном аспекте, язык — нечто нереальное, всего лишь «совокупность языковых навыков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым» [Там же: 109–110]. Элементы речи, включая фонацию и звуковую субстанцию, внутренним свойством не являются, ибо не затрагивают язык как систему знаков [Там же: 56–57]. Такой вывод следует и из излюбленного соссюровского сопоставления языка с шахматами, в которых «...внутренним является всё то, что касается системы и правил игры». В самом деле, рассуждает Соссюр, «если я фигуры из дерева заменю фигурами из слоновой кости, то такая замена будет безразлична для системы; но, если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая перемена глубоко затронет “грамматику” игры» [Там же: 61].

Противоположение языка и речи служит Соссюру основанием для разделения внутренней лингвистики на две части. «...Одна из них,

*основная*, имеет своим предметом язык, то есть нечто *социальное* по существу и независимое от индивида; это наука чисто *психическая*; другая, *второстепенная*, имеет предметом *индивидуальную* сторону речевой деятельности, то есть *речь*, включая фонацию; она *психофизична*» [Соссюр 1977: 57; выделено мною. — Л. 3.].

Только лингвистику языка Соссюр считает лингвистикой в собственном смысле слова, единственным объектом которой является язык [Там же: 58]. Первостепенность лингвистики языка по отношению к лингвистике речи Соссюр мотивирует тем, что, представляя социальный аспект речевой деятельности, язык является важнейшей ее частью [Там же: 47] и ему принадлежит «первое место среди явлений речевой деятельности» [Там же: 48].

Сама *способность к речевой деятельности* не ограничена способностью говорить и представляет собой прежде всего *языковую способность*. Согласно Соссюру, «чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка» [Там же: 47–48], необходима «способность создавать язык, то есть систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям», необходима «способность любыми средствами вызывать в сознании знаки упорядоченной речевой деятельности». Это значит, что «...над деятельностью различных органов существует способность более общего порядка, которая управляет этими знаками и которая и есть языковая способность по преимуществу» [Там же: 49]. Последняя включает в себя рецептивную и координативную способности, которые обуславливают «формирование у говорящих примерно одинаковых для всех психических образов» [Там же: 51]. Языковая способность, как и язык, является социальным продуктом. Ведь даже «способность... артикулировать слова осуществляется лишь с помощью орудия, созданного и предоставляемого коллективом» [Там же: 49], и, таким образом, оказывается социально обусловленной.

Но, различая язык и речь, отводя языку первое место среди явлений речевой деятельности, Соссюр подчеркивает *единство языка и речи* и даже *вторичность языка по отношению к речи*. «...Язык необходим, чтобы речь была понятна и тем самым была эффективна; речь в свою очередь необходима для того, чтобы сложился язык» [Там же: 57]. «Язык — это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу» [Там же: 52; выделено мною. — Л. 3.].

«...Исторически факт речи всегда предшествует языку». С одной стороны, ассоциация понятия со словесным акустическим образом

предварительно имеет место в акте речи. «С другой стороны, только слушая других, научаемся мы своему родному языку; лишь в результате бесчисленных опытов язык отлагается в нашем мозгу. Наконец, именно явлениями речи обусловлена эволюция языка» [Соссюр 1977: 57]: «...*всё диахроническое в языке является таковым лишь через речь*. Именно в речи источник всех изменений; каждое из них, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым числом говорящих. <...> Факту эволюции всегда предшествует факт или, вернее, множество сходных фактов в сфере речи» [Там же: 130].

Взаимодействие языка и речи Соссюр подробно прослеживает на явлениях *аналогии*. Он замечает, что «...новообразование, которое является завершением аналогии, первоначально принадлежит исключительно сфере речи; оно — случайное творчество отдельного лица. Именно в этой сфере и вне языка следует искать зарождение данного явления. Однако при этом следует различать: 1) понимание отношения, связывающего между собою производящие формы; 2) подсказываемый сравнением результат, то есть форму, импровизируемую говорящим для выражения своей мысли. Только этот результат относится к области речи» [Там же: 199]. В то же время «...аналогия показывает нам зависимость речи от языка и позволяет проникнуть в самую суть работы языкового механизма... Всякому новообразованию должно предшествовать бессознательное сравнение данных, хранящихся в сокровищнице языка, где производящие формы упорядочены согласно своим синтагматическим и ассоциативным отношениям.

Таким образом, — заключает Соссюр, — значительная часть образования по аналогии протекает еще до того, как появляется новая форма. Непрерывная деятельность языка, заключающаяся в разложении наличных в нем элементов на единицы, содержит в себе не только все предпосылки для нормального функционирования речи, но также и все возможности аналогических образований. Поэтому ошибочно думать, — предупреждает ученый, — что процесс словотворчества приурочен точно к моменту возникновения новообразования; элементы нового слова были даны уже раньше. Импровизируемое мною слово, например *in-décor-able* “такой, которого невозможно украсить”, уже существует потенциально в языке: все его элементы встречаются в таких синтагмах, как *décor-er* “украшать”, *décor-ation* “украшение”, “декорация”; *pardonn-able* “простительный”, *mani-able* “такой, с которым удобно работать”, “гибкий”; *in-connu* “неизвестный”, *in-sensé*



“безрассудный” и т. д., а его реализация в речи есть факт незначительный по сравнению с самой возможностью его образования».

Резюмируя, Соссюр констатирует, что «...аналогия сама по себе есть лишь один из аспектов явления интерпретации, лишь частное проявление той общей деятельности, содержание которой состоит в обеспечении различения языковых единиц, чтобы затем их можно было использовать в речи» [Соссюр 1977: 200].

Наконец, единство языка и речи отчетливо обнаруживается в синтагматических отношениях, которые, возникая в речи, находятся во взаимозависимости с локализуемыми в мозгу ассоциативными отношениями и опираются на них. По словам Соссюра, «... в области синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих случаях представляется затруднительным отнести туда или сюда данную комбинацию единиц, потому что в создании ее участвовали оба фактора, и в таких пропорциях, определить которые невозможно» [Там же: 157].

Указав на единство и взаимосвязанность языка и речи, Соссюр в то же время настаивает на необходимости их *различения*. Разграничение языка и речи вскрывает природу ряда *антиномий языка*, на которые и раньше обращали внимание, прежде всего В. Гумбольдт.

В первую очередь это относится к антиномии *социального* (коллективного) — *индивидуального*. О значении этой антиномии говорит хотя бы тот факт, что на ее основе в рамках психологического направления сложились две самостоятельные лингвистические концепции, одна из которых трактовала язык как продукт социальной психологии, а другая брала за основу индивидуальную психологию. Разграничивая язык и речь, Соссюр определяет язык как явление социальное и не зависящее от индивида [Там же: 57]. «Он представляет собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду» [Там же: 52]. Язык независим от индивида в том смысле, что он находится «вне воли тех, кто им обладает» [Там же: 57], и индивид «сам по себе не может ни создавать его, ни изменять». «Язык не деятельность (*fonction*) говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности, и сознательно в нем проводится лишь классифицирующая деятельность» [Там же: 52].

Однако, определяя язык как готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим, Соссюр не отказывается вовсе от гумбольдтовского понимания языка как деятельности. С точки зрения Соссюра,



язык — деятельность в том смысле, что внутреннее строение языка непрерывно видоизменяется [Соссюр 1977: 206]. «Язык непрерывно интерпретирует и разлагает на составные части существующие в нем единицы» [Там же: 204]. Эта деятельность языка непрерывна и связана с деятельностью по обеспечению различения языковых единиц. Она обнаруживается в принципе аналогии (принципе языковых новообразований), явлении целиком грамматическом и синхроническом, характеризующем нормальное функционирование языка [Там же: 211] и предполагающем анализ и соединение, умственную деятельность и преднамеренность [Там же: 213].

Речь представляет собой индивидуальную сторону речевой деятельности. Это «индивидуальный акт воли и разума», причем от воли говорящих зависят оба выделяемых Соссюром аспекта речи: и индивидуальные «комбинации, в которых говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли» [Там же: 52], и акты фонации, в которых объективируются эти комбинации [Там же: 57]. Однако и свобода речи ограничена, так как «...в речи синхронический закон обязателен в том смысле, что он навязан каждому человеку принуждением коллективного обычая» [Там же: 125], коль скоро говорящий пользуется языковым кодом для выражения своей мысли. «...Речь возможна лишь благодаря такому продукту, как язык, который снабжает индивида элементами для построения речи» (цит. по: [Слюсарева 1975: 14]). «...Сокровищница языка всегда необходима для говорения» [Там же: 10].

Противоположение социального и индивидуального переkreщается с противоположностью *общего* и *отдельного*, частного. «Язык существует в коллективе как совокупность впечатлений, имеющих у каждого в голове... Это, таким образом, нечто имеющееся у каждого, вместе с тем общее всем». Напротив, «в речи нет ничего коллективного...; здесь — нет ничего, кроме суммы частных случаев» [Соссюр 1977: 57]. Соответственно, язык — это *существенное*, а речь — *побочное* и более или менее *случайное* [Там же: 52].

Поскольку язык существует в головах его носителей, то *в языке* как таковом можно усмотреть *единство социального и индивидуального, общего и отдельного*, а также *целого и части*. Дело в том, что язык как «грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ...не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе» [Там же: 52].

Сходным образом раскрывается у Соссюра и *диалектика речи*. Если иметь в виду психическую ассоциацию данного понятия с соот-

ветствующим акустическим образом в мозгу говорящего и акт фонации, то речь носит индивидуальный характер, так как «...исполнение никогда не производится коллективом; оно всегда индивидуально, и здесь всецело распоряжается индивид» [Соссюр 1977: 51]. При этом, согласно Соссюру, «все органы речи являются столь же посторонними по отношению к языку, сколь посторонни по отношению к азбуке Морзе служащие для передачи ее символов электрические аппараты. Фонация, то есть реализация акустических образов, ни в чем не затрагивает самой их системы» [Там же: 56]. Однако, как показывает сам Соссюр, вовсе не доказано, что способность к речевой деятельности присуща человеку от природы: над деятельностью органов речи стоит социально обусловленная языковая способность [Там же: 48–49].

Что касается индивидуальных комбинаций, в которых говорящий использует код языка, то речь индивидуальна в силу индивидуальности этих комбинаций и социальна постольку, поскольку используется общий для всех говорящих языковой код. В частности, реализующиеся в речи индивидуальные новообразования обнаруживают явную зависимость речи от языка [Там же: 200]. Противопологая факты языка фактам речи, Соссюр считает характерным свойством речи свободу комбинирования элементов [Там же: 156–157]. Если факт языка запечатлен коллективным обычаем, имеет *узальный* характер, передается готовым, по традиции, отвечает общим типам, построено по определенным правилам, то факт речи зависит от индивидуальной свободы и, следовательно, *оказионален*, случаен. Однако во многих случаях в создании данной комбинации единиц участвуют оба фактора — и коллективный обычай, и индивидуальная свобода. И что самое замечательное, «все эти новообразования вполне правильны» [Там же: 203], ибо опираются на синтагматические и ассоциативные отношения между элементами в системе языка. Благодаря этим отношениям создаются предпосылки нормального функционирования речи, в частности становится возможным свободное комбинирование элементов [Там же: 200]. Таким образом, язык, согласно Соссюру, есть *потенция*, возможность, а речь — ее *реализация*.

Язык несвободен, устойчив и не может быть изменен по воле говорящих не только потому, что он является готовым продуктом социальных сил, который пассивно регистрируется говорящим, но и потому, что он *существует во времени и связан с прошлым* [Там же: 107]. Проявления речи, напротив, индивидуальны и *мгновенны* [Там же: 57]. С другой стороны, существование языка во времени делает его *изменчивым*, тогда как «речь функционирует лишь

в рамках данного состояния языка, и в ней нет места изменениям, происходящим между одним состоянием и другим» [Соссюр 1977: 122], «...для говорящего не существует последовательности этих фактов во времени: ему непосредственно дано только их состояние» [Там же: 114]. Тем не менее изменяется язык лишь через речь [Там же: 130].

Наконец, «...в языке всё психично» [Там же: 45], в то время как речь *психофизична, материальна* [Там же: 56–57].

**Г. ГИЙОМ. Противоположение языка и речи в речевой деятельности.** Из великого противостояния Универсум / Человек возникает малое противостояние Человек / Человек, и в речевой деятельности закрепляется противоположение языка и речи, которое функционально в интерпретации Г. Гийома напоминает противоположение внутреннего и внешнего языка у И. Г. Гердера [Гердер 1959; 1977].

Обоснование противоположения языка и речи Г. Гийом подытоживает следующей схемой речевой деятельности [Гийом 1992: 166]:



Сравнительно с Ф. де Соссюром Г. Гийом вводит в понятие речевой деятельности ряд уточняющих факторов. Прежде всего это фактор *времени* и дополняющий его фактор *преемственности*. Согласно Г. Гийому, «речевая деятельность как целое, как интеграл включает последовательность: это последовательность перехода языка, постоянно существующего в говорящем (следовательно, вне зависимости от конкретного момента), к речи (в речь), принадлежащей говорящему только в конкретные моменты времени (с большими или меньшими интервалами между этими моментами)» [Там же: 37]. Таким образом, *язык как возможность*, потенция, как прошедшее, завершенное предшествует *речи как действительности* [Там же: 36], причем переход к действительной речи, к *физическому говорению* (*parole effective*) опирается на не замеченное Ф. де Соссюром *виртуальное, нефизическое, безмолвное говорение* (*parole vir-*

tuelle, parole non physique, silencieuse). Кроме того, в языке и речи существует связь и соответствие говорения (parole), которое играет в речевой деятельности роль означающего, с лежащими в его основе психомеханизмами.

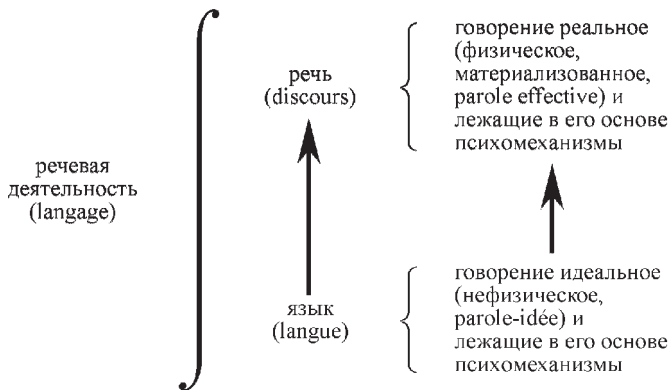
В результате формула Соссюра

$$\text{речевая деятельность} = \text{язык} + \text{речь}$$

изменяется. Прежде всего она представляется Гийомом в виде *не суммы*, а *интеграла* [Гийом 1992: 37]:

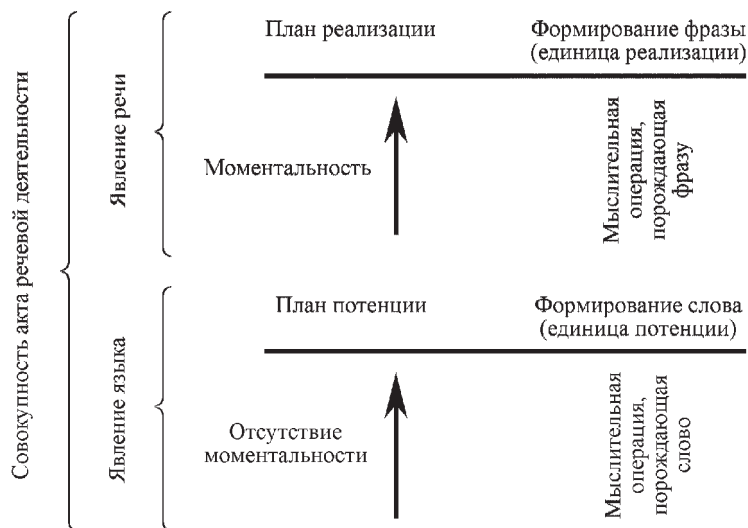
$$\text{речевая деятельность} \int \begin{matrix} \text{речь} \\ + \\ \text{язык} \end{matrix}$$

Затем в схему речевой деятельности включается *переход* от языка к речи, от идеального говорения к реальному [Там же: 39]:



Наконец, с учетом внутренней хронологии акта речевой деятельности и единиц, формируемых в начальной фазе потенции и в конечной фазе реализации, а именно *слова* и *фразы*, схема еще более уточняется [Там же: 85] (см. схему на с. 462):

Деятельность говорящего, заключающаяся в переводе возможности языка в действительность речи, проходит, таким образом, несколько этапов, представленных в схеме, которая приведена в разделе 3.5.



**Содержание языка и речи. Язык и речь как форма.** Различия в характере мыслительных операций, которые в языке — в фазе потенции — протекают бессознательно (особенно это относится к более глубинным операциям) и направляются предсознанием, человеческой способностью «ясновидения»<sup>1</sup>, а в фазе реализации подпадают под сознательное наблюдение говорящего [Гийом 1992: 85], Гийом связывает с различием в предмете и содержании *языка как произвольной деятельности и речи как целенаправленной деятельности*.

«Содержание языка — это данная разом человеческому сознанию вся совокупность мыслимого... в виде систематизированного представления» [Там же: 96], т. е. всё потенциальное мышление, способное выразить любую мысль [Там же: 95].

«Содержание речи — это выборочная часть мыслимого, использованная для производства в действительность обдуманного» [Там же: 96], которое строится говорящим «в данный момент на основе мыслимого и находящегося в его постоянном распоряжении запаса, т. е. интегрального, внутренне систематизированного представления, которым является язык в сознании говорящего» [Там же: 95].

<sup>1</sup> Характеристика этой способности у Г. Гийома весьма напоминает характеристику «размышления» у Э. Б. де Кондильяка [1980: 105–111; 1983: 192] и «смышленности» у И. Г. Гердера [1959: 141].

«Таким образом, в переходе от мыслимого в представлении, т. е. от языка, к выражению обдуманного, т. е. к речи, наблюдается переход от *интеграла* к *дифференциалу*: от всей потенции, данной сразу человеческому мышлению, к реализованной части, произведенной в конкретный момент необходимости и подчиняющейся этой моментности» [Гийом 1992: 95].

Переходу в плане содержания от мыслимого (бессознательно) к обдуманному (и осознанному) соответствует разграничение языка и речи как двух разных форм. «Речь — это форма, принятая обдуманной стороной для выражения (*expression*); язык — это форма, принятая мыслимой стороной для представления (*representation*)» [Там же: 94]. Выражение мысли становится возможным благодаря тому, что язык представляет собой *форму отношений, связей*, установленных между элементами [Там же].

Определение языка и речи как формы не означает, однако, системности обоих компонентов речевой деятельности, ибо Гийом разводит понятия формы и системы, отнюдь не отождествляя их. Противопоставив язык и речь по признаку *устоявшееся — неустоявшееся*, Г. Гийом, как до него Ф. де Соссюр, полагает, что «...система существует только в устоявшемся» [Там же: 107], т. е. в языке, тогда как речи, которая существует только за счет неустоявшегося [Там же: 98], принадлежит «использование системы» [Там же: 108]. Но и в языке, как показывает Гийом, уточняя Соссюра, не всё системно: «...система существует там, где формы чередуются в замкнутой цепи, и система не существует там, где в устоявшемся (а устоявшееся — это и есть язык) формы чередуются в разомкнутой, открытой цепи» [Там же: 107].

В общем, противопоставление языка и речи в единстве содержания и формы, по Гийому, может быть представлено так, как это показано в схеме на с. 464.

За переходом от интеграла языка к дифференциалу речи стоит глубинный «переход от интеграла к дифференциалу», который характеризует постоянно меняющееся отношение человека к окружающему миру, к универсуму. Поскольку структура языка почти всем обязана данному отношению, то, ввиду изменения последнего по мере освобождения человека от полного подчинения универсуму, «...всё в языке представляет собой процесс» [Там же: 136].

Как и в мышлении, в языке «вначале было целое, и это целое было хаосом; на стадии созидания произошло разделение, дифференциация, организация, всё большее и большее проявление этой

	ЯЗЫК	РЕЧЬ
СОДЕРЖАНИЕ	– вся совокупность <i>МЫСЛИМОГО</i> ;	– <i>ОБДУМАННОЕ</i> , построенное на основе мыслимого, его выборочная часть;
	– расширяющийся внутренний идеальный универсум рассмотрения, состоящий из идей для рассмотрения, идей рассматривающих;	– рассмотренные идеи;
	– данное разом систематизированное мыслимое	– сиюминутные, единичные мысли
ФОРМА	– интегральное внутренне систематизированное <i>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ мыслимого</i> ;	– <i>ВЫРАЖЕНИЕ обдуманного</i> на основе представленного и с помощью средств, которые предлагает представление;
	– вместилище представления, имеющего недискретную форму	– вместилище представления, имеющего дискретную форму

организации» [Гийом 1992: 12], включая всё большее размежевание актов представления и выражения, языка и речи. О степени их дифференциации можно судить по разграничению слова и предложения. Чем четче они разграничены, тем определеннее противоплагаются язык и речь (см. раздел 7.3).

**Целостность интегральной речевой деятельности** обеспечивается согласованностью гетерогенных целевых устремлений возможности и действительности, творящих язык и речь [Там же: 55] так, чтобы существовала социально необходимая взаимная соотносительность представления и выражения [Там же: 97–98]. Ввиду отношений преемственности между языком и речью «... выражение возможно только на основе представления» [Там же: 97], «...представление дает выражению средства, которыми это последнее пользуется» [Там же: 155]. «...Мы обращаемся к словам, потенциальным единицам языка, принадлежащим представлению, для того, чтобы построить предложения, реализованные единицы речи, принадлежащие выражению» [Там же: 90–91]. Как и число «рассматривающих идей» («идей наблюдения»), обладающих устойчивым инвариантным и обратно пропорциональным отношением содержания и объема, число потенциальных единиц ограничено. Число «рассмотренных идей» намного превышает число идей наблюдения за счет вариативности объема, вследствие чего в речи на основе одной и той же идеи наблюдения, закрепленной в языке, реализуются весьма разные рассмотренные идеи.

Ср.: *L'homme s'endormit* 'Человек уснул' и *L'homme est mortel* 'Человек смертен' [Гийом 1992: 158–160]. И по этой причине, и благодаря выбору и употреблению слов число реализованных единиц речи — предложений — безгранично [Там же: 92]. Тем не менее язык обеспечивает мышлению возможность и удобство выражения, ибо, будучи «упреждающей системой», он обладает «системным предвидением своих потребностей, охватывающих все возможные случаи выражения, сколь бы разными они ни были» [Там же: 94].

Наконец, целостность речевой деятельности обеспечивается единством означаемых, принадлежащих к области представления, и означающих, принадлежащих к области выражения [Скрелина 1992: 192]. Теоретически означающие «могут быть сколь угодно разнообразными и гетерогенными, раз они обеспечивают достаточность обозначения» [Гийом 1992: 75]. Но несмотря на царящую в семиологической системе свободу выбора средств обозначения, несмотря на то, что представление предшествует выражению [Там же: 97] и в области означаемых системная единица складывается задолго до оформления соответствующей единицы в семиологической области [Там же: 75], психосемиологический механизм стремится стать удачной физической калькой психосистематического организма, ибо каждый из них хорошо виден только тогда, когда за ним просматривается другой [Там же: 42–43]. Чтобы быть оперативной, семиология должна соответствовать психическому плану, воспроизводить его, стремиться к повторению системной когерентности (связности). Поэтому в структуре языка всегда поддерживается, по словам Г. Гийома, *общий закон соответствия физического* (фонетического) *и психического* (судя по примерам, грамматического) *планов* благодаря их *взаимному приспособлению* [Там же: 76–77].

**Э. БЕНВЕНИСТ. Язык и речь.** Э. Бенвенист обращает внимание на глубокое различие между *языком как системой знаков* и *языком как деятельностью* в процессе его использования каждым индивидом, когда индивид присваивает себе язык для личного пользования и язык обращается в акты речи [Бенвенист 1974: 289, 291].

«Предложение принадлежит речи». Оно «является полной единицей, которая имеет одновременно и смысл и референцию: смысл — потому, что оно несет смысловую информацию, а референцию — потому, что оно соотносится с соответствующей ситуацией» [Там же: 140].

Предложению как единице речи присущи определенные модальности, отражающие основные позиции говорящего путем различения



утвердительных, вопросительных и повелительных предложений [Бенвенист 1974: 140]. Соответственно, основанное на референтных связях означивание высказывания наряду с *семантическим* аспектом имеет также *прагматический* аспект. В трактовке Бенвениста, оба эти аспекта неотделимы один от другого. «Самый акт использования и присвоения языка отвечает потребности говорящего установить посредством речевого сообщения некоторое соотношение, референцию с реальным миром, а у партнера создает возможность установить тождественную референцию — в той прагматической согласованности, которая делает из каждого говорящего собеседника. Референция является неотъемлемой частью акта высказывания. <...> Присутствие говорящего в его высказывании приводит к тому, что каждый речевой акт образует центр внутренней референции» [Там же: 313–314].

Связь между говорящим и его высказыванием устанавливается с помощью специальных форм. К их числу Бенвенист относит формы, которые «не могли бы ни возникнуть, ни получить применения при использовании языка как орудия познания» [Там же: 315]. Они рождаются в акте высказывания и служат инструментом обращения языка в речь [Там же: 288]. Эти формы «отсылают всегда и исключительно к индивидуальным явлениям, будь то лицо, момент времени или место, в отличие от слов номинативных, отсылающих всегда и исключительно к понятиям» [Там же: 314]. Статус «лингвистических индивидуалий» имеют личные местоимения и указательные слова. К формальному аппарату высказывания принадлежат также временные формы, прежде всего категория настоящего. С актом высказывания связывает Бенвенист ряд синтаксических функций и соответствующих форм<sup>2</sup>. Наконец, языковой аппарат высказывания включает в себя средства, подчеркивающие отношение к партнеру в структуре

---

<sup>2</sup> Примечательно, что веком раньше Ф. И. Буслаев уже призывал обратить внимание на «разговорное начало», чтобы определить отношение языка к мышлению.

Происхождение многих грамматических форм, указанных Э. Бенвенистом, он также связывал с потребностями речевого общения. Ср.: «Помощью языка мы выражаем мысли для того, чтобы сообщать их другим, потому происхождение многих грамматических форм объясняется только тем, что они оказались необходимыми для взаимной передачи мыслей в разговоре; напр., местоимения *я* и *ты* для выражения лиц: говорящего и слушающего; местоимения и наречия вопросительные и указательные для выражения вопроса и ответа в разговоре; повелительное наклонение для сообщения желания, приказа и проч.» [Буслаев 1959: 265].

диалога. Особое внимание Бенвениста привлекает такая ситуация, когда диалог служит не выражению мысли, не передаче информации, а главным образом установлению контакта в процессе общения [Бенвенист 1974: 316–319].

Разграничив *язык как систему знаков* и *язык как средство общения*, признав тем самым введенное Ф. де Соссюром разделение внутренней лингвистики на лингвистику языка и лингвистику речи, Э. Бенвенист полагает, что язык и речь «охватывают одну и ту же реальность», вследствие чего и пути двух разных лингвистик «всё время пересекаются» [Там же: 139]. Выявление таких пересечений становится возможным благодаря тому, что Бенвенисту отнюдь не чуждо понятие *языковой деятельности*, несовместимое с представлением языка в виде некоей номенклатуры. В действительности «язык — не застывший реестр, который каждому говорящему остается только приводить в действие для целей своего собственного высказывания. Язык сам по себе — средоточие непрестанной работы, которая воздействует на формальный аппарат, трансформирует его категории и создает новые классы» [Там же: 254]. Примером таких трансформаций может служить трансформация высказываний в словесные знаки при образовании сложных имен. Функция сложного имени, по Бенвенисту, состоит в транспонировании актуального отношения предикации, выраженного базовым предложением, в виртуальное [Там же: 255]. Трансформации такого рода лишней раз доказывают очевидное: «нет ничего в *языке*, чего не было бы раньше в *речи*» [Там же: 140]. Отсюда и ясно осознанная невозможность того размежевания синхронии и диахронии, которое отстаивал Ф. де Соссюр. Оно снимается Э. Бенвенистом в его концепции «общей структуры», в которой диахрония рассматривается как «отношение между следующими друг за другом во времени системами» [Там же: 26].

## Выводы

*Различие между языком и речью обусловлено функционально.* Язык обслуживает потребности внутренней духовной деятельности. Он служит образованию и формированию мысли. Речь является средством ее материального воплощения и передачи другим в процессе общения. В отношении к Универсуму и к Человеку язык как отражение объективной действительности и образующий орган мысли выступает, с одной стороны, средством познания окружающей среды — физической и социальной, природы и общества, а с другой —

средством самопознания. Речь служит целям самовыражения и взаимопонимания индивидов, причем, объективируя мысль, речь также способствует ее прояснению и уточнению.

*Все эти функции осуществляются в деятельности и в таком тесном взаимодействии языка и речи, которое не позволяет ни однозначно определить, что из них первично, а что вторично, ни жестко противопоставить их друг другу.*

Язык как воспроизводящий действительность посредник между внешним миром и человеком, между *я* и *не-я* представляет собой деятельность потому, что «... содержание самосознания, то есть разделение всего, что есть и было в сознании на *я* и *не-я*, есть нечто постоянно развивающееся» [Потебня 1976: 170]. Язык как деятельность отражает «отношения личности к природе» (А. А. Потебня) и «постоянно меняющуюся меру самостоятельности человеческой личности по отношению к универсуму» (Г. Гийом), вследствие чего в языке как идеальном внутреннем универсуме происходит расширение и неизбежный рост в количественном и качественном отношении (Г. Гийом). В соответствии с этим вовлеченный «в процесс вечного созидания» язык по своему устройству является «вечно порождающим себя организмом», в котором заложены способы (методы) порождения всё новых и новых элементов, а уже оформившиеся элементы содержат «живой росток бесконечной определимости» (В. Гумбольдт). И то и другое явственно обнаруживается в речи индивидов. От присутствия нового ранее созданное если не перестраивается заново, то изменяет свой вид и значение (А. А. Потебня), прежние категории преобразуются, создаются новые классы (Э. Бенвенист).

Речь претворяется в деятельности и тогда, когда она имеет целью главным образом самовыражение индивида и говорящий прилагает усилия, чтобы выразить свои мысли и чувства, такие подвижные и изменчивые, что порой они кажутся невыразимыми, и тогда, когда он добивается взаимопонимания в общении с другими индивидами, отличающимися от него мировидением, «капиталом мысли», интересами и т. д.

Ввиду единства языка и речи (В. Гумбольдт, Ф. Соссюр) и соответственно с последовательным переходом языка в речь — от возможности к действительности, от плана потенции к плану реализации (Г. Гийом) — следует постулировать *целостность интегральной деятельности, охватывающей совокупно язык и речь.*

Признаки, по которым противопоставляются язык и речь, не следует абсолютизировать.

Язык как *идеальное, внутреннее, психическое* образование производит действительность благодаря тому, что обладает отражательными свойствами и, следовательно, соотносен с *материальным, внешним, физическим* миром.

Речь как материальная, внешняя реализация языка оперирует двусторонними знаками, означаемые которых идеальны, психичны, а означающие психофизичны. Вследствие совмещенной субстанциональности означаемого и означающего в двустороннем единстве знака (Э. Бенвенист) речь также характеризуется совмещением двух субстанций — психической (мыслящей, духовной) и физической (телесной, материальной).

Противоположение языка речи по признаку *социальное — индивидуальное* тоже относительно уже потому хотя бы, что «именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга. <...> Общество возможно только благодаря языку, и только благодаря языку возможен индивид. Пробуждение сознания у ребенка всегда совпадает с овладением языком, который постепенно и вводит его в общество как индивида» [Бенвенист 1974: 27–28].

Соответственно, язык как явление социальное отнюдь не исключает индивидуального. «Каждый возраст, каждое сословие, каждый известный литератор и, если обратиться к тончайшим нюансам, даже любой духовно развитый человек формируется в чреве своей нации и, пользуясь своим родным общепонятным языком, соединяет с его словами индивидуализируемые и преобразуемые понятия, и таким путем всеми употребляемый язык мало-помалу вмещается в сокровенный круг тончайших изгибов мышления и восприятия индивида» [Гумбольдт 1985: 363].

С другой стороны, говорящий и слушающий индивид в процессе речи непременно опирается на санкционированную обществом языковую систему, иначе цели общения останутся недостижимыми.

Деятельностный характер языка и речи, взаимодействие в них социального и индивидуального обуславливают то, что и в языке, и в речи *постоянное* сочетается с *преходящим*.

В силу единства языка и речи однозначное определение *слова* как *единицы языка*, а *предложения* как *единицы речи* не может быть принято. Допустим, вслед за В. Гумбольдтом, что «словом язык завершает свое созидание» [Гумбольдт 1984: 90]. Но «...слова возникают из речи» [Там же] и осмысляются в контексте связной речи [Там же: 168], при порождаемом речью семантическом означивании (Э. Бенвенист). Предложение же принадлежит не одной только речи потому,

что, предоставляя его индивидуальное оформление произволу говорящего, язык устанавливает для предложения и речи регулирующие *схемы* [Гумбольдт 1984: 90]. Эти схемы, модели — принадлежность языка.

## 8.2. Внутренний строй языка

**МОДИСТЫ**, опираясь на Аристотеля, стремятся познать «единое во многом» и найти *причины* языкового строя. В поисках последней они оставляют без внимания звуковую сторону языка. Ввиду ее исключительно *конвенционального* и потому случайного характера «грамматик как таковой... не должен определять звучания» (цит. по: [Перельмутер 1991: 14–15]). Это дело физики и физиологии. Сущность языка модисты видят в его внутренней структуре, в грамматике, которая в силу *естественной* связи с объективной реальностью отражает ее через посредство сознания в своем строении, в грамматической категоризации.

Будучи по своим философским взглядам на природу универсалий (общих понятий) умеренными реалистами [Реферовская 1985], модисты возводят общие грамматические значения (модусы обозначения) через посредство общих понятий (модусов познания) к общим свойствам единичных вещей (модусам существования), а грамматику в целом — к миру вещей.

Центральное понятие языковой теории модистов — способ обозначения (*modus significandi*) — основывается на различении в языковых знаках помимо звучания и значения также разных типов значений — предметных (лексических), с одной стороны, и грамматических, с другой стороны. В слове модисты различают: *vox* — чистое звучание; *dictio* — слово в его предметной отнесенности, выражающее лишь отношение значащего звучания к означаемой вещи в отвлечении от грамматических свойств; *pars orationis* — часть речи. Превращению *dictio* в *pars orationis* служит *modus significandi*, который порождает грамматическое значение, определяет грамматическую характеристику слова и восходит к определенному модусу существования или свойству вещи, которым она обладает наряду с множеством других вещей [Перельмутер 1991: 22]. Определяя вслед за Мишелем из Марбэ значащие единицы как единства материи и формы (см. [Там же: 23]), получаем следующую схему: *vox* (чистое звучание) → *dictio* [*vox* как материя + отношение обозначения вещи (предметное значение) как форма] → *pars orationis* {[*vox* + *dictio*] как материя + отношение

сообозначения (грамматическое значение, определяемое через посредство модуса познания соотносительностью с модусом существования или свойством вещи) как форма}.

Одно и то же предметное содержание может быть представлено разными способами обозначения и, значит, разными частями речи. Более того, «одно и то же умственное понятие может быть выражено всеми частями речи» (Боэций Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 26]).

Исходя из онтологической природы языка, при определении частеречной принадлежности слова модисты опираются не на морфологические, синтаксические или логические критерии, а прежде всего на основные модусы обозначения и в конечном счете на модусы существования как свойства объективной реальности.

К основным *общим* модусам обозначения относятся: 1) модус устойчивого положения (состояния и покоя), или модус сущего; 2) модус течения, становления, движения, или модус бытия; 3) модус расположения, характеризующий условия, обстоятельства устойчивого положения или становления. Соответственно в словарном составе выделяются: 1) имя (включая местоимение), 2) глагол (включая причастие), 3) неизменяемые части речи. При этом первые две — изменяемые — части речи (в особенности, согласно преобладающей точке зрения, имя) занимают более высокое положение в иерархии частей речи, так как в отличие от неизменяемых имеют больше основных модусов обозначения, а кроме того обладают побочными модусами обозначения (абсолютными и относительными), которые лежат в основе разграничения словообразовательных и словоизменительных категорий.

Последующее разграничение частей речи производится с помощью основных *частных* модусов обозначения. Так, отграничение собственно имен от местоимений основывается на противопоставлении модуса определенного восприятия модусу неопределенного восприятия. Разделению нарицательных имен на существительные и прилагательные служат модусы самостоятельности и примыкания. За различием существительных по роду стоит различие предметов по активности / пассивности, т. е. свойство действующего (мужской род), или свойство претерпевающего (женский род), или то и другое (средний род) как побочные модусы существования.

Даже у служебных слов модус обозначения соотносим с реальной действительностью. Например, у союза, обозначающего посредством модуса соединения двух членов, «этот модус обозначения происходит от свойства соединения и сочетания в вещах внешнего мира» (Томас Эрфуртский; цит. по: [Там же: 44]).

Таким образом, восходящие к модусам существования, т. е. к свойствам вещей вне сознания, модусы обозначения определяют всю систему частей речи. Ее организация обеспечивается действием принципов иерархии и бинарных противопоставлений, как это показано на предлагаемой схеме (см. с. 473).

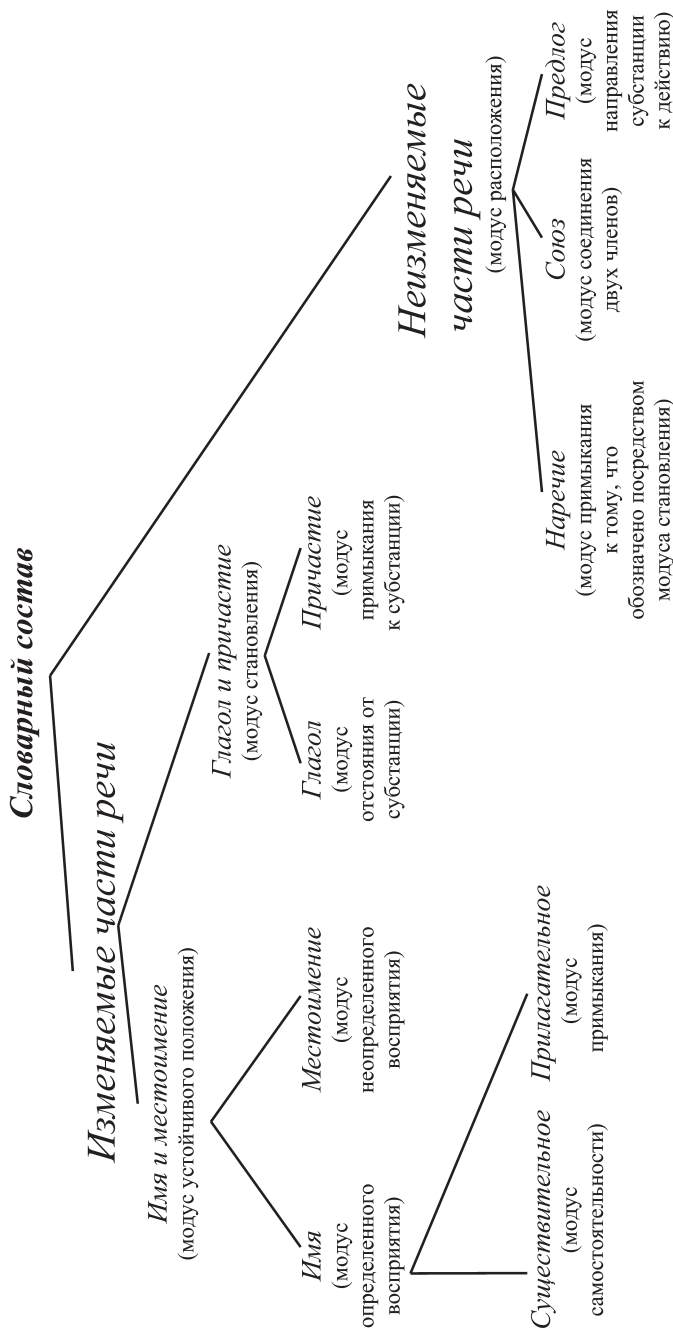
Вклад грамматического учения модистов в общую теорию языка ценен прежде всего тем, что модисты пытаются создать *объяснительную* грамматику, раскрыть причины, посредством которых можно познать и обосновать грамматические явления.

**РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, «ГРАММАТИКА» и «ЛОГИКА» ПОР-РОЯЛЯ.** В Новое время в рационалистически ориентированных лингвистических учениях, в частности в «Общей и рациональной грамматике Пор-Рояля», грамматическая категоризация, включая классификацию частей речи, возводится уже не к свойствам вещей, а к действиям ума, операциям рассудка, к структуре мысли. Явления языка получают рациональное обоснование исходя из представлений о согласованности языкового способа выражения мысли с ее структурой. Языковые универсалии выводятся теперь из единства человеческого мышления у всех народов и во все времена.

**Рациональные основания общих и частных явлений языка и речи.** Так как произвольность языкового знака не может объяснить несомненное существование явлений, общих для всех языков (в том числе в звуковой стороне), то, исходя из самой функции языка — служить «передаче и постижению мыслей», остается предположить, что эта общность имеет рациональные основания, объясняется требованиями и структурой обозначаемой мысли и потому должна проявляться прежде всего в духовной стороне языковых знаков. Чтобы выявить начала и причины, лежащие в основании разнообразных видов значения слов, определить, от чего зависит разнообразие слов в речи, понять самые основы грамматики, необходимо постигнуть не только то, что происходит в наших мыслях, но и то, каков естественный способ выражения мыслей [Арно, Лансло 1990: 89–90, 93], «ибо оказывается, что решающую роль играет не столько значение, сколько способ обозначения (*manière de signifier*)» [Там же: 94].

Поэтому в поисках «разумных объяснений многих явлений, либо общих для всех языков, либо присущих лишь некоторым из них» [Там же: 69], авторы «Грамматики Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло соотносят, с одной стороны, механизмы мысли — действия, операции ума, а с другой — правила и принципы языкового выражения, речевого обихода, употребления.

## ЧАСТИ РЕЧИ И МОДУСЫ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ





В результате оказалось возможным: 1) дать рациональное объяснение общих и частных категорий языка и многих явлений речевого обихода; 2) выявить стратификацию значимостей, отделив существенные свойства классов слов от их акциденций, основные идеи — от добавочных; 3) обосновать отсутствие взаимнооднозначного соотношения между означаемыми и означающими языковых знаков, обуславливающее функциональную асимметрию последних; 4) обозначить «критические точки», не всегда согласующиеся с требованиями разума.

Для понимания специфики структурной организации духовной и материальной стороны языка, а также для последующего установления основных типов отношений между языковыми единицами представляется чрезвычайно важным различие в «Логике Пор-Рояля» двух видов целого и соответственно двух видов деления.

«Есть целое, состоящее из нескольких действительно раздельных частей. По-латыни оно называется *totum*, части же его называют *составными частями*. Деление этого целого называется *разделением на части* (*partition*). Например, когда дом делят на квартиры, город — на кварталы, королевство или государство — на области, человека — на тело и душу, тело — на члены. <...>

Другое целое называется по-латыни *omne*, а части его носят название *субъектных* или *нижних частей*, потому что это целое — общий термин, а части его — субъекты, входящие в его объем. Слово *животное* представляет собой целое такого рода. Его субъектными частями являются *человек* и *зверь* — нижние [субъекты], входящие в его объем. Подобное деление и есть деление в собственном смысле слова (*division*)» [Арно и Николь 1991: 162].

Надо думать, что материальной стороне языка как делимой протяженной субстанции должны быть более свойственны цело-частные отношения и, следовательно, деление целого на части, тогда как духовной стороне, т. е. неделимой мыслящей субстанции, — родо-видовые отношения как важнейший тип выделенных позднее парадигматических отношений.

**При анализе духовной стороны** различные виды значений, заключенных в словах, определяются в соответствии с тем, что происходит в наших мыслях. Важнейшей в силу большей обобщенности и формальной закрепленности является категоризация грамматическая, составляющая строевую основу языка. И именно ее обосновывают авторы Пор-Рояля свойствами самой мысли, исходя из структуры суждения и различая у общих идей (понятий) содержание (*compréhension*) и объем (*étendue*) [Там же: 52–53].

Сначала дается обоснование распределения слов по частям речи, причем внимание авторов сосредоточивается на основных частях речи, каковыми они считают имя, местоимение и глагол [Арно и Николь 1991: 100]. Затем выявляются разумные основания разграничения отдельных разрядов слов внутри определенных частей речи. Наконец, выясняются причины существования частных грамматических категорий.

Общее между языками обнаруживается в последовательном дихотомическом членении духовной стороны на основе родо-видовых отношений, а именно в разграничении средствами языка объектов мыслей и формы мыслей; среди объектов — вещей, или субстанций, и способов бытия вещей, или акциденций; среди вещей — единичных и не-единичных вещей.

В первую очередь в соответствии с основными операциями рассудка, обуславливающими различие в нашем сознании объекта (предмета) и формы мысли, «...люди, нуждаясь в знаках для обозначения того, что происходит в их сознании, должны были неизбежно прийти к наиболее общему разделению слов, из которых одни обозначали бы объекты мыслей, а другие — форму и образ мыслей» [Арно, Лансло 1990: 93]. К первому типу прежде всего принадлежат имена, ко второму — глаголы, основное назначение которых состоит в обозначении утверждения, являющегося основным способом мысли, а также союзы и междометия [Там же: 147–148, 154–156].

В свою очередь имена разделяются на имена существительные, обозначающие субстанции, и имена прилагательные, которые обозначают акциденции (атрибуты, качества), смутно указывая на предмет–носитель данного качества. Поскольку субстанции существуют самостоятельно, то и имена существительные употребляются в речи самостоятельно, не нуждаясь в другом имени. Напротив, акциденции (качества) не обладают самостоятельным существованием, и потому обозначающие их имена прилагательные должны быть присоединены в речи к другим именам [Там же: 94; Арно и Николь 1991: 40–41, 101–102].

Имена существительные распадаются далее на имена собственные и имена нарицательные. Первые обозначают единичные понятия (например, *Сократ*, *Париж*), вторые — общие (например, *человек*, *лев*, *собака*, *лошадь*) [Арно, Лансло 1990: 97–98].

Так как у общих понятий различаются содержание и объем, то и в имени нарицательном авторы Пор-Рояля различают «две стороны: значение (*la signification*), являющееся постоянным (*fixe*)..., и объем

этого значения (*l'étendue de cette signification*), который может варьироваться в зависимости от того, как употребляется имя: либо во всём объеме, либо как его часть, определенная или неопределенная» [Арно, Лансло 1990: 135].

Сужение объема может производиться разными языковыми средствами.

Первым из таких средств называется категория числа. При ее анализе обращается внимание и на те существительные, которые не имеют множественного числа — «либо просто по обычаю употребления, либо по некоторым разумным основаниям». Последнее касается, в частности, названий металлов в различных языках [Там же: 100–101].

Однако «неопределенное значение имен нарицательных... побуждает не только употреблять эти имена в двух числах — единственном и множественном, с тем чтобы ограничивать это значение. Определять неясное значение имен нарицательных можно еще и иначе. Почти во всех языках были для этой цели введены некоторые частицы, названные артиклями, которые иным образом, нежели числа, определяют это неясное значение как в единственном, так и во множественном числе» и помогают «избежать многочисленных двусмысленностей» [Там же: 115].

Кроме того, имя без артикля может быть определено именами, обозначающими количество предметов, — словами *sorte*, *espèce*, *genre* и еще рядом способов [Там же: 137–139].

Наконец, в целях ограничения нарицательных имен в функции субъекта или атрибута предложения–суждения используются придаточные предложения с ограничительным относительным местоимением *который* (*кто*, *что*) [Арно и Николь 1991: 121–123].

**При анализе материальной стороны** языка за основу принимается ее видовое отличие — протяженность. Поэтому среди закономерностей языкового выражения внимание авторов Пор-Рояля особенно часто привлекает стремление людей сократить длину фраз и оборотов речи. Именно с этим стремлением связывается образование наречий из сочетаний имен с предлогами. Им же объясняется образование всех глаголов, за исключением глагола–связки *есть*.

Стремлением к краткости выражения объясняются и такие морфологические категории глагола, как категории лица, числа, времени, наклонения. В частности, «...разнообразие лиц и чисел в глаголах происходит от того, что люди, желая сократить свою речь, стали присоединять в пределах одного слова к утверждению, являющемуся

основным свойством глагола, субъект предложения» [Арно, Лансло 1990: 157]. Ср.: *Я емь живуций и Живу*. Даже «...в безличном глаголе уже содержатся субъект, утверждение и определение (l'attribut) в одном слове, выраженные одним словом» [Там же: 178].

Помимо краткости, к речевому обиходу предъявляются также определенные эстетические требования. Речь должна быть благозвучной, и поэтому следует избегать повторов.

Чтобы избавиться от скуки повторения одних и тех же имен и названий вещей, для их замещения были придуманы местоимения, которые в отличие от имен представляют вещи завуалированно, смутно [Там же: 12; Арно и Николь 1991: 102–103]. Такое разграничение имен и местоимений в общем не противоречит требованиям разума, который оперирует не только ясными, отчетливыми, но и темными, смутными идеями.

Стремление к красоте и изяществу ведет и к отступлениям от естественного выражения мысли, например в виде так называемых *фигур речи*. «По отношению к грамматике они, безусловно, представляют собой ее нарушения, но в отношении языка они выступают его украшением и подчас открывают нам его совершенства» [Арно, Лансло 1990: 209–210].

Однако стремление избежать неблагозвучности произношения, какофонии может иметь и отрицательные последствия. Побуждая отступить от «законов аналогии», оно служит источником большинства аномалий, или нерегулярностей, языков [Там же: 117–118].

**Соотношение двух сторон языка.** Анализ духовной и материальной стороны языка был бы неполон без освещения закономерностей их соотношения в грамматике.

При рассмотрении грамматических категорий авторы «Грамматики» исходят из единства значения и способа его обозначения, признавая как будто обязательность последнего. Отсутствие средств выражения означает, по мнению авторов, отсутствие соответствующей грамматической категории в данном языке. Такая позиция недвусмысленно заявлена в главе XVI «О различных модусах, или наклонениях глаголов». Ср.: «...в латыни одни и те же окончания служат для выражения сослагательного и желательного наклонений, и поэтому благоразумным представляется исключение последнего из спряжения латинского глагола, ибо наклонения создаются в глаголе *не только за счет различия в значениях* (которые могут быть весьма разнообразными), *но и за счет различия в окончаниях*» [Там же: 166; выделено мною. — Л. 3.].

Тем не менее из системных и/или прагматических соображений допускается и иное решение. В частности, оно коснулось аблатива. «Этот падеж обычно не встречается во множественном числе, ибо он не имеет там собственного окончания, отличного от окончания датива. Но поскольку считать, что, например, какой-то предлог управляет аблативом в единственном и дативом во множественном числе, означало бы нарушать аналогию, то предпочитают говорить, что и во множественном числе есть аблатив, но только всегда совпадающий с дативом.

Именно по этой причине полезно считать, что аблатив есть и у греческих имен, хотя он всегда совпадает с дативом, ибо тогда сохраняется сходство между греческим и латынью, столь необходимое, если учитывать, что эти два языка обычно изучаются одновременно» [Арно, Лансло 1990: 114].

Далее, в идеале, согласно велениям разума, должно бы существовать взаимоднозначное соответствие между идеей и ее выражением в языке. И тогда следует ожидать, что, «...как скоро фраза приобретает определенный смысл, она приобретает и определенную конструкцию» [Там же: 200]. Такие соответствия действительно имеются, не ограничиваясь анализируемыми в «Грамматике» оборотами с возвратностью во французском языке [Там же: 196–201].

**Соотношение языкового способа выражения мысли с ее структурой.** Согласованность между ними авторы усматривают, в частности, в сочетаниях слов, которые «в силу своей распространенности представляют особую важность для всех языков» [Там же: 206]. В первую очередь это сочетания взаимно предполагающих друг друга номинатива и глагола [Там же: 206–207]. Сюда же относятся конструкции с односторонней зависимостью компонентов. Например, прилагательное всегда предполагает какое-либо существительное [Там же: 207].

Подобные импликации, проистекающие из структуры суждения как основной формы мысли и из закономерностей языкового выражения, объясняют «почти единообразную сущность» согласовательных конструкций во всех языках, рассмотренных авторами [Там же: 204].

В то же время авторы Пор-Рояля показывают, что реальное соотношение между мыслью и ее языковым выражением далеко не всегда гармонично. Асимметрия между ними (а следовательно, между значением и формой) — явление весьма распространенное. Так, регулярно наблюдается асимметрия между выражаемым отношением и обозначающим его предлогом. В частности, во французском «...одно и то

же отношение выражается несколькими предлогами, как, например, *dans, en, à*, и наоборот, один и тот же предлог, как, например, *en, à*, обозначает различные отношения» [Арно, Лансло 1990: 143].

Более того, те закономерности языкового выражения, в которых проявляется стремление людей к краткости в речевом общении, делают отступления от однозначного соответствия мыслительных и языковых единиц не просто неизбежными, но и вполне закономерными. Объединение в одном слове разнообразных значений вследствие желания сократить свою речь приводит к тому, что, несмотря на следование языка, его грамматического строя требованиям разума, взаимоднозначное соответствие между логикой и грамматикой отсутствует. Определив предложение как «высказанное нами суждение об окружающих предметах» [Там же: 92] и как будто отождествив их («Суждение называется также *предложением*» [Арно и Николь 1991: 112]), авторы показывают их нетождественность, вскрывая ее механизмы.

С одной стороны, предложение может заключать в себе не одно суждение, а несколько. «Например, в случае, когда я говорю: *Dieu invisible a créé le monde visible* ‘невидимый Бог создал видимый мир’, в моем сознании проходят три суждения, заключенные в этом предложении. Ибо я утверждаю: 1) что *Бог невидим*; 2) что *он создал мир*; 3) что *мир видим*» [Арно, Лансло 1990: 130].

С другой стороны, структура суждения может быть выражена в строении предложения по-разному — и в полной, и в свернутой форме. Благодаря объединению в одном глагольном слове ряда значений трехчленная структура суждения может быть выражена предложением из двух слов, если глагольное слово включает в себя наряду со значением утверждения значение атрибута, и даже из одного слова, если последнее включает в себя еще и значение субъекта. Ср.: *Petr est vivant* и *Petr vit*; *Je suis vivant* и *Je vis*.

Кроме того, соотношение языка и мышления осложняется тем, что свойства мыслящей субстанции не ограничиваются одним мышлением, а в самом мышлении не исключается субъективное начало. Обозначая определенные вещи, говорящий нередко выражает и чувства, с которыми он думает и говорит о вещах, и свое отношение к ним. Соответственно «...слово, помимо основной идеи, рассматриваемой как собственное значение данного слова, вызывает еще и несколько других идей, которые можно назвать добавочными... <...>

Иногда добавочные идеи не связаны со словами в общепринятом употреблении, а соединяются с ними только людьми, произносящими эти слова. Таковы идеи, вызываемые тоном голоса, выражением лица,

жестами и другими естественными знаками, связывающими с нашими словами множество идей, которые вносят в их значение различные оттенки, изменяют его, что-то от него убавляют или, наоборот, прибавляют к нему что-то особенное, отражая чувства, суждения и мнения говорящего. ...Тон значит порой не меньше, чем сами слова. Бывает голос для наставлений, голос для лести, голос для порицания. Часто хотят, чтобы слова не просто дошли до ушей того, к кому обращаются, а задели и уязвили его; ...тон является частью внушения и необходим для образования в уме той идеи, которую в нем хотят запечатлеть.

Иногда же добавочные идеи связаны с самими словами, так как они вызываются у слушающих почти всегда, кто бы эти слова ни произносил. Поэтому среди выражений, обозначающих, казалось бы, одно и то же, одни оскорбительны, другие лестны, одни скромны, другие бесстыдны, одни пристойны, другие неприличны; ибо, кроме основной идеи, которая их объединяет, люди связывают с ними другие идеи, вносящие в их значение различные оттенки» [Арно и Николь 1991: 91–92].

Как видно, авторы Пор-Рояля рассматривают языковые знаки не только в семантическом аспекте, но и в прагматическом, вскрывая таким образом один из механизмов, обуславливающих функциональную асимметрию языковых знаков, их скольжение по осям полисемии (омонимии) и синонимии.

Из сказанного можно заключить, что разумному объяснению поддаются общие для всех языков явления, которые либо согласуются с законами самого разума, либо проистекают из закономерностей языкового выражения, повсеместно встречающихся в обиходе. В результате отсутствие взаимодозначных соответствий между значением и формой также находит разумное объяснение.

Там же, где ограничена, а то и вовсе отсутствует разумная мотивация, господствует произвол, действуют «причуды обихода». Среди грамматических категорий наиболее уязвимы в этом отношении категории рода и падежа. Именно с ними авторы Пор-Рояля связывают замеченные межъязыковые различия.

В отдельных случаях род существительных может быть объяснен половыми различиями между обозначаемыми одушевленными объектами. Однако у большинства существительных род никак не мотивирован. Вследствие этого «...в разных языках род слов варьируется, причем даже в тех словах, которые были заимствованы одним языком из другого». По тем же причинам «иногда род слова может меняться



в языке с течением времени», а в каждый данный период «...одно и то же слово употребляется одними в мужском, а другими в женском роде» [Арно, Лансло 1990: 103].

Что касается категории падежа, то авторы Пор-Рояля как будто признают ее значимость для любого языка, и именно по соображениям разума: «...поскольку вещи часто рассматриваются в самых разных отношениях друг с другом, необходимо было обозначить эти отношения» [Там же: 105], тем более что «...без падежей нельзя было бы в полной мере понять связь слов в предложении» [Там же: 106].

При установлении падежей авторы Пор-Рояля ориентируются на систему языка во всей ее целостности. Даже если в языке отсутствует склонение имен существительных, падежи выделяются, так как «...почти нет языков, которые не имели бы падежей в местоимениях» [Там же: 106].

При анализе падежей учтены различные средства их выражения: флексии; предлоги, к которым языки стали прибегать за недостатком беспредложных падежей для обозначения всевозможных отношений вещей между собой [Там же: 113]; порядок слов (используемый, например, во французском, чтобы отличить номинатив от аккузатива [Там же: 112]), а также другие, более редкие и специфичные, средства, в частности опущение артикля в вокативе в отличие от номинатива во французском языке [Там же: 108].

Тем не менее языковых средств для обозначения многообразных отношений вещей друг с другом может не хватать. Особенно ярко это проявляется в генитиве, где за общим отношением одной вещи, принадлежащей другой, стоит множество частных отношений [Там же: 108–109], в том числе прямо противоположных, и «...это иногда приводит к различным двусмысленностям» [Там же: 109]. В то же время допускается вариативность в выражении одного и того же значения. Например, в греческом в значении вокатива может быть использован не только вокатив, но и номинатив [Там же: 107]. Сходная асимметрия между формой и функцией, как уже говорилось, характеризует и употребление предлогов.

В итоге «...в качестве глагольного дополнения (*le régime des verbes*) выступают подчас различные падежные формы, что связано с разного рода отношениями, выражаемыми этими падежами в соответствии с причудами обихода» [Там же: 207–208]. Иначе говоря, «...в обиходе в каждом случае то или иное отношение выбирается совершенно произвольно». Не только синонимичные глаголы, но даже один и тот же глагол может управлять различными падежами и использовать при



этом различные предлоги, выражая одно и то же значение. Однако бывает и так, что различные дополнения в корне меняют смысл оборота [Арно, Лансло 1990: 208–209].

Все это лишь подтверждает общий вывод, к которому приходят авторы Пор-Рояля: «синтаксис управления (*la syntaxe de régime*) ...практически чисто произволен, а поэтому весьма различен в разных языках» [Там же: 205–206].

Произвол усматривается уже в том, что «...в одних языках управление осуществляется за счет падежей (из языков, рассматриваемых в “Грамматике Пор-Рояля”, это древнегреческий и латынь. — Л. 3.), в других (во французском, испанском, итальянском. — Л. 3.) — вместо падежей используются частички, фактически заменяющие падежи и способные к обозначению некоторых падежей» [Там же: 206].

Сходные различия между древними и новыми языками отмечаются авторами Пор-Рояля неоднократно. Отсубстантивным прилагательным и наречиям (древне)греческого и латинского языков в новых романских языках соответствуют предложно-именные сочетания [Там же: 95, 146]; личным формам глаголов, как правило, самодостаточным и без личных местоимений, соответствуют сочетания личных местоимений с глагольными формами, не различающимися по окончаниям [Там же: 159]; конструкции с причастием соответствует конструкция с относительным местоимением. И хотя только в отношении последнего соответствия авторы указывают на то, что «использование одного или другого способа зависит от духа (*génie*) языка» [Там же: 131], однотипность перечисленных соответствий позволяет видеть эту зависимость и во всех остальных случаях.

Позднее указанные различия послужили основанием для разделения языков на синтетические и аналитические.

**ЭМПИРИКО-СЕНСУАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.**  
**«ГРАММАТИКА» Э. Б. де КОНДИЛЬЯКА.** Высоко оценив «Грамматику общую и рациональную Пор-Рояля», Э. Б. де Кондильяк в основу своей «Грамматики» положил философию сенсуализма. В обеих грамматиках утверждается органическая связь языка и мышления. Но если картезианцы в понимании отношения между языком и мышлением исходили из приоритета мышления, то Кондильяк ведущим началом считает язык, а в его исследовании ориентируется на непосредственно наблюдаемое — речь. Конкретно анализируется текст речи Расина.

**Понятие системы в концепции Кондильяка.** В определении принципов языкового устройства Кондильяк вполне в духе своего времени

опирается на понятие системы. Из этого понятия исходил в естествознании создатель системы растительного и животного мира К. Линней, автор «Системы природы» (1735). Представлением о материальном мире как целостной системе руководствовался П. А. Гольбах в своем труде «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» (1770).

Э. Б. де Кондильяк уже в «Трактате о системах» (1749), говоря о системах физического (природного) мира, видит задачу исследователя в том, «...чтобы наблюдать явления, улавливать связь между ними и добираться до тех явлений, от которых зависят некоторые другие. ...Явления следует объяснить настолько полно, чтобы стало наглядным их образование» [Кондильяк 1982: 179]. Причем «...в физике всё заключается в объяснении фактов фактами» — опытным путем [Там же: 180]. Понятие системы охватывает не только «систему мира» [Там же: 183], но и включенного в нее человека. «...Сама природа создала систему из наших способностей, потребностей и вещей, относящихся к нам. Согласно этой системе мы мыслим, согласно этой системе возникают и сочетаются наши мнения, каковы бы они ни были» [Там же: 186]. «...В каждом столетии взгляды народа, так же как и взгляды философов, представляют собой систему» [Там же].

В изданном в 1775 г. «Курсе занятий по обучению принца Пармского», в который входят разделы «Об искусстве рассуждения» и «Грамматика», Кондильяк наряду с «системой вещей» [Кондильяк 1983: 112], «системой мироздания» [Там же: 113, 164] обращается к системам во внутреннем, духовном, мире человека и прямо соотносит систему знаний, систему представлений и понятий с системой языка: «Вы знаете, что такое система, и представляете себе, каким образом наши знания образуют *целостную систему*. Вы смотрите на вещи в соответствии с аранжировкой понятий или идей, которыми вы располагаете, которые взаимозависимы и дополняют друг друга, а также распределены по различным классам» [Кондильяк 2001: 146].

«...По мере того, как расширяются и совершенствуются знания, люди вынуждены обогащать и совершенствовать языки» [Там же: 147]. И наоборот, «...люди совершенствуют знания по мере того, как совершенствуется язык, на котором они говорят. А если два этих процесса неразделимы и параллельны, то очевидно, что *если знания образуют систему, то язык также должен быть системой, отражающей систему знаний, и наоборот. Итак, систему языка следует искать в системе наших представлений.*

Более того, если мы рассматриваем языки как средство обмена мыслями, то тем более *резонно* будет *рассматривать систему языка как кальку с системы понятий, представлений*» [Кондильяк 2001: 146; выделено мною. — Л. 3.]. Развитие в высказывании какой-либо мысли отражает порядок самих понятий.

«Поскольку понятия распределяются по различным классам, а представители этих классов различным образом сочетаются для формирования мыслей, необходимо, чтобы слова распределялись по идентичным классам, а способы сочетания слов отражали способы сочетания понятий. Система языков и система понятий тесно и неразрывно связаны, одна служит образцом для другой, и обе они развиваются параллельно» [Там же: 147]. «...Языки находятся в пропорциональных отношениях с понятиями... <...> И так же, как языки находятся в пропорции с нашими знаниями, соответствуют им, так же знания наши прямо пропорционально зависят от потребностей. <...>

А поскольку различные классы общества имеют различные потребности, то каждый класс по-своему смотрит на вещи. Из этих различных взглядов формируется нечто общее, суммарное, что откладывается в языке. *Язык*, таким образом, выступает как *хранилище знаний*, а поэтому с ростом знаний увеличивается количество слов в языке» [Там же; выделено мною. — Л. 3.].

С эволюцией форм трудовой деятельности потребности человека растут. Нужды дикарей минимальны; потребности людей, уже знакомых со скотоводством, увеличиваются; еще выше потребности людей, начавших заниматься земледелием, и т. д. [Там же].

Во взаимодействии названных факторов «...потребности предшествуют знаниям, а знания затем приводят к развитию и совершенствованию языков, но все эти факторы имеют тенденцию к выравниванию, к эквивалентности» [Там же: 148]. «Чем больше люди наблюдают, чем больше они анализируют, тем более совершенным является их язык, и наоборот.

Но *каковы бы ни были человеческие знания, система их едина в своей основе и для первобытных людей, и для наиболее цивилизованных наций*. Она изменяется не качественно, а количественно» [Там же; выделено мною. — Л. 3.]. Позднее эта точка зрения была поддержана И. Г. Гердером [Гердер 1977: 230, 238].

Признавая единство человеческой природы, Кондильяк в общем принимает идеи универсализма, свойственные рационалистической теории языка. «...Поскольку система понятий имеет везде одни и те же начала, системы языков тоже должны быть в основе своей едины.

Все языки имеют, таким образом, общие законы. Наука, изучающая эти законы, называется *общей грамматикой*.

Но люди различны по характеру, по обычаям и нравам, а соответственно — они по-разному смотрят на вещи и по-разному о них судят. А эти различия неизбежно приводят к различиям в ассоциативных отношениях между понятиями, а также — к различиям в сочетании понятий. Кроме того, когда одни и те же представления рассудка могут выражаться различными средствами, весьма мало вероятно, чтобы все языки использовали для выражения одних и тех же мыслей идентичные средства; случайности и капризы обихода всегда неизбежны. В связи с этим каждый язык обладает свойствами и законами, присущими лишь ему. Наука, изучающая эти законы, называется *частной грамматикой*» [Кондильяк 2001: 148–149].

Итак, *язык представляет собой единство универсального и индивидуального, общего и отдельного*.

«Поскольку языковые системы являются отображением системы понятий, вполне естественно, что мы не сможем произвести анализа высказывания до тех пор, пока не будем знать, как следует анализировать мысль» [Там же: 149].

**Анализ мысли как объект языка. Роль знаков.** Согласно Кондильяку, грамматика является «основной частью искусства мыслить. Для раскрытия принципов языка следует обратиться, таким образом, к тому, как мы мыслим, и искать эти принципы в самом анализе мысли», поскольку язык понимается как *способ сообщения мыслей* [Там же: 143].

В обосновании метода анализа мысли Кондильяк исходит из чувственного и опытного происхождения человеческих знаний. «Все объекты, которые вы созерцаете, представлены вашему взору. Так же представлены вашему рассудку различные понятия» [Там же: 149].

«...Так же как единственным способом разложить на части зрительные ощущения является способ последовательного их рассмотрения, единственным способом разложения мысли на составляющие является последовательное рассмотрение понятий и операций, которые формируют эту мысль» [Там же: 150]. «...Если понятия, составляющие мысль, одновременно присутствуют у нас в сознании, то в высказывании они выступают последовательно, одно за другим. А следовательно, язык, а именно язык членораздельных звуков, и дает нам средства для разложения мысли на составляющие части» [Там же: 151], выступая *аналитическим методом* по отношению к мысли [Там же: 156]. Такими средствами служат знаки.

В самом деле, «для того чтобы произвести этот анализ, вы расположили слова, являющиеся знаками ваших представлений, или понятий, в определенном порядке, в каждом слове вы рассмотрели в отдельности соответствующее понятие; а в двух словах, которые вы поставили по порядку рядом, вы рассмотрели существующие между понятиями связи. Именно благодаря использованию слов вы располагаете способностью рассматривать отдельные понятия сами по себе» [Кондильяк 2001: 153], а расположив их в единственно верном порядке, перейти от суждения как восприятия целостного впечатления к суждению как утверждению. Таким образом, «...вы, будучи способны воспринимать какое-либо отношение между вещами, можете, благодаря использованию знаков, утверждать об этом нечто, или строить предложение. Утверждение не столько является достоянием вашего сознания, сколько содержится в словах, называющих воспринимаемые отношения» [Там же], т. е. в знаках.

Значение знаков в жизни человека трудно переоценить. Прежде всего «...знаки необходимы для того, чтобы составить себе отчетливые представления об окружающих нас предметах», воздействующих на наши органы чувств, а через посредство чувственных восприятий сформировать элементы сознания [Там же: 154]. «...Именно благодаря знакам мы образуем новые абстрактные понятия, и, соответственно, тем лучше мы анализируем объекты, чем точнее последовательности этих знаков отражают процесс порождения понятий» [Там же]. Образование общих идей начинается с наблюдения. На примере развивающейся детской речи Кондильяк показывает, что именуемые «...первые объекты нашего познания для нас всегда индивидуальны, единичны... Ибо всё в природе индивидуально, всё состоит из отдельных вещей, которые единственно и воздействуют на наши чувства. Все иные объекты наших знаний о мире представляют собой лишь различные *взгляды рассудка на вещи с позиций отношений сходства и различия* между ними» [Там же: 155; выделено мною. — Л. 3]. «Итак, ...наши первичные понятия являются индивидуальными, затем они обобщаются и лишь затем распадаются на виды, образующие в совокупности обобщенные классы, или роды» [Там же].

Поскольку для различения в наших ощущениях всех операций сознания, для формирования понятий всех видов необходимы знаки, постольку «...*основным объектом языка является анализ мысли*» [Там же; выделено мною. — Л. 3]. Употребление языка для обмена мыслями друг с другом невозможно без предварительного анализа мысли. «На самом деле, мы не можем довести до сознания других

понятия, сосуществующие в нашем сознании, если не можем последовательно довести их до собственного сознания» [Кондильяк 2001: 155–156].

Мы можем делать и то и другое благодаря тому, что *«мысль имеет одну и ту же природу для всех людей: у всех народов она вытекает из чувственных ощущений, везде она образуется и разлагается на составляющие части одним и тем же образом»*.

Потребности, заставляющие людей анализировать мысль, также являются общими. Метод, которому они следуют при этом, подчинен одним и тем же для всех языков правилам.

Но этот метод использует в различных языках различные знаки; более или менее совершенный, он дает в результате большую или меньшую ясность, точность и живость. И так же как есть правила, общие всем языкам, существуют и правила частные, присущие каждому конкретному языку в отдельности.

Изучать грамматику означает, таким образом, изучать метод анализа мысли, которому следуют все люди.

Это занятие не столь уж трудно... Ведь *система языка заложена в каждом человеке, который умеет говорить*. Следует лишь раскрыть ему суть этой системы. Кроме того, высказывание является не чем иным, как суждением или последовательностью суждений. Соответственно, если мы откроем для себя, как язык анализирует весьма небольшое количество суждений, мы узнаем тем самым метод, которому следует язык в анализе любой мысли» [Там же: 157; выделено мною. — Л. З.].

**Язык как развивающаяся система.** Способность человека и его языка к анализу мысли развивается вместе с ростом потребностей и практического опыта людей.

Первичным человеческим языком был, по Кондильяку, язык действий, которым «наделяет нас сама природа в соответствии со строением нашего организма» [Там же: 158]. Необходимость удовлетворить свои нужды заставляет человека прибегать к помощи окружающих, привлекая их внимание жестами, мимикой, движениями глаз и нечленораздельными звуками, выполняющими *апеллятивную функцию* [Там же: 144]. «Когда какой-то человек выражает, скажем, свое желание... жестом, указывающим на желаемый объект, он тем самым уже начинает раскладывать мысль на части, но... не столько для себя, сколько для того, кто смотрит на него.

Он делает это не для себя, ибо для него движения, выражающие различные сопутствующие представления, слиты воедино, а отсюда —

и представления слиты для него в одно целостное впечатление, и мысль предстает как единое нерасчлененное целое.

Но действия этого человека состоят для того, кто наблюдает его, из определенных частей». Чтобы понять желания другого, наблюдатель должен взглянуть на него и увидеть желаемый объект. «В результате этого наблюдения ему откроется мысль этого человека; перед его взором пройдут два различных понятия, ибо он увидит их одно за другим», например: *я голоден, я хотел бы этот плод, дай мне это* [Кондильяк 2001: 158]. (Ср. с анализом акта речевого общения между Джилл и Джеком у Л. Блумфилда [1968: 37–41].)

«В процессе возникновения языков представления, или понятия, которые способен выражать язык действий, были первыми понятиями, которым могли быть даны названия. Таковы (1) объекты, воспринимаемые нашими органами чувств, имеющие первостепенное значение для наших нужд, (2) действия органов нашего тела в процессе занятия с этими объектами, когда мы их желаем или, напротив, избегаем. Так возникли слова: *волк, бежать, плод, есть*» [Кондильяк 2001: 159; нумерация моя. — Л. З.]. Соответственно высказывания ограничивались фразами типа *волк — бежать, плод — есть* [Там же: 160].

«...Давая имена действиям органов тела, мы называли и операции сознания», так как «...эти действия сами по себе зачастую являлись знаками этих операций. <...> А поскольку действие и душевное состояние неразделимы, имя одного неизбежно становится именем другого». И тогда, например, слово *внимание* означает уже не только движение руки, которым человек указывает на желаемый объект, но и операцию сознания, душевное состояние в тот момент, когда душа особенно занята данным объектом. «Таким образом были даны названия всем операциям сознания. Это происходило по мере того, как давались имена телодвижениям, являющимся знаками душевных состояний. Невозможно было давать имена одним, не именуя тем самым вторые» [Там же: 159].

Если предположить, что первоначально языки обладали лишь совокупностью слов, подобных указанному, то «...эти слова весьма отчетливо пробуждали чувства, порожденные потребностями, но отдельные объекты, напротив, были представлены весьма расплывчатыми понятиями. Можно было различать в этих фразах лишь то, что следует бежать от кого-либо или чего-либо либо же, наоборот, искать это, и т. п.

Такой анализ был еще очень несовершенен. Малочисленные слова обозначали лишь основные понятия, а мысль не могла быть выражена без сопровождения языком действия, который придавал



словам первобытного языка необходимые дополнительные оттенки. <...>

Если люди уже дали имена нескольким чувственно воспринимаемым объектам и ряду телодвижений, то это произошло лишь потому, что... язык действия достаточным образом сумел выделить компоненты этих вещей, с тем чтобы рассмотреть их последовательно» [Кондильяк 2001: 160].

На основе языка действий в языке членораздельных звуков рано или поздно создаются условные названия лиц (первого, второго и третьего), по аналогии с именами существительными появляются имена прилагательные, возникают предлоги.

В самом деле, «...каждый человек, говоря, например, *fruit manger* ‘фрукт–поедать’, мог указать жестом, говорит он о себе, или о том, к кому обращается, или же о ком-то третьем» [Там же]. «Эти люди могли также выразить жестами, было какое-то животное большим или маленьким, сильным или слабым, смелым или трусливым, злым или добрым и т. п. <...> Столь же легко было для этих людей, показав на два противоположных направления, при помощи жеста указать, что они идут в одном, а при помощи другого жеста — что они идут в другом направлении» [Там же: 161].

Таким образом во взаимодействии с языком действия в языке членораздельных звуков первобытного человека складываются *необходимые виды слов*. Кондильяк полагает, что «...достаточно четырех видов слов для того, чтобы выразить любую мысль. Это — имена существительные, прилагательные, предлоги и один-единственный глагол существования — *être* ‘быть’» [Там же: 161]. Вначале данное слово обозначало лишь конкретное действие руки ‘трогать’. Затем в соединении со словами ‘рука’, ‘глаз’, ‘ухо’, ‘рот’, ‘нос’ означало ‘осязать’, ‘видеть’, ‘слышать’, ‘есть’ или ‘пробовать’, ‘обонять’. Впоследствии «это слово стало в итоге общим названием для всех впечатлений, поступающих в сознание при помощи органов чувств. И в то же время оно выражало происходящее в органах чувств, оно выражало то, что происходило в сознании. Одним словом, *être* стало синонимом того, что мы именуем *чувствовать* или *ощущать*» [Там же: 162].

«Несомненно, прошло очень много веков, прежде чем люди получили возможность выражать в предложении всевозможные представления рассудка о вещах» [Там же].

Со временем язык мало-помалу совершенствуется. «...Медленно и постепенно устанавливаются его законы по мере того, как растет практический опыт людей и количество слов в языке» [Там же: 163].



**Строение предложения и виды слов. Части речи и их классы. Главные и второстепенные члены предложения. Способы выражения значений и синтаксических связей.** При анализе предложения рассматриваются три его члена и соответственно три вида слов: «субъект — это то, о чем идет речь; атрибут — это то, что мы полагаем свойственным субъекту, а глагол высказывает то, что содержится в атрибуте относительно субъекта. <...>

Прежде чем говорить о чем-то, следует дать этому имя... Но чтобы дать чему-то имя или же выразить нечто посредством ряда слов, необходимо, чтобы существовал сам объект мысли» [Кондиляк 2001: 163].

Так как «...отдельные вещи, индивидуумы — единственное, что реально существует в природе» [Там же], Кондиляк начинает с имен, данных единичным сущностям, т. е. с *имен собственных* типа *Цезарь*, *Парма* и т. п. Общие понятия, охватывающие множество отдельных неповторимых вещей, составляют принадлежность рассудка и разделяются на два вида. «Одни подразделяют действительно существующие индивидуумы на классы, таковыми являются *homme* ‘человек’, *prince* ‘принц’, *poète* ‘поэт’, *philosophe* ‘философ’. Другие подразделяют на классы качества, ...существующие с другими изменяющими их качествами, таковыми являются *figure* ‘облик’, *couleur* ‘цвет’, *vertu* ‘добродетель’, *prudence* ‘осторожность’, *courage* ‘смелость’. <...> ...Имена обоих видов, равно как и имена отдельных вещей, объединяются под общим названием *существительных*.

Поскольку эти имена включают в себя всё то, что существует в природе, и всё то, что существует в нашем сознании, они включают в себя всё то, о чем мы можем говорить. Всякое имя, являющееся подлежащим предложения, является, таким образом, именем существительным или именем, употребленным как таковое». Оно «выражает либо реально существующую субстанцию, либо воображаемую» [Там же: 164].

В отличие от существительных, обозначающих качества, прилагательные «выражают качества, которые сознание не рассматривает как существующие сами по себе». Например, в обороте *votre illustre frère* ‘ваш выдающийся брат’ «...понятие *frère* ‘брат’ является основным, потому что два других существуют только через него и называются поэтому второстепенными. Они присоединились к главному члену предложения, чтобы существовать в нем и изменять его, но присоединились только в момент произнесения данного предложения.

Следовательно, можно сказать, что всякое существительное выражает основную идею по отношению к прилагательным, которые его изменяют, и что прилагательные выражают всегда только дополнительные идеи» [Кондильяк 2001: 165].

В указанном обороте представлены *два вида* второстепенных членов: «...*vous* ‘ваш’ определяет, чьим является *frère* ‘брат’, о котором говорят, а *illustre* ‘выдающийся’ объясняет и развивает понятия, формирующиеся на основе словосочетания *vous frère* ‘ваш брат’». Поэтому «...все прилагательные могут сводиться к двум классам: прилагательные, которые определяют, и прилагательные, которые развивают» [Там же: 166].

Если язык располагает прилагательными, то второстепенные члены обоих главных членов предложения могут быть выражены тройко: либо прилагательными (*un homme courageux* ‘смелый человек’), либо вводными предложениями (*un homme qui a du courage* ‘человек, обладающий смелостью’), либо существительными с предлогом (*un homme de courage* ‘смелый человек’) [Там же: 166–167].

«Атрибутивным членом предложения, так же как и подлежащим, является чаще всего существительное» [Там же: 167]. Если в этом случае «...атрибут тождествен субъекту», то они «могут в любой момент поменяться местами»: *Инфант является герцогом Пармы — Герцог Пармы является инфантом*. Если же между главными членами предложения нет полного тождества, то «...существительное, являющееся атрибутом, — имя более обобщенное, чем существительное, являющееся подлежащим». Например: «*Corneille est poète; un poète est un écrivain; un écrivain est un homme* ‘Корнель является поэтом; поэт является писателем; писатель является человеком’» [Там же: 168].

Кондильяк подчеркивает: «...Когда я говорю *Corneille est poète* ‘Корнель — поэт’, речь идет не о реальном существовании, поскольку он больше не существует. Однако это предложение так же верно, как и при жизни Корнеля, может быть, оно еще более верно и будет таковым всегда. Сосуществование *Корнеля* и *поэта*, таким образом, является лишь видением сознания, которое совсем не задается вопросом о том, жив Корнель или нет, но которое рассматривает *Корнеля* и *поэта* как две сосуществующие, сопряженные именно в сознании идеи» [Там же: 171].

Итак, «для того чтобы называть предметы, вполне достаточно существительных; чтобы выразить качества, нужны только прилагательные; чтобы показать их взаимосвязь, нужны только предлоги. Чтобы выразить все наши суждения, нужен только глагол *est*. Таким образом,

нам не нужны, строго говоря, другие виды слов, ибо мы можем, располагая лишь этими словами, выразить все наши мысли.

Однако существует еще много различных видов слов, и в частности — глаголов. *Il joue* ‘Он играет’ — то же самое, что и *Il est jouant* ‘Он есть играющий’. *Joue* ‘играет’ содержит значение глагола *est* ‘является’ и прилагательного *jouant* ‘играющий’. На этом основании подобные глаголы были названы глаголами–прилагательными (*verbes adjectifs*)» [Кондильяк 2001: 170].

«Глаголы не выражают сосуществования абсолютным образом, они его выражают в различных взаимосвязях» — с помощью второстепенных членов, входящих в группу глагола [Там же: 171].

Каждый вид взаимосвязи имеет свои средства выражения во французском языке. «...Если исключить объект, связь с которым обычно отмечена его местом во фразе по отношению к глаголу, связь с другими второстепенными членами будет всегда указана предлогом, высказанным или подразумеваемым, что подтверждает: назначение этого слова состоит в том, что оно указывает на зависимый член синтаксической связи. ...Объект обычно должен сразу следовать за глаголом. Но так как прямое дополнение (непосредственный объект) является единственным второстепенным членом, которому не предшествует предлог, часто происходит, что по отсутствию предлога мы опознаем прямое дополнение, даже если оно не находится в указанной выше позиции» [Там же: 173].

«Второстепенные члены, которые могут подчиняться глаголу, таким образом, являются объектом, связующим членом, обстоятельствами времени, обстоятельствами места, обстоятельствами действия (описание действия, выражаемого глаголом), состоянием подлежащего, средствами, употребляемыми им, или образом действия субъекта, причиной, концом или целью указанного действия» [Там же: 173–174].

Второстепенные члены, относящиеся к прилагательному, «являются одними и теми же для глагола и прилагательного, и средства связи прилагательного с зависимыми от него словами — те же, что и у глагола». Ср.: *comparable à Euripide* ‘сравнимый с Еврипидом’ — *comparer à Euripide* ‘сравнивать с Еврипидом’ [Там же: 174].

По-видимому, именно богатством синтаксических связей можно объяснить отсутствие тождества между предложением и суждением, отмеченное ранее и авторами Пор-Рояля. По словам Кондильяка, «суждение (*jugement*) отличается от предложения тем, что оно всегда простое, то есть состоит из трех слов. Предложение же может содержать

несколько суждений и может распадаться на несколько частей, которые тоже суть предложения. Такое сложное предложение может содержать несколько субъектов или несколько атрибутов, выраженных несколькими словами» (цит. по: [Реферовская 1996: 137]).

Проведенный анализ грамматических концепций авторов Пор-Рояля и Кондильяка показал, что, несмотря на глубинные философские расхождения, обе грамматики обнаруживают сходство не только в деталях, но и в общем стремлении так или иначе *объяснить* язык.

Однако со времени выхода в свет «Граматики» и «Логики» Пор-Рояля прошло более ста лет. Наука не стояла на месте. Кондильяк смог обогатить грамматический анализ *системным подходом* и в соответствии с принципами эмпирико-сенсуалистического направления рассмотреть язык в отношении ко всем трем надсистемам — не только психической, но также социальной и физической.

Важным шагом вперед по сравнению с XVII в. явилось признание языка и мышления *исторически развивающимися* явлениями.

**В. фон ГУМБОЛЬДТ** полагает, что первоначально в языке как системе знаков обозначающие силы (звук) и силы, создающие обозначаемое (требования внутренних целей языка), действуют нераздельно. «И то и другое объединяется и охватывается общей языковой способностью. Но по мере того, как мысль, став словом, соприкасается с внешним миром, по мере того, как в результате наследования уже имеющегося языка человеку, который всякий раз своими усилиями создает в себе язык, начинает противостоять власть материи, уже обретшей форму, может возникать разделение этих сил, которое обязывает нас и позволяет нам рассматривать создание языка с этих двух различных сторон» [Гумбольдт 1984: 98–99] и выделять в нем *два конститутивных принципа* (внутреннее языковое сознание и звук), *две области членения*, *две формы* (внутреннюю, интеллектуальную и внешнюю, звуковую), *две техники* (интеллектуальную и фонетическую).

**Членораздельность и символичность. Две области членения.** Самобытнейшим существом языка Гумбольдт считает его *членораздельность* и *символичность* [Там же: 160]. Первичным и определяющим из этих двух свойств является, по-видимому, членораздельность [Там же: 127–128].

**Членораздельность языка** обусловлена его единством с мышлением: «понятие членения есть логическая функция языка, в той же мере, в какой оно является функцией самого мышления» [Гумбольдт 1985: 414]. Подобно тому как «...всякое мышление состоит в разделении

и соединении» [Гумбольдт 1984: 127], так и язык «вечно разъединяет и связывает» [Там же: 236]. Зависимость членораздельности от мышления подтверждается тем, что «речь, пока она не исчерпает мысль, образует в душе говорящего связное целое, в котором только путем рефлексии можно выделить отдельные части. <...> Связывание того, что необходимо разделять, есть общее свойство неразвитого мышления и речи; от ребенка и от дикаря скорее можно услышать выражения, чем слова» [Гумбольдт 1985: 408].

Гумбольдт неоднократно подчеркивает значимость членения как господствующего принципа для языка в целом. «...Сущность языка заключена в членораздельности, без которой язык просто был бы невозможен, а идея членения пронизывает его целиком» [Там же: 410]. «...В нем нет ничего, что не могло бы быть частью либо целым, и эффективность его непрерывного действия зависит от легкости, точности и согласованности его делений и сочетаний» [Там же: 414]. «...Это в свою очередь предполагает наличие простых и далее нечленимых элементов» [Гумбольдт 1984: 315].

Раскрывая механизмы членораздельности, Гумбольдт различает в языке два взаимодействующих конститутивных принципа. Это, с одной стороны, внутреннее языковое сознание, т. е. «совокупность духовных способностей относительно к образованию и употреблению языка», а с другой — звук [Там же: 227].

«Сила духа воздействует на артикуляцию и заставляет органы речи воспроизводить звуки в соответствии с формами своей деятельности. Общая особенность взаимодействия формы деятельности духа и артикуляции заключается в том, что сфера действия как того, так и другого делится на элементы» [Там же: 85]. В результате каждая из них располагает обозримым количеством конечных элементов, способных к бесконечному соединению [Там же: 308]. «...Простое объединение этих элементов образует совокупности, которые в свою очередь стремятся превратиться в части новых совокупностей» [Там же: 85]. Иначе говоря, в обеих областях (сферах) членораздельности действует иерархический принцип, вследствие чего «...своеобразие природы отдельного выявляется всегда через отношение его составляющих. Человек наделен способностью как разграничивать эти области — духовно — посредством рефлексии, физически — произносительным членением (Artikulation), — так и вновь воссоединять их части: духовно — синтезом рассудка, физически — ударением, посредством которого слоги соединяются в слова, а из слов составляется речь. <...> Их обоюдное взаимопроникновение может осуществляться

лишь одной и той же силой, и ее направлять может только рассудок» [Гумбольдт 1984: 309]. Этой силой является внутреннее языковое сознание, которое придает всему устройству языка изначальный импульс [Там же: 227].

Соответственно и звук приспосабливается к потребностям языкового сознания [Там же: 127–128]. Способность человека в отличие от животных произносить членораздельные звуки характеризует его как мыслящую сущность [Там же: 76] и не может быть объяснена чисто физически [Там же: 309]. «Хотя членораздельный звук производится телесно и инстинктивно, всё же сущность его коренится только во внутренней духовной склонности к языку, а речевые органы обладают лишь способностью следовать ее потребностям». Поэтому *невозможно определить членораздельный звук только по его физическим признакам* [Гумбольдт 1985: 410]. Материальная сторона звука вообще не столь существенна: так как язык — объект полностью идеальный [Там же: 414], «...звук материален ровно настолько, насколько того требует его внешнее восприятие» [Гумбольдт 1984: 85]. Природу и сущность членораздельного звука составляет «стремление придать звуку значение» [Там же: 95], «свойство непосредственно порождать понятия посредством своего произнесения» [Гумбольдт 1985: 410], «намерение и способность обозначать смысл, причем не смысл вообще, а смысл определенного представления мысленного образа» [Гумбольдт 1984: 84–85]. Отсюда определение членораздельности звуков как их *мыслеобразующей способности* [Гумбольдт 1985: 412].

Осуществить процесс артикуляции, т. е. «четко расчленить материальную природу языка и выделить отдельные звуки», способна только сила самоосознания [Гумбольдт 1984: 309]. Она же зависит от того, как выражены в языке грамматические отношения. По тонкому наблюдению Гумбольдта, «словоизменение, на котором основывается сущность грамматических форм, неизбежно ведет к различению отдельных артикуляций и вниманию к ним. Когда язык соединяет друг с другом только значимые звуки (т. е. знаменательные элементы. — Л. З.) или, во всяком случае, не умеет прочно сплавлять грамматические обозначения со словами, он имеет дело только со звуковым целым и не стремится к различению отдельной артикуляции так, как это происходит в том случае, когда одно и то же слово выступает в различных словоизменительных формах. Поскольку в результате утонченности и живости языкового сознания возникают прочные грамматические формы, то они способствуют распознаванию системы

звуков» [Гумбольдт 1985: 414]<sup>3</sup>. «Пока на ранних ступенях развития язык прибегает к описанию и слово еще не является модифицированным в своей простоте, отсутствует легкость членения на элементы» [Гумбольдт 1984: 316].

Но этим значение общих отношений не ограничивается, так как именно они, особенно в языках с более развитой артикуляционной способностью и разветвленной звуковой системой, способствуют развитию артикуляционного сознания. Под его влиянием наряду со стремлением придать звуку значение появляется потребность различать сходные и отличительные черты понятий путем отбора и классификации звуков. На основе четкого разграничения отношений, с одной стороны, и четкости в оформлении и различении звуков — с другой, устанавливается истинная связь между звуком и значением, о чем свидетельствует устойчивая аналогия между понятиями общих отношений и звуками [Там же: 94–95]. Таким образом укрепляется и приобретает единственно верную направленность деятельность языкотворческой силы [Там же: 96].

В целом взаимодействие в языке двух областей членения проявляется тройко.

1. Их взаимодействие обуславливает членение каждой из указанных областей и их единство, которое достигается *через членение* [Там же: 317].

2. В силу единства обеих сфер область внутреннего языкового сознания влияет на звуковую. «Чем больше гений языка требует яркости и отчетливости от изображения чувственных предметов, чистоты и бестелесной определенности очертаний от интеллектуальных понятий, тем четче (ибо то, что мы разобщаем своей рефлексией, в недрах души пребывает в нераздельном единстве) вырисовывается членораздельность звуков, тем полновочучней слоги выстраиваются в слова» [Там же: 104].

3. «...Звук в свою очередь меняет установки и поведение внутреннего языкового сознания». «...Приобретая артикулированный характер благодаря проникновению в него языкового сознания и тем самым нераздельно объединяя в себе находящиеся в постоянном взаимодействии интеллектуальную и чувственную силу, звук превращается в наделенное постоянной символизирующей функцией истинное и даже,

---

<sup>3</sup> Не случайно звукофонемный строй флективных языков не вызывает никаких сомнений: флективное словоизменение способствует вычленению фонем.



по-видимому, самостоятельное творческое начало языка» [Гумбольдт 1984: 227]. Следовательно, творческим началом в языке может быть не только интенция рассудка, но и звуковая артикуляция [Там же: 123].

**Символичность языка** развивается в результате действия артикуляционного сознания. Она выражается прежде всего в том, что «происходит расслоение звуков в соответствии с их значимостью, благодаря которому даже один конкретный звук может стать носителем формального отношения» [Там же: 124]. Так, семитские языки, характеризующиеся «изошреннейшей символизацией» [Там же: 160], «демонстрируют наибольшую тонкость артикуляционного чувства в символической модификации гласных» [Там же: 125]. Звуки чисто символические являются прямым созданием артикуляционного сознания. Действием последнего обусловлено изменение звуков для изменения смысла. При употреблении в качестве флексий звуков, имевших самостоятельный смысл, «их исконное предметное значение становится тогда символическим, самый звук, подчинившись главному понятию, часто стирается до односложного элемента» [Там же: 130].

Символичность языка отчетливо обнаруживается также в слове, ибо оно образуется при участии *артикуляционного сознания, подыскивающего звуки для обозначения соответствующего понятия* [Там же: 103]. Благодаря взаимодействию в слове внутреннего языкового сознания и звука «...последний приспособляется к потребностям первого, и трактовка звукового единства тем самым превращается в символ искомого определенного понятийного единства. Последнее, будучи таким образом воплощено в звуке, пронизывает всю речь в качестве одухотворяющего принципа, и *звуковая форма*, искусно образованная мелодически и ритмически, в свою очередь *оказывает обратное воздействие на дух*, укрепляя в нем связь организующих сил разума с творческой фантазией» [Там же: 127–128; выделено мною. — Л. 3.].

**Форма языка. Определение формы. Ее единство.** Учение Гумбольдта о форме языка заложило основы современного системного подхода к языку. В современной науке под системой понимается выполняющая известные функции целостная совокупность взаимосвязанных определенными отношениями элементов. Гумбольдт в своем учении о форме сосредоточивает внимание главным образом на функциях языка как деятельности и его единстве.

Такое ограничение продиктовано прежде всего неприятием традиционного понимания языка как продукта, которое ввиду того, что



типы отношений, организующих языковые элементы в некую систему, еще не были изучены, могло породить представление о языке как беспорядочном хаосе разрозненных элементов (слов, правил, аналогий, исключений).

Гумбольдт же убежден, что «никакой язык не был бы вообще мыслим без единства формы» [Гумбольдт 1984: 246]. Он стремится «отыскать общий источник отдельных особенностей и соединить разрозненные черты в единое органическое целое», «увязать все частности», «познать сущность живой речи и составить верную картину живого языка», сосредоточив внимание на истинном и первичном [Там же: 70], а именно — на тесной связи языка с внутренней духовной деятельностью, в первую очередь интеллектуальной, с которой язык составляет единое целое [Там же: 75].

Постоянно возобновляясь и повторяясь, указанная духовная деятельность — в той мере, в какой она производится одной и той же духовной силой, использует уже готовый унаследованный от предшествующих поколений материал и осуществляется постоянным и однородным способом, — наряду с преходящим моментом содержит и нечто постоянное, в том числе и самое индивидуальное — духовную настроенность говорящих на данном языке. «Постоянное и единоеобразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка» [Там же: 71].

Такое понимание формы, основывающееся на деятельностной природе и функциональной предназначенности языка, не сводимо к грамматической форме и выходит далеко за ее рамки. Форма охватывает весь строй языка в его единстве. В нее входят: 1) образование корней и основ; 2) словообразование, включающее «применение известных общих логических категорий действия, воздействуемого, субстанции, свойства и т. д. к корням и основам»; 3) правила словосочетания [Там же: 72]. Подобная трактовка формы, давая возможность вычленить уровни структуризации, делает излишним разделение на лексику и грамматику.

Форма в понимании Гумбольдта отнюдь не исключает отдельные элементы языка. Напротив, «...форма языка есть синтез отдельных, в противоположность ей рассматриваемых как материя, элементов языка в их духовном единстве» [Там же: 73]. «...В процессе речи люди неизбежно скрепляют свой язык в такое единство. Это происходит всегда, когда язык изнутри либо извне пополняется новыми элементами, ибо в соответствии с глубочайшими принципами своей

природы язык сплетает прочную сеть аналогий, в которой чужеродный элемент может закрепиться, лишь заняв определенную ячейку» [Гумбольдт 1984: 246].

**Многослойность формы.** Форма конкретного национального языка многослойна и представляет собой синтез индивидуальной формы, формы соответствующей семьи языков и общей формы всех языков. Если же учитывать половые, возрастные, сословные, профессиональные и, наконец, индивидуальные языковые различия между представителями одного народа [Там же: 165; 1985: 363], то, очевидно, могут быть выделены и другие слои языковой формы, имеющие меньшую степень обобщенности, чем национальная.

Индивидуальная «...форма языков национальна» [Гумбольдт 1984: 65] и характеризует тот специфический путь, которым идет к выражению мысли данный народ [Там же: 73].

«Формы нескольких языков могут совпасть в какой-то еще более общей форме». В частности, «...форма отдельных генетически родственных языков должна находиться в соответствии с *формой всей семьи языков*» [Там же: 74; выделено мною. — Л. 3.] и отвечать таким образом «духу данной языковой семьи» [Там же: 97]. Всей семье присуще своеобразие внешней языковой формы, а разнообразие внутри этого единства создается прежде всего характерами отдельных наций [Там же: 192].

«Поскольку врожденная способность к языку является общей для всех людей и каждый должен носить в себе ключ к пониманию всех языков, то отсюда следует, что *форма всех языков в своих существенных чертах должна быть одинаковой* и всегда направленной к достижению общей цели» [Там же: 227; выделено мною. — Л. 3.]. «...Каждый язык есть отзвук общей природы человека» [Там же: 320], и «...всеобщий человеческий язык проявляется в отдельных языках различных наций» [Гумбольдт 1985: 382]. Соответственно, «...к одной форме восходят, по существу, формы всех языков, если только идет речь о самых общих чертах: о связях и отношениях представлений, необходимых для обозначения понятий и для построения речи; о сходстве органов речи, которые по своей природе могут производить лишь определенное число членораздельных звуков; наконец, об отношениях, существующих между отдельными согласными и гласными звуками, с одной стороны, и известными чувственными восприятиями — с другой (вследствие чего в разных языках возникает тождество обозначений, не имеющее никакого отношения к генетическим связям)» [Гумбольдт 1984: 74].

Однако и всеобщая языковая форма — еще не предел обобщения. Язык — посредник между духом и природой, человеком и миром. А так как «между основными формами, исходно господствующими в сфере духа, и основными формами внешнего мира», между вселенной и человеком существует соответствие [Гумбольдт 1984: 305, 320], то языковая форма отражает в себе закономерности запечатленной в природе всеобщей формы [Там же: 81].

С другой стороны, «...каждый человек обладает своим языком» [Там же: 74]. Это обусловлено не только индивидуальностью мировосприятия. В строе периодов и в речесложении также многое зависит от говорящего или пишущего [Там же: 106].

В то же время «отдельный человек всегда связан с целым — с целым своего народа, расы, к которой он принадлежит, всего человеческого рода» [Там же: 63]. «Поистине предощущение цельности и стремление к ней возникают в нем вместе с чувством индивидуальности и усиливаются в той же степени, в какой обостряется последнее, — ведь каждая личность несет в себе всю человеческую природу, только избравшую какой-то частный путь развития» [Там же: 64].

Эта связь человека с народом, расой и всем человеческим родом осуществляется в первую очередь с помощью языка. Язык по существу — «собственность всего человеческого рода», «...именно в языке каждый индивид всего яснее ощущает себя простым придатком целого человеческого рода». Язык связывает индивида со своим народом и со всем человечеством. «Язык принадлежит мне, ибо каким я его вызываю к жизни, таким он и становится для меня; а поскольку весь он прочно укоренился в речи наших современников и в речи прошлых поколений — в той мере, в какой он непрерывно передавался от одного поколения к другому, — постольку сам же язык накладывает на меня при этом ограничение. Но то, что в нем ограничивает и определяет меня, пришло к нему от человеческой, интимно близкой мне природы, и потому чужеродное в языке чуждо только моей переходящей, индивидуальной, но не моей изначальной природе» [Там же: 83].

**Две материи — две формы.** В языковой форме осуществляется синтез двух материй — мыслительной и звуковой. Так как вне формы ни звуки, ни идеи не могут стать элементами языка, то и саму сущность языка следует видеть в форме звуков и идей и в их взаимодействии [Там же: 109]. В зависимости от вида преобразуемой материи Гумбольдт выделяет две формы — *внутреннюю* (интеллектуальную) и *внешнюю* (звуковую).

**Внутренняя форма языка** — это, в сущности, его содержательная сторона. Присущий внутренней форме данного языка самобытный способ представления мыслительного содержания обнаруживается на всех стадиях образования языка: в корнях, словах, в строе предложения. В соответствии со стадиями образования формы и во внутренней, интеллектуальной сфере языка, и в его внешней, звуковой области главнейшими моментами являются: 1) обозначение понятий индивидуальных предметов; 2) обозначение общих отношений, применяемых к целой массе отдельных предметов, или, иначе, способ *категоризации*, а это, по Гумбольдту, и есть «та ось, вокруг которой обращается весь языковой организм» [Гумбольдт 1984: 118]; 3) законы построения речи [Там же: 103].

Распространение понятия внутренней формы на весь язык, а не только на лексику и стилистику, как у Гарриса [Грамматические концепции... 1985: 26–27], имеет принципиальное значение, ибо знаменует собой последовательный отход Гумбольдта от логико-грамматической традиции и более глубокое постижение сущности языка. Невозможность сведения внутренней формы языка к внутренней форме слова доказывается самим пониманием последней. Привносимые в значение слова «обертоны смысла» зависят, считает Гумбольдт, не только от того, через какое именно свойство осмысливается обозначаемый предмет [Гумбольдт 1984: 166], с какой точки зрения и каким путем он представляется [Там же: 305], какое впечатление прибавляет слово к понятию от себя [Там же: 318]. Они проистекают также из единства словарного запаса языка [Там же: 112], а именно — из связи данного слова с родственными и другими сходными по значению словами [Там же: 318], из аналогии с прочими элементами языка [Там же: 306], в частности благодаря категоризации понятий в его внутреннем строе [Там же: 118–119]. Наконец, то, «в каком виде понятия представляются уму», зависит от того, как соотносятся в данном языке части, предназначенные для обозначения действительных предметов мысли и чувства, и части, предназначенные для связи, для грамматической техники [Гумбольдт 1985: 380]. Таким образом, слово предстает в своем значении как элемент целостной системы.

Внутренний строй языка как целого едва ли не в первую очередь определяется тем, *насколько разграничены* в нем *обозначения понятий индивидуальных предметов*, с одной стороны, и *общих отношений* — с другой. (Именно этим обусловлена мера грамматичности или лексичности языка.) Не менее существенно то, *как производится логическое упорядочение понятий*. В этой связи к важнейшим

составляющим внутренней формы языка Гумбольдт относит грамматические видения, т. е. способ представления грамматических форм в соответствии с их понятием. Указав, что «... в области грамматики языки различаются: а) прежде всего, по способу представления грамматических форм в соответствии с их понятием; б) затем, по техническим способам их обозначения; в) наконец, по физическим звукам, служащим для их обозначения», Гумбольдт особо подчеркивает значение грамматических видений: «Посредством второго и третьего из этих пунктов, прежде всего последнего, язык обретает свою грамматическую индивидуальность, и сходство нескольких языков в этом пункте — самый надежный признак их родства. Но первый пункт определяет языковой организм и является исключительно важным, будучи не только главным фактором, оказывающим влияние на дух и мировоззрение нации, но также самым надежным пробным камнем того языкового сознания, которое в каждом языке должно рассматриваться как основной творческий и преобразующий принцип» [Гумбольдт 1985: 396].

Примером того, как положенное в основу грамматической формы понятие влияет на ее статус и сферу действия в организме языка, служит различная трактовка двойственного числа. Она может основываться на различении «я» (говорящего лица) и «ты» (лица, к которому обращена речь), на существовании в природе парных объектов (глаз, ушей и т. д.), на общем понятии двоичности. Соответственно расходитсся сфера проявления двойственного числа во внешней форме языка. В первом случае оно закреплено за местоимением, во втором не выходит за пределы имени, а в третьем «присуще всем частям речи, которые могут его выражать» [Там же: 392].

Существенную роль во внутреннем строе языка Гумбольдт отводит также тому, *каким образом объективный принцип обозначения сочетается с субъективным принципом логического подразделения*, как представляется родовое понятие — отдельно от индивидуального понятия или слитно. Этим определяется господство агглютинации или флексии во внешней форме языка [Гумбольдт 1984: 118–119].

С образованием грамматических форм в свою очередь очень тесно связан *так или иначе градуированный ход идей*, способ синтаксического построения целых мыслительных рядов [Там же: 105–106].

Всё это говорит о том, что в соответствии с индивидуальным способом мышления и восприятия и вследствие преобразующего действия внутренней формы интеллектуальная сфера языка не тождественна универсально-логической, языковое содержание не равно

мыслительному. «Область представлений совершенно по-иному членится холодным аналитическим рассудком, нежели творческой фантазией создателей языка» [Гумбольдт 1985: 364]. Это расхождение обусловлено уже тем, что в процессе языкового осмысления мира участвуют все душевные силы [Гумбольдт 1984: 101, 104], и потому интеллектуальная сфера языка выходит за рамки чисто идеальной области. Но и последняя не совпадает с логической структурой [Там же: 101], так что логические единицы не эквивалентны языковым, и «понятия, возводимые к простому логическому анализу способностей духа и восприятия», отличаются от их многообразных обозначений в конкретных языках. По заключению Гумбольдта, «можно представить все те слова, которыми ряд языков пытается обозначить одно и то же понятие, как пограничные знаки одного и того же пространства в области мышления, которые, однако, никогда не покрывают друг друга целиком, но отчасти переходят и в другое пространство и, очевидно, все снова освобождают часть его, чтобы вместе отграничиться от некоторого другого языка» [Гумбольдт 1985: 364–365].

**Внешняя форма языка** включает не одну только систему звуков, но и его грамматический и лексический строй [Гумбольдт 1984: 163].

**Членораздельный звук** — первый и самый необходимый элемент языка [Там же: 84] уже потому, что «...языковые знаки — это обязательно звуки» [Там же: 302]. Звуковую природу языка Гумбольдт задолго до Соссюра связал с фактором времени (и соответственно, с линейным характером языка), указав на преимущества слухового восприятия перед зрительным: «Очертания покоящихся друг рядом с другом вещей легко сливаются и для воображения, и для глаза. Напротив, течение времени рассекается, как границей, настоящим моментом на прошлое и будущее. Никакое слияние невозможно между сущим и уже не сущим. <...> Из всех изменений во времени самые разительные производит голос» [Там же: 301–302].

Характеристика членораздельного звука в учении Гумбольдта в полной мере удовлетворяет условиям «всеохватывающего рассмотрения» [Гумбольдт 1985: 366] и требованиям системного подхода. Учтены все аспекты системы: элементы, их количество, отношения между ними, функции, целостность системы. Критерий целостности может быть определен как ведущий.

Усатривая сущность членораздельного звука в мыслеобразующей способности [Там же: 412], в намерении и способности обозначать смысл [Гумбольдт 1984: 84], Гумбольдт связывает тем самым

друг с другом оба конститутивных принципа языка — внутреннее языковое сознание и звук.

«Каждый отдельный звук образуется в соотношении с другими звуками» [Гумбольдт 1984: 86] и звуковой системой в целом [Там же: 87]. Поэтому и отличительные свойства звука характеризуют его как «интегрирующую часть целого» [Гумбольдт 1985: 366]. К ним относятся, во-первых, «целостность, позволяющая четко отличать его от других», и, во-вторых, «способность вступать в определенные отношения со всеми остальными мыслимыми звуками». Именно как «часть системы» звук «обретает свойство занимать общее положение с одними звуками и противостоять другим» [Гумбольдт 1984: 86]. В результате звуковая система включает наряду с классами элементов «множество способов, посредством которых членораздельные звуки группируются по степени родства или противопоставляются друг другу, не обладая таким родством, не говоря уже о противоположности и родстве всех тех отношений, в которые могут вступать звуки» [Там же: 87]. Отношения же между членораздельными звуками «строятся в соответствии с потребностями данной языковой системы» [Там же: 86].

Языковая система, соразмерная во всех своих элементах с языковым сознанием народа [Там же: 87], должна отвечать ряду требований. К ним относятся «строгое ограничение числа звуков, необходимых для построения речи, и правильное равновесие между ними», в частности равномерное распределение звуков внутри системы по классам, так «чтобы каждый членораздельный звук, характеризующийся своим местом образования, содержался бы во всех классах, то есть сочетался бы со всеми звуковыми модификациями, различаемыми в языках человеческим слухом» [Там же: 88]. Наконец, ввиду согласованности языковой способности, мышления и органов речи [Там же: 85] «достоинства языка с точки зрения его звуковой системы, помимо точного устройства органов речи и слуха и помимо стремления придать звуку наибольшее разнообразие и совершенство, особенным образом основаны на отношении звука и значения. <...> Кажется совершенно очевидным, что существует связь между звуком и его значением... ..Определенные звуки связаны с определенными понятиями», хотя большей частью о характере связи мы не имеем никакого представления [Там же: 92; выделено мною. — Л. З.]. И тем не менее эта связь не случайна. Она обусловлена тем, что «важнейшей задачей языка... является установление истинной связи звука и значения, с тем чтобы слух, воспринимающий речь, извлекал из звука только его зна-



чение и чтобы в связи с этим звук был определен непосредственно для значения, и только для него» [Гумбольдт 1984: 96]. В такой связи проявляется взаимодействие и определенная гармония двух законов, двух начал — природного, чисто органического и духовного. Данное взаимодействие обнаруживается на всех трех стадиях образования языка: *в корнях, в словах и в дальнейших их преобразованиях* [Там же: 89–90].

«Под словами следует понимать знаки отдельных понятий» [Там же: 90].

**Слово** является подлинным предметом языка [Там же: 331] и «его самой важной частью» [Там же: 317]. «Словом язык завершает свое созидание. Для предложения и речи язык устанавливает только регулирующие схемы, предоставляя их индивидуальное оформление произволу говорящего» [Там же: 90]. Таким образом, следуя Гумбольдту, **схема предложения** должна быть определена как элемент языка, а предложение в его индивидуальном оформлении — как элемент речи, что вполне согласуется с представлениями современной лингвистики.

«...В слове всегда наличествует двоякое единство — звука и понятия» [Там же]. При обозначении понятий связь их со звуком может быть выражена трояко [Там же: 93–94]. Во-первых, *живописным способом* — путем подражания нечленораздельному звуку, издаваемому предметом. Этот способ постепенно утрачивается в ходе развития и совершенствования языка, а именно — по мере развития членораздельности. Во-вторых, *символическим способом* — на основе некоего внутреннего подобия обозначающих звуков тем впечатлениям, которые производят предметы. В-третьих, *аналогическим способом*, когда «словам со сходными значениями присуще также сходство звуков» [Там же: 94], однако аналогия понятий и звуков не зависит от характера последних.

Два последних способа используются также для обозначения отношений, и тем последовательнее, чем сильнее и чище артикуляционное сознание [Там же: 94–96].

**Взаимоотношения звуковой и внутренней формы. Синтез.** «Подлинное и полное творение звуковой формы могло относиться только к первым шагам изобретения языка». Позднее «...языки под более четким и определенным влиянием внутренней формы приобретают способность выражать все более многообразные и четко разграниченные оттенки и используют для этого имеющуюся звуковую систему, расширяя или совершенствуя ее» [Там же: 96], в частности за счет аналогических образований. Сложившиеся звуковые формы



либо притягивают к себе новые, либо сами начинают употребляться для обозначения новых идей, и в результате благодаря получившей оформлению материальности звуковая форма воздействует на внутреннюю [Гумбольдт 1984: 97–98].

Характер звуковой формы не безразличен для достижения внутренних целей языка. Если, как в китайском языке, отсутствует звуковое выражение связей различных идей, это ограничивает точность различения самих связей [Там же: 98].

С другой стороны, как показывает пример семитских языков, многообразие звуков и развитое артикуляционное сознание, искусная и рациональная звуковая форма сами по себе не гарантируют еще ясного и четкого различения необходимых и основных грамматических понятий [Там же: 99].

С точки зрения используемой техники языки могут как превосходить потребности достижения внутренних целей языка, так и отставать от этих потребностей [Там же: 100].

Внутренняя и внешняя форма языка и их элементы, несмотря на относительную автономность, выявляющуюся по мере накопления материала, образуют неразрывное единство и, в сущности, немислимы одна без другой.

Во-первых, становление и вычленение элементов обеих форм возможно только в синтетической деятельности на основе согласованности между мыслью и звуком [Там же: 75]. Как звук становится членораздельным вследствие способности обозначать смысл, так и представление становится понятием с помощью звуковой формы.

Во-вторых, при образовании языка в целом и отдельных его элементов (при построении предложений, при словообразовании, при любом сочетании понятия со звуком) «...синтез создает нечто такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых» [Там же: 107]. Благодаря синтезу в творческом акте духа «...понятие и звук, будучи связаны друг с другом неповторимо конкретным образом соответственно истинной природе каждого, выступают в качестве слова и речи, и тем самым между внешним миром и духом создается нечто, отличное от них обоих» [Там же: 197]. «Так, отразившись в человеке, мир становится языком, который, встав между обоими, связывает мир с человеком и позволяет человеку плодотворно воздействовать на мир» [Там же: 198].

Таким образом, синтез придает языку завершенность и создает его индивидуальную форму. Ее целостность проистекает из единства членораздельности и синтеза.

**Совершенство языка и степень синтеза. Ее отражение в предложении и в слове.** Мощь языкотворческой силы полнее всего раскрывается в степени синтеза внутреннего языкового сознания со звуком и, как следствие, в степени согласия мысли с языком. От мощи синтеза зависят грамматический метод построения предложения и его единство, с одной стороны, и категоризация понятий и единство слова — с другой.

**Грамматический метод построения предложения и его единство. Изоляция, флексия, инкорпорация.** Грамматический метод построения предложения «образует как бы фундамент языка и в то же время играет решающую роль в развитии понятий» [Гумбольдт 1984: 232], в осуществлении мышления. Преимущества того или другого метода оцениваются Гумбольдтом с точки зрения связи языка с внутренней духовной деятельностью, в зависимости от степени его совершенства как орудия мысли.

Гумбольдт выделяет три способа построения предложения: *флексивный, изолирующий и инкорпорирующий*. В первых двух предложения не предстает как составная единица, как «составленное из слов целое». Предложение распадается на части, из которых выстраивается его единство. Во флексивных языках слово в самом себе содержит фонетически выраженные грамматические указатели его связей внутри предложения. Это флексии. Во флексивных языках проводится «правильное разграничение между словесным единством и единством предложения». В изолирующих языках единство предложения ослаблено, поскольку в них словоизменение отсутствует, и для обозначения формальных связей используются нефонетические средства: порядок слов или особые изолированные слова. Третий способ построения предложения — инкорпорирование — заключается в тесном сплочении предложения в единую фонетически связную форму, подобную отдельному слову, так что границы словесного единства превращаются в границы предложения [Там же: 144–145].

**Категоризация понятий и единство слова. Изоляция, флексия, агглютинация.** Законы мышления требуют категоризации понятий. Соответственно, «совершенство языка требует, чтобы каждое слово было оформлено как определенная часть речи и несло в себе те свойства, какие выделяет в категории данной части речи философский анализ языка» [Там же: 155]. В слове благодаря единству понятийного выражения и модифицирующего обозначения, переводящего понятие в определенную категорию мышления или речи, совершается синтез «деятельности, обусловленной мышлением», с одной стороны,

и «деятельности, обусловленной исключительно восприимчивостью и более связанной с внешними впечатлениями», — с другой [Гумбольдт 1984: 118].

В соответствии со степенью категоризации понятий Гумбольдт различает *изоляция*, *флексию* и *агглютинацию*. В изолирующих языках явное указание на категории слов отсутствует. Во флективных категоризация осуществляется либо путем внутренней модификации, либо путем взаимного слияния корня с суффиксом, указывающим на отношение данного слова к другим. В случае агглютинации ввиду слабости внутреннего языкового сознания «определяющие дополнительные понятия» не сливаются с корнем, а присоединяются «более инертным образом», образуя «более или менее механическое добавление» [Там же: 118–128, 213].

Как видно, стремление к словесному единству получает свое максимальное выражение лишь в случае флексии. Понятийное единство флективного слова подкрепляется его *внешним и внутренним звуковым единством* [Там же: 127]. Средствами обозначения внешнего единства слова как целостности в предложении–высказывании выступают паузы, а также иные, чем в середине слова, изменения начальных и конечных «букв» (обозначенные позднее Н. С. Трубецким как пограничные сигналы). Внутреннее словесное единство создается благодаря разграничению звукового оформления входящих в него значащих элементов, в частности путем фонетического указания на подчиненность сопутствующих определений по отношению к главному понятию, посредством различий в модификации звуков внутри слова и на стыке слов, с помощью акцентуации [Там же: 128–144].

«Разум требует от слова не только того, чтобы оно передавало понятие во всей его полноте и с четкой определенностью, но и того, чтобы в нем содержалось указание на те логические связи, в которые оно вступает в языке и речи» [Там же: 240]. Этому требованию также наиболее полно удовлетворяет флексия. Обеспечивая словесное единство, флексия в то же время указывает на отношения слов ко всему предложению и таким образом способствует членению предложения и свободе его устройства. Тем самым, и это самое главное, «...флексия способствует более правильному и четкому проникновению в сущность мыслительных связей» [Там же: 126], обеспечивает «оптимальное выражение мыслительных форм» [Там же: 127], облегчает движение мысли.

Только флективный метод Гумбольдт считает единственно правильным, совершенным, удовлетворяющим чистому принципу языкового строя.

В несовершенных изолирующих и инкорпорирующих языках ущемляется либо словесное единство, либо свобода соединения мыслей, либо и то и другое. Одна из причин их несовершенства заключается в слабости внутреннего языкового сознания, не сумевшего обеспечить себе регулярное звуковое выражение [Гумбольдт 1984: 232–233].

Наличие или отсутствие звукового обозначения формальных связей, степень противопоставленности материальных значений и грамматических отношений не безразличны для мышления. Для строго определенного, быстрого и плодотворного развития идей необходимо языковое обозначение грамматических отношений, причем обозначение это должно отличаться от предметных обозначений [Там же: 332]. «...Языки отвечают этим требованиям вообще или вполне только в том случае, если они располагают подлинными грамматическими формами, а не их аналогами» [Там же: 345]. Четкое разграничение вещи и формы, предмета и отношения обеспечивается лишь при последовательном обозначении грамматических отношений в чистом виде с помощью подлинных форм — флексий и грамматических слов. Грамматическое обозначение отношений с помощью аналогов форм содержит наряду с формальным еще и материальный компонент, что ведет к неопределенности понятий и порождает двусмысленность [Там же: 344–346].

Обилие и многообразии форм в том или ином языке не должно вводить в заблуждение. В языках с аналогами форм («мнимыми» формами), которые говорящий образует в момент речи как будто по своему усмотрению, «...каждое, даже редкое, отношение, подобно всем остальным, превращается в грамматическую форму. Там, где в отличие от этого форма рассматривается в более строгом смысле и образуется в процессе употребления, но при этом в процессе речи не образуются новых форм, там имеются формы только для того, что необходимо обозначать часто; то, что встречается в языке реже, обозначается метафорически при помощи самостоятельных слов» [Там же: 340].

Наконец, в совершенных языках мощь синтетического акта находит выражение в единстве предложения. «...Не имея для себя никакого непосредственного звукового оформления, никаких непосредственных фонетических указателей, единство предложения почти исключительно зависит от упорядочивающей деятельности внутренней формы языкового чувства» [Там же: 144]. Соединению элементов предложения служит глагол. Глагол — «это нерв самого языка» [Там же: 199]. Он осуществляет акт синтетического полагания по отношению к предложению, является связующим звеном, скрепляя воедино

предикат с субъектом. В этом состоит его грамматическая функция. В тех языках, где эта функция получает полное выражение, например в санскрите, «...глагол и имя совершенно четко отграничены друг от друга» [Гумбольдт 1984: 200]. В несовершенных языках вследствие ослабленности глагольной функции границы между именем и глаголом затушеваны, что выражается, в частности, в совпадении глагола с атрибутивом, в полифункциональности слова, когда оно употребляется в качестве то одной, то другой части речи [Там же: 204–205].

Более сложный вид синтеза осуществляется при соединении предложений в более крупное единство. Совершенные языки располагают для выражения связи и зависимости между предложениями специальными средствами — союзами, относительными местоимениями. В менее развитых языках наблюдается недостаток этих средств и отношения связи и взаимозависимости часто остаются невыраженными [Там же: 213–216].

**А. А. ПОТЕБНЯ. Язык как знаковая система.** Учение Потебни о языке как знаковой системе строится на принципах *историзма* и опирается на понимание языка как познавательной деятельности, в ходе которой язык не просто употребляется в качестве формы человеческой мысли, но постоянно создается и совершенствуется, с тем чтобы удовлетворить требования познающей мысли. Этим язык отличается от других орудий человеческой деятельности.

По определению Потебни, «...язык есть человеческая деятельность, состоящая в создании членораздельных звуков и знаков и направленная к познанию, то есть к разложению чувственных восприятий, к приведению этих восприятий в систему и к закреплению результатов деятельности для себя и для других» [Потебня 1981: 133; выделено мною. — Л. 3].

С одной стороны, язык как система знаков есть средство сжимать огромное число признаков, составляющих мир познаний человека, в совокупность значений слов. «...Язык сводит разнообразие и множество, почти необъятные, к чему-то небольшому и легче обозримому мыслию человеческой» [Там же]. «А сокращение труда мысли дает ей возможность ворочать всё большими и большими массами» [Потебня 1989: 216].

С другой стороны, «язык не есть совокупность знаков для обозначения готовых мыслей, он есть система знаков, способная к неопределенному, к безграничному расширению» [Потебня 1981: 134]. Это расширение безгранично, во-первых, потому, что количество комбинаций, которые можно произвести с наличными элементами языка, так

же безгранично, как в цифрах и шахматах [Потебня 1981: 134–135]. Во-вторых, потому, что содержание слова (его значение) способно расти и расширяться.

**Учение о слове. Языковое и внеязычное содержание.** Несовпадение области мысли и области языка приводит Потебню к разграничению а) языкового содержания и б) содержания мысли, или внеязычного содержания.

В отечественной науке к разграничению языкового и мыслительного содержания был близок также Н. Г. Чернышевский. Он обратил внимание на то, что «...словами охватывается не всё содержание представлений, а лишь доля его, и во многих случаях эта доля — хотя и существенная — доля очень маленькая; ...есть много представлений, содержание которых не может быть всё исчерпано каким бы то ни было количеством слов; таковы, например, наши представления о людях, хорошо знакомых нам» [Чернышевский 1973: 205].

Следуя Гумбольдту, Потебня определяет *языковое содержание как форму, символ, способ представления внеязычного содержания*.

Под *внеязычным содержанием* понимается, во-первых, «мысль, оторванная от связи с словесным выражением» [Потебня 1976: 263], или, говоря современным языком, «инвариантное» *смысловое содержание*: «Чтобы получить внеязычное содержание, нужно бы отвлечься от всего того, что определяет роль слова в речи, напр. от всякого различия в выражениях: “он носит меч”, “кто носит меч”, “кому носить меч”, “чье дело ношенье меча”, “носящий меч”, “носитель меча”, “меченоситель”, “меченосец”, “меченоша”, “меченосный”» [Потебня 1958: 72].

Во-вторых, внеязычным является *личное, или лично-объективное, содержание*, которое «составляет принадлежность только лица и в каждом лице различно, но самим лицом принимается за нечто существующее вне его». «Так, например, мы можем думать, что время бывает тройкое по отношению к тому мгновению, когда думаем или говорим: настоящее, прошедшее и будущее, и что сообразно с этим события настоящие, прошедшие и будущие такими и должны изображаться. <...> Событие, еще не совершившееся, по мнению самого говорящего лица, язык может представить не только будущим, но и прошедшим, прошедшее — настоящим и будущим». Например, в предложении *Если он не вернется, мы погибли* содержание языка имеет категорию прошедшего времени — *погибли*, тогда как объективная мысль есть будущее; «...первая есть форма, второе — содержание, но не языка, а мысли» [Потебня 1977: 119].

Теорию языкового содержания Потебня разрабатывает главным образом применительно к слову как типичному знаку. В слове различаются три основных элемента: 1) **значение** или означаемое *мыслительное содержание*, объективируемое посредством звука; 2) **представление**, означающее *языковое содержание*, или **внутренняя форма** означаемого мыслительного содержания, *внутренний знак значения*; 3) **звук** или **внешняя форма** означаемого мыслительного содержания, *внешний знак значения* или *знак знака значения* [Потебня 1958: 17–19]. *Собственно языковое содержание слова заключено в его внутренней форме (в широком смысле) — в представлении и ближайшем значении.*

Благодаря своей знаковой природе слово является лучшим подтверждением справедливости важнейшего постулата Потебни: «...язык есть полнейшее творчество, какое только возможно человеку, и только потому имеет для него значение» [Потебня 1976: 212]. В частности, слово как элемент языка есть акт бессознательного творчества и имеет все свойства художественного произведения, также обладающего содержанием, внутренней и внешней формой.

Творческий характер слова обусловлен тем, что оно есть «средство преобразовывать впечатления, делать их предметом познания вновь» [Потебня 1973: 237]. *«Название словом есть создание мысли новой в смысле преобразования, в смысле новой группировки прежнего запаса мысли под давлением нового впечатления или нового вопроса»* [Потебня 1976: 540].

При возникновении слова признак–представление (*a*) выступает как средство сравнения (*tertium comparationis*) вновь познаваемого (*x*) и прежде познанного (*A*) [Потебня 1989: 217]. Когда ребенок круглый абажур называет арбузиком, в качестве знака значения выступает значение предыдущего слова, но не всё это значение, а лишь один признак — шаровидность (*a*) — как основание для сравнения абажура (*x*) и арбуза (*A*), как общее между ними. Тем самым «в слове также совершается акт познания» [Потебня 1958: 17] и через посредство представления познаваемое объясняется познанным [Потебня 1976: 306].

Только благодаря представлению происходят «исключительно человеческие преобразования чувственного образа» [Там же: 147], объясняющие, в частности, способность слова к обобщению. Всякое слово обобщает, и Потебня показывает *механизм* обобщения. В сравнении с чувственным образом «...в представлении устранено всё, кроме того, что почему-то показалось существенным. Это обстоятельство облегчает обобщение» [Потебня 1989: 215]. Например, «образ стола



может иметь много признаков, но слово *стол* значит только простланное (корень *стл*, тот же, что в глаголе *стлать*), и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, материала» [Потебня 1976: 114].

Каждое значение исторически производно от предшествующего значения, на которое и указывает представление. «Представление есть признак, взятый из значения предшествующего слова и служащий знаком значения данного слова» [Потебня 1989: 212]. Этот признак выступает посредником между старым и новым значением. «Звук *верста* означает меру долготы, потому что прежде означал борозду; он значит “борозда”, потому что прежде значил “поворот плуга”... <...> ...Кто говорит “верста” в значении ли определенной меры длины, или в значении ряда или пары, тот не думает в это время о борозде, проведенной по полю плугом или сохой, парюю волов или лошадей, а берет из этого значения каждый раз лишь по одному признаку: длину, прямизну, параллельность» [Потебня 1958: 17].

Сходным образом и «грамматическая форма тоже имеет или предполагает три элемента: звук, представление и значение» [Там же: 37]. В форме творительного падежа действующего лица или предмета знаком–представлением является орудийность. В страдательных глаголах на *-ся* «...возвратность есть представление, а страдательность — значение» [Там же: 454].

Однако значение слова, разъясняет Потебня, никогда не было равно тому признаку, которым обозначено значение [Потебня 1977: 113], тем более что представление — неперенный атрибут возникающего слова. Позднее по мере употребления слова представление может быть забыто, и тогда слово включает не три, а два элемента — звук и значение [Потебня 1989: 212].

В общении между говорящим и слушающим, «в текущих делах мысли» знаком–представителем внязычного содержания, заменой понятия или образа для быстроты мысли и расширения сознания выступает так называемое *ближайшее значение*, которое дает определение места и мысли, где искать полноты содержания, обеспечивая тем самым возможность взаимопонимания.

Ближайшее, или формальное, или наименьшее, значение — это общий для всех носителей данного языка элемент *дальнейшего значения*, лично-объективного внязычного мыслительного содержания, его *форма*, которая вследствие пустоты ближайшего значения лишь *намекает* на последующее дальнейшее значение, замещает его, отсылает к нему. Ближайшие значения, поскольку они общи для всех,



народны. Дальнейшие значения личны и содержат все знания индивида о предмете, различаясь по количеству и качеству элементов в зависимости от личного опыта, знаний и специальности [Потебня 1958: 20]. Под понятие ближайших значений подводятся не только частные и лексические, но, естественно, также общие и грамматические значения [Там же: 36].

Лишь ближайшие значения — лексические и грамматические — наряду с представлениями являются предметом языкознания, дальнейшие значения — предмет других наук [Там же: 19].

**Отношения между элементами слова.** Слово не является механическим соединением элементов [Потебня 1976: 180–181]. Внутренний и внешний знаки (представление и звук) связаны между собой и с означаемым—значением.

**Связь звука и значения, внешней и внутренней формы** представлена диалектически. Утверждая, что «в создании языка нет произвола» [Там же: 116], Потебня не исключает соответствия звука и значения «лишь в безусловно первых словах, которые прямо возникли из патогномических звуков» [Потебня 1958: 55]. Это соответствие не есть следствие звукоподобия, ибо звук осмысливается лишь в готовых словах и не сразу: «...только по мере того как он сживается с известным значением слова, человек открывает в нем необходимость его соединения с такою, а не другою мыслью» [Потебня 1976: 121]. В первых же словах, образуемых из междометий, связь звука и значения опосредована чувством, поскольку генетически имеется «соответствие известных чувств известным звукам» [Там же: 117], и звук отражает чувство, сопровождающее восприятие предмета. Это-то чувство и выступает внутренней формой первичного слова, мотивируя связь между значением (образом предмета) и звуком [Там же: 115]. Однако хотя, «без сомнения, предание основано на первоначальном соответствии звука и душевного движения в звуке, предшествующем слову, но основание это остается неизвестным, а если бы и было известно, то само по себе не могло бы объяснить позднейшего значения звука» [Потебня 1958: 41]. «Уже во втором слове ряда звук значит нечто не потому, что он сам по себе изобразителен, а потому, что прежде он означал нечто другое. Уже здесь становится безразличным, возник ли этот звук первоначально в самом говорящем, или передан извне. Традиция одновременна с самим языком» [Там же: 55–56]. Поэтому «...между звуком и значением в действительности не бывает другой связи, кроме традиционной. Так, напр., когда в долготе окончания именит. ед. ж. р. *â* находят нечто женственное, то это есть лишь

произвольное признание целесообразности в факте, который сам по себе непонятен. Если бы женский род в действительности обозначался кратким *ă*, а мужеский и средний долгим, то толкователь с таким же основанием мог бы в кратком *-a* видеть женственность» [Потебня 1958: 41].

И тем не менее Потебня подчеркивает, что «...членораздельный звук, форма слова, проникнут мыслью» [Потебня 1976: 179]. Причин здесь две. Одну из них Потебня вслед за Гумбольдтом видит в том, что сам членораздельный звук сформирован мыслью. «Как форма мысли, нераздельно связанная с нею» [Потебня 1989: 203], он «только от свойств мысли заимствует все свои признаки» [Потебня 1976: 104]. Вторая причина заключается в том, что звук «указывает на значение не сам по себе, а потому, что прежде имел другое значение» [Потебня 1958: 17], т. е. через посредство представления, и, следовательно, является оболочкой, формой, знаком знака. Так, «...мы понимаем сказанное другим слово *сильный*, то есть признаем тождество внутренней формы этого слова в нас самих и в говорящем, потому что и мы обыкновенно бессознательно относим его к слову *сила*» [Потебня 1976: 139]. «Внешняя форма нераздельна с внутреннею, меняется вместе с нею, без нее перестает быть сама собою» [Там же: 175]. При образовании первых слов изменение звука под влиянием внутренней формы–представления состоит «в устранении того страстного оттенка, нарушающего членораздельность, какой свойствен междометию» [Там же: 180]. Иными словами, внутренняя форма, т. е. внутренний знак значения, способствует членораздельности в области звуковой материи, выявляя тем самым ведущую роль символичности по отношению к членораздельности. «Если затеряна для сознания связь между звуком и значением (а она, по Потебне, обеспечивается прежде всего представлением как исходным минимумом внутренней формы. — Л. 3.), то звук перестает быть *внешнею* формою в эстетическом значении этого слова». «Только... при существовании для нас символизма слова (при сознании внутренней формы) его звуки становятся внешнею формою, необходимо требуемою содержанием» [Там же: 176–177]. Пока жива внутренняя форма, связывающая данное слово с другими словами, она предохраняет его от звукового изменения. Забвение внутренней формы снимает это ограничение.

Благодаря наследственности слова, способности иметь внутреннюю форму–представление или, иначе, объективное значение, «...внешняя форма слова проникнута объективною мыслью, независимо от понимания отдельных лиц. Только это дает слову возможность

передаваться из рода в род; оно получает новые значения только потому, что имело прежние» [Потебня 1976: 106]. Таким образом, *связь между звуком и значением всегда мотивирована*: первоначально — чувством, позднее — генетическими отношениями данного слова с предшествующим. Именно это создает основу для взаимопонимания в процессе общения и обеспечивает языковую преемственность поколений.

*Соотношение между внутренней формой–представлением и значением слова* неоднозначно. Неоднозначность определяется самой сущностью внутренней формы, показывающей, «как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово совершенно согласно с требованиями языка может обозначать предметы разнородные» [Там же: 115]. Неоднозначность обозначений отражает многосторонность предметов и различие возможных точек зрения на один и тот же предмет. «...Немыслима точка зрения, с которой бы видны были все стороны вещи». Поскольку чувственный образ содержит множество признаков, постольку «...в слове невозможно представление, исключающее возможность другого представления» [Там же: 229]. Возьмем сочетания типа *вода малина, камень человек* и т. п. «Пока существительное атрибутивное мыслится как совокупность признаков, оснований для присоединения его к определяемому (*tertium comparationis*, представлений образа) может быть столько же, сколько в нем мыслится признаков, напр. в... “вода малина” основанием сближения мог бы служить цвет ягоды, вкус ягоды, происхождение из них (водица, приготовленная из ягод), близость к воде малинника (как у Тургенева “Малиновая вода”). <...>

Многозначность прилагательных, образованных от существительных, может восходить к различию оснований, по которым первообразное существительное присоединялось, как атрибут, к определяемому. Как “*камень человек*”... может значить “человек непоколебимого характера” и, стало быть, хороший, или человек скупой, безжалостный, жестокий, так из этого выводятся различные однозвучные прилагательные» [Потебня 1968: 66–67]. Согласно Потебне, это основной источник омонимии.

В зависимости от точки зрения и взятого за основу признака возможны различные способы представления сходных содержаний. В результате появляются синонимы [Потебня 1977: 257]. (Так, в современном русском языке под одно понятие платы за труд подводятся

*жалованье, получка, зарплата*, хотя, судя по внутренней форме, жалованье трудящемуся жалуется, т. е. милостиво даруется, получку он получает и только зарплату ему платят за работу.)

С другой стороны, один и тот же признак может характеризовать разные предметы, и все они могли бы быть названы по этому признаку. Лишь употребление закрепляет данный признак (представление) за данным предметом, а не за каким-либо другим, например признак ‘рогатый’ — за коровой, а не за оленем [Потебня 1989: 214–216], представление резанья, разрыванья — за волком, хотя «...есть множество других предметов, которые могли бы быть названы по тому же признаку» [Потебня 1977: 113]. Так, «санскритское *врѡка*, волк (собственно разрывающий, режущий) в языке Вед значит вместе и плуг» [Потебня 1989: 384].

Таким образом, опираясь на понятие внутренней формы слова, Потебня не просто констатировал, но и объяснил обнаруженное еще древними, в частности Демокритом [Античные теории... 1996: 37], неоднозначное соотношение между означающим и означаемым, или, в определении С. О. Карцевского, принцип асимметричного дуализма языкового знака.

Внутренняя форма слова не безразлична к обозначаемому содержанию. Поскольку она «направляет мысль» [Потебня 1976: 175], можно сказать, что содержание обусловлено внутренней формой [Там же: 181]. Однако рост содержания слова, его изменение не проходят бесследно для внутренней формы. «Чем успешнее идет то обобщение и углубление, к которому мысль направлена словом, и чем более содержания накапливается в слове, тем менее нужна первоначальная точка отправления мыслей (внутренняя форма)», а ее утрата, в свою очередь, как уже говорилось, воздействует на внешнюю форму, так что в конечном счете «...все звуковые изменения, затемняющие для нас значение слова, исходят из мысли» [Там же: 198].

Вообще, с точки зрения Потебни, «...форма не есть нечто вполне отделимое от содержания, а относится к нему органично, как форма кристалла, растения, животного к образовавшим ее процессам» [Там же: 373]. Как орех не мог бы образоваться без скорлупы, так содержание слова невозможно без своей формы. Словесная форма составляет часть содержания [Там же: 264]. В историческом плане между формой и содержанием существуют отношения «оборачиваемости», и потому «форма и содержание — понятия относительные: *B*, которое было содержанием по отношению к своей форме *A*, может быть формой по отношению к новому содержанию, которое мы назовем *C*».

Так, «...значение слова имеет свою звуковую форму, но это значение, предполагающее звук, само становится формой нового значения» [Потебня 1976: 177–178].

**Система и история.** В интерпретации А. А. Потебни, представление, или внутренний знак значения, носит опосредованный характер, выявляющийся в отношении к предыдущему и последующему значениям. Будучи основанием сравнения, общим между двумя сравниваемыми сложными мысленными единицами, знак есть *указание* по отношению к значению как предыдущего (производящего), так и последующего (производного) слова. Он есть *отношение* к предыдущему значению (а не воспроизведение его) и *намек* на последующее [Потебня 1958: 17–18].

Поскольку «язык во всём без исключения символичен», «ни реальное (лексическое, вещественное. — Л. 3.), ни формальное значение слова не могут существовать сами по себе. <...> Нам только кажется, что слово *волк* само по себе непосредственно означает известное хищное животное, но на самом деле это значение появилось только потому, что слово это заключает в себе представление резания или разрыванья, отнесенное к таким-то грамматическим категориям (именно мужской род в именительном падеже единственного числа). Само по себе это представление есть значение, условленное несколькими другими представлениями, и так далее — вверх до неисследимого для нас в частности начала слова» [Потебня 1977: 113].

Учитывая генетическую связь знака (представления) с предыдущим словом или формой, «при определении значения грамматической формы, и вообще слова, нам нужны... категории первообразные и производные, исторически предшествующие и последующие» [Там же: 217]. Ясно, что при таком понимании знака невозможна жесткая разграничительная линия между историей языка и его состоянием и они должны рассматриваться в единстве, ибо системные характеристики знака складываются во взаимодействии исторически предшествующих и последующих категорий.

Следовательно, *исторический взгляд отнюдь не противоречит системному. Само выявление системы возможно лишь на исторической основе.* Потебня доказывает это, в частности, при анализе видов глаголов. «Язык находится в постоянном развитии, — подчеркивает он, — и ничто в нем не должно быть рассматриваемо как нечто неподвижное. Система видов должна быть не описанием, а историей их происхождения» [Там же: 88].

Так как развитие идет от конкретного к абстрактному, от простого к сложному, то за исходную точку в развитии видов следует принять относительно простые конкретно-деятельные глаголы типа *идти*, *нести*, *везти*, которые обозначают действие относительно ближайшее к чувственному восприятию и представляют его (это действие) как единичное. Более сложным продуктом мысли являются глаголы типа *ходить*, *носить*, представляющие действие как собирательное. «Чтоб употребить форму, как *носите*, в обыкновенном смысле, нужно объять мыслью несколько однородных действий, порознь добытых из чувственных восприятий, представить их одним протяженным действием» [Потебня 1977: 89]. Глаголы третьей степени *хаживать*, *нашивать* и т. п. отражают не только множественность отдельных восприятий, но и *осознанную* сложность действия [Там же: 90]. Как видно, путь от истории к системе дает возможность не только выявить и описать последнюю, но и показать стратификацию семантических (грамматических) различий. (Тот же принцип был применен позднее Р. Якобсоном к стратификации фонологических противопоставлений.)

Исторический взгляд, отчетливо проявившийся уже в учении о внутренней форме, позволил Потебне обнаружить и описать то явление, которое позднее получило название *значимости* [Сосюр 1977: 146–152]. Потебня вполне осознает не абсолютный, а относительный характер грамматических различий, и в частности степеней длительности глаголов. Он насчитывает «четыре степени длительности (или четыре вида): степень конкретно-длительную, от нее — по направлению к большей длительности — степень отвлеченно-длительную и многократную, а в другую сторону — однократную» [Потебня 1977: 93]. По Потебне, «...длительность глаголов измеряется не объективно в строгом смысле слова, а, так сказать, народно-субъективно, т. е. мерою, данную самим языком, степенью глаголов, принятою за единицу. Живущая в данное время предыдущая степень глагола есть мерка последующей, так как, например, литературный русский язык измеряет длительность (многократность) глагола *нашивать* только двумя предыдущими степенями: *нести* и *носить*, минуя живущие в украинском формы *ношати* и *ношувати* (из *ношевати*), хотя эти последние и предполагаются формою *нашивать*. Никакой безотносительности в степенях глаголов нет» [Там же; разрядка моя. — Л. 3].

**Создание и употребление.** Постоянное развитие языка означает, далее, практическую невозможность разграничить создание

и употребление: «...язык всегда есть столько же цель, сколько средство, настолько же создается, насколько употребляется» [Потебня 1958: 58]. В частности, «...в слове всё зависит от употребления... Употребление включает в себя и создание слова, так как создание есть лишь первый случай употребления» [Там же: 41].

Поскольку значение слова определяется употреблением в речи и узнается только из него, жесткое разграничение языка–системы и его реализации в процессе общения также оказывается невозможным. Действительная жизнь слова совершается в речи. По мнению Потебни, «значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво, не функционирует, не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более формальных свойств, потому что их не имеет» [Там же: 42].

«Слово в речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а не нескольким, т. е. каждый раз, как произносится или понимается, имеет не более одного значения» [Там же: 15]. (Имеется в виду лексическое значение.) «В языках, имеющих грамматические формы, каков русский, единство значения слова состоит в той совокупности известного относительно-реального значения с одним или несколькими значениями формальными, которые непременно совмещаются в одном акте мысли. <...> Невозможно только совмещение в одном акте мысли двух взаимно исключающих себя категорий, например двух различных лиц» [Потебня 1977: 246].

Чтобы понять, в каких именно значениях употреблено слово, прежде всего необходим определенный контекст. Этот контекст Потебня называет *речью*. Согласно Потебне, «речь... вовсе не тождественна с простым или сложным предложением. С другой стороны, она не есть непременно “ряд соединенных предложений”..., потому что может быть и одним предложением. Она есть такое сочетание слов, из которого видно и то... лишь до некоторой степени, значение входящих в него элементов. <...> Итак, что такое речь — это может быть определено только для каждого случая отдельно» [Потебня 1958: 42]. Почему же значение слов видно из речи «лишь до некоторой степени»? Почему «...и р е ч и, в значении известной совокупности предложений, недостаточно для понимания входящего в нее слова»? — Потому, считает Потебня, что «речь в свою очередь существует лишь как *часть* большего целого, именно языка» (курсив мой. — Л. 3.), и они не могут быть оторваны друг от друга. «Для понимания речи нужно присутствие в душе многочисленных отношений данных в этой речи



явлений к другим, которые в самый момент речи остаются, как говорят, “за порогом сознания”, не освещаясь полным его светом. <...> Без своего ведома говорящий при употреблении данного слова принимает в соображение то большее, то меньшее число рядов явлений в языке» [Потебня 1958: 44]. Таким образом, в современном терминопользовании, понимание слова обусловлено взаимодействием синтагматических и парадигматических отношений.

**Отношения в системе языка.** Отношения, в которых участвует слово, определяются ближайшими значениями, характеризующими его как составной элемент предложения. Такой подход к слову вполне созвучен с современными представлениями, согласно которым функции определенных языковых единиц, их синтагматические и парадигматические связи могут быть определены лишь в отношении к единицам вышележащего уровня. Отличие потебнианской концепции в том, что в ней учитывается также исторический (генетический) план — связь данного состояния языка с предшествующим(и).

Если, например, взять слово с живым представлением (типа *верста*), то «подобное слово заключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других. Указание на такой разряд определяет постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим словам. В е р с т а, в каком бы ни было значении, и всякое другое слово с теми же суффиксами, будучи существительным, само по себе не может быть сказуемым, будучи именительным, может быть только подлежащим, приложением или частью сложного сказуемого и т. д.» [Там же: 35–36; курсив мой. — Л. 3.]. Со стороны частной, лексической, слова, сохраняющие внутреннюю форму, связаны отношениями производности с предыдущими. Если и грамматическая форма имеет представление, то оно также указывает на предшествующее значение, и таким образом сохраняется генетическая связь данной формы с предшествующей. Например, «внутренняя форма будущего времени совершенного есть в русском языке исключительно, а в сербском между прочим — настоящее время глаголов совершенных. Другими словами, в этих языках будущее время представляют настоящим: это будущее первоначально было содержанием личной мысли, потом в свою очередь стало формой нового содержания — стало содержанием языка, т. е. представлением» [Потебня 1977: 120]. Наконец, грамматическое значение указывает на разряд, грамматическую категорию, к которой



принадлежит данная форма. Если форма совмещает несколько значений, она входит одновременно в несколько разрядов. Соответственно, «...каждое слово носит на себе обозначение той роли, которую оно занимает в предложении» [Потебня 1981: 142].

«Значение слов, как членов предложения, формально и, как такое, сказывается в синтаксическом употреблении, есть само это употребление» [Потебня 1958: 74]. Отсюда «...в предложении, кроме формы, нет ничего» [Там же: 72]. «...Если предложение не может быть определено как содержание, то и свойство составных его членов вообще, и в частности различие имени и глагола, должно быть только формальное, т. е. должно состоять не в содержании, а в способе его представлять» [Там же: 88]. Так на основе функционального подхода к определению грамматических разрядов, предполагающего единство языка–системы и речи, Потебня приходит к заключению о том, что «части речи и части предложения — это две различные точки зрения на один и тот же предмет» [Потебня 1981: 145].

Кроме указанных генетических и категориальных связей в языке образуются семейства слов, соединенных по единству корня и других составных частей слова. Так, ряд слов в придуманной Потебней латинской фразе *arator arans arat arando arabilem arvum* ‘оратай ралом орет ралию’ (‘пахарь плугом или сохой пашет землю’) соединяется в одно семейство, ибо во всех этих словах представлен тот же самый корень *ar-* [Там же: 136]. В слове *arator* суффикс *-tor* относит данный корень к категории действующего лица. Точно так же функционирует *-tor* и по отношению к многим другим корням. Ср.: *creator, imperator* и т. п. [Там же: 139].

Поскольку система и история языка составляют, по Потебне, единое целое, то собирание слов в семейства предполагает приведение членов этих семейств «в известный хронологический, последовательный, генетический, родовой порядок» с помощью сравнительно-исторического метода. Последний необходим потому, что разложение слова на составные части с лексическим и грамматическим значением «не может быть произведено средствами одного языка» [Там же: 165].

Разложение слов на составные части и исчисление последних, с одной стороны, и распределение слов по семействам, с другой стороны, взаимосвязаны. «Разложение слов оказывается необходимым для распределения слов по семействам, а самое распределение слов по семействам необходимо для того, чтобы осмотреть состав языка, чтобы сосчитать те простейшие средства, которые в бесчисленном множестве комбинаций делают возможною нашу речь» [Там же: 159].

Так, еще до Соссюра, было осознано единство синтагматики и парадигматики.

**Учение о грамматической форме.** Определяя грамматическую форму как единство звука, представления и значения (а в случае утраты представления — как единство звука и значения), Потебня, в отличие от многих своих предшественников и современников, за основу берет значение. Он отвергает отождествление формы с ее внешним знаком: «Грамматическая форма... со своего появления и во все последующие периоды языка есть значение, а не звук» [Потебня 1958: 61]. Так же как при определении лексического значения, «... при счете форм должно стремиться к тому, чтобы считать за единицу действительную форму, а не абстракцию». Их число определяется поэтому не числом окончаний, а числом формальных оттенков значений. «Мы привыкли, напр., говорить об одном творительном пад. в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна грамматическая категория, а несколько различных, генетически связанных между собою. Всякое особое употребление творительного есть новый падеж, так что, собственно, у нас несколько падежей, обозначаемых именем творительного» [Там же: 64].

Звуковое выражение грамматической формы может и отсутствовать. Благодаря системным связям нечленимые далее слова (включая «детские» слова типа *вава* в речи взрослых) причисляются к определенным грамматическим категориям и приобретают таким образом сложность значения. Она является отражением более наглядной сложности других слов. Следовательно, «...под частями данного слова следует разуметь как такие значения или их оттенки, которые изображаются в слове особыми звуками, так и такие, которые в данном слове звукового выражения не имеют, а предполагают лишь сложность других слов» [Там же: 22].

В определении значения формы Потебня отводит огромную роль тому, какое *место* она занимает в составе целого — в речи и в *схеме* форм, причем под схемой понимается и схема предложения, и словоизменительная парадигма (склонение, спряжение).

«...Речь моя понятна, — пишет Потебня, — потому что в ней есть определение места и мысли, где искать этой полноты (полноты содержания, свойственной понятию и образу. — Л. З.), определение, достаточно точное для того, чтобы не смешать искомого с другим» [Там же: 20]. В частности, обсуждая природу «одночленных» предложений типа *Пожар!*, *Хорошо!*, Потебня указывает: «...эти случаи лаконизма понятны и объяснимы только потому, что *в понимающем есть*

*готовые сложные схемы предложений, схемы, в коих обрывки речи... каждый раз занимают свое определенное место.* <...> Так, в случаях, когда налицо в предложении только именительный существительного, мы по контексту различаем, стоит ли этот падеж как подлежащее с недоговоренным сказуемым... или как предикативный атрибут, часть составного сказуемого с подразумеваемым подлежащим и глаголом (связкою). К последнему случаю относятся восклицания “пожар!” и заглавия» [Потебня 1958: 85–86; выделено мною. — Л. 3].

Отдельные грамматические формы образуют в сознании говорящего определенные ассоциации на основе общности отношений, характеризующих те или иные ряды значений [Там же: 43]. При этом «говорящий может не давать себе отчета в том, что есть в его языке склонение, и, однако, склонение в нем действительно существует в виде более тесной ассоциации известных форм между собою, чем с другими формами» [Там же: 44]. Причем ни склонение какого-либо имени, ни спряжение того или иного глагола также не существуют изолированно. В сознании говорящего они «как *сложные единицы в своей цельности* дополняются другими разрядами того же, иногда и другого корня: *Паду* ближайшим образом ассоциировано с *пасть* и как член этой ассоциации приводит на мысль разряды *падаю* — *падать* и (*на, при, пре, о* и прочее)*падаю* — *падать*» [Потебня 1977: 277; выделено мною. — Л. 3]. «Употребляя именную или глагольную форму, я не перебираю всех форм, составляющих склонение или спряжение; но тем не менее данная форма имеет для меня смысл *по месту*, которое она занимает в склонении или спряжении» [Потебня 1958: 44; выделено мною. — Л. 3]. А раз так, то звуковое выражение какой-либо из форм может и отсутствовать, если сохраняется ее отличие от других форм. Например, в литовском и латышском «...суффикс 3-го лица в настоящем и прошедшем потерян», «...3-е лицо ед., кроме того, никаким звуком не отличается от 3-го лица множ.». Тем не менее «...сама категория 3-го лица в них не потеряна, ибо это лицо, при всем внешнем искажении, отличается от 1-го и 2-го как един., так и множ. чисел» [Там же: 40–41].

Итак, «...присутствие в языке формы несомненно не только там, где посредством тире мы можем на письме выделить звуковой формальный элемент, но и там, где такого элемента вовсе нет». Наличие материально не выраженных (= нулевых) форм свидетельствует «о высоком формальном развитии языка» [Потебня 1977: 208].

Подчеркивая важность отличий, Потебня замечает далее, что *для опознания формы наличие противоположения («противня») важнее*

*материального различия.* «Когда говорю: “я кончил”, то совершенность этого глагола сказывается мне не непосредственно звуковым его составом, а тем, что в моем языке есть другая подобная форма “кончал”, имеющая значение несовершенное» [Потебня 1958: 45]. Более того, так как определение формы основывается на всей системе языка, то в отдельных случаях противопоставление одной формы другой может и отсутствовать, и тем не менее в речи она будет опознана правильно. Так, «случаи, в которых совершенность и несовершенность приурочены к двум различным звуковым формам, поддерживают в говорящем наклонность различать эти значения и там, где они не разлучены звуками. Следовательно, говоря “женю” в значении ли совершенном, или несовершенном, я нахожусь под влиянием рядов явлений, образцами коих могут служить кончаю и кончу» [Там же]. «Во время полного водворения этих категорий между ними распределялись все глаголы. <...> Случаи же омонимии глаголов совершенных и несовершенных должны быть понимаемы так, как и всякая омонимия. *Рожу*, каждый раз как употребляется, есть или глагол несовершенный с настоящим временем, или совершенный с будущим. В современном языке он ни тем, ни другим — безразличием того и другого — быть не может» [Потебня 1977: 116–117].

Материальное совпадение тех или иных единиц разных эпох не должно вводить в заблуждение. Необходимо еще и *функциональное* тождество, а оно возможно только *при наличии идентичного противоположения.* «Спрашивается: были ли и в древнем русском языке несовершенными те глаголы, которые несовершенны в современном? ...Отвечаю отрицательно. Чтоб быть несовершенными в современном значении, они должны были иметь при себе глаголы совершенные, но они их не имели» [Там же: 157].

Само *установление значения формы не может обойтись без опоры на противоположения.* Так, «хотя с личной точки, принимаемой за объективную, может казаться, что в “дураками свет стоит” глагол означает действие, столь же условленное предметом в творительном, как в “мною написано...”, но эта точка не грамматическая. В языке нет оборота, который бы служил противнем вышеприведенному (дураками...) в том самом смысле, в каком страдательный оборот “письмо написано мною” имеет себе пару в действительном “я написал письмо”. Без такого противоположения не мыслима ни действительность, ни страдательность, а лишь медийность, требующая другого оттенка творительного» [Потебня 1958: 454].

Общий вывод Потебни по вопросам грамматической формы глагола: «...нет формы, присутствие и функция коей узнавались бы иначе, как по смыслу, т. е. *по связи с другими словами и формами в речи и языке*» [Потебня 1958: 45; выделено мною. — Л. 3.]. В идеале «*ответить на вопрос о значении данной формы или ее отсутствия для мысли было бы возможно лишь тогда, когда бы можно связать эту форму с остальными формами данного строя языка, связать таким образом, чтобы по одной форме можно было заключить о свойстве если не всех, то многих остальных*» [Там же: 62; выделено мною. — Л. 3.].

Такое понимание формы основывается у Потебни на представлении о *системности языка как связанного целого*. Согласно Потебне, «...язык — система, есть нечто упорядоченное, всякое явление его находится в связи с другими. Задача языкознания и состоит именно в уловлении этой связи, которая лишь в немногих случаях очевидна» [Потебня 1989: 209; выделено мною. — Л. 3.]. Именно потому, что язык является «стройною системою, в которой есть определенный порядок и определенные законы», мы, зная 500–1000 слов, имеем ключ к пониманию десятков, сотен тысяч незнакомых нам слов [Там же: 210]. Особую роль играет при этом формальность языка, т. е. «существование в нем общих разрядов, по которым распределяется частное содержание языка» [Потебня 1958: 61]. Благодаря ей даже ребенок, зная всего сотню слов, «может понимать, что никогда не слышал в жизни, потому что средства для выражения мысли — суффиксы — те же. Употребление суффиксов, падежных окончаний встречается поминутно» [Потебня 1981: 134].

И всё же, памятуя о постоянном развитии языка и его общественной природе, не следует преувеличивать стройность его системы. «Народ, пока жив, беспрестанно перестраивает язык, применяя его к изменчивым потребностям своей мысли. Быстрота течения жизни никогда не дает возможности остановиться на известном строе мысли и согласно с ним довести преобразование языка до конца. Если отдельное лицо никогда не достигает полного примирения несогласий между всеми своими мыслями, то *тем менее возможна в языке, создаваемом множеством особей, такая стройность, чтобы всякое отдельное явление было согласно со всеми остальными*» [Потебня 1977: 165; выделено мною. — Л. 3.].

Ввиду неисчерпаемости мира для познания в языке как постоянном посреднике между познанным и вновь познаваемым не иссякает преобразующая творческая энергия. И потому «...не может быть

найден пределов лексическому развитию языка», точно так же как «...нельзя назначить и черты, ограничивающей количество и качество возможных в формальном языке категорий» [Потебня 1958: 59].

**Г. ПАУЛЬ. Состояние языка. Системность.** Лингвистическая концепция младограмматического направления несет в себе черты переходного периода в развитии языкознания, когда эволюционный, исторический подход к языку сменялся структурным. Понимая язык как средство общения и признавая коммуникативную функцию языка ведущей, считая основным методом языкознания непосредственное наблюдение, младограмматики не могли обойти вопрос о состояниях языка. Во-первых, потому, что только в языковом состоянии (= в синхронии) язык представляет собой систему коммуникации, данную в непосредственном наблюдении. Во-вторых, потому, что для младограмматиков описание состояний является необходимым этапом собственно исторического исследования. Чтобы «выработать себе представление о совершившихся исторических процессах», надо сопоставить описания различных периодов развития языка [Пауль 1960: 53]. Поэтому еще до Ф. де Соссюра у младограмматиков наметился поворот к синхронии. Причем в отличие от диахронии синхрония рассматривается как система.

По Паулю, полное описание состояния языка должно включать «не только полный перечень... составных элементов, но также наглядное отображение внутренних взаимоотношений этих элементов, их относительной силы, образуемых ими многообразных сочетаний, степени близости и прочности таких сочетаний» [Там же: 50] в психических организмах носителей данного языка. Кроме того, следует учесть функции элементов. «Включение отдельных слов, форм слов и синтаксических сочетаний в ту или иную языковую группу всегда обусловлено их функцией» [Там же: 278]. «Сама по себе функция форм является показателем того, насколько тесно связаны они между собой. Например, связь форм настоящего времени между собой более тесная, чем связь этих форм с формами претерита; взаимосвязь форм одного и того же слова имеет более прочный характер, чем связь этих форм с формами слов, образованных от того же корня» [Там же: 247].

Таким образом, Пауль учитывает все составляющие системы: *элементы, отношения, функции*. Особое значение он придает *отношениям* между языковыми элементами. Эти отношения складываются на базе *ассоциаций* и *служат основой звуковых изменений и образований по аналогии* в истории языка. Хотя терминологически разные типы ассоциаций / отношений не разграничены, однако ясно, что в основе

звуковых изменений лежат обычно ассоциации по смежности (синтагматические отношения), а в аналогических образованиях наряду с ассоциациями по смежности действуют ассоциации по сходству (парадигматические отношения). Сходство, по Паулю, может касаться звуковой стороны, значения, формы, функции.

*Психический организм*, согласно Паулю, представляет собой *систему связанных ассоциативными отношениями элементов—представлений* [Пауль 1960: 48]. По существу, в психическом организме языка Паулем выделяются 3 типа ассоциаций, образующие

- 1) *ряды* следующих друг за другом элементов;
- 2) *знаковые структуры*, в которых звуковые ряды разной протяженности, как то — отдельные слова и целые предложения, служат символами заключенного в них мыслительного содержания;
- 3) *группы* элементов, объединенных по родству звуков и значения, по сходству функции или формы, в частности по сходству типа флексии.

В одну группу могут входить, например, различные формы одного и того же слова, одинаковые по функции формы различных слов, все слова с одинаковым типом флексии, предложения, сходные по форме или функции [Там же].

Различение *рядов* и *групп* указывает на различение Паулем ассоциаций *по следованию* представлений *друг за другом*, т. е. *по смежности*, и ассоциаций *по сходству*, обозначенных позднее как синтагматические и парадигматические отношения.

На примере групп, образуемых словами, Пауль, в сущности, раскрывает еще один чрезвычайно важный аспект структурной организации языка, а именно — ее *иерархический характер*. «...В нашей психике происходит взаимопротяжение отдельных слов, вследствие чего слова образуют в ней множество более или менее крупных групп. Это взаимное притяжение всегда основано на частичном совпадении звучания или значения отдельных слов, либо и звучания и значения одновременно» [Там же: 128]. Взаимное притяжение охватывает не только отдельные слова, но и группы слов. В результате в психическом организме одна крупная группа может включать несколько более мелких. Соответственно, имеют место близкие и отдаленные связи как внутри групп, так и между группами. Более крупные группы обладают не столь тесными внутренними связями.

Пауль различает два типа групп, образуемых словами: *вещественные* (например, различные падежи одного существительного, антонимы



и т. п.) и *формальные* (например, все именительные падежи, все имена действия и др.).

Однако «в группы объединяются не только отдельные слова, но также и аналогичные пропорции между различными словами» [Пауль 1960: 129]. Вследствие перекрещивания вещественных и формальных групп образуются *вещественно-формальные пропорциональные группы*, основанные на сходстве значения у вещественного элемента и/или совпадении формального элемента, например в немецком: Tag : Tages : Tage = Arm : Armes : Arme = Fisch : Fisches : Fische; gebe : gab = sage : sagte = kann : konnte; gut : besser = schön : schöner; Spruch : Sprüche = Tuch : Tücher = Buch : Büchlein; spricht : Karl = schreibt : Fritz и т. п.

Вряд ли найдется в каком-нибудь языке хоть одно слово, которое не входило бы ни в одну из групп. «Но в смысле большего или меньшего многообразия связей, в которые слово вступает, и в смысле ограниченности этих связей отдельные слова значительно отличаются друг от друга. Объединение в группу протекает с тем большей легкостью и становится тем более устойчивым, чем больше сходства в значении и в звуковой форме, с одной стороны, и чем прочней запечатлелись элементы, способные образовать группу, — с другой стороны». Последнее зависит от частоты единичных слов и количества возможных аналогичных пропорций [Там же: 131].

Вхождением слов в пропорциональные группы обуславливается, по Паулю, постоянно наблюдаемая в речи *комбинаторная деятельность*. Она затрагивает синтаксис, словообразование и еще более словоизменение и выражается в образовании по аналогии с известными группами форм, слов, словосочетаний и предложений таких, которые раньше мы никогда не произносили и не слышали. В этом, как считает Г. Пауль, и проявляется отмеченный еще В. Гумбольдтом творческий характер говорения.

Как видим, в лингвистике всё более упрочивается осознание творческого характера речевой деятельности во всех ее аспектах. А. А. Потебня развил идеи В. Гумбольдта о творческом характере восприятия и понимания речи и выявил творческое начало в создании и употреблении слова. Г. Пауль раскрыл творческий характер порождения речи.

Пауль замечает, что при постоянном употреблении *обычных* форм в процессе порождения речи постоянно взаимодействуют друг с другом, с одной стороны, *воспроизведение* по памяти ранее воспринятого, а с другой — творческое комбинирование (*производство*) на базе существующих пропорциональных групп [Там же: 132, 134, 246].



С учетом выделенных системообразующих факторов Пауль формулирует следующее «основное положение», в котором проступает *системный подход* к языку: «...Отдельное языковое явление можно исследовать только при постоянном учете всей совокупности языкового материала, ...только таким путем можно прийти к познанию причинной связи» [Пауль 1960: 313].

Необходимость учета всей совокупности языкового материала диктуется *особым характером языковой системности*, сложным соотношением языковых категорий с логическими и психологическими, в частности тем, что в соотношении языковых явлений между собой отсутствуют всеобщие логические принципы. «В этой области мы постоянно сталкиваемся со случайностью, с отсутствием преднамеренности» [Там же]. Отсюда наличие в языке элементов, которые в современной лингвистике получили название *асистемных*: «...многое из того, что употребляется в нашей речи, вообще стоит особняком, не подчиняясь ни одному сознательно выведенному правилу и не входя ни в одну бессознательно возникшую группу» [Там же: 134].

В отсутствие всеобщих логических принципов и ввиду взаимодействия языковых и психологических категорий Пауль придает важное значение таким факторам, как 1) «прочность связи внутри этимологических групп» в зависимости от *степени близости форм по значению и продуктивности способа их образования*, а также 2) «интенсивность, с которой отдельные формы запечатлены в памяти» [Там же: 247] в соответствии с *частотой их употребления*. Пауль учитывает, что «...отдельная личность относится к языковому материалу своего сообщества отчасти активно и отчасти пассивно, то есть не всё воспринимаемое и понимаемое употребляется ею самой. ...Из языкового материала, одинаково используемого многими индивидами, один предпочитает одно, другой — другое. Этим в первую голову определяются различия, существующие даже между самыми близкими индивидуальными языками, и возможность постепенных сдвигов в узусе» [Там же: 54–55].

Кроме того, следует иметь в виду, что *психические организмы*, а значит, и *состояния языка не статичны и, постоянно изменяясь, включают элемент динамики* (ср. с бодуэновским разграничением статики и динамики). В каждом новом акте говорения, слушания, мысли одни элементы получают подкрепление, другие — нет. «...Вследствие ослабления и усиления старых элементов, как и появления новых, в организме имеет место смещение отношений между ассоциациями»

[Пауль 1960: 49], что немало способствует изменению соотношения между языковыми и психологическими категориями.

Судя по перечисленным Паулем группам слов и словоформ, связывающие их ассоциации обычно совпадают с грамматическими категориями. Однако грамматические категории, как показывает Пауль, отличны от психологических. Психологическая категория первична и существует независимо от языка. Она свободна и изменчива, поскольку зависит от особенностей индивидуального восприятия. Грамматическая категория вторична. Она возникает на основе психологической категории как ее внешнее выражение языковыми средствами. Будучи застывшей формой психологической категории и отражением языкового узуса, грамматическая категория следует устойчивой традиции. Тем не менее первоначальная гармония между психологической и грамматической категориями со временем нарушается [Там же: 315]. Так, «...психологическое (логическое) соотношение составных частей предложения может прийти в противоречие с их чисто грамматическим соотношением» [Там же: 338]. И это противоречие тем вероятнее, чем сильнее развиты в языке формальные средства. Напротив, «в языках с менее развитыми формальными средствами противоречие между психологическим и грамматическим подлежащим или между психологическим и грамматическим сказуемым встречается гораздо реже. Ведь причиной этих противоречий как раз и является наличие развитых форм выражения различных логических отношений между понятиями» [Там же: 344].

Таким образом, можно заключить, что психологизм не помешал Паулю увидеть специфику языка. Различая категории трех видов — логические, психологические и языковые (грамматические), Пауль осознает, что *языковые категории не тождественны логическим и психологическим, хотя и взаимодействуют с ними*. И задача исследователя состоит в том, чтобы, разграничив разнородные категории, изучить их соотношение: «если, с одной стороны, необходимо проводить различие между логическими и грамматическими категориями, то, с другой — не менее необходимо выяснить их взаимные отношения» [Там же: 57].

**И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ** своим учением о системе языка подготовил современные представления о языковой системе как целостной совокупности взаимосвязанных единиц, об уровневой ее организации, о зависимости свойств языковых единиц от их места в системе, об иерархии единиц, о типах отношений между ними, о механизмах их выделения и функциях, о характере и пределах вариативности.

Подобно В. фон Гумбольдту, А. А. Потебне, Ф. де Соссюру, И. А. Бодуэн де Куртенэ исходит из представления о внутренней целостности, связности языка как некоей самостоятельной системы [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 63]. Однако Бодуэн не ограничивается этим и идет дальше, нежели его предшественники и современники, в анализе (разложении) языка, в выявлении языковых единиц и связывающих их отношений. Им введены понятия *фонемы* и ее составляющих (кинемы, акузмы, кинакемы); понятие *морфемы* как наименьшей, далее неделимой значащей морфологической единицы, являющейся составной частью слова и охватывающей корень и аффиксы; понятие *синтагмы* как простейшей неделимой единицы синтаксиса.

**Стороны языка.** Бодуэн различает в языке «две стороны, психическую и физиологическую, церебрацию и фонацию, иначе говоря: 1) язык в точном значении этого слова и 2) произношение». Ведущей стороной в этом единстве он считает церебрацию [Там же, I: 144]. Фонация возможна только на базе церебрации: «Звуки речи и сопровождающие их движения речевого аппарата могут существовать, т. е. повторяться, лишь постольку, поскольку они производят впечатление на нервные центры, на мозг, на душу, если они оставляют там следы в виде постоянных представлений». Соответственно церебрация, или язык (речь вообще), — это, по Бодуэну, внутренняя, центральная сторона языка, а фонация, или говорение, — сторона внешняя, периферическая [Там же, I: 212].

В свою очередь, во внутренней, психической стороне Бодуэн различает 1) «отражение внешнего и внутреннего мира в человеческой душе за пределами языковых форм», другими словами — «само психическое содержание, представления, связанные с языком и движущиеся в его формах, но имеющие независимое бытие», и 2) сами эти формы [Там же, I: 214].

В целом применительно к языку можно говорить о разграничении трех сторон: «1) его “внешней” стороны, чисто фонетической; 2) его внеязыковой стороны, стороны семантических представлений, стороны семасиологической; 3) его морфологической стороны, его структуры, являющейся основной характеризующей чертой человеческого языка. Семантические представления, заимствованные и из физического мира, и из мира социального, и из мира “внутреннего”, психического, лежат, собственно говоря, за границами языка. Функции организма, вызывающие фонационные (артикуляционные) движения и акустические впечатления, относятся к области внечеловеческой природы, к области физиологическо-физических явлений.

Одна только структура языка в наиболее широком значении этого слова (морфемы, т. е. далее не делимые морфологические единицы языка; единства, состоящие из морфем, или слова; единства, состоящие из слов, или грамматические предложения, и т. д.) представляет собой явление, свойственное исключительно языку и нигде вне языка не встречаемое» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 163]. Таким образом, пытаясь отделить собственно языковое от внеязыкового и внечеловеческого, Бодуэн выдвигает на первый план морфологию как некий общий принцип. «Только то можно считать независимо, самодовлеюще существующим, — утверждает он, — чему свойственна своеобразная морфология. Следовательно, и о языках, т. е. о разных видоизменениях языкового мышления, можно говорить постольку, поскольку мы можем подводить их под понятие того или другого морфологического типа. Человеческому языку свойственна своеобразная, строго языковая морфология, не повторяющаяся в других областях существующего» [Там же, II: 182].

По своей функции морфология как нечто «...собственно языковое — это способ, каким звуковая сторона связана с психическим содержанием» [Там же, I: 133]. Поэтому, разделяя языковое и внеязыковое, Бодуэн в то же время показывает, что «перечисленные три стороны языковой жизни (фонетическая, семасиологическая и морфологическая) тесно связаны и взаимодействуют друг с другом» [Там же, II: 163]. «Поскольку постоянное существование языка является исключительно психическим, следовательно, и составные части языка могут быть связаны только психически». Каждая сторона языка разлагается на психические элементы, т. е. далее не разложимые представления. «Эти представления ассоциируются друг с другом, группируются в некоторые постоянные и вместе с тем подвижные системы, взаимно вызывают и обуславливают друг друга и т. д.» [Там же, II: 164].

Механизмы разложения языкового целого и каждой из его сторон на элементы, их взаимодействие и связь Бодуэн раскрывает путем введения понятия двоякого членения (деления) человеческой речи.

**Двоякое членение речи. Делимость групп языковых представлений в церебрационном центре.** Идея двоякого членения, выдвинутая и разработанная И. А. Бодуэном де Куртенэ задолго до Л. Ельмслева и А. Мартинэ, может считаться детерминантой его концепции. Значимость данной идеи тем более велика, что, по определению В. фон Гумбольдта, «...членение есть самая сущность языка» [Гумбольдт 1985: 414]. В выделении и анализе языковых единиц и их

упорядочении относительно друг друга на основе двоякого членения человеческой речи в полной мере проявился системный подход Бодуэна к языку.

Проблема членения постоянно занимала Бодуэна, и в разные периоды своей научной деятельности он решал ее не вполне одинаково.

Первоначально при членении «текущего языка» Бодуэн брал за исходный пункт указанное противопоставление центра и периферии языка (или, иначе, церебрации и фонации, собственно языка и приношения / говорения), перекликающееся, но не совпадающее с различием языка и речи у Ф. де Соссюра. Так как «...непосредственная связь, параллельность этих двух сторон языка а priori не является необходимой, и действительность этого не подтверждает» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 182], то, «...во избежание смешения центрально-психических единиц с периферийно-фонетическими или антропофоническими, нужно принять двоякое деление, или членение, потока человеческой речи» [Там же, I: 184]. Первое его деление, а именно последовательное членение на произносимые фразы, слова, слоги, звуки, сначала трактовалось как антропофоническое, т. е. физическое, физиологическо-акустическое [Там же, I: 121, 183], опирающееся, в частности, на механизмы дыхания. Второе деление текущего языка, или текущей речи, на знаменательные предложения, слова, морфемы, как бы оно ни называлось: фонетически-морфологическим (семасиологическим и синтаксическим?) [Там же, I: 121], психическим делением на единицы, наделенные значением [Там же, I: 182–183], морфологическим [Там же, II: 77–78] или семасиологически-морфологическим [Там же, II: 256], — во всех вариантах опирается на значение и осуществляется психически. Это деление кончается на морфеме. «Если морфему можно делить дальше на ее составные части, то эти составные части должны быть с нею однородны, должны также иметь значение» [Там же, I: 182]. Такое деление морфем возможно, хотя и с оговорками: «по крайней мере в некоторых языках, и то только до некоторой степени и в определенных случаях» [Там же, I: 183]. В разных вариантах второго членения составные части морфемы именуются Бодуэном по-разному: фонемы (причем под фонемами понимаются подвижные компоненты морфем и признаки морфологических категорий) [Там же, I: 121], фонемы–коррелятивы [Там же, I: 182], фонемы как морфологические дроби [Там же, II: 78], психические (морфологически-семасиологические) составные части морфем [Там же, II: 256]. Нетрудно заметить, как от варианта к варианту Бодуэн стремится уже самим названием составных частей морфемы подчеркнуть их связь со значением.

Позднее оба членения — не только на знаменательные, но и на произносимые единицы — стали трактоваться как психические. Это обосновывалось тем, что произносительно-слуховой стороне свойственно «бесперывное течение физиологических работ и акустических впечатлений» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 214], «...отделение же единиц происходит в психике» [Там же, II: 215]. В то же время было показано, что фонетическое деление предложений, слов текущей речи, «всегда непременно представляемых мыслью» [Там же, II: 76], завершаемое в мире психическом, церебрационном фонемами, соотносительно с делением вплоть до звуков при ее осуществлении в фонации и аудиции, «во время исполнения» [Там же, II: 77, 253]. Фонема в психофонетическом членении — это психический эквивалент звука, обобщение его антропофонических свойств; это антропофоническое представление, возникающее путем психического слияния представлений от произношения одного и того же звука.

Кроме указанных делений текущего языка / речи существует также делимость групп языковых представлений, сохраняемых исключительно в психическом центре и не получающих произносительно-слухового осуществления.

*В основе перечисленных делений лежат разные типы ассоциаций.* Делимость текущего языка производится на базе ассоциаций *по смежности*, а «точнее — по непосредственной последовательности во времени» [Там же, II: 76], причем фонетическое членение строится как будто исключительно на данных ассоциациях (ср., однако, [Там же, II: 276, 327–328]), а при морфологическом членении в качестве вспомогательных используются также ассоциации *по сходству*. Они возникают благодаря употреблению одних и тех же элементов языка в разных сочетаниях. Например, распадение предложений на значащие слова, или на дальше не делимые с синтаксической точки зрения синтаксические единицы (*синтагмы*), основано на том, что с тем же приблизительно значением эти единицы входят в другие предложения. Точно так же разложение синтагм (слов) на неделимые сами по себе морфемы «достигается прежде всего путем сопоставления слов с другими словами, в которых те же части повторяются приблизительно с тем же значением» [Там же, II: 255]. В общем, именно «...возможность отделения от одних сочетаний и соединения с другими и является объективным средством установления морфологических элементов языкового мышления» [Там же, II: 224]. Наконец, делимость групп представлений, хранящихся в психическом центре, осуществляется *только* с помощью ассоциаций *по сходствам и различиям*. Сюда отно-

сится, в частности, «группировка синтаксических, морфологических, семасиологических и фонетических единиц языка по их характеристическим признакам, обуславливающим их более или менее тесное родство и сходство» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 79]. Например, «все фонемы, объединяемые известным общим им свойством, составляют в психическом центре особую группу и подвергаются сходным видоизменениям и перерождениям» [Там же, II: 259]. Таковы все носовые фонемы в отличие от неносовых, все звонкие в отличие от незвонких и т. д.

Указанные категории делимости: в текущей речи и в церебрационном центре — связаны друг с другом, так как семасиологически-морфологическое членение речи опирается на (парадигматическую) группировку единиц языка по их сходствам и различиям.

**Связь между фонетическим и семасиологически-морфологическим членением речи. Семасиологизация и морфологизация.** Противопоставив фонетическое членение речи семасиологически-морфологическому, Бодуэн показал также зависимость первого членения от второго. Он исходит из того, что «...всякое языковое целое лишь постольку действительно принадлежит языку, поскольку оно ассоциируется с представлениями, с одной стороны, из мира внеязыкового (физического, социального, лично-психического...), с другой же стороны, из мира морфологии языка, т. е. из мира расчленения языковых целых на структурные или строительные элементы» [Там же, II: 254].

Связь двух членений речи проявляется в семасиологизации и морфологизации средств и единиц фонетического членения, т. е. в ассоциации их с различием значений или форм. Так, *ударение* может оформлять слово (синтагму) либо как неделимую синтаксическую единицу (составную часть предложения), либо как морфологически сложную единицу (комплекс морфем). В первом случае ударение синтактизуется, т. е. морфологизуется и семасиологизуется лишь в составе предложения как совокупности синтагм. Выделяя постоянно какой-то один определенный слог слова, такое ударение служит средством разграничения слов в предложении. Во втором случае ударение морфологизуется и семасиологизуется в составе слова как совокупности морфем. Будучи морфологически подвижным, оно выделяет уже не слог, а морфему [Там же, II: 34, 142–143, 170, 318, 335, 348].

*Слогоделение*, точнее — его соотношение с морфемным членением, также может быть морфологизовано, если, «повторяясь в целом ряде слов (vo×d-a vo×d-i... / vod-n-i vut... gło×v-a gło×v-i... / głuw-n-i głuŋf...) (знак × разделяет слоги, а черточка — морфемы. — Прим. Бо-



дуэна.), постоянно ассоциируется с представлением определенных форм и становится по необходимости морфологической чертой» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 166].

*Вычленение фонем* осуществляется на основе их семасиологизации и морфологизации. Как указывает Бодуэн, «в отношении морфологического членения отдельные фонемы могут:

либо сливаться с синтагмой, т. е. со словом, как морфологическим элементом предложения, например польские *o, a, u, i<sub>m</sub>*;

либо составлять морфему в слове, например *a* в *vod-a, śan-a, bik-a, gad-a*; *u* в *stoł-u, ojc-u, pis-u-je...*; *o* в *śan-o, żon-o...*; *e* в *pol-e, stol-e, źeś-e...*; *i<sub>m</sub>* в *vod-i<sub>m</sub>, m'ez-i<sub>m</sub>, źić-i<sub>m</sub>, stoj-i<sub>m</sub>, vol-i<sub>m</sub>...*; *b* в *lić-b-a, śej-b-a...*; *n* в *trud-n-, lić-n-, da-n...*; *t* в *b'i-t-, dar-t-, bi-t...*;

либо входить в состав морфемы как ее главная, семасиологизованная и морфологизованная, часть, например польск. *o // a* в *mog- // mag-, noś-i- // naś-, vol-i- // val-...*» [Там же, II: 328].

Но фонема — понятие объективно сложное, ее мельчайшие элементы — кинемы (психические произносительные элементы) и акузмы (психические слуховые элементы). «Сочетание кинем и акузм в единое целое составляет фонему. Фонемы представляют собой не отдельные ноты, а аккорды, составленные из нескольких элементов» [Там же, II: 203]. (Ср. с современным определением фонемы как пучка дифференциальных признаков.)

Функциональный критерий учтен Бодуэном и при определении кинем и акузм. Об этом свидетельствует указание на их семасиологизацию и морфологизацию: «в произносительно-слуховом языке семасиологизуются и морфологизуются не цельные, неделимые фонемы, а только их более дробные произносительно-слуховые элементы (кинемы, акузмы, кинакемы) как их составные части» [Там же, II: 279]. «В языковом мышлении эти произносительно-слуховые... представления живут лишь постольку, поскольку они семасиологизованы и морфологизованы» [Там же, II: 327]. И наоборот, «все психофонетические... представления, поскольку существуют в языковом мышлении, семасиологизуются и морфологизуются» [Там же, II: 328]. При этом «морфологизуются лишь некоторые произносительно-слуховые различия, в разных языках разные» [Там же, II: 329]. Например, в русском морфологизованы твердость — мягкость согласных и ударяемость — неударяемость гласных [Там же, II: 264, 278]. Если морфологизация осуществляется избирательно, то семасиологизация «свойственна всем произносительно-слуховым работам и их акустическим продолжениям» [Там же, II: 218, а также 329]. Так,



в словах [там] и [дам] семасиологизовано различие работ голосовых связок гортани, в словах [баба] и [мама] — различие работ мягкого неба и т. п. [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 218, 279].

С понятиями морфологизации и семасиологизации связано у Бодуэна, далее, понятие *социализации*. Все психические ассоциации, ведущие к морфологизации и семасиологизации, являются, согласно Бодуэну, лишь «частными представлениями общего процесса социализации или обобществления. Ибо язык, как в целом, так и во всех своих частях, имеет только тогда цену, когда служит целям взаимного общения между людьми» [Там же, II: 280]. Социальная ценность и устойчивость фонем тем больше, чем сильнее морфологизованы и семасиологизованы входящие в их состав элементы [Там же, II: 198].

Помимо семасиологизации и морфологизации социальная ценность произносительно-слуховых элементов зависит, по Бодуэну, от системы в целом: «физиологически тождественные звуки разных языков имеют различное значение, сообразно со всею звуковой системой, сообразно с отношениями к другим звукам» [Там же, I: 90]. Как видно, И. А. Бодуэн де Куртенэ уже в 70-х гг. прошлого века разрабатывал понятие значимости (ценности) языковых единиц, введенное позднее Ф. де Соссюром, причем у Бодуэна оно намечается более глубоко, так как учитываются не только одноуровневые связи между произносительно-слуховыми элементами, но также их функциональные свойства, обусловленные межуровневыми связями, на что указывает введение понятий морфологизации и семасиологизации. Фонемы, которые на первый взгляд кажутся такими же, но различаются по степени морфологизации и семасиологизации входящих в их состав элементов, имеют разную социальную ценность и различаются по степени устойчивости в истории языка [Там же, II: 198]. Таким образом, в понятие ценности включается наряду со статическим динамический аспект, что также выгодно отличает учение И. А. Бодуэна де Куртенэ, требовавшего *рассматривать состояние языка в известный момент в связи с полным его развитием* [Там же, I: 70], от концепции Ф. де Соссюра, который настаивал прежде всего на *неисторическом аспекте языка* [Соссюр 1990: 92] ввиду совершенно абсолютной и не терпящей компромисса *противоположности синхронии и диахронии* [Соссюр 1977: 116].

Разложение фонемы на составные части Бодуэн связывает с ее функционированием в качестве «фонетического компонента морфо-

логической части слова». Иначе говоря, разложение фонемы производно от разложения морфемы.

Будучи простейшим элементом, дальше не делимым с морфологической точки зрения, морфема является двусторонней значащей единицей и определяется, «с одной стороны, своим произносительно-слуховым составом (т. е. составом из произносительно-слуховых представлений), с другой же стороны, ассоциацией как с представлениями внеязыковыми, семасиологическими, так и с представлениями морфологического характера» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 275]. Определив морфему как «комплекс звуковых представлений, объединяемый в одно целое ассоциацией с известною группою представлений из области или строя слов (представления морфологические), или их значения (представления лексические и семасиологические)» [Там же, II: 100–101; выделено мною. — Л. 3.], Бодуэн, тем не менее, допускает разложение морфемы на произносительно-слуховые элементы. Это разложение есть следствие фонетической альтернации морфем. Хотя «...альтернируют между собой целые морфемы и их соединения», «но фонетическая альтернация целых морфем распадается на альтернации отдельных фонем, как фонетических компонентов этих морфем» [Там же, I: 273], а альтернирующие фонемы в свою очередь распадутся на отдельные произносительные и слуховые элементы в соответствии с закрепленной за ними функцией. Так, на основании анализа чередующихся модификаций морфемы *vod-/vodž-*, *vut-/vud-* в словах *woda*, *wodzie*, *wódka*, *wódeczka* и т. д. Бодуэн заключает, что огубленность гласных (сближение губ) семасиологизована, а степень этого сближения морфологизована. В конечном согласном корня переднеязычность и смычность семасиологизуются, а различие типов смычных (взрывной — аффриката) морфологизуются [Там же, II: 165–166].

Поскольку морфологизуются лишь отдельные фонетические представления, Бодуэн не исключает морфемного шва «внутри» фонемы. Например, в формах *woda*, *wode* «...придется, может быть, считать основною ту часть слова, которая оканчивается, правда, согласною фонемою [d], но не полною, а еще без представления определенной работы средней части языка, стало быть, ни “твердою”, ни “мягкою”. В таком случае представление той или другой работы средней части языка отойдет к окончанию и составит вместе с гласною фонемою окончания одну неделимую морфему» [Там же, II: 231]. В результате морфологически и семасиологически неделимые морфемы разлага-

ются «на части, т. е. на фонемы, кинемы, акузмы, кинакемы, морфологизованные и семантизованные» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 310].

Что же касается фонем, то их разложение на составные части может быть связано с фонетической альтернативой не только морфем, но и слов. Так, в случае внешнего сандхи наблюдается ассоциация фонетических представлений с синтаксическими, т. е. с представлениями структуры предложения как совокупности синтагм [Там же, II: 171–172, 184].

Разложение фонем, не участвующих в альтернативах, опирается на семасиологическое различие слов. Например, семасиологическое различие слов *сад/зад, там/дам, кора/гора, суд/зуд, пал/бал* указывает на семасиологизацию различия между отсутствием звонкости и звонкостью [Там же, II: 279].

Таким образом, по Бодуэну, в разложении фонем на составные части «задействованы» все значащие единицы языка, начиная с морфемы и кончая предложением, и это лишний раз обнаруживает связь фонетических представлений с морфологическими и семасиологическими, а значит, и целостность языковой системы в представлении ученого.





**Иерархия языковых единиц и их многомерность.** Через двоякое членение «текущего языка» Бодуэн показал не только механизмы действия тех отношений между языковыми единицами, которые стоят за ассоциациями по сходству и по смежности (в современной терминологии, это парадигматические и синтагматические отношения). Он выявил также иерархию единиц первого и второго деления и тем самым описал иерархические отношения, связывающие друг с другом единицы различных уровней.

Вследствие постепенной делимости языкового целого в текущей речи, во время «мышления вообще» последнему сопутствуют особые ряды языкового мышления. В результате мыслимая фраза предстает в виде параллельных рядов представлений, друг с другом ассоциируемых [Там же, II: 249], — то как ряд фонем, то как ряд морфем, то как ряд синтагм [Там же, II: 270]. «Тут предшествующие представления сменяются следующими: первые “переходят” во вторые. Это относится как к произносительно-слуховым, так и к морфологическим представлениям: фонема предшествующая “переходит” в следующую; морфема предшествующая “переходит” в следующую; синтагма предшествующая “переходит” в следующую» [Там же, II: 269]. Члены каждого из этих рядов представляют собой неделимые единицы. Но благодаря иерархическим отношениям, связывающим

различные языковые элементы, в процессе постепенной делимости речи, т. е. в результате анализа, неделимые — в пределах каждого данного ряда — единицы распадаются на более мелкие и предстают как совокупности последних. При операции синтеза неделимые единицы, сохраняя целостность, выступают как составные части более крупных единиц. По заключению Бодуэна, «в соответствии с характером морфологизующей и семасиологизующей ассоциации различные психические единицы коллективно-индивидуального языка могут выступать как неделимые единства или как совокупности, составленные из отдельных частей. Таким образом, мы постепенно получаем: синтагмы как составные части предложения, морфемы как составные части синтагм, фонемы как составные части морфем. <...> Мы разлагаем фонемы на психические — произносительные и слуховые — элементы, которые уже не подлежат дальнейшему разложению» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 198–199]. (Под последними имеются в виду кинемы и акузмы.)

Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что каждый элемент имеет три ипостаси, которые характеризуют его в отношении 1) к единицам того же рода, 2) к единицам низшего порядка, 3) к единицам высшего порядка. В первом случае он являет собой неделимую целостность, во втором — совокупность составных частей, в третьем сам оказывается составной частью.

Выявленная многомерность языковых единиц отражена в предлагаемой мною схеме:

предложение		составная часть текущей речи неделимое целое в ряду предложений совокупность синтагм (слов)
синтагма (слово)		составная часть предложения неделимое целое в ряду синтагм совокупность морфем
морфема		составная часть синтагмы (слова) неделимое целое в ряду морфем совокупность семантизованных и морфологизованных фонем
фонема		составная часть морфемы неделимое целое в ряду фонем совокупность кинем и акузм

Особое значение придает Бодуэн функционированию неделимой единицы в качестве составной части единицы более высокого ранга. Осуществляя таким образом функциональный подход к единицам языка, Бодуэн показывает, что только на этой основе — через посредство «вышестоящих» элементов — становится возможным разложение неделимых единиц.

Указанное понимание неоднородности языковых единиц, базирующееся на иерархических связях между ними, Бодуэн распространяет на все единицы языка, включая фонему, и придерживается этой точки зрения как будто в течение всей своей жизни. Вопреки утвердившемуся мнению, разные определения фонемы не противоречат у Бодуэна друг другу, а дополняют одно другое, характеризуя фонему в фокусе двоякого членения языковой системы во всей ее сложности. Не случайно в своем фонологическом манифесте «Некоторые отделы “сравнительной грамматики” славянских языков» (1881) Бодуэн дает *одновременно* два определения. С одной стороны, фонема — «просто обобщение антропофонических свойств», с другой — это «подвижной компонент морфемы и признак известной морфологической категории» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 122]. Последнее определение основывается, во-первых, на тождестве происхождения фонетических единиц и, во-вторых, на тождестве (гомогенности) морфем [Там же, I: 118]. При этом тождество может устанавливаться как внутри одного языка, так и в нескольких родственных. Определяемая в качестве «фонетического компонента морфологической части слова» [Там же, I: 125], «с антропофонической точки зрения ф о н е м а может равняться: 1) цельному, неделимому звуку...; 2) неполному звуку...; 3) цельному звуку + свойство другого...; 4) двум или более звукам...» [Там же, I: 121–122].

Позднейшие уточнения обоих определений не меняют сути дела. Определяя фонему в ее отношении к фонемам как «психический эквивалент звука» [Там же, I: 351], как «однородное, неделимое в языковом отношении антропофоническое представление, возникающее в душе путем психического слияния впечатлений, получаемых от произношения одного и того же звука» [Там же, I: 355], Бодуэн вовсе не отказывается от определения фонемы как компонента и составной части морфемы. Так, в «Опыте теории фонетических альтернатив» (1894) эти определения рассматриваются как взаимно дополняющие друг друга: «...Та или иная фонема, рассматриваемая независимо от наделенных значением морфем, образует нечто единое только как фонетическое представление, только как образ памяти, тогда как психическое

единство фонемы, рассматриваемой как компонент морфемы, подчеркивается также этимологической связью морфем» [Бодуэн де Куртэнэ 1963, I: 295]. При этом Бодуэн обращает внимание также на то, что «...каждая фонема (звук) подвергается разнообразным влияниям в зависимости от того, рассматривается ли она как простой звук или как фонетическая составная часть морфологической единицы» [Там же, I: 323]. Более того, будучи фонетическим компонентом морфологической части *слова*, фонема опосредованно — через морфему — связана и со словом, причем многомерность слова отражается и на фонеме. В соответствии со своим положением в иерархии языковых единиц «...понимаемые слова, всё равно, как части ли предложения, или же совершенно независимо от предложения, с одной стороны, являются тоже непрерывным рядом представляемого произносимым и слышимым, с другой же стороны, они состоят из морфологически и семасиологически неделимых единиц, которые мы называем морфемами» [Там же, II: 249]. В результате «...уже сам факт, что фонема входит в состав слов, которые обнаруживают то антропофонические различия, различия фонетической связи или фонетического строения (например, различие в отношении к акцентуации слов), то психические различия (семасиологические или морфологические), создает разницу между внешне одинаковыми фонемами, которая со временем может стать заметной» [Там же, I: 322–323].

Сформулировав в 1881 г. морфемный критерий определения фонемы, в соответствии с которым «...морфологические сопоставления составляют исходную точку для сопоставлений фонетических» [Там же, I: 118], Бодуэн остается ему верен и в дальнейшем. Это явствует, в частности, из того, как он идентифицирует фонемы в «слабых» позициях. Например, согласно определению 1899 г., «в слове *póg* — та же самая фонема *g*, что и в словах *poга*, *poга*, *poгамі*, и разница между ними — это разница произносящихся звуков, разница не психическая, а физиологическая, зависящая от условий произношения: одной фонеме *g* соответствуют здесь два звука, *g* и ослабленный *k*» [Там же, I: 351]. Строго функциональный подход к фонеме и ее составляющим отличает и позднего Бодуэна. «С точки зрения языкового мышления..., — заявляет он во «Введении в языковедение» (1917), — фонемы и вообще все произносительно-слуховые элементы не имеют сами по себе никакого значения. Они становятся языковыми ценностями и могут быть рассматриваемы лингвистически только тогда, когда входят в состав всесторонне живых языковых элементов, каковыми

являются морфемы, ассоциируемые как с семасиологическими, так и с морфологическими представлениями» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 276], т. е. благодаря связи со значением и формой.

Принятая позднее в разных фонологических школах односторонняя ориентация на одно из бодуэновских определений фонемы вступает в явное противоречие с самим духом его учения о *двоём* членении «текущего языка» и целостности языковой системы, обуславливающей многосторонность, неоднородность языковых единиц.

**Вариативность языка и языковых единиц. Единицы языка и их манифестации.** Проблема вариативности языка и языковых единиц, выдвинувшаяся на передний план сравнительно недавно, занимает важное место в концепции Бодуэна. По Бодуэну, вариативность языка есть отражение антиномии индивидуального и коллективного, с одной стороны, и необходимое следствие смешения языков как «в порядке географическом и территориальном», так и «в порядке хронологическом» — с другой.

Поскольку язык «создавался и непрерывно создается у каждого говорящего индивида путем смешения и скрещивания множества различных автоматизированных представлений и навыков», то «...жизни языка — как в головах отдельных людей, так и в языковом общении — свойственны постоянные колебания, качественная вариативность и количественная растяжимость. <...> Разумеется, колебания и изменчивость проявляются отчетливее при сравнении различных индивидуальных языков» [Там же, II: 200]. Прежде всего Бодуэн отмечает вариативность индивидуального языка в функционально-стилистическом отношении. «...Каждый человек может владеть несколькими индивидуальными “языками”, отличающимися друг от друга как в сфере произносительной, так и в слуховой: повседневным языком, языком официальным, языком церковных проповедей, языком университетских кафедр и т. д. (в зависимости от общественного положения данного индивидуума). Все люди пользуются различными языками в различные моменты своей жизни; это зависит от различных душевных состояний, от различного времени дня и года, от различных возрастных эпох жизни человека, от воспоминаний о прежнем индивидуальном языке и от новых языковых приобретений» [Там же, II: 199–200]. Следовательно, заключает Бодуэн, индивидуальный язык — такое же видовое понятие, как и коллективный язык [Там же, I: 77].

Помимо вариативности индивидуальных языков существуют также «колебания в процессах, сопутствующих языковому общению, т. е. в психофизических особенностях человеческого организма



и в физическом мире». И наконец, «... вследствие постоянно меняющегося состава общества, наделенного речевой способностью», происходят «постоянные колебания фикции, называемой средним этническим или национальным языком» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 201].

«Всякое племенное языковое целое разнообразится, — пишет Бодуэн, — в различных направлениях. ...Здесь имеет место распадение по вертикальным и горизонтальным наслоениям. С одной стороны, с чисто племенной, территориально-этнографической точки зрения, получается деление на говоры в строгом смысле этого слова, на говоры, отличающиеся между собою прежде всего произношением, т. е. фонетическими особенностями. С другой стороны, в языковом разнообразии отражаются различия специальностей, сословий, уровней образования и т. п.; подобного рода разнообразие сказывается и в употреблении слов с своеобразным значением и в своеобразном языковом мировоззрении» [Там же, II: 161].

Понимание социальной природы языка заставляет Бодуэна обратить особое внимание на функциональный и социальный аспект его варьирования. «Один и тот же племенной или национальный язык может играть роль языка государственного, административного, церковного, школьного, книжного, ученого и т. д. Различаются язык простонародный от языка “облагороженного”, возвышенного, язык народный от языка “образованного класса”, от языка “интеллигенции”, язык устный от языка письменного, литературного и т. д. На почве одного и того же племенного языка вырастают языки известных ремесел, званий (например, язык актеров) и общественных классов, язык мужчин и женщин, язык различных возрастов, язык различных переходных положений (например, язык солдатский, язык каторжников и заключенных и т. п.). Существуют, далее, языки тайные и полутайные, так называемые “жаргоны”: язык студентов, язык гимназистов, язык странствующих торговцев..., язык уличных мальчишек, язык проституток, язык хулиганов, язык мошенников, воров и всякого рода преступников и т. п.» [Там же, II: 74]. «Особый класс в языковом мире составляют всевозможные языки, обусловленные языковыми и уклонениями (ненормальностями) или недостатками самого разнообразного характера» [Там же, II: 75].

*Проявления вариативности в системе языка*, по наблюдениям Бодуэна, многообразны. Они обнаруживаются: 1) в шаткости и неустойчивости деления слов на морфемы ввиду неодинаковой ясности последних, 2) в различной степени семасиологизации и морфологизации производительно-слуховых элементов, 3) в альтернативах морфем и фонем.



*Вариативность морфемного членения* Бодуэн объясняет существованием «разных степеней выразительности морфологических узлов слова». «Не во всех индивидуальных головах участников данного языкового коллектива морфологическая делимость слов представляется одинаково ясною и определленною. Границы между отдельными морфемами бывают и более ясны и более туманны. Некоторые морфемы так ясны, так выпуклы, так резко отделяются от других, что при их определении никто не ошибется. Зато при определении других морфем замечаются значительные индивидуальные различия. Мало того, даже у одного и того же лица, в зависимости от интенсивности языкового мышления в данную минуту, проявляется в разное время различная делимость одних и тех же, по-видимому, слов» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 232].

Неопределенность и ослабление морфологической делимости Бодуэн связывает с многовидностью морфем, с отсутствием параллелизма между формой и функцией [Там же, II: 234], а также с влиянием степени образованности людей, знания ими других языков и т. п. Последнее подтверждается различной делимостью слов иноязычного происхождения у людей образованных и необразованных [Там же, II: 233].

Колебания в морфологической делимости сопровождаются *различиями в степени морфологизации и семасиологизации фонем*. Поскольку к осознанию морфологизованных и семантизованных альтернативных отношений между фонемами каждый индивид приходит постепенно, по мере накопления и закрепления соответствующих ассоциаций [Там же, I: 307], то «...различные индивиды характеризуются разной степенью интенсивности морфологизации и семасиологизации произносительных и слуховых элементов, которая на первый взгляд кажется у них одинаковой» [Там же, II: 200].

Так как морфологизация фонетических представлений, в свою очередь, непосредственно связана с чередованиями фонем в составе альтернирующих морфем, все перечисленные проявления вариативности в конечном счете упираются в *фонетическую альтернацию морфем*. Поэтому данные альтернации оказываются в центре внимания Бодуэна в его поисках закономерностей одновременного языкового состояния. Убежденный в крайней неуместности «измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени» [Там же, I: 68], Бодуэн настаивает на различении звуковых законов, фонетических изменений, с одной стороны, и фактов совместности, сосуществования

фонетически различных, но этимологически родственных звуков языка в данном его состоянии — с другой [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 268, 271]. Подробно рассмотрев типы фонетических альтернатив, причины их возникновения и стадии развития, генетические связи и историческую последовательность, Бодуэн наглядно показал хронологическую многослойность статики, ее динамичность. Однако значение созданной им теории альтернатив гораздо шире. По существу, в ней *Бодуэн заложил основы трех лингвистических дисциплин: фонологии, морфонологии, морфематики.*

Под *альтернативой* Бодуэн понимает сосуществование разновидностей в одном и том же языковом мышлении [Там же, II: 274]. Тем самым задолго до структуралистов он различает наряду с *инвариантными* (в современном представлении) *единицами* языка их *манифестации* (вариации, варианты, модификации, виды, разновидности, видоизменения, разветвления, расщепления).

Указав на существование семасиологической, или смысловой, альтернативы морфем и целых слов [Там же, I: 273], Бодуэн сосредоточивается на анализе фонетических различий морфологически родственных морфем. Он выделяет *два главных вида альтернатив*, определенно соотносящихся с двояким членением речи и отражающих многомерность языковых единиц:

«1) Одни альтернативы объясняются настоящим данного племенного языка, точнее: объясняются тем, что по необходимости происходит в каждом носителе данного языкового мышления. Источником подобных альтернатив является несовпадение фонационного (производительного) намерения с исполнением...

2) Другие альтернативы объясняются только исторически, как разветвления первоначально единого на два или более видоизменений, совершившиеся с течением времени, при передаче языкового мышления от лингвистических предков к лингвистическим потомкам...

Исходною точкой или базисом первого рода альтернатив следует считать однородную фонему, исполнение которой приспособляется к условиям сочетания фонем, к условиям фонетического построения слова и к условиям произношения вообще. Исходною же точкою или базисом альтернатив второго рода следует считать не единую, однородную фонему, а морфему», являющуюся двусторонней единицей [Там же, II: 274–275].

Между этими видами альтернатив нет жесткой границы. Живое ощущение «психической ценности (психической значимости) фонетических явлений..., зависящее от индивидуальных свойств всех

членов данного языкового сообщества, становится то слабее, то сильнее», так что «...мы должны принять целую шкалу сомнительных и переходных состояний, напоминающих гаснущую лампу, пламя которой то угасает, то опять становится видимым» [Бодуэн де Куртене 1963, I: 332]. Это относится, в частности, не только ко второму виду альтернатив, одни из которых (корреляции) связаны с морфологическими или семасиологическими различиями, другие (чисто традиционные альтернативы) такой связи не обнаруживают. Поскольку фонема функционирует как неделимое целое в ряду фонем и как составная часть морфемы одновременно, то и альтернативы первого вида, или дивергенции, неоднородны. Они подразделяются на чисто фонетические, антропофонические дивергенции самих фонем «независимо от их принадлежности к составу родственной морфемы» и фонетически-этимологические альтернативные дивергенции, т. е. нефонетические альтернативы «родственных» морфем и входящих в их состав фонем. Одни и те же дивергенты могут функционировать как безотносительно к морфемам, так и в составе последних. Таковы, например, дивергенты гласных  $o//o_p$ ,  $a//a_p$ ,  $e//e_p$ , обусловленные твердостью или мягкостью последующего согласного, в словах *закон*, *мат*, *мел* и *конь*, *мать*, *мель*, с одной стороны, и в формах *воза* / *возит*, *баба* / *бабе*, *этот* / *эти* — с другой [Там же, I: 296].

*Проблема различения единиц языка и их манифестаций разрабатывается Бодуэном прежде всего применительно к фонеме и звуку.* Это продиктовано также необходимостью разграничить внутреннюю и внешнюю стороны языка. Отсюда пристальное внимание к фонетическим альтернативам, в особенности к дивергенциям как универсально распространенному типу чередований, на базе которого развиваются другие типы внутриязыковых чередований. В самом деле, «...ни в одном языке, — замечает Бодуэн, — нет ни одного звука, который стоял бы в языке изолированно, не имея другого, альтернирующего с ним звука, так же как нет слова, к которому было бы неприменимо учение о звуковых альтернативах» [Там же, I: 271], ибо «...нет, пожалуй, ни в одном языке ни одной фонемы, которая всегда находилась бы в одних и тех же антропофонических условиях» [Там же, I: 322]. «...Ни один из периодов языковой жизни не знает абсолютного отсутствия альтернатив. <...> В каждом языковом состоянии происходят какие-нибудь антропофонические изменения, какие-нибудь аккомодации фонем к антропофоническим условиям, а затем результаты этих аккомодаций переходят от поколения к поколению путем традиции, передачи, пока, наконец, результаты произведенных

в прошлые периоды работ не будут устранены новыми изменениями» [Бодуэн де Куртэнэ 1963, I: 347].

Так же как исторически унаследованные морфологические альтернативы, «распадение одинаковых психически фонем на разновидности со стороны исполнения» [Там же, II: 271] может вызвать «несовпадения физической природы звуков с их значением в механизме языка, для чутья народа» [Там же, I: 82, 109]. Ориентируясь на значение звуков в механизме языка, Бодуэн считает недопустимым распространенное «неразличение психической или церебрационной и фонационной или исполнительской стороны по отношению к звукам языка» [Там же, II: 37], т. е. смешение фонем со звуками. Примером такого смешения является, на взгляд Бодуэна, идентификация русских гласных *ы* и *и* в качестве равноправных фонем, несмотря на то что со стороны психической «это гласные тождественные, фонационная разница которых определяется сочетанием с предшествующим согласным» [Там же, II: 36–37].

«Отождествляющую роль» в идентификации бесконечно изменчивых и разнообразных и к тому же преходящих звуков играют, по мысли Бодуэна, произносительно-слуховые представления. Иначе говоря, «психическим объединителем всех этих видоизменений» является *фонема* [Там же, II: 217]. Так как при этом подчеркивается, что данные представления «живут лишь постольку, поскольку они семасиологизованы и морфологизованы» [Там же, II: 327], то, очевидно, в конечном счете Бодуэн связывает фонемное отождествление с функциональным критерием. Это тем более вероятно, что и «постоянные отношения между рядами фонем» он также соотносит с морфологическими чередованиями [Там же, II: 168]. Уже в начале своего творчества ученый заметил, что «оттенки и различия антропофонические сопровождаются оттенками и различиями морфологическими» [Там же, I: 119] и что «параллели звуков, основывающиеся на отличительных физиологических свойствах», в частности различия твердых и мягких, глухих и звонких согласных, долгих и кратких, ударенных и неударенных гласных, «находятся в тесной связи со значением слов и их частей» [Там же, I: 80, 81].

Строго различая фонему и звук, Бодуэн при определении известных антропофонических свойств фонем допускает «самое широкое разнообразие в действительном их проявлении» [Там же, I: 122–123]. Фонемы — это фонетические типы, отвлеченности, результаты обобщения, очищенные «от положительно данных свойств действительно появления или существования» [Там же, I: 122]. (Нетрудно заметить

очевидные схождения между И. А. Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром в отношении к «положительно данным свойствам». Ср. [Соссюр 1977: 151–153].) Поэтому, предупреждает Бодуэн, «гоняться при фонемах за антропофонической точностью есть большой методологический промах» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 123].

Тем не менее при обобщении дивергентов в фонемы, равно как и при обобщении известных фонем «в фонемы более общие, в фонемы высшего порядка» [Там же], в процессе приведения «более частных проявлений дивергенции и корреляции к более общему знаменателю» Бодуэн не исключает вовсе субстанцию и учитывает близость к нему каждого из звеньев дивергенции или более частной корреляции «по присущим ему антропофоническим свойствам». В качестве основания принимается альтернант, менее осложненный антропофонически, логически и исторически переживший меньше изменений. Например, в чередованиях  $k // k'$  и  $k // \check{c}$  основным (первичным) членом альтернации является твердый  $k$ , производными (вторичными) —  $k'$  и  $\check{c}$  [Там же, I: 124; II: 168]. Так осознается неравноправность альтернантов и членов фонематических противопоставлений и устанавливается их иерархия, подготовившая позднее различие немаркированных и маркированных членов оппозиций.

При сопоставлении дивергентов с точки зрения «фонетического родства» (= сходства) Бодуэн обращает внимание на то обстоятельство, что «антропофоническое расщепление психически единой фонемы, независимо от того, свойственно ли оно чисто антропофоническим или альтернационным дивергентам, состоит а) либо в развитии действительно различных свойств в одном члене альтернирующей пары, точнее говоря — в субституции одних свойств вместо других..., б) либо только в ослаблении индивидуальности одного из членов альтернирующей пары» [Там же, I: 297]. А так как альтернация дивергентов идет параллельно альтернации фонетических условий, от которых зависят данные дивергенты [Там же, I: 299], то *иерархия дивергентов* по степени фонетической близости *пересекается* в представлении Бодуэна *с иерархией позиций*. Соответственно выделяются два типа позиций: 1) «положения, благоприятствующие проявлению всех индивидуальных свойств данной фонемы» [Там же, I: 297], когда «...физиологические условия, заключающиеся в деятельности участвующих в произнесении органов, позволяют полностью произвести предполагаемую мозговым центром группу фонационных работ» [Там же, I: 278], и 2) положения, каким-то образом препятствующие этому. «Так, например, положение  $t$  в  $ta$ ,  $sta$  благоприятствует проявлению

его индивидуальных свойств, тогда как в *af* это проявление затруднено» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 297].

Исходя из сказанного, Бодуэн различает «фонемы, исполняемые сообразно с произносительным намерением», и «фонемы, исполнение которых далеко не совпадает с этим произносительным намерением». Параллельно с разграничением благоприятных и неблагоприятных позиций вводится различие «фонем самостоятельных и максимально независимых (или же минимально зависимых)» и фонем зависимых, «причем эта увеличенная зависимость может быть двух или даже более степеней» [Там же, II: 262]. (Ср. с различением сильных и слабых позиций, сильных и слабых фонем представителями Московской фонологической школы.)

В качестве примера Бодуэн указывает на три уровня самостоятельности русских гласных фонем: высший — в ударном слоге, средний — в первом предударном слоге и в конечном открытом слоге, низший — в прочих безударных слогах [Там же, II: 263]. К фонемам высшего уровня Бодуэн относит те фонемы, «которые исполняются согласно с их постоянно существующим психически составом из дальше неразлагаемых произносительно-слуховых элементов» [Там же, II: 262]. Таковы ударные гласные. «Обезличивающее влияние ударения» приводит к сокращению числа различаемых фонем и частных представлений (= признаков) в безударном положении [Там же, II: 265–266].

**Ф. де СОССЮР**, противопоставив во внутренней лингвистике лингвистику языка и лингвистику речи, далее разделяет лингвистику языка еще на две дисциплины. Это разделение проистекает из того, что *язык существует во времени*. Вследствие действия фактора времени необходимо тщательно разграничивать *ось одновременности* и *ось последовательности*. Соответственно язык может изучаться и с точки зрения отношений знаков в системе на оси одновременноности, и с точки зрения отношений знаков во времени. Отсюда выделение *двух лингвистик*.

**Синхроническая и диахроническая лингвистика.** *Наука о состояниях языка, синхронии, называется статической, или синхронической, лингвистикой, наука о фазах эволюции, диахронии, — эволюционной, или диахронической, лингвистикой.*

Синхрония и диахрония подчиняются принципиально разным закономерностям. Их противоположность представляется Соссюру абсолютной и не терпящей компромисса [Соссюр 1977: 116]. В основе противопоставления лежит отношение синхронических и диахронических явлений к *системе* языка. «...Синхроническое явление

не имеет ничего общего с диахроническим: первое есть *отношение между одновременно существующими элементами*, второе — *замена во времени одного элемента другим, то есть событие*» [Соссюру 1977: 124; выделено мною. — Л. 3.]. Синхронический факт, по Соссюру, всегда апеллирует к двум (по крайней мере) сосуществующим членам отношения, диахронический факт затрагивает лишь один член отношения [Там же: 118].

В каждом данном состоянии «язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической взаимобусловленности» [Там же: 120], так что синхроническая лингвистика оперирует значимостями и отношениями [Там же: 133]. Причем состояние языка, в сущности, не является абсолютно статичным, оно динамично, так как «...язык всегда, хотя бы и минимально, всё же преобразуется» [Там же: 134]. Поэтому «состояние языка не есть математическая точка. Это более или менее продолжительный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих изменений остается ничтожно малой» [Там же: 133].

*Система сама по себе неизменна*, она никогда не изменяется непосредственно [Там же: 117]. «Изменения никогда не происходят во всей системе в целом» [Там же: 120], «...изменению подвержены только отдельные элементы, независимо от связи, которая соединяет их со всей совокупностью» [Там же: 117], и от тех конкретных синхронических последствий, которые могут из него проистекать, ибо нет никакой внутренней связи между исходным изменением в той или другой точке системы и возможными последствиями этого изменения для целого [Там же: 120]. В этом смысле «...диахронический факт является самодовлеющим событием» [Там же: 117] и, как полагает Соссюр, может изучаться только вне системы. В диахронической перспективе он видит «отнодь не язык, а только ряд видоизменяющих его событий» [Там же: 123]. «В диахронической перспективе мы имеем дело с явлениями, которые не имеют никакого отношения к системам, хотя и обуславливают их» [Там же: 118].

Такой характер диахронических изменений тесно связан с произвольным характером языка и его независимостью от воли говорящих. В диахронических изменениях отсутствует намерение изменить систему [Там же], «...всё происходит по чистой случайности» [Там же: 119], стихийно, бессознательно. Хотя «...всякое изменение сказывается в свою очередь на системе» [Там же: 120], «...диахронические события всегда в действительности носят случайный и частный характер» [Там же: 126], «...сдвиги в системе происходят в результате



событий, которые не только ей чужды, но сами изолированы и не образуют в своей совокупности системы» [Соссюр 1977: 127]. Диахронические факты, будучи навязанными языку, производят определенное действие и в этом смысле носят императивный характер, однако они не имеют характера общности [Там же: 125, 127].

Вследствие такого характера эволюции и всякое состояние имеет случайный характер. Хотя каждое данное состояние упорядочено и подчинено принципу регулярности [Там же: 125], синхронические факты «совершенно лишены какого-либо императивного характера» [Там же: 127], установившийся порядок не императивен, случаен и потому непрочен. Соотношение членов системы в каждом данном состоянии — «случайный и невольный результат эволюции» [Там же: 119], и оно не лучше служит для выражения тех или иных значений, чем прежде.

Всё это лишний раз выявляет произвольный характер языка. Отсутствие естественной связи между двумя сторонами языкового знака означает отсутствие в языке «внутренней значимости» [Там же: 151]. Относительный же характер значимостей не препятствует изменению отношений между элементами знака.

В результате сопоставления диахронических фактов с синхроническими Соссюр приходит к выводу, что «это различие по существу между сменяющимися элементами и элементами сосуществующими, между частными фактами и фактами, затрагивающими систему, препятствует изучению тех и других в рамках одной науки» [Там же: 120].

«Синхроническая лингвистика должна заниматься логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.

*Диахроническая лингвистика*, напротив, должна изучать отношения, связывающие элементы, следующие друг за другом во времени и не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием, то есть элементы, последовательно сменяющие друг друга и не образующие в своей совокупности системы» [Там же: 132].

Итак, факты, рассматриваемые в синхронии и диахронии, различаются по трем следующим признакам:

- *сосуществующие* — *не сосуществующие* во времени;
- *воспринимаемые* — *не воспринимаемые* одним и тем же коллективным сознанием;
- *образующие систему* — *не образующие системы* в своей совокупности.



Настаивая на различии синхронии и диахронии, синхронической и диахронической лингвистики, Соссюр указывал также на различия в методах синхронических и диахронических исследований и недопустимость их смешения [Соссюр 1977: 132].

*Метод синхронии* состоит в собирании языковых фактов от говорящих на данном языке, в изучении *языкового сознания* носителей языка. «...Чтобы убедиться, в какой мере то или другое языковое явление реально, необходимо и достаточно выяснить, в какой мере оно существует в сознании говорящих» [Там же: 123]. Свидетельствам говорящих Ф. де Соссюр придает большее значение, нежели анализу лингвиста: «...В конечном счете непререкаемое значение имеет только анализ говорящих, так как он непосредственно базируется на фактах языка» [Там же: 218]. (Ср. с аналогичными идеями И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы [Бодуэн де Куртенэ 1963; Щерба 1974].)

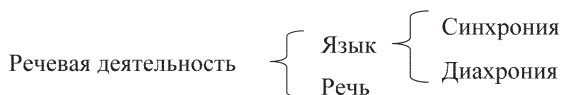
Диахроническая лингвистика оперирует двумя методами:

1) *проспективным*, опирающимся на памятники письменности, причем не обязательно одного языка, и 2) *ретроспективным* методом реконструкции, который опирается на сравнение путем индукции [Соссюр 1977: 123, 248–249].

Недопустимость смешения методов синхронии и диахронии Соссюр обосновывает тем, что «...для говорящего не существует последовательности этих фактов во времени: ему непосредственно дано только их состояние. Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией. Только отбросив прошлое, он может проникнуть в сознание говорящих» [Там же: 114–115].

В своей оценке роли синхронического и диахронического аспектов Соссюр исходит из их значения для носителей языка. Поскольку для говорящих подлинной и единственной реальностью является только синхрония (им непосредственно дано лишь состояние), синхронический аспект превалирует над диахроническим. Поэтому одностороннее изучение синхронии предпочтительнее односторонности исторического подхода, и, по мнению Соссюра, лингвистике от периода увлечения диахронией необходимо «вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики, но уже понятой в новом духе, обогащенной новыми приемами и обновленной историческим методом, который, таким образом, косвенно помогает лучше осознавать состояния языка» [Там же: 115–116].

В целом лингвистическая наука, а точнее — внутренняя лингвистика, должна принять, согласно Соссюру, следующую рациональную форму [Соссюр 1977: 131]:



Синхроническая лингвистика, изучающая отношения между существующими фактами в двух разных сферах, в свою очередь, разделяется на теорию ассоциаций и теорию синтагм [Там же: 169].

**Языковой знак в системе языка.** Язык, по Соссюру, — это система знаков, причем понятие системы и понятие знака соотносительны.

*Языковой знак является двусторонней психической сущностью и представляет собой ассоциативную связь понятия (означаемого) и акустического образа слова (означающего).* Но это определение верно лишь до некоторой степени [Там же: 150]. Знак как член языковой системы не является простым соединением некоего звучания с неким понятием [Там же: 146], поскольку «...язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии... двух аморфных масс» [Там же: 145] — мышления и звуковой субстанции. Ни в мышлении, ни в звуковой субстанции ничто четко не разграничено [Там же: 144]. Соответственно и «...язык — это не просто совокупность заранее разграниченных знаков...; в действительности язык представляет собой расплывчатую массу, в которой только внимательность и привычка могут помочь нам различить составляющие ее элементы» [Там же: 136].

Так как, во-первых, в языке нет ни заранее данных, предустановленных понятий, ни заранее разграниченных звуковых сегментов, а во-вторых, «...выбор определенного отрезка звучания для определенного понятия совершенно произволен» [Там же: 145], то означаемое и означающее знака определяются исключительно наличным состоянием входящих в систему элементов. Следовательно, и означаемое, и означающее — величины относительные. Они представляют собой *значимости* (= ценности), которые определяются своими отношениями к прочим членам системы, причем определяются *отрицательно*. Последнее существенно отличает язык, например, от политэкономии, где «...одной из своих сторон значимость связана с реальными вещами и с их

естественными отношениями» [Соссюр 1977: 113], ибо здесь понятие ценности (= значимости) предполагает: «1) наличие какой-либо *непохожей* вещи, которую можно *обменивать* на то, ценность чего подлежит определению; 2) наличие каких-то *сходных* вещей, которые можно *сравнивать* с тем, о ценности чего идет речь» [Там же: 148]. Связь ценности с вещами «дает ей естественную базу, а потому вытекающие из этого оценки никогда не являются вполне произвольными, они могут варьировать, но в ограниченных пределах» [Там же: 114].

Иначе в языке, где «...значимость каждого элемента зависит лишь от его противоположения всем прочим элементам» [Там же: 121]. Хотя как будто бы «...и слову может быть поставлено в соответствие нечто непохожее на него, например понятие, а с другой стороны, оно может быть сопоставлено с чем-то ему однородным, а именно с другими словами» [Там же: 148], однако слова не служат для выражения заранее данных понятий, ибо «предустановленных понятий нет» [Там же: 144]. «...Языковые символы не связаны с тем, что они должны обозначать» [Соссюр 1990: 101]), и словесный знак «сам по себе никакого присущего ему значения не имеет» [Соссюр 1977: 162]. Означающее понятие «является лишь значимостью, определяемой своими отношениями к другим значимостям того же порядка» [Там же: 150]. Точно так же и означающее «создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые отграничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов» [Там же: 151]. Так как «...нет звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен выразить» [Там же: 150], то в отличие от политэкономии, где варьирование ценности ограничено некоторыми пределами, в слове нет ничего, ограничивающего действие фонетических изменений. «Это свойство фонетических изменений обусловлено произвольностью знака, ничем не связанного со значением» [Там же: 184]. Важно лишь, чтобы данный знак отличался от других. Поэтому «*произвольность* и *дифференциальность* суть два коррелятивных свойства» [Там же: 150]. Оба компонента знака чисто дифференциальны [Там же: 154]. Как величины чисто дифференциальные и отрицательные означающее и означающее представляют собой целиком относительные чистые значимости.

**Язык как система. Единицы и отношения между ними.** Указанные свойства составляющих знака заставляют Соссюра внести уточнение в определение языка как знаковой системы: «...язык есть система чистых значимостей» [Там же: 113]. «В языке, как и во всякой

семиологической системе, — утверждает ученый, — то, что отличает один знак от других, и есть всё то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу». «...Отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей» [Соссюр 1977: 154] и обеспечивают ее тождество. Иначе говоря, «...понятие тождества сливается с понятием значимости и наоборот» [Там же: 143], а так как «...значимости целиком относительны» [Там же: 145–146], положительные свойства языковых единиц не играют роли в отождествлении последних. «Весь механизм языка зиждется исключительно на тождествах и различиях, причем эти последние являются лишь оборотной стороной первых» [Там же: 141]. «Весь механизм языка... покоится на... противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и смысловых различиях» [Там же: 153–154]. «Языковая система есть ряд различий в звуках, связанных с рядом различий в понятиях» [Там же: 153].

Чтобы выявить различия, необходимо исследовать *отношения между единицами языка*. По Соссюру, именно совокупность отношений составляет язык и обуславливает его функционирование [Там же: 160].

Таким образом, последовательно уточняемые Соссюром определения языка развертываются в следующем порядке: 1) язык — *система знаков*, 2) язык — *система значимостей*, 3) язык — *совокупность отношений*. Так постепенно понятие системы редуцируется до понятия *структуры* как совокупности отношений. Основой для такой редукции служит в конечном счете то, как понимает Соссюр отношения между языком и мышлением.

При установлении элементов языка и принципов их отождествления основополагающим для Соссюра является определение языка как *системы противопоставлений*, как совокупности отношений. С его точки зрения, конкретные единицы, выступающие в качестве членов системы, можно выделить только исходя из совокупной целостности [Там же: 146], ибо в языке «ничто не может существовать в одном члене» (цит. по: [Слюсарева 1975: 54–55, 72]). Каждый из членов системы, входя в противопоставления с другими ее членами, образуется целым рядом взаимодействующих противопоставлений внутри системы и является результатом совокупного ряда отношений [Соссюр 1977: 154].

Опираясь на учение представителя Казанской лингвистической школы Н. В. Крушевского об ассоциациях по смежности и ассоциации по сходству [Крушевский 1998], Ф. де Соссюр выделяет два основ-

ных типа отношений — *синтагматические* и *ассоциативные* (позднее получившие название *парадигматических* [Ельмслев 1960в]).

*Синтагматические отношения* — *отношения сочетаемости, комбинаторики языковых единиц одного ранга*. «Как правило, мы говорим не изолированными знаками, но сочетаниями знаков, организованными множествами, которые в свою очередь тоже являются знаками» [Соссюр 1977: 161]. Эти сочетания, эти составные, сложные единицы всякого рода и любой длины (сложные и производные слова, члены предложения, целые предложения) Соссюр назвал *синтагмами*. Синтагматические отношения даны *in praesentia* и основываются на протяженности. Они строятся на противопоставлении и взаимной связи элементов в составе синтагм как единиц высшего порядка. Синтагматические отношения включают *взаимоотношения между частями синтагмы*, с одной стороны, и *их отношения к синтагме в целом* — с другой. «Значимость целого определяется его частями, значимость частей — их местом в целом; вот почему синтагматическое отношение части к целому столь же важно, как и отношение между частями целого» [Там же: 160].

Так как в создании синтагм участвуют и коллективный обычай, и индивидуальная свобода, то в области синтагм нет резких границ между фактами языка и фактами речи. Критерием для отнесения синтагмы к языку или речи служит степень свободы комбинирования элементов. Синтагмы, являющиеся плодом импровизации и отличающиеся свободой комбинирования элементов, Соссюр относит к речи. В частности, речи принадлежит обычно такая типичная синтагма, как предложение. Напротив, все готовые, узואльно закрепленные речения, выражения, слова, в которых обычай воспрещает что-либо менять и которые передаются готовыми, по традиции, относятся к языку. «К языку, а не к речи надо отнести и все типы синтагм, которые построены по определенным правилам». Это могут быть и производные слова, образованные по определенному типу, «каковой в свою очередь возможен лишь в силу наличия в памяти достаточного количества подобных слов, принадлежащих языку». Это могут быть также предложения и словосочетания, если они составлены по определенному шаблону и «отвечают общим типам, которые в свою очередь принадлежат языку, сохраняясь в памяти говорящих» [Там же: 157]. «Наша память хранит все более или менее сложные *типы* синтагм, какого бы рода и какой бы протяженности они ни были» [Там же: 162; выделено мною. — Л. 3.]. Следовательно, *к языку относятся* не только *единицы*, но также *их типы и правила их построения*.

Если синтагматическое отношение опирается на протяженность двух или более единиц, «в равной степени наличных в актуальной последовательности» [Соссюр 1977: 156], то *ассоциативное отношение соединяет сходные той или иной чертой единицы* вне процесса речи, *in absentia*. Они локализуются в мозгу, в сознании, в памяти и принадлежат собственно языку. «Образуемые в нашем сознании ассоциативные группы не ограничиваются сближением членов отношения, имеющих нечто общее, — ум схватывает и характер связывающих их в каждом случае отношений и тем самым создает столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений». Это может быть «либо общность как по смыслу, так и по форме, либо только по форме, либо только по смыслу. Любое слово всегда может вызвать в памяти всё, что способно тем или иным способом с ним ассоциироваться. <...> Любой член группы можно рассматривать как своего рода центр созвездия, как точку, где сходятся другие, координируемые с ним члены группы, число которых безгранично» [Там же: 158]. Ограниченность ассоциативной группы определенным количеством членов, впрочем, возможна. Она характеризует, например, парадигмы словоизменения. Порядок следования членов ассоциативной группы, в том числе и в составе словоизменяющей парадигмы, Соссюру представляется неопределенным. Это отличает ассоциативную группу от синтагмы, в которой и число, и последовательность элементов определены.

*Синтагматические группы связаны взаимозависимостью с ассоциативными.* Синтагматические и ассоциативные отношения обуславливают друг друга. Синтагматические отношения способствуют созданию ассоциативных, а ассоциативные необходимы для выделения составных частей синтагм. Данная синтагма является таковой и может быть разложена на единицы низшего порядка только в том случае, если существуют другие синтагмы и ассоциативные ряды, включающие эти низшие единицы. В случае исчезновения таких форм бывшая синтагма становится простой единицей и ее части не противопоставляются друг другу.

Соссюр показывает функционирование этой двоякой системы в речи. Употребление той или иной формы, ее выделение, ее выбор определяются совместным действием синтагматических и ассоциативных противопоставлений и производятся из целой системы форм. Так, например, значимость и адекватное понимание формы *marchons!* ‘идем!’ обеспечиваются наличием целой скрытой системы противопоставлений данной синтагмы другим, ассоциирующимся с ней по одному из общих элементов: с одной стороны, *marche!* ‘иди!’, *marchez!*

‘идите!’, а с другой — *montons!* ‘взойдем!’, *mangeons!* ‘съедем!’ [Там же: 162–163].

Указанная система противопоставлений, взаимодействие синтагматических единств и ассоциативных групп служит основанием для *разложения* наличных в языке *элементов на составные части* и, значит, для разделения единиц на единицы низшего и высшего порядка (более мелкие и более крупные).

Ф. де Соссюр считал, что описание данного состояния языка (его грамматика в широком смысле слова) должно основываться на различении синтагматических и ассоциативных отношений. При этом следует отказаться от принятого разграничения морфологии, синтаксиса, лексикологии, во-первых, потому, что формы и функции образуют единство и нельзя разъединять изучение форм и функций языковых единиц, а во-вторых, потому, что отношения между языковыми единицами во многих случаях с равным успехом могут быть выражены как грамматически, так и лексически [Соссюр 1977: 167–169].

**Э. СЕПИР. Язык как форма.** В языке как форме мысли Э. Сепир — в соответствии с традиционным разграничением словаря, фонетики и грамматики — различает, подобно И. А. Бодуэну де Куртене, три составные части: значимую сторону — содержание (т. е. словарь), фонетическую систему (т. е. систему звуков, использующихся для построения слов), грамматическую форму (т. е. формальные процессы и логические или психологические классификации, используемые в речи). В составе грамматической формы выделяются два основных ее вида — морфология, или формальная структура слов, и синтаксис, или способы объединения слов в большие единицы и предложения [Сепир 1993: 271–272]. В целом названное трехчастное членение языка сводится к бинарному противопоставлению содержательной стороны (словаря) формальной, к которой Сепир относит фонетическую систему и грамматическую форму, или морфологию (в широком смысле) [Там же: 184].

Таким образом, язык, по Сепиру, «обнимает два пласта: скрытое в языке содержание — нашу интуитивную регистрацию опыта, и особое строение данного языка — специфическое “как” этой нашей регистрации опыта» [Там же: 196].

Лингвистика, как считает Сепир, — это прежде всего исследование формы [Там же: 250–251]. Под языковой формой он понимает *систему моделирующих средств* (*types of patterning*), которые могут и должны изучаться независимо от ассоциируемых с ними функций [Там же: 70], ибо «...форма и функция взаимонезависимы» [Там же:



69], на что указывает отсутствие взаимодозначного соответствия между ними.

Инстинктивное тяготение языка к форме Сепир усматривает и внутри фонетической системы. В ее составе он различает, с одной стороны, механическую, психологически незначимую чисто объективную систему звуков данного языка, а с другой — более ограниченную (но зато и более устойчивую) «внутреннюю» или «идеальную» систему звуковых функциональных отношений [Сепир 1993: 67, 298]. Эта последняя выступает «в качестве действующего психологического механизма». «В качестве модели, определяющей и число, и соотношение, и функционирование фонетических элементов, она может сохраняться на долгое время и после изменения своего фонетического содержания» [Там же: 67], каковым, судя по всему, оказывается объективная система звуков в артикуляторном или перцептивном универсуме речи [Там же: 298]. Схематически фонетическую систему в концепции Сепира можно представить так:

Фонетическая система	<b>Содержание</b>	– объективная система звуков в артикуляторном или перцептивном универсуме речи
	<b>Форма</b> (модель)	– идеальная внутренняя фонематическая система, целостная система звуковых функциональных отношений

Отсюда следует, что «...данную фонему недостаточно определить в артикуляционных и акустических терминах и она нуждается в отождествлении в качестве *члена целостной системы звуковых отношений*, присущих данному языку» [Там же: 298; выделено мною. — Л. 3.]. Иначе говоря, фонема — это функционально значимый элемент в идеальной звуковой системе, характеризующей язык [Там же].

Поскольку «...у каждого языка есть своя внутренняя фонетическая система, отвечающая определенному образцу (модели)» [Там же: 71], «...существенным свойством всех языков является не только их фонетичность, но также и их “фонематичность”» [Там же: 224]. Сложившаяся в данном языке модель, как показывает Сепир, включает фиксированное количество звуковых единиц (фонем) и задает их свойства таким образом, что в результате «у каждого языка имеется своя фонетическая структура, в рамках которой каждый конкретный звук... занимает определенное конфигурационно обусловленное место, соотнесенное с местами всех других звуков, которые различаются в данном языке. Иными словами, отдельно взятый звук никоим



образом не тождествен артикуляции или восприятию артикуляции. Он является, скорее, элементом структуры» [Сепир 1993: 604], членом целостной системы звуковых отношений [Там же: 298]. Эти идеи Э. Сепира вполне в духе учения Ф. де Соссюра.

Определенную предрасположенность к моделированию Сепир отмечает и в области грамматического формообразования [Там же: 71]. Более того, само понятие формы связывается в первую очередь с грамматикой: «грамматичность» и «формализованность» — для Сепира синонимы [Там же: 226]. Грамматика определяется им как «система формальных механизмов», которую образует «сфера формальных процедур» [Там же: 225]. Характеризуя «форму в языке», Сепир различает, с одной стороны, используемые языком *формальные средства*, его «грамматические процессы», *формальные модели*, а с другой — распределение значений в соответствии со способами их формального выражения, содержание, *функции формальных моделей*.

Сепир признает, что «...явление языка лишь в том случае свидетельствует о наличии определенного “процесса”, если ему присуща функциональная значимость» [Там же: 71]. Однако, показав на ряде примеров асимметрию между формой и функцией, когда внутри одного языка и в разных языках равно возможно как различное формальное выражение идентичной функции, так и использование одного и того же средства для выражения ряда различных функций, он делает вывод о *взаимной независимости формы и функции* и на этом основании допускает их автономное изучение [Там же: 70].

Склонность языка вообще и каждого языка в отдельности к определенным образцам в области грамматических процессов обнаруживается в двояких количественных ограничениях — универсального и индивидуального характера. Во-первых, все известные в языках мира грамматические средства (процессы) могут быть расклассифицированы лишь по шести главным типам: порядок слов, сложение, аффиксация, чередование гласных или согласных, редупликация, «акцентуационные различия» (ударение, тон). Во-вторых, в каждом данном языке эти типы используются весьма избирательно, в результате чего одни грамматические процессы развиваются за счет других [Там же: 70–71].

*Действие системы формальных механизмов распространяется, согласно Сепиру, и на концептуальное содержание* — мир образов и значений. Необходимость систематизации мира значений в языковой структуре для Сепира вполне очевидна уже потому, что «конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго

ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество значений по тем или иным основным концептуальным рубрикам» [Сепир 1993: 87]. В качестве таких рубрик выступают некоторые мыслительные (психологические и логические, чисто понятийные) категории, если они приобретают грамматическое значение и получают формальные средства для своего выражения [Там же: 278].

Задавшись вопросом, «каковы же те безусловно необходимые значения, которые должны находить выражение в речи, для того чтобы язык удовлетворительно выполнял свое назначение служить средством общения», Сепир, как до него картезианцы, исходит из структуры суждения. Но если авторы «Грамматики» и «Логики» Пор-Рояля при анализе значений опираются на слово и разделяют слова в зависимости от выполняемой в предложении–суждении функции на части речи, обозначающие объекты мыслей, с одной стороны, и форму мыслей — с другой, то Сепир в своем анализе значений не считает возможным ориентироваться ни на слово вообще, ни на «пресловутые “части речи”».

Различая функцию и форму, Сепир разграничивает *функциональные* и *формальные единицы речи*. «Корневой (или грамматический) элемент и предложение — таковы первичные функциональные единицы речи, первый — как абстрагированная минимальная единица, последнее — как эстетически достаточное воплощение единой мысли. Формальные же единицы речи, слова, могут совпадать то с одной, то с другой функциональной единицей; чаще всего они занимают промежуточное положение между двумя крайностями, воплощая одно или несколько основных корневых значений и одно или несколько вспомогательных» [Там же: 49]. Невозможность — ввиду указанных совпадений — определить слово с функциональной точки зрения приводит Сепира к заключению, что «слово есть только форма, есть нечто определенным образом оформленное, берущее то побольше, то поменьше из концептуального материала всей мысли в целом в зависимости от “духа” данного языка. Поэтому-то отдельные корневые и грамматические элементы, носители изолированных значений, сравнимы при переходе от одного языка к другому, а целостные слова — нет» [Там же]. В таком случае при построении типологии языковых значений следует опираться не на слова, обладающие психологической реальностью лишь для носителей данного языка, а на корневые и грамматические элементы языка (= морфемы) ввиду их логической реальности и на предложения, имеющие как строго логическое

или абстрактное, так и психологическое существование [Сепир 1993: 51]. Так, в сущности, подводится теоретическая база под известное игнорирование понятия слова в американской дескриптивной лингвистике.

Что касается частей речи, то Сепир отрицает существование единой универсальной системы частей речи, ибо «у каждого языка своя схема» [Там же: 116]. Единственное исключение составляет различие имени и глагола, необходимое для выражения фундаментального противоположения субъекта и предиката как основных компонентов предложения–суждения. Поэтому «какой бы неуловимый характер ни носило в отдельных случаях различие имени и глагола, нет такого языка, который вовсе бы пренебрегал этим различием» [Там же]. Однако нельзя игнорировать тот факт, что с другими частями речи дело обстоит совсем иначе. «Ни одна из них для жизни языка не является абсолютно необходимой» [Там же]. Отсюда такое тесное примыкание одной части речи к другой, вновь демонстрирующее асимметрию функции и формы, когда одну и ту же идею можно выразить с помощью разных частей речи. Так, «...мы можем оглаголить идею качества», «...мы можем представить себе качество или действие и в виде вещи», а идею пространственного отношения выразить не только предлогом, но и глаголом и именем [Там же: 115]. Поразительная превращаемость одной части речи в другую, позволяющая сравнить часть речи — вне налагаемых синтаксической формой ограничений — с «как бы блуждающим огоньком» [Там же: 116], убеждает Сепира в условности классификации слов по частям речи. Такая классификация лишь смутно отражает реальную действительность. Это прямое следствие того, что «...“часть речи” отражает не столько наш интуитивный анализ действительности, сколько нашу способность упорядочивать эту действительность в многообразные формальные шаблоны» [Там же]. Указанный недостаток частеречной классификации препятствует установлению безусловно необходимых языковых значений.

В отличие от Ф. де Соссюра, Э. Сепир не пытается отгородить язык от чувственного мира, ибо полагает, что «никакое человеческое суждение, как бы абстрактно оно ни было, немислимо вне связи в одной или нескольких точках с конкретным чувственным миром. Во всяком вразумительном суждении должно быть выражено по крайней мере два корневых понятия, хотя в исключительных случаях одно из них или даже оба могут подразумеваться из контекста» [Там же: 94]. Отсюда «ясно, что прежде всего мы должны иметь в своем распоряжении

богатый запас основных, корневых значений, конкретное содержание речи. Для того чтобы говорить о предметах, действиях, качествах, мы должны иметь соответствующие символы в виде самостоятельных слов или корневых элементов» [Сепир 1993: 94]. «И далее, должны быть выражены такие реляционные значения, которые прикрепляют конкретные значения одно к другому и придают суждению его законченную, типовую форму», указывая на характер отношений между конкретными значениями — «какое конкретное значение непосредственно или опосредованно связано с другим, с каким именно и как именно» [Там же: 94–95]. «Наиболее основным и наиболее могучим из всех связывающих принципов является принцип линейного порядка» [Там же: 109]. В любом языке порядок слов служит наиболее фундаментальным средством выражения синтаксических отношений [Там же: 114]. Это дает основание предположить, что «...всё реальное содержание речи, заключающееся в потоке произносимых гласных и согласных звуков, первоначально ограничено было сферой конкретного; отношения не выражались первоначально посредством внешних форм, но подразумевались и устанавливались при помощи линейного порядка и ритма» [Там же: 112].

Но и такой язык, не знающий употребления не-корневых, формальных элементов в чистом виде, если и может быть признан «бесформенным», то только в этом механическом, поверхностном смысле. Как ранее И. А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Сепир отказывается от бытовавшего когда-то несостоятельного противопоставления языков, имеющих форму, языкам, не имеющим формы, ибо «всякий язык может и должен выражать основные синтаксические отношения, даже если в его словаре и не представлено ни одного аффикса» [Там же: 120], так что «...всякий язык есть оформленный язык» [Там же] независимо от того, выражаются синтаксические отношения в чистом виде или они фузионно совмещаются с иными типами значений [Там же: 121].

Таким образом, к безусловно необходимым, базовым значениям Сепир относит, с одной стороны, *основные (конкретные) значения предмета, действия, качества*, не заключающие в себе никаких отношений, а с другой — *чисто-реляционные (чисто-абстрактные) значения*, которые «служат для взаимной связи конкретных элементов суждения, придавая ему тем самым законченную синтаксическую форму» [Там же: 101]. Эти два типа обязательных, универсальных значений образуют два полюса языкового выражения. «...Язык стремится к двум полюсам языкового выражения — к материальному и реляционному содержанию, и... между этими полюсами располагается длинный ряд

промежуточных значений» [Сепир 1993: 108], включающий еще два класса — *класс деривационных значений* и *класс конкретно-реляционных значений*. Значения указанных четырех классов образуют «скользящую шкалу» [Там же: 106] с постепенной утратой конкретности — «начиная с самых грубых материальностей (“дом” или “Джон Смит”) и кончая наиболее отвлеченными отношениями» [Там же: 102]. Внутри каждого из классов ощущение чувственной реальности также неодинаково [Там же: 103].

Выделение классов языковых значений позволило Сепиру существенно уточнить понятие общей формы языка. «...В основе каждого языка, — пишет он, — лежит как бы некоторая базисная схема (*basic plan*), ... у каждого языка есть свой особый покров. Этот тип, или базисная схема, или “гений” языковой структуры, есть нечто гораздо более фундаментальное, нечто гораздо глубже проникающее в язык, чем та или другая нами в нем обнаруживаемая черта» [Там же: 117].

В предложенной Сепиром типологии языковых структур наряду с техническими характеристиками внешней формы учтены содержательные характеристики внутренней формы. Сепир не видит особой надобности в установлении инвентаря частных грамматических значений и категорий, ибо они, хотя и существенны для «внутренней формы» языка, уступают по значимости тем более коренным различиям, которые обнаруживаются в выделенных четырех типах значений [Там же: 107–108]. В общей иерархии внешних (чисто технических) и внутренних (концептуальных) характеристик языковой формы ведущая роль отводится содержательной стороне (т. е. внутренней форме). В соответствии с этим *Сепир считает фундаментальным классификационным признаком языков не степень синтезирования (осложненности), не степень фузирования и технику выражения, как было принято в предшествующих типологических классификациях, а содержание выражаемого, природу выражаемых в языке значений.*

Ввиду универсальности двух полярных классов значений — основных (конкретных, корневых) и чисто-реляционных [Там же: 102] — типологические различия связаны с использованием промежуточных классов значений — деривационных и конкретно-реляционных (смешанно-реляционных). Концептуальная классификация языков определяется тем, используются ли при образовании конкретных идей еще и деривационные значения, а при выражении реляционных отношений конкретно-реляционные значения. Поскольку наиболее фундаментальным отличительным признаком общей формы языка является выражение отношений, постольку Сепир в своей клас-

сификации языков берет за основу противоположение между выражением синтаксических отношений в самой отвлеченной форме и их выражением в постоянном сочетании с более конкретными понятиями, когда, например, обозначение подлежащего невозможно без одновременного указания на число и род субъекта [Сепир 1993: 237]. В результате в качестве первичного разделения языков у Сепира выступает их разбиение на чисто-реляционные и конкретно-реляционные или, иначе, смешанно-реляционные.

Фундаментальность, базисность содержательного критерия вообще и данного противоположения языков в частности подкрепляется историческими данными. Формальный (языковой) характер выделенных типов значений и установленных на их основе концептуальных языковых типов доказывается чрезвычайной устойчивостью последних. Из трех перекрещивающихся классификационных признаков (типы значений, техника и степень синтезирования), согласно Сепиру, «...легче всего подвергается изменению степень синтезирования; изменчива, но в гораздо меньшей степени, и техника, а типы значений обнаруживают тенденцию удерживаться дольше всего». Во всяком случае, убедительные примеры перехода от чисто-реляционного к смешанно-реляционному типу и обратно, по данным Сепира, отсутствуют [Там же: 136]. Технический же строй языка малоустойчив. По-видимому, противопоставление чисто-реляционных и смешанно-реляционных языков — явление более глубокое и всеобъемлющее, нежели противопоставление изолирующих, агглютинативных и флективных языков [Там же: 137]. «...Противопоставление языков синтетических и аналитических или агглютинативных и “флективных” (фузионных) не представляет, в конце концов, ничего особенно фундаментального» [Там же].

Разная степень исторической устойчивости концептуального типа и технического строя языка объясняет отсутствие взаимоднозначного соответствия между ними. К одному и тому же концептуальному типу могут принадлежать языки разных морфологических типов (примеры см. там же).

За этим несоответствием стоит такое глубинное, фундаментальное свойство языка и языковых символов, как уже упоминавшееся несоответствие между функцией–значением и формой выражения. Оно наглядно показано Сепиром на примере одного простого английского предложения *The farmer kills the duckling* ‘Земледелец убивает утенка’, в котором на 5 слов приходится 13 различных значений [Там же: 90–91].

Асимметрия между функцией и формой проявляется весьма многообразно. Например, в английском языке «метод суффиксации используется как для деривационных, так и для реляционных элементов; самостоятельные слова или корневые элементы выражают как конкретные идеи (предметы, действия, качества), так и реляционные...; одно и то же реляционное значение может быть выражено более одного раза...; на один элемент может быть возложено выражение не одного какого-либо определенного значения, а целого ряда сопутствующих значений» [Сепир 1993: 91–92]. В иных языках, даже весьма близких, некоторые из зафиксированных в английском языке значений могут быть опущены, зато «...другие значения, не требующие выражения в английском языке, могут рассматриваться как совершенно необходимые для вразумительной передачи суждения» [Там же: 92], наконец, однотипные значения могут быть иначе выражены, иначе сгруппированы, иначе интерпретированы [Там же: 92–94].

Несоответствие между формальными и функциональными различиями, наличие незначущих, иррациональных форм, «формы ради формы», незначущих формальных различий Сепир объясняет тремя причинами.

Это, во-первых, большая устойчивость формы в процессе исторического развития сравнительно с концептуальным содержанием [Там же: 99].

Во-вторых, «это — тенденция к установлению классификационных схем, которым должны подчиняться все языковые значения», даже если соответствующие категории утратили жизненность [Там же].

В-третьих, «это — механическое действие фонетических процессов, приводящих сплошь и рядом к таким формальным различиям, которым не соответствует и никогда не соответствовало никакое функциональное различие» [Там же: 100].

Тем не менее Сепир колеблется в определении степени автономности звучания и значения, фонетики и грамматики по отношению друг к другу.

С одной стороны, замечает Сепир, хотя и в фонетике, и в грамматике имеется предрасположенность к моделированию, но «обе эти скрытые в языке и властно его направляющие к определенной форме тенденции действуют как таковые, безотносительно к потребности выражения тех или других значений и к задаче внешнего оформления тех или других групп значений» [Там же: 71].



С другой стороны, он склонен думать, что «...нынешняя наша тенденция рассматривать фонетику и грамматику как взаимно не соотносящиеся области языка представляется ошибочной. Гораздо вероятнее, что эти области и исторические линии их развития фундаментальным образом связаны друг с другом, но ухватить суть этих связей мы в полной мере пока не можем. В конце концов, раз звуки речи существуют лишь постольку, поскольку они являются символическими носителями существенных значений и пучков значений, почему бы мощному дрейфу в сфере значений, а также ее постоянным характеристикам не оказывать поощряющего или сдерживающего влияния на направление фонетического дрейфа? Я полагаю, — заключает ученый, — что такого рода влияния могут быть вскрыты и что они заслуживают гораздо более внимательного изучения, чем это делалось до сих пор» [Сепир 1993: 167; выделено мною. — Л. 3.].

В этой связи может быть далеко не случайным общий (я бы сказала — *категориальный*. — Л. 3.) характер фонетического дрейфа, выражающегося в движении не столько к определенному ряду звуков, сколько к определенным типам артикуляции [Там же: 165].

В фонетической и грамматической системе действуют единые принципы моделирования. «Отношение между фонетической системой и индивидуальным звуком в общем параллельно [отношению] между морфологическим типом языка и одной из его специфических морфологических черт» [Там же: 169]. Такой изоморфизм наводит Сепира на мысль, что фонетическая система и фундаментальный тип языка «связаны между собою каким-то особым образом, каким именно — мы в настоящее время не можем полностью уразуметь» [Там же: 169–170]<sup>4</sup>.

Мысль о единстве общей языковой формы находит свое развитие в идее *формальной завершенности* любого языка. Это «глубоко своеобразное свойство языка» раскрывается следующим образом.

«Каждый язык обладает четко определенной и единственной в своем роде фонетической системой, с помощью которой он и выполняет свою функцию; более того, все выражения языка, от самых привычных и стандартных до чисто потенциальных, укладываются

---

<sup>4</sup> Эта связь действительно существует, и она обнаруживается вполне отчетливо, если, следуя Э. Сепиру, основой классификации языков считать природу выражаемых в языке значений и прежде всего степень разграничения лексических и категориальных грамматических значений. Подробнее об этом см. в главе 10.



ся в искусный узор готовых форм, избежать которых невозможно. На основе этих форм в сознании носителей языка складывается определенное ощущение или понимание всех возможных смыслов, передаваемых посредством языковых выражений, и через эти смыслы — всего возможного содержания нашего опыта, в той мере, разумеется, в какой опыт вообще поддается выражению языковыми средствами. Если попытаться выразить это свойство формальной завершенности речи иными словами, то можно сказать, что язык устроен таким образом, что, какую бы мысль говорящий ни желал сообщить, какой бы оригинальной или причудливой ни была его идея или фантазия, язык вполне готов выполнить любую его задачу» [Сепир 1993: 251–252].

Разъясняя это положение, Сепир предостерегает от сведения возможностей языка, языковой формы к словарю, к лексическому запасу, от отождествления ощущения формы языкового выражения с передаваемым содержанием, от отождествления тем самым процессов, происходящих в разных областях психики — на уровне сознания и в подсознании, в области интуиции, которая, возможно, является не чем иным, как «предощущением» отношений [Там же: 255], а значит, и формы. Точное определение тех «обширных и самодостаточных сетей психических процессов», культурными хранилищами которых являются языки, — дело будущего. Однако, исходя из уже известных научных данных, Сепир склоняется в пользу той точки зрения, что «...процесс усвоения языка, в особенности приобретения ощущения формальной структуры языка, в значительной степени бессознателен и включает механизмы, которые по своей природе резко отличны и от чувственной, и от рациональной сферы», ибо основываются на интуиции. Поэтому нельзя исключать «врожденного внутреннего стремления индивида к совершенствованию формы и выразительности и к бессознательному структурированию групп взаимосвязанных элементов опыта» [Там же].

А если так, то «формальная завершенность не имеет ничего общего с богатством или бедностью словаря» [Там же: 252]. «Подлинный фундамент языка — развитие законченной фонетической системы, специфическое ассоциирование речевых элементов с значениями и сложный аппарат формального выражения всякого рода отношений, — всё это мы находим во вполне выработанном и систематизированном виде во всех известных нам языках» [Там же: 41].

Разработанное таким образом понятие общей формы языка, охватывающей и его содержательную сторону, в сочетании с по-

следовательным разграничением осознаваемых и бессознательных психических процессов дали возможность Сепиру развить свою концепцию языка как формы мысли, формы выражения опыта и культуры, обозначить общие контуры гипотезы лингвистической относительности.

**Э. БЕНВЕНИСТ. Единство прерывности и непрерывности, отношение части и целого в языке. Структура языка.** Членораздельность человеческого языка предполагает дискретность его элементов. Действительно, как показывает Э. Бенвенист, «язык во всех своих существенных пунктах имеет прерывный характер и оперирует дискретными единицами. Можно сказать, что язык характеризуется не столько тем, что он выражает, сколько тем, что он различает на всех уровнях» [Бенвенист 1974: 25]. Различение лексем позволяет установить инвентарь обозначаемых понятий, различение морфем создает инвентарь формальных классов и подклассов, различение фонем дает инвентарь фонологических различий, различение признаков («меризмов») ведет к организации фонем в классы [Там же].

Прерывность языка Бенвенист рассматривает в диалектическом единстве с непрерывностью. Отсюда пристальное внимание к отношению части и целого, их диалектике в языке.

Отдавая предпочтение европейской традиции структурального анализа, Бенвенист определяет язык как органическую систему знаков [Там же: 129], в структуре которой «...каждая часть... существует лишь благодаря целому, в свою очередь существующему лишь в совокупности своих составных частей» [Там же: 38]. Как и в других органичных саморазвивающихся системах [ФЭС 1989: 736], в системе языка «...ничто ничего не значит само по себе и по своему природному свойству», в ней «...всё имеет значение вследствие зависимости от целого» [Бенвенист 1974: 25]. Примат системы над ее элементами [Там же: 66] не позволяет сводить язык лишь к некоторой совокупности наблюдаемых «форм», к перечням фонем и морфем, выделенных путем сегментации речевой цепи, ибо «...трактовать язык как систему — значит анализировать его *структуру*», т. е. совокупность внутренних отношений между единицами, взаимно обуславливающими друг друга в составе целого [Там же: 64]. Анализ внутренних отношений не должен ограничиваться дистрибутивными — синтагматическими и парадигматическими — отношениями между единицами одного ранга. Если учитывать только эти отношения, то, с точки зрения Бенвениста, выделение языковых единиц в сущности оказывается невозможным.

«...Структура придает частям их “смысл”, или их функцию» [Бенвенист 1974: 25], и, что еще важнее, статус дискретных единиц прежде всего благодаря иерархической организации. Как система знаков и *иерархия единиц* [Там же: 24] «...естественный язык представляет собой результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях» [Там же: 42], и Бенвенист убежден, что «только понятие уровня поможет нам обнаружить за всей сложностью форм своеобразии строения частей и целого» [Там же: 129] и выделить сами эти части.

Нельзя не согласиться с Бенвенистом в том, что произведенное с помощью дистрибутивного метода «...разложение одной языковой единицы не приводит автоматически к установлению других единиц» [Там же: 136], ибо, «разлагая единицу данного уровня, мы получаем не единицы низшего уровня, а формальные сегменты той же единицы» [Там же: 134]. «...Единственная возможность определить эти элементы как конститутивные состоит в том, чтобы идентифицировать их внутри определенной единицы, где они выполняют *интегративную* функцию. Единица признается различительной для данного уровня, если она может быть идентифицирована как “составная часть” единицы высшего уровня, *интегрантом* которого она становится» [Там же: 135].

В итоге на основании анализа разных систем Бенвенист приходит к определению языковой *формы как структуры*. Это определение вбирает в себя понятия части и целого, уровня и функции и таким образом раскрывает иерархический принцип структурной организации языка как органичного целого. Согласно данному определению, «...языковая форма представляет собой определенную структуру: 1) она есть единство некоего целого, доминирующего над частями; 2) эти части формально упорядочены на основе определенных постоянных принципов; 3) форма получает характер структуры именно в силу того, что все компоненты целого выполняют ту или иную *функцию*; 4) наконец, эти компоненты являются единицами какого-либо определенного *уровня*, причем каждая единица одного уровня становится подъединицей более высокого уровня» [Там же: 25].

**Форма и значение языковых единиц.** Из различия между конститутивной и интегративной функциями выводится у Бенвениста отношение *формы и значения* в единицах различных уровней и выделяется собственно языковой, точнее — структурный, аспект значения, отличный от значения–сигнификата и значения–денотата.

«Анализ проводится в двух противоположных направлениях и приводит к выявлению либо формы, либо значения в одних и тех же языковых единицах. <...>

*Форма* языковой единицы определяется как способность этой единицы разлагаться на конститутивные элементы низшего уровня<sup>5</sup>.

*Значение* языковой единицы определяется как способность этой единицы быть составной частью единицы высшего уровня» [Бенвенист 1974: 136–137], как ее способность в качестве означающего образовать единицу, ограниченную от других единиц. «Это значение имплицитно, оно внутренне присуще языковой системе и ее составным частям» [Там же: 137].

Э. Бенвенист настойчиво подчеркивает соотносительность значения и формы. «*Форма и значение должны определяться друг через друга, и повсюду в языке их членение совместно. Их отношение... заключено в самой структуре уровней и в структуре соответствующих функций*» — конститутивной и интегративной [Там же: 136; выделено мною. — Л. 3.].

Без анализа интегративных отношений, обеспечивающих межуровневые связи и целостность языка, без обращения к значению сегментация невозможна. «Форма и значение, таким образом, выступают как *совмещенные свойства*, обязательно и одновременно данные, неразделимые в процессе функционирования языка. Их взаимные отношения выявляются в структуре языковых уровней, раскрываемых в ходе анализа посредством нисходящих и восходящих операций и благодаря такой особенности языка, как членораздельный характер» [Там же: 137; выделено мною. — Л. 3.].

Вследствие соотносительности формы и значения язык состоит исключительно из значимых элементов, которые определяются через их взаимные отношения [Там же: 25], причем не только *дистрибутивные* — между элементами одного уровня, но и *интегративные* — между элементами разных уровней [Там же: 134].

Из сказанного ясно, насколько тщетны попытки при описании языковой формы избавиться от ее коррелята — значения [Там же: 136].

---

<sup>5</sup> Применительно к слову сходное определение формы было дано ранее Ф. Ф. Фортунатовым. Ср.: «Формой отдельных слов в собственном значении этого термина называется... способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова» [Фортунатов 1956: 136]. Например, в слове *несу* выделяются основа *нес-* и «формальная принадлежность» *-у*.

И хотя Бенвенист вполне допускает различные типы описания и формализации языка, но при одном непременном условии: «...все они должны с необходимостью исходить из того, что их объект, *язык, наделен значением*, что именно *благодаря этому он и есть структура* и что это — основное условие функционирования языка среди других знаковых систем» [Бенвенист 1974: 42; выделено мною. — Л. 3].

Критикуя дистрибутивный метод за отказ от значения, Бенвенист выявляет ограниченность теорий и методов, сводящих значение к некоторой внешней обусловленности речи, к ситуации и игнорирующих собственно языковой аспект значения [Там же: 40–41]. При таком подходе «сегментация высказывания на дискретные элементы ведет к анализу языка не более, чем сегментация вселенной ведет к созданию теории физического мира» [Там же: 41]. С отказом от значения, от определения внутреннего отношения между значением и формой формализация лингвистического анализа не только не позволит раскрыть структурную организацию языка в его целостности, но грозит привести к его атомизации [Там же: 42]. Наконец, абстрагирование от значения вступает в противоречие с самой функцией языка.

Коль скоро «...функцией языка является “сказать нечто”» [Там же: 37], и, разумеется, нечто осмысленное, «...*осмысленность* — это основное условие, которому должна удовлетворять любая единица любого уровня, чтобы приобрести лингвистический статус» [Там же: 132], чтобы язык мог выполнять свою функцию. Данное условие распространяется на все единицы, включая незначащие. В частности, «фонема получает свой статус только как различитель языковых знаков, а различительный признак в свою очередь — как различитель фонем» [Там же].

Осмысленными должны быть и те отрезки речевой цепи, к которым применяются операции сегментации и субституции [Там же: 131–132]. «Действительно, ничто не позволяет определить дистрибуцию фонемы, объем ее комбинаторных, синтагматических или парадигматических возможностей, то есть саму реальность фонемы, если мы не будем постоянно обращаться к некоторой *определенной единице* высшего уровня, в состав которой данная фонема входит. <...> Если фонема определима, то только как составная часть единицы более высокого уровня — морфемы. Различительная функция фонемы основана на том, что фонема включается в ту или иную определенную единицу, которая только в силу этого относится к высшему уровню» [Там же: 132], причем «...выявление новой единицы высшего уровня должно удовлетворять требованию *осмысленности*» [Там же: 131].

Эти положения Э. Бенвениста продолжают традицию, восходящую к основоположнику фонологии И. А. Бодуэну де Куртенэ, впервые показавшему, что именно «в связи с понятием “морфемы” мы должны установить понятие звуковой единицы языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 249].

Сравнительно с Э. Бенвенистом И. А. Бодуэн де Куртенэ более строг в определении иерархии языковых единиц. Для него неприемлемы «скачки в делении» от слова к фонеме, как у Э. Бенвениста; ср. [Там же, I: 181–184] и [Бенвенист 1974: 133].

**Лингвистический статус значащих единиц.** Согласно Бенвенисту, значение как коррелят формы, как «внутреннюю составную часть языковой формы» [Там же: 137] не следует смешивать с другим аспектом понятия значения, который обусловлен соотносительностью языка с миром предметов, вследствие чего «каждое высказывание и каждый член высказывания обладает референцией» [Там же: 138].

Наличие у значения двух разных аспектов объясняет необходимость двойного означивания и принципиальное расхождение в лингвистическом статусе значащих единиц: морфемы и слова, с одной стороны, и предложения — с другой.

Знаковые единицы языка — слова и морфемы — «одновременно содержат конститутивные единицы и функционируют как интегранты» [Там же: 135]. Предложение же, хотя и содержит конститутивные единицы, «не может быть интегрантом никакой другой единицы более высокого уровня» [Там же], ибо такого уровня не существует [Там же: 139]. «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (*le discours*)» [Там же].

\* \* \*

Выявленные в трудах классиков теоретического языкознания закономерности внутреннего строя языка заложили представление о его системности.

Далее, в главе 9, обобщающей положения рассмотренных философско-лингвистических учений, понятия системы и системных принципов раскрываются и уточняются исходя из диалектики Платона. Специально обсуждаются такие системоприобретенные свойства, как целостность языка и значимость его элементов, анализируются обуславливающие их отношения в структуре языка.

## Глава 9

# СИСТЕМА И СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ

### 9.1. Диалектика Платона как ключ к системности языка

Надежной опорой в определении *системности языка* и в наши дни остается тот **диалектический метод**, который был заложен Платоном в диалогах зрелого периода [Платон 1993, 2]. (Далее в ссылках том не указывается.)

Во-первых, это *диалектика общего и единичного, частного* (см. главу 3), единого и множественного, исходящая из *диалектики идеи и материи* (о чем ниже) и раскрывающаяся в *диалектике идеи*, т. е. общего и родового понятия, и *вещи*.

В основе диалектики общего и единичного лежат два уже упоминавшихся вида способностей: с одной стороны, возводить к общей идее всё разрозненное многое единичное, а с другой — «подразделять всё на виды, на естественные составные части» [Федр 265de; с. 176], «вплоть до того, что не поддается делению» [Федр 277b; с. 189].

Во-вторых, это *диалектика родо-видовых отношений*. Исходя из них в «Софисте» прослеживается членение родов на виды и, далее, на подвиды. Тем самым становится возможным последовательное иерархическое разделение понятий надвое, на две главные части — от самого общего родового понятия к наиболее частному его виду, к максимально конкретному определению искомого понятия на основе выявляемых при членении признаков. Благодаря данному методу исследования удастся оставить искомому понятию его «собственную природу», «пройдя мимо всего общего [между ним и другими видами]» [Софист 264e–265a; с. 340].

Дихотомический принцип разделения родов на виды служит Платону инструментом для объяснения понятий. Его действие раскрыва-

ется в «Софисте» через определение понятий *ужения* и *софистики* [Софист 218b–226a, 265a–268d; с. 277–287, 340–345]. Оно наглядно проиллюстрировано схемами в примечаниях А. А. Тахо-Годи [Тахо-Годи 1993: 490–492, 497]. (Аналогичные схемы широко используются в современной лингвистике.)

С другой стороны, рассматриваемый метод позволяет связать соответствующее искомому понятию имя воедино, «сплетая нить в обратном порядке — от конца к началу» [Софист 268с; с. 345]. Такое иерархическое восхождение от конкретного индивидуального к порождающей общей идее как к своему пределу Платон показал в диалоге «Пир» на примере идеи *прекрасного*. Согласно его рекомендации, «...начав с отдельных проявлений прекрасного, надо всё время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это — прекрасное» [Пир 211cd; с. 121–122; выделено мною. — Л. 3].

Чтобы получить «диалектическое знание», как учит Платон, необходимо «различать всё по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый» [Софист 253d; с. 324]<sup>1</sup> «Кто, таким образом, в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее, он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. Всё это называется уметь различать по родам, насколько каждое может взаимодействовать [с другим] и насколько нет» [253de; с. 324]. Вообще говоря, «одни роды склонны взаимодействовать, другие же нет и... некоторые — лишь с немногими [видами], другие — со многими, третьи же, наконец, во всех случаях беспрепятственно взаимодействуют со всеми» [254bc; с. 325].

В-третьих, это *диалектика основных родов (категорий) в их взаимодействии и диалектической связности*. Изучая способность родов к взаимодействию, Платон в диалоге «Софист» в первую очередь сосредоточивается на анализе главнейших среди них — *бытия, покоя и движения*. А так как «каждый из них есть иное по отношению

---

<sup>1</sup> А это вполне возможно, если не учитывать в должной мере способность родов к взаимодействию.



к остальным двум и тождественное по отношению к себе самому» [Софист 254d; с. 326], к трем названным родам присовокупляются еще два — *тождественное* и *иное* (отличное) [254d–255e; с. 325–327]. Выделение иного обусловлено тем, что «...эта природа проходит через все остальные виды, ибо каждое одно есть иное по отношению к другому не в силу своей собственной природы, но вследствие причастности идее иного» [255e; с. 327]. С другой стороны, «...всё причастно тождественному» [256a; с. 328]. Поэтому, например, «...движение есть и тождественное и нетождественное... ..Коль скоро мы называем его тождественным, мы говорим так из-за его причастности тождественному в отношении к нему самому; если же, напротив, мы называем его нетождественным, то это происходит вследствие его взаимодействия с иным, благодаря чему, отделившись от тождественного, движение стало не этим, но иным, так что оно снова справедливо считается нетождественным» [256ab; с. 328].

Поскольку «роды между собой перемешиваются» [259a; с. 332], постольку правоммерно выделение небытия наряду с бытием. «...В то время как бытие и иное пронизывают всё и друг друга, само иное, как причастное бытию, существует благодаря этой причастности, хотя оно и не то, чему причастно, а иное; вследствие же того, что оно есть иное по отношению к бытию, оно — совершенно ясно — необходимо должно быть небытием. С другой стороны, бытие, как причастное иному, будет иным для остальных родов и, будучи иным для них всех, оно не будет ни каждым из них в отдельности, ни всеми ими, вместе взятыми, помимо него самого, так что снова в тысячах тысяч случаев бытие, бесспорно, не существует; и всё остальное, каждое в отдельности и всё в совокупности, многими способами существует, многими же — нет» [259ab; с. 332].

Проблема существования — несуществования особенно остро встает применительно к миру идей, постигаемому «исключительно разумом» [Парменид 135e; с. 358]. Поэтому Платон посвящает ее обсуждению отдельный диалог «Парменид». В нем излагается *диалектика идеи и материи*, представленных в максимально обобщенном виде категориями *единого* (по А. Ф. Лосеву, *одного*) и *другого* (*иного*) [Лосев 1993: 498].

В-четвертых, это *диалектическое единство противоположностей*, которое становится основой для постижения диалектики идеального и материального.

Согласно Платону, диалектический метод исследования, исходящий из единства противоположностей — единого и многого, подобия

и неподобного, движения и покоя, возникновения и гибели, бытия и небытия, требует: «не только предполагая что-нибудь существующим, если оно существует, рассматривать выводы из этого предположения, но также предполагая то же самое несуществующим. <...> ... Что только ни предположишь ты существующим или несуществующим, или испытывающим какое-либо иное состояние, всякий раз должно рассматривать следствия как по отношению к этому предположению, так и по отношению к прочим, взятым поодиночке, и точно так же, когда они в большом числе или в совокупности. С другой стороны, это прочее тебе следует всегда рассматривать в отношении как к нему самому, так и к другому, на чем бы ты ни остановил свой выбор и как бы ты ни предположил то, что предположил существующим или несуществующим, если ты хочешь, поупражнявшись надлежащим образом в этих вещах, основательно прозреть истину» [Парменид 135e–136c; с. 358–359].

(Со)относительный характер противоположностей Платон доказывает в «Пармениде» на примере отношения идеи (единого) и материи (иного, другого), обосновывая невозможность существования идеального без опоры на материальное, и наоборот.

*При абсолютном полагании единого (одного)*, если это сверхсущее единое едино, оно не может быть многим; «оно не будет целым и не будет иметь частей» [137cd; с. 360]; оно беспредельно и лишено очертаний [137de; с. 360–361]; оно не находится нигде: ни в себе самом, ни в другом [138ab; с. 361]; «единое не движется ни одним видом движения» [139a; с. 363] — ни путем изменения, ни путем перемещения [138b–e; с. 362–363], но и не стоит на месте [139b; с. 363]; «оно не может быть тождественным ни иному, ни самому себе и, с другой стороны, отличным от себя самого или от иного» [139b; с. 363]; раз так [139b–e; с. 363–365], «оно не будет ни подобным, ни неподобным чему-либо — ни себе самому, ни иному» [139e, 140ab; с. 365], а «...будучи таким, оно не будет ни равным, ни неравным ни себе самому, ни другому» [140b; с. 365; 140cd, с. 366]; наконец, «...единое не причастно времени и не существует ни в каком времени» [141d; с. 368]. «Следовательно, единое никак не причастно бытию. <...> И потому единое никаким образом не существует» [141e; с. 368].

Далее Платон делает вывод, непосредственно касающийся языка в его отношении к сверхсущему единому.

Допустим, «...единое не существует как единое, да и [вообще] не существует». «Следовательно, не существует ни имени, ни слова для него, ни знания о нем, ни чувственного его восприятия,

ни мнения. <...> Следовательно, нельзя ни назвать его, ни высказать о нем, ни составить себе о нем мнения, ни познать его, и ничто из существующего не может чувственно воспринять его» [Парменид 141e–142a; с. 368–369].

Сходным образом обстоит дело и *при абсолютном отрицании единого*, когда несуществующее единое никак не причастно бытию и поэтому не гибнет и не возникает, «а следовательно, и не изменяется никак», и не движется, и никогда не стоит на месте [163cde; с. 407–408]. «Далее, ему не присуще ничто из существующего. <...> Следовательно, у него нет ни великости, ни малости, ни равенства. <...> У него также нет ни подобия, ни отличия ни в отношении себя самого, ни в отношении иного. <...> Далее, может ли иное как-либо относиться к нему, если ничто не должно к нему относиться? — Не может. — Поэтому иное ни подобно ему, ни неподобно, ни тождественно ему, ни отлично» [163e–164a; с. 408]. Не имеют отношения к несуществующему единому также «знание», «мнение», «ощущение», «суждение», «имя» или иное что-нибудь из существующего [164ab; с. 408].

*Отсутствие языкового выражения* в обоих случаях — как при абсолютном полагании единого, так и при абсолютном его отрицании — *объясняется отсутствием какого-либо иного*.

В самом деле, при абсолютном полагании единого, поскольку «...единое отдельно от другого» [159c; с. 399], «...другое никоим способом не может быть причастным единому...<...> ...И не имеет в себе ничего от единого». Значит, «...другое в отношении единого не есть ни единое, ни многое, ни целое, ни части»; «другое ни само не есть подобное и неподобное единому, ни в себе подобия и неподобия не содержит», «стало быть, другое не есть ни подобное, ни неподобное, ни то и другое вместе»; «следовательно, другое не есть ни тождественное, ни различное; оно не движется и не покоится, не возникает и не гибнет; не есть ни большее, ни меньшее, ни равное и никакого другого из подобных свойств не имеет, ...поскольку оно совершенно и всецело лишено единого» [159c–160b; с. 399–400].

Та же картина выявляется в случае абсолютного отрицания единого: если единое не существует, «если в ином не содержится единое» [165e; с. 411] и «...ничто из несуществующего не имеет никакого отношения ни к чему из иного» [166a; с. 411], «если... ничто из иного не есть одно, то всё оно есть ничто» [165e; с. 411]. «Итак, если единое не существует, то и иное не существует и его нельзя мыслить ни как единое, ни как многое. <...> Следовательно, его нельзя себе мыслить также ни как подобное, ни как неподобное. <...> И также

ни как тождественное, ни как различное, ни как соприкасающееся, ни как обособленное, ни вообще как имеющее другие признаки, которые... оно обнаруживает» [Парменид 165b; с. 412].

Само собой разумеется, что в этих условиях «у иного нет ни мнения о несуществующем, ни какого-либо представления о нем и несуществующее решительно никак не мыслится иным» [166a; с. 412].

Итак, *сверхсущее идеальное, равно как несуществующее идеальное, не соотносясь ни с чем иным, не имеет материального соответствия, в том числе и языкового выражения*. Не будучи причастным бытию, лишённое в отсутствие иного каких-либо категориальных характеристик, такое идеальное непознаваемо.

В свою очередь и *иное (материальное) приобретает какие бы то ни было категориальные свойства лишь в противоположении идеальному. В отсутствие последнего материальное не существует* (см. также [Лосев 1993: 500–501]).

Если *единое отрицается в относительном смысле*, так что к единому можно присовокупить либо бытие, либо небытие, то тем самым это единое представляет собой, «во-первых, нечто познаваемое, во-вторых, отличное от иного» [Парменид 160cd; с. 401]. Другими словами, говоря о несуществующем едином в специальном смысле, мы, таким образом, имеем в виду, что «оно познаваемо» и «от него должно быть отлично иное» [160d; с. 401]. «Следовательно, у него есть и неподобие по отношению к иному» [161a; с. 402], а значит, «...единое должно обладать подобием по отношению к самому себе» [161c; с. 403]. «Далее, оно также не равно иному». «Стало быть, единое причастно и неравенству» [Там же]. С другой стороны, такое «...несуществующее единое должно быть причастно и равенству, и великости, и малости. <...> Кроме того, оно должно каким-то образом быть причастно и бытию» [161d; с. 404], «чтобы не существовать» [162b; с. 404]. Итак, в данном случае, «...если единое не существует, оно, очевидно, связано с бытием. <...> Следовательно, также и с небытием, поскольку оно не существует» [162b; с. 405]. В соответствии с этим подобное несуществующее единое и стоит на месте, и движется, и изменяется, и не изменяется, становится и гибнет, а также не становится и не гибнет [162b–163b; с. 405–406]. По заключению А. Ф. Лосева, «...если одного нет в относительном смысле, то в нем есть и всё иное, т. е. все категории вообще» [Лосев 1993: 501].

Предположим, наконец, что *единое существует* и, следовательно, бесспорно причастно бытию. В силу этого «...само единое, раздробленное бытием, представляет собою огромное и беспредельное

множество. <...> Следовательно, не только существующее единое есть многое, но и единое само по себе, разделенное бытием, необходимо должно быть многим. <...> Однако так как части суть части целого, то единое должно быть ограничено как целое. В самом деле, разве части не охватываются целым? <...> А то, что их охватывает, есть предел. <...> Следовательно, существующее единое есть, надо полагать, одновременно и единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно бесконечное» [Парменид 144e–145a; с. 374]. «...Поскольку единое — это целое, оно находится в другом, а поскольку оно совокупность всех частей — в самом себе. Таким образом, единое необходимо должно находиться и в себе самом, и в ином» [145e; с. 375]. «...Всегда находясь в себе самом и в ином, единое должно всегда и двигаться, и покоиться. <...> Потом оно должно быть тождественным самому себе и отличным от самого себя и точно так же тождественным другому и отличным от него, коль скоро оно обладает вышеуказанными свойствами» [146ab; с. 376]. После детального рассмотрения отношений между единым и другим в аспекте тождеств и различий делается вывод: «...Если единое и тождественно с другим, и отлично от него, то в соответствии с обоими свойствами и с каждым из них порознь оно будет подобно и неподобно другому. <...> А так как оно оказалось и отличным от себя самого, и тождественным себе, то не окажется ли оно точно так же в соответствии с обоими свойствами и с каждым из них порознь подобным и неподобным себе самому? — Непременно» [148cd; с. 381].

Далее. «...Если только единое причастно бытию, оно причастно и времени» [152a; с. 387]. В результате подробного анализа устанавливается: «...единое было, есть и будет; оно становилось, становится и будет становиться. <...> Поэтому возможно нечто *для него* и *его*, и это нечто было, есть и будет. <...> Возможно, значит, его познание, и мнение о нем, и чувственное его восприятие... <...> И есть для него имя и слово, и оно именуется и о нем высказывается; и всё, что относится к другому, относится и к единому» [155d; с. 392–393].

*Всё это возможно благодаря единству существующего единого и другого, идеального и материального.*

Будучи другим по отношению к единому, «...другое не вовсе лишено единого, но некоторым образом причастно ему. <...> Другое — не единое — *есть другое*, надо полагать, *потому, что имеет части*, ибо если бы оно не имело частей, то было бы всецело единым. <...> А *части*, как мы признаем, *есть у того, что представляет собою целое*. <...> Но целое единое должно состоять из многого; части и будучи его

частями, потому что каждая из частей должна быть частью не многого, но целого. <...> ...Часть есть часть не многого и не всех [его членов], но некоей одной идеи и некоего единого, которое мы называем целым, ставшим из всех [членов] законченным единым; часть и есть часть такого целого. <...> Значит, если другое имеет части, то и оно должно быть причастным целому и единому. <...> Необходимо, значит, чтобы другое — не-единое — было единым законченным целым, имеющим части» [Парменид 157cde; с. 396]. «...То же самое относится и к каждой части: части тоже необходимо причастны единому. Ведь если каждая из них есть часть, то тем самым “быть каждым” означает быть отдельным, обособленным от другого и существующим само по себе, коль скоро это есть “каждое”. <...> ...И целое, и часть необходимо должны быть причастны единому. В самом деле, первое составит единое целое, части которого будут частями; а каждая из частей будет одной частью целого, часть которого она есть» [157e–158a; с. 396–397; выделено мною. — Л. 3.].

«Итак, если постоянно рассматривать таким образом иную природу идеи саму по себе, то, сколько бы ни сосредоточивать на ней внимание, она всегда окажется количественно беспредельной. <...> С другой же стороны, *части, поскольку каждая из них стала частью, обладают уже пределом как друг по отношению к другу, так и по отношению к целому и целое обладает пределом по отношению к частям.* <...> Итак, *другое в отношении единого, как оказывается, таково, что если считать его с единым, то в нем возникает нечто иное, что и создает им предел в отношении друг друга*, тогда как природа другого сама по себе — беспредельность. <...> Таким образом, другое в отношении единого — и как целое, и как части, с одной стороны, беспредельно, а с другой — причастно пределу. <...> Поскольку, таким образом, [другое] обладает свойствами быть ограниченным и быть беспредельным, эти свойства противоположны друг другу. <...> А противоположное в высшей степени неподобно. <...> Итак, в соответствии с каждым из этих двух свойств в отдельности [части другого] подобны себе самим и друг другу, а в соответствии с обоими вместе — в высшей степени противоположны и неподобны» [158cde–159a; с. 398; выделено мною. — Л. 3.]. «Таким образом, [всё] другое будет подобно и неподобно себе самому и друг другу. <...> И мы уже без труда найдем, что [части] другого в отношении единого тождественны себе самим и отличны друг от друга, движутся и покоятся и имеют все противоположные свойства, коль скоро обнаружилось, что они обладают упомянутыми свойствами» [159ab, с. 398–399].

Отсюда явствует, что и причастное бытию единое, и причастное существующему единому другое суть средоточие взаимодействия таких противоположностей, как целое и часть, подобие и неподобие, предел и беспредельность, покой и движение, тождество и различие.

Обращает на себя внимание, что в случае причастности к *бытию* противоположение единого (идеального) иному (материальному) оказывается взаимосвязанным с противоположениями остальных основных родов (категорий) — *покоя и движения, тождества и различия*. Последнее противоположение, поскольку ему причастно всё (см. выше), выступает основой для определения противоположений *подобия и неподобия, целого и части*. Так, «...подобное — это то, чему в некоторой степени свойственно тождественное. <...> Но то, что обладает свойством быть отличным от самого себя или от другого, неподобно как себе самому, так и другому, коль скоро подобно то, чему свойственна тождественность» [Парменид 139e–140ab; с. 365].

Противоположение *целого и части* также сопряжено с противоположением тождества и различия. «Всякая вещь... относится ко всякой другой вещи следующим образом: она или тождественна другой, или иная; если же она не тождественна и не иная, то ее отношение к другой вещи может быть либо отношением части к целому, либо отношением целого к части» [146b; с. 376]. «...Вещи, между которыми нет ни отношения части к целому, ни целого к части, ни различия, будут тождественными между собою» [147b; с. 378].

В свою очередь, противоположение целого и части предполагает наличие противоположения *предела и беспредельности*.

Благодаря связи между двумя последними противоположениями обеспечивается *цельность (целостность)*, т. е. внутреннее единство, идеально-материального образования.

Обсуждая понятия целого и цельности в диалоге «Софист» [244b–245e, 253d; с. 311–313, 324], А. Ф. Лосев приходит к выводу, что «... Платон различает отдельные дискретные части целого, которые не отражают в себе этого целого и потому представляют собой не само целое, но механическую сумму дискретных частей (по терминологии Платона — “всё”), и такую цельность, которая выше своих частей и, мы бы сказали теперь, представляет собой совершенно новое качество, не делится на свои части целиком и части которой, оставаясь самими собой, уже отражают в себе неделимую цельность (по терминологии Платона — “целое” в отличие от “всего” как механической суммы дискретных частей)» [Лосев 1993: 489].



Такая цельность свойственна идеальному и материальному именно в их соединении друг с другом, когда материальное причастно идеальному и потому уподобляется ему, само становясь идеею [Парменид 132de; с. 354], вследствие чего «...подобие идеи уже содержит в себе нечто идеальное» [Лосев 1993: 499]. Короче, «...если сочетать его (другое. — Л. З.) с единым, то в нем возникнет нечто иное, что и создает им предел в отношении друг друга» [Парменид 158d; с. 398].

Свой вклад в создание цельности вносит также взаимодействие противоположения одного и иного (идеи и материи) с категориями тождества и различия. В изложении А. Ф. Лосева, «...когда оно (одно, единое. — Л. З.) отличается от иного, это значит, что оно имеет с ним границу, которая одинаково принадлежит и ему самому, и иному. Следовательно, *в понятии границы одно и иное совпадают*. А потому если одно отлично от иного, то это возможно только при том условии, что *существует момент и полного их тождества*» [Лосев 1993: 500; выделено мною. — Л. З.].

В итоге все противоположения прямо или опосредованно связаны друг с другом и, значит, *соотносительны*.

В условиях всеобщей связи противоположений каждая противоположность не просто соотносительна со своей антитезой. Их соотношение друг с другом не постоянно, а подвижно и изменчиво, допуская *разные степени совершенства* в своем соединении. В частности, как показано в «Федре», это касается степени единства и взаимопроникновения идеи и материи (см. комментарий А. Ф. Лосева к «Федру» [Там же: 458–459]). Отсюда можно сделать вывод об *относительном характере противоположностей* в отношении идеального с материальным. То же, с логической точки зрения, должно иметь место во всех остальных противоположениях.

Однако для познания как идеи, так и вещи недостаточно установить их отношение между собой. Познание обеих противоположностей в их качественном своеобразии предполагает рассмотрение каждой из них также в отношении к иным идеям и вещам. Защищая это положение, Платон оспаривает «самостоятельное существование некоей сущности каждой вещи» [Парменид 133c; с. 355]. С диалектических позиций, уже вследствие всеохватывающей связи родов и видов ни идеи, ни их подобия не могут иметь обособленного изолированного существования.

Если же говорить о качественной определенности, «...все идеи суть то, что они суть, лишь в отношении одна к другой, и лишь в этом отношении они обладают сущностью, а не в отношении к находящимся



в нас [их] подобиям (или как бы это кто ни определял), только благодаря причастности которым мы называемся теми или иными именами. В свою очередь эти находящиеся в нас [подобия], одноименные [с идеями], тоже существуют лишь в отношении друг к другу, а не в отношении к идеям: все эти подобия образуют свою особую область и в число одноименных им идей не входят» [Парменид 133cd; с. 355].

Таким образом, идеи и их подобия имеют относительный характер не только вследствие всеобщей связи родов и видов, а также разной степени совершенства в единстве идеального с материальным, но и ввиду отношений, связывающих каждую идею с другими идеями, а ее подобие с иными подобиями.

В целом рассмотренная здесь диалектика Платона охватывает:

- *отношение общего к единичному*, основывающееся на способностях человека к обобщению и разделению;
- *родо-видовые отношения*, выявляющиеся с помощью дихотомического принципа разделения родов на виды, подвиды и т. д. и обратного восхождения от конкретного к родовому понятию;
- *основные роды (категории)* в их взаимодействии и всеобщей связи;
- *единство противоположностей*, всесторонне раскрытое на примере базового противоположения *идеи и материи*;
- *цельность* целого в сочетании идеи с материей;
- *соотносительность* различных противоположений и *относительный характер* членов противоположений.

Всё это имеет прямое отношение к системным объектам и вполне приложимо к языку.

- Способностям человека к обобщению и разделению язык обязан такими своими сущностными свойствами, как категоризация и членение.
- На диалектике общего и единичного основывается разграничение в языке абстрактных единиц (типа фонем, морфем и т. п.) и их конкретных реализаций (в виде аллофонов, алломорфов и т. д.).
- Диалектика родо-видовых отношений пронизывает системную организацию каждого уровня. Она лежит в основе иерархического разбиения языковых единиц на классы, подклассы и т. д. Благодаря ему становится возможным определить отличительные признаки каждой отдельной единицы (например, какой-либо согласной или гласной фонемы в данном языке). Особенно ярко диалектика родо-видовых отношений проявляется в грамматической категоризации — во взаимодействии общих и частных категорий.

- Бытие языка складывается во взаимодействии выделенных Платоном основных родов, которые функционируют в единстве противоположностей. Это *идея и материя, тождество и различие, покой и движение*.

- Следуя Платону, нетрудно убедиться, что и в языке идея и материя существуют только в отношении друг к другу. Согласно Платону, идея как таковая существует, если ее можно сравнить с чем-то отличным от нее и в то же время — в известные моменты — тождественным ей. Поэтому одним из условий познания некоей идеи является ее материальное воплощение. Соответственно в лингвистике о наличии в языке определенной общей или частной категории обычно говорят лишь в случае более или менее регулярного формального ее выражения материальными средствами.

- Из установленных Платоном закономерностей связи между идеальным и материальным вытекает непреложность сосуществования в языке внутренней и внешней формы (по В. Гумбольдту), плана содержания и плана выражения (по Л. Ельмслеву). Столь же обязательно наличие в языковом знаке наряду с означаемым должного означаемого. Причем и в языковом целом, и в отдельном знаке ведущая роль — в соответствии с приматом идеального над материальным в учении Платона — должна быть признана за идеальной (содержательной) стороной, которая, в толковании А. Ф. Лосева, выступает в качестве порождающей модели и для своей собственной структуры, и для структуры всего иного [Лосев 1993: 504]. В силу отмеченного Платоном уподобления материального идеальному неудивительно, что формальная организация слова, по данным автора настоящей работы, *отражает в себе* его категориальные содержательные свойства. Так реализуется принцип знака, состоящий, по определению В. Гумбольдта, в *согласованности* между звуком и мыслью, а это в свою очередь исключает произвольность языковых знаков, предполагая их мотивированность (см. разделы 10.4 и 10.5).

- Если и идеи, и «находящиеся в нас их подобия» рассматривать как психические явления, то тем самым мы получим ключ к различению мыслительного и языкового содержания, что имеет принципиальное значение для понимания сущностных свойств и функций языка в его отношении к мышлению, ибо позволяет объяснить, почему язык представляет собой, согласно В. Гумбольдту, и отражение, и знак, а будучи отражением мыслительного содержания, его подобием и формой, языковое содержание, несмотря на знаковую функцию, не может быть совершенно произвольным. Сходным образом

отсутствует произвольность и в плане выражения. Так, различия в средней длине морфем: корня, префикса, суффикса, флексии — коррелируют с семантической нагрузкой каждой из них.

- Через взаимодействие противоположения идеи и материи с противоположением части и целого, в свою очередь взаимодействующим с противоположением предела и беспредельности, Платон раскрывает природу *цельности*. Цельность не позволяет сводить целое к сумме частей по причине соотносительности части и целого в силу причастности их обоим пределу.

То, что части обладают пределом по отношению друг к другу, как нельзя лучше доказывают морфонологические преобразования на стыке составляющих слово морфем в самых разных языках.

Еще важнее то обстоятельство, что части обладают пределом в отношении целого, а «целое обладает пределом по отношению к частям», причем создает им предел в отношении друг друга *нечто иное*, возникающее в сочетании идеи и материи и обеспечивающее его цельность. В языке это *нечто иное* объясняет несводимость семантической структуры языковых знаков к сумме значений входящих в нее компонентов. Наличие в фонетической структуре признаков, организуемых основные значащие единицы — слово и предложение — высказывание — в единое целое, также указывает на целостность обеих единиц. Этому служат не только ударение и интонация, но и закрепленность одних фонетических явлений за началом слова, других — за серединой, третьих — за концом.

Необходимо принять во внимание, что Платон распространяет требование цельности и на сложные языковые знаки: «...всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, — у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны *подходить друг другу и соответствовать целому*» [Федр 264с; с. 174; выделено мною. — Л. 3].

- Хотя и в языке иное, качественно новое возникает во взаимодействии внутренней и внешней формы, плана содержания и плана выражения, тем не менее и здесь возможна *разная степень совершенства* в единстве противоположностей. Согласно В. Гумбольдту, степень синтеза духовной (интеллектуальной) стороны с материальной в языках различных типов неодинакова, вследствие чего они обладают разной степенью совершенства и могут быть разделены на «совершенные» и «несовершенные» [Гумбольдт 1984: 197 и др.]. Однако и в «совершенных» языках, стоит только обратиться к языковым знакам, нетрудно заметить различие по степени совершенства

в соотношении между означаемым и означающим. Так, например, в русском языке в словообразовательной цепи отношение между двумя сторонами знака становится более равновесным и симметричным по мере повышения ступени мотивированности: немотивированные знаки часто полисемичны, производные высоких ступеней словообразования обычно однозначны.

- В этой связи следует иметь в виду, что образующие единство противоположности соотносительны, но не равновесны, о чем говорит *примат идеального над материальным* в диалектике Платона. Это обстоятельство — одна из главных причин указанных различий в степени совершенства языковых знаков.

И в плане выражения среди незначащих единиц в соотношении материального с идеальным также превалирует идеальное, так что фонетическая реализация звуковых единиц задается их фонологическими свойствами. Например, в русском языке сама по себе возможность того или иного изменения артикуляции мягкого согласного под воздействием палатализации определяется системой фонем. Так, смещение [kʲ], [gʲ], [xʲ], [nʲ] в палатальную зону становится возможным потому, что различие между палатальными и палатализованными артикуляциями не используется в русском языке на фонологическом уровне, т. е. для различения значений значащих единиц. Сходным образом аффрикатизация мягких [tʲ], [dʲ] оказывается возможной благодаря тому, что соответствующие мягкие аффрикаты как самостоятельные фонемы в русском языке отсутствуют [Зубкова 1974: 68].

В фонетическом отношении немаркированный член коррелятивного фонологического противоположения отличается от маркированного бóльшими различительными возможностями. У глухих ярче, чем у звонких, выражены различия по твердости — мягкости и способу образования. Твердые по сравнению с мягкими ярче противопоставлены по активному действующему органу, способу образования и глухости — звонкости. Мягкость согласных, напротив, оказывает наиболее неблагоприятное воздействие на фонетическую реализацию всех других дифференциальных признаков русских согласных [Там же: 73–74].

- Если отвлечься от взаимоотношений идеального и материального, то идея обретает качественную определенность лишь в отношении одна к другой, точно так же находящееся в нас ее подобие существует только в отношении к другим подобиям. Определяясь через отношения, и идеи, и их подобия имеют как следствие *от-*

*носительный характер*. Эти соображения Платона явно предваряют то понятие значимости, которое закрепилось в современной лингвистике благодаря Ф. де Соссюру.

В условиях всеобщей связи противоположностей последние также приобретают относительный характер. Каждая противоположность не просто соотносительна со своей антитезой, подразумевая ее. Их соотношение друг с другом не постоянно, а подвижно и изменчиво, допуская разные степени совершенства в достижении единства. Вот почему неприемлемо утвердившееся (не без влияния Ф. де Соссюра) излишне жесткое размежевание *языка* как идеального / психического образования и *речи* как психофизического явления, в котором материализуется язык. То же относится к противоположению *синхронии* и *диахронии*, опирающемуся на противоположение покоя и движения. В действительности в диахронии возможны моменты относительной статики, а синхрония динамична. По определению И. А. Бодуэна де Куртенэ, «статика языка есть только частный случай его динамики» — при условии минимальных изменений [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 349]. Языку, в особенности его идеальной стороне, чужды и состояние абсолютного покоя и неизменности (как представлялось авторам универсальных грамматик), и исключительная подвижность и изменчивость (как могло показаться на основании исторических изменений в жизни языка). По той же причине неправомерно сведение языка к *различиям* безотносительно к *тождествам*, как это следует из постулата Ф. де Соссюра: «Первым универсальным свойством языка (langage) является то, что он существует посредством различий, *одних только различий*» [Соссюр 1990: 198], «*В языке нет ничего, кроме различий*» [Соссюр 1977: 152]. Если руководствоваться диалектикой Платона, в частности в отношении между идеей и материей, то, по заключению А. Ф. Лосева, «...в тот самый момент, когда мы провели различие между одним и иным, — в этот же самый момент мы произвели и их отождествление» [Лосев 1993: 500].

- Всеобщая связь и соотносительность одного языкового противопоставления с другими, всеохватывающее действие разного рода отношений способствуют целостности языка. Ведущую роль в ее создании играет корреляция плана выражения с планом содержания (разделы 10.4, 10.5).

## **9.2. От отношения части и целого к целостности языковой системы и значимости ее элементов**

Отношение части и целого, элементы языка и отношения между ними, механизмы целостности языка, значимость элементов и грамматических категорий — всё это занимает умы классиков теоретического языкознания, в частности В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского, Ф. де Соссюра. В описании языка как системного объекта они обычно оперируют в сущности теми же понятиями, что и современная наука: *система, элемент, отношение, связь, противопоставление, целостность*. Со временем терминологически закрепляются также понятия *значимости, иерархии (иерархических отношений), уровня*; вводится различие понятий *инварианта* и *варианта, системы* и *структуры*. Отсутствие какого-либо из перечисленных терминов в той или иной концепции еще не означает, что ее автор не оперировал соответствующим понятием. В частности, это относится к понятию *значимости*, которое не просто сопряжено, но теснейшим образом взаимосвязано с понятием *целостности*.

Понятие значимости возводят к учению Ф. де Соссюра, причем утверждается, что «до него эта проблема не затрагивалась ни в одной языковедческой концепции» и что теория значимости (ценности) «внесена швейцарским лингвистом впервые в науку о языке» [Слюсарева 1975: 46, 55]. С данным утверждением можно согласиться, если иметь в виду а) терминологическое закрепление понятия значимости в лингвистике, б) сведение языка к чистой форме, лишенной субстанциональных и отражательных свойств, а языковых единиц — исключительно к их относительным (реляционным) свойствам. В этом смысле Ф. де Соссюр действительно был первым.

Если же учитывать производность понятия значимости от отношений части и целого, то на феномен значимости вообще и в языке в частности обратили внимание задолго до Ф. де Соссюра. Разные аспекты понятия значимости разрабатывали, например, авторы Пор-Рояля и Э. Б. де Кондильяк во Франции, И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт и Г. Пауль в Германии, А. А. Потебня и И. А. Бодуэн де Куртенэ в России.

Прежде чем перейти к Ф. де Соссюру, рассмотрим подробнее представления о целостности и значимости в предшествующий период, ограничившись учением В. фон Гумбольдта и концепциями А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского в отечественной лингвистической традиции.

**В. фон ГУМБОЛЬДТ** во главу угла ставит обоснование *целостности* языка исходя из его неразрывной связи с деятельностью духа и мышлением. Язык как выражение духа и образующий орган мысли всегда по самой своей природе представляет собой единое целое. Более того, «...языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно всё, благодаря чему он становится единым целым. Как непосредственная эманация органической сущности в ее чувственной (*sinnlich*) и духовной значимости язык разделяет природу всего органического, где одно проявляется через другое, общее в частном и где благодаря всепроникающей силе образуется целое. Сущность языка беспрерывно повторяется и концентрически проявляется в нем самом; *уже в простом предложении*, поскольку оно основано на грамматической форме, видно ее завершенное единство, и так как *соединение простейших понятий побуждает к действию всю ткань категорий мышления*, — где положительное влечет за собой отрицательное, часть — целое, единичное — множество, следствие — причину, случайное — необходимое, относительное — абсолютное, где одно измерение пространства и времени требует другого, где одно ощущение находит себе отклик в другом, близлежащем ощущении, — то, как только достигается ясность и определенность выражения простейшего соединения мыслей, а также соответствующее обилие слов, *целостность языка налицо*» [Гумбольдт 1984: 308; разрядка и курсив мои. — Л. 3.].

Итак, в соответствии с духовной природой человека целостность языка достигается в духовной деятельности путем побуждения к действию категорий мышления, которые, выступая в единстве противоположностей, образуют «взаимозависимое целое» [Там же: 118].

По сути дела, язык как деятельность предполагает целостность, он изначально нацелен на нее, ибо в его основе лежат взаимодействие духовного начала с противоположным ему природным началом, духовной силы с органической силой [Там же: 89] и, соответственно, синтез двух главных составляющих языка — его внутренней формы со звуковой. В результате «...синтез создает нечто такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых» [Там же: 107]. Это положение Гумбольдта вполне в духе Платона.

Синтетический процесс начинается с членораздельного звука, который Гумбольдт называет первым и самым необходимым элементом языка, нерасторжимо связанного с духовной природой человека [Там же: 84, 107].



В функциональном отношении «...членораздельный звук характеризует лишь намерение и способность обозначать смысл, причем не смысл вообще, а смысл определенного представления мысленного образа» [Гумбольдт 1984: 84–85]. По своей природе членораздельный звук «представляет собой не что иное, как сознательное действие создающей его души», а материален он «ровно настолько, насколько того требует его внешнее восприятие» [Там же: 85]. Таким образом, в звуке различаются две стороны — психическая и материальная.

Артикуляция осуществляется во взаимодействии с деятельностью духа. Свойственные мышлению операции членения и соединения распространяются как на сферу действия духа, так и на звуковую сферу. Многообразии звуковых элементов и их совокупностей «должно скрепляться в единство, как этого требует мышление» [Там же].

Требуемому единству с необходимостью служат такие *отличительные черты* членораздельного звука, как «целостность», позволяющая четко отличать его от других, а также *способность вступать в определенные отношения со всеми остальными* мыслимыми звуками. <...> Благодаря способу своего порождения членораздельный звук *становится частью системы, в рамках которой он обретает свойство занимать общее положение с одними звуками и противостоять другим*» [Там же: 86; выделено мною. — Л. 3.]. Это системоприобретенное свойство элемента как части в составе целого позднее было названо *значимостью* (см. раздел 9.4).

«Каждый отдельный звук образуется в соотношении с другими звуками, как и он сам необходимыми для беспрепятственного построения речи... У каждого народа создается необходимое количество членораздельных звуков, отношения между которыми строятся в соответствии с потребностями данной языковой системы. Первые основные различия между звуками складываются в результате различия органов речи и мест образования членораздельных звуков. Далее к ним присоединяются дополнительные качества, которые могут быть присущи каждому звуку независимо от различия органов. К таким качествам относятся придыхание, шипящие и носовые призвуки и т. д.» [Там же: 86; выделено мною. — Л. 3.]. Так Гумбольдтом устанавливается *иерархия* дифференциальных признаков в звуковой системе на базе различий между основными и дополнительными артикуляциями (судя по признакам, речь идет о согласных).

Синтетический процесс, естественно, охватывает также значащие элементы языка, прежде всего слово. «Словом язык завершает



свое созидание. Для предложения и речи язык устанавливает только регулирующие схемы» [Гумбольдт 1984: 90]. Под словом Гумбольдт понимает знак отдельного понятия [Там же]. Несмотря на то что «обозначение понятия посредством звука представляет собой объединение вещей, которые по своей природе никогда не могут по-настоящему объединиться» [Там же: 110], тем не менее в слове «...оба фактора — внутреннее языковое сознание и звук — взаимодействуют между собой, причем последний приспособляется к потребностям первого», а «...звуковая форма... в свою очередь оказывает обратное воздействие на дух» [Там же: 127–128]. Результатом такого взаимодействия является словесное единство.

Непрерывное условие создания и функционирования слова — целостность языка. По мысли Гумбольдта, «...первое слово уже предполагает существование всего языка» [Там же: 314]. «Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово не просто как чувственное побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем. В языке нет ничего единичного, *каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого*» [Там же: 313–314; выделено мною. — Л. 3.].

Определяющим фактором в создании целостности языка Гумбольдт считает духовное начало. Поэтому «*каждая особенность языка, коренящаяся во внутреннем языковом сознании, затрагивает всё его устройство*. Ярче всего это видно на примере флексии. Она находится в теснейшей связи с двумя внешне противоположными, но на самом деле органически взаимодействующими аспектами — со словесным единством и с надлежащим разделением частей предложения, которое создает возможность его членения. <...> Но гораздо важнее то, что в результате обратной соотнесенности с формами мышления, в той мере, в какой последние соотнесены с языком, флексия способствует более правильному и четкому проникновению в сущность мыслительных связей. Ибо все три названные здесь особенности языка восходят, собственно, к одному источнику — к ясному пониманию соотношения речи и языка. Поэтому флексия, словесное единство и надлежащее членение предложения никогда не должны рассматриваться раздельно» [Там же: 126; выделено мною. — Л. 3.]. Так через флексию раскрывается взаимосвязь не только значащих единиц различных рангов, но также языка и мышления, языка и речи.

В понимании Гумбольдта, языковое сознание народа содержит «сходное с инстинктом предчувствие всей системы в целом, на которую

опирается язык в данной индивидуальной форме» [Гумбольдт 1984: 88], и образование каждой части системы происходит «с учетом смутно ощущаемого целого» [Там же: 151]. В результате форма воплощает в себе индивидуальность языка и народа, на нем говорящего, в ее единой направленной целостности. Благодаря этому «характерная форма языка отражается в его мельчайших элементах, и каждый из них тем или иным и не всегда явным образом определяется языковой формой» [Там же: 71]. В образном представлении Гумбольдта, «язык можно сравнить с огромной тканью, все нити которой более или менее заметно связаны между собой и каждая — со всей тканью в целом. С какой бы стороны к этому ни подходить, человек всякий раз касается в речи лишь какой-то отдельной нити, но, движимый инстинктом, он постоянно совершает это так, как будто в данный момент ему открыта вся основа, в которую неизбежно вплетена эта отдельная нить» [Там же: 88].

К признакам целостности относятся, в частности, следующие.

1. Единство формальной и содержательной сторон: формальная сторона языка «в сочетании с содержательной крайне важна, но сама по себе почти безразлична» [Там же: 183].

2. Завершенное единство формы, в том числе благодаря наличию в языке не только отдельных элементов, но и законов, направлений, тенденций, а также таких свойств, которые проходят через все отдельные компоненты, придавая им самим большую определенность [Там же: 109].

3. Общая соразмерность речеобразования [Гумбольдт 1985: 402], соразмерность строения элементов [Гумбольдт 1984: 307] и в конечном счете соразмерность языковой системы во всех своих элементах с языковым сознанием народа [Там же: 87].

4. Иерархия бесконечного множества взаимосвязанных отношений [Там же: 314].

5. Соотносительность каждого элемента с другими и с языковым целым. Это касается и категорий, и отдельных слов, и их грамматических форм. Значение отдельной формы определяется из ее соотношения с другими. Так же как качества и достоинства вещи «сами по себе имеют ценность только в соотношении с другими» [Гумбольдт 1985: 337], так и, например, та или иная форма спряжения, «просто в силу того, что занимает определенное место в схеме спряжения, сохраняет свое значение даже после того, как время стирает как раз те ее звуки, которые несут это значение» [Гумбольдт 1984: 201]. Как видим, В. фон Гумбольдт широко пользуется тем понятием, которое

позднее было обозначено Ф. де Соссюром как ценность, или значимость.

**А. А. ПОТЕБНЯ.** В изложенном выше учении Потебни о системе целый ряд положений имеет прямое отношение к понятиям целостности и значимости. Чтобы убедиться в этом, достаточно свести их воедино.

Как и Гумбольдт, Потебня полагает, что «в языке нет ничего, кроме формы внешней и внутренней» [Потебня 1958: 47]. По своему строю «язык — система, есть нечто упорядоченное, *всякое явление его находится в связи с другими*» [Потебня 1989: 209; здесь и далее выделено мною. — Л. З.]. Следовательно, ведущая роль в системной организации языка принадлежит *связям*. Поэтому в идеале «ответить на вопрос о значении данной формы или ее отсутствия для мысли было бы возможно лишь тогда, когда бы можно связать эту форму с остальными формами данного строя языка, связать таким образом, чтобы *по одной форме можно было заключить о свойстве если не всех, то многих остальных*» [Потебня 1958: 62]. Ведь так или иначе «нет формы, присутствие и функция коей узнавались бы иначе, как по смыслу, т. е. *по связи с другими словами и формами в речи и языке*» [Там же: 45]. Под связями в речи и в языке А. А. Потебня в сущности понимает отношения, названные позднее (вслед за Ф. де Соссюром и Л. Ельмслевом) синтагматическими и парадигматическими.

В узком смысле слова речь определяется как необходимый для актуализации значений [синтагматический] контекст, как «такое сочетание слов, из которого видно, и то... лишь до некоторой степени, значение входящих в него элементов» [Там же: 42]. В частности, по контексту выявляется *место* (и роль) слова в *схеме* предложения [Там же: 85–86].

Связи в речи (синтагматические отношения) дополняются связями в языке (парадигматическими отношениями). «Для понимания речи нужно присутствие в душе многочисленных отношений данных в этой речи явлений к другим, которые в самый момент речи остаются, как говорят, “за порогом сознания” (in absentia, по Соссюру. — Л. З.), не освещаясь полным его светом. <...> Без своего ведома говорящий при употреблении данного слова принимает в соображение то большее, то меньшее число рядов явлений в языке», различающееся в зависимости от языка [Там же: 44].

В языках, наиболее развитых в формальном отношении, парадигматические связи слова в первую очередь обуславливаются последо-

вательной грамматической категоризацией и продуктивным аффиксальным словопроизводством.

С одной стороны, данное слово наравне с многими другими входит в «один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями... Указание на такой разряд определяет постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим словам» [Потебня 1958: 35]. Опознание соответствующего отношения определяется значимостью конкретной словоформы. «...Данная форма имеет для меня смысл, — разъясняет А. А. Потебня со ссылкой на В. Гумбольдта, — *по месту*, какое она занимает в склонении или спряжении» [Там же: 44].

С другой стороны, слово принадлежит к тому или иному семейству слов, соединенных по единству корня и других составных частей слова, например суффикса [Потебня 1981: 139].

Связи между отдельными явлениями языка поддерживают различение форм даже в отсутствие их звукового разграничения: для опознания грамматической формы наличие противоположения («противня») важнее материального различения [Потебня 1958: 45]. Только при наличии идентичного противоположения возможно функциональное тождество материально совпадающих единиц разных эпох [Потебня 1977: 157].

*Относительный характер* грамматических различий определяется, с позиций Потебни, «*мерой, данную самим языком*» [Там же: 93]. В этой связи отрицание общечеловечности (универсальности) грамматической категоризации («нет ни одной грамматической и лексической категории, обязательной для всех языков» [Потебня 1976: 259]) может быть объяснено не только тем, что языки мира представляют собой «глубоко различные системы приемов мышления» [Там же], но и *неодинаковой значимостью* идентичных, казалось бы, *категорий* в различных языках. Совпадение общих грамматических категорий в сравниваемых языках, предупреждает Потебня, может оказаться ложным вследствие возможных различий в частных грамматических категориях [Потебня 1973: 238]. Сходные частные грамматические категории в различных языках соотносятся друг с другом по-разному [Потебня 1958: 44–45].

Само *выявление системы* Потебня считает возможным *лишь на исторической основе*. Данный строй языка — только одно из звеньев в цепи исторического развития, и «в каждый момент речи наша самодеятельность направляется всею массою прежде созданного языка, причем, конечно, существует разница в степени влияния одних

явлений на другие» [Потебня 1958: 45]. «Прежде созданное в языке двояко служит основанием новому: частью оно перестраивается заново при других условиях и по другому началу, частью же *изменяет свой вид и значение в целом единственно от присутствия нового*» [Там же: 131].

Путь от истории к системе дает возможность выявить правильность (но не топорную симметричность) в постепенном развитии содержания [Потебня 1976: 50] в соответствии с увеличением степени сложности, отвлеченности, связности мысли, обнаружить стратификацию семантических (грамматических) различий (ср.: *нести* — *носить* — *нашивать* [Потебня 1977: 89–90]) и тем самым обосновать функциональную неравноправность членов грамматических противоположений, обозначенную позднее пражцами как немаркированность / маркированность.

В целом благодаря синтезу синхронического подхода с диахроническим понятие значимости в концепции А. А. Потебни более многомерно и диалектично, чем позднее у Ф. де Соссюра, для которого значимость — характеристика сугубо синхроническая.

**И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ, Н. В. КРУШЕВСКИЙ.** Убежденный в единстве наук, «в необходимости общей для разных наук основы мышления» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 28; II: 8], И. А. Бодуэн де Куртенэ в своих лингвистических исследованиях, в сущности, руководствуется диалектическим методом Платона и отстаивает такие базовые общенаучные принципы, как стремление к обобщениям и анализ, разложение сложного целого, сложных единиц на составные части и отличительные признаки [Там же, II: 52–54].

Диалектический подход Бодуэна к языку наиболее полно проявился в его учении о трех сторонах языка (фонетической, семасиологической и морфологической) и о двояком членении языкового целого (с точки зрения фонетической и с точки зрения семасиологически-морфологической). Это учение — детерминанта лингвистической концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ. Оно ценно тем, что в нем Бодуэн завершил анализ языкового целого, доведя его членение вплоть до элементов (признаков) фонем, и одновременно выявил основу (стержень) структурной делимости и целостности языка, а именно — разного рода отношения между единицами различных рангов. Ведущую роль играют иерархические отношения, выявляющиеся в двояком членении.

Иерархическая организация языка обуславливает многомерность выделяемых в нем единиц. Многомерность же единиц в свою

очередь служит созданию целостности языковой системы двояким образом.

Во-первых, иерархически упорядоченные единицы функционируют в языке не только как неделимые элементы в отношении к себе подобным, но и как составные части высших единиц и как совокупности низших единиц. Например, слово — это и неделимое целое, и целое, состоящее из морфем, т. е. комплекс морфем [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 268]. В качестве неделимого целого слово существует и совершенно независимо от предложения, и как его составная часть [Там же, II: 249], или синтагма [Там же, II: 291].

Во-вторых, многомерность языковых единиц влечет за собой многообразие и в то же время однотипность связывающих их отношений.

Значимость отношений между языковыми единицами одного уровня была наглядно продемонстрирована Н. В. Крушевским применительно к слову путем анализа связей двух порядков: порядка сосуществования (ассоциации слов по сходству) и порядка последовательности (ассоциации слов по смежности)<sup>2</sup>. Первый тип ассоциаций основывается на сходстве данного слова с другими словами по звукам, структуре или значению, второй тип — на связи слова с контекстом, с теми словами, вместе с которыми оно употреблено в данном случае.

Роль законов ассоциации в языке, с точки зрения Крушевского, поистине огромна.

«1. Эти законы превращают бесконечное множество слов в гармоническое **целое**. Благодаря ассоциации по сходству слова образуют множество упорядоченных систем или семейств; ассоциация по смежности выстраивает их в ряды.

2. Только эти законы обеспечивают существование языка: без ассоциации по сходству невозможно создание слова, без ассоциации по смежности — его воспроизведение.

3. Ассоциация по сходству обуславливает происхождение слова, а ассоциация по смежности придает ему значение» [Крушевский 1998: 213; выделено мною. — Л. З.].

Определяя значение слова через ассоциацию по смежности, Н. В. Крушевский, по сути, оперирует теми двумя осями ценности, которые были выделены позднее Ф. де Соссюром [Соссюр 1990: 193].

---

<sup>2</sup> В этом вопросе Н. В. Крушевский, по всей вероятности, испытал на себе влияние со стороны не только английских психологов, но и Г. Пауля.

Н. В. Крушевский обращает внимание на возможное преобладание в ассоциации по смежности то одной оси, то другой, или, иначе, то одного типа указанной ассоциации, то другого. По его наблюдениям, «...слова обязаны своим значением ассоциациям смежности вообщем потому, что значение сообщается слову не только его ассоциацией с обозначаемой вещью, но также ассоциацией с теми словами, с которыми оно вместе употреблено в данном случае. При этом может преобладать тот или другой момент: такое слово, как *дуб*, обязано своим значением тому, что им всегда называется известное дерево; слову *вид* значение сообщается уже отчасти членами того ряда, в который входит слово, напр. “перед нами был прекрасный *вид*”, “плод этот имеет *вид* яйца”, “я имею *в виду* сделать то-то” и проч.; слову *коса* дает значение только тот ряд, в состав которого оно входит: “у нее была русая *коса*”, “он пошел *с косой* в поле” и проч.» [Крушевский 1998: 221].

Судя по примерам, приводимым Крушевским, упорядочение слов путем ассоциаций по смежности происходит в рамках предложения [Там же: 145, 221], а в случае ассоциации слов по сходству это сходство может быть звуковым, морфологическим и семантиологическим [Там же: 145]. Другие единицы (предложение, морфема, звук / фонема) и отношения между ними интересуют Крушевского лишь постольку, поскольку они связаны с центральной значащей единицей языка как системы знаков — словом, ибо именно «в... слове концентрируется для него жизнь целого языка во всех ее разнородных проявлениях» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 185].

И. А. Бодуэн де Куртенэ поддержал и развил идеи своего ученика, вполне осознавая системообразующую функцию ассоциаций: ведь они являются «своего рода обобщением», помогающим ориентироваться «в хаосе языковых представлений» [Там же, I: 226]. Обобщающая сила ассоциаций, в понимании Бодуэна, тем более велика, что вследствие иерархического членения языкового целого сфера их действия не ограничивается словами. «Подобное же различие влияния ассоциации по сходству и ассоциации по смежности прилагается не только к словам, но и, с одной стороны, к частям слов, или к морфемам, с другой стороны, к предложениям и их соединениям; оно даже применяется к единицам чисто антропофоническим, к фонемам, или звукам, и их соединениям. В каждой из этих частей мы находим как системы, или гнезда, — благодаря ассоциации по сходству, так и ряды — благодаря ассоциации по смежности» [Там же, I: 185].



Участие всех выделяемых в языке единиц в однотипных ассоциациях / отношениях, а значит, действие единых принципов организации на разных ступенях иерархической лестницы, очевидно, обуславливает и тот *параллелизм* фонетики, морфологии и синтаксиса, на который указывал И. А. Бодуэн де Куртенэ в Программе 1876–77 учебного года [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 101–102] и который в 1949 г. был обозначен Е. Куриловичем как *изоморфизм* [Курилович 2000: 21]. Согласно Н. В. Крушевскому, данный параллелизм обнаруживается в общности свойств у всех иерархически упорядоченных языковых единиц, последовательно вычленяемых в речи. Все они характеризуются двумя основными отличительными чертами — *сложностью* и *неопределенностью* [Крушевский 1998: 104, 149].

Таким образом, само иерархическое устройство языка несомненно служит его связыванию в единое гармоническое целое. Вследствие иерархичности единицы языка, помимо ассоциации с себе подобными (т. е. помимо парадигматических и синтагматических отношений), вступают также в отношения с вышестоящими единицами (как их *составные части*) и с нижестоящими единицами (как их *совокупности*) [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 198–199]. Позднее эти отношения Э. Бенвенист назвал интегративными и конститутивными. Благодаря им выявляются форма и структурное значение языковых единиц [Бенвенист 1974: 135–137], в частности функциональное предназначение низших единиц — служить материалом для построения высших.

Формальное разложение той или иной единицы на составные части, а следовательно, и выделение низших единиц зависят от их функционирования в составе высших. Так, разложение фонемы на составные произносительно-слуховые элементы (признаки) производно от фонетической альтернации морфем в слове и слов в предложении. Соответственно и упорядочиваются фонемы (во всяком случае, в таком грамматичном языке, как русский) «с точки зрения применимости фонетических различий в морфологии языка» [Бодуэн де Куртенэ 1917: 86].

Определив фонему как фонетический компонент морфологической части слова, Бодуэн убежден в значимости всей иерархии этих интегративных межуровневых связей — не только непосредственных, но и опосредованных — для самого существования фонемы. Фонема как фонетическая единица (простой звук) и как составная часть морфемы «подвергается разнообразным влияниям». Для функционирования же фонемы в слове небезразличен его двусторонний характер; и фонетическое строение слова, и его психические (семантические)



свойства (семасиологические или морфологические) влияют на реализацию фонемы, причем по-разному [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 322–323].

При определении функциональных свойств других фонетических средств в данном языке также следует учитывать многомерный характер конституируемых значащих единиц. Так, функциональная природа словесного ударения меняется в соответствии с многомерностью слова как промежуточного звена между предложением и морфемой. Согласно Бодуэну, ударение может быть свойственно слову либо как синтаксическому целому, и тогда носителем ударения постоянно выступает определенный слог (первый в чешском, предпоследний в польском, последний в армянском), либо как морфологически сложному целому, и тогда ударением выделяется та или другая морфема (таково, например, морфологически подвижное русское ударение) [Там же, II: 34–35].

Гармоническая целостность системы языка — при всей ее сложности и противоречивости — отражается и в целостности языковых знаков. Как ни рассматривать слово, в понимании Крушевского, «и с внешней, и с внутренней стороны оно составляет одно целое» [Крушевский 1998: 162].

С внешней стороны в результате переинтеграции групп физиологических работ и акустических качеств звуков в составе слова звуки взаимно аккомодируются. «Эта аккомодация и есть цемент, который превращает несколько звуков в одно цельное сочетание» [Там же: 113]. «...Поскольку звуко сочетание не может быть рассматриваемо как механическое сопоставление звуков, постольку и слово не может быть рассматриваемо как механическое сопоставление морфологических элементов» [Там же: 151], о чем свидетельствует их внешняя (звуковая) и внутренняя (семантическая) вариация в процессе интеграции слова. Характер вариации соотнобразуется с направлением морфологической ассимиляции в соответствующих языках [Там же: 156–162]. По заключению Крушевского, ассимиляция — «это *интегрирующая сила, которой обуславливается морфологический процесс языка*» [Там же: 57].

Помимо соответствия между соприкасающимися звуками двух соседних морфологических единиц, *в качестве цемента*, связывающего отдельные морфологические элементы слова в одно целое так, что «проведение границ между отдельными морфологическими единицами слова часто бывает весьма трудно» [Там же: 165], в ариоевропейских языках выступает *ударение* (и сопровождающие его явления

в звуках слова), в туранских языках — *гармония гласных* [Бодуэн де Куртене 1963, I: 103–104, II: 34–35; Крушевский 1998: 163, 170].

*С внутренней стороны целостность слова регулируется отношением между объемом и содержанием входящих в него морфем*, так что слово, состоящее из префикса, корня и суффикса, «представляет ряд элементов, нисходящий по отношению к определенности содержания и восходящий по отношению к объему» [Крушевский 1998: 161–162].

Связь между двумя сторонами словесного знака, так же как между фонетической и семасиологически-морфологической сферами языка в целом, не является чисто внешней. И хотя «непосредственная связь, параллельность этих двух сторон языка а priori не является необходимой, и действительность этого не подтверждает» [Бодуэн де Куртене 1963, I: 182], тем не менее Бодуэн полагает, что «нервному центру, мозгу в отношении языка свойственна способность осуществления *симметрии, гармонии между содержанием и формой*, следовательно, сближения по форме того, что является близким по содержанию, и, наоборот, сближения по содержанию того, что является близким по форме, а также различие в форме того, что является разным по содержанию, и, наоборот, различие в содержании того, что является разным по форме» [Там же, I: 226; выделено мною. — Л. 3.].

Определенное объяснение указанной тенденции можно найти у Н. В. Крушевского. По-видимому, не без влияния В. фон Гумбольдта, рассматривавшего язык в качестве посредника между миром внешних явлений и внутренним миром человека, а может быть, и модистов, возводивших грамматику к миру вещей, Н. В. Крушевский, исходя из неразлучности — в силу ассоциации по смежности — представления о вещи с представлением о соответствующем слове, заключает: «Слова должны классифицироваться в нашем уме в те же группы, что и обозначаемые ими вещи» [Крушевский 1998: 147]. В соответствии с окружающим нас внешним миром «представления наши будут представлениями о предметах и их действиях или состояниях, о качествах этих предметов, их количествах и отношениях, о качествах их действий или состояний. В языке мы имеем те же группы: имена существительные с местоимениями и числительными, глаголы, имена прилагательные, наречия» [Там же].

Благодаря систематизирующей и обновляющей творческой силе производства [Там же: 194, 210] в языке на основе ассоциаций по сходству (звуков, структуры, значения) образуются известные типы слов,

известные структурные семейства, системы типов, общих и частных категорий, соответствующие — с большей или меньшей точностью — системам понятий, среди которых выделяются такие общие категории, как предмет, его признак, его действие и проч. [Крушевский 1998: 181]. При этом Крушевский, стремившийся уже в своей магистерской диссертации путем разграничения типов чередований выявить связь фонетических явлений с морфологическими категориями, не исключает, что упорядочение систем находится в связи с фонетическими качествами языка [Там же: 182]. Не случайно, как видно из наблюдений над афатиками, в общее представление о данной категории слов «входит известное количество слогов с известным окончанием и акцентуацией» [Там же: 219]. «Целые серии слов, сходных в чем-нибудь по значению, представляют также известное наружное сходство; примером может служить серия таких глаголов, как *водѣть*, *возѣть*, *носѣть*, *ходѣть*» [Там же: 190]. «Слова, образующие одну семью, благодаря сходству своей функции (напр. предлоги), или один ряд, благодаря своей смежности (напр. числительные), мало-помалу путем производства приобретают также сходные наружные признаки» [Там же: 193].

Каждой знаменательной части речи соответствует в языке известный общий тип, в свою очередь подчиняющийся действию ассоциации по сходству, которое может касаться разных сторон слова. В результате «слова, обозначающие предметы, их качества, их действия или состояния и проч., отличаются друг от друга не только своим содержанием, но и своей внешностью, своей структурой и — в известной степени — своими звуками» [Там же: 147]. В частности, названным системам понятий с большей или меньшей точностью соответствуют такие «наиболее выдающиеся» и «наиболее компактные» системы грамматики, как *склонение*, *спряжение* и *изменение по степеням* [Там же: 181]. Отсюда соответствие мира слов миру мыслей как *основной закон* развития языка, в определении Крушевского [Там же: 148].

Этому закону в конечном счете подчиняется и действие таких деструктивных факторов, как фонетическое и морфологическое вырождение, производство параллельных форм, воспроизводство часто употребляющихся слов с грамматическими отклонениями [Там же: 170–171]. Нарушая гармоничное соответствие внутренних различий внешним, при котором в идеале для каждого особого понятия и для каждого особого оттенка надо бы иметь особое и только одно внешнее выражение, особый знак [Там же: 162–163], «деструктивные

факторы снабжают язык материалом, необходимым как для поддержки его существования, так и для его прогресса» [Крушевский 1998: 180]. В частности, «фонетическое и морфологическое вырождение и сами по себе, и соединяя свои усилия дают звуку новые корни путем разветвления старых» [Там же]. Этому способствует то немаловажное обстоятельство, что необусловленная фонетически вариация корня в большинстве случаев является «осмысленной» и сопряжена с его внутренней (семантической) вариацией [Там же: 151], а у суффиксов «звуковые разновидности, вообще говоря, имеют разное значение» [Там же: 159]. Неудивительно поэтому, что в свойственной морфологическим элементам вариации коренится, по Крушевскому, и их генезис: «в языке разновидности суть возникающие виды» [Там же: 173].

Во взаимодействии формы и содержания И. А. Бодуэн де Куртенэ признает ведущей ту сторону, «без которой нет ни слов, ни предложений, ни языкового общения, ни речи человеческой вообще. Это сторона значения и расчленяемости с этой именно точки зрения» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 247].

Если исходить из значения, то общепринятая в грамматиках классификация слов, по мысли Н. В. Крушевского, не выдерживает критики. «...Более правильной классификацией была бы такая, по которой все слова делились бы на знаменательные, имя и глагол, и незнаменательные, служебные или частицы разных степеней (знаменательности. — Л. З.): первой степени, напр. наречия, в которых элемент знаменательности еще очень силен, второй, напр. предлоги, которые гораздо менее знаменательны, и так далее до частиц, вроде русской *то* и греческой *υε*, частиц вполне служебных, лишенных всякой знаменательности и самостоятельности» [Крушевский 1998: 208].

Значимость семантики во взаимодействии с другими условиями (критериями) обособления морфологических элементов можно проследить на примере суффикса. По наблюдениям Крушевского, обособлению суффикса способствует: «1) когда звуковой комплекс, к которому он присоединяется, находится в языке и без этого суффикса, но также и без того оттенка в значении, который сообщается этим суффиксом. Так, напр., суффикс *-ик* слова *домик* обособляется хорошо, как отдельная морфологическая единица, сообщающая слову уменьшительно-ласкательный оттенок, потому что рядом имеется слово *дом* без этого суффикса, но также и без этого оттенка в значении. 2) Когда он находится в целом ряде слов, придавая постоянно один и тот же оттенок значению коренного комплекса звуков. Так,

наш суффикс *-ик* можно найти в весьма многих словах, причем каждое из них имеет уменьшительно-ласкательный оттенок. 3) Наконец, само собою понятно, что если данный суффикс всегда придает один какой-нибудь оттенок значению корня и если кроме этого суффикса язык не имеет никакого другого для выражения того же оттенка значения, то это не может не способствовать лучшему обособлению суффикса. В русском и вообще в ариоевропейских языках трудно показать суффиксы, которые бы вполне обладали указанными качествами. Потому можно видоизменить сказанное следующим образом: способность суффикса к обособлению обратно пропорциональна широте его значения и числу суффиксов, родственных данному по своему значению» [Крушевский 1998: 155].

Принимая во внимание ведущую роль содержательной стороны, нетрудно понять, почему морфологическая и семантическая девальвация морфем может быть чревата немаловажными последствиями для всего языкового строя (ср. синтетический латинский язык с аналитическим французским) [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 321–322].

Доминированием содержания над формой объясняется также наблюдаемое во всех «естественных» языках «стремление к упрощению формальных типов, к устранению нерациональных формальных различий, не оправдываемых ассоциацией с представлениями различий значения» [Там же, II: 156].

Что касается незначущих единиц языка, то Бодуэн убежден: фонемы и вообще все произносительно-слуховые элементы «становятся языковыми ценностями... только тогда, когда входят в состав всесторонне живых языковых элементов, каковыми являются морфемы, ассоциируемые как с семасиологическими, так и с морфологическими представлениями» [Там же, II: 276]. Будучи «частными представлениями общего процесса социализации или обобществления» [Там же, II: 280], морфологизация и семасиологизация, с точки зрения Бодуэна, являются чрезвычайно важной стороной языкового мышления [Там же, II: 320]. Это подтверждается, в частности, большей «социальной ценностью» тех фонем, элементы которых отличаются более высокой степенью морфологизации. «Морфологическая ценность» тех или других элементов обуславливает их социальную ценность, а потому и устойчивость. «Морфологическая и семантическая девальвация морфем», наоборот, имеет следствием далекоидущие изменения [Там же, II: 321–322]. Так, «уничтожение следов происхождения и интеграция слова делает возможными разнообразные фонетические изменения» [Крушевский 1998: 198].

Например, озвончению глухого согласного в середине слова под влиянием соседних гласных значительно способствует строение слов «с исчезнувшим чутьем границ между морфемами» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 38]. Напротив, вполне устойчивы не только фонемы, служащие экспонентами аффиксов [Там же, I: 233; II: 306], но и фонемы, которые играют «крайне важную морфологическую роль как морфологический сустав или морфологическая граница между двумя морфемами» [Там же, II: 339] (ср. с наблюдениями Г. Гийома над так называемой *осевой согласной* в индоевропейских языках, в частности во французском [Гийом 1992: 41–42]).

Из сказанного ясно, что между разнообразными фонетическими и морфологическими чертами языкового целого должна существовать взаимная связь [Крушевский 1998: 70] и что управляющие развитием языка фонетические, морфологические и другие законы «могут скрещиваться и парализовать действие друг друга» [Там же: 66], а могут и поддерживать его. Например, в ариоевропейских языках «общее направление морфологической абсорбции — от конца слова к его началу — находится в зависимости от общего направления фонетических изменений» [Там же: 93]: «...*регрессивное направление морфологической абсорбции обуславливается прогрессивным направлением комбинационно-фонетических изменений*». В противоположном случае «...*регрессивная фонетическая ассимиляция вызовет прогрессивную морфологическую абсорбцию*» [Там же: 64].

Если, однако, за исходную точку при определении направления ассимиляции звуков брать не пассивный звук, подвергающийся изменению, как это делают Н. В. Крушевский и его предшественники, а звук активный, агрессивный, приводящий к изменению, как предлагает И. А. Бодуэн де Куртенэ, то тогда оказывается, что «...на существующей фазе исторического развития ариоевропейских языков как фонетическое, так и морфологическое завоевание идет от конца слова к его началу», т. е. обнаруживается «полнейшее соответствие между обоими направлениями» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, I: 161]. Как бы то ни было, морфологическая абсорбция и фонетическая ассимиляция коррелируют друг с другом.

Выявленные закономерности внутреннего строя языка позволяют Н. В. Крушевскому сделать ряд важных выводов:

1) «Языковые элементы — звуки, морфологические единицы, слова, выражения — не возникают в одном экземпляре; язык создает их целыми сериями» [Крушевский 1998: 189];

2) «Само собою разумеется, что каждая словесная категория находится в таком более или менее определенном отношении сродства и зависимости не с одной какой-нибудь категорией, а со многими, потому-то несмотря на все уклонения язык представляет одно гармоническое целое» [Крушевский 1998: 191];

3) «...Всё в языке, что только основано на производстве, будет проявлять стремление к стройной системе» [Там же: 192]. «Вся масса негармонирующих с данной языковой системой продуктов воспроизводства мало-помалу сглаживается, или уступая систематизирующей и обновляющей силе производства, или вполне отчуждаясь от прежних своих родичей и получая самостоятельность» [Там же: 194].

В итоге И. А. Бодуэном де Куртенэ и Н. В. Крушевским доказана **целостность** языковой системы, а именно:

1) вскрыты механизмы разложения языкового целого и каждой из двух его сторон на элементы, причем анализ этот доведен до конца, в частности впервые введены понятия морфемы, фонемы и ее составляющих;

2) выявлены и описаны основные типы отношений, связывающие между собой единицы одного ранга на разных ступенях членения языкового целого;

3) показаны иерархические отношения между единицами разных уровней и альтернирующими единицами одного уровня;

4) отмечена многомерность каждой из языковых единиц, характеризующая их в отношении а) к единицам того же рода, б) к единицам высшего порядка, в) к единицам низшего порядка;

5) обоснована необходимость различения инвариантных единиц языка и их вариантов;

6) обнаружена отождествляющая роль единиц семасиологически-морфологического членения в идентификации произносимых единиц фонетического членения и тем самым доказан приоритет функционального критерия;

7) через анализ явлений семасиологизации и морфологизации установлена связь частных функций языковых единиц с функцией языкового целого в обществе как надсистеме;

8) раскрыта зависимость «социальной ценности» звуковых элементов от их «морфологической ценности», при этом в понятие ценности включается наряду со статическим *динамический* аспект;

9) определено соответствие мира слов, прежде всего знаменательных частей речи, внешнему и внутреннему миру человека — миру вещей и миру мыслей (миру понятий).



**Ф. де СОССЮР**, утверждавший независимость языковых знаков от реальности, с одной стороны, и неподвластность языковых знаков воле индивидуальной и социальной — с другой, по существу сводит целостный семиологический анализ языка к одной лишь синтактике, исключая семантику и прагматику.

Ключевые для Ф. де Соссюра понятия *системы*, *отношений* и отчасти *значимости* получают у него более ограниченную трактовку, нежели в концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ.

В отличие от Бодуэна, Соссюр понимает под системой не выполняющую определенные функции в надсистеме целостную совокупность элементов, взаимосвязанных определенными отношениями, а лишь совокупность отношений, т. е. структуру, лишенную какой бы то ни было субстанциональности. Поэтому в фокусе его внимания не единицы, а отношения между ними, тем более что «никогда никакой язык не обладал вполне фиксированной системой единиц» [Соссюр 1977: 205] и «...непосредственно наблюдать конкретные сущности или единицы языка невозможно» [Там же: 146]. В отсутствие положительно данных субстанциональных свойств элементы можно выделить только исходя из совокупного целого — как результат совокупного ряда отношений. Ввиду предполагаемой Соссюром первичности системы = структуры и вторичности входящих в нее элементов, определяемых в отсутствие субстанции и отражательных свойств не положительно, но относительно и отрицательно — своими *отношениями* к прочим элементам системы, своими *отличиями* от них [Там же: 149, 151], лингвистический анализ возможен лишь в направлении от отношений в системе к ее членам. Однако стремление Соссюра, «отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до составляющих его элементов» [Там же: 146], не было им реализовано.

Дело в том, что, понимая язык как семиологическую систему, данную в определенном синхроническом состоянии, и поставив в ее центр словесный знак, Соссюр по сути ограничивается анализом двух типов отношений, в которых участвует слово, — синтагматических и ассоциативных.

Анализ иерархических отношений, играющих столь важную роль в обеспечении целостности языковой системы, ограничен у Соссюра отношениями частей синтагмы к синтагме в целом, поскольку эти последние отношения, так же как взаимоотношения между частями синтагмы, включаются в синтагматические отношения [Там же: 160].



Проблему различения инвариантных единиц языка и их манифестаций Соссюр оставляет в стороне. Он замечает, что «...функциональное языку пронизано бесчисленным множеством колебаний, приблизительных и неполных разложений» [Соссюр 1977: 205], но явление вариантности как фундаментальное свойство языка и языковых единиц не получило освещения в его концепции.

Понятие значимости ограничено у Соссюра рамками синхронии ввиду совершенно абсолютной и не терпящей компромисса *противоположности синхронии и диахронии* [Там же: 116]. Рассматривая «языковые единицы как значимости, то есть как элементы системы» [Там же: 165], Соссюр оставляет в стороне всё многообразие отношений, в которых участвует словесный знак, помимо ассоциативных и синтагматических связей.

Исходное определение языка как системы знаков, выражающих понятия [Там же: 54], не удовлетворяет Соссюра потому, что оно не отражает 1) отношения между двумя сторонами знака и 2) отношение знака к другим членам системы. Оба эти отношения покрываются понятием значимости.

Под *значимостью* Соссюр понимает *систему эквивалентностей между означаемым и означающим* [Там же: 113]. Связь между тем и другим «произвольна по самому своему существу» вследствие того, что «...в действительности значимости целиком относительны» [Там же: 145–146]. Поэтому в поисках данных эквивалентностей Соссюр обращается к базовому отношению части и целого, а в этой связи к проблеме тождества элементов, или единиц, языка.

На примере игры в шахматы Соссюр показывает, что та или иная фигура, скажем *конь*, «становится реальным и конкретным элементом в игре лишь постольку, поскольку он наделен значимостью и с нею неразрывно связан» [Там же: 143]. И в такой семиологической системе, как язык, «где все элементы связаны друг с другом, образуя равновесие согласно определенным правилам, понятие тождества сливается с понятием значимости и наоборот. Вот почему понятие значимости покрывает и понятие единицы, и понятие конкретной языковой сущности, и понятие языковой реальности» [Там же].

Таким образом, понятие значимости позволяет Соссюру уточнить понятие знака как элемента системы. Он предупреждает: «...Взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием является серьезным заблуждением. Определить подобным образом член системы — значит изолировать его от системы, в состав которой он входит; это ведет к ложной мысли,

будто возможно начинать с членов системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до составляющих его элементов» [Соссюр 1977: 146].

Поскольку же «...*язык есть система, все элементы которой образуют целое*», значимость языкового знака не сводится к отношению соответствия «между акустическим образом и понятием в пределах слова, рассматриваемого как нечто самодовлеющее и замкнутое в себе»: «...сам этот знак, то есть связывающее оба его компонента отношение, также и в той же степени находится в свою очередь в отношении соответствия с другими знаками языка». В языке как целостной системе «...значимость одного элемента проистекает только от одновременного наличия прочих» [Там же: 147; выделено мною. — Л. 3.].

Явление значимости особенно ярко раскрывается в межязыковых различиях, и это, по мысли Соссюра, говорит не в пользу предустановленных понятий (или, иначе, «врожденных идей»). «Если бы слова служили для выражения заранее данных понятий, то каждое из них находило бы точные смысловые соответствия в любом языке; но в действительности это не так. <...>

Словоизменение представляет в этом отношении особо поразительные примеры. Столь привычное нам различие времен чуждо некоторым языкам... <...> Славянские языки последовательно различают в глаголе два вида» — совершенный и несовершенный. «Эти категории затрудняют француза, потому что в его языке их нет; если бы они были предустановлены [вне зависимости от языка], таких затруднений бы не было. Во всех этих случаях мы, следовательно, находим вместо заранее данных *понятий значимости*, вытекающие из самой системы языка. Говоря, что они соответствуют понятиям, следует подразумевать, что они в этом случае чисто дифференциальны, то есть определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы. Их наиболее точная характеристика сводится к следующему: быть тем, чем не являются другие» [Там же: 149]. «Подобно концептуальной стороне, и материальная сторона значимости образуется исключительно из отношений и различий с прочими элементами языка» [Там же: 150].

«Отношения и различия между членами языковой системы развертываются в двух разных сферах, каждая из которых образует свой ряд значимостей» в соответствии с двумя формами умственной

деятельности, равно необходимыми для жизни языка [Соссюр 1977: 155]. Таковы, с одной стороны, синтагматические отношения, а с другой — ассоциативные отношения. При этом в составе синтагмы «значимость целого определяется его частями, значимость частей — их местом в целом» [Там же: 160]. (Та же закономерность, продолжим, характеризует и языковое целое.)

Поскольку «...в каждом данном состоянии языка всё покоится на отношениях» [Там же: 155], понятие отношения является исходным для понятий различия и значимости. Таким образом, выстраивается следующая цепочка: *отношение* → *различие* → *значимость*. Следовательно, значимость, позволяющая определить знак как элемент системы и часть целого, выводится из различий, выявляющихся в отношениях. Очевидно, именно значимость представляет собой воплощение «некоей внутренней заданности», в которой *состояние* — а значит, и *система* — получает «свое (внутреннее) органическое обоснование» [Соссюр 1990: 90–91]

Из соотносительности понятий значимости и системы вытекает: «...**язык есть система чистых значимостей, определяемая** исключительно **наличным состоянием** входящих в нее **элементов**» [Соссюр 1977: 113; выделено мною. — Л. З.].

### 9.3. Характеристика отношений в структурной лингвистике

В последующий период под воздействием идей Ф. де Соссюра о примате отношений над элементами интенсивно развивается структурная лингвистика. Влияние системного учения И. А. Бодуэна де Куртенэ на тот момент оказалось не столь значительным.

**СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА** уделяет первостепенное внимание изучению структуры как сети отношений, определяющих реляционные (= системоприобретенные) свойства языковых элементов.

К тому времени понятием *структуры* овладевает уже целый ряд наук. В частности, в гештальтпсихологии в его основу был положен принцип *целостности*. Согласно автору «Технического и критического философского словаря» (1926) французскому философу А. Лаланду, на которого ссылается В. Брэндал в статье «Структуральная лингвистика» (1939), слово *структура* употребляется в психологии «для обозначения целого, состоящего, в противоположность простому сочетанию элементов, из взаимообусловленных явлений, из которых каждое зависит от других и может быть таковым только в связи

с ними». В том же словаре швейцарский психолог Э. Клапаред дает следующее определение структурализма: «Сущность этой концепции состоит в том, что явления необходимо рассматривать не как сумму элементов, которые прежде всего нужно изолировать, анализировать и расчленивать, но как целостности, состоящие из автономных единиц, проявляющие внутреннюю взаимообусловленность и имеющие свои собственные законы. Из этого следует, что форма существования каждого элемента зависит от структуры целого и от законов, им управляющих» (цит. по: [Брэндалл 1960: 43]).

Основные направления лингвистического структурализма: *Пражская школа* и *глоссематика* в Европе, *дескриптивная лингвистика* в США — ставят своей целью превратить языкознание в подлинно самостоятельную науку. Но не все они при этом опираются на понятие *целостности* языка, которое В. Брэндалл называет «наиболее характерной чертой структурализма» [Там же: 44]. Дело в том, что, принимая подход к языку как к системе знаков и сосредоточиваясь на анализе отношений, составляющих структуру языковой системы, отдельные направления далеко не в равной степени учитывают *отношения языка к своим надсистемам*.

Создатель *глоссематики* Л. Ельмслев, стремившийся освободить лингвистику от изучения какой бы то ни было внеязыковой реальности, с тем чтобы сам язык стал целью имманентного знания [Ельмслев 1960в: 265], всю языковую проблематику, по заключению В. Скалички, сводит к проблеме структуры, или формы (см. [Скаличка 1960: 99]), понимаемой как сеть зависимостей, или функций.

В противоположность глоссематике, «представители **Пражской школы**, — говорится в коллективных тезисах 1958 г., — считали важнейшей чертой языковых систем их функциональное назначение, практическое использование языка» (цит. по: [Вахек 1964: 250]), и потому они никак не могли обойти вниманием отношение языка к окружающей среде. В соответствии с принятой за основу функционально-структуральной ориентацией Пражская школа «понимает язык как структуру, образованную языковыми знаками, ... характеризующимися тесной связью с реальностью. Структура языка, разумеется, представляет собой социальное явление и носит функциональный характер» (Navránek В. 1940; цит. по: [Там же: 115]). Соответственно, прагмы стремятся осветить все три типа отношений и три разные проблемы, названные В. Скаличкой: «1. Прежде всего отношение языка к внеязыковой действительности, т. е. проблему семиологическую. 2. Отношение языка к другим языкам, т. е. проблему

языковых различий. 3. Отношение языка к его частям, т. е. проблему языковой структуры» [Скаличка 1960: 98].

Первостепенная значимость связи языка с реальностью продиктована знаковой природой языка. В программных тезисах, составленных редакцией журнала «Slovo a slovesnost» в 1935 г., Б. Гавранек, В. Матезиус и др. пишут по этому поводу: «Язык может информировать нас прежде всего *об объективных отношениях*, то есть *об отношениях между знаком и реальностью*, к которой знак относится, так как язык, устный и письменный, *стремится* главным образом *выражать реальность, влиять на нее* прямо или хотя бы косвенно». «Знак по самой своей сущности — это явление *социальное*. Он предназначен служить посредником между членами одного коллектива и может быть понят только на базе всей системы значимостей, общей для этого коллектива. Язык, разумеется, *располагает, помимо двух субъектов* — того, кто посылает знак, и того, кто его воспринимает, — еще *третьим постоянным моментом, определяющим внутреннее строение знака*: той реальностью, которую знак *отражает*» (цит. по: [Вахек 1964: 68; выделено мною. — Л. 3.]).

Типы отношений, которые учитываются **в дескриптивной лингвистике**, как будто не ограничиваются отношениями между речевыми формами. Так, согласно Л. Блумфилду, идеи которого — и прежде всего его книга «Язык» (1933) — стали исходными для Йельской школы дескриптивизма, термин *значение* «должен охватывать все стороны семантического содержания (semiosis), которые можно установить благодаря философскому или логическому анализу: отношение на различных уровнях речевых форм к другим речевым формам, отношение речевых форм к неязыковым ситуациям (предметы, явления и т. д.) и отношения, опять на различных уровнях, к лицам, принимающим участие в процессе общения» (Bloomfield L. 1939: 18; цит. по: [Фриз 1965: 270]).

Поскольку же для антименталиста Л. Блумфилда «язык — это простейшая и самая главная из всех наших социальных (то есть свойственных только человеку) форм поведения» [Блумфилд 1968: 53], не имеющая отношения к так называемым *мыслительным процессам* [Там же: 145–147], постольку значение языковой формы он определяет с позиций бихевиоризма, а именно — «как ситуацию, в которой говорящий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слушающего» [Там же: 142].

В сумме ситуации каждого говорящего и реакции каждого слушающего составляют окружающий нас мир и всю совокупность наших знаний [Там же: 72].

Но так как «...мы лишь в редких случаях можем точно сформулировать значение какой-либо языковой формы» [Блумфилд 1968: 73], то ввиду *неуловимой природы значений* [Там же: 223] теоретически возможно если не исключить вовсе, то ограничить обращение к значению не только при анализе незначащих единиц фонематической системы. Такой подход допустим и при описании значащих единиц грамматического уровня. Описывая значения морфем, т. е. семемы, «лингвист исходит из того, что каждая семема представляет собой постоянную и определенную единицу значения, отличающуюся от всех других значений, то есть от всех других семем данного языка, но дальше этого лингвист пойти не может» [Там же: 169].

Тем самым подводится база под дескриптивный метод лингвистических исследований. Суть его Л. Блумфилд, руководствуясь принципами бихевиоризма, механицизма, физикализма и операционализма (подробнее см. [Фриз 1965: 264]), формулирует так: «Язык любого языкового коллектива предстает перед наблюдателем как сложная сигнальная система» [Блумфилд 1968: 311]. «...Сигналы (языковые формы с морфемами в качестве наименьших сигналов) состоят из различных сочетаний сигнальных единиц (фонем), и каждое такое сочетание произвольно закрепляется за определенным явлением окружающего нас мира (семемой). *Можно анализировать сигналы, но не то, что они сообщают.*

Это еще раз подтверждает тот *общий принцип*, согласно которому *изучение языка всегда должно отправляться от фонетической формы, а не от значения*. Фонетические формы — скажем, весь запас морфем языка — могут быть описаны в терминах фонем и их последовательностей, и на этом основании они могут быть расклассифицированы и перечислены в каком-либо удобном порядке, например в алфавитном; значения же... мог бы проанализировать или систематически перечислить разве что только всеведущий исследователь» [Там же: 170; выделено мною. — Л. З.]. Поэтому «было бы серьезной ошибкой пытаться использовать данное значение (как и вообще любое значение), а не формальные признаки в качестве отправного пункта лингвистического исследования» [Там же: 180–181].

Аналогичную точку зрения защищают Дж. Трейджер и Г. Смит-мл. Если «значения как ориентир помогают слабо», «в этом случае становится очевидной теоретическая основа анализа: она заключается в установлении повторяемости (recurrences) и дистрибуции сходных моделей

и последовательностей» (Trager G., Smith Jr. H. L., 1951; цит. по: [Фриз 1965: 274]).

З. Хэррис из двух критериев в определении морфемы — дистрибуции и значения — также отдает предпочтение первому: «... в строго дескриптивном лингвистическом исследовании значение может быть использовано только эвристически, как источник догадок, а определяющие критерии приходится всегда выражать в терминах дистрибуции» (Harris Z. S. 1951; цит. по: [Там же: 274]). При этом как-то упускается из виду, что, по Л. Блумфилду, даже «фонология предполагает рассмотрение значений» [Блумфилд 1968: 76].

С исключением семантической сферы отношение языка к действительности в сущности выпадает из поля зрения Йельской школы дескриптивизма.

Соответственно принятому принципу освещения отношения между языком и объективной реальностью меняется и анализ *языка в отношении к времени* как категории бытия.

Для *глоссематики* с ее установкой на универсальность, абстрагирующуюся от специфики отдельных языков и их изменений во времени, можно считать типичной ориентацию на *панхронию* или *ахронию*. По словам В. Брэндаля, это «факторы общечеловеческие, стойко действующие на протяжении истории и дающие о себе знать в строе любого языка» [Брэндаль 1960: 45].

**В Пражской школе** понятие структуры разрабатывается применительно как к *синхронии*, так и к *диахронии* [Трнка и др. 1960: 103, 108–110]. Уже в Тезисах ПЛК, опубликованных в 1929 г., обосновывается необходимость сочетания синхронических и диахронических методов, чтобы познать язык в его цельности: «... Целью языковых изменений часто является именно установление системы, ее сохранение, ее восстановление и т. д. Поэтому диахроническое исследование не только не исключает понятий системы и функции, а, напротив, без учета этих понятий такое исследование оказывается неполным. С другой стороны, синхроническое описание также не может полностью исключить понятия эволюции. В любой синхронно рассматриваемой части языковой системы сосуществуют и осознаются элементы прошедшего состояния, современного состояния и формирующегося будущего состояния» (цит. по: [Вахек 1964: 196]). Ранее эти факты получили глубокое освещение и объяснение в трудах А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртене (см. об этом [Зубкова 2002/2003]).

Ориентированная на *синхронию* **дескриптивная лингвистика** не исключает диахронический анализ. Больше того, З. Хэррис пред-



полагает, что «после того как наука о языке достигнет более высокой стадии развития, возможно будет, очевидно, предсказывать и различные направления фонологических диахронических изменений на основе дескриптивного (синхронического) анализа» [Хэррис 1960: 168–169]. Пока же на очереди синхроническое описание, ибо «адекватная дескриптивная информация о языках — это необходимая посылка для понимания истории» [Блумфилд 1968: 559].

Расходясь в мнениях относительно существования языка во времени, основные структуральные направления различаются и по тому, какие *типы отношений* внутри языковой структуры получают преимущественное освещение в каждом из них.

**Американская дескриптивная лингвистика**, движимая антиментализмом Л. Блумфилда, в исследовании языка руководствуется его *установкой на изучение явлений, доступных наблюдению* по времени и месту (см. [Фриз 1965: 250, 264]). «Эта установка на наблюдаемость, — подчеркивает В. В. Белый, — является чрезвычайно характерной и, более того, фундаментальной общеметодологической чертой американского дескриптивизма» [Белый 1977: 161]. Данное обстоятельство объясняет, почему, характеризуя язык как предмет лингвистики, Л. Блумфилд неоднократно указывает: «Исследователей языка интересует прежде всего именно речевой акт» [Блумфилд 1968: 41], «в принципе исследователя языка интересует только сама речь» [Там же: 72]. Поскольку же «акт речи есть *высказывание*», постольку «совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в речевой общности, есть *язык* данной речевой общности» [Блумфилд 1960: 145]. В приведенных определениях явно просматривается *отождествление языка с речью*.

Соответственно этому в дескриптивистике на первый план выдвигаются *непосредственно наблюдаемые* в речи **синтагматические отношения**, главным образом на уровне фонем и на уровне морфем. Основной целью дескриптивного исследования является «отношение порядка расположения (дистрибуция) или распределения (аранжировка) в процессе речи отдельных ее частей или признаков относительно друг друга» [Хэррис 1960: 154]. «Сначала устанавливаются дифференциальные фонологические элементы и исследуются отношения между ними. Затем определяются морфологические элементы и исследуются отношения между ними» [Там же: 155].

Различаются *два типа дистрибуции* — *неконтрастирующая* и *контрастирующая*. Неконтрастирующая дистрибуция характеризует лингвистически тождественные элементы — *варианты*. Контра-



стирующая дистрибуция характеризует лингвистически нетождественные *инвариантные единицы*.

По определению Ч. Хоккета, «два элемента одного типа (т. е. два аллофона, два морфа и т. п.) находятся в неконтрастирующей дистрибуции, 1) если они находятся в дополнительной дистрибуции и 2) если они находятся в отношении частичной дополнительности, в то время как в тех окружениях, в которых они оба встречаются, они находятся в свободной альтернации» (Hockett C. F. 1947; цит. по: [Хэмп 1964: 128]). Согласно уточненной формулировке Б. Блока, неконтрастирующими являются «два или более сегмента, сочетания или компонента, находящиеся: а) в отношении дополнительной дистрибуции друг с другом, б) в свободной вариации друг с другом или в) в отношении частично дополнительной дистрибуции, а частично свободной вариации друг с другом» (Bloch B. 1948; цит. по: [Там же]). Напротив, «если *a* и *b* встречаются в соответствующих друг другу позициях в высказываниях, относящихся к различным классам эквивалентности, то они обнаруживают контрастную дистрибуцию». Между членами контрастной пары «наблюдаются различия при сходном контексте» (Hockett 1942; цит. по: [Там же: 95–96]).

Дистрибутивные критерии стали для дескриптивистов исходными *при определении элементов на двух основных уровнях — фонологическом и грамматическом* (Hockett 1942; цит. по: [Там же: 229]). На фонологическом уровне «фонетических данных должно быть достаточно для объяснения фонемного анализа, хотя он мог быть подсказан морфологией» (Welmers W. E. 1947; цит. по: [Там же]). Однако морфологические подсказки, опирающиеся на значение, в принципе избегаются.

Анализ начинается с разделения потока речи — высказывания — на последовательные отрезки. «Всякий раз, когда два сегмента, будь они смежные или нет, производятся одним и тем же артикуляционным способом и являются акустически тождественными, они представляют собой одну и ту же **фонетическую единицу** или **фон** (Pike K. L. 1944; цит. по: [Там же: 241]).

На следующем этапе вводится понятие *позиции*, дистрибутивного окружения и, соответственно, понятие *аллофона* (термин предположительно принадлежит Б. Л. Уорфу). В отличие от фона, под **аллофоном** понимается «класс таких *фонов*, которые все являются членами одной и той же фонемы и *встречаются* в одинаковом  $\beta$ -фонетическом окружении (*в одной и той же позиции*)» (Hockett 1942; цит. по: [Там же: 35;

курсив мой. — Л. З.]). «Если два аллофона не противопоставлены друг другу, то о них говорится, что они находятся в отношении **дополнительности** или в **дополнительной дистрибуции**; это означает, что ни один из них не встречается в том окружении, в котором встречается другой» (Hockett 1958; цит. по: [Хэмп 1964: 36]).

К определению **фонемы** в дескриптивистике обращались многие лингвисты. К дистрибутивному критерию прибегают, в частности, Б. Блок, Дж. Трейджер, Ч. Хоккет. С точки зрения Б. Блока и Дж. Трейджера, высказанной в 1941 г., «звуковые типы, образующие фонему, должны быть фонетически сходными, находиться в отношении дополнительной дистрибуции и согласованности моделей; класс, составленный таким образом, должен контрастировать и быть взаимоисключающим по отношению к любому другому такому же классу в данном языке. Пересечения фонем не допускается» (цит. по: [Там же: 235]). Годом позже определение становится более лаконичным: «**Фонема** — это класс фонетически сходных звуков, контрастирующих и взаимоисключающих все (другие) подобные классы в том же языке»; «Фонема лишена значения» (цит. по: [Там же: 236]). В 1948 г. Б. Блок предлагает уточненный вариант определения: «Фонема — это класс звуков в высказываниях на данном диалекте, таких, что а) все члены (этого) класса содержат признак, отсутствующий во всех других звуках; б) различия между ними находятся в дополнительной дистрибуции или в свободной вариации; в) [этот] класс принадлежит множеству классов, которые взаимно контрастируют друг с другом, а вместе взятые исчерпывают (все звуки)» (цит. по: [Там же]). В определении Ч. Хоккета, данном в 1942 г., «фонема является классом фонем, определяемых шестью критериями»: 1) *сходством* одного или более признаков, 2) *непересечением* с другими фонемами, 3) *контрастной и дополнительной дистрибуцией*, 4) *полнотой* (учета признаков и фонем), 5) *согласованием моделей*, касающихся отдельных фонем, с общей фонемической моделью данного языка, 6) *экономностью*, предполагающей установление наименьшего числа фонем [Там же: 236, а также 155, 203, 217, 259].

На грамматическом (морфологическом) уровне триада *фон* — *аллофон* — *фонема* соответствует триада *морф* — *алломорф* — *морфема* (см. [Там же: 34–35, 115–118]).

*Иерархические отношения* между единицами разных уровней Л. Блумфилд и его последователи обычно рассматривают в направлении «снизу вверх» — *от фонемы к морфеме*, далее *к высказыванию и языку*.

В комплексных языковых формах Л. Блумфилд отмечает обратное направление иерархических связей. «...Каждая комплексная форма целиком строится из морфем» [Блумфилд 1968: 170] и «целиком разлагается... на морфемы» как *конечные составляющие* [Там же: 168–169]. В частности, «английская форма Poor John ran away “Бедный Джон убежал прочь” состоит из пяти морфем: poor, John, ran, a- (связанная форма, например, в aground “на мели”, ashore “на берегу”, aloft “наверху”, around “вокруг”) и way» [Там же: 169]. Сведение такой комплексной формы, как предложение, к последовательности морфем оставляет в стороне качественные различия между основными значащими единицами языка — предложением, словом и морфемой.

Структура комплексных форм выявляется путем анализа по непосредственным составляющим. Так, «...*непосредственными составляющими* Poor John ran away являются две формы: poor John “бедный Джон” и ran away “убежал прочь”; ...каждая из них в свою очередь представляет собой комплексную форму; ...непосредственно составляющими ran away будут морфема ran и комплексная форма away, составляющие которой — морфемы a- и way, и... составляющими poor John являются морфемы poor и John. Только таким путем надлежащий анализ (то есть такой, при котором учитываются значения) приведет к выделению конечных составляющих морфем» [Там же]. В итоге анализ по непосредственным составляющим явно обнаруживает иерархические отношения между языковыми формами в направлении «сверху вниз» — от наиболее сложных форм к простейшим. Такие отношения имеют место не только в предложении, но и в слове. Именно принцип непосредственно составляющих позволяет Л. Блумфилду выделить определенные классы слов [Там же: 225].

В языках со сложным морфологическим строем Л. Блумфилд усматривает *иерархию* конструкций и различает «несколько *иерархических ступеней* морфологической структуры. Во многих языках эти иерархические ряды распадаются на классы: в структуре комплексного слова, если исходить из его непосредственно составляющих, прежде всего обнаруживается внешний слой *словоизменятельных* конструкций, а затем — внутренний слой конструкций *словообразовательных*». «Так, в английском языке слово actresses “актрисы” состоит, прежде всего, из actress “актриса” и [-ez] — суффикса множественного числа...; actress в свою очередь состоит из actor “актер” и [-ess] — суффикса со значением “женского пола”... Наконец, actor

состоит из аств “играть ” и [-г] — суффикса деятеля» [Блумфилд 1968: 240].

В целом ориентация дескриптивистов на наблюдаемые в речи формальные характеристики безотносительно к семантике и парадигматическим связям, естественно, ограничивает понимание механизмов целостности языка, т. е. его внутреннего единства. Это проявляется в суммативном толковании языка вообще и языковых форм в частности. (О суммативном толковании языка дескриптивистами см., например, [Белый 1977: 177–181].)

Весьма показательны в этом смысле некоторые определения языка. В книге «Язык» Л. Блумфилд пишет: «С физиологической точки зрения язык не является функциональным единством, но складывается из великого множества процессов, которые объединяются в единый всеобъемлющий комплекс навыков, возникающий благодаря повторяемости стимулов на протяжении всей предшествующей жизни человека» [Блумфилд 1968: 51]. «Язык каждого говорящего (за исключением индивидуальных особенностей...) — это *результат сложения* всего того, что он слышал от других людей» [Там же: 60; здесь и выше выделено мною. — Л. З.]. Соответственно язык определяется как *совокупность* или *множество* тех или иных элементов. Напомню определение, данное Л. Блумфилдом в статье «Ряд постулатов для науки о языке» (1926). Оно исходит из того, что «акт речи есть *высказывание*». Поэтому «совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в речевой общности, есть *язык* данной речевой общности» [Блумфилд 1960: 145]. Б. Блок понимает под языком «множество условных слуховых символов, с помощью которых члены речевой общности вступают во взаимодействие друг с другом» (цит. по: [Хэмп 1964: 261]).

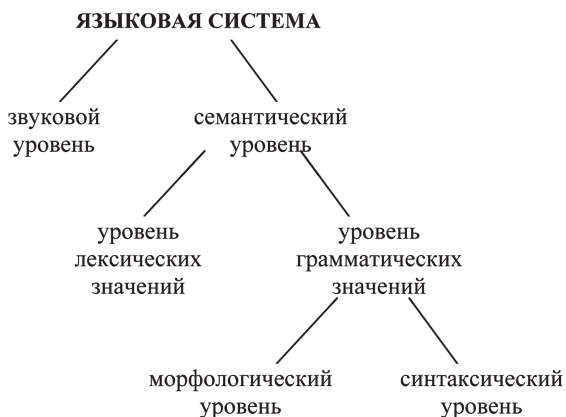
Если, предположим, «каждое высказывание полностью образуется формами», а «каждая форма полностью образуется фонемами» [Блумфилд 1960: 146–147], то кажется логичным заключить: «...каждое высказывание может быть полностью идентифицировано как комплекс элементов фонематики, но каждое высказывание может быть полностью идентифицировано также как комплекс элементов морфематики» [Хэррис 1960: 168].

**Пражская школа**, выросшая на базе *Пражского лингвистического кружка* (ПЛК), стремится «вскрыть законы структуры лингвистических систем и их эволюции» [Тезисы... 1967: 18]. Поэтому она, во-первых, не замыкается в рамках синхронного анализа, а во-вторых, в исследованиях языковой структуры руководствуется

установкой на *функцию*, т. е. назначение, роль, цель. Соответственно в «Тезисах ПЛК» (1929) язык определяется по своей целевой направленности: «...*язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели*» [Тезисы... 1967: 17]. Сообразно со структурным и функциональным характером языка в коллективных тезисах 1958 г. «подчеркивалась важность не только отношений внутри языковых систем, но также отношений языковых систем и языковых проявлений ко внеязыковой действительности», а кроме того, принималась во внимание, хотя и не в достаточной мере, связь между языком и мышлением (цит. по: [Вахек 1964: 250]). Всё это выделяет Пражскую школу среди других направлений структурализма.

В понимании пражцев, язык представляет собой иерархически организованное целое. Это отчетливо показал Б. Гавранек. В 1940 г. он писал: «Структурные отношения между языковыми явлениями неоднородны... [Особую роль играет] отношение между знаком, с одной стороны, и означаемым и означающим — с другой. Основной класс означающих образован с помощью элементов, относящихся к звуковому уровню; в структуре релевантных фактов этого уровня (фонемы и фонематические различия) вскрывается фонологическая система данного языка. В отношении, которое связывает означающее и означаемое со знаком, участвуют звуковой уровень и семантический уровень; этот последний членится на уровень лексических значений (выполняющий номинативную функцию) и уровень грамматических значений. Отношение между этими двумя последними уровнями структурно различно в языках разного типа» (цит. по: [Там же: 228–229]). В 1958 г., продолжая обсуждение вопроса об иерархии языковых уровней, Б. Гавранек отмечает: «...Язык — это чрезвычайно сложная система... Он имеет звуковой уровень и семантический уровень, причем... оба постоянно связаны определенными отношениями. Ясно, что семантический уровень не представляет собой чего-то однородного и единого; однако... придется признать, что на этом уровне лексические и грамматические компоненты связаны более тесно и что семантический уровень как целое противопоставлен звуковому уровню. Внутреннее членение семантического уровня в целом отрицать невозможно; однако было бы опасно рассматривать грамматический и лексико-семантический уровни совершенно изолированно друг от друга. Еще труднее разграничить морфологический и синтаксический уровни. Здесь каждый язык предлагает свое собственное решение, однако это не означает, что языки не имеют между собой ничего общего» (цит. по: [Там же: 229]).

В итоге иерархическое членение языкового целого можно представить так:



Немаловажное значение придается функциональным свойствам языковой системы. Будучи знаковым образованием, нацеленным на выполнение определенных функций, «язык образуется благодаря *совместному функционированию двух систем. Одна из этих систем — семантическая, другая — звуковая.* Обе системы относительно автономны, поскольку они неоднородны; однако, с другой стороны, они тесно связаны и лишь *благодаря их совместному функционированию существует языковая система как инструмент мышления и общения... <...> ...*Эти частные системы, несмотря на существенное различие их субстанций, зависят одна от другой таким образом, что *их совместное согласованное функционирование обеспечивает выполнение основной задачи языка, то есть **взаимопонимание***». Согласованность указанных систем не означает их равновесности, поскольку «*звуковая система... в известном смысле **подчинена семантической системе***», включающей морфологическую, синтаксическую и лексическую системы (Paulíny E. 1958; цит. по: [Вахек 1964: 199–200; выделено мною. — Л. 3.]). Эта подчиненность выражается в смысловоразличительной функции фонологических оппозиций.

Благодаря внутреннему единству, а значит, целостности «...язык предстает как сложная система неразрывно связанных, взаимозависимых фактов, которые даже самая точная лингвистика не может распределить по независимым категориям» (Mathesius V. 1929; цит. по: [Там же: 261]). «Уже с самого детства каждый говорящий усваивает язык

*не как конгломерат случайных элементов, но как систему элементов, систему сложную и — что следует особенно подчеркнуть — не вполне замкнутую»* (Vachek J. 1958; цит. по: [Вахек 1964: 261; выделено мною. — Л. 3.]), ибо «...язык находится в постоянном движении» (Havránek B. 1958; цит. по: [Там же]).

Целям выявления структурных законов языковых систем и, в частности, принципов установления полного состава тех или других элементов служит логическая классификация типов **парадигматических отношений**, которую разработал один из ведущих теоретиков ПЛК Н. С. Трубецкой в своем классическом труде «Основы фонологии» (1939). Кардинальное значение данной классификации состоит в обосновании *корреляции между составом элементов и системой противоположений*.

На материале конкретных фонологических систем Трубецкой доказывает, что «фонемный **состав** языка является, по существу, лишь **коррелятом системы фонологических оппозиций**. ...В фонологии *основная роль принадлежит не фонемам, а смыслоразличительным оппозициям*» [Трубецкой 1960: 74; выделено мною. — Л. 3.]. Именно оппозиции придают каждой отдельной фонеме *качественную определенность*, обуславливая фонологическое содержание. Последнее представляет собой «совокупность всех фонологически существенных признаков фонемы, то есть признаков, общих для всех вариантов данной фонемы и отличающих ее от других и прежде всего от близкородственных фонем в данном языке» [Там же: 73]. «Определение содержания фонемы зависит от того, какое место занимает та или иная фонема в данной системе фонем, то есть в конечном счете от того, какие другие фонемы ей противопоставлены» [Там же: 74]. Отсюда, в свою очередь, следует, что «любая фонема обладает определенным фонологическим содержанием лишь постольку, поскольку система фонологических оппозиций обнаруживает определенный порядок или структуру. Чтобы понять эту структуру, необходимо исследовать различные типы фонологических оппозиций» [Там же: 74–75].

Понятие оппозиции в трактовке Трубецкого, по сути, основывается на отношении **тождества и различия**. В любой оппозитивной системе «противоположение (оппозиция) предполагает не только признаки, которыми отличаются друг от друга члены оппозиции, но и признаки, которые являются общими для обоих членов оппозиции. Такие признаки можно считать основанием для сравнения» [Там же: 75].



В любой системе различаются три класса оппозиций:

- А. по отношению к системе оппозиций в целом —
  - а) одномерные — многомерные,
  - б) пропорциональные — изолированные;
- Б. по отношению между членами оппозиции —
  - а) привативные,
  - б) ступенчатые (градуальные),
  - в) равнозначные (эквивалентные);
- В. по действительности в различных позициях (в разных синтагматических условиях) —
  - а) постоянные,
  - б) нейтрализуемые [Трубецкой 1960: 74–93].

Иерархия указанных трех классов не является случайной. *Первому классу отводится определяющая роль в структурной организации системы.* Так, «структура системы фонем зависит от распределения одномерных, многомерных, пропорциональных и изолированных оппозиций. Именно поэтому и имеет такое большое значение классификация оппозиций по четырем классам. Принципы классификации при этом связаны с системой фонем в целом: одномерность или многомерность оппозиции зависит от того, свойственно ли то, что является общим у членов данной оппозиции, лишь этим членам или же оно присуще и другим членам той же системы; пропорциональный или изолированный характер оппозиции зависит от того, повторяется или нет то же отношение и в других оппозициях той же системы» [Там же: 82].

Есть своя иерархия и *внутри* первого класса противоположений. Вот почему Трубецкой подчеркивает: «Различение одномерных и многомерных оппозиций имеет исключительное значение для общей теории оппозиций. Оно может быть обнаружено в любой оппозитивной системе» [Там же: 75], причем «в любой системе оппозиций многомерные противоположения численно превышают одномерные», что отнюдь не означает несущественности последних. Напротив, «...для определения фонологического содержания фонемы наиболее существенны как раз одномерные оппозиции» [Там же: 76]. Косвенно это подтверждается той ролью, какую играют среди многомерных оппозиций однородные противоположения, «члены которых могут быть представлены в качестве крайних точек “цепочек”... из одномерных оппозиций» [Там же: 76–77]. Такова в немецком языке многомерная оппозиция гласных *и—е* в цепочке одномерных оппозиций *и—о, о—ö, ö—е*. Несмотря на численную ограниченность однородных много-



мерных противоположений сравнительно с неоднородными, «...для определения фонологического содержания фонемы, а следовательно, и для общей структуры фонологической системы однородные оппозиции очень важны» [Трубецкой 1960: 77].

С другой стороны, «в любой системе изолированные оппозиции гораздо многочисленнее пропорциональных». Соотношение между указанными типами оппозиций в различных языках в основном одинаково: «...наибольшую группу образуют изолированные многомерные оппозиции, наименьшую — изолированные одномерные оппозиции; между этими крайними точками располагаются пропорциональные оппозиции, среди которых многомерные всегда преобладают над одномерными» [Там же: 78].

На примере немецкой системы согласных и гласных Трубецкой показывает, что «благодаря различным типам оппозиций достигается внутренняя упорядоченность или структурность фонемного состава как системы фонологических оппозиций» [Там же: 79].

Два других класса оппозиций, особенно последний, в большей степени характеризуют *функционирование* системы.

*Во втором классе тип оппозиции фактически определяется как структурой, так и функционированием системы.* Отношение между членами оппозиции зависит от того, можно ли их представить а) как утверждение или отрицание признака, т. е. как противоположение *маркированного* члена оппозиции *немаркированному*, либо б) как различные ступени одного и того же признака, либо в) они логически равноправны, не являясь ни утверждением или отрицанием признака, ни двумя ступенями какого-то признака. В данном классе оппозиций, различающихся по отношению между противопоставляемыми членами, исключительно важны для фонологии привативные оппозиции. «Градуальные оппозиции сравнительно редки и не столь важны, как привативные. Эквиполентные оппозиции — самые частые оппозиции в любом языке» [Там же: 83].

*При классификации оппозиций по их действительности в различных позициях и, соответственно, по объему смысловозначительной силы Трубецкой исходит из функционирования фонологической системы, понимая под ним «допустимую для данного языка сочетаемость фонем, а также условия фонологической действительности отдельных оппозиций»* [Там же: 86].

Элементы, возможные во всех положениях, образуют постоянную фонологическую оппозицию и, таким образом, являются самостоятельными фонемами. Если, напротив, какие-либо элементы «являют-

ся взаимодополняющими звуками, ... их следует рассматривать не как две самостоятельные фонемы, а как комбинаторные варианты одной фонемы» [Трубецкой 1960: 86]. Если же в одних положениях оппозиция сохраняет свою значимость, а в других утрачивает, значит, в этих последних позициях она нейтрализуется.

«...Нейтрализоваться могут только одномерные оппозиции» [Там же: 87]. «В тех положениях, где способное к нейтрализации противоположение действительно нейтрализуется, специфические признаки членов такого противоположения теряют свою фонологическую значимость; в качестве действительных (релевантных) остаются только признаки, являющиеся общими для обоих членов оппозиции (иными словами, основание для сравнения в данной оппозиции)» [Там же].

Возвращаясь к вопросу о фонологическом содержании фонем, можно заключить, что обособление того или иного различительного признака и степень связи между членами оппозиции обуславливаются характером противоположения. «...Участие двух фонем в одномерной пропорциональной привативной и к тому же нейтрализуемой оппозиции способствует, с одной стороны, несложному анализу фонологического содержания этих фонем, поскольку дифференциальный (различительный) признак в данном случае легко обособляется от общего (= основания сравнения), и, с другой стороны, трактовке этих фонем как особенно близкородственных между собой. В противоположность этому две фонемы, являющиеся членами изолированной многомерной (и, следовательно, ненейтрализуемой) оппозиции, максимально неясны в отношении своего фонологического содержания и максимально далеки друг от друга по степени родства» [Там же: 94].

Как видно, роль различных типов оппозиций в структурировании системы далеко не одинакова. «Чем больше в данной системе нейтрализуемых привативных пропорциональных одномерных и однородных оппозиций, тем структура, связи внутри нее прозрачнее; наоборот, чем более доминируют в данной системе логически эквивалентные изолированные многомерные и разнородные оппозиции, тем связи внутри структуры менее прозрачны» [Там же: 94]. Чтобы выделить привативные пропорциональные одномерные оппозиции среди всех прочих, для парных фонем, участвующих в такой оппозиции, вводится новое толкование термина корреляция. Под ней Трубецкой понимает «совокупность всех коррелятивных пар, обладающих одним и тем же коррелятивным признаком» [Там же: 95].

Подытоживая результаты анализа трех способов классификации оппозиций, Трубецкой еще раз указывает на их общеязыковую значимость: «Эти способы рассмотрения и принципы классификации имеют силу для *любой*, а не только фонологической *системы оппозиций*. Они не заключают в себе ничего специфически фонологического» [Трубецкой 1960: 100; выделено мною. — Л. 3.].

Следует особо подчеркнуть, что Н. С. Трубецкой и другие пражцы, учитывая позиционные условия действительности отдельных оппозиций, анализируют парадигматические отношения *в единстве* с синтагматическими. Представители Пражской школы не признают жесткого разделения на «синтагматику» и «парадигматику» в языковом анализе, «так как оба эти отношения проходят через все слои языка» [Трнка и др. 1960: 107]. «...Отношения и носители отношений (“элементы”) являются коррелятивными понятиями, обязательно сосуществующими» [Там же: 100].

Создатель **глоссематики** *Л. Ельмслев* изложил ее основы в своей книге «Пролегомены к теории языка» (1943). Видя в языке средство познания, он стремился «направить ищущий луч света на само средство познания» [Ельмслев 1960в: 266]. «Лингвистика, — писал ученый, — должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру *sui generis*» [Там же: 267]; «...она должна искать **постоянное**, не связанное с какой-либо внеязыковой “реальностью”, то постоянное, что делает язык языком», «организованным целым с языковой структурой как ведущим принципом» при рассмотрении любой “реальности”, включая онтологическую [Там же: 269]. В перспективе проекция языковой структуры на окружающие ее явления должна позволить удовлетворительно объяснить их в свете этой структуры, и таким образом «...после анализа глобальное целое (язык в жизни и действительности) может снова рассматриваться синтетически как целое, ... как явление, построенное в соответствии с ведущим принципом», а не как некий случайный конгломерат [Там же: 280].

В поисках постоянного в языке Ельмслев опирается на отношение части и целого. Разделение объекта на части, убежден он, должно соответствовать взаимозависимостям между этими частями [Там же: 282]: «...и рассматриваемый объект, и его части существуют только в силу этих зависимостей; рассматриваемый объект как целое может быть определен только через их общую сумму; каждая

из его частей может быть определена только через зависимости, связывающие ее с другими соотносимыми частями, с целым и с частями следующего уровня, и через сумму зависимостей, которые связывают части этого следующего уровня друг с другом». Итак, объекты «являются не чем иным, как пересечением пучков подобных зависимостей». Отсюда основополагающий вывод о первичности отношений / зависимостей, что, кстати, вполне согласуется с аналогичным заключением Ф. де Соссюра. В понимании Л. Ельмслева, «зависимости, которые наивный реализм рассматривает как вторичные, предполагающие существование объектов, становятся с этой точки зрения первичными, предопределяемыми взаимными пересечениями» [Ельмслев 1960в: 283].

«...Лингвистическая теория начинает с текста как единственно данного» [Там же: 281], а дан он изначально «в своей нерасчлененной и абсолютной целостности» [Там же: 273]. Описание текста строится «путем анализа или последовательного разделения, т. е. с помощью дедуктивного перехода от класса к сегменту и сегменту сегмента» [Там же: 281]. В сущности, указанная процедура иерархического деления была продемонстрирована уже Платоном в философии (см. «Софист») и И. А. Бодуэном де Куртенэ в лингвистике (см. его теорию двоякого членения речи).

Наряду с аналитической процедурой деления от класса к сегменту Л. Ельмслев, подобно Платону в философии и В. Гумбольдту в лингвистике, допускает обратную — синтетическую — процедуру, т. е. последовательный переход от сегмента к классу, включая переход от единичного, частного к общему, без чего, надо заметить, было бы невозможно сведение множества *вариантов* к ограниченному числу *инвариантов*. Мотивируя преимущества анализа, понимаемого как дедуктивный метод, Ельмслев пишет: «Фактически дедуктивный метод не препятствует тому, чтобы впоследствии иерархия была пройдена в обратном направлении», поскольку «...синтез предполагает анализ, но не наоборот. Это — простое следствие того факта, что непосредственно данным является неанализированное (нерасчлененное. — Л. З.) *целое*» [Там же: 291].

В ходе анализа нерасчлененного текста «при каждом делении можно составить инвентарь сущностей, обладающих одними и теми же отношениями, т. е. способными занимать одно и то же место в цепи» [Там же: 300]. Особое значение при рассмотрении *языка как системы* Ельмслев придает тому, что «...раньше или позже в процессе дедукции наступит момент, когда число сущностей, вошедших

в инвентарь, станет ограниченным и далее они будут постоянно уменьшаться» [Ельмслев 1960в: 301]. «По сути дела, если бы не существовало ограниченных инвентарей, лингвистическая теория не смогла бы надеяться достичь своей цели — сделать возможным простое и исчерпывающее описание системы, на которую опирается текст» [Там же].

Последнее означает, что в отношении между процессом (текстом) и системой (языком) решающим началом является система. «...Существование системы есть необходимая предпосылка для существования процесса: процесс существует благодаря системе, стоящей за ним, системе, управляющей им и определяющей его в его возможном развитии. <...> Таким образом, невозможно иметь текст, не имея языка, лежащего в его основе. С другой стороны, можно иметь язык, не имея текста, построенного на этом языке», когда «...данный язык предвидится лингвистической теорией, но... ни один процесс, относящийся к нему, не **реализован**», т. е. текст является виртуальным [Там же: 298].

Уточняя далее понятие *системы* на основе процедуры последовательного анализа, Ельмслев не может вполне удовлетвориться традиционным нечетким определением языка как *системы знаков*. Знаками в собственном смысле слова являются только *носители значения*, или, по Ельмслеvu, *знаковые выражения*. Таковы предложения, слова и их наделенные значениями компоненты (корни и аффиксы), которые обычно выступают в качестве конечных, неразложимых знаков [Там же: 302]. В отличие от этого слоги и фонемы представляют собой «только части знаковых выражений» [Там же: 304]. Таким образом, последовательная аналитическая процедура, согласно уже сложившейся к тому времени традиции, начинается с предложений и заканчивается фонемами.

Однако принятый в традиционной лингвистике анализ текста не устраивает Ельмслева, ибо он «не касается ни тех частей текста, которые имеют очень большую протяженность (таковы, например, отдельные произведения, главы, параграфы и т. п. — Л. 3.), ни тех частей текста, которые имеют маленькую протяженность». Необходимо не пропускать ни одной ступени при делении текста. «...Анализ должен идти в направлении от инвариантов, имеющих наибольшую возможную протяженность, к инвариантам, имеющим наименьшую возможную протяженность» [Там же: 353], вплоть до таких конечных точек, как *гlossемы*. Они определяются как «минимальные единицы формы», иными словами, как «неразложимые инварианты»

[Ельмслев 1960в: 337]. «...Глоссема выражения будет манифестироваться частью фонемы» [Там же: 356].

В результате аналитической процедуры выстраивается **иерархия**, которая включает в себя знаки на высших ступенях и незнаки на низших. Сравнительно со знаками незнаки представлены более ограниченным инвентарем. Количественное различие в инвентаре знаков и незнаков, считает Ельмслев, по-видимому, объясняется целью языка. По своей цели, по своей внешней функции во внеязыковой реальности язык действительно является знаковой системой, способной к образованию всё новых знаков и в то же время удобной в обращении, практичной в усвоении и употреблении. «При условии неограниченного числа знаков это достигается тем, что все знаки строятся из незнаков, число которых ограничено... Такие незнаки, входящие в знаковую систему как часть знаков, мы назовем **фигурами**... Таким образом, язык организован так, что с помощью горстки фигур и благодаря их всё новым и новым расположениям может быть построен легион знаков. <...> ...В указанной черте — *построение знака из ограниченного числа фигур* — обнаруживается *наиболее существенная черта в структуре любого языка*.

Это означает, что языки не могут описываться как чисто знаковые системы. *По цели*, обычно приписываемой им, они прежде всего *знаковые системы*; но *по своей внутренней структуре* они прежде всего нечто иное, а именно — *системы фигур*, которые могут быть использованы *для построения знаков*» [Там же: 305; курсив мой. — Л. 3.]. Причем Ельмслев указывает «на возможность объяснения и описания неограниченного числа знаков с помощью ограниченного числа фигур, *в том числе с точки зрения их содержания*» [Там же: 325; выделено мною. — Л. 3.].

Для такого объяснения потребовалось предварительно уточнить само понятие знака. Ельмслев исходит из того, что между двумя сущностями — **выражением** и **содержанием** — имеет место **знаковая функция** [Там же: 306]. «Знаковая функция сама по себе есть солидарность (т. е. взаимозависимость. — Л. 3.). Выражение и содержание солидарны — они необходимо предполагают друг друга. Определенное выражение есть выражение постольку, поскольку это выражение содержания, а содержание является содержанием постольку, поскольку это содержание выражения» [Там же: 307].

Чтобы избежать отождествления слова **знак** исключительно с *выражением* и подчеркнуть связь с обозначаемым, Ельмслев предлагает «использовать слово **знак** для обозначения единицы, состоящей

из формы содержания и формы выражения и установленной на основе солидарности между этими двумя формами», т. е. на основе *знаковой функции*, которая *характеризует знак как двустороннюю сущность*, действующую «“вовне” — по отношению к субстанции выражения и “во-внутри” — по отношению к субстанции содержания» [Ельмслев 1960в: 316].

«Различие между *выражением и содержанием* и их взаимодействием в виде знаковой функции является *основой структуры* любого языка. Любой знак, любая система знаков, любая система фигур подчинены конечной цели существования знаков, т. е. языку, содержащему в себе форму выражения и форму содержания». Поэтому *первой ступенью анализа* и системы, и текста должно быть *разделение на две сущности — план выражения и план содержания* [Там же: 317; выделено мною. — Л. 3.]. То, что «...в области содержания менее развит аналитический метод и труднее, по-видимому, получить объективные критерии» [Там же: 322], не должно смущать. Такая трудность вряд ли случайна. Ельмслев объясняет ее чисто контекстуальным характером всех значений, включая лексические: «...любое знаковое значение возникает в контексте» — ситуационном или эксплицитном [Там же: 303].

При дальнейшем разделении целого «на каждой ступени анализа должен быть составлен инвентарь сущностей с единообразными отношениями» [Там же: 318]. Такие сущности Ельмслев называет *элементами*.

Аналитическая процедура имеет задачей выделить элементы, являющиеся частями текста и членами системы. И разделение текста на части, и вычленение членов в системе осуществляются на основе зависимостей, или функций, между элементами, так что «...анализ заключается в установлении функций» [Там же: 349].

Ельмслев выделяет **три типа зависимостей**, или функций, между членами зависимости, или функтивами: 1) «взаимные зависимости, при которых один член предполагает существование другого и наоборот», 2) «односторонние зависимости, при которых один член предполагает существование другого, но не наоборот», 3) «более свободные зависимости, в которых оба члена являются совместимыми, но ни один не предполагает существования другого» [Там же: 284]. Другими словами, это функция между двумя постоянными (1), функция между постоянной и переменной (2), функция между двумя переменными (3) [Там же: 294].

Кроме того, Ельмслев проводит различие между функцией «*и—и*» и функцией «*или—или*», т. е., в его терминах, между **реляцией** и **кор-**



**реляцией.** Данное различие лежит в основе процесса и системы: при процессе в тексте имеет место *существование* функтивов, тогда как в системе наличествует *альтернатива* (*взаимозамена, выбор*) функтивов [Ельмслев 1960в: 295]. Соответственно по традиции, идущей от Ф. де Соссюра, семиотический процесс (текст) определяется как **синтагматика**, семиотическая система (язык) — как **парадигматика** [Там же: 297–298, 364].

Анализ текста на основе указанных функций корреляции и реляции является, далее, предпосылкой для инвентаризации элементов путем выявления наименьшего числа объектов, выступающих в качестве **инвариантов** по отношению к **вариантам** на данной ступени анализа. Опираясь на взаимозависимость, связывающую форму выражения и форму содержания, Ельмслев вслед за фонологами Пражского кружка указывает, что «...различительный фактор должен рассматриваться как существенный для выявления инвариантов и для различения инвариантов и вариантов. Инварианты плана выражения отличаются в том случае, если между ними имеется корреляция (например, корреляция между *e* и *a* в *pet* — *pat*), которой соответствует корреляция в плане содержания (корреляция между сущностями содержания *pet* и *pat*), так что мы можем установить **реляцию** между корреляцией выражения и корреляцией содержания. Эта реляция есть непосредственное следствие знаковой функции, солидарности между формой выражения и формой содержания. <...> ...Этот принцип должен быть распространен на все инварианты языка независимо от их степени или от их места в системе. Поэтому принцип действителен для всех сущностей выражения, вне зависимости от их протяженности, и не только для минимальных сущностей: он пригоден и для плана содержания в той же мере, как и для плана выражения» [Там же: 323].

Последнее положение особенно важно ввиду устоявшихся предубеждений относительно самой возможности расчленения содержательной стороны минимального знака на меньшие компоненты [Там же: 325]. Однако «...процедура здесь точно такая же, как и в случае с планом выражения» [Там же]: «...различие между инвариантами и вариантами в плане содержания может быть проведено в соответствии с тем же самым критерием (мы имеем дело с двумя инвариантами содержания только тогда, когда их корреляция имеет реляцию к корреляции в плане выражения). <...> Наконец, отсюда вытекает неизбежное логическое следствие: *в плане содержания* точно так же, как и в плане выражения, *опыт замены дает нам возможность*



*выделить фигуры* благодаря разделению минимальных содержаний знаков на функтивы (сущности и их взаимные реляции), составляющие их» [Ельмслев 1960в: 324; выделено мною. — Л. 3].

Таким образом, в ходе последовательной аналитической процедуры в обоих планах производится сведение сущностей, входящих в неограниченные инвентари, к сущностям, входящим в ограниченные инвентари [Там же: 328–329] — вплоть до фигур в обоих планах. Разделение функтивов на два класса — инварианты и варианты, а также их разграничение основываются на коммутационном тесте. Под **коммутацией** Ельмслев понимает «корреляцию в одном плане, которая имеет реляцию к корреляции в другом плане языка». Явление, противоположное коммутации, — **субституция**, под которой «понимается отсутствие мутации между членами парадигмы. < ... > Тогда **инварианты** являются коррелятами с взаимной коммутацией, а **варианты** — коррелятами с взаимной субституцией» [Там же: 331]. «Число инвариантов в пределах каждой категории устанавливается посредством коммутации» [Там же: 332].

Столь высокая значимость коммутации приводит Л. Ельмслева к заключению, что изучение отношения между выражением и содержанием должно исходить из их взаимозависимости, вследствие чего они «не могут быть отделены друг от друга без значительного ущерба» [Там же: 333]. И с этим трудно не согласиться, особенно если взаимозависимость между содержанием и выражением не ограничивается тем, что они *предполагают* друг друга, а толковать шире, чем Л. Ельмслев, — как такое взаимоотношение, при котором содержание и выражение, *взаимодействуя, взаимообуславливают* друг друга, вследствие чего между ними устанавливается определенная **согласованность** и **знак обретает единство**.

Итак, рассмотренные направления структурализма исследуют структуру языка с разных сторон и потому в известной степени взаимно дополняют друг друга.

Из проведенного обзора ясно, что целостность языка может быть выявлена при соблюдении следующих важнейших условий:

- 1) если учитываются функции языка в надсистемах — физической, социальной и психической;
- 2) если учитываются двусторонняя сущность языковых знаков и двуплановый характер языковой системы;
- 3) если учитываются все основные типы внутрисистемных связей и отношений;
- 4) если учитываются изменения языка во времени.

Наиболее близка к выполнению названных условий Пражская школа, но и в ней концепция целостности языковой системы не получила должного всестороннего освещения.

#### 9.4. Современные определения системы и принципов системности

Современные научные представления о системных объектах сложились под несомненным влиянием диалектики Платона. Впоследствии «в истории познания выделение системных черт целостных явлений было связано с изучением отношений части и целого, закономерностей состава и структуры, внутренних связей и взаимодействий элементов, свойств интеграции, иерархии, субординации» [ФЭС 1989: 586]. Это подтверждает и рассмотренная выше эволюция лингвистических представлений о системе языка. Подводя итоги, обратимся к определению таких понятий, как *система*, *часть и целое*, *элемент*, *связь и отношение*, *структура*, *целостность*, *значимость* в отечественных энциклопедических и толковых словарях конца XX в.

Современные словари дают сходные определения СИСТЕМЫ. Расхождения могут быть вызваны неоднозначным толкованием того, что именно образует *целостность*, *единство*: в ФЭС и МАС это *совокупность / множество взаимосвязанных элементов*, в СЭС это могут быть также *отношения и связи*.

Сравним три определения.

- **СИСТЕМА** (от греч. *sýstema* — целое, составленное из частей; соединение), множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство [СЭС 1981: 1225].

- **СИСТЕМА** (от греч. *σύνστημα* — целое, составленное из частей; соединение), совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство [ФЭС 1989: 584].

Идентичное определение выступает в качестве ЛСВ<sub>1</sub> многозначной лексемы *система* в русском языке, также возводимой к греческому *σύνστημα* — целое, составленное из частей, соединение:

- Множество элементов, находящихся в отношениях и связях и образующих определенную целостность, единство.

С этим определением перекликаются значения ЛСВ<sub>4</sub> и ЛСВ<sub>5</sub>:

- Совокупность каких-либо элементов, единиц, объединяемых по общему признаку. *Система гласных звуков*;

- Устройство, структура, представляющие собой единство взаимно связанных частей. *Грамматическая система языка* [МАС 1984: 99].

Итак, этимологически *система* есть *целое*, составленное из частей. Соответственно, понятие системы как целого предполагает наличие частей, иначе говоря — элементов. В свою очередь и **ЭЛЕМЕНТ** определяется через целое — как составная часть сложного целого [СЭС 1981: 1559; ФЭС 1989: 761; МАС 1984: 758].

Следовательно, в основе современных понятий системы и элемента лежит базовое отношение целого и части. В современном понимании, **ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ** — это «философские категории, выражающие отношение между совокупностью предметов (или элементов отдельного объекта) и связью, которая объединяет эти предметы и приводит к появлению у совокупности новых (интегративных) свойств и закономерностей, не присущих предметам в их разобщенности. Благодаря этой связи образуется целое, по отношению к которому отдельные предметы выступают в качестве частей» [ФЭС 1989: 735–736]. «...В случае сложноорганизованных объектов (каковым является и язык. — Л. 3.) целое несводимо к сумме частей. ...Целое характеризуется новыми качествами и свойствами, не присущими отдельным частям (элементам), но возникающими в результате их взаимодействия в определенной системе связей» [Там же: 736].

Однако новые качества и свойства, которые возникают у целого, небезразличны и для его частей. И это лишний раз указывает на то, что «в отношении части и целого, как показал еще Гегель (а задолго до него Платон, см. 9.1. — Л. 3.), ни одна из сторон не может рассматриваться без другой. Целое без (до) частей немислимо; с другой стороны, часть вне целого — уже не часть, а иной объект, т. к. в целостной системе *части выражают природу целого и приобретают специфические для него свойства*» [Там же; выделено мною. — Л. 3.].

Сами понятия *качества* и *свойства*, в сущности, восходят к отношению части и целого. По определению ФЭС, «качество отражает устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, которое характеризует его специфику, дающую возможность отличать один объект от других» [Там же: 255]. Свойство трактуется как внешнее выражение качества, выявляющее «отношение данной вещи к другим вещам, с которыми она вступает во взаимодействие. Таким образом, свойство данной вещи зависит не только от нее самой, но и от той вещи, с которой она соотносится или взаимодействует. Отсюда вытекает относительный характер всякого свойства» [Там же: 573].

Как видно, целое выводится из *связи*, объединяющей части, и более того, из *системы связей*, в которой взаимодействуют части (элементы). Причем «между частями органичного (способного к саморазвитию. — Л. 3.) целого (а также между частями и целым) существует не простая функциональная зависимость, а значительно более сложная система разнокачественных связей — структурных, генетических, связей субординации, управления и т. п.» [ФЭС 1989: 736]. В энциклопедических словарях **СВЯЗЬ** толкуется как взаимообусловленность существования явлений, разделенных в пространстве и (или) во времени [СЭС 1981: 1192; ФЭС 1989: 573]. В словаре русского языка *связь* — это прежде всего взаимные отношения // взаимная зависимость, обусловленность [МАС 1984: 58]. Такое толкование *связи* перекрещивается с понятием *отношения*.

«**ОТНОШЕНИЕ**, философская категория, характеризующая определенные взаимозависимости элементов определенной системы. <...> Вещь, взятая в разных отношениях, выявляет различные свойства. Отношения вещей и явлений друг к другу бесконечно многообразны: пространственные и временные, отношения части и целого, формы и содержания, внешнего и внутреннего и др.» [ФЭС 1989: 454]. Все они участвуют в создании качественной определенности объекта.

Стремление выдвинуть на первый план роль свойственных объекту отношений и связей привело к закреплению за уже бытовавшим термином *структура* понятия совокупности (сети) отношений и связей. Данное понимание структуры лежит в основе структурного метода, разработанного первоначально на материале естественного языка. Оно интенсивно развивалось в гуманитарном знании XX в. таким научным направлением, как структурализм.

Определения структуры в энциклопедических словарях взаимно дополняют друг друга.

Согласно СЭС, **СТРУКТУРА** — «совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях» [СЭС 1981: 1291]. Далее в статье «Структурализм» под структурой понимается относительно устойчивая совокупность отношений, а в статье «Структурная лингвистика» под структурой языка имеется в виду «сеть отношений (противопоставлений) между элементами языковой системы» [Там же: 1292].

В определении ФЭС, структура — это «совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его основных свойств

при различных внешних и внутренних изменениях; основная характеристика системы, ее инвариантный аспект» [ФЭС 1989: 629]. Короче, структура — совокупность отношений, инвариантных при некоторых преобразованиях [Там же: 630].

В сложных иерархически организованных многоуровневых системах каждый отдельный уровень представляет собой особую (под) систему со своими элементами и связями. Такие многоуровневые системы называют *системами систем*.

К их числу принадлежит, в частности, язык. Каждый из уровней языковой системы обладает своей совокупностью инвариантных единиц (элементов). Под *инвариантом* понимается «абстрактная единица языка, обладающая совокупностью основных признаков всех ее конкретных реализаций и тем самым объединяющая их, например морфема по отношению к алломорфам» [СЭС 1981: 493].

Между единицами одного уровня традиционно различают два типа отношений — *парадигматические* и *синтагматические*. Поскольку же языковая система — это «упорядоченная и иерархически организованная совокупность единиц данного языка (фонем, морфем, слов и т. д.) и отношений между ними» [Там же: 1226], то наряду с парадигматическими и синтагматическими отношениями единиц одного уровня существуют также *межуровневые связи* и *иерархические отношения* между единицами разных уровней — в порядке от высшего к низшему, и наоборот.

Многоуровневое иерархическое строение языка влечет за собой *многомерность языковых единиц*, в соответствии с чем данная единица выступает и как составная часть единицы более высокого уровня, и как целое по отношению к входящим в нее низшим единицам. Отсюда возможность нескольких членений единиц одного уровня. Так, в морфологическом строении русского слова помимо словообразовательной вычленяются еще две структуры — словоизменительная и морфемная.

Принцип иерархии, действующий в структурной организации сложных многоуровневых систем, приводит к тому, что «...каждый уровень специализируется на выполнении определенного круга функций, причем на более высоких уровнях иерархии (в языке это уровень предложений и уровень слов. — Л. З.) осуществляются преимущественно функции согласования, интеграции» [ФЭС 1989: 208]. Процессы интеграции (от лат. *integer* 'целый') ведут к повышению степени целостности и организованности системы. «В ходе процессов интеграции в системе увеличиваются объем и интенсивность взаимосвязей и взаимодействий между элементами» [Там же: 215]. При этом

принцип иерархии распространяется и на свойства системы как целого: ведущая роль принадлежит тем свойствам, которые выступают в качестве детерминантных. Специфика внутренней детерминанты языковой системы обуславливается запросами надсистем, в которых функционирует язык, т. е. его внешней детерминантой (см. выше разделы 5.1 и 7.3, 7.4).

Итак, **система** (в том числе языковая) включает в себя, с одной стороны, *элементы/единицы* и соответствующие им *уровни/подсистемы*, а с другой — соединяющие их *связи и отношения*, которые, обуславливая *качества и свойства* объекта, образуют в совокупности его *структуру*.

Благодаря структурным связям и отношениям как целое, так и его части обретают специфические — *системоприобретенные* — качества и свойства, отсутствующие у обособленных частей. В результате связи и отношения придают целому *целостность*, а составляющим его частям — *значимость*. Именно как системоприобретенное свойство определил значимость языковых элементов В. М. Солнцев, сравнив системообразующие, системоприобретенные и системнонейтральные свойства единиц языка [Солнцев 1971: 46–49, 120, 122–123].

Таким образом, *целостность* есть внутреннее единство объекта [СЭС 1981: 1480], выявляющее благодаря внутренней детерминации его качественную определенность и, как следствие, относительную автономность среди других объектов той внешней среды — надсистемы, в которой он существует и функционирует и которая воздействует на него.

Поэтому характеристика языкового целого в его целостности требует выявления как внешней, так и внутренней детерминанты языка, тем более при определении его качественного своеобразия в сравнении с другими языками.

Исходя из взаимосвязи понятия *системы* с рассмотренными выше понятиями *целостности*, *структуры*, *связи*, *отношения*, *элемента*, *подсистемы*, автор статьи «Система» в ФЭС В. Н. Садовский выделяет в качестве основных следующие *системные принципы*: **«целостности** (принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, функций и т. д. внутри целого); **структурности** (возможность описания системы через установление ее структуры, т. е. сети связей и отношений системы; обусловленность поведе-

ния системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры); *взаимозависимости системы и среды* (система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим активным компонентом взаимодействия); *иерархичности* (каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из компонентов более широкой системы); *множественности описания каждой системы* (в силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы) и др.» [ФЭС 1989: 584–585; выделено мною. — Л. 3].

Для языка как системного объекта существенны по крайней мере еще два принципа, проистекающие из типологии систем.

Во-первых, это *принцип развития*, поскольку язык принадлежит к саморазвивающимся системам.

Во-вторых, это *принцип знака*, ибо язык является знаковой системой, в которой осуществляется фундаментальное *отношение идеального и материального*. Именно это отношение вносит важнейший вклад в создание целостности языка благодаря *согласованности* материального с идеальным.

Актуальность отношения между идеальным и материальным в языковом знаке сопряжена с определенной сложностью в трактовке отношения части и целого и неоднозначной интерпретацией последнего. Как говорилось выше, Платон различал «всё» как сумму частей и «целое» как нечто иное, как цельность. В изложении ФЭС, ранее в механике и в классической физике исходили из суммативного понимания целого, вследствие чего «классическое естествознание стремилось познать целое лишь с точки зрения его состава, строения. В противовес этому идеалистические учения (Платон, средневековая схоластика, отчасти Лейбниц) делали упор на несводимость целого к сумме частей и рассматривали в качестве подлинно целостных лишь продукты духовной деятельности, а материальные образования трактовали как механически целые, “мертвые” агрегаты» [Там же: 736].

В соответствии с этим в языковом знаке Августин и картезианцы усматривают противоположение неделимой мыслящей субстанции, с одной стороны, и протяженной и делимой телесной субстанции — с другой. Во второй половине XX в. содержательной стороне словесного знака приписывается глобальный иерархический характер [Солнцев 1971: 199–200, 235; Уфимцева 1974: 68], тогда как звуковая



его сторона считается дискретной и отождествляется с неким звуко-рядом, звукокомплексом, который в большинстве языков, за исключением изолирующих, не обнаруживает внутренней упорядоченности и, значит, не является целостностью [Солнцев 1971: 193–196].

При таком подходе представления о языковом знаке вступают в явное противоречие с учением Платона о единстве противоположностей.

Наряду с принципом знака в языке как посреднике между внешним миром и внутренним миром человека действует еще один, причем важнейший, принцип — *принцип двойного означивания*.

Поскольку язык по своему строению представляет собой систему двусторонних знаков разных уровней (морфем, слов, предложений и, наконец, текстов), которая характеризуется двойным означиванием, постольку о его системности и типологическом своеобразии можно судить:

- а) по значимости и степени самостоятельности элементов в зависимости от глубины иерархического членения языкового целого;
- б) по соотношению способов двойного означивания со способами грамматической категоризации;
- в) по степени целостности языкового целого, которая раскрывается в соотношении плана содержания с планом выражения и в самом принципе знака — в степени согласованности между означаемым и означающим в различных типах языковых знаков.

Однако прежде всего следует разобраться, в какой мере справедливости сомнения в упорядоченности языка, которые связываются главным образом с явлениями асимметрии между двумя сторонами языковых знаков.

Перечисленные аспекты системности языка раскрываются в следующей главе на основе собственных изысканий автора [Зубкова 2010].

Чтобы выявить системную обусловленность и, значит, мотивированность языковых знаков, они рассматривались в направлении, которое Л. Ельмслев назвал переходом от класса к сегменту [Ельмслев 1960в: 273].

На материале генетически и типологически различных языков путем анализа разнообразных словарных и текстовых данных исследованы основные типы словесных знаков: семиологические классы слов, включая базовые части речи (имена существительные и глаголы / предикативы), словообразовательные макропарадигмы (непроизводные слова и дериваты разных ступеней мотивированности), лек-



сико-семантические категории (полисемии, синонимии, антонимии). Изучена внешняя форма указанных классов слов: морфологическая структура (словообразовательная, словоизменительная, морфемная), слоговая, суперсегментная и сегментная организация в их взаимодействии.

## Глава 10

# ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНОСТИ ЯЗЫКА В СВЕТЕ ЕГО СУЩНОСТНЫХ СВОЙСТВ

### 10.1. Асимметрия как закономерное следствие действующих в языке системных принципов и его сущностных свойств

В современной лингвистике, если судить по «Лингвистическому энциклопедическому словарю» (ЛЭС), асимметрия (греч. *asymmetria* ‘несоразмерность’) понимается как «отступление от упорядоченности, регулярности, единообразия в строении и функционировании языковых единиц», тем не менее именно это отступление считается «одной из основных особенностей строения и функционирования естественного языка» [ЛЭС 1990: 47], постоянно привлекая внимание лингвистов, исследующих знаковую природу языка (см., например, [Общее языкознание 1970: 96–196; Гак 1998: 106–161]). Не случайно в ЛЭС в отличие от «Философского энциклопедического словаря» [ФЭС 1989] нет определения симметрии, зато асимметрии посвящена отдельная статья. Так же как неодинаковая степень системности различных участков языковой системы и ее жесткость, асимметрия связывается с эволюцией языка, в частности с неравномерным развитием отдельных подсистем [ЛЭС 1990: 452; РЯЭ 1997: 654], и усматривается в двух феноменах: в различении центра (ядра) и периферии и в расхождении между означаемыми и означающими [ЛЭС 1990: 47].

Естественно возникает вопрос: если асимметрия — одна из *основных* особенностей строения и функционирования языка, а язык признается *системным* и, значит, упорядоченным объектом, то являются ли указанные феномены действительно *отступлением* от упорядоченности, регулярности или, напротив, они вполне *закономерны*? Какова

природа асимметрии? Разумеется, она связана с тем, что бесконечно используемому конечному набору языковых средств противостоит «бесконечная и поистине безграничная область, совокупность всего мыслимого» [Гумбольдт 1984: 110], а потому в языковом знаке нередко отсутствует взаимно однозначное соответствие между означающим и означаемым. Но что еще, кроме эволюции языка, обуславливает существование асимметрии?

Чтобы разобраться в этих вопросах, при анализе языка в аспекте симметрии/асимметрии следует исходить:

- из основных системных принципов, сближающих естественный язык с прочими системными объектами;
- из характерных свойств того класса (тех классов) систем, к которому (к которым) принадлежит естественный язык;
- из функций, которые язык, будучи посредником между миром и человеком, выполняет в обществе как надсистеме;
- из сущностных универсальных свойств языка как знаковой системы — членораздельности и категоризации, символичности и потенциальной неопределенности семиотического означивания;
- наконец, из типологических особенностей данного языка.

Вполне закономерный, неслучайный характер явлений асимметрии в языке проистекает из основных системных принципов, действующих и в языковой системе. К ним относятся взаимозависимость системы и среды / надсистемы, целостность, структурность, иерархичность [ФЭС 1989: 584–585].

Взаимодействие со средой — обществом и Универсумом в целом — задает функции языка. Способность языка быть средством познания объективной реальности и в течение долгих веков служить обществу средством самовыражения и одновременно взаимопонимания разнообразнейших индивидуальностей предопределяет характер языковой системы: язык может выполнять свои функции потому, что представляет собой неполную, вероятностную, открытую и динамичную, самоорганизующуюся систему, оперирующую в качестве своих элементов в высшей степени пластичными знаками.

Будучи обращенным к миру и человеку, связывая человека с человеком в речевом общении, язык как отражение и знак представляет собой единство асимметричных противоположностей: всеобщего и единичного, формы и материи, формы и содержания, грамматического и лексического в системе языка; языка и речи, коллективного и индивидуального, потенции и реализации в речевой деятельности, что не может не влиять на свойства языкового знака.

Асимметрия непосредственно связана с иерархичностью языковой системы. Иерархичность языка проявляется уже в его двуплановом строении, а оно в свою очередь сопряжено с таким сущностным свойством языка, как символичность (знаковость). Наличие в языке двух планов — плана содержания и плана выражения — предполагает асимметричное отношение между ними и, значит, их несоразмерность хотя бы потому, что, как показал Л. Ельмслев, «предпосылкой необходимости оперировать двумя планами должен быть тот факт, что два плана... не могут иметь абсолютно тождественной структуры, т. е. взаимно однозначного соответствия между функцивами одного плана и функцивами другого плана. ...Два плана не должны быть **конформальны**» [Ельмслев 1960в: 366]. Языковые знаки не должны быть исключительно симметричны. Неподвижное взаимно однозначное соответствие двух сторон знака — означаемого и означающего — языку противопоказано. Иначе язык превратится в нежизнеспособную «номенклатуру» и не сможет осуществлять свои функции.

Неконформальность планов языка, отсутствие постоянного взаимно однозначного соответствия между ними обусловлены онтологически — тем, что планы языка обращены к разным материям — мыслительной и звуковой. Из них первая (функционально определяющая) более подвижна и изменчива. Отмеченное В. Гумбольдтом [1984: 82] и А. А. Потебней [1981: 134] свойство бесконечной определмости знака и неопределенного, безграничного расширения языка как системы знаков связано главным образом с внутренней формой языка, т. е. с языковым содержанием, служащим способом представления, знаком, символом мыслительного содержания. Возможности фонетико-физиологического континуума, выступающего в языке материалом выражения, не так бесконечно велики, как представлялось Л. Ельмслеву [1960в: 313]; в сравнении с возможностями мысли они более ограничены и к тому же используются далеко не полностью, а весьма избирательно и отнюдь не равновесно. Звуковая система гораздо консервативнее и инерционнее, чем может показаться, если исходить только из фонологических критериев без учета вероятностных различий, отчетливо выявляющих асимметрию системы в ее функционировании.

Вследствие указанных различий между сопряженными в языке материями членение языкового целого осуществляется так, чтобы удовлетворить требованию неконформальности единиц, связанных в языке отношениями формы и значения, когда форма выступает

знаком значения. Однако в целях обеспечения членораздельности, являющейся наряду с символичностью универсальным сущностным свойством языка, неконформальность всё же не может быть всеохватывающей. «Совпадение» элементов разных планов в своих границах не только не исключается, но, более того, служит основанием для вычленения элементов в обоих планах: в плане выражения — благодаря морфологизации и семасиологизации фонетических элементов, в плане содержания — благодаря материальному различению соответствующих грамматических и лексических значений.

Неконформальность лежит в основе не только двоякого членения языкового целого, но и его уровневой организации. В многоуровневости языковой системы наиболее явно обнаруживаются иерархичность и соответственно несоразмерность (т. е. асимметрия) единиц, связанных иерархическими (конститутивно-интегративными) отношениями, ввиду убывания инвентаря единиц от высшего уровня к низшему (от неограниченного к более ограниченному и, наконец, к сильно ограниченному). В результате из конечного числа звуковых средств путем их комбинации может быть построен «легион знаков». И при этом тоже допускается материальное совпадение единиц смежных уровней [Ельмслев 1960в: 300–305].

Частота материального совпадения соотносительных единиц двоякого членения, а также значащих единиц смежных уровней имеет типологическую значимость: отражая степень автономности соответствующих единиц, она служит показателем степени разграничения двух планов и глубины иерархического членения языкового целого, а значит, и степени членораздельности языков данного морфологического типа (см. раздел 10.2).

Принцип иерархичности действует также в функциональной стратификации языковых единиц и их оппозиций, сложившейся в процессе исторического становления и развития. Отсюда такие явления асимметрии, как различение центра и периферии, сосуществование доминантных и рецессивных, немаркированных и маркированных элементов в парадигматике, сильных и слабых позиций в синтагматике.

Иерархичность пронизывает не только язык как целое. Она присуща также словесному знаку, который имеет символическую природу. И потому означаемое внешнего знака, как показал А. А. Потебня, представляет собой иерархическую и явно асимметричную структуру, в которой семантически более бедный и формальный компонент намекает на более содержательный в последовательности: представление →

ближайшее значение → дальнейшее значение. В результате признак-посредник между познаваемым и прежде познанным является знаком по отношению к ближайшему значению и знаком знака по отношению к дальнейшему.

Поскольку же «язык есть прежде всего категоризация» [Бенвенист 1974: 30, 122] и словесный знак входит одновременно в различные по объему и степени обобщенности функционально-семантические и грамматические группировки, иерархический принцип организации характеризует как семантическую структуру слова, так и, вопреки существующим предубеждениям, его звуковую форму, причем обе иерархии соотнесены друг с другом, обуславливая категориальную мотивированность означающего и его связи с означаемым в структуре словесного знака. Наиболее четко различаются в плане выражения иерархически «старшие» категории, резко противопоставленные в качественном и количественном отношении. Это исходное семантическое противоположение лексического и грамматического, проявляющееся в противопоставлении знаменательных и служебных, собственно-знаменательных и указательно-заместительных слов (см. раздел 10.4).

Наконец, не следует забывать, что как система знаков и иерархия единиц «естественный язык представляет собой результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях» [Там же: 42].

Знак по самой своей природе предполагает интерпретацию носителями языка, выступающими в качестве интерпретаторов. В определении Ч. У. Морриса, «...нечто есть знак только потому, что оно интерпретируется как знак чего-либо некоторым интерпретатором» [Моррис 1983: 40]. Необходимостью интерпретации языковых знаков обусловлен выявленный Э. Бенвенистом феномен двойного означивания, когда недостаточность семиотического означивания язык, будучи посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека, восполняет семантическим означиванием — «означиванием в плане речевого сообщения». «Отсюда и проистекает его главная способность, способность создавать второй уровень высказывания, когда становится возможным высказать нечто означивающее о самом означивании. В этой метаязыковой способности и лежит источник отношения интерпретирования» [Бенвенист 1974: 88–89], чему служат не только специальные метаязыковые операции, используемые носителями языка в речевом общении. То обстоятельство, что, по наблюдениям Ч. У. Морриса, «особенно слабо в обычном языке представлены средства, необходимые для того,

чтобы говорить о языке» [Моррис 1983: 46–47], не должно вводить в заблуждение. Метаязык не сводится к простой совокупности метаязыковых средств.

Весь язык как посредник между миром и человеком пронизан отношением «интерпретируемое — интерпретирующее (интерпретанта)». Потому и возможен разрабатываемый А. Вежбицкой Естественный Семантический Метаязык [Вежбицкая 1999: 171–175].

Отношение «интерпретируемое — интерпретирующее» лежит в основе базового противоположения идентифицирующих и предикатных знаков, которое реализуется при семантическом означивании в составе предложения. По определению Н. Д. Арутюновой, «идентифицирующие слова отражают и классифицируют то, что “существует в мире”». Они как бы замещают мир в сообщениях о нем. Предикатные слова выражают то, что мы “думаем о мире”. Первые ориентированы на объективный мир, вторые — на познающего субъекта» [Арутюнова 2005: 343], выступающего также в качестве интерпретатора.

В интерпретации особенно нуждаются идентифицирующие слова, поскольку к их отличительным чертам, в частности, относятся: «1) тесная связь с денотатом, 2) полипризнаковость, комплексность, синтетичность, 3) гетерогенность семантических компонентов» [Там же: 335]. Предикатные слова, напротив, характеризуются «1) тенденцией к отрыву от денотата, абстрактности, 2) стремлением к элементарности, моносемности, 3) гомогенностью “объективных” компонентов» [Там же: 342]. Поэтому они предпочтительно используются в роли интерпретанта. Соответственно именно предикаты обладают способностью «иметь социально закрепленное значение, обеспечивающее взаимопонимание участников коммуникации» [Там же: 329].

Так как функция идентификации закреплена за предметными словами (именами и местоимениями), а функция предикации — за признаковыми словами (прилагательными и глаголами), распределение слов по частям речи также соотнобразится с отношением «интерпретируемое — интерпретирующее». Именно в этом ракурсе проявятся два решающих и взаимосвязанных семантических различия между существительными и прилагательными, на которые указывает А. Вежбицкая: вид вещей vs. свойство, пучок свойств vs. единичное свойство [Вежбицкая 1999: 101–102].

Разделение лексико-семантических категорий на преимущественно семасиологические (ассоциативно-семантическая связь: полисемия,

омонимия) и преимущественно ономаσιологические («понятийная», содержательно-семантическая связь: синонимия, антонимия, гипонимия и др.) [Новиков 1982: 83] тоже основывается на отношении «интерпретируемое — интерпретирующее». При этом лексико-семантические категории опираются на лексико-грамматические. Не случайно такие внутренне связанные категории, как синонимия и антонимия, охватывают прежде всего слова со значением качества, признака (свойства), действия—состояния, отношения, составляющие ядро отвлеченной лексики [Там же: 67–68].

Ориентация синонимов и антонимов на интерпретацию ассоциативно-семантических связей, характеризующих ЛСВ полисемичного слова, служит основой той соотносительности семасиологических и ономаσιологических категорий, которая выявляется в асимметричном дуализме языкового знака как его общем принципе.

То обстоятельство, что «...всякий лингвистический знак является в потенции омонимом и синонимом одновременно», т. е. «одновременно принадлежит к ряду переносных, **транспонированных** значимостей одного и того же знака и к ряду **сходных** значимостей, выраженных разными знаками», С. О. Карцевский трактует как «логическое следствие, вытекающее из дифференциального характера знака» [Карцевский 1965: 87]. Очевидно, однако, что главная причина асимметричного дуализма — функциональная. Это следует и из изложения самого С. О. Карцевского.

Транспозиция, имеющая своим следствием появление нового ЛСВ или омонима, осуществляется в зависимости от конкретной ситуации вследствие приспособления знака к ее требованиям и служит *самовыражению* носителей языка. Но самовыражение только тогда достигает цели, когда говорящий понимает самого себя и его понимают другие. Целям *взаимопонимания* служит метаязыковая функция — толкование знаков путем включения транспонированного знака в совокупность наших знаний через посредство синонимического ряда как класса сходных значимостей.

Итак, необходимость метаязыковой функции вытекает из семасиологического аспекта семантики языковых знаков (полисемии). Средством реализации метаязыковой функции являются ономаσιологические категории (прежде всего синонимия). Отсюда вполне обычная практика лексикографического описания, когда ЛСВ многозначного слова толкуются, в частности, с помощью синонимов и/или антонимов.

Таким образом, асимметричный дуализм языкового знака, его функционирование на скрещении двух соотносительных координат



семасиологического и ономасиологического характера означает, что, будучи в потенции омонимом и синонимом одновременно, языковой знак представляет собой единство интерпретируемого и интерпретирующего в общении между говорящим и слушающим в конкретной ситуации.

Поскольку отношение «интерпретируемое — интерпретирующее» наблюдается в противоположении классов словесных знаков по разным признакам — функциональным характеристикам, частеречной принадлежности, лексико-семантическим свойствам, постольку нет ничего удивительного в том, что «в нашем обыденном языке... всё время каким-то трудно различимым образом смешиваются высказывания на языке-объекте с высказываниями на метаязыке» [Налимов 1974: 79].

Синкретизм семантического означивания и метаязыкового толкования, по-видимому, имеет место не только при наличии метаязыковых средств, но и без них. Ср. контактное употребление синонимов с глаголами *назвать*, *подходить* в первых двух примерах и без них в последнем примере из книги [Новиков 1982: 125, 238 и 182]: *Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если бы я не боялся впасть в прозаический тон, я бы **назвал** глазки Софьи Петровны не глазами — **глазищами** темного, синего — темно-синего цвета (**назовем их очами**)* (А. Белый. Петербург); *Должно быть, только на обильных кубанских просторах могла возрасти женщина... с такими огромными карими глазами, к которым больше **подходило** слово «очи»* (А. Гончаров. Наш корреспондент) — *А у Ули глаза были большие, темно-карие, не глаза, а **очи*** (А. А. Фадеев. Молодая гвардия).

С точки зрения взаимодействия языка-объекта и метаязыка особенно показателен первый пример, в котором члены синонимического ряда, включаясь в отношение «интерпретируемое — интерпретирующее», образуют шкалу интерпретант, последовательно уточняющих друг друга и через эмотивные значения явно выражающих отношение интерпретатора «я» к обозначаемому, в том числе с помощью словообразовательных формантов: {*глазки — не глазки*} → {*глаза — не глаза*} → (большие, огромные) *глазищи* → *очи*.

Благодаря всепроникающему подспудному действию метаязыковой функции асимметрия словесных знаков в той или иной мере снимается на более высоком уровне в предложении-высказывании, уступая место симметрии в процессе семантического означивания. В результате моносемия оттесняет полисемию. При этом вступает

в действие такой фактор, как линейный характер языка–речи, проявляющийся, в частности, в усилении интенсивности симметризации от начала текста к концу [Корбут 2004]. В том же направлении усиливается симметризация в составе словообразовательной цепи [Зубкова 2010: 323–341].

Как видно, для адекватной оценки действительной роли симметрии / асимметрии в соотношении плана содержания и плана выражения в процессе знаковой символизации необходимо осознать целостность иерархически организованной языковой системы, единство парадигматики и синтагматики, языка и речи, семиотического и семантического означивания, языка–объекта и метаязыка в их посредничестве между миром и человеком, между говорящим и слушающим.

В целом, по наблюдениям автора, обобщенным в [Зубкова 1993; 2010: 348–357], в отношениях между знаками в синхронии сосуществуют обе тенденции — как симметрии, так и асимметрии. Их действительно можно считать взаимодействующими [Мельников 1971].

Асимметрия неизбежна по многим причинам, но прежде всего потому, что, будучи формой мысли, язык всегда беден по отношению к ее потребностям [Потебня 1976: 436] и число языковых форм всегда уступает постоянно растущему богатству мыслительного содержания, тонкие оттенки которого язык бессилён передать даже с помощью полисемии и многообразных синонимических средств. Поэтому асимметрия кажется иногда подавляющей.

Между тем симметризирующая тенденция действует и в семасиологически, и в ономасиологически ориентированных лексико-семантических категориях, как при омофонии, так и при гетерофонии.

В семасиологическом аспекте тенденция к симметризации проявляется в формальном противопоставлении полисемичных слов моносемичным, соотношенном с различием в степени мотивированности языковых знаков, в фактах возможного формального разграничения ЛСВ с помощью не только синтаксических, но также фонетических и морфологических средств. Неоднозначность формы преодолевается не только благодаря синтагматическим отношениям, но и путем привлечения парадигматических связей, что находит отражение и в лексикографической практике толкования слов.

Ономасиологические лексико-семантические категории демонстрируют сложное взаимодействие тенденций симметрии и асимметрии.

Будучи, как правило, гетерофонами (узуальная энантиосемия — явление нечастое), антонимы и синонимы различаются обычно

и по значению, и по звучанию, что дает основание считать их симметричными знаками, ибо соблюдается принцип: разные значения — разные звучания.

Если же учесть степень семантических и звуковых различий, то и синонимы, и антонимы, взятые по отдельности, оказываются асимметричными, поскольку у частичных синонимов близости значений соответствует удаленность звучаний, а у антонимов удаленности значений — близость звучаний. Дальнейшее развитие данных тенденций приводит к полной асимметрии звучания и значения в явлениях абсолютной синонимии, с одной стороны, и энантиосемии — с другой (см. схему).



Из схемы видно, что антонимия (межсловная и внутрисловная) и синонимия (частичная и полная) представляют собой два логически возможных и системно обусловленных типа отклонений от идеального, симметричного, соотношения означаемого и означающего. Эти отклонения носят градуальный характер и раскрывают механизмы, обеспечивающие не просто закрепленное традицией единство, а сопряженность, взаимную связь двух сторон знака. Именно в силу этой сопряженности дифференциация знаков может осуществляться за счет различий какой-либо одной из сторон при совпадении другой, как в крайних проявлениях асимметрии — абсолютной синонимии, энантиосемии и, далее, омонимии (в случае распада полисемии).

Действие компенсаторного принципа во взаимоотношениях плана содержания и плана выражения не замыкается сферой той или иной лексико-семантической категории самой в себе, а осуществляется в их взаимодействии друг с другом. Тем самым лексико-семантические категории обнаруживают соотносительность и системную связанность

как в плане содержания, так и в плане выражения, что исключает произвольность связи в знаке означаемого и означающего. Не случайно в русском языке в отсутствие синонимов асимметричность антонимов проявляется ярче ввиду более регулярных акцентных схождения. Среди синонимичных антонимических пар степень акцентного сходства тем больше, чем резче семантическая противоположность, так что квазиантонимы ближе к симметричному типу дуализма, чем полные. Аналогичным образом и синонимы в отсутствие у них антонимов сильнее различаются в акцентном отношении и, следовательно, более асимметричны. В составе антонимо-синонимических блоков, включающих наряду с неизменяемыми лексемами производные, акцентные сходства между антонимами и различия между синонимами ослабевают: под действием разнонаправленных тенденций соотношение двух сторон противопоставленных знаков уравнивается и становится более симметричным, в той или иной степени приближаясь к идеальному. Из этого следует, что парадигматические (в том числе словообразовательные) связи знаков друг с другом, обуславливая их системную мотивированность, действуют в направлении симметризации отношений между означаемыми и означающими.

Мощным фактором симметризации являются синтагматические отношения лексических единиц в речевом контексте. Опознавательная функция контекста в идентификации актуальных значений лексических единиц в процессе семантического означивания облегчается соотносительностью условий контекстуального употребления с дифференциацией означающих, причем характер этой соотносительности сходен с тем, какой был выявлен между семантическими и звуковыми различиями. Подобно близости значений, близость контекстов, контактность расположения лексических единиц делает необходимой герофонию, тогда как неконтактность допускает омофонию.

Исходя из сказанного, несмотря на явное (как будто?) господство асимметрии, принцип симметрии (но не топорной, застывшей, а подвижной, меняющейся и... недостижимой) следует, очевидно, признать преобладающим. Он выступает в роли глубинного системообразующего фактора. В направлении симметризации связей между означаемыми и означающими действуют и средства актуализации знаков в речи (семантический, синтаксический, ситуативный контекст), и парадигматические отношения, и словообразовательная мотивация, и, наконец, категориально-иерархическая организация языкового целого. Но только в единстве языка и речи, парадигматики и синтагматики, плана содержания и плана выражения, значения

и звучания «...обозначающее и обозначаемое оказывается неделимым тождеством» [Лосев 1989а: 87], в котором диалектически снимается противоположение звучания и значения, а следовательно, и симметрии/асимметрии в их отношениях.

## 10.2. Автономность значащих единиц языка в их иерархии

Постижение сущности языка требует выявления принципов его организации и специфики вычленяемых в нем элементов. Поскольку язык — это знаковая система, характеризующаяся определенной уровневой организацией, необходимо раскрыть природу языкового знака и определить свойства единиц различных уровней. Решением этих задач лингвистика занимается со времен своего возникновения. Тем не менее нельзя сказать, чтобы они получили удовлетворительное разрешение. Поэтому всё еще сохраняет актуальность положение Ф. де Соссюра, согласно которому «до сих пор в области языка довольствовались (и, добавлю, довольствуются! — Л. З.) операциями над единицами, как следует не определенными» [Соссюр 1977: 143].

Это касается практически всех единиц языка. Ни одна из них не получила (а возможно, и не может получить?) общепринятого однозначного определения. Так, приходится согласиться с Л. В. Щербой, что «понятие отдельного слова... наряду с предложением является одним из самых спорных понятий в языковедении» [Щерба 1974: 326]. Но ведь это центральные понятия! Спорность (или, быть может, *неопределимость*?) понятия отдельного слова, а тем самым и природы словесного знака как элемента семиотического означивания (по Э. Бенвенисту), во многом коренится в отмеченной А. А. Потебней «текучести значения» [Потебня 1976: 373], в неопределенности и динамичности означаемого, заложенных в первоначальной символичности слова, в способности его внутренней формы благодаря ее пустоте намеком возбуждать самое разнообразное и неисчерпаемое содержание без конечной определенности [Там же: 180–182]. Неопределенности означаемого сопутствует неопределенность означающего: как заметил Л. В. Щерба, «звуковая сторона слова, которая казалась всегда такой ясной, непреложной, которая представлялась определенным ядром более или менее расплывчатых семасиологических представлений, оказывается... сама не менее расплывчатой и неопределенной» [Щерба 1957: 21].

То же относится к категориям языка, даже таким общим, как части речи. Былые представления о достаточно определенной дифференциации частей речи на онтологическом и логическом основаниях существенно поколеблены тем, что, как оказалось, «они не только тесно примыкают одна к другой, но и в поражающей степени превращаемы реально одна в другую. <...> Часть речи вне налагаемых синтаксической формой ограничений есть как бы блуждающий огонек» [Сепир 1993: 116], и это справедливо не только в отношении так называемых неформальных языков, но отчасти и применительно к флективным языкам типа русского (ср., например, [Солнцев 1995: 217–228; Шкарбан 1995: 8–28; Высоцкая 2006]).

Итак, поставленная Ф. де Соссюром проблема единиц языка, их автономности (самостоятельности) не утрачивает своей значимости ни в общем плане, ни по отношению к отдельным языкам [Соссюр 1977: 143]. Сложность ее решения усугубляется тем, что само понятие автономности так же неоднородно, как неоднородны единицы языка. Благодаря иерархической организации языкового целого единицы одного ранга, будучи связаны синтагматическими и парадигматическими отношениями с себе подобными, соотносятся также с вышшими и/или низшими единицами. Поэтому самостоятельность тех или других единиц обуславливается не только их синтагматическими и парадигматическими связями, но прежде всего положением в иерархическом ряду. По определению Э. Бенвениста, формальные конструктивные элементы, выделенные при разложении языковых единиц на составляющие, лишь тогда могут быть признаны единицами данного уровня, когда они выполняют функцию интегрантов на более высоком уровне [Бенвенист 1974: 134–136].

Однако относительно того, какие единицы являются уровнеобразующими и сколько их, нет полной ясности. Даже такая единица, как слово, в которой Ф. де Соссюр видел «нечто центральное в механизме языка» [Соссюр 1977: 143], не всегда признается в качестве уровнеобразующей и не имеет общепринятого определения, а если следовать Л. В. Щербе, то и не может его иметь. «В самом деле, что такое слово? Мне думается, — пишет Лев Владимирович, — что в разных языках это будет по-разному. Из этого собственно следует, что понятия “слово вообще” не существует» [Щерба 1974: 43].

Отказ от понятия «слово вообще» обосновывается тоже по-разному:

- Ставится под сомнение возможность определить слово с функциональной точки зрения. На этом основании Э. Сепир противополо-

ставляет слово как формальную единицу первичным функциональным единицам — корневому (или грамматическому) элементу, т. е. абстрагированной минимальной единице, и предложению. Слова могут совпадать либо с одной, либо с другой функциональной единицей, выражая то единичное значение, то законченную мысль. Впрочем, «чаще всего они занимают промежуточное положение между двумя крайностями» [Сепир 1993: 49].

- Доказывается неприменимость понятия слова к изолирующим и полисинтетическим (инкорпорирующим) языкам.

- Оспаривается центральное положение слова в системе языка.

Какая из значащих единиц выдвигается в иерархических отношениях на первый план, зависит от того, какие именно языки исследуются, как понимается соотношение единиц языка и речи (если они различаются), в частности как трактуется с этой точки зрения предложение, в каком порядке моделируется языковая система — восходящем (от фонемы к предложению—высказыванию) или нисходящем, насколько учитываются действительные эволюционные отношения между единицами языка.

Градуальный характер некоторых из межъязыковых различий, проявляющийся прежде всего в представлении и разграничении грамматических отношений, в степени словесного единства (от более рыхлой к более прочной внутренней связи), позволяет связать эти различия с развитием грамматики, с постепенным складыванием грамматических форм, в процессе которого вырабатывается всё более четкое разграничение вещи и формы, предмета и отношения, формируются противоположения полнозначных и чисто грамматических слов, корней и аффиксов, создается система частей речи [Гумбольдт 1984: 343–344]. В результате закрепляется различие лексического и грамматического, слово же обретает целостность.

Процесс грамматикализации слова (а он охватывает всю лексику, коль скоро то или иное лексическое значение подводится под какую-либо общую категорию [Потебня 1958: 35; Щерба 1974: 79]), влияя на само слово, распространяется и на предложение, в которое слово входит в качестве составной части (интегранта) и в котором актуализируются его значения.

Согласно В. фон Гумбольдту, единство предложения зависит от степени категоризации понятий и соответственно от используемых языком грамматических форм. «...Связь между частями предложения страдает от недостаточной органичности и верности их *разграничения*» [Гумбольдт 1984: 152], как это видно из анализа инкорпори-

рующих языков. Напротив, основной принцип строения флективных языков, а именно «четкое разграничение понятий предмета и отношения» путем «придания каждому из них своего собственного выражения» [Гумбольдт 1984: 222], последовательное различение частей речи, прежде всего имени и глагола, содействует сплочению предложения. Обеспечивая словесное единство, флексия, «характерным признаком которой как раз и является одновременное рассмотрение понятия в его внутренних и внешних связях» [Там же: 127], «способствует также и надлежащему членению предложения и свободе его устройства» [Там же: 126]. В подлинно флективных языках проводится «правильное разграничение между словесным единством и единством предложения» [Там же: 145], в котором — благодаря флексии — тем не менее сохраняются границы между словами [Там же: 216, 232]. Таким образом, слово и предложение разграничены здесь в полной мере, притом что обе эти единицы выступают и в сочетании их элементов, и в их единстве как нечто целое [Там же: 144].

Развивая идеи В. фон Гумбольдта, А. А. Потебня на материале русского и других славянских языков установил, что образование и изменение грамматических форм означает изменение самого предложения [Потебня 1958: 82]. «В предложении... связь частей увеличивается по мере увеличения различия их функций» [Там же: 222]. А так как единство предложения основывается на противоположности главных членов [Там же: 96], то степень единства предложения увеличивается по мере их дифференциации в соответствии с углублением противоположности имени и глагола, с усилением разницы между существительным и прилагательным.

В интерпретации Г. Гийома, развитие грамматической категории и постепенная дифференциация лексического и грамматического связывается не только с разграничением слова и предложения, но и с закреплением противоположения языка и речи, поскольку слово — это потенциальная единица языка, а предложение — реализованная единица речи. В отсутствие структурных (грамматических) идей и морфогенеза такое противоположение отсутствует, что выражается в синкретизме слова и предложения [Гийом 1992: 91, 130–131, 139].

Итак, формирование слова и предложения подчинено одним и тем же принципам. Автономность, целостность обеих единиц, как и вообще целостность языковой системы, создается благодаря единству анализа (членораздельности) и синтеза, благодаря двойной способности языкового сознания — обобщать и индивидуализировать. Целостность, единство синтагматически сложной единицы тем полнее,



чем сильнее дифференцированы ее компоненты, чем определеннее различаются единицы, связанные иерархическими отношениями. На первый план в качестве дифференцирующего фактора выдвигаются функционально-семантические характеристики. Единство предложения предполагает завершённую частеречную категоризацию. В основе единства слова лежит четкая семантическая дифференциация знаменательных и служебных морфем.

Различия значащих единиц в плане содержания, как было ясно уже В. фон Гумбольдту, влекут за собой различия в плане выражения. Соответственно об автономности, например, слова в том или другом языке можно судить не только и даже не столько по функционально-семантическим и синтаксическим свойствам, сколько по их отражению в форме, по тому, в какой степени различаются разные классы слов (знаменательные и служебные, собственно-знаменательные и указательно-заместительные, имена и глаголы) с точки зрения морфемного строения, словообразования и словоизменения, слоговой и фонемной структуры, суперсегментной организации, т. е. по всему комплексу характеристик, относящихся к плану выражения. Причем для различения классов слов существенно также соотношение отдельных названных характеристик друг с другом, например то, какова частота совпадения / несовпадения морфемных стыков со слогоразделом или как меняется характер акцентных и альтернативных парадигм — в их соотношении со словоизменением — на разных ступенях словообразования. То же относится к минимальным значащим единицам: важно не только то, какие семантически и функционально различающиеся виды морфем выделяются, но и то, какова их звуковая организация, насколько они дифференцированы в этом отношении.

При рассмотрении конститутивно-интегративных отношений между иерархически упорядоченными элементами языкового целого лингвисты, анализировавшие такие отношения, обращают особое внимание на те случаи, когда имеет место материальное совпадение низшей единицы с высшей. Совпадения такого рода обычно используются в качестве доказательства самостоятельности низших единиц. Так, основоположник фонологии И. А. Бодуэн де Куртенэ, определяя фонему, подчеркивал, что фонемы «становятся языковыми ценностями и могут быть рассматриваемы лингвистически только тогда, когда входят в состав всесторонне живых языковых элементов, каковыми являются морфемы, ассоциируемые как с семасиологическими, так и с морфологическими представлениями» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 276], а это становится вполне очевидным, когда фонемы либо сливаются

с синтагмой, т. е. со словом как морфологическим элементом предложения, либо составляют морфему в слове [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 328].

Однако подобные совпадения могут свидетельствовать о самостоятельности единиц низшего уровня по отношению к высшим, очевидно, только тогда, когда число таких совпадений не превышает некоего порога и в большинстве случаев своего употребления соответствующие единицы низшего уровня входят в состав единиц высшего уровня, не совпадая с ними по протяженности. Данный принцип, определяющий, согласно Л. Р. Зиндеру, самостоятельность фонемы по отношению к слову и морфеме [Зиндер 1979: 38–39], действителен и для соотношения значащих единиц языка друг с другом. Регулярное совпадение слова и предложения, слова и морфемы может свидетельствовать о нерасчлененности данных единиц и, следовательно, о незавершенности иерархического членения языкового целого.

Синкретизм, нерасчлененность предложения и слова возводят к истокам языка, когда он оперирует первообразными словесно-одночленными предложениями. По А. А. Потебне, «первообразное слово–предложение, устанавливая общность признака между *x* и *a*, объясняемым и объясняющим, не относит ни того, ни другого ни к какому общему разряду». «Словесно выражается в таком предложении только представление объясняемого, объясняющее, иначе — сказуемое первобытного предложения» [Потебня 1958: 82], и выражается оно бесформенно — словом, предшествующим образованию грамматических категорий [Там же: 83–84].

Нерасчлененность слова и морфемы, точнее, корня, — явление более актуальное и типологически значимое. По наблюдениям В. фон Гумбольдта, «в одних языках корни изредка появляются в самостоятельной форме в связной речи, другие языки вообще этого не допускают. При строгом разграничении понятий (очевидно, при последовательной грамматической категоризации. — Л. З.) оказывается, что последний случай является единственно возможным. <...> ...Например, в санскрите... в речи обычно употребляются в безаффиксальном виде только немногие корни. <...> Вместе с тем встречаются языки, по существу не имеющие корней в нашем понимании, так как в них отсутствуют законы деривации и изменение звуковых форм простейших звуко сочетаний. В таких языках, как, например, китайский, слова и корни совпадают, поскольку слова в нем не разделяются на формы и не расширяют своих границ, то есть язык этот имеет

только корни» [Гумбольдт 1984: 91–92]. Если же языки имеют только корни, совпадающие со словами, и корней в собственном смысле, «корней в нашем понимании», *противопоставленных аффиксам*, в них нет, то спор о квалификации этих языков как «словесных» или «морфемных» должен быть решен в пользу их «словесной» природы (ср.: [Milewski 1969: 144–145; Солнцев 1971: 267]), если принять во внимание первичность слова по отношению к морфеме.

В интерпретации В. М. Солнцева, «разные способы существования знаменательных морфем и их различная выделяемость определяют и степень четкости границы между словом и морфемой. Граница слова и морфемы резко очерчена в языках, где морфема выделяется из слов как реальный звуковой отрезок, не способный к самостоятельному употреблению. <...> Наоборот, там, где морфема существует только в составе слова и по выделении из слова становится неотличимой от слова, граница слова и морфемы расплывчата. Такого рода *невыводимость* знаменательной морфемы, т. е. неотличимость морфемы по выделении из слова от грамматически законченного слова, объясняет необязательность ее соединения с другой или другими морфемами для самостоятельного функционирования. <...>

Внешняя неотличимость от слова выделенной из слова морфемы наблюдается, по-видимому, во всех языках, но в разной степени. Спорадически это явление можно наблюдать в русском языке. Морфема *стол*- внешне неотличима от слова *стол*. Весьма широко это явление представлено в английском языке, в котором отчетливо наблюдается нарастание изоляции, хотя по ряду других признаков этот язык остается флективным. Среди знаменательных морфем современного английского языка, пожалуй, труднее найти выделяемую, но синтаксически несамостоятельную морфему, чем морфему, ничем внешне не отличимую от слова. Для китайского и вьетнамского языков неотличимость от слова выделенной из слова морфемы есть общее типологическое свойство, или общий закон, хотя спорадически и в этих языках можно наблюдать случаи, когда разложение слова на морфемы ведет к выделению знаменательной морфемы, не совпадающей в своем облике со словом» [Солнцев 1971: 262–263]. В соответствии с данным «общим законом» в изолирующих языках «все знаменательные и часть служебных морфем соотносимы с соответствующими словами» [Там же: 267]. Отсюда следует, что в таких языках иерархическое членение на значащие единицы осталось незавершенным. Если при этом слово, как правило, совпадает со слогом и, наоборот, слог совпадает со словом / морфемой, то незавершенным

оказывается и разграничение двух членений языкового целого — морфологического и фонетического, так что ни о какой автономности слога по отношению к выделяемой значащей единице в изолирующих языках не может быть и речи.

На основании сказанного *определяющей, детерминантной, характеристикой структурного типа языка необходимо признать не столько строение слова и предложения, сколько глубину и четкость иерархического членения языкового целого*. По этому параметру флективные языки превосходят не только изолирующие, но, как показал И. А. Бодуэн де Куртенэ, и агглютинативные языки. В агглютинативных языках при незавершенном морфогенезе слово (словоформа) является производимой единицей (а не воспроизводимой, как во флективных языках), морфема же не вполне самостоятельна по отношению к слову.

Таким образом, *степень автономности единиц языка определяется глубиной членения языкового целого, а она в свою очередь зависит от степени дифференциации лексического и грамматического в содержательной сфере, от характера грамматической категоризации* (см. выше раздел 7.4 и следующий раздел 10.3).

### **10.3. Грамматическая категоризация в ракурсе двойного означивания**

Язык представляет собой знаковую систему с двойным означиванием — семиотическим и семантическим [Бенвенист 1974: 87], так что «при строго семиотическом подходе к уровневой характеристике языка в нем выделяется два уровня» [Мечковская 2004: 269–270] — *уровень слов и уровень предложений–высказываний*.

Необходимость в различении двух способов означивания заложена в особенностях отражения реальной действительности знаковыми единицами разного формата. «Предложение является минимальной речевой единицей, сохраняющей живые связи языка с отображаемой мыслью действительностью. Слова и их значения в своем отношении к сознанию и реальной действительности опосредованы предложением и вне предложения являются лишь потенциальными единицами» [Кацнельсон 1972: 140, а также 161]. Слово как неопределенный по объему и бедный по содержанию виртуальный знак понятия страдает *неопределенностью отражательных свойств*, лишь *намекая* на некий предмет, признак, а тем более факт уже потому, что *всякое слово обобщает*. Семантические потенции и отражательные свойства слова раскрываются при его актуализации в составе пред-

ложения–высказывания путем сужения объема и индивидуализации, конкретизации содержания виртуального понятия вещи, качества, процесса так, чтобы отождествить его с реальным представлением говорящего субъекта [Балли 1955: 87–89].

Понимание феномена двойного означивания существенно зависит от того, как устанавливается иерархия между указанными двумя уровнями. Широко распространено представление, согласно которому предложения — это знаки, «образуемые» в ходе общения по имеющимся в языке синтаксическим моделям [Мечковская 2004: 270], т. е. это знаки *вторичного* означивания, осуществляемого в речи с целью передачи информации и прагматического воздействия на участников коммуникативного акта, тогда как лексические морфемы (!), полнозначные и служебные (!) слова — знаки *первичного* означивания. Получается, что означивание «формируется первично в системе средств (в целях выделения и обозначения релевантных признаков предметов, явлений)» [Уфимцева 1990: 167].

Между тем само членение «текущего языка» / речи на значащие единицы, как показал И. А. Бодуэн де Куртенэ, а позднее отметил Л. Ельмслев, не завершается предложением, но *начинается* с него. «Теоретически (и генетически, т. е. в реальной истории фило- и онтогенеза) не предложение формируется на основе сцепления слов как частей речи, а, наоборот, высказывание как отражение актуально данного факта является отправным пунктом развития» [Кацнельсон 2001: 161]. Соответственно, «понятие предложения логически первично по отношению к понятию слова» [Теньер 1988: 37].

Не случайно уже авторы Пор-Рояля, обосновывая грамматическую категоризацию и выводя ее из структуры суждения, заданной различением в сознании объектов мысли и формы, образа мысли, ориентировались на предложение как «высказанное нами суждение об окружающих предметах» [Арно, Лансло 1990: 92]. Таким образом, в сущности, была доказана несводимость языка к номенклатуре предметов и действенность в нем двойного означивания, по крайней мере на уровне общих и частных грамматических категорий.

Будучи базовой единицей языка [Степанов 1981: 2, 355], предложение явно обладает «образующими» свойствами, обуславливая категоризацию словесных знаков в соответствии с семантико-синтаксической ролью в структурной схеме предложения. В этой связи трудно не согласиться с А. А. Потебней в том, что «части речи и части (далее *члены*. — Л. З.) предложения — это две различные точки зрения на один и тот же предмет» [Потебня 1981: 145]. И потому, например,

в изолирующем вьетнамском языке слова–заместители существительного (местоимения) «могут проявлять себя, с одной стороны, как заместители определенных частей речи, с другой — как заместители членов синтаксических структур» [Быстров и др. 1975: 129].

Поскольку «части речи возможны только в предложении» [Потебня 1976: 151], их образование и развитие неотделимо от предложения [Потебня 1958: 82]. Степень разграничения и частей речи, и членов предложения соотносительна со степенью его единства, «основанного на противоположности главных членов» [Там же: 96], ибо «в предложении, как в животном организме, связь частей увеличивается по мере увеличения различия их функций» [Там же: 222].

Так же как разграничение частей речи, неотделимо от предложения и разграничение выражаемых ими основных типов знаков — идентифицирующих и предидирующих / характеризующих, поскольку именно «в предложении регулярно реализуются две основные функции — идентификация предметов, о которых идет речь, и предикация, вводящая сообщаемое», и «значение слов приспособливается к выполнению одного из этих двух заданий» [Арутюнова 2005: 326]. «...Приспособление к наиболее успешному осуществлению коммуникативной функции привело к формированию двух основных типов значений, которые могут быть названы идентифицирующим и предидирующим (характеризующим). Эти два типа значения входят в непосредственный синтагматический контакт в основной структуре предложений — предложениях характеристики, в которых они наиболее определенно противопоставлены друг другу» [Там же: 371], причем «имена и местоимения специализируются на выполнении функции идентификации, а прилагательные и глаголы по типу своего значения (выражение абстрактного признака) обычно берут на себя роль сообщаемого» [Там же: 326].

Если категоризация получает специальное морфологическое выражение в особых служебных морфемах, благодаря чему «каждое слово носит на себе обозначение той роли, которую оно занимает в предложении» [Потебня 1981: 142], то в таком языке выделяется еще один уровень символизации — *уровень знаков–морфем*.

Наличие / отсутствие этого третьего уровня несомненно отражается и на разграничении первых двух уровней — на степени автономности слова по отношению к предложению, в том числе с точки зрения выявления категориальных и функциональных свойств слова.

В соответствии со степенью развития грамматической категоризации меняется и степень размежевания разных семиологических

классов слов, из них в первую очередь называющих и неназывающих знаков (знаменательных и служебных слов), а среди называющих — идентифицирующих и характеризующих знаков (предметных и признаковых слов). Всё это не может не влиять на реализацию принципа двойного означивания.

Феномен двойного означивания имеет несомненную типологическую значимость потому, что способы двойного означивания соотносительны со способами грамматической категоризации: ведь и те и другие основываются на противопоставлении слова предложению–высказыванию. Неудивительно, что соотношение и функциональную нагрузку двух взаимодополнительных способов означивания — семиотического и семантического — определяют грамматический строй и лежащий в его основе способ категоризации — внутри слова или применительно к его положению в предложении. А так как от способа категоризации зависит соотношение в языке лексического и грамматического, соответственно должна существовать корреляция между степенью лексичности / грамматичности языка и соотносительной нагрузкой двух способов означивания. Если же, следуя Г. Гийому и Э. Бенвенисту, считать слово — элемент семиотического означивания — единицей языка, а предложение–высказывание, в котором осуществляется семантическое означивание, — единицей речи, то двойное означивание оказывается тесно связанным также с противопоставлением языка и речи.

Влияние способа категоризации на функциональную нагрузку семиотического и семантического означивания отчетливо видно из *соотношения воспроизводимых и производимых слов* в таких типологически разных языках, как, например, изолирующий китайский и флективные индоевропейские языки. Поскольку в изолирующих языках слово категоризируется применительно к своему положению в речи, постольку «наряду со стабильным запасом слов, регулярно воспроизводимых в речи, китайский язык широко пользуется словами, которые создаются непосредственно в речи для нужд данного момента». Это явление носит массовый характер, влияя и на характеристику слова в противопоставлении языка и речи, и на соотношение сложного слова и словосочетания. «Если индоевропейские языки преимущественно пользуются словами, существующими в качестве единиц языка, то есть словами — единицами языка, то китайский язык в равной мере пользуется и словами — единицами языка, и словами — единицами речи» [Солнцев 1963: 124]. Сходной точки зрения придерживается и Н. Н. Коротков: «...если во флективных языках часть речи — это



то, чем является слово в языке, в китайском часть речи — это в известной степени то, чем может быть слово в речи» [Коротков 1968: 373].

В трактовке Э. Бенвениста, изолированный словесный знак, взятый сам по себе, независимо от всякой референции с обозначаемым, может быть *узнан*, ибо «у каждого вызывает в общем одинаковые ассоциации и одинаковые противопоставления» [Бенвенист 1974: 88]. Но чтобы *понять* знак, надо знать его референтные связи и, следовательно, необходимо порожаемое речью семантическое означивание в составе предложения–высказывания, которое имеет референцию, так как соотносится с соответствующей ситуацией [Там же: 140].

И то, что может быть узнано, и то, что должно быть понято, обуславливается грамматическим строем языка и господствующим в нем способом категоризации. Это становится вполне очевидным, когда в актуализации нуждаются грамматические значения, ибо от способа категоризации зависят и установление той общей категории, под которую подводится то или иное лексическое значение, и та нагрузка, которую получают при этом синтетические и аналитические способы выражения собственно грамматических значений, а следовательно, и то, какой удельный вес приобретают морфологические и синтаксические признаки в разграничении частей речи. В соответствии со способом категоризации «степень самостоятельности слова, связанная с тем, что имеет больший вес — синтаксические морфемы, присущие слову, или синтаксические морфемы, присущие большим единицам, обуславливает всякое существенное различие между человеческими языками» [Курилович 2000: 70], их синтетический или аналитический строй.

Языки, в которых явно господствует аналитическая грамматическая тенденция, редко прибегают к материальному обозначению грамматических форм и часто вообще воздерживаются от него. Так, «китайский язык выражает всякую форму грамматики в самом широком смысле этого слова при помощи позиции, при помощи употребления слов только в одной, раз и навсегда установленной форме и при помощи сочетания смыслов, то есть только теми средствами, применение которых требует внутреннего усилия» [Гумбольдт 1984: 242]. Переноса грамматическую форму «в сферу работы духа» [Там же: 241], китайский язык «благодаря правильному порядку слов обнаруживает незримо присутствующую в речи форму. ... Чем меньше у него внешней грамматики, тем в большей степени ему присуща внутренняя» [Там же: 267].

В отличие от внешней грамматики, оперирующей материально выраженными формами, во внутренней грамматике, непосредственно



принадлежащей к внутренней — содержательной — форме языка, форма представляет собой не что иное, как значение. Поскольку же язык, будучи формой, предполагает категоризацию, «формальность языка есть существование в нем общих разрядов, по которым распределяется частное содержание языка, одновременно с своим появлением в мысли» [Потебня 1958: 61]. Выделение общих разрядов становится возможным благодаря наличию категориального компонента в иерархически организованной внутренней структуре частных — лексических — значений.

Основополагающий вклад категориальных лексических значений в формирование частей речи, и прежде всего в «различение понятий предмета и отношения», применяемого к целой массе отдельных предметов, признавал уже В. Гумбольдт. Анализируя бирманский язык, он отмечал, что в этом языке «среди корневых слов можно выделить два класса. Слова одного из них выражают действия и признаки, относясь, таким образом, ко многим предметам. Слова другого класса — это названия отдельных предметов, живых существ или безжизненных вещей. Итак, глагол, прилагательное и существительное различаются здесь в соответствии со значением корневых слов. Указанное различие этих слов заключено в их значении, но не в форме» [Гумбольдт 1984: 250]. В частности, «глагол, если рассматривать только само корневое слово, распознается лишь по своему материальному (лексическому. — Л. З.) значению» [Там же: 257]. И в других языках, страдающих, подобно бирманскому, реальным отсутствием «настоящего» глагола с материально выраженными грамматическими формами, «у большинства глаголов глагольная природа заключена уже в самом значении, и потому формальный недостаток компенсируется материально (т. е. лексически. — Л. З.)» [Там же: 248]. Если лексического значения недостаточно для однозначной категориальной идентификации слова, о его частеречной принадлежности можно судить только по речевому контексту [Там же: 265].

Поскольку в выделении классов слов наряду с синтаксическим фактором участвует лексико-семантический, возникает вопрос об их соотношении и, соответственно, о соотносительной нагрузке двух способов означивания. В отечественной лингвистической традиции неоднократно подчеркивалась зависимость семантических свойств слова от его употребления, а значит, и необходимость семантического означивания для частеречной идентификации слова.

В понимании А. А. Потебни, значение слова определяется его употреблением в речи, из которой, однако, значение видно лишь

отчасти [Потебня 1958: 41–42]. И потому, чтобы понять речь, мы опираемся на остающиеся «за порогом сознания» многочисленные отношения данных в этой речи элементов к другим [Там же: 44]. Иными словами, для определения значения слова необходимо взаимодействие отношений, названных позднее синтагматическими и парадигматическими.

Формальные значения слова, совмещающиеся с лексическим в одном акте мысли [Потебня 1977: 246], указывают «на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других. Указание на такой разряд определяет постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим словам» [Потебня 1958: 35].

«Значение слов, как членов предложения, формально и, как такое, сказывается в синтаксическом употреблении, есть само это употребление» [Там же: 74]. В индоевропейских языках, в частности в русском, благодаря грамматическим формам «каждое слово носит на себе обозначение той роли, которую оно занимает в предложении» [Потебня 1981: 142]. Если языки, как, например, китайский, «совсем не знают частей речи в нашем смысле», то в них, по мнению А. А. Потебни, «слово становится понятным только из связи с другими словами, а вырванное из этой связи не имеет определенного значения» [Там же: 147, 143].

Позднее Н. В. Крушевский связал зависимость значения слова от его употребления с действием «закона обратного отношения между объемом и содержанием»: «значение дается слову его употреблением», ассоциациями смежности [Крушевский 1998: 200, а также 211, 212], «чем шире употребление данного слова, тем менее содержания оно будет заключать в себе» [Там же: 206]. Этот закон лежит, в частности, в основе противоположения знаменательных и служебных слов, а также собственно-знаменательных слов и местоимений.

В сущности следуя авторам Пор–Рояля, Ш. Балли отношение между семантическими и функциональными свойствами частей речи (в его определении, это «лексические категории») трактует как взаимозависимость. Согласно Ш. Балли, актуализирующиеся в речи «лексические категории характеризуются их значением, и это значение не отделимо от их функции. Прилагательное призвано служить эпитетом существительного, а существительное может быть характеризовано только прилагательным...; глагол не мыслим без субъекта,

а субъект, который является местопробыванием предиката, не мыслим без глагольного определения; наконец, наречие призвано определять прилагательное или глагол.

Этот дополнительный характер отношений между категориями является лишь мнемоническим соответствием синтагматическим отношениям, осуществляемым в речи; *категории предполагают синтагмы так же, как синтагмы предполагают категории*; благодаря категорийному признаку слова являются членами потенциальных синтагм» [Балли 1955: 128–129; выделено мною. — Л. 3].

Если, однако, учитывать иерархические отношения между предложением и словом, то семиологический закон соотношения между содержанием и употреблением применительно к классам слов должен быть переосмыслен в духе А. А. Потебни и Н. В. Крушевского: между содержанием и употреблением существует не взаимная, а, скорее, односторонняя зависимость. Е. Курилович обосновывал ее тем, что «классы изофункциональных элементов основаны на структурах» [Курилович 2000: 15]. В соответствии с этим в семантической системе языка классы слов, характеризующиеся общностью семантического содержания, строятся на базе синтаксических функций внутри структур, т. е. предложений и словосочетаний [Там же: 13].

Внутренняя связь между категориальным лексическим значением части речи и ее синтаксическими функциями проявляется по-разному в зависимости от иерархии функций. Эта связь вполне очевидна тогда, когда слово выступает в своей первичной немаркированной основной синтаксической функции, присущей, по Е. Куриловичу, только данной части речи. «...Первичные синтаксические функции вытекают из лексических значений частей речи и представляют собой своего рода транспозицию этих значений» [Там же: 61]. Вместе с тем «одно и то же слово может выступать в разных вторичных синтаксических значениях, будучи в отмеченном (маркированном. — Л. 3.) синтаксическом окружении». Вторичные синтаксические функции вытекают из первичной [Там же] и нуждаются в актуализации. В определении Е. Куриловича, различие между первичными и вторичными функциями — это различие «между тем, что дано системой, и тем, что определяется контекстом» [Там же: 474–475].

Уже А. А. Потебня заметил, что «количество частей речи в нынешних языках совпадает почти вполне с количеством и качеством частей (членов. — Л. 3.) предложения» [Потебня 1981: 145]. Согласно С. Д. Кацнельсону, бинарное деление лексических значений на субстанциональные и несубстанциональные (призначные) и общее их

распределение по грамматическим классам осуществляется на основе семантико-синтаксических категорий, функций и отношений. Число грамматических классов определяется численностью первичных семантико-синтаксических функций. Первичные семантико-синтаксические функции несубстанциональных значений — это функции предиката и атрибута, соответственно субстанциональные значения выполняют функции предикандума по отношению к предикату и определяемого по отношению к атрибуту [Кацнельсон 1972: 170–171, 213–215]. Дальнейшее разбиение основных грамматических классов на подклассы опирается на онтологические (лого-грамматические) категории, которые, имея отражательную природу, «воспроизводят в сознании реальные моменты объективной действительности». «На базе этих категорий в классе субстанциональных значений выделяются подклассы предметных и призначных значений, а в классе атрибутивных значений — подклассы качественных и количественных значений» [Там же: 171]. Предикативные значения подразделяются на признаки действия и состояния.

Очевидно, что *в основе грамматической классификации лексических значений в любом языке лежат их отражательные свойства*, обуславливающие возможность семиотического означивания. Не случайно, по определению С. Д. Кацнельсона, «базисными для субстанциональных слов (имен) являются лексические значения, отображающие чувственно воспринимаемые предметы (физические тела). <...> Базисными для атрибутивных слов являются чувственно воспринимаемые признаки предметов, обладающие относительной устойчивостью, — качественные и количественные признаки. Для предикативных слов базисными являются простейшие, чувственно наблюдаемые изменчивые признаки, — предикаты действия и состояния». Эти базисные значения составляют «семантическую основу важнейших частей речи — существительных, прилагательных, числительных, глаголов» [Там же: 175]. Заметим, что те же четыре части речи выделяются среди «полных» (знаменательных) слов китайского языка (см. [Драгунов 1952: 21]).

В соответствии с отражательными свойствами базисных лексических значений за ними закрепляются определенные синтаксические функции. «Мыслительной основой сочетания слов в предложении является деление знаменательных слов на предметные и предикативные. <...> ... Оно носит универсальный характер и является конститутивной особенностью не только языка, но и мышления», причем понятия предметности и предикативного признака (а значит,

идентифицирующих и предизирующих знаков) взаимно предполагают друг друга [Кацнельсон 2001: 160]. Для выражения синтаксических функций, в свою очередь, вырабатываются соответствующие морфологические категории и формы.

В результате выстраивается следующая универсальная иерархия частеречных характеристик: семантические (1) → синтаксические (2) → морфологические (3). Она отражает ведущую роль содержательной стороны языка по отношению к формальной и первичность предложения–высказывания в иерархии значащих единиц. С большей очевидностью указанная иерархия обнаруживается в изолирующих языках, имеющих слаборазвитую морфологию. В частности, «в системе китайского языка слово прежде всего характеризуется своим вещественным значением и лишь во вторую очередь закрепленной за ним синтаксической валентностью, которой иногда сопутствуют в речи и некоторые словоизменительные формы» [Коротков 1968: 397].

Как показал С. Д. Кацнельсон, фундаментальное противоположение предметных и призначных значений принадлежит к *общим* предпосылкам грамматической классификации слов в речемыслительном плане [Кацнельсон 1972: 133], и базисные отражательные свойства важнейших частей речи тоже универсальны [Там же: 133, 175]. В этом отношении изолирующие языки не являются исключением, а, напротив, лишь подтверждают общее правило.

Более того, если, вслед за С. Д. Кацнельсоном, выделять в области грамматической семантики семантические функции грамматических форм и категориальные признаки лексических значений [Там же: 118], то становятся явными и сложная внутренняя структура лексических значений, и ведущая роль категориального компонента лексических значений в грамматическом распределении слов по частям речи. В языках различных типов распределение лексических значений по грамматическим классам слов подчинено *одному и тому же принципу* ввиду сопряженности лексических значений с категориальными: «каждое лексическое значение предполагает определенные категориальные признаки» [Там же: 140–141]. В общем виде эта роль категориального компонента в составе лексических значений обнаруживается при *любом* способе категоризации, но всё же более очевидно тогда, когда категоризация осуществляется в предложении и категориальные признаки лексических значений не отягощены семантическими функциями грамматических форм, когда общеграмматическое (частеречное) и частнограмматическое (сопутствующее) значения «слиты

воедино с вещественным значением и категоризуют его» [Солнцев 1995: 108].

В то же время языки различных типов не лишены способности совмещать признаки, значения, функции нескольких частей речи, что ведет к образованию синкретичных слов и частично пересекающихся классов. Представление, будто во флективных языках «слово может обладать лишь одним общеграмматическим значением и, следовательно, относиться лишь к одной части речи» [Коротков 1968: 373], ошибочно. Поскольку любой язык представляет собой открытую, изменяющуюся и развивающуюся систему, то и в таком, например, типично флективном языке, как русский, «есть не только синкретичные части речи, но и синкретичные отдельные слова, обладающие свойствами нескольких частей речи (двух и более), которые и вызывают трудности при их частеречной квалификации, а иногда обуславливают негативное отношение к классификации частей речи вообще» [Бабайцева 2000: 380]. Не исключены в русском языке и явления категориальной полисемии слов, так что лексико-семантические варианты слова могут различаться своими частеречными характеристиками.

Из сказанного следует, что лексические и грамматические значения соотносительны и между ними нет китайской стены. Лексические значения лежат в основе грамматической категоризации, а она, в свою очередь, порождает лексикализацию грамматических отношений (например, путем перерождения грамматических вариаций залоговых значений в лексические [Виноградов В. В. 1972: 510–511]) и может использоваться в целях лексической специализации для различения ЛСВ.

Нет китайской стены и между языками различных типов. Тем не менее надо признать, что в условиях ограниченности и необязательности грамматических форм нагрузка на лексические значения в изолирующих языках оказывается большей, чем во флективно-синтетических языках.

Выражение грамматического значения через лексическое отражается даже на противоположении знаменательных и служебных слов, или, в терминах китайских грамматистов, «полных» и «пустых» слов. Вопреки мнению Л. Теньера [Теньер 1988: 64], четкая граница между полнозначными и неполнозначными словами в китайском языке отсутствует, хотя стремление к формальному разграничению полифункциональных единиц действует, подчиняясь в общем тем же закономерностям, какие имеют место во флективных языках.

Судя по данным А. А. Драгунова [Драгунов 1952], в случае завершенности процесса грамматикализации тех лексических единиц,

за которыми закрепляется служебная функция, в китайском языке вырабатывается противоположение знаменательных слов служебным словам и морфемам по следующим трем признакам: 1) возможность / невозможность морфологического оформления, 2) наличие / отсутствие индивидуального тона, 3) стабильность / изменчивость звукового состава. Употребление в служебной функции не обходится бесследно для внешней формы. Обслуживающие сферу семантического означивания служебные единицы в китайском, как и в языках с развитой морфологией (типа русского), ущербны морфологически и фонетически. Полузнаменательные единицы, сохраняя тон и сегментные характеристики неизменными, утрачивают способность к морфологическому оформлению.

#### **10.4. Принцип знака в категориально-иерархической организации языка**

В языке как системе, связывающей значение со звуком, сам принцип знака, постулирующий единство означаемого и означающего, предполагает системную обусловленность и, следовательно, мотивированность связи двух сторон знака как элемента системы и тем самым носителя значимости. Однако многообразие взаимодействующих факторов — семантических, синтаксических, прагматических — затрудняет выявление принципа знака настолько, что, согласно господствующей догме, конкретные языковые знаки, взятые во всей их полноте и целостности, представляются произвольными в отношении как звуковой формы, так и ее связи со значением.

Изучение языковых знаков в структурной лингвистике в общем не поколебало укоренившегося представления об их произвольности. Даже у Л. Ельмслева, который рассматривал знаковую функцию в качестве основного предмета лингвистики [Ельмслев 1960б: 48], взаимозависимость между означаемым и означающим означает лишь то, что «...один член *предполагает* существование другого и наоборот» [Ельмслев 1960в: 284; выделено мною. — Л. 3.].

Ученые Пражской школы, понимая под знаком «языковой коррелят внеязыковой действительности, без которой он не имеет ни смысла, ни права на существование» [Трнка и др. 1960: 101], тем не менее утверждают: «Естественный характер знаков (то есть отношение внутренней мотивированности между звуковой формой и значением) мы наблюдаем, с одной стороны, в звуковом составе некоторых слов (особенно междометий) и, с другой стороны, в средствах звукового



оформления предложения (особенно в таких, как фразовая интонация)». Все остальные знаки являются произвольными. Вот почему «в настоящее время можно считать почти общепринятым, что *сущность языка как системы знаков заключается в немотивированности отношения между звуковой формой и значением*» (Thèses collectives 1958, цит. по: [Вахек 1964: 262; выделено мною. — Л. 3.]).

Сходных взглядов придерживается глава американских дескриптивистов Л. Блумфилд: «...Связь языковых форм со значениями совершенно произвольна» [Блумфилд 1968: 148]. В дополнение к произвольности и линейности, которые были выделены Ф. де Соссюром в качестве основных принципов языковых знаков, Р. С. Уэллс в 1947 г. добавляет еще одну «существенную черту», а именно системность. Соответственно «“произвольный” и “системный” — это два основных свойства знаков» (цит. по: [Хэмп 1964: 78]). На самом деле названные свойства исключают друг друга: *если знак системен, а значит, обусловлен системой, он уже не является произвольным.*

Обычно, когда речь идет о произвольности знака, в качестве означаемого рассматривается индивидуальное лексическое значение, которое, по определению А. А. Потебни и А. Ф. Лосева, обладает к тому же непрерывной «текучестью», и упускается из виду, что в триединстве мира, человека и его языка «язык есть прежде всего категоризация» [Бенвенист 1974: 122] и наряду с обозначением понятий индивидуальных предметов внутреннего и внешнего мира в языке осуществляется обозначение гораздо более устойчивых общих отношений, применяемых в соответствии с требованиями мышления к целой массе отдельных предметов [Гумбольдт 1984: 103–104].

Необходимость в категоризации — прежде всего в целях различения идентификации и предикации — заложена в триединстве мира, человека и его языка. Через язык и языковые знаки осуществляется связь между миром и человеком, между реальным объектом и мыслью об этом объекте в сознании человека. В емком изложении Н. Д. Арутюновой, раскрывающем механизм действия названного триединства, «природа языка определяется двумя его основными функциями: коммуникативной и экспрессивной (функцией выражения мысли). Обе они реализуются одной структурой — суждением. <...> Суждение устанавливает связь между миром человека и мышлением о мире. В нем соединены гетерогенные сущности: субъект — представитель мира, предикат — представитель человека, той концептуальной системы, которая присутствует в его сознании. Задача субъекта — идентифицировать предмет речи, задача предиката — указать на те его



признаки, которые релевантны для целей коммуникации. <...> Наиболее существенное следствие из фундаментального различия между субъектом и предикатом состоит в дуализме языкового знака — его способности к денотации (референции) и сигнификации. В субъектной позиции знак указывает на объект действительности, в предикатной — на компонент концептуальной системы. Этим функциям соответствуют два типа значения: идентифицирующее и предикатное» [Арутюнова 1998: XI–XII].

Требования категоризации определяют не только семантику языковых знаков, но и их внешнюю форму, поскольку и сами языковые знаки, и основная масса категоризируемых в языке множеств, из них в первую очередь грамматические категории, имеют *двусторонний* характер, представляя собой *единство* значения и формы его выражения. Следовательно, *и характер означающего, и его связь с означаемым не могут быть произвольными потому, что они формируются всей совокупностью отношений, задающих категоризацию языковых знаков в соответствии с их значением и функцией.*

Ф. де Соссюр, определяя слово как «нечто центральное в механизме языка» и доказывая невозможность определить элемент системы вне целого, по сути, исходил из пронизывающих языковую систему целочастных отношений, в фокусе которых оказывается слово. Многомерность звуковой формы слова — следствие целочастных отношений в системе языка. При этом важны не только анализировавшиеся Ф. де Соссюром парадигматические и синтагматические отношения, в которые вступает слово как часть парадигмы или синтагмы.

Согласно сформулированному Г. П. Мельниковым принципу синтагматико-парадигматической функциональной согласованности [Мельников 2003: 79–84] (см. также [Zubkova 1997: 500–504]), взаимодействие парадигматики и синтагматики достигает оптимума, когда оно обеспечивает функционирование элементов данной системы в надсистеме, т. е. единиц данного уровня в составе единиц высшего уровня.

Поэтому важнейшими из целочастных отношений являются структурирующие всю систему языка иерархические межуровневые отношения, связывающие между собой значащие единицы различных рангов в соответствии с требованиями двойного означивания в триединстве мира, человека и его языка. В центре этой иерархической организации находится слово как типичный языковой знак, обращенный одновременно к предложению — высшей единице, в которой

словесный знак актуализируется, и к морфеме — низшей единице, через посредство которой знак обретает системную мотивированность в виде внутренней формы.

Будучи производной от иерархических связей между единицами разных уровней и от парадигматических отношений единиц одного уровня в иерархически связанных друг с другом группировках разной степени обобщенности, звуковая форма значащих единиц также приобретает иерархическую структуру [Зубкова 1986: 58–61].

В соответствии с иерархическим характером уровневой организации языка как знаковой системы с двойным означиванием звуковая форма словесного знака, его сегментная и суперсегментная структура, обращена к разным уровням организации слова в плане выражения, характеризуя его с внешней стороны как синтаксически неделимое целое в составе предложения, а с внутренней стороны — как определенный тип связи морфем [Зубкова 1978б; 1990].

Таким образом, вопреки представлению о внутренней неупорядоченности и линейной дискретности, но не глобальности звучания в отличие от значения [Солнцев 1971; Уфимцева 1974], звуковая сторона слова структурирована как единство прерывности и непрерывности и в соответствии с диалектикой формы представляет собой единство внутреннего и внешнего. Конкретная реализация внешнего и внутреннего словесного единства определяется типом языка. В языках различных морфологических типов сама степень противопоставленности этих двух единств различна и зависит от степени разграничения значащих единиц языка между собой. В отличие от флективных языков, применительно к которым разрабатывались понятия внешнего и внутреннего сандхи, внешнего и внутреннего словесного единства, в изолирующих языках (вследствие незавершенности иерархического членения на значащие единицы и недостаточной противопоставленности слова и морфемы в условиях нередкой реальной или потенциальной их эквивалентности) имеет место определенный синкретизм внешнего и внутреннего единства слова. Однако и в изолирующих языках вырабатываются средства, характеризующие слово в его отношении к предложению, как того требует типичное для изолирующих языков осуществление категоризации в составе предложения (ср. внешнюю форму корневых имен существительных и предикативов в основоизолирующем индонезийском языке [Зубкова 1978а; 2010: 644–651]).

В языках с развитым морфологическим строем, разграничивающих словообразование и словоизменение, звуковая форма слова отражает также иерархию членений его морфологической структуры,

когда результатом первичного членения являются бинарные структуры — *словообразовательная*, состоящая из производящей базы и словообразовательного форманта, и *словоизменительная*, включающая основу и словоизменительный формант, а последующее предельное разложение дает собственно *морфемную* структуру, фиксирующую виды морфем — корни, префиксы, суффиксы и т. д. — в составе единиц первичного членения. Благодаря наличию всех трех морфологических структур изменяемые производные слова наиболее явно обнаруживают центральное положение слова в иерархии значащих единиц. Словоизменительная структура, вследствие парадигмальной организации, характеризует слово в его отношении к высшей значащей единице — предложению, словообразовательная структура — в отношении к другим словам в составе комплексных словообразовательных единиц (пары, типа, ряда, цепи, парадигмы, гнезда), морфемная — в отношении к минимальным значащим единицам.

Вследствие одновременного вхождения слова в различные по объему и степени обобщенности функционально-семантические и грамматические группировки его звуковая форма содержит в себе категориальные (классные) признаки разной степени обобщенности, отличающие знаменательное слово от служебного, собственно-знаменательное слово от указательно-заместительного, предметное слово от признакового, в том числе имя существительное от глагола, конкретное существительное от абстрактного и т. д. [Зубкова 1986; 1990].

В совокупности многообразных отношений и межуровневых связей, в которых участвует слово, его звуковая форма, как и любая другая характеристика, оборачивается разными сторонами и разными свойствами, в свою очередь обнаруживающими определенную иерархическую соотнесенность. Это относится как к суперсегментной, так и к сегментной организации слова.

В *суперсегментной организации слова* его внешнее единство может обеспечиваться средствами синтаксической фонетики, в первую очередь интонацией.

В соответствии с иерархической организацией языкового целого фразовая интонация также стратифицирована: в ней выделяются общий интонационный контур и слой словесной просодии [Светозарова 1982: 147–165].

Включенность слова во фразовую интонацию, сила давления фразы на слово, согласно Э. Палгрэму [Pulgram 1970; 1975] и Т. М. Николаевой [1977], — характеристика типологическая. Она зависит от пословного или посинтагменного интонационного решения фразы,

от «большей или меньшей грамматикализованности интонационных фигур. Там, где они четки, интонация “сильно” подавляет просодию слова, обеспечивая точность восприятия и интерпретации» [Николаева 1977: 262–263]. В таких языках слова не «нанизываются, как бусины, на линию фразовой интонации, мало при этом модифицируясь», а «как бы растворяются во фразово-интонационных единицах, подчиняясь им» [Там же: 261]. Именно таков русский язык, в котором благодаря развитой грамматической категоризации и высокой степени членораздельности (членимости) языкового целого иерархически связанные значащие единицы — предложение, слово, морфема — разведены достаточно четко. Слово может получить интонационную самостоятельность, выступая «единоличным» экспонентом однословного предложения — вопросительного, ответного, побудительного, эмоционально-оценочного и т. д. В составе неоднословного предложения — высказывания слово само по себе лишается интонационной самостоятельности, подчиняясь целому. Исключения составляют междометия, модальные (вводные) слова, обращения, вопросительные и ответные реплики типа *да*, *нет*, которые, не образуя ни предложений, ни их частей и не являясь грамматическими единицами, представляют собой, по определению А. М. Пешковского, интонационные единицы [Пешковский 1956: 410–411]. В них проявляется диалогическая природа человека и его языка.

Интонационной маркированности тех ЛСВ многозначных собственнно-знаменательных слов, которые употребляются — чаще всего в разговорной речи или в просторечии — в значениях вводного слова, команды, обращения, бранного слова и т. п., способствует перевод знаков из категории идентифицирующих в категорию предикцирующих. В своих первичных прямых значениях такие многозначные слова представляют собой идентифицирующие знаки, в переносных значениях — это предикцирующие знаки, и их употребление ограничено синтаксической позицией сказуемого. Именно ЛСВ, употребляющиеся в значении сказуемого, являются производящими для ЛСВ, выступающих в функциях обращений и бранных слов. Поэтому неудивительно, что, например, «обращения характеризуются потенциальной предикативностью» [Бабайцева 2004: 447]: как и бранные слова, обращения указанного происхождения выражают отношение говорящего к адресату, содержат субъективную оценку последнего, характеризуют его, нередко весьма эмоционально.

На фундаментальную значимость противоположения идентифицирующих и предикцирующих знаков, именных и предикатных слов

в свойственном языку единстве объективного и субъективного указывает интонационное различие номинативных и предикативных синтагм, определительных и предикативных связей в языках различных типов, включая изолирующие [Каплун 1970; Румянцев 1972; Петрянкина 1988]. В этой связи заслуживает внимания гипотеза, согласно которой в филогенетическом развитии речи, судя по данным детской речи, «первоначально названия и предикативы (слова-характеристики) — это одни и те же слова, но в различном употреблении», когда для разграничения функций наименования (идентификации) и характеристики было достаточно порядка слов и интонации [Кацнельсон 2001: 525].

На том же противоположении номинации (идентификации) и предикации основываются, по-видимому, модификации ударений в интонационном слое словесной просодии, образующем внутреннюю форму фразовой интонации. В случае фиксированного ударения эти модификации могут выражаться в его сдвиге, т. е. в изменении локализации. Например, в агглютинативных тюркских языках с фиксированным ударением возможный перенос ударения наиболее регулярно происходит в формах сказуемости и в императиве [Дмитриев 1960: 25–26; Тюркские языки 1966: 94–95, 178, 215–216, 323 и др.], выполняющих предикативную функцию, а также в обращениях, что явно указывает на фразовую обусловленность акцентных сдвигов. Ср. в турецком: *adam-ım* ‘мой человек’ и *adám-ım* ‘я — человек’, *canım* ‘моя душа’ и *cánım* ‘милый мой!’ [Дмитриев 1960: 25]. Сходные явления не исключены и в изолирующих языках. Например, «в китайских терминах родства в так называемом звательном падеже происходит перенос ударения с первого слога на второй. Ранее безударный слог, получив ударение, во всех без исключения случаях произносится в первом тоне (т. е. в ровном высоком тоне. — Л. 3.) вне зависимости от своего этимологического тона». Так, слово *jie<sup>3</sup>jie<sup>0</sup>* ‘старшая сестра’ с этимологическим третьим тоном во втором слоге в «звательном падеже» произносится *jie<sup>3</sup>jie<sup>1</sup>* [Спешнев 1980: 88].

В случае разноместного словесного ударения его фразовые модификации ограничиваются изменением степени ударности. И вряд ли случайно, что в различаемых пражцами «ситуативном» языке, с одной стороны, и «теоретическом» языке, с другой стороны, смысловым акцентом выделяются разные классы слов. Как следует из данных В. Матеиуса и Н. В. Черемисиной по немецкому и русскому языкам, имеющим разноместное ударение, в разговорной речи и в художественной

прозе, т. е. в «ситуативном» языке, самой высокой степенью ударности отличаются имена существительные [Матезиус 1967: 57–58; Черемисина-Ениколопова 1999: 131–132]. Ведь свойственное им «идентифицирующее значение ситуативно обусловлено» [Арутюнова 2005: 373]. В отличие от этого в устной научной речи — в «теоретическом» языке — акцентно выделенными чаще оказываются предикатные слова [Скорикова 1995: 14–18, 37].

Так уже во внешней форме словесных знаков отражаются два главных взаимодополняющих текстообразующих принципа — номинация (идентификация) и предикация, которые характеризуют текст как не просто «единый сложный знак» [Кубрякова 2004: 510], а именно как «сложный языковой знак» [Бабенко и др. 2000: 12, 27].

В языках с более или менее развитой морфологией действие названных механизмов проявляется в тексторазличительной функции морфемного строения имен существительных и глаголов как основных носителей функций идентификации и предикации. Примечательно, что функциональная нагрузка текстовых частеречных различий в морфемном строении соотнобразуется с именным или глагольным характером языка (в определении И. А. Бодуэна де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 104]). В соответствии с этим в бурятском языке большая нагрузка в различении текстов по типам морфемных моделей падает на имена существительные, а в русском языке, причем не только в прозе, но и в поэтической речи, — на глаголы (по своему ритмообразующему потенциалу глагольные морфемные модели явно превосходят субстантивные).

Слово как морфологическая единица оформляется тоном в изолирующих языках, сингармонизмом — в агглютинативных языках, ударением — во флективных языках.

Таким образом, в агглютинативных языках в соответствии с самим принципом агглютинации внешний и внутренний аспекты суперсегментной организации слова разведены: с внешней стороны — как синтаксическая единица — слово оформляется ударением, с внутренней стороны — как морфологическая единица — слово оформляется с помощью сингармонизма (тембрового в одних языках, компактного в других) [Виноградов В. А. 1966: 16–20; Зубкова 1990: 206].

В изолирующих и флективных языках просодическими средствами обслуживаются и внешний, и внутренний аспекты суперсегментной организации слова, а значит, тон и ударение не только морфологизованы, но и синтаксизованы. Однако в отличие от изолирующих языков

во флективных благодаря развитому морфологическому строю оба аспекта разграничиваются более четко, чему способствует неоднородность морфологической структуры слова. В частности, для акцентной организации русского слова как неделимой синтаксической единицы, как синтагматической целостности существенно лишь наличие / отсутствие ударения, а при его наличии — степень ударности. Место и подвижность / неподвижность ударения, а значит, характер и объем ударного компонента, его соотношение с безударной частью, объем и численный состав входящих в нее элементов, которые характеризуют слово с внутренней стороны — как морфологически членимую, синтагматически прерывную (дискретную) единицу, зависят от его словообразовательной, словоизменительной и морфемной структуры [Зубкова 1989; 1991a].

Категориально-иерархическая организация языка распространяется и на систему фонем, и на *фонемную структуру словесного знака*. Подобно значащим единицам языка, *фонема многомерна*, ибо так же, как они, выступает в трех ипостасях, характеризующих ее в отношении не только к другим фонемам, но и к высшей и низшей единицам языка. Степень автономности и, соответственно, расчлененности разных ипостасей фонемы, выделенных И. А. Бодуэном де Куртэнэ: 1) как обобщенного психического эквивалента звука, 2) как подвижной составной части морфемы, 3) как совокупности семасиологизованных и морфологизованных произносительно-слуховых элементов, альтернирующих на стыке морфем или слов, — сообразуется со степенью морфологизации фонем, что, в свою очередь, определяется типом языка, характером грамматической категоризации. Оптимальное свое выражение многомерность фонемы находит во флективных языках с развитой морфологической альтернативой фонем.

В соответствии со стратификацией фонологических противопоставлений первичные и вторичные фонемы, согласные и гласные, локальные и модальные классы согласных получают функционально неравноценную нагрузку в сегментной организации слова (см. [Зубкова 2010: 689–703]), выявляя таким образом скоординированность парадигматики фонем с планом содержания, и в частности сопряженность дизъюнктивных противопоставлений фонем с выражением лексических значений, а коррелятивных противопоставлений фонем с выражением грамматических значений [Там же: 178–189].

Подобно суперсегментной организации слова, его фонемная структура также содержит признаки, указывающие, с одной стороны,



на непрерывность, целостность звуковой формы слова как синтаксической единицы и потенциального минимума высказывания, а с другой — на ее прерывность, обозначенную «морфологическими узлами» (по выражению И. А. Бодуэна де Куртенэ).

Непрерывность и целостность сегментной организации слова обнаруживаются в ее *контурном* характере, который отчетливо проявляется в сонорной структуре слова — в его построении по восходящей / восходяще-нисходящей звучности. В языках флективного строя при обязательном выражении грамматических значений внутри слова и соответственно воспроизводимом характере словоформ целостности словоизменительной структуры способствует фузия основы с флексией, выражающаяся прежде всего в постоянном несовпадении данного морфемного стыка со слогоразделом.

Прерывность звуковой формы слова как определенного типа связи морфем становится очевидной благодаря дифференциации в консонантной структуре слова трех типов позиций: 1) позиции потенциального словесного стыка, 2) позиции потенциального морфемного стыка и 3) внутриморфемной. Такая дифференциация имеет место даже в простом (корневом) слове [Зубкова 2010: 583–589]. Поскольку «сокращенные структуры основаны на полных» [Курилович 2000: 19], «простое слово отражает в своей организации тип связи морфем, канонический для данного языка, в том числе наличие / отсутствие аффиксации, ее вид и функциональную нагрузку» [Зубкова 1990: 234]. И хотя согласные в составе корня служат прежде всего выражению лексических значений, консонантная структура простого (корневого) слова, являющаяся слепком канонической морфологической структуры слова в данном языке, отражает степень оснащенности корня (основного носителя лексических значений) грамматическими показателями, а значит, степень его лексичности / грамматичности. О технике связи морфем в зависимости от их функционально-семантических свойств можно судить также по соотношению морфемных стыков со слогоразделом: *регулярное совпадение морфемных и слоговых границ* (как на стыке префикса или корня с корнем) — *признак агглютинации*, *несовпадение* (как на стыке корня или суффикса с флексией) — *признак фузии* [Зубкова 2004: 33–43]. Дифференциация морфемных стыков по их соотношению со слогоразделом характеризует слово как единство непрерывности и прерывности.

Сегментная организация слова имеет потенциально *n*-мерное строение. Число выделяемых в ней, по выражению Р. И. Аванесова,



планов, аспектов, «этажей» [Аванесов 1956: 215–216] зависит от типа языка: от наличия / отсутствия аффиксального словообразования и словоизменения, от *моморфизма* или *полиморфизма* морфем [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 184–185], от характера и степени вариативности морфем, прежде всего от наличия / отсутствия морфологизованных чередований фонем в морфемах, т. е. в конечном счете от степени грамматичности и глубины иерархического членения данного языка.

**Категориальная мотивированность связи двух сторон словесного знака** проистекает из соотнесенности фонетической структуризации с содержательной. Укоренившееся представление о произвольном характере связей между означаемыми и означающими языковых знаков может быть объяснено тем, что в лингвистике, по-видимому, не без влияния Августина и Декарта, противопоставивших неделимую мыслящую субстанцию протяженной и делимой телесной субстанции, всё еще распространено представление о совершенно асимметричном, неконгруэнтном членении в плане содержания и в плане выражения. При анализе связей между двумя сторонами языковых знаков не учитывается должным образом принцип иерархии, распространяющийся, вопреки общепринятой точке зрения, не только на семантическую, но и на звуковую сторону знака [Зубкова 1986: 56–58; 1990: 239], а если имплицитно такая иерархия допускалась, то поиски связей велись на довольно низких уровнях абстракции, например в пределах классов имен существительных и глаголов и их категорий, как в контенсивной типологии, ориентированной на изучение способов передачи субъектно-объектных отношений действительности [Климов 1983].

Если же исходить из производности явлений низших уровней абстракции от явлений высших уровней и большей устойчивости последних в силу их большей обобщенности, то поиски связей между значением и звучанием следует вести методом последовательного продвижения, восхождения от абстрактного к конкретному, начиная с выражения фундаментального семантического противоположения лексического и грамматического. Именно это противоположение задает и звуковую форму различных типов языковых знаков, и ее связь с содержательной стороной. Насколько явно обнаруживается указанная связь, зависит от степени разграничения лексического и грамматического в данном языке и, соответственно, от положения последнего на типологической шкале лексичности / грамматичности.

Степень дифференциации лексического и грамматического выявляется: в составе и характере грамматических категорий, в принципе морфологического структурирования словоформ — их воспроизводимости или производимости, в обязательном или факультативном употреблении грамматических показателей в определенных контекстных условиях.

Чем отчетливее разграничены в данном языке лексическое и грамматическое, тем более регулярны категориальные различия формального плана между классами словесных знаков разной степени обобщенности.

В первую очередь разграничиваются семиологические классы — называющие (характеризующие) и не называющие (указательно-заместительные и связочные) знаки. Затем среди называющих (характеризующих) знаков в отношении звуковой формы различаются, с одной стороны, идентифицирующие и предидирующие знаки, предметные и признаковые слова и, соответственно, отдельные собственно-знаменательные части речи, прежде всего имена существительные и глаголы, а с другой — словообразовательные макропарадигмы, т. е. непроемные слова и дериваты разных ступеней мотивированности. Наконец, в составе отдельных частей речи размежевываются ономазиологические лексико-семантические категории — синонимы и антонимы.

Чем грамматичнее язык, чем последовательнее осуществляется грамматическая категоризация в самом слове, чем определеннее дифференцируются соответствующие классы слов в плане содержания и в плане выражения, тем регулярнее различаются они и по своей звуковой форме.

В «грамматических» языках, в том числе в русском, довольно четко разграничены в плане выражения вообще и по своей звуковой форме в частности все основные типы словесных знаков: семиологические классы, части речи, словообразовательные макропарадигмы, ономазиологические лексико-семантические категории. Более того, в языках наподобие русского последовательное разграничение лексического и грамматического способствует категориальной мотивированности языковых знаков даже на довольно низкой ступени абстракции — в пределах словообразовательных типов. Чтобы убедиться в существовании такой мотивированности, достаточно сопоставить морфонологические явления в словообразовательном типе с его семантикой [Антипов 2001; Араева 1994]. В «лексических» языках стремление разграничить в плане выражения семиологические классы слов и базовые части речи

также действует, только выражено оно в значительно ослабленной форме, хотя принципы разграничения в основном те же, что и в «грамматических» языках.

**Иерархия звуковых средств**, участвующих в разграничении различных типов словесных знаков, коррелирует с иерархией последних, а сам характер разграничения указывает на категориальную природу корреляции плана выражения с планом содержания.

В соответствии с членением языкового целого сверху вниз для первичного, самого общего, разделения языковых знаков на классы должны использоваться «старшие» звуковые средства, самые общие звуковые различия, отражающие линейный характер означающих и указывающие на целостность, синтаксическую самостоятельность или несамостоятельность словесных знаков, их произносимость или непроизносимость.

На другом полюсе — для разграничения отдельных словоформ и лексико-семантических вариантов — могут использоваться весьма тонкие частные сегментные и суперсегментные различия, вплоть до степеней ударности и безударности [Зубкова 1997в].

Ввиду линейности означающих исходное разграничение **называющих** и **неназывающих знаков** в первую очередь касается их длины, которая коррелирует и с объемом этих классов, и с их семантикой. Называющие знаки как более знаменательные и гораздо более многочисленнее длиннее неназывающих знаков, относительно немногочисленных и семантически ущербных. На фонетическую редукцию знаков, утрачивающих лексическое значение, обратил внимание уже В. фон Гумбольдт [1984: 117, 120–121, 339, 343].

Сообразно с семиологической функцией и степенью знаменательности меняется и функциональная нагрузка согласных и гласных в составе знаков. Ослаблению знаменательности знаков в плане содержания соответствует уменьшение консонантного коэффициента в плане выражения от характеризующих знаков к указательно-заместительным и далее к связочным [Бада 1992].

В «грамматических» языках наподобие русского указанные линейные и сегментные различия подкрепляются различиями, характеризующими звуковую форму с внешней стороны — в отношении к предложению–высказыванию. В отличие от служебных слов, семантически и синтаксически самостоятельные знаменательные слова способны составить потенциальный минимум предложения и как таковые обязательно имеют слоговую форму. Сочетаясь друг с другом, они — если не всегда, то как правило — разделяются слоговой границей. Кроме

того, они обладают суперсегментной организацией и способны быть носителями фразовых ударений различных типов. Служебные слова могут иметь неслоговую форму. Сочетаясь друг с другом и со знаменательными словами, они гораздо реже разделяются слоговой границей и зачастую ущербны в суперсегментном отношении.

Следовательно, общая тенденция такова: *сравнительно с характеризующими знаками (т. е. собственно-знаменательными словами) знаки характеризующих знаков (т. е. указательно-заместительные слова) и отношений между характеризующими знаками (т. е. служебные слова) имеют в меньшей или большей степени «редуцированную» (от *reductio* ‘уменьшение, сокращение’) звуковую форму.* Разграничение основных семиологических классов слов по степени протяженности имеет место и в изолирующих, и в агглютинативных, и во флективных языках. *Во всех языках линейный характер означающего ограничивает произвольность языкового знака. Это универсальная тенденция.*

В разграничении *предметных* и *признаковых слов* среди называющих знаков, и в первую очередь *имен существительных* и *глаголов*, участвуют признаки, характеризующие звуковую форму слова как с внешней, так и с внутренней стороны — и как неделимое синтаксическое целое, и как определенный тип связи морфем. В «грамматических» языках и то и другое может быть сопряжено, в частности, с функционированием существительных и глаголов в качестве словоизменяемых классов, ибо словоизменение одновременно и морфологизовано, и синтактизовано.

Частеречные различия в степени лексичности / грамматичности, в степени синтеза, в технике соединения морфем коррелируют со звуковыми. Так, в русском языке части речи существенно различаются по характеру акцентной организации. В частности, за существительными и глаголами закреплены разные схемы подвижного ударения, причем у глаголов их больше, а акцентное противопоставление словоизменяемых полупарадигм проводится более четко, нежели у существительных [Зубкова 1984в]. Это вызвано тем, что у глаголов категория времени, на которой основывается противоположение полупарадигм в словоизменении, обслуживает слово, а у существительных категория числа, лежащая в основе выделения полупарадигм, обслуживает лексико-семантические варианты и, следовательно, больше лексикализована.

Частеречные различия в морфологической структуре наглядно обнаруживаются в звуковой форме корня. Субстантивный корень,

будучи более лексичным и менее связанным, чем глагольный, имеет большую длину и отличается большей акцентной активностью. У глаголов акцентно активен не корень, а суффикс. Отличаясь от имен более развернутой словоизменительной парадигмой, большей грамматичностью и фузионностью, глаголы чаще имеют альтернирующий корень. При этом сам альтерниционный ряд оказывается длиннее. Среди корневых алломорфов у существительных преобладают менее осложненные, менее модифицированные и, соответственно, более предсказуемые алломорфы — основные, экспонированные немаркированными фонемами, и фонетически обусловленные. У глаголов корни более связаны и грамматичны. Отсюда преобладание алломорфов, не предсказуемых с синхронической точки зрения, — обусловленных либо только морфологически, либо одновременно морфологически и фонетически [Зубкова 1984в; 1988а; Ващекина 1995].

Различаются части речи и по типам морфонологических чередований и их функциональному использованию [Зубкова 1984в: 13–18].

В целом проведенный анализ вполне подтверждает предположение Н. В. Крушевского: «...слова, обозначающие предметы, их качество, их действия или состояния и проч., отличаются друг от друга не только своим содержанием, но и своей внешностью, своей структурой и — в известной степени — своими звуками» [Крушевский 1998: 147].

Действительно, язык использует все формальные средства, включая словообразование, словоизменение, морфемную структуру, сегментные и суперсегментные характеристики звуковой организации, чтобы разграничить сферы номинации и предикации и, в частности, устранить ту ущербность языкового устройства, на которую указывал логик П. Гич в связи с существованием множества бифункциональных словесных знаков, способных выполнять как идентифицирующую, так и предикативную функцию. В самом деле, «если имя и предикат обладают одинаковой внешней формой, это дефект языка» ([Geach 1968: 34], цит. по: [Арутюнова 1998: 4]). Роль суперсегментных средств в устранении данного дефекта трудно переоценить.

Звуковая форма словообразовательных макропарадигм — *непроизводных слов и дериватов разных ступеней мотивированности* — через посредство словообразовательных отношений коррелирует также с морфемным строением слова, словоизменением и семантикой. С повышением ступени словообразования и усложнением морфемного строения слова упрощается его семантическая парадигма, повышается степень продуктивности типов словоизменения, нетривиальное словоизменение сменяется тривиальным.

Соответственно упрощается акцентная и альтернативная парадигма [Зубкова 1984в; 1988а; 1991а; 1991б; Палеева 1988; Ващекина 1995]. Так наглядно выявляется целостность языка.

Чем выше ступень словообразования, тем чаще выделяется ударением производящая база, а маркированные типы словесного ударения — флексивное и подвижное — постепенно вытесняются немаркированным постоянным ударением на основе. В том же направлении повышается частота корневого ударения. Таким образом, ударение всё чаще закрепляется за носителями лексического значения. Показательно и то, что акцентные сдвиги чаще наблюдаются в сфере лексической деривации и связаны с мутационным словообразовательным значением как наиболее лексичным.

В производных словах с уменьшением длины альтернативного ряда алломорфов корня в словоизменительной парадигме и увеличением частоты алломорфов, не участвующих в чередованиях, изменяются и качественные (сегментные) характеристики алломорфов. С повышением ступени мотивированности падает частота основных (немодифицированных) алломорфов, с одной стороны, и наиболее модифицированных алломорфов, обусловленных как фонетически, так и морфологически, — с другой. Одновременно возрастает доля предсказуемых — фонетически обусловленных — алломорфов.

В большинстве случаев мена акцентных схем и альтернативных парадигм в производных связана со структурой производящих, причем в качестве мотивирующего чаще всего выступает исходное (немотивированное) слово словообразовательной цепи.

Поскольку семантическая мотивация производных подкрепляется акцентной и альтернативной мотивацией — полной или частичной, непосредственной или опосредованной (в зависимости от ступени словообразования) [Зубкова 1988а: 58; 1989: 70, 74–75; 1991а: 9–11, 14–15; 1991б: 18–20], постольку *мотивированность словесных знаков означает* не только *выводимость их значения* в той или иной степени *из значения производящих*, но и *большую или меньшую предсказуемость их звуковой формы*, в частности таких ее аспектов, как акцентная организация и алломорфное варьирование корня в словоизменительной парадигме.

В свою очередь, противоположение словесных знаков по признаку немотивированности / мотивированности и, соответственно, непредсказуемости / предсказуемости их звуковой формы становится возможным и реализуется благодаря тому, что в русском языке вследствие высокой степени его грамматичности и членораздельности

сосуществуют обе основные грамматические тенденции — не только фузионная, но и агглютинативная.

Для немотивированных непроизводных словесных знаков типична **фузионная тенденция**. К ее признакам могут быть отнесены: обычная многозначность непроизводного слова; часто нетривиальная словоизменительная парадигма (и, следовательно, иррегулярность в образовании форм); подвижное или флексивное ударение; полиморфизм — часто непредсказуемый — корня / основы; неавтоматические и функционально неоднотипные — морфологизованные и неморфологизованные — чередования фонем; нетривиальные орфоэпические реализации фонем в заимствованной лексике (нередуцированный безударный гласный, твердый согласный перед <e>, долгий согласный в корне).

Для мотивированных производных слов, особенно на высоких ступенях словообразования, характерна **агглютинативная тенденция**, а именно: распространенная однозначность слова; тривиальное, предсказуемое словоизменение продуктивного типа (и, значит, регулярность в образовании форм); постоянное ударение на основе; мономорфизм корня, предпочтительно включающего немаркированные согласные; тривиальные орфоэпические реализации фонем в образованиях от заимствованных слов (редуцированный безударный гласный, мягкий согласный перед <e>, краткий согласный в корне).

Анализ акцентных характеристик *ономасиологических лексико-семантических категорий* в русском языке показал, что семантическая близость синонимов коррелирует с усилением акцентных различий, а семантическая противоположность антонимов — со сближением акцентных характеристик [Федюнина 1987; Пандох 1990; Шарма 1990].

Сравнение фонетических и семантических различий между словами в составе словообразовательных цепей и в антонимо-синонимических блоках в русском языке [Зубкова 1996] обнаруживает не только вполне закономерную корреляцию между значением и звучанием, но и зависимость характера корреляции от типа семантических отношений, и прежде всего от того, на каких понятиях они основываются — логически несравнимых или сравнимых [Карцевский 1965; Новиков 1982]. Соответственно в преимущественно семасиологических (полисемия, омонимия) и преимущественно ономасиологических (синонимия, антонимия) лексико-семантических категориях она принимает разные формы.



В словообразовательных цепях, члены которых связаны друг с другом отношениями последовательной мотивации и различаются по числу лексико-семантических вариантов, наблюдается **параллелизм** между семантической и формальной организацией слова. Многозначность немотивированных исходных слов коррелирует с более сложной формальной структурой, в частности более сложной альтернативной и акцентной парадигмой, позволяющей дифференцировать отдельные лексико-семантические варианты как члены дизъюнктивной оппозиции, объединенные главным образом на психологической основе — на базе ассоциативно-семантических связей, но не на общности компонентного состава. У однозначных производных высоких ступеней мотивированности семантическое единство подкрепляется алломорфным и акцентным тождеством словоформ.

В ономаσιологических лексико-семантических категориях, объединяющих знаки на логической основе — на базе предметно-понятийной общности, их единство обеспечивается **компенсаторной взаимозависимостью** между семантическими и формальными различиями. С усилением семантических различий в направлении от полной синонимии к частичной и далее к антонимии и, наконец, энантиосемии звуковые различия ослабевают и сходят на нет [Зубкова 1993].

Не проходит бесследно для звуковой формы словесных знаков и взаимодействие разного рода категорий друг с другом. Так же как разграничение частей речи в отношении их звуковой формы осуществляется по-разному на разных ступенях словообразования, так и разграничение ступеней словообразования различается от одной части речи к другой. В разграничении ономаσιологических лексико-семантических категорий, помимо взаимодействующих друг с другом семантических факторов, тоже участвуют словообразовательные и частеречные характеристики словесных знаков вплоть до признаков лексико-грамматических и лексико-семантических разрядов, на которые разделяются части речи. Так, в соответствии с противопоставлением перфективации и имперфективации по степени лексичности / грамматичности в глагольных антонимических парах с наосновным ударением в сов. виде преобладает корневое ударение, в несов. виде — суффиксальное [Зубкова 2010: 398–402]. Среди глагольных синонимических рядов, по данным Е. М. Караваевой [Караваева 2008], в семантическом поле «действие и деятельность» самый высокий ранг принадлежит рядам с корневым ударением,



в семантическом поле «бытие, состояние, качество» синонимические ряды с корневым и суффиксальным ударением разделяют между собой первое и второе места, в семантическом поле «отношение» на первый план выходят синонимические ряды с суффиксальным ударением. Указанное акцентное различие между синонимическими рядами коррелирует с различием названных семантических полей по признаку конкретности / абстрактности и соответственно по числу входящих в них глаголов. С убыванием конкретности и возрастанием абстрактности глагольного слова падает акцентная активность корня как носителя лексического значения и повышается вероятность выделения ударением служебной морфемы — суффикса.

Как параллелизм, так и компенсаторная взаимозависимость между семантическими и звуковыми различиями в равной мере указывают на единство и соотносительность содержания и формы в языке. Ввиду взаимосвязанности семантических и звуковых различий и ее зависимости от типа семантических отношений функциональная асимметрия языкового знака, скользящего в плоскостях полисемии / омонимии и синонимии, не только не подтверждает догму о его произвольности, но, напротив, опровергает ее.

Не согласуется с представлениями о произвольности означаемого и его связи с означаемым и то, что в языке вырабатывается иерархия звуковых средств, служащих различению классов и подклассов слов, и эта иерархия соотносительна с иерархией членения лексики. Так, в русском языке для суперсегментного противопоставления различных классов слов друг другу используются следующие акцентные характеристики:

- **ударность / безударность** — для противопоставления знаменательных слов служебным (знаменательные слова обычно ударны и способны нести на себе синтагматическое и фразовое ударение, служебные безударны);
- **степень ударности** — для противопоставления собственно-знаменательных слов указательно-заместительным (первые обычно имеют более сильное ударение, чем вторые);
- **противоположение немаркированного ударения** (наосновного) **маркированному** (флекссионному и подвижному) — для противопоставления производных слов высоких ступеней мотивированности непроизводным словам и дериватам первых двух ступеней (начиная с III ступени словообразования в производных словах почти абсолютно господствует постоянное ударение на основе, в непроизводных словах

и дериватах I–II ступеней возможны все типы ударения, включая постоянное ударение на флексии и различные схемы подвижного ударения);

- **противоположение подтипов маркированного ударения** — для противопоставления имен и глаголов среди непроезводных слов и дериватов первых двух степеней (за именами существительными и глаголами закреплены разные схемы подвижного ударения);

- **противоположение типов морфемного ударения при постоянном ударении на основе** — для противопоставления производных имен и глаголов высоких ступеней мотивированности (корневое ударение чаще встречается у имен существительных, суффиксальное — у глаголов).

Возможности изолирующих языков в этом плане кажутся более ограниченными. Тем не менее в китайском языке противопоставленные по степени обобщенности классы «лексических» слов — знаменательные и служебные слова, собственно-знаменательные слова и местоимения, существительные и глаголы — также имеют в тенденции неодинаковую звуковую форму, различаясь длиной в слогах и тональной структурой [Ван Гуйпин 2003].

Таким образом, иерархический принцип организации, характерный для семантической структуры слова, через посредство грамматических структур распространяется и на его звуковую форму. В результате звуковая форма слова предстает как явление многомерное и иерархически организованное. В ее создании участвуют разные звуковые средства — суперсегментные и сегментные, каждое из которых также стратифицировано и неоднородно.

Наглядным свидетельством тому могут служить, с одной стороны, иерархия транскрипций сегментной структуры слова — морфологической (при наличии морфологических, или исторических, чередований), морфофонематической, словофонематической, словоформофонематической и фонетической, а с другой стороны, в случае акцентной организации слова, как в русском языке, иерархия выделяемых ударением компонентов в словообразовательной, словоизменяющей, морфемной и слоговой структурах [Зубкова 2010: 208–218, 323–341].

Выявляющаяся благодаря посредству грамматики соотнесенность иерархий в семантической и звуковой структурах друг с другом обуславливает категориальную мотивированность означающего и его связи с означаемым в словесном знаке. *Так реализуется в языке принцип знака.*

В иерархическом характере означающего отражаются:

- иерархия членения языкового целого на значащие единицы разного формата и соответствующие им уровни;
- иерархия членения морфологической структуры слова (при развитом словообразовании и словоизменении) на бинарные структуры — словообразовательную и словоизменительную — и небинарную морфемную структуру;
- иерархическая организация лексики, в которой, судя по критериям выделения частей речи, функционально-семантические свойства сопряжены с закономерностями иерархического членения синтаксических и морфологических структур.

Благодаря пронизывающим языковое целое иерархическим отношениям и категоризации изоморфное строение означающего и означаемого, их «диаграммное соответствие» друг другу регулярно обнаруживаются не только в синтаксисе и морфологии, но и на лексическом уровне, отнюдь не ограничиваясь периферическими в общем явлениями звуко-символизма, паронимии и т. п., на которые указывал Р. Якобсон [Якобсон 1983: 111–115]. Вследствие категоризации и иных структурных связей языковой знак как элемент системы по необходимости не может быть абсолютно произвольным. В нем обязательно имеются иконические и индексальные составляющие.

Итак, *«согласованность между звуком и мыслью», означающим и означаемым как принцип знака, воплощенный в категориально-иерархической его организации и обуславливающий его системную мотивированность, является важнейшей языковой универсалией, которая в зависимости от способа категоризации и глубины иерархического членения принимает разные формы в языках различных типов, представляя то в словно свернутом, то в развернутом виде.* Чем глубже иерархическое членение языкового целого и чем последовательнее грамматическая категоризация, осуществляемая **внутри слова**, тем отчетливее обнаруживается согласованность означающего с означаемым в разных семиологических классах слов. Неудивительно, что сравнительно с аналитическими языками в синтетических языках, особенно в случае развитой флексии, принцип знака проявляется ярче.

Согласованность двух сторон знака между собой если не исключает вовсе, то во всяком случае ограничивает его произвольность. Связываемая прежде всего с выражением индивидуальных лексических значений произвольность кажется предпрешенной вследствие текуче-

сти и известной неопределенности как самих лексических значений, так и бесконечно порождаемых всё новых и новых смыслов. Однако знак как двустороннее целое является частью системы, ее членом [Соссюр 1990: 148–149]. Настаивая на этом, Ф. де Соссюр считает существенной ошибкой рассмотрение каждого знака в отдельности вне его связей со всеми остальными знаками в той же системе [Там же: 150–151]. Он стремится утвердить представление о «косистематической природе знаков» [Там же: 149], хотя оно вступает как будто в видимое противоречие с принципом произвольности знака. Ведь, согласно Соссюру, по отношению к знаку как к своей части *система выступает началом, ограничивающим его произвольность*. Видя в языке систему чистых значимостей, он пишет: «Невозможно представить всю важность слова *член*. *Сведение во всякой языковой системе абсолютной произвольности к относительной и составляем “систему”*» [Там же: 186; жирный курсив мой. — Л. 3.]. Будучи системой, язык «не целиком произволен» [Соссюр 1977: 106]. И потому «... всё, относящееся к языку как к системе, требует рассмотрения именно с этой точки зрения, которой почти не интересуются лингвисты, — с точки зрения ограничения произвольности языкового знака» [Там же: 165].

Выходит, понятие системы предполагает не абсолютную, а относительную произвольность. Как член системы языковой знак не может быть абсолютно произволен, он всегда относительно мотивирован этой системой. А между тем сам Соссюр находит в языке наряду с относительно мотивированными также — и в первую очередь — абсолютно произвольные знаки [Там же: 163–166].

По данным проведенного автором исследования, если действительно рассматривать языковой знак сквозь призму системы, то в силу категориально-иерархической организации языка простые слова, которые Соссюр называет абсолютно произвольными и совершенно не мотивированными, на самом деле являются системно мотивированными уже потому, что входят в определенный семиологический класс и принадлежат к той или иной грамматической категории. Соответственно такие слова содержат в составе своего лексического значения категориальный компонент, а их внешняя форма соотнобразится с присущими им функционально-семантическими свойствами [Зубкова 2010]. Судя по формальному разграничению ЛСВ многозначных слов [Москвичева 2001], категориальная мотивированность распространяется и на выражение отдельных лексических значений.

## 10.5. Грамматическая мотивированность знака и целостность языковой системы

### 10.5.1. К обоснованию метода и результатов исследования

Связь между означаемым и означающим в языковом знаке предполагает выводимость значения из звучания, с одной стороны, и соответствие звучания выражаемому значению — с другой.

Когда говорят о мотивированных знаках, о мотивированности слова, в сущности речь идет о выводимости его значения. Именно эта цель — выведение значения слова, мотивация обозначаемого — преследуется при семасиологическом подходе, когда в ходе анализа мотивационных отношений между лексическими единицами вскрывается внутренняя форма слова, его морфосемантическая структура и на основе соотносительности с однокоренными и одноструктурными лексическими единицами устанавливается лексическая и структурная мотивированность слова.

Выявление лексической и структурной мотивированности слова означает определение мотивировочного и классификационного признаков (*об*)*означаемого* [Блинова 2007: 386]. Вот почему основатель Томской мотивологической школы О. И. Блинова подчеркивает лексиколого-семасиологическую направленность мотивологии как науки о мотивированных словах [Там же: 4, 16–17]. Объяснение собственно звуковых особенностей выражения соответствующих значений выходит за рамки семасиологического направления. Так, на основе соотнесенности слова *березник* с однокоренным *береза* и одноструктурными *ельник*, *осинник* и т. п. осуществляется членение лексемы на значащие сегменты *берез/ник* и через посредство мотивационного значения 'лес <из> берез' получает обоснование лексическое значение 'роща или лес, состоящий из одних берез'. Но мотивологический анализ, так же как словообразовательный, не объясняет считающуюся обычно произвольной звуковую форму значащих единиц, в частности восходяще-нисходящую звучность консонантной структуры слова, градуальное различие в протяженности корня, суффикса и флексии и т. д.

Чтобы выявить характер связи внешней, звуковой стороны значащих единиц с передаваемым значением, семасиологический подход к знаку должен быть дополнен ономасиологическим.

Так как впечатление произвольности этой связи неизбежно возникает, если, по традиции, иметь в виду индивидуальные лексические значения, начинать анализ следует не с отдельных языковых

знаков, а с основных классов словесных знаков — методом восхождения от абстрактного к конкретному. Среди семиологических классов прежде всего должно быть учтено противоположение *называющих* и *неназывающих* знаков. В свою очередь *называющие* знаки разделяются на *идентифицирующие* и *предицирующие*, а *неназывающие* — на *дейктические* (шире, указательно-заместительные) и *связочные*.

Наиболее надежный показатель мотивированности знаков в плане выражения — типологически значимые различия во внешней форме основных классов знаков, коррелирующие с их категориальными значениями. В этих различиях отчетливо выявляются мотивированность связи означающего с означаемым и, соответственно, принцип знака, понимаемый вслед за В. фон Гумбольдтом как «согласованность между звуком и мыслью» [Гумбольдт 1984: 75].

Ключом к принципу знака, в том числе в ономазиологическом аспекте, являются сущностные свойства системы языка: **членение**, **категоризация**, обуславливающая соотношение *лексического* и *грамматического* в данном языке, **иерархия** и **многомерность** языковых единиц.

В исходном семантическом противоположении лексических и грамматических значений определяющим является их отношение к внешнему миру и к человеку. Это отношение обуславливает открытость / закрытость и количественное соотношение лексических и грамматических значений, а потенциальная неисчислимость / исчислимость значений, в свою очередь, влияет на степень их структурированности.

Количественные различия в инвентаре значений предопределяют различия в наборе используемых для их выражения звуковых средств в парадигматике и расхождения в сложности экспонентов выражаемых значений в синтагматике. Прежде всего различаются такие носители указанных значений, как знаменательные и служебные слова и морфемы. Далее в соответствии со степенью лексичности / грамматичности различия в плане выражения распространяются в морфемике на противоположение словообразовательных и словоизменяемых морфем. В языках с развитым словообразованием и словоизменением в выражении лексических, словообразовательных и словоизменяемых значений прослеживается определенная градация как по количеству используемых для этих целей фонем, так и по протяженности соответствующих морфем в слогах и фонемах. В лексике среди знаменательных слов различаются своей внешней формой собственно-знаменательные и местоименные слова, а среди

собственно-знаменательных слов — такие базовые и как будто универсальные части речи, какими считаются имена существительные и глаголы, функциональное различие между которыми (за существительными закреплена идентифицирующая функция, за глаголами — предикцирующая) соотнобразуется с большей лексичностью существительных сравнительно с более грамматичными глаголами.

Соотносительность внешней формы классов слов с указанной иерархией позволяет говорить о категориально-иерархическом характере системной мотивированности словесных знаков. При этом имеются в виду не только категории в широком смысле, т. е. классы, общие разряды, группы и в том числе части речи, но также грамматические категории в узком смысле слова — как определенные системы противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородным значением, которые являются признаками частей речи [Бондарко 2002: 206]. Наличие / отсутствие таких категорий и их характер обуславливают положение языка на шкале лексичности / грамматичности.

Завершенное иерархическое членение языкового целого, последовательная грамматическая категоризация и четкое различение лексических и грамматических значений в плане выражения способствуют выявлению системной мотивированности знаков.

В системной мотивации словесных знаков участвуют все типы отношений.

На основе *парадигматических* отношений осуществляется категоризация и знак обретает категориальную мотивированность, включаясь — в зависимости от типа категоризирующего признака (классифицирующего или модифицирующего) — в определенную общую или частную категорию. Средством категориальной мотивированности общих классифицирующих категорий — таких, как части речи, — может служить наличие / отсутствие модифицирующих категорий у данной классифицирующей категории, а в случае их наличия важен характер собственно грамматических модифицирующих категорий, закрепленных за данной классифицирующей категорией.

*Синтагматические* отношения, основанные на линейном характере языка [Соссюр 1977: 155], обуславливают протяженность означающих. Различие в протяженности означающих служит различению общих и частных категорий. С этой точки зрения различаются, например, знаменательные и служебные слова, а также выражение положительной, сравнительной и превосходной степени у качественных прилагательных, форм единственного и множественного числа у имен существительных и глаголов [Якобсон 1983: 110].



Особо следует выделить вклад *иерархических* отношений, из них в особенности интегративных, в ограничение произвольности. Свойства словесного знака (в том числе его немотивированность / мотивированность) могут быть определены, если слово рассматривается не только в отношении к другим словам, но и в отношении как к высшим, так и к низшим единицам языка, в соответствии с чем в морфологической структуре слова различаются словообразовательная, словоизменительная и морфемная структуры.

Способность слова быть составной частью предложения определяет значение слова, актуализирующееся в предложении при семантическом означивании. Если, вслед за С. Д. Кацнельсоном, понимать под актуализацией переход из общего в отдельное, из абстрактного в конкретное, то актуализации служит и «в актуализации заложена вся грамматика. <...> Ибо актуализация предполагает не только конкретизацию слова в пределах данной обобщенной (родовой) абстракции, но также конкретизацию отношений между словами, которые могут быть различными, конкретизацию связей между разнородными абстракциями и между отражающими их словами» [Кацнельсон 2001: 563–564]. А так как грамматика, или, в определении И. А. Бодуэна де Куртенэ, «морфологическая сторона языка», «морфологическая артикуляция», представляет собой «способ, каким звуковая сторона связана с психическим содержанием» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 133], то и «согласованность мысли и звука» в языковых знаках осуществляется через грамматику как «исключительно языковое начало». Значит, в основе принципа знака лежит «морфологическая артикуляция, состоящая в членении предложения на слова, слов же — на значащие части» [Там же, I: 263].

Вследствие указанных иерархических связей между значащими единицами звуковая форма слова несет на себе печать семантического означивания в составе предложения, с одной стороны, и возможных вариантов морфологического членения — с другой. Членение и категоризация обуславливают весь звуковой строй языка вплоть до орфоэпической вариативности [Зубкова 2010: 218–224]. В свете указанных сущностных свойств языка получают цельносистемное содержательно ориентированное обоснование не только синтагматика, но, что особенно важно, характер и парадигматика используемых в звуковой форме слова сегментных и суперсегментных средств.

Специфику звуковой формы языка в ее целостности и порознь фонемную, слоговую, суперсегментную организацию слова во многом определяет его морфологическая структура, которая по праву столь



долго находилась в фокусе типологических изысканий. Значимость морфологической структуры слова, в том числе для обоснования принципа знака, задается тем, что в составляющих ее морфемах как минимальных значащих единицах языка план содержания непосредственно сопрягается с планом выражения.

При рассмотрении морфемного строения разных классов слов как важнейшего аспекта их внешней формы в центре внимания находятся две характеристики: *лексичность/грамматичность морфем*, обуславливающая не только их протяженность, но и агглютинативную или фузионную технику связи морфем в составе слова, и *степень сложности морфемного строения*, помогающая вскрыть значимость линейного характера означающих, их протяженности в разграничении классов слов. Сравнительный анализ морфемного строения имен существительных и глаголов в плане выражения, помимо указанной количественной характеристики, измеряемой индексом синтеза, включает в себя также описание *типовых морфемных структур* и *конкретных морфемных моделей*, иерархия которых меняется в зависимости от характера текста, выявляя таким образом одну из специфических черт текста как сложного знака.

При двояком членении языкового целого морфема как минимальная значащая единица коррелирует со слогом как минимальной произносительной единицей. Соотношение морфемы и слога, морфемного и слогового членения — важнейшая из характеристик, раскрывающих принцип знака (см. [Зубкова 1984а; 1984в; 2004; 2010: 242–299] а также [Попова 1990; Бада 1992; Айюб 2001; Саркисян 2001; Саргсян 2012; Иванова 2008]).

Итак, если принцип знака понимать в первую очередь в смысле согласованности двух сторон языкового знака друг с другом, то обосновать принцип знака и, следовательно, объяснить связь между звучанием и значением — это значит объяснить системную обусловленность и, соответственно, мотивированность внешней, звуковой формы языка вообще и его значащих единиц в частности существенными свойствами языка и такими основополагающими особенностями плана содержания, как характер категоризации и соотношение лексического и грамматического [Зубкова 1984б; 1999/2003: 167–226; 2010]. В свою очередь, обоснование мотивированности плана выражения планом содержания означает принципиальную возможность цельносистемного описания каждого отдельного языка и построения цельносистемной типологии языков на детерминантной основе.

### 10.5.2. Знак в системе языка и ее целостность

Основные результаты многоаспектного исследования внешней (означающей) стороны различных типов словесных знаков, выполненного в соответствии с изложенными принципами [Зубкова 2010], позволяют утверждать: провозглашенный В. фон Гумбольдтом принцип знака, т. е. согласованность между звуком и мыслью, действительно существует. В этом убеждает не просто согласованность означающего с означаемым, а *системная грамматическая мотивированность связи двух сторон знака в категориально-иерархической организации языка*. Мотивации словесного знака как составной части предложения, с одной стороны, и совокупности морфем, с другой стороны, служит вся морфология языка в широком смысле (включая синтаксис), т. е. грамматика, связывающая, согласно И. А. Бодуэну де Куртенэ, звуковую (фонетическую) сторону с психическим содержанием (семасиологической стороной) [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 133].

Разносторонний анализ внешней формы слова в категориально-иерархической организации языков различных типов позволил разрешить две проблемы, поставленные вслед за В. Гумбольдтом П. А. Флоренским:

- во-первых, объяснить *целостность* трихотомичного строения слова, включающего звуковую, грамматическую и семантическую структуру (в терминопотреблении П. А. Флоренского это соответственно «фонема», «морфема» и «семема»);
- во-вторых, вскрыть механизмы, дающие возможность преодолеть — хотя бы отчасти — ту *зияющую пропасть между звуком и смыслом*, на которую указывал П. А. Флоренский, и таким образом прояснить в меру сил ту до конца не уясненную ни для В. Гумбольдта, ни для П. А. Флоренского (ни тем более для тех лингвистов, кто принимает за аксиому произвольность языкового знака) действительную связь между звуком и мыслью, «между фонемой и семемой слова, которую собственно и держится слово как целое» [Флоренский 1990: 267].

«В плоскости лингвистической, — прозорливо предположил П. А. Флоренский, — этой связью служит морфема слова, ибо она определяет, с одной стороны, звуки фонемы, а с другой — из первичного значения слова, даваемого опять-таки той же морфемой, вырастает и вся полнота наслоений семемы. <...> ...Морфемой, представляющей двуединство первозвука и первосмысла, объединяется в слове звук и смысл» [Там же].

Очевидно, в двуединстве «общеобязательной» внешней формы слова морфологическая (морфемная) структура потому и служит соединительным звеном между «фонемой» и «семемой» [Флоренский 1990: 234], что благодаря категориальному синтезу она «прочеканена грамматическими, а через них — и логическими категориями» [Там же: 235]. «Морфема подымает слово от чувственного мышления к грамматическому» [Там же: 238].

Различение основных семиологических классов слов и базовых частей речи по их *морфемному строению* является универсальной характеристикой. Универсальность такого различения обусловлена требованиями коммуникации — необходимостью формального выражения идентификации (номинации) и предикации как основных текстообразующих механизмов.

Типологические различия касаются:

- степени формальной дифференциации классов слов в соответствии с соотношением способов категоризации — вне слова или внутри него;
- относительной нагрузки каждой из базовых частей речи в реализации тексторазличительной функции в соответствии с именным или глагольным строем языка.

Влияние грамматических свойств слова, и в частности морфологического строения, на словесную звуковую форму отчетливо проявляется в *слоговой, суперсегментной и фонемной структурах*, о чем свидетельствует возможность выделения таких структур, как морф(емн)о-слоговая, морфо-ритмическая, морфонологическая. Особенно важны две упоминавшиеся базовые морфологические характеристики: *количественная* — степень сложности морфемного строения слова, с одной стороны, и *качественная* — лексичность / грамматичность входящих в него морфем, с другой стороны. Ведущей, как и следовало ожидать, является семантическая характеристика. Поэтому в сравнении с индексом синтеза индекс лексичности / грамматичности отличается более высокими коэффициентами корреляции с индексами агглютинации / фузии, с частотой однофонемных морффов, с частотой морфных швов в слоге.

Помимо выполняемых функций и выражаемых значений для внешней формы классов слов существенны такие морфологические характеристики, как предпочтительно используемые способы словообразования, наличие / отсутствие словоизменения, типовые морфемные структуры и конкретные морфемные модели.

Немаловажное значение имеет тесно связанная со способом категоризации производимость / воспроизводимость слова, а при наличии

словоизменения производимость/воспроизводимость словоформ в соответствии с факультативным или обязательным выражением тех или иных грамматических значений. От производимости/воспроизводимости зависят:

- способ суперсегментной организации слова в синтетических языках агглютинативного и флективного строя;
- агглютинирующий или фузирующий способ соединения морфем, в том числе:
  - а) частота и характер алломорфного варьирования различных видов морфем,
  - б) направление ассимилятивных процессов,
  - в) соотношение морфемного членения со слоговым;
- соответственно более или менее четкая членимость слова/словоформы на составляющие их значащие компоненты, а также
- степень дифференциации позиций потенциального словесного стыка, потенциального морфемного стыка и внутриморфемной в консонантной структуре слова;
- наконец, степень разграничения классов слов по их глубине и длине (в слогах и фонемах), т. е. с точки зрения линейного характера означающих.

Выявившиеся в процессе исследования сегментных и суперсегментных характеристик принципы организации звуковой формы слова свидетельствуют:

- о системном характере связи между планами языка;
- о зависимости функциональных свойств звуковых единиц и звуковой формы значащих единиц языка от иерархических отношений — как непосредственных, так и опосредованных — между единицами разных уровней;
- о единстве звучания и значения слова при определяющей роли содержательной стороны;
- о звуковой форме слова как единстве внутреннего и внешнего, синхронического и диахронического, универсального, типологического и специфического;
- о целостности, иерархической структуре и категориальной мотивированности звуковой организации слова.

Так создается согласованность означающего с означаемым в знаке как элементе системы языка. Следовательно, *принцип знака — это реальность*.

Принцип знака характеризует не только словесный знак, но и текст как сложный знак, в котором функционирует слово. Свидетельством

тому — те различия между текстами основных функциональных разновидностей, которые наиболее систематично были изучены на материале русского языка. Различия между разговорной речью, художественными текстами (устными и письменными, прозаическими и поэтическими) и научным стилем многообразны. Они обнаруживаются, в частности, в иерархии классов слов (в том числе в соотношении базовых частей речи — имен существительных и глаголов) по частоте употребления, в иерархии типовых структур и конкретных моделей морфемного строения существительных и глаголов, в дифференцированном употреблении их морфемно-слоговых моделей и морфо-ритмических структур, в различном слоговом и ритмическом строении классов слов.

Грамматическая мотивированность и многомерность словесных знаков в единстве их внешней и внутренней формы, складывающейся в результате знаковой символизации на нескольких уровнях (включая текст), в свою очередь, предполагают, что язык является цельно-системным образованием несмотря на то, что сам характер языковой системы как будто «подтачивает» ее целостность. Ведь языковая система — это система динамичная, вероятностная, открытая, самоорганизующаяся, знаковая.

Вследствие известной стихийности, случайности языковых изменений в условиях самоорганизации и — пусть ограниченной, во многом кажущейся, но не исключенной вовсе — произвольности языковых знаков ввиду неопределенности как означаемого, так и означающего, состояние языковой системы, изменяясь во времени в открытом взаимодействии со средой и другими языками, обнаруживает склонность к неравновесности и асимметрии, о чем свидетельствует наличие центра и периферии, сильных и слабых мест, немаркированных и маркированных (в разной степени) элементов, переходных явлений между членами оппозиций и т. д.

Отвечая на запросы трех своих надсистем — природной (физической), социальной и психической, язык выполняет множество функций в каждой из них, а потому не является однозначно детерминированной системой. В нем могут действовать с различной степенью вероятности противоположные, казалось бы, грамматические тенденции — полисинтетизм, синтетизм и аналитизм, фузия и агглютинация, так что язык оказывается политипологическим образованием, причем особенно явно в случае последовательно проведенной грамматической категоризации, нуждающейся для своего выражения в многообразии языковых средств.

Обычно политипологизм естественных языков связывают с их исторической изменчивостью, с неравномерностью развития разных сторон языкового целого, вследствие чего «... в каждом языковом состоянии мы констатируем пережитки и признаки будущего» [Бодуэн де Куртене 1963, II: 308].

Однако и само устройство языка, особенно в условиях сосуществования развитых функциональных разновидностей, способствует политипологизму и даже нуждается в нем. Необходимость в использовании разных грамматических тенденций диктуется потребностями актуализации и категоризации языковых знаков в соответствии с двумя главными текстообразующими принципами — идентификации и предикации. Язык — знаковая система с двойным означиванием (семиотическим и семантическим) и с двумя способами грамматической категоризации (внутри слова и применительно к положению слова в предложении). Хотя функциональная нагрузка каждого из способов означивания и особенно категоризации может существенно различаться в зависимости от типа языка, тем не менее ни один язык не может обойтись без разных способов как означивания, так и категоризации. Даже если категориальные грамматические значения получают регулярное выражение внутри слова (как в русском языке), лишь некоторые из них, имеющие *отражательный характер* (категория числа существительного, категория степени сравнения прилагательного и наречия, категории вида, времени и наклонения глагола), не требуют для своего выявления опоры на синтаксические связи и относятся к несинтагматически выявляемым. Остальные принадлежат к синтагматически выявляемым и обнаруживаются в синтаксических связях [Русская грамматика 1980, I: 457].

В результате сосуществования в языке разных способов означивания и категоризации для выражения определенного категориального значения используются разноуровневые средства (морфологические, синтаксические, лексические, лексико-грамматические...), которые взаимодействуют в рамках единого функционально-семантического поля.

Более или менее регулярное обращение к обоим способам категоризации в языках различных типов необходимо уже потому, что любой язык постоянно нуждается в расширении своих выразительных возможностей, прежде всего в целях разграничения идентифицирующих и предикационных знаков. Ведь через них осуществляется связь мира внешних явлений с внутренним миром человека и удовлетворяются запросы физической, социальной и психической надсистем языка.

По всей вероятности, типологическая неоднородность базовых частей речи, текстов как сложных языковых знаков и языка в целом имеет общие функциональные основания и связана с фундаментальным противоположением номинации и предикации, объективного и субъективного, конкретного и абстрактного.

Тем не менее язык остается единым целым. В каждом данном языке его целостность имеет свою специфику, которая определяется **детерминантными свойствами**, проходящими через всю систему, а именно — *глубиной иерархического членения* и положением языка на шкале *лексичности/грамматичности* в соответствии с *характером грамматической категоризации*.

Главную роль в структурной организации языка и создании его внутренней целостности, естественно, играют **отношения**. В силу знаковой природы языка особенно важны *отношения взаимозависимости* между двумя планами — *содержания* и *выражения*, образующими такое единство, в котором содержательная сторона является ведущей, но и формальная сторона отнюдь не пассивна. Их взаимодействие обуславливает скоординированность парадигматики и синтагматики средств выражения с означаемым содержанием.

К частным проявлениям данного взаимодействия относятся:

- соотносительность типологии фонологических оппозиций с основными типами языковых значений (так, дизъюнктивные противопоставления согласных фонем закрепляются за выражением лексических значений, а коррелятивные могут грамматикализироваться);
- соотносительность суперсегментной организации слова с его морфологической структурой (тона — с изоляцией, сингармонизма — с агглютинацией, ударения — с флективностью);
- зависимость линейной протяженности морфем и слов от их характеристики по признаку лексичности / грамматичности (лексичность коррелирует с большей протяженностью, грамматичность — с меньшей);
- корреляция между техникой связи значащих компонентов в синтагме и слове и их функционально-семантическими характеристиками (так, обычно на стыке префикса или корня с корнем имеет место агглютинация, на стыке основы слова с флексией — фузия);
- корреляция иерархии звуковых средств, служащих различению классов и подклассов словесных знаков, с иерархическим членением лексики на семиологические классы (например, в русском языке *ударность / безударность* используется для противопоставления *знаменательных слов служебным*, *степень ударности* —



для противопоставления *собственно-знаменательных слов указательно-заместительным*, противоположение немаркированного ударения (наосновного) *маркированному* (флекссионному и подвижному) — для противопоставления *производных слов высоких ступеней мотивированности* *непроизводным словам и дериватам первых двух ступеней*, противоположение акцентных схем — для противопоставления *имен и глаголов на нулевой, первой и второй ступенях мотивированности*);

- параллелизм между семантической и формальной организацией слова в словообразовательных цепях: с повышением ступени мотивированности ограничивается полисемия (это преимущественно семасиологическая категория) и упрощаются словоизменительные, а вместе с ними акцентные и альтернативные парадигмы;
- компенсаторная взаимозависимость между семантическими и формальными различиями в ономазиологических категориях (с усилением семантических различий в направлении от полной синонимии к частичной и далее к антонимии и, наконец, энантиосемии звуковые различия ослабляются и сходят на нет).

Огромный вклад в обеспечение целостности языковой системы вносят *отношения между единицами языка*, из них в первую очередь *иерархические* отношения между единицами разных уровней, обуславливающие наряду с грамматической категоризацией *многo-мeрность единиц* каждого данного уровня постольку, поскольку они связаны интегративными отношениями с единицами высшего уровня, конститутивными отношениями с единицами низшего уровня, синтагматическими и парадигматическими отношениями с единицами того же уровня. К тому же отношения одноуровневых единиц осуществляются в составе единиц высшего уровня, причем так, что между парадигматикой и синтагматикой обнаруживаются, согласно Ю. С. Степанову, взаимодополнительные градуальные соотношения [Степанов 1975: 258–260].

Действие сходных закономерностей на разных уровнях обуславливает **изоморфизм** последних (при всем своеобразии каждого из них). Указанный изоморфизм распространяется и на звуковую организацию слова и предложения–высказывания, что также служит целостности языка.

В результате названных взаимосвязей в составе единого целого языковые единицы вообще и звуковые в частности приобретают (со)относительные, реляционные свойства и получают различную **значимость** в зависимости от тех противопоставлений, в которых



эти единицы участвуют, от тех позиций, в которых они выступают, от места в системе, в схеме форм. Значимость является не только существенным показателем целостности структурной организации языка, но и важнейшим системным фактором, способствующим оформлению и выделению языковых элементов на основе их относительных свойств.

Если изучать систему языка так, как советовал Ф. де Соссюр, — «с точки зрения ограничения произвольности знаков» [Соссюр 1977: 165], но при этом в отличие от Соссюра не ограничиваться рассмотрением их в единствах ассоциативного (парадигматического) и синтагматического порядка, а исходя из сущностных свойств языка принять во внимание также категориально-иерархическую организацию знаков и обоих планов языка, тогда оказывается, что «известную часть значимости целого» [Там же] создают не только парадигматические и синтагматические отношения, но и категориально-иерархические связи. Неодинаковая значимость тех или иных категориальных различий, включая частеречные, характеризует типологическое своеобразие данного языкового целого как следствие его детерминантных свойств.

Так *за реальностью принципа знака вскрывается реальная целостность языковой системы* [Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г. 2009].

Цельносистемная организация языка вовсе не исключает его типологической неоднородности, касающейся сущностных свойств языка как системы знаков — степени членораздельности и характера категоризации в осуществлении символизации.

Уже И. А. Бодуэн де Куртенэ указывал на одновременное применение в строении различных языков не одного, а двух или даже трех морфологических принципов, отметив, например, в русском наряду с флексией агглютинацию и инкорпорацию [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 114]. Более того, он считал «совершенно праздною затеей стремиться к определению морфологического типа какого бы то ни было языкового мышления посредством одной простой формулы. Всякое языковое мышление представляет из себя столь сложное целое, что и характеристика его основных морфологических черт является слабеюмою из многих частных формул» [Там же, II: 182].

Вслед за И. А. Бодуэном де Куртенэ Э. Сепир также порицает стремление лингвистов, классифицирующих языки, «к единой простой формуле»: ведь «язык может одновременно быть и агглютинативным, и флективным, или флективным и полисинтетическим, или даже полисинтетическим и изолирующим» [Сепир 1993: 119]. Но в сравнении с Бодуэном Сепир менее категоричен. Выдвинув на первый

план — и совершенно справедливо — в качестве фундаментального классификационного признака природу выражаемых в языке значений, Сепир выделяет еще два классификационных признака, относящихся к технике выражения. Это степень синтезирования (осложненности) и степень фузирования (свободы или связанности, спаянности сочетаемых элементов). И хотя данные признаки позволяют производить дальнейшие подразделения в основных концептуальных типах [Сепир 1993: 130], всё же, по мнению Сепира, при определении общей формы языка «степенью синтезирования можно всецело пренебречь» и «... даже различие между агглютинацией и фузией можно, если угодно, оставить в стороне» [Там же: 133].

Однако, характеризуя язык как систему знаков, вряд ли допустимо пренебрегать его сущностными свойствами, а значит, ролью членораздельности и категоризации в осуществлении означивания. Поскольку же категоризация языковых знаков естественно сопряжена с членением языкового целого и предполагает их формальное разграничение, постольку степень синтезирования и степень фузирования, представляющие собой частные проявления степени членораздельности, приобретают категориальную значимость и так или иначе служат выражению соответствующих семантических различий.

В этой связи следует подчеркнуть: важно не только то, что, например, флективный язык, как и агглютинативный, может быть аналитическим, синтетическим или полисинтетическим [Там же: 124, 128]. Еще важнее то обстоятельство, что в отсутствие жесткой связи между флективностью или агглютинативностью, с одной стороны, и степенью синтезирования — с другой, в одном и том же языке становятся возможными (пусть в разных пропорциях) две, а то и все три, как в русском, степени синтезирования. Немаловажно также и то, что действующие в одном и том же языке различные грамматические тенденции: аналитизм и синтетизм, агглютинация и фузия, агглютинация и флексия, агглютинация и изоляция, агглютинация и полисинтетизм и т. д. — не просто сосуществуют, а, взаимодействуя друг с другом, оказываются соотносительными.

Очевидно, именно благодаря гармоничному взаимодействию соотнесенных друг с другом разных грамматических тенденций — аналитизма, синтетизма и полисинтетизма, с одной стороны, агглютинации и фузии, с другой стороны, — в языке вырабатывается более последовательное различение основных классов словесных знаков в соответствии со степенью их лексичности / грамматичности, конкретности / абстрактности. Иными словами, в условиях выраженной

типологической неоднородности (как, например, в русском) принцип знака осуществляется с большей определенностью, и тогда отчетливее различаются не только функционально и семантически, но также своей внешней формой:

- семиологические классы слов — *называющие* и *неназывающие* знаки;
- среди называющих знаков — *идентифицирующие* и *предсказывающие* знаки, т. е. предметные и признаковые слова, среди неназывающих знаков — *дейктические* и *связочные* знаки, т. е. указательно-заместительные и служебные слова;
- *базовые части речи*, выступающие в качестве идентифицирующих и предсказывающих знаков, — *существительные* с присущим им значением предметности и различающиеся по характеру признака (процессуального и непроцессуального) *глаголы* и *прилагательные*;
- в составе определенной части речи — выделяющиеся на разных функционально-семантических основаниях
  - а) *словообразовательно немотивированные* и *мотивированные* знаки, т. е. производные слова и дериваты разных степеней мотивированности,
  - б) *лексико-грамматические разряды* и *морфологические категории*,
  - в) *семасиологические* и *ономасиологические лексико-семантические категории* (полисемии / омонимии и синонимии, антонимии), связанные отношением интерпретации, которое лежит в основе асимметричного дуализма языковых знаков.

В категориальном разграничении языковых знаков как по степени синтезирования, так и по степени фузирования реализуется провозглашенный Ф. де Соссюром второй принцип знака — принцип линейной протяженности означающего [Соссюр 1977: 103], а она *естественно* лимитирована объемом оперативной памяти человека. Называющие знаки в среднем протяженнее (сложнее) неназывающих, а среди называющих синтагматически более сложные мотивированные и моносемичные знаки протяженнее немотивированных производных и полисемичных знаков. Действие фузионной или агглютинативной тенденции также сопряжено с линейным характером означающих. Фузионная тенденция преобладает в словах меньшей синтагматической сложности (меньшей глубины и длины), в первую очередь в немотивированных воспроизводимых словесных знаках. Агглютинативная тенденция характерна для более сложных и протяженных мотивированных знаков, особенно если они являют-

производимыми и образуются на высоких ступенях мотивированности.

Действенность принципа линейной протяженности в разграничении и мотивации различных типов знаков в сочетании с «принципом линейного порядка» [Сепир 1993: 109] в процессе их актуализации, в свою очередь, указывает на единство парадигматики и синтагматики, языка и речи в целостной системе.

Соотнесенность членения мыслительной и звуковой материи, о чем писали В. фон Гумбольдт и Ф. де Соссюр, через посредство грамматического строя, его категориально-иерархическую организацию обуславливает системную мотивированность знака в целом и каждой из его сторон в отдельности. Вскрытые механизмы корреляции между означаемой и означающей сторонами — и в отдельных языковых знаках, и в системе в целом — указывают на их *согласованность* друг с другом в силу того, что «духовное начало должно по мере возможности вступать в согласие с противоположным ему природным началом» [Гумбольдт 1984: 89]. Поскольку же «...язык одновременно есть и отражение и знак» [Там же: 320], то «...должно существовать свободное соответствие между основными формами, исходно господствующими в сфере духа, и основными формами внешнего мира» [Там же: 305]. Ведущую роль в достижении согласованности играет отражательная в своей основе содержательная сторона, которую В. фон Гумбольдт называл «естественным исходным началом».

Следовательно, язык — это не просто система знаков. В свете таких сущностных свойств языкового целого, как членение, категоризация, иерархия (в членении и категоризации), **язык по своей внутренней организации есть категориально-иерархическая система знаков**. Любой знак (включая и производный словесный знак, считающийся словообразовательно немотивированным) представляет собой *коррелят* той системы, членом которой он является. Поэтому **языковой знак есть системно мотивированная двусторонняя сущность**.

## **З а к л ю ч е н и е**

### **ЯЗЫК И ЯЗЫКОВЕДНОЕ МЫШЛЕНИЕ: к обоснованию определяющей роли языкового мышления**

*(на примере отечественной традиции в теории языка)*

#### **1. Эволюция языковедного мышления и его отношение к языковому мышлению**

Общая теория языка, имеющая целью постижение сущности своего объекта, не может не учитывать факторы, которые определяют само языковедное (лингвистическое) мышление, а значит, и то или иное понимание природы языка. Поскольку лингвистическое мышление имеет своим объектом язык (языковое мышление) и связано родо-видовым отношением с теоретическим мышлением вообще, характер и стиль лингвистического мышления зависят и от изучаемого языка, и от гносеологических установок данной эпохи, так или иначе вписываясь в соответствующую научную парадигму. Немаловажное значение имеет, разумеется, и личность исследователя. Но надо иметь в виду, что и реализация творческого потенциала исторически развивающегося познающего субъекта, и гносеологические предпосылки и принципы эпохи, как и господствующие в ней «концептуальные каркасы» и догмы, основываются на свойственном ей отношении человека и природы.

*Представления о языке и его функциях меняются вместе с изменением представлений о человеке в его отношении к природе, по мере осознания человеком своей автономности в познаваемой объективной реальности. Изначально связанное с философским осмыслением действительности лингвистическое мышление очень медленно отпочковывалось от философского. А так как философия задает методологические основы языкознания, как и любой другой отрасли*

науки, то эволюция общей теории языка, рассматриваемого, согласно В. фон Гумбольдту, в триединстве с миром и человеком, соотносительна с развитием философской мысли.

Для античности типично слитное, синкретичное восприятие бытия, мышления и языка и, как следствие, отождествление онтологического, логического и языкового, проявившееся, в частности, в понятии логоса. В соответствии с внеличным, вещевистским, чувственно-материальным миропониманием, охватывающим человека и распространяющимся на сферу идеального, язык определяется как совокупность имен вещей.

Собственно теоретическое осмысление языка начинается с попытки объяснить его природу. И вполне естественно, что первое объяснение языка, предложенное модистами, было онтологическим. В триединстве мира, человека и его языка противоположение мира, природы человеку (вместе с его внутренним миром) должно быть осознано раньше, чем нетождественность составляющих внутреннего мира человека — мышления и языка (мышления вообще и языкового мышления). Поскольку же в противостоянии мира, универсума человеку ведущим началом со времен античности признается мир, то и язык, его грамматику, грамматическую категоризацию модисты объясняют природой и свойствами вещей того внешнего мира, в котором — как в над-системе — существует человек, носитель языка, и который определяет его внутренний мир, являясь источником языкового и мыслительного содержания. Онтологическое объяснение языка согласуется таким образом с его первичной (по Э. Бенвенисту) функцией — отражать, воспроизводить действительность в знаковой форме [Бенвенист 1974: 27].

С усилением личностного начала — прежде всего под влиянием христианского монотеизма, затем под воздействием гуманистического мировоззрения Возрождения — на смену онтологическому обоснованию грамматической категоризации как фундамента языка приходит рациональное (логическое) обоснование, а на первое место среди функций языка выдвигается выражение мыслей для сообщения их другим людям.

Названные периоды в развитии языковедной мысли, предвещающие вычленение языкознания в самостоятельную научную дисциплину, соотносительны с тремя основными всемирно-историческими типами неоплатонизма: «...античный неоплатонизм прежде всего космологичен; средневековый неоплатонизм в первую очередь теологичен, и притом абсолютно персоналистически теологичен, и, наконец,

возрожденческий неоплатонизм антропоцентричен» [Лосев 1978: 94–95]. Эволюционируя от космологизма к антропоцентризму, неоплатонизм переходит от понятия природного человека к абсолютной универсальной надмировой и надчеловеческой личности и далее к «самоутвержденной и космически устремленной земной и человеческой личности», причем личности стихийно-артистической, духовной, творческой [Там же: 92]. Сходным образом и в языковедных учениях с приближением к Новому времени растет внимание к человеческому началу в языке, в первую очередь в универсальном аспекте. Тем самым подводится база под онтологически и рационалистически ориентированные универсальные грамматики.

Однако только в первой трети XIX в. благодаря гению В. фон Гумбольдта лингвистика обретает наконец статус особой отдельной науки. И представляется закономерным, что происходит это тогда, когда с укреплением национального самосознания, с осознанием активности субъективного человеческого начала была вполне осознана формирующая роль языка в мыслительной деятельности, когда стало ясно, что язык — не просто средство *выражения* мышления, но такой творческий орган мысли, который не просто оформляет мысль, но *формирует* ее, причем так, что отражающийся в языке объективный мир несет на себе отпечаток субъективного мировидения, национального самосознания. Объяснение природы языка начинают искать в нем самом — в его происхождении и истории (А. А. Потебня), в его структуре (Ф. де Соссюр и его последователи).

За два века существования лингвистики как самостоятельной науки сменилось много направлений и школ, выявивших очевидную зависимость результатов исследования от исходных методологических принципов, в частности от того, насколько познающий субъект соотнобразуется с природой познаваемого объекта. Чтобы убедиться в значимости этой зависимости для лингвистики, достаточно сравнить аспектирующую концепцию Ф. де Соссюра с синтезирующей концепцией И. А. Бодуэна де Куртенэ.

По мнению Соссюра, внешний мир, «естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], так что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [Там же: 269]. И если «другие науки оперируют заранее данными объектами, которые можно рассматривать под различными углами зрения», то «в лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения;

напротив, можно сказать, что здесь точка зрения создает самый объект» [Соссюр 1977: 46].

В противоположность этому Бодуэн признает первичность познаваемого объекта, полагая, что «с гносеологической точки зрения результаты наблюдения и теоретического мышления зависят, с одной стороны, от наблюдаемого объекта, а с другой — от ума человека, ведущего наблюдение и формулирующего результаты своих выводов и рассуждений» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 202].

Исходя из триединства мира, человека и языка, Бодуэн настаивает на том, что в лингвистике «реальной величиной является не “язык” в отвлечении от человека, а только человек как носитель языкового мышления» [Там же, II: 182], принадлежащий одновременно ко вселенной, к органическому миру и к миру психо-социальному [Там же, II: 191].

Соответственно применительно к лингвистическим исследованиям Бодуэн требует различать *объективное языковое мышление* и *научное языковедное мышление*, основывающееся на сравнении языков и на истории языка. Неэквивалентность этих двух мышлений вскрывается Бодуэном на конкретных примерах, касающихся разложения слова на морфемы и альтернатив морфем в русском языке [Там же, II: 288–289].

Более того, языковедное мышление может заблуждаться относительно характеристик языкового мышления. Знание других языков и истории языка таит в себе опасность приписать данному языку или данному состоянию языка чуждые категории, о чем Бодуэн неоднократно предупреждает и чем на самом деле грешила и грешит лингвистика. Он убежден: «Наука не должна навязывать объекту чуждые ему категории и должна отыскивать в нем только то, что в нем живет, обуславливая его строй и состав» [Там же, I: 68]; «всякий предмет нужно прежде всего исследовать сам по себе, выделяя из него только такие части, какие в нем действительно имеются, и не навязывая ему извне чуждых ему категорий» [Там же, II: 22]. Этот общий для всех наук принцип распространяется и на изучение языка: «исследование языковых фактов должно стать строго объективным, оно должно быть констатацией существенных фактов данной эпохи и данной языковой области без навязывания им чужих категорий» [Там же, II: 17].

Примечательно, что, настаивая на различении мышления языкового, мышления языковедного и мышления вообще, И. А. Бодуэн де Куртенэ из всех разновидностей научного мышления особо выделяет



именно языковедное. Очевидно, отграничить языковедное (лингвистическое) мышление, как и мышление вообще, от собственно языкового труднее всего. В общей теории языка *познаваемый объект* (идеализированная модель Языка вообще), *познающий субъект* (носитель определенного языкового сознания, с одной стороны, и определенно-языковедного мышления — с другой), язык как *средство познания* и *посредник между познанным и вновь познаваемым* переплетаются столь тесно, как ни в одной другой области знания.

Положение усугубляется тем, что язык—объект, будучи воплощением языкового сознания, представляет собой знаковую систему, а знак по самой своей природе предполагает интерпретацию носителями языка, выступающими в качестве интерпретаторов. Следствием этой метаязыковой способности является определенный синкретизм собственно языкового и метаязыкового сознания, языка—объекта и метаязыка.

Развитие самосознания в процессе «человечения» не может не отразиться на развитии языкового и метаязыкового сознания и степени их размежевания.

Ключом к познанию языка—объекта и возможных видов метаязыкового сознания на разных этапах развития языкового мышления является уровень развития самосознания. Возрастанием сознания и самосознания человека определяется не только эволюция общей теории языка как высшей формы метаязыкового сознания. Надо думать, что и менее автономное по отношению к языковому сознанию (сравнительно с теоретически систематизированным лингвистическим метаязыковым сознанием) обыденное метаязыковое сознание тоже эволюционирует с развитием самознания, и это отражается как на выборе средств самовыражения, так и на механизмах понимания.

Противоположение обыденного метаязыкового сознания теоретически систематизированному лингвистическому, по-видимому, соотносительно (хотя и не совпадает) с различием разных типов и способов языкового мышления, выделенных А. А. Потебней.

Обыденное метаязыковое сознание, необходимое с самого начала усвоения ребенком родного языка и до конца человеческой жизни, функционирует при всех способах мышления, начиная с *мифического*, т. е. и «при состоянии мысли, не дающем возможности явственно разграничить субъективное познание от объективных его источников» [Потебня 1976: 446] вследствие недостаточности наблюдений и при чрезвычайно слабом осознании этой недостаточности [Там же: 437]. Вполне сознательная умственная деятельность, согласно Потебне,

предполагает понятия и становится возможной с накоплением «капитала мысли» при переходе «в более исключительно человеческую форму мысли» [Потебня 1976: 84] — научное мышление. Способность к научному мышлению есть способность к *анализу* и *критике* [Там же: 421].

«...Миф сроден с научным мышлением в том, что и он есть акт сознательной мысли, акт познания, объяснения *x* посредством совокупности прежде данных признаков, объединенных и доведенных до сознания словом или образом *A*. <...> Разница между мифическим и немифическим мышлением состоит в том, что чем немифичнее мышление, тем явственнее сознается, что прежнее содержание нашей мысли есть только *субъективное средство* познания; чем мифичнее мышление, тем более оно представляется *источником* познания. В этом последнем смысле мышление, чем первообразнее, тем более априорно» [Там же: 418].

Как видно, между мифическим и немифическим мышлением нет жесткой границы. В теоретическом знании мифическое мышление вполне вероятно на базе аспектирующих концепций, которые акцентируют свое внимание на отдельных сторонах исследуемого объекта. Если к избранной отдельной стороне вследствие ее односторонней абсолютизации сводится вся сущность данного объекта, то таким образом создается научный миф.

Отстаивание узкого аспектирующего подхода к изучаемому объекту приводит к тому, что, как заметил Потебня, «ученые еще нередко признают то или другое оскорблением науки или — мягче — ненаучным, вместо того чтобы признать лишь несогласным с их мнением» [Там же: 417]. И среди языковедов такие ученые тоже имеются.

Антитезой узкоспециализированного аспектирующего подхода является, по Потебне, стремление к *универсальности мысли* [Там же: 412], причем «широта воззрения не в том, чтобы видеть всё, а в том, чтобы, например, в науке сознательно стоять на своей точке зрения, не думая, что с нее видно всё, признавая законность, необходимость других точек зрения» [Там же: 413], а значит, не отождествлять относительно субъективное и относительно объективное содержание мысли. И тем более не подменять объективное субъективным. Только при широком системном подходе «чем лучше понимаем научный факт, тем более поражаемся неполнотою его разработки» и, следовательно, отдаем себе отчет в том, что «нет и не может быть совершенных научных произведений» уже потому хотя бы, что «наука невозможна без понятия», а «понятие никогда не может быть замкнутым целым»

[Потебня 1976: 194] ввиду неисчерпаемости мира для познания [Потебня 1958: 59].

Но насколько безграничным может быть наше стремление к универсальности мысли в языковедении?

Ведь нет «языкового мышления вообще». Оно существует лишь в форме конкретного языка. Поскольку же язык — средство образования понятий и общих разрядов философской мысли [Потебня 1976: 285] (и анализ Э. Бенвенистом категорий Аристотеля это как будто подтверждает [Бенвенист 1974: 106–111]), то с осознанием индивидуальности и своеобразия каждого языка и его воздействия на мыслительную деятельность, естественно, возникает *вопрос о влиянии конкретного языка, языкового мышления, языкового знания на лингвистическое мышление и теоретическое мышление вообще.*

Сам призыв не навязывать исследуемому языку чуждых ему категорий, прозвучавший в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. Ф. Фортунатова, говорит о реальной возможности интерферирующего влияния родного языка исследователя на толкование иноязычных категорий и в целом на его лингвистические взгляды. При изучении родного языка различие между языковедным и языковым мышлением словно бы нивелируется: описывая родной язык, исследователь, естественно, ориентируется на языковое сознание его носителей и свое собственное, иногда ограничиваясь последним, как это сделал Л. В. Щерба в «Русских гласных» [Щерба 1983]. Но и в таких случаях существует опасность навязать наблюдаемому объекту субъективные лингвистические представления.

Во избежание этого Бодуэн призывает при описании языка руководствоваться не лингвистическим мышлением, а объективным языковым мышлением обыкновенных индивидов, входящих в данное время в состав данного племенного или национального коллектива. При таком подходе обеспечивается «всё большая “демократизация” наших научных приемов и вместе с тем достигается большая научность изложения, коренящаяся в большей согласованности с самим предметом исследования» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 232]. «Задача исследователя состоит только в том, чтобы верно прочесть в душах человеческих, т. е. озарить светом научного сознания то, что в объективном психическом мире сложилось и существует помимо всякой науки» [Там же, II: 260]. Действительно научное языковедное мышление, считает Бодуэн, основано на языковом мышлении [Там же, II: 276].

Влияние конкретного языкового мышления на теоретическое интенсивно обсуждается в связи с гипотезой лингвистической относительности.

В определении Э. Сепира, культура есть «то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [Сепир 1993: 193]. Следствием различий в этом «как» являются несоизмеримость членения опыта в разных языках, относительность понятий и в целом формы мышления [Там же: 258]. Вот почему Сепир вовсе не исключает влияния родного языка исследователя на его научные воззрения. Обращаясь к философии, Сепир не сомневается в том, что «в гораздо большей степени, чем философ осознает это, он является жертвой обмана собственной речи; иными словами, форма, в которую отливается его мысль (а это в сущности языковая форма), поддается прямому соотношению с его мировоззрением. <...> ...Многие новые идеи, многие внешне блестящие философские концепции суть не более чем перестановки известных слов в формально допустимых конструкциях. ...Самые искусственные мыслители позволяли себе быть обманутыми формальными намеками их собственной привычной манеры выражения» [Там же: 255–256], если пренебрегали языковыми основаниями и ограничениями собственного мышления, проистекающими из особенностей грамматической категоризации [Там же: 256–257].

Отмеченная Б. Л. Уорфом зависимость понятийной системы, включая основополагающие понятия «пространства», «времени», «материи», от конкретного языка [Уорф 1960а: 191; 1960б: 176; 1960в: 166–168] разрушает представления об ее универсальности и, следовательно, независимости теоретического знания от культуры и языка. Поскольку свойства системы языка, его грамматических моделей и категорий «в конечном счете выражаются в особенностях структуры логических или математических построений» [Уорф 1960а: 186], постольку и научная картина мира, по заключению Уорфа, производна от его языковой картины [Там же: 192–193].

Позднее гипотеза Сепира — Уорфа была поддержана Г. Гийомом. Он, в сущности, усматривает развивающуюся причинно-следственную связь между языковым сознанием и теоретическим мышлением. Отметив функциональную связь языковой структуры и научного любопытства, Гийом подчеркивает *зависимость* научного любопытства от состояния языковой структуры. Поскольку язык, с точки зрения Гийома, — это «беспорная преднаука представления», постольку от достигнутого языком уровня типологического и структурного состояния зависит форма (вид) научного любопытства — его ориентация либо

на чувственно воспринимаемую, либо на мысленно представляемую реальность, иными словами, на чувственное или рациональное познание действительности. Степень развитости научного любопытства пропорциональна степени сформированности языкового сознания. Данное Гийомом обоснование указанной зависимости следует привести полностью.

«...Научное любопытство... — пишет Гийом, — берет свое начало на более или менее высоких уровнях языкового восхождения от наблюдения к пониманию.

От места отправных точек в этом восхождении зависит форма научного любопытства. Если научное любопытство берет начало на более низких уровнях этого восхождения, оно больше склоняется к чувственно *воспринимаемой* реальности, чем к мысленно *представляемой* реальности. Если научное любопытство берет начало на более высоких уровнях этого восхождения, оно больше склоняется к мысленно представляемой реальности, чем к чувственно воспринимаемой. Наконец, если научное любопытство берет начало на самых высоких уровнях языкового восхождения от наблюдения к пониманию, оно полностью замыкается на мысленно представляемой реальности и соответственно абстрагируется от чувственно воспринимаемой реальности, которую считает недостаточно доказательной. <...>

Склонность такого любопытства к доказательствам разума, которые считаются единственно удовлетворительными, свойственна теоретической науке. <...>

Ни лингвист, ни философ не должны забывать о связи научного любопытства с достигнутым состоянием языка, которому в данной пространственно-временной эпохе оно обязано тем, какое оно есть, если абстрагироваться от более или менее ассимилировавшихся заимствований. Там, где в обиходной речи языковое восхождение от наблюдения к пониманию оказывается недостаточным, недостаточно и научное любопытство. Там, где в обиходной речи это восхождение оказывается достаточным, пропорционально увеличивается научное любопытство. Это и понятно, если вспомнить, что языковое восхождение от наблюдения к пониманию, амплитуду которого выражает структура языка, способствует формированию языкового сознания.

Становится очевидным, что основой научных открытий является историческая зависимость от достигнутого состояния языка, на котором происходит обычное общение людей в конкретной местности и в конкретную историческую эпоху. Состояние математики довольно точно выражает вид научного любопытства, вызываемого каким-либо

типологическим и структурным состоянием языка. Существуют научные вопросы, которые человеческий разум не смог бы перед собой поставить, если бы бесспорная преднаука представления, каковой является язык, не предполагала бы для них в себе места» [Гийом 1992: 153–154].

При таких посылках можно понять, почему «западноевропейская философия стала философией языка, т. е. исходит из языка как идеального материала для построения знаний об идее или о вещи» [Колесов 2004: 52].

Правда, в соответствии с господствующими представлениями влияние языка на теоретическое знание, на научную картину мира по-прежнему считается ограниченным ввиду предполагаемой универсальности логического анализа мысли, а значит, единообразия формы и категорий мышления у всех народов во все времена. Поэтому и провозглашенная Дж. Беркли зависимость метафизики от языка (см. [Кассирер 2002, 1: 69]), и декларируемая гипотезой лингвистической относительности производность научной картины мира от языковых средств и грамматической категоризации подвергаются сомнению. И это сомнение кажется более или менее оправданным, когда речь идет, например, о физической картине мира. Не случайно Ю. С. Степанов, задавшись вопросом, «есть ли вообще “национальные стили мышления в науке”», предлагает неоднозначное решение: «Если говорить о точных и естественных науках, о естествознании в целом, — конечно, нет. Это самая “наднациональная” область науки. Но если брать весь комплекс научных дисциплин, включая гуманитарные науки и философию, то национальный стиль существует. Такой, скажем, как традиционный “английский эмпиризм” или французская “картезианская ясность”». Наконец, «философия всеединства», «философия цельного знания» как особое течение русской мысли, существовавшее с конца XIX в., «пожалуй, больше всего может ассоциироваться с “русским стилем мышления”» [Степанов 1997: 352].

В таком случае следует разобраться, каким образом национальный стиль мышления проявляется в знании о языке, в теории языка.

В общем плане можно заметить определенный изоморфизм между развитием языкового и теоретического мышления, который, очевидно, проистекает из участия языка «в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе» [Потебня 1976: 171]. Языковое мышление, как показал А. А. Потебня, развивается от мифического к собственно поэтическому (образному) и, далее, к прозаическому, научному (понятийному),

т. е. от неразличения относительно субъективного и относительно объективного содержания мысли к различению того и другого с ростом «капитала мысли» [Потебня 1976: 420–421, 437]. Развитие же теоретической мысли, включая лингвистическую, выражается, в частности, в смене научных парадигм, за которой тоже стоит постепенный отказ от изживших себя представлений. Так, со всё большим осознанием познавательной функции языка, диалектически *сочетающего субъективность с объективностью* в творении идеального мира [Гумбольдт 1984: 123], изживает себя цитированное выше положение Ф. де Соссюра, будто объект лингвистики *создается* познающим субъектом.

Еще одна аналогия общего характера. Смена аспектирующих концепций синтезирующими в теоретическом мышлении в известной степени напоминает развитие синтаксических связей — от паратаксиса к гипотаксису. Подобно тому как «...человек переходит от бессвязности, дробности, паратактичности мысли и речи к возможности стройного подчинения многих частных речей цельности периода, многих периодов цельности сочинения» [Потебня 1968: 505], так и в науке аспектирующие концепции со временем сменяются синтезирующими.

Чтобы убедиться во влиянии конкретных языков на лингвистические представления, достаточно сравнить разные лингвистические традиции хотя бы с точки зрения предмета описания. В китайской традиции описывается словарь, затем фонетика, но не грамматика. В индийской, греко-римской и арабской традициях, напротив, в центре внимания грамматика, грамматическая категоризация, классификация частей речи (прежде всего на основе морфологического критерия). Данное расхождение явно отражает разное положение соответствующих языков на шкале лексичности / грамматичности и далеко не одинаковую степень развитости в них внешней морфологии.

Зависимость лингвистической теории от собственного языкового сознания исследователей отчетливо видна при сопоставлении характера и глубины членения языкового целого в разных лингвистических традициях.

Например, наличие таких синкретичных элементов, как слогоморфемы, характерно для изолирующих языков, в которых вследствие незавершенного разграничения звуковой и содержательной сфер минимальные значащие единицы регулярно совпадают с минимальными произносительными единицами. И не случайно в «Грамматике



вьетнамского языка» [Быстров и др. 1975] понятие слогоморфемы выдвигает именно Нгуен Тай Кан — носитель данного изолирующего языка: по его словам, «особый характер слогоморфемы как основной структурной единицы отчетливо осознается носителями языка» [Там же: 3].

Равным образом не случайно и то, что понятием корня лингвистика обязана еврейской грамматической традиции: в семитских языках корень по своим структурным характеристикам более четко отграничен от аффиксов, чем в языках иных семей.

Разная глубина иерархического членения языкового целого на значащие единицы — большая во флективных языках, меньшая в агглютинативных — обуславливает, в частности, различия в направлении словообразовательного анализа в русском и татарском языкознании: «если в русском языкознании анализ смысловой структуры производного слова, первоначально выйдя из морфемного анализа, постепенно привел исследователей к необходимости описывать специфику словообразовательных процессов на синтаксической основе, ... то в татарском языкознании, напротив, к пониманию сущности производного слова, его словообразовательной функции приходят на основании анализа синтаксических свойств языковых единиц» [Аминова 1995: 35].

Вклад частного языкознания в общую лингвистику, по-видимому, связан со спецификой данного языкового мышления, с самим характером языка. Поскольку же «язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт 1984: 304], своеобразие языка обуславливается преобладающей направленностью сознания, «либо погруженного в глубины духа, либо ориентирующегося на внешнюю действительность» [Там же: 173]. «Великая разграничительная линия, — учит В. Гумбольдт, — проходит в зависимости от того, вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности» [Там же: 104]. Всё зависит от того, что служило основным источником при его образовании — «чувственное мировосприятие или же глубины мысли, в которых это мировосприятие уже подверглось духовной обработке» [Гумбольдт 1985: 397]. И хотя каждый язык представляет собой «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» [Гумбольдт 1984: 63], но не в каждом языке они сочетаются вполне гармонично.

В предшествующей В. фон Гумбольдту философско-лингвистической традиции, в трудах Дж. Вико (1725) и Э. Б. де Кондильяка (1746), высказывалась мысль об известной несовместимости фантазии и рассудка, воображения и анализа, поэтической способности



и метафизики. Так, Дж. Вико полагает, что «...никому невозможно стать одинаково возвышенным Поэтом и Метафизиком». Объясняется это тем, что «...Метафизика абстрагирует сознание от чувств, а Поэтическая Способность должна погрузить всё сознание в чувства: Метафизика возвышается до универсалий, а Поэтическая Способность должна углубиться в частности» [Вико 1994: 357]. Еще категоричнее точка зрения И. Г. Гердера, согласно которой функциональные возможности языка predeterminedены его возрастом и типом. И «если язык более всего пригоден для поэзии, то он не может быть в такой же мере философским языком» [Гердер 1959: 121]. «Невозможно представить себе народ, у которого не было бы поэтического языка, но были бы великие поэты, не было бы гибкого языка, но были бы великие прозаики, не было бы точного языка, но были бы великие мыслители» [Там же: 117].

Гумбольдт также считает, что исконным укладом языка предопределяется его преимущественное тяготение к поэзии или прозе, а значит, к чувственному или рациональному восприятию действительности. Одинаковое развитие «в соразмерном соотношении» столь разных путей развития интеллектуальной сферы, как поэзия и проза, Гумбольдт допускает, только «если язык имеет поистине незаурядную форму» [Гумбольдт 1984: 183]. Таков, по Гумбольдту, (древне)греческий язык. «Ростки греческой прозы, как и ростки поэзии, с самого начала уже были заложены в духовности греков», в неповторимой индивидуальности народа. Поразительное влияние духовной самобытности греков сказалось и на характере философского познания, ярко проявившись прежде всего в творчестве Аристотеля как основателя науки и научно ориентированного сознания [Там же: 188].

## **2. Духовные и языковые корни отечественной традиции в теории языка**

Среди современных индоевропейских языков «поистине незаурядной формой» несомненно обладает русский язык. Ведь у нас есть и великие поэты, и великие прозаики, и великие ученые–мыслители, причем многие из них, например М. В. Ломоносов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, Андрей Белый, П. А. Флоренский, Ю. Н. Тынянов и др., мощно проявили себя в разных сферах духовного творчества.

Корни духовной самобытности русского народа, надо полагать, заложены в гармонии различных форм психического отражения, составляющих «совокупность человеческой духовной силы», на которую, по В. Гумбольдту, всегда с необходимостью опирается язык [Гумбольдт 1984: 66]. Эта специфика русской ментальности глубоко и, на мой взгляд, вполне адекватно раскрыта В. В. Колесовым в его книге «Язык и ментальность» через анализ русского языкового мышления.

Хотя, согласно Колесову, «конкретное и образное русская ментальность предпочитает умственно рационалистическому», однако «русская ментальность — не *ratio*, но и не односторонний сенсуализм» [Колесов 2004: 78]. (Этот вывод хорошо согласуется с учением А. А. Потебни о развитии языкового мышления.)

Высокий творческий потенциал русской ментальности, отличающий ее от односторонней рассудочности, обусловлен, далее, тем, что «русское познание осуществляется сквозь призму интуиции», а также тем, что русское мышление сопрягает все содержательные формы слова: образ, символ и понятие — в их объемном развитии [Там же: 79]. Характерная для русской ментальности «образность символа, данного в совмещенности своих значений», позволяет избежать одномерности мысли и не допустить преобладания формальной стороны над сущностью мысли [Там же: 82–83].

Незаурядность русского языкового мышления, очевидно, объясняет и своеобразие русского стиля научного мышления. Что отличает его от других стилей научной мысли, в частности от английского?

Характеризуя психологию английского ума (так, как она проявилась в физике), П. А. Флоренский отмечает желание англичан «не объяснять мир, но лишь описывать его теми средствами, которые, по свойствам именно английского ума, наиболее берегут его силы, силы английского ума. <...> Физика английская по общему своему укладу... менее какой-либо иной притязает на объяснение. Ей дорог сырой факт...» [Флоренский 1990: 119].

Те же установки характерны для такого лингвистического направления, как американская дескриптивная лингвистика. «Не случайно центральной задачей дескриптивизма объявляется описание языка, т. е. упорядоченная регистрация фактов языка, но не их объяснение» [Арутюнова и др. 1964: 191]. В частности, М. Джуз пишет: «Мы не отвечаем на вопросы “почему”, касающиеся структуры языка. ...Мы пытаемся точно описывать, мы не пытаемся объяснить» (цит. по: [Там же]). И вообще, по свидетельству Э. Сепира,

для «сугубо прагматического американского сознания» руководящим моментом является «деловой инстинкт», так что образ мыслей американцев «сугубо рационалистичен». «Этот дух рационализма, как мы можем наблюдать, буквально пронизывает всё наше научное мировоззрение» [Сепир 1993: 249, 251].

Русскому уму присуще то, что, по определению П. А. Флоренского, свойственно философии с ее диалектическим методом, — стремление к объяснению, а значит, к все-связному, все-стороннему познанию действительности [Флоренский 1990: 125–126], причин и смысла бытия, его сути.

В высших достижениях русской науки, литературы и искусства, согласно Г. П. Мельникову, ярко проявляется так называемый *греческий* стиль мышления с характерной для него устремленностью к целостности, к онтологичности, к постижению сути вещей, истоков и направления их развития [Мельников 2000: 5–12; Зубкова 2003б: 8].

Весьма показателен в этом отношении манифест не ученого, не философа, а поэта Б. Л. Пастернака:

Во всем мне хочется дойти	До сущности протекших дней,
До самой сути.	До их причины,
В работе, в поисках пути,	До оснований, до корней,
В сердечной смуте.	До сердцевины.

Идеи целостности и всеединства буквально пронизывают русскую философскую мысль, тесно связанную со своей религиозной почвой, с православием. Православие же, по словам русского философа XIX в. В. Н. Карпова, требует, чтобы «ум и сердце не поглощались одно другим и вместе с тем не раздваивали своих интересов» (цит. по: [Степанов 1997: 318]). И «в течение тысячелетия восточные славяне привыкали осознавать, что разум и чувство, голова и сердце не враги друг другу, они в одном теле и служат тебе верно» [Колесов 2004: 13]. Нераздельное и неслиянное единство ума и сердца, мысли и души, рационального и чувственного познания свойственно самому духу русского народа в поэтическом определении Н. А. Заболоцкого:

Есть черта, присущая народу:	Оттого прекрасны наши сказки,
Мыслит он не разумом одним, —	Наши песни, сложенные в лад.
Всю свою душевную природу	В них и ум и сердце без опаски
Наши люди связывают с ним.	На одном наречье говорят.

Как показал В. В. Зеньковский, «... в идеале “целостности” заключается, действительно, одно из главных вдохновений русской философской мысли. Русские философы, за редкими исключениями, ищут

именно целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений человеческого духа. <...> Антропоцентричность русской философии постоянно устремляет ее к раскрытию данной и заданной нам целостности» [Зеньковский 1991, I, ч. 1: 17–18]. Отсюда, по Зеньковскому, и «онтологизм» русской философской мысли, выражающий «включенность познания в наше отношение к миру, в наше “действие” в нем». Отсюда же и доминирование моральной установки, являющейся одним из самых действенных и творческих истоков русского философствования, и чрезвычайное внимание к социальной проблеме и особенно к философии истории в поисках ее смысла и целей [Там же: 16].

С гносеологическими установками русской философии целиком согласуется гносеологическая оценка языка в русском языкознании. Для отечественной лингвистической традиции «язык не есть только известная система приемов познания, как и познание не обособлено от других сторон человеческой жизни. Познаваемое действует на нас эстетически и нравственно. Язык есть вместе путь сознания эстетических и нравственных идеалов, и в этом отношении различие языков не менее важно, чем относительно познания» [Потебня 1976: 259].

Эти свойства языка как посредника между миром и человеком, как единства объективного и субъективного обнаруживаются уже в слове. С одной стороны, «в слове также совершается акт познания», и поэтому «как вещественные значения, так и формы должны быть рассматриваемы как средства и вместе акты познания» [Потебня 1958: 17, 59]. С другой стороны, «нравственная оценка присутствует в каждом именовании, в любом определении, составляет часть значения и в конечном смысле является его сутью» [Колесов 2004: 92].

Совмещение в русском языке системы приемов познания с осознанием эстетических и нравственных идеалов с очевидностью раскрывается, например, в таких важнейших концептах русской культуры, как *совесть* и *правда*, а именно в развитии значения слова *совесть* от ‘разумения, понимания, знания’ к ‘нравственному сознанию, нравственным принципам, убеждениям, сознанию моральной ответственности’; в сопряжении в семантике слова *правда* понятий *истины* и *справедливости* (см. [Степанов 1997: 318–332, 634]). Не случайно одно из воспетых И. С. Тургеневым свойств русского языка («О великий, могучий, *правдивый* и свободный русский язык!») также восходит к *правде*, а суть русской национальной идеи в *справедливости*.

Русская лингвистическая мысль, подобно философской, ориентирована не на «дробно-аналитическую», аспектирующую, а на синтетическую модель познания языка в его полном развитии. «Таково общее свойство национальной научной традиции, не склонной к позитивистскому копанию в частностях (“анализах”))» [Колесов 2003: 231, а также с. 127–128, 147–148, 238–239, 242–249]. Ведь «цельность цельного, понятая как целое, есть основная установка русской ментальности, не допускающая разложения сущностей на дробные доли анализа. Целое не является суммой аналитически явленных частей, как полагает западный *ratio*» [Колесов 2004: 12].

И кажется весьма симптоматичным, что после Платона и В. фон Гумбольдта синтезирующая тенденция в анализе языка, исходящая из триединства мира, человека и его языка, едва ли не в первую очередь характеризует отечественную лингвистическую традицию. В этом ключе разработаны лингвистические учения И. И. Срезневского, А. А. Потемби, И. А. Бодуэна де Куртенэ в XIX и начале XX в., концепция Г. П. Мельникова в конце XX в. Синтезирующий, системный пафос в русском и славянском языкознании, как это видно из трудов русских членов Пражского лингвистического кружка Р. О. Якобсона, Н. С. Трубецкого, С. О. Карцевского, сохраняется даже в эпоху господства явно аспектирующего структурного подхода к языку, когда, следуя Ф. де Соссюру, язык стали изучать исключительно как совокупность наблюдаемых в синхронии отношений между единицами языка, безотносительно к естественным вещам и их отношениям, к внутреннему миру человека, к звуковой и мыслительной материи и даже на антименталистской основе.

В отечественной традиции синтезирующий всеохватный подход проявляется даже при освещении, казалось бы, очень частных проблем. Яркий пример такого рода — статья И. А. Бодуэна де Куртенэ «Фонетические законы», где автор, настаивая «на необходимости проанализировать объект исследования до конца», излагает свои взгляды на метод решения проблемы: «Чтобы найти достаточно прочную основу для понятия фонетического закона, необходимо определить место этого понятия в его действительной сфере. Исходя из натуры человека и из его отношений к различным областям целостного бытия, необходимо признать, что все проявления человеческого существа касаются различных областей природы в ее целостности и что, исходя из этого, их надо рассматривать в тесной связи с общим миропониманием» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 189], принимая во внимание те миры, к которым принадлежит человек (это вселенная, органический мир,

психо-социальный мир), и в частности те миры, в которых протекает общение между людьми [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 191–192]. Не больше и не меньше. Еще один, современный, пример — монография А. В. Пузырева «Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления» (М.; Пенза, 1995). Исходя из общей теории систем, А. В. Пузырев рассматривает анафонию и анаграммы на уровнях мышления, языка, речи и коммуникации как ступенях сущности в единстве всеобщего, общего, конкретно-абстрактного, особенного и единичного.

Синтезирующая направленность русской теоретической мысли опирается на нашу «всемирную отзывчивость», на готовность русских впитывать все достижения мировой культуры и цивилизации. Стремление овладеть, как писал И. В. Киреевский, «в с е м умственным развитием современного мира, доставшимся ему в удел от всей прежней умственной жизни человечества» (цит. по: [Зеньковский 1991, I, ч. 2: 25]), свойственно и русской философии, и разным отраслям отечественной науки, включая языкознание.

Немаловажное значение для лингвистического кругозора отечественных ученых имеют также разнообразные языковые контакты на евразийском пространстве России. Вот почему глава Казанской лингвистической школы И. А. Бодуэн де Куртенэ, которого В. В. Виноградов называет ученым «интернациональной ориентации» [Виноградов В. В. 1963: 6], неоднократно обращался к сравнительной характеристике флексийных ариоевропейских и агглютинативных туранских языков. Полагая, что «славянский языковой мир достаточно обширен, чтобы его материал мог служить основанием для рассмотрения... всех... общелингвистических вопросов», И. А. Бодуэн де Куртенэ никогда не забывал, «что славянские языки не составляют замкнутой языковой области и что они должны, напротив, рассматриваться всегда в их связях с другими родственными и даже неродственными языками» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 138].

Благодаря синтезирующей направленности, в анализе языка в русской лингвистической традиции оказались диалектически сопряженными все четыре выдвинутые Аристотелем принципа–начала–причины бытия и всякой вещи, причем так, что единство материи и формы языка обнаруживает соотносительность с единством возможности и действительности. Поэтому в русской традиции язык рассматривается в единстве плана содержания и плана выражения и в обязательной увязке со свойствами мыслительной и звуковой материи, а различение языка и речи не переходит в их противопоставление вплоть до разры-

ва. Хотя опыты формального анализа тоже имели место, «формализм как течение мысли и оправдание идеи в принципе неприемлем для русского сознания» [Колесов 2004: 38]. В русской лингвистической традиции, в том числе в Московской фортунаатовской школе, называемой иногда формальной, а тем более в учении А. А. Потебни форма не сводима к ее внешнему знаку: ввиду примата содержательной стороны языка «форма есть значение» [Потебня 1958: 63].

Определение природы языка не мыслится без установления причинного и целевого принципов его становления, вследствие чего отрыв внешней лингвистики от внутренней, диахронии от синхронии также недопустим.

В представлении отечественных авторов синтезирующих концепций языкознание должно сосредоточить внимание на явлениях, «свивающихся как волокна в единую нить» [Срезневский 1959: 25], «рассматривать языковые явления в исторической перспективе» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 7], а каждый данный момент «в связи с полным развитием языка» [Там же, I: 70], чтобы стало возможным не только объяснение исследуемых явлений [Потебня 1976: 73; Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 59–60], но и «предсказывание будущего, то есть предсказывание явлений, имеющих воспоследовать когда-нибудь на линии исторического продолжения данного языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 105], ибо «основной вопрос всякого знания — откуда и, насколько можно судить по этому “откуда”, куда мы идем?» [Потебня 1968: 503]. При этом основная задача истории языка, определяемая исходя из триединства мира, человека и языка, — «показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе» [Потебня 1976: 171].

Таким образом, в отечественной лингвистической традиции языкознание мыслится как объяснительная и прогнозирующая когнитивная наука задолго до «когнитивной революции».

Если правы классики языкознания (а они, по-видимому, правы) и «... между устройством языка и успехами в других видах интеллектуальной деятельности существует неоспоримая взаимосвязь» [Гумбольдт 1984: 67], ибо язык есть «тот фундамент, на котором построаются (так в оригинале. — Л. З.) высшие процессы мысли как научного характера, так и художественного» [Потебня 1989: 204], то и исключительные достижения русской художественной мысли, и явная склонность русского научного мышления к синтезу, очевидно, заложены в том «индивидуальном качестве самого языкового строя», с которым В. Гумбольдт связывал совершенство языков [Гумбольдт 1984: 196–197].



Как посредник между миром и человеком «язык должен, следовательно, воспринять двойную природу мира и человека»; и поэтому «...те языки должны быть оценены выше прочих, в которых внешний мир отражается правдиво, живо и полно, движения души — сильно и подвижно, а возможность идеального объединения того и другого в понятия легко достижима» [Гумбольдт 1984: 305]. Подлинное единство объективного и субъективного, чувственного и рационального обеспечивается в случае полноценного синтеза внутренней и внешней формы языка.

О мощи этого синтеза в русском языке свидетельствует реализация таких сущностных и взаимосвязанных свойств языка, как членораздельность и категоризация, т. е. свойств, составляющих также сущность мышления.

Русский язык отличает последовательно проведенная грамматическая категоризация, а именно наличие наряду с несинтаксическими (словообразовательными) категориями с семантической доминантой синтаксических категорий, в том числе со структурной доминантой, последовательно коррелятивных и альтернативных (в определении А. В. Бондарко [Бондарко 1976]). Отсюда четкое формальное различие частей речи и вообще высокая степень формальности русского языка. А, согласно В. Гумбольдту, «...преобладающая формальность языка поднимает мыслительную активность» [Гумбольдт 1984: 343]. Этому способствуют, в частности, решительное преобладание глагола и высокоразвитый гипотаксис. К тому же русский язык располагает богатыми возможностями выражения как объективной, так и субъективной модальности, имеет формальные средства выражения субъективно-оценочных значений. По наблюдениям В. В. Колесова, «в отличие от западноевропейских языков русский обладает большей свободой выражения интеллектуального действия и различных модальностей оценки — но не специальным (модальным) словом, а синтаксическими формулами: *я грущу — я грустен — мне грустно — грустно*. Это не тавтологии и не синонимы, а результаты семантической компрессии, охватывающей все этапы переживания от конкретного ощущения до абстрактной цельности идеи в отрыве от ее носителя» [Колесов 2004: 225].

Благодаря последовательному разграничению лексического и грамматического русскому языку присуща высокая степень членораздельности, завершенность иерархического членения языкового целого и, как следствие, четкое разграничение всех значащих единиц — предложения, слова, морфемы. Поскольку вычленение элементов как внутренней,



так и внешней формы осуществляется в синтетической деятельности на основе согласованности между звуком и мыслью [Гумбольдт 1984: 75], в русском языке не только дифференциальные признаки фонем, но даже аллофонические различия используются для выражения значений. Что еще важнее, согласованность внутренней и внешней формы русского языка ярко раскрывается в категориальной мотивированности означающих и их связи с означаемыми в иерархической структуре языковых знаков [Зубкова 2010]. Категориальная мотивированность означающих может служить дополнительным немаловажным аргументом в пользу выделенной прагматической функции, которая направлена к самому знаку (точнее, к означающему).

Прочность связи внешней и внутренней формы языка, по В. Гумбольдту, ярче всего выражается не в одностороннем господстве рассудка, а в расцвете жизни чувства и фантазии [Гумбольдт 1984: 107]. В русском языке этому благоприятствуют развитое словообразование, его ступенчатый характер, резкое преобладание мотивированных (и полимотивированных) знаков с живой внутренней формой над немотивированными. «Для русского сознания внутренняя форма важна, на ней крепится символ, ею определяются содержательные формы — она структурирует духовность» [Колесов 2004: 76]. Явно обнаруживающаяся символическая природа языкового знака облегчает процессы самовыражения и взаимопонимания разнообразнейших индивидуальностей.

Если к языкам как целостным образованиям приложимы положения Е. Куриловича о том, что «существуют комплексы, которые представляют собой форму неполную, редуцированную по отношению к другим структурам этого же класса» [Курилович 2000: 26]<sup>1</sup>, и что «сокращенные структуры основаны на полных» [Там же: 19], то описание Языка вообще должно основываться на полных структурах, каковыми следует признать «формальные» языки флективного строя с последовательной грамматической категоризацией и завершенным иерархическим членением. И тогда понятно, почему современные представления о внутреннем строе языка в основном выработаны теми славянскими учеными, которые, будучи носителями флективных языков, прежде всего русского, были воспитаны в отечественной лингвистической традиции.

В трудах А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Н. В. Крушевского, Ф. Ф. Фортунатова, Л. В. Щербы, Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсо-

---

<sup>1</sup> Близкая мысль прозвучала и у К. Бюлера [Бюлер 1960: 36].

на, С. О. Карцевского, В. Скалички, Е. Куриловича, Г. П. Мельникова, в частности, были разработаны и развиты:

- теория языкового и внеязычного (мыслительного) содержания (А. А. Потебня)<sup>2</sup>;
- теория последовательного двоякого членения языка–речи на произносимые и «знаменательные» (значащие) единицы (И. А. Бодуэн де Куртенэ), позволившая главе Казанской школы задолго до Л. Ельмслева и Э. Бенвениста фактически выявить уровни структуры языкового целого и иерархические отношения между единицами разных уровней, а также связь обоих членений, в частности вследствие морфологизации и семасиологизации фонетических явлений (по И. А. Бодуэну де Куртенэ), вплоть до глубокого структурного параллелизма, изоморфизма между звуковым и семантическим планами, между выражением и содержанием (Е. Курилович);
- теория фонемы и фонемных признаков, ее альтернатив и функций, в том числе в выражении разных типов языковых значений — лексических в случае семасиологизации и грамматических в случае морфологизации (И. А. Бодуэн де Куртенэ, позднее Л. В. Щерба, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, а также московские и ленинградские фонологи);
- теория морфемы — как минимальной значащей единицы — и ее альтернатив (И. А. Бодуэн де Куртенэ);
- теория морфонологии, в первую очередь теория комбинаторных звуковых изменений морфем и теория звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию (Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. С. Трубецкой);
- учение о грамматической форме слова, разграничившее формы словоизменения и формы словообразования, словоизменительные и словообразовательные морфемы (Ф. Ф. Фортунатов);
- учение о воспроизводимых (селекционных) и производимых (коллекционных) формах (вслед за Г. Паулем Н. В. Крушевский, Г. П. Мельников);
- учение о типах отношений между единицами одного ранга (Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де Куртенэ) и логической классификации оппозиций (Н. С. Трубецкой);

---

<sup>2</sup> Подробно об истории изучения соотношения между языковым и мыслительным содержанием в отечественной грамматической традиции см. [Бондарко 2002: 13–95].

- учение о неравноправности противопоставленных друг другу языковых единиц, в том числе чередующихся друг с другом, об иерархии членов противопоставлений, иерархии позиций (И. А. Бодуэн де Куртенэ), иерархии признаков (Р. О. Якобсон), иерархии функций (Е. Курилович), вылившееся в учение о маркированности — немаркированности противопоставленных единиц (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон);

- учение об относительном характере языковых тождеств и различий, определяющемся «мерою, данную самим языком»: местом и связями формы в составе целого, в схеме (парадигме) форм, в том числе наличием / отсутствием противопоставлений данной формы другим (А. А. Потебня);

- учение о неопределенности языковых единиц (Н. В. Крушевский; возможно, не без влияния В. Гумбольдта), их вариативности и многовидности (И. А. Бодуэн де Куртенэ), подготовившее внедрение в лингвистику общих принципов теории инвариантности — вариантности, которыми, впрочем, оперировал уже И. А. Бодуэн де Куртенэ, различавший, в частности, фонему как фонетический тип, отвлеченность, результат обобщения, очищенный «от положительно данных свойств действительного появления или существования», с одной стороны, и «вариации», «варианты», «модификации», «виды», «разновидности», «видоизменения», «разветвления», «расщепления» фонемы, возникающие в результате приспособления «к условиям сочетания фонем, к условиям фонетического построения слова и к условиям произношения вообще», — с другой;

- теория асимметричного дуализма языковых знаков (А. А. Потебня, С. О. Карцевский, Р. О. Якобсон, В. Скаличка), который пронизывает не только лексику, но во флективных языках и грамматику, обнаруживаясь в скольжении знаков по осям синонимии и омонимии, в явлениях кумуляции, омосемии и симульфиксации, в возможном значимом отсутствии «внешних знаков формы» (по А. А. Потебне), «положительных формальных принадлежностей» (по Ф. Ф. Фортунатову), т. е. в наличии «нулевых морфем» (по И. А. Бодуэну де Куртенэ), а также в открытом А. М. Пешковским принципе замены (компенсации) одних средств другими при передаче грамматических значений;

- учение о зависимости значения языковых единиц от их употребления (А. А. Потебня, Н. В. Крушевский), выражающейся в обратном отношении между объемом (сферой, частотой употребления) и содержанием (Н. В. Крушевский, Е. Курилович);

- учение о сосуществовании в каждом данном языковом состоянии разных хронологических наслоений (вслед за Я. Гриммом А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ);
- учение о действии в языке общих стремлений и черт, проникающих насквозь всю его систему, обуславливающих своеобразный строй и состав данного языка (вслед за Э. Б. де Кондильяком и В. фон Гумбольдтом И. А. Бодуэн де Куртенэ), или, иначе, учение о внутренней детерминанте языка (Г. П. Мельников).

За этими частными учениями вырисовывается некое гармоничное целое, характеризующее особый стиль научного (языковедного) мышления, который явно связан с собственно языковым мышлением исследователей, ибо за перечисленными языковыми свойствами стоит вполне определенный объект, а именно тип языков, отличающихся высокой степенью проявления таких сущностных свойств языка, как членораздельность и грамматическая категоризация. Для большинства названных ученых это в первую очередь русский язык.

В самом деле, условием разграничения языкового и мыслительного содержания является развитая грамматическая категоризация, а значит, регулярное материальное различие лексического и грамматического, так как именно в формальных грамматических значениях языковое содержание явно предстает в качестве формы мыслительного содержания.

Чтобы выделить и противопоставить в языке разные членения и соответствующие сферы (планы), членение в обеих сферах должно быть достаточно глубоким и последовательным. В частности, соотносительные единицы двух членений — минимальная произносительная единица (слог) и минимальная значащая единица (морфема) — не должны постоянно совпадать в своих границах. Двойное членение можно считать вполне сложившимся, а его иерархическую структуру завершённой лишь тогда, когда соотносительные элементы обоих членений обладают известной автономностью, что выражается, в частности, в несовпадении границ значащих единиц (морфных швов) со слогоразделом, в непараллельном (асимметричном) соотношении означаемых с означающими. То и другое имеет место в случае обязательного употребления грамматических форм, когда словоформа является воспроизводимой единицей, т. е. при флективном словоизменении с характерными для него явлениями асимметрии плана содержания и плана выражения.

Обязательное употребление грамматических форм, функциональное и материальное различие знаменательных и служебных

морфем (особенно четкое в случае чистой формальности служебных морфем) если не исключают, то резко ограничивают материальную эквивалентность слова и морфемы, закрепляя их противоположение в иерархии значащих единиц.

Сама необходимость в обобщающем понятии морфемы возникает, во-первых, тогда, когда в языке проводится разграничение разных типов морфем, различающихся своими функционально-семантическими, позиционно-комбинаторными и формальными свойствами, т. е. выделяются знаменательные корни и аффиксы, а среди последних — словообразовательные и словоизменительные форманты, и, во-вторых, тогда, когда указанные единицы, попадая в разные позиционно-комбинаторные условия, обнаруживают выраженную вариативность под влиянием фонетических, морфологических и иных факторов и, соответственно, появляется потребность в разграничении инвариантных сущностей и их отдельных вариантов, особенно если эти варианты получают определенную нагрузку в выражении тех или иных языковых значений. Так как указанная функциональная нагрузка связывается в первую очередь с элементами, отличающими один вариант морфемы от других, это способствует вычленению не только фонемы как подвижного компонента морфемы, но и фонемных признаков как показателей определенных морфологических категорий. Таким образом, иерархическое членение языкового целого приобретает заверченный вид. При развитой грамматической категоризации и четком формальном разграничении лексического и грамматического вычленению фонемы благоприятствуют те случаи, когда фонема выступает «единоличным» экспонентом значащей единицы — служебного слова или морфемы (также по преимуществу служебной).

По свидетельству самого основоположника теории фонемы И. А. Бодуэна де Куртенэ, исходной точкой для развития мыслей о том, как следует рассматривать отношения звуков, послужили его лекции, в особенности по русской грамматике и по латинской фонетике. В них он выдвинул на первый план звуковые чередования и соответствия разных хронологических слоев, сосуществующих в данном состоянии языка, причем основное внимание было сосредоточено на «замене одного звука другим не как звука, но как фонетического компонента морфологической части слова» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 125], т. е. на тех чередованиях, при которых «оттенки и различия антропофонические сопровождаются оттенками и различиями морфологическими» [Там же, I: 119] и которые были названы морфологически подвижными коррелятивами.

Однако такие чередования не универсальны. Для языков «с неподвижными, неделимыми односложными словами, вроде китайского», Бодуэн допускает отсутствие чередований этимологически идентичных звуков (типа *z//ж* в *могу, можешь...*) [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 163]. Отсутствуют психофонетические, морфологически утилизированные альтернативы одних и тех же морфем и в агглютинативных языках [Там же, II: 184]. Поэтому-то, противопоставляя звук (как элемент антропофонического деления речи) фонеме (как подвижному компоненту морфемы и признаку известной морфологической категории) в первоначальном варианте двоякого членения человеческой речи, Бодуэн считает последнее актуальным «по крайней мере в применении к языкам ариоевропейским» [Там же, I: 121].

В последовавших уточнениях двоякого членения Бодуэн подчеркивает, что деление морфем на составные части, также наделенные значением, т. е. фонемы и их признаки, морфологизованные и семантизированные, возможно «по крайней мере в некоторых языках, и то только до некоторой степени и в определенных случаях» [Там же, I: 183]. К числу тех современных индоевропейских языков флективно-фузионного синтетического строя, где морфологизация фонем и их признаков достаточно распространена и регулярна, принадлежат едва ли не в первую очередь русский и польский, послужившие И. А. Бодуэну де Куртенэ и Н. В. Крушевскому основным объектом исследования различных типов альтернатив.

В «грамматических» языках типа русского морфологизация отчетливо выявляет функциональную неравноправность чередующихся фонем, маркированность одних альтернатив и немаркированность других, а так как морфологизованные чередования не объяснимы фонологическими закономерностями данного синхронического состояния языка, ибо являются продуктом предшествующего развития, то в этих чередованиях, в морфонологической вариативности морфем обнаруживается хронологическая неоднородность синхронического состояния, его диалектическая связь с предшествующими состояниями, а следовательно, и единство синхронии и диахронии.

При описании таких языков одновременно с вычленением фонологии осознается потребность в морфонологии как особой дисциплине, изучающей морфологическое использование фонологических средств. В полном объеме она должна включать теорию фонологической структуры морфем, теорию комбинаторных звуковых изменений морфем в морфемных сочетаниях, теорию звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию [Трубецкой 1967]. Необходи-

димось в морфологии особенно актуальна для тех языков с развитой фузионной тенденцией, в которых морфонологические преобразования осуществляются наиболее дифференцированно, по-разному реализуясь в словоизменении и словообразовании и у разных классов слов. Таков, в частности, русский язык [Трубецкой 1987: 67–142].

Явно выраженная уже в морфонологических преобразованиях хронологическая многослойность статики и последовательная грамматическая категоризация предопределяют богатство используемых данным языком формальных средств. Распределение этих средств в разных частях речи, в производных и непроизводных словах разных ступеней мотивированности подчинено определенным закономерностям, выявляющим действие разных морфологических принципов, взаимодополнительное сосуществование разных грамматических тенденций, а следовательно, типологическую неоднородность классов слов и языка в целом.

Несмотря на это, язык оказывается гармоническим целым благодаря детерминантным признакам общей значимости, проникающим весь его строй и обуславливающим его своеобразие. По определению Г. П. Мельникова, внутренней детерминантой русского языка как языка флективного типа является событийный коммуникативный ракурс.

Разумеется, строй русского языка не исчерпывается указанными выше характеристиками, их список нетрудно продолжить. Но даже названные здесь характеристики в их взаимосвязи обнаруживают целостность русского языкового сознания, воздействовавшего на стиль языковедного мышления тех выдающихся ученых, которые разработали основы современных представлений о внутреннем строе языка.

Итак, что касается лингвистики, то очевидно: научный стиль мышления потенциально заложен в языковом сознании, первичном по отношению к теоретическому мышлению. Русский пример в этом аспекте представляется достаточно убедительным. Чтобы окончательно убедиться в том, насколько «...для нас естественна привычка связывать наши идеи сообразно духу языка, в котором мы воспитаны» [Кондильяк 1980: 252], и чтобы глубже понять воздействие типологии языкового мышления на языковедное мышление, необходимо сопоставить эволюцию общей теории языка в сложившихся лингвистических традициях в зависимости от лежащих в их основе конкретных языков — немецкого, французского, английского, русского, арабского, китайского и др.

## ЛИТЕРАТУРА

### Источники

- Арно, Лансло 1990 — *Арно А., Лансло Кл.* Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: Прогресс, 1990.
- Арно и Николь 1991 — *Арно А. и Николь П.* Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991.
- Аристотель 1975 — *Аристотель.* Метафизика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1975.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Блумфилд 1960 — *Блумфилд Л.* Ряд постулатов для науки о языке // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Блумфилд 1968 — *Блумфилд Л.* Язык. М.: Прогресс, 1968.
- Бодуэн де Куртенэ 1917 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Введение в языковедение. 5-е изд. Пг., 1917 (литография).
- Бодуэн де Куртенэ 1963 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I–II. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Брёндаль 1960 — *Брёндаль В.* Структуральная лингвистика // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Бэкон Ф. 1972 — *Бэкон Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1972.
- Бюлер 1960 — *Бюлер К.* Структурная модель языка // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Бюлер 1993 — *Бюлер К.* Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс, 1993.
- Вико 1994 — *Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев: REFL-book-ИСА, 1994.
- Гердер 1959 — *Гердер И. Г.* Избранные сочинения. М.; Л.: Гослитиздат, 1959.
- Гердер 1977 — *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.



- Гийом 1992 — *Гийом Г.* Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс, 1992.
- Гоббс 1964, 1965 — *Гоббс Т.* Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1964; Т. 2. М.: Мысль, 1965.
- Гумбольдт 1984 — *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
- Гумбольдт 1985 — *Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.
- Ельмслев 1960а — *Ельмслев Л.* Метод структурного анализа в лингвистике // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Ельмслев 1960б — *Ельмслев Л.* Понятие управления // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Ельмслев 1960в — *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Ельмслев 1960г — *Ельмслев Л.* Язык и речь // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Карцевский 1965 — *Карцевский С. И.* Об асимметричном дуализме лингвистического знака // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Просвещение, 1965.
- Кондильяк 1980, 1982, 1983 — *Кондильяк Э. Б. де.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1980; Т. 2. М.: Мысль, 1982; Т. 3. М.: Мысль, 1983.
- Кондильяк 2001 — *Кондильяк Э. Б. де.* Грамматика // Французские общие, или философские, грамматики XVIII — начала XIX века. Старинные тексты. М.: Прогресс, 2001.
- Крушевский 1998 — *Крушевский Н. В.* Избранные работы по языкознанию. М.: Наследие, 1998.
- Локк 1985 — *Локк Дж.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1985.
- Март 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 — *Март Н. Я.* Избранные работы: В 5 т. Т. I. Л.: Государственная академия истории материальной культуры, 1933; Т. II. Л.: Государственное социально-экономическое изд-во (ГСЭИ), 1936; Т. III. М.; Л.: ГСЭИ, 1934; Т. IV. Л.: ГСЭИ, 1937; Т. V. М.; Л.: ГСЭИ, 1935.
- Мельников 1978 — *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М.: Сов. радио, 1978.
- Мельников 2003 — *Мельников Г. П.* Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М.: Наука, 2003.
- Остгоф и Бругман 1964 — *Остгоф Г. и Бругман К.* Предисловие к книге «Морфологические исследования в области индоевропейских языков» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.

- Пауль 1960 — *Пауль Г.* Принципы истории языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Платон 1993, 1994 — *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 1, 3, 4. М.: Мысль, 1994; Т. 2. М.: Мысль, 1993.
- ПЛК 1967 — Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Потебня 1958, 1968, 1977 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М.: Учпедгиз, 1958; Т. III. М.: Просвещение, 1968; Т. IV. Вып. II. М.: Просвещение, 1977.
- Потебня 1973 — *Потебня А. А.* Основы поэтики // Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Потебня 1976 — *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976.
- Потебня 1981 — *Потебня А. А.* История русского языка // Потебнянські читання. Київ: Наукова думка, 1981.
- Потебня 1989 — *Потебня А. А.* Психология поэтического и прозаического мышления // *Потебня А. А.* Слово и миф. М.: Правда, 1989.
- Потебня 1990 — *Потебня А. А.* Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990.
- Руссо 1998 — *Руссо Ж. Ж.* Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 1998.
- Руссо 2001 — *Руссо Ж. Ж.* Сочинения. Калининград: Янтарный сказ, 2001.
- Сепир 1993 — *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993.
- Скаличка 1967а — *Скаличка В.* Асимметричный дуализм языковых единиц // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Скаличка 1967б — *Скаличка В.* О грамматике венгерского языка // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Соссюр 1977 — *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Соссюр 1990 — *Соссюр Ф. де.* Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990.
- Тезисы... 1967 — Тезисы Пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Тейяр де Шарден 2002 — *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М.: Изд-во АСТ, 2002.
- Трубецкой 1960 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Трубецкой 1967 — *Трубецкой Н. С.* Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С.* Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987.
- Уорф 1960а — *Уорф Б. Л.* Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Уорф 1960б — *Уорф Б. Л.* Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.

- Уорф 1960в — *Уорф Б. Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Хомский 1965 — *Хомский Н.* Логические основы лингвистической теории // Новое в лингвистике. Вып. IV. М.: Прогресс, 1965.
- Хомский 1972 — *Хомский Н.* Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Хомский 2005 — *Хомский Н.* О природе и языке. М.: КомКнига, 2005.
- Хэррис 1960 — *Хэррис З.* Метод в структуральной лингвистике (раздел «Методологические предпосылки») // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Шлейхер 1864 — *Шлейхер А.* Теория Дарвина в применении к науке о языке. СПб., 1864.
- Шлейхер 1868 — *Шлейхер А.* О значении языка для естественной истории человека // Филологические записки. 1868. Т. V. Вып. 3.
- Шлейхер 1964 — *Шлейхер А.* Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Штейнталь 1964 — *Штейнталь Г.* Грамматика, логика и психология (их принципы и их взаимоотношения) // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Якобсон 1975 — *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975.
- Якобсон 1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Якобсон 1985 — *Якобсон Р. О.* Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.
- Якобсон 1996 — *Якобсон Р. О.* Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996.
- Harris 1951 — *Harris. Z. S.* Methods in Struktural Linguistics. Chicago, 1951.
- Schleicher, 1848, 1850 — *Schleicher A.* Sprachvergleichende Untersuchungen. I. Zur vergleichenden Sprachgeschichte. Bonn, 1848; II. Die Sprachen Europas in systematischen Übersicht. Bonn, 1850.
- Schleicher 1869 — *Schleicher A.* Die deutsche Sprache. Stuttgart, 1869.

### **Труды по истории философии и языкознания; антологии, хрестоматии, энциклопедии**

- Аверинцев 1989а — *Аверинцев С. С.* Логос // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Аверинцев 1989б — *Аверинцев С. С.* Символ // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Аверинцев 1989в — *Аверинцев С. С.* Схоластика // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.

- Алпатов В. М.* История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В.* Очерки по истории лингвистики. М.: Наука, 1975.
- Андреев Н. Д.* Хомский и хомскианство // *Философские основы зарубежных направлений в языкознании*. М.: Наука, 1977.
- Античные теории... 1996 — Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб.: Алетейя, 1996.
- Антология... 1970 — Антология мировой философии: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1970.
- Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Логическое направление // *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Асмус 1975 — *Асмус В. Ф.* Метафизика Аристотеля // *Аристотель*. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1975.
- Бахтин М. М.* Тетралогия. Ч. 3. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 1998.
- Беллетти, Рицци 2005 — *Беллетти А., Рицци Л.* Введение редакторов-составителей: некоторые понятия и темы в лингвистической теории // *Хомский Н.* О природе и языке. М.: КомКнига, 2005.
- Белый 1977 — *Белый В. В.* Американская дескриптивная лингвистика // *Философские основы зарубежных направлений в языкознании*. М.: Наука, 1977.
- Березин Ф. М.* Русское языкознание конца XIX — начала XX в. М.: Наука, 1976.
- Березин Ф. М.* История русского языкознания. М.: Высшая школа, 1979.
- Березин Ф. М.* История лингвистических учений. М.: Высшая школа, 1984.
- Богомолов 1985 — *Богомолов А. С.* Античная философия. М.: Изд-во МГУ, 1985.
- Богуславский В. М.* Этьенн Бонно де Кондильяк. М.: Мысль, 1984.
- Бокадорова 1987 — *Бокадорова Н. Ю.* Французская лингвистическая традиция XVIII — начала XIX века. Структура знания о языке. М.: Наука, 1987.
- Борисенко 1985 — *Борисенко В. В.* Филологический метод античной философии с позиций современной лингвистики (Оппозиция *logos — rhōnē*) // *Античная культура и современная наука*. М.: Наука, 1985.
- Вахек 1964 — *Вахек Й.* Лингвистический словарь Пражской школы. М.: Прогресс, 1964.
- Виноградов В. В. 1963 — *Виноградов В. В.* И. А. Бодуэн де Куртенэ // *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Виноградов В. В.* История русских лингвистических учений. М.: Высшая школа, 1978.
- Гайм Р.* Вильгельм фон Гумбольдт: Описание его жизни и характеристика. М.: Типо-литография В. Рихтер, 1898.

- Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959.
- Грамматические концепции... 1985 — Грамматические концепции в языкознании XIX в. Л.: Наука, 1985.
- Грошева 1985 — Грошева А. В. Грамматические учения западноевропейского средневековья // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л.: Наука, 1985.
- Гулыга А. В. Гердер. М.: Мысль, 1963.
- Гулыга 1986 — Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.: Мысль, 1986.
- Де Мауро 1999 — Де Мауро Т. Примечания // Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999.
- Звегинцев 1964, 1965 — Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964; Ч. II. М.: Просвещение, 1965.
- Зеньковский 1991 — Зеньковский В. В. История русской философии. Т. I. Ч. 1–2. Л.: Эго, 1991.
- Зубкова Л. Г. Лингвистические учения конца XVIII — начала XX в.: Развитие общей теории языка в системных концепциях. М.: Изд-во УДН, 1989.
- Зубкова 1992 — Зубкова Л. Г. Из истории языкознания: Общая теория языка в аспектирующих концепциях. М.: Изд-во РУДН, 1992.
- Зубкова Л. Г. Язык в зеркале знаковых теорий: к определению детерминанты лингвистической концепции Ф. де Соссюра // Вестник РУДН. Сер. «Лингвистика». 1995. № 2.
- Зубкова Л. Г. Знаковая теория языка А. А. Потебни: семантика, прагматика, синтактика // Мовознавство. Третий Міжнародний конгрес українців. Харків: Око, 1996.
- Зубкова Л. Г. К истокам когнитивной парадигмы в отечественной науке: А. А. Потебня // Когнитивная лингвистика конца XX века. Материалы Междунар. науч. конф. В трех частях. Ч. I. Мн.: МГЛУ, 1997а.
- Зубкова Л. Г. Язык и образ мира в общей теории языка: эволюция представлений // Языковая семантика и образ мира. Тезисы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию университета. Кн. 1. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997б.
- Зубкова Л. Г. Язык в зеркале системных знаковых теорий: от Платона и В. фон Гумбольдта к А. А. Потебне // Вестник РУДН. Сер. «Лингвистика». 1999. № 3.
- Зубкова 1999/2003 — Зубкова Л. Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. М.: Изд-во РУДН, 1999/2003.
- Зубкова Л. Г. Эволюция представлений о ментальной основе языковых сходств и различий: от противопоставления рационального и чувственного к единству // Sprache. Kultur. Mensch. Ethnie. Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2002.

- Зубкова 2002/2003а — *Зубкова Л. Г.* Общая теория языка в развитии. М.: Изд-во РУДН, 2002/2003.
- Зубкова 2003б — *Зубкова Л. Г.* О главном лингвистическом труде Г. П. Мельникова // *Мельников Г. П.* Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М.: Наука, 2003.
- Зубкова Л. Г.* Эволюция философско-лингвистических представлений о природе межъязыковых сходств и различий (с античности до конца XVIII в.) // Универсально-типологическое и национально-специфическое в языке и культуре: В 3 ч. Ч. 1. М.: Изд-во РУДН, 2003в.
- История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980.
- История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л.: Наука, 1985.
- История лингвистических учений. Позднее Средневековье. СПб.: Наука, 1991.
- Йордан Й.* Романское языкознание. М.: Прогресс, 1971.
- Кассирер 2002 — *Кассирер Э.* Философия символических форм. Т. I. Язык; Т. II. Мифологическое мышление; Т. III. Феноменология познания. М.; СПб.: Университетская книга, 2002.
- Кацнельсон С. Д.* Вступительная статья // *Пауль Г.* Принципы истории языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Колесов 2003 — *Колесов В. В.* История русского языкознания: Очерки и этюды. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003.
- Кубрякова 1995а — *Кубрякова Е. С.* Смена парадигм знания в лингвистике XX века // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы междунар. конф. Т. I. М.: Изд-во МГУ, 1995.
- Кубрякова Е. С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. М.: РГГУ, 1995б.
- Лебедев 1989а — *Лебедев А. В.* Горгий // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Лебедев 1989б — *Лебедев А. В.* Парменид // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Лебедев 1989в — *Лебедев А. В.* Протагор // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Лейбниц 1983 — *Лейбниц Г. В.* Сочинения в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1983.
- Леонтьев А. А.* Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ // Вопросы языкознания. 1959. № 6.
- Лосев 1978 — *Лосев А. Ф.* Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978.
- Лосев 1982а — *Лосев А. Ф.* Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982.
- Лосев 1982б — *Лосев А. Ф.* Учение о словесной предметности (лектон) в языкознании античных стоиков // *Лосев А. Ф.* Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982.
- Лосев 1988а — *Лосев А. Ф.* Античная философия и общественно-исторические формации. Два очерка // Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988.

- Лосев 1988б — *Лосев А. Ф.* Типы античного мышления // Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988.
- Лосев 1992 — *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. Кн. 1. М.: Искусство, 1992.
- Лосев 1993 — *Лосев А. Ф.* Вводные замечания и статьи в примечаниях // *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
- Лосев 1994а — *Лосев А. Ф.* Жизненный и творческий путь Платона // *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Лосев 1994б — *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. Кн. 2. М.: Искусство, 1994.
- Лосев 1994в — *Лосев А. Ф.* Статьи к диалогам Платона в примечаниях // *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Лосев 1994г — *Лосев А. Ф.* Статьи к диалогам Платона в примечаниях // *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994.
- Лосев, Тахо-Годи 1993 — *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993.
- Лоя Я. В. История лингвистических учений. М.: Высшая школа, 1968.
- ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Малявина Л. А. У истоков языкознания Нового времени (Универсальная грамматика Ф. Санчеса «Минерва» 1587 г.). М.: Наука, 1985.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. Т. I. М.: Русский язык, 1981; Т. II. М.: Русский язык, 1982; Т. III. М.: Русский язык, 1983; Т. IV. М.: Русский язык, 1984.
- Мельников 1986 — *Мельников Г. П.* Системная лингвистика Гумбольдта — Срезневского — Поттебни — Бодуэна и современная системная типология языков // Проблемы типологической, функциональной и описательной лингвистики. М.: Изд-во УДН, 1986.
- Мечковская 2004 — *Мечковская Н. Б.* Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М.: Академия, 2004.
- Мифы народов мира 1997 — Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М.: Большая Российская энциклопедия, 1997.
- Наукова спадщина О. О. Поттебні і сучасна філологія. Київ: Наукова думка, 1985.
- Ольховиков Б. А. Теория языка и вид грамматического описания в истории языкознания. М.: Наука, 1985.
- Основные направления структурализма. М.: Наука, 1964.
- Перельмутер 1980а — *Перельмутер И. А.* Аристотель // История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980.
- Перельмутер 1980б — *Перельмутер И. А.* Философские школы эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980.
- Перельмутер 1991 — *Перельмутер И. А.* Грамматическое учение модистов // История лингвистических учений. Позднее Средневековье. СПб.: Наука, 1991.



- Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века. Л.: Наука, 1984.
- Постовалова В. И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. М.: Наука, 1982.
- Потебнянські читання. Київ: Наукова думка, 1981.
- Психолінгвістика в очерках и извлечениях / Авт.-сост. В. К. Радзиховская, А. П. Кирьянов, Т. А. Пекишева и др.; под общ. ред. В. К. Радзиховской. М.: Издательский центр «Академия», 2003.
- Радищев 1973 — *Радищев А. Н.* О человеке, о его смертности и бессмертии // Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Рамишвили 1984 — *Рамишвили Г. В.* Вильгельм фон Гумбольдт — основоположник теоретического языкознания // *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
- Реферовская 1985 — *Реферовская Е. А.* «Спор» реалистов и номиналистов // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л.: Наука, 1985.
- Реферовская 1996 — *Реферовская Е. А.* Философия языка и грамматические теории во Франции (из истории лингвистики). СПб.: Петербург — XXI век, 1996.
- Реферовская Е. А.* Философия лингвистики Гюстава Гийома. СПб.: Академический проект, 1997.
- РЯЭ 1997 — Русский язык. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997.
- Скаличка 1960 — *Скаличка В.* Копенгагенский структурализм и «Пражская школа» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Скрелина 1992 — *Скрелина Л. М.* Послесловие. Комментарии // *Гийом Г.* Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс, 1992.
- Слюсарева 1975 — *Слюсарева Н. А.* Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М.: Наука, 1975.
- Степанов 1974 — *Степанов Ю. С.* Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований. Вступительная статья // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Степанов Ю. С.* Пор-Рояль в европейской культуре // *Арно А., Лансло Кл.* Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: Прогресс, 1990.
- Субботин 1991 — *Субботин А. Л.* «Логика Пор-Рояля» и ее место в истории логики // *Арно А. и Николь П.* Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991.
- СЭС 1981 — Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1981.
- Тахо-Годи 1993 — *Тахо-Годи А. А.* Примечания к диалогу «Софист» // *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993.



- Тахо-Годи 1994 — *Тахо-Годи А. А.* Примечания к диалогу «Менон» // *Платон*. Собрание сочинений в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Томсен В.* История языковедения до конца XIX в. М.: Учпедгиз, 1938.
- Трнка и др. 1960 — *Трнка Б. и др.* К дискуссии по вопросам структурализма // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Троцкий 1996 — *Троцкий И. М.* Проблемы языка в античной науке // *Античные теории языка и стиля (антология текстов)*. СПб.: Алетейя, 1996.
- Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977.
- Французские общие, или философские, грамматики XVIII — начала XIX века. Старинные тексты / Сост. Н. Ю. Бокадорова. М.: Прогресс, 2001.
- Фриз 1965 — *Фриз Ч.* «Школа Блумфилда» // *Новое в лингвистике*. Вып. IV. М.: Прогресс, 1965.
- ФЭС 1989 — *Философский энциклопедический словарь*. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Холодович А. А.* Ф. де Соссюр. Жизнь и труды // *Соссюр Ф. де*. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977а.
- Холодович 1977б* — *Холодович А. А.* О «Курсе общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра // *Соссюр Ф. де*. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Хэмп 1964 — *Хэмп Э.* Словарь американской лингвистической терминологии. М.: Прогресс, 1964.
- Чернышевский 1973 — *Чернышевский Н. Г.* Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории // *Хрестоматия по истории русского языкознания* / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Чикобава А. С.* Проблема языка как предмета языкознания. М.: Учпедгиз, 1959.
- Шарадзенидзе Т. С.* Лингвистическая теория И. А. Бодуэна де Куртенэ и ее место в языкознании XIX–XX вв. М.: Наука, 1980.
- Эдельштейн 1985 — *Эдельштейн Ю. М.* Проблемы языка в памятниках патристики // *История лингвистических учений. Средневековая Европа*. Л.: Наука, 1985.
- Якобсон Р.* Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами // *Новое в лингвистике*. Вып. IV. М.: Прогресс, 1965.
- Ярошевский М. Г.* Понятие внутренней формы слова у А. А. Потебни // *Известия АН СССР: Сер. литературы и языка*. Т. 5. Вып. 5. 1946.
- Ярошевский М. Г.* Философско-психологические воззрения А. А. Потебни // *Известия АН СССР: Сер. истории и философии*. Т. III. № 2. 1946.

- Aarsleff 1982 — *Aarsleff H.* From Locke to Saussure: Essays on the study of language and intellectual history. London: Athlone, 1982.
- Arens 1974 — *Arens H.* Sprachwissenschaft: Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. Bd 1. Von der Antike bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Bd 2. Das 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, 1974.

### **Труды по рассматриваемым проблемам теории языка**

- Аванесов 1956 — *Аванесов Р. И.* Фонетика современного русского литературного языка. М.: Изд-во МГУ, 1956.
- Автономова 1988 — *Автономова Н. С.* Рассудок. Разум. Рациональность. М.: Наука, 1988
- Ажеж Кл.* Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Айюб 2001 — *Айюб Рима Сабе.* Двойное членение частей речи в языках с развитым морфологическим строем (на материале арабского и русского языков): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
- Алпатов 1985 — *Алпатов В. М.* Об уточнении понятий «флективный язык» и «агглютинативный язык» // Лингвистическая типология. М.: Наука, 1985.
- Алпатов 1993 — *Алпатов В. М.* Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. 1993. № 3.
- Аминова 1995 — *Аминова А. А.* Внутриглагольная деривация в русском и татарском языках (сопоставительный аспект): Дис. ... д-ра филол. наук в форме науч. докл. М., 1995.
- Антипов 2001 — *Антипов А. Г.* Словообразование и фонология: словообразовательная мотивированность звуковой формы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.
- Араева 1994 — *Араева Л. А.* Словообразовательный тип как семантическая микросистема. Суффиксальные субстантивы. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994.
- Арутюнова 1998 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Арутюнова 2005 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М.: Едиториал УРСС, 2005.
- Арутюнова и др. 1964 — *Арутюнова Н. Д., Климов Г. А., Кубрякова Е. С.* Американский структурализм // Основные направления структурализма. М.: Наука, 1964.
- Бабайцева 2000 — *Бабайцева В. В.* Явления переходности в грамматике русского языка. М.: Дрофа, 2000.
- Бабайцева 2004 — *Бабайцева В. В.* Система односоставных предложений в современном русском языке. М.: Дрофа, 2004.

- Бабенко и др. 2000 — *Бабенко Л. Г., Васильев И. Е., Казарин Ю. В.* Лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000.
- Бада 1992 — *Бада М. Д.* Соотношение звуковых и значащих единиц в языках с различным морфологическим строем: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1992.
- Балли 1955 — *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955.
- Белый 1910 — *Белый А.* Символизм. М.: Мусагет, 1910.
- Блинова 2007 — *Блинова О. И.* Мотивология и ее аспекты. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007.
- Бондарко 1975 — *Бондарко А. В.* Классификация морфологических категорий // Типология грамматических категорий (Мещаниновские чтения). М.: Наука, 1975
- Бондарко 1976 — *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. Л.: Наука, 1976.
- Бондарко 2002 — *Бондарко А. В.* Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Буслаев 1959 — *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М.: Учпедгиз, 1959.
- Быстров и др. 1975 — *Быстров И. С., Нгуен Тай Кан, Станкевич Н. В.* Грамматика вьетнамского языка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1975.
- Ван Гуйпин 2003 — *Ван Гуйпин.* Ритмическая организация художественного прозаического текста в русском и китайском языках: Дис. ... магистра филол. наук, РУДН. М., 2003.
- Вахек Й.* Пражские фонологические исследования сегодня // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Ващекина 1995 — *Ващекина Т. В.* Алломорфное варьирование корня в словообразовательной цепи: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.
- Вежбицкая 1999 — *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Винарская Е. Н.* Сознание человека (Взгляд с научного перекрестка). М.: Изд-во МГИУ, 2007.
- Винарская Е. Н., Лепская Н. И., Богомазов Г. М.* Правила слогаделения и слоговые модели (на материале детской речи) // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М.: Изд-во МГУ, 1977.
- Виноградов В. А. 1966 — *Виноградов В. А.* Сингармонизм и фонология слова: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1966.
- Виноградов В. В. 1946 — *Виноградов В. В.* Из истории слова *личность* в русском языке до середины XIX в. // Доклады и сообщения филологического факультета. Вып. 1. М.: Изд-во МГУ, 1946.
- Виноградов В. В. 1972 — *Виноградов В. В.* Русский язык (грамматическое учение о слове). М.: Высшая школа, 1972.

- Выготский Л. С.* Мышление и речь. Психологические исследования. М.: Лабиринт, 1996.
- Высоцкая 2006 — *Высоцкая И. В.* Синкретизм в системе частей речи современного русского языка. М.: МПГУ, 2006.
- Гак 1998 — *Гак В. Г.* Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Гумилев 2002 — *Гумилев Л. Н.* Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2002.
- Дмитриев 1960 — *Дмитриев Н. К.* Турецкий язык. М.: Изд-во восточной литературы, 1960.
- Драгунов 1952 — *Драгунов А. А.* Исследования по грамматике современного китайского языка. I. Части речи. М.: Изд-во АН СССР, 1952.
- Донских О. А.* Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск: Наука, 1984.
- Зиндер 1979 — *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. М.: Высшая школа, 1979.
- Зубкова Л. Г.* К характеристике морфемных стыков в индонезийском языке // Народы Азии и Африки. 1971. № 6.
- Зубкова 1974 — *Зубкова Л. Г.* Фонетическая реализация консонантных противоположений в русском языке. М.: Изд-во УДН, 1974.
- Зубкова 1978а — *Зубкова Л. Г.* Звуковая форма частей речи // Народы Азии и Африки. 1978. № 1.
- Зубкова 1978б — *Зубкова Л. Г.* Сегментная организация простого слова в языках различных типов: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1978.
- Зубкова 1984а — *Зубкова Л. Г.* Морфемно-слоговая корреляция в акцентной структуре имени и глагола в русском языке // Экспериментально-фонетический анализ речи. Проблемы и методы. Вып. I: Изд-во ЛГУ, 1984.
- Зубкова 1984б — *Зубкова Л. Г.* Системная мотивированность звуковой формы языка // Фонология и просодия слова. М.: Изд-во УДН, 1984.
- Зубкова 1984в — *Зубкова Л. Г.* Части речи в фонетическом и морфонологическом освещении. М.: Изд-во УДН, 1984.
- Зубкова 1986 — *Зубкова Л. Г.* О соотношении звучания и значения слова в системе языка (К проблеме «произвольности» языкового знака) // Вопросы языкознания. 1986. № 5.
- Зубкова 1988а — *Зубкова Л. Г.* Единство внутреннего и внешнего в звуковой форме слова // Филологические науки. 1988. № 5.
- Зубкова Л. Г.* Звуковая форма значащих единиц языка и структурные характеристики фонем (К вопросу об актуальных задачах фонологии) // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и языка. Т. 47. 1988б. № 4.
- Зубкова Л. Г.* Соотношение звуковых единиц со значащими в типологическом аспекте (Ономасиологический и семасиологический подходы в фонологии) // Вопросы языкознания. 1988в. № 3.
- Зубкова 1989 — *Зубкова Л. Г.* Акцентуация слова как единство внутренней и внешней формы // Межуровневые связи в системе языка. М.: Изд-во РУДН, 1989.

- Зубкова 1990 — *Зубкова Л. Г.* Фонологическая типология слова. М.: Изд-во РУДН, 1990.
- Зубкова 1991a — *Зубкова Л. Г.* Словесное ударение в характерологическом, конститутивном и парадигматическом аспектах // Вопросы языкознания. 1991. № 3.
- Зубкова 1991б — *Зубкова Л. Г.* Ступени словообразования как макропарадигмы, их взаимосвязь и специфика // Русская словообразовательная синтагматика и парадигматика. Краснодар: Кубанский ун-т, 1991.
- Зубкова 1993 — *Зубкова Л. Г.* Симметрия и асимметрия языковых знаков // Проблемы фонетики, I. М.: Прометей, 1993.
- Зубкова 1996 — *Зубкова Л. Г.* Фонетика и семантика в семасиологическом и ономасиологическом аспектах: формы корреляции между фонетическими и семантическими различиями в зависимости от типа семантических отношений // Тезисы II Международного симпозиума МАПРЯЛ «Фонетика в системе языка». М.: Уникум-Центр, 1996.
- Зубкова 1997в — *Зубкова Л. Г.* К типологии просодических средств различения значений слова в русском языке // *Vocabulum et Vocabularium*. Вып. 4. Харьков: Харьковское лексикографическое общество, 1997.
- Зубкова Л. Г.* Межуровневые связи и звуковая форма значащих единиц в количественной типологии // Свет памяти: Сб. научн. статей и библиографических материалов памяти П. С. Кузнецова. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003.
- Зубкова 2004 — *Зубкова Л. Г.* Соотношение морфемного и слогового членения слова и функциональная значимость слогоделения в языках различных типов // Грамматические категории и единицы. Владимир: ВГПУ, 2004.
- Зубкова 2010 — *Зубкова Л. Г.* Принцип знака в системе языка. М.: Языки славянской культуры, 2010.
- Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г.* Двойное означивание и категориальная идентификация словесного знака в типологическом аспекте // Культура народов Причерноморья. Т. 1. 2008. № 142.
- Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г. 2009 — *Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г.* Реальность принципа знака как отражение реальной целостности языковой системы // Культура народов Причерноморья. Т. 1. 2009. № 168.
- Иванова 2008 — *Иванова А. Г.* Типологическая характеристика классов слов в аспекте морфологического и фонетического членения (на материале английского, бурятского и китайского языков): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2008.
- Каплун 1970 — *Каплун М. И.* Интонационная дифференциация предикативной и атрибутивной (определительной) связи в современном русском языке (экспериментальное исследование на материале двусловных синтаксических конструкций): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1970.

- Караваева 2008 — *Караваева Е. М.* Акцентуация глагольных синонимических рядов в разных лексико-семантических полях // Культура народов Причерноморья. Т. 1. 2008. № 142.
- Караулов 1987 — *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.
- Касевич 1988 — *Касевич В. Б.* Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: Наука, 1988.
- Катъшев П. А.* Полимотивация и смысловая многомерность словообразовательной формы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006.
- Кацнельсон 1972 — *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972.
- Кацнельсон С. Д.* Лингвистическая типология // Вопросы языкознания. 1983. № 3, 4.
- Кацнельсон С. Д.* Общее и типологическое языкознание. Л.: Наука, 1986.
- Кацнельсон 2001 — *Кацнельсон С. Д.* Категории языка и мышления: Из научного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Климов 1983 — *Климов Г. А.* Принципы континентальной типологии. М.: Наука, 1983.
- Колесов 2004 — *Колесов В. В.* Язык и ментальность. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004.
- Корбут 2004 — *Корбут А. Ю.* Текстосимметрия. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. пед. ун-та, 2004.
- Коротков 1968 — *Коротков Н. Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М.: Наука, 1968.
- Кубрякова 2004 — *Кубрякова Е. С.* Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Курилович 2000 — *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. Биробиджан: Трибуна, 2000.
- Лиханов 2010 — *Лиханов А.* Между молотом и наковальней: Интервью // Завтра. 2010. № 37 (878).
- Лосев 1989а — *Лосев А. Ф.* В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М.: Наука, 1989.
- Лосев 1989б — *Лосев А. Ф.* Об интеллигентности // Сов. культура. 1 января. 1989.
- Маслов Ю. С.* Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1987.
- Матезиус 1967 — *Матезиус В.* О потенциальности языковых явлений // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Мельников 1968 — *Мельников Г. П.* Системный анализ причин своеобразия семитского консонантизма. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1968.
- Мельников 1971 — *Мельников Г. П.* О типах дуализмов языкового знака // Филологические науки. 1971. № 5.

- Мельников 1977 — *Мельников Г. П.* Язык и речь с позиций системной лингвистики // Язык и речь. Тбилиси: Мецниереба, 1977.
- Мельников 1989 — *Мельников Г. П.* Принципы и методы системной типологии языков: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1989.
- Мельников 2000 — *Мельников Г. П.* Системная типология языков: Синтез морфологической классификации языков со стадильной. М.: Изд-во РУДН, 2000.
- Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. I. Москва; Вена: Языки русской культуры, Венский славистический альманах, ИГ «Прогресс», 1997.
- Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. V. Москва; Вена: Языки славянских культур, Венский славистический альманах, 2006.
- Моррис 1983 — *Моррис Ч. У.* Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Москвичева 2001 — *Москвичева С. А.* Формальная дифференциация лексико-семантических вариантов слова в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
- Налимов 1974 — *Налимов В. В.* Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1974.
- Николаева 1977 — *Николаева Т. М.* Фразовая интонация славянских языков. М.: Наука, 1977.
- Новиков 1982 — *Новиков Л. А.* Семантика русского языка. М.: Высшая школа, 1982.
- Общее языкознание 1970 — Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. М.: Наука, 1970.
- Общее языкознание: Внутренняя структура языка. М.: Наука, 1972.
- Палеева 1988 — *Палеева Т. И.* Акцентная структура словообразовательных цепей: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
- Пандох 1990 — *Пандох А.* Семантика и акцентуация субстантивных антонимов: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Петрянкина 1988 — *Петрянкина В. И.* Функционально-семантический аспект интонации. М.: Изд-во УДН, 1988.
- Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М.: Учпедгиз, 1956.
- Пирс 1983 — *Пирс Ч. С.* Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa» // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Пирс 2000 — *Пирс Ч. С.* Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000.
- Попова 1990 — *Попова Е. Н.* Соотношение морфемы и слога в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Реформатский 1967 — *Реформатский А. А.* Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967.
- Реформатский 1987 — *Реформатский А. А.* Принципы синхронного описания языка // *Реформатский А. А.* Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1987.



- Рудяков 2001 — *Рудяков А. Н.* Функция и функциональные качества естественного языка, или Почему люди говорят // Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть: Материалы конф. Ялта, 1–6 октября, 2001. Симферополь: Изд-во «Крым-Фарм-Трейдинг», 2001.
- Румянцев 1972 — *Румянцев М. К.* Тон и интонация в современном китайском языке. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Румянцев М. К.* К проблеме слогофонемы // Вестник МГУ. Сер. «Востоковедение». 1978. № 2.
- Румянцев 1990 — *Румянцев М. К.* Машинное моделирование единиц речи. М.: Изд-во МГУ, 1990.
- Русская грамматика 1980 — Русская грамматика: В 2 т. Т. I. М.: Наука, 1980.
- Саргсян 2012 — *Саргсян (Саркисян) Л. В.* Категориальная мотивированность звуковой формы слова. Ереван: Изд-во ЕГУ, 2012.
- Саркисян 2001 — *Саркисян Л. В.* Морфемное строение и звуковая форма английского и армянского слова в категориальном аспекте: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
- Светозарова 1982 — *Светозарова Н. Д.* Интонационная система русского языка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
- Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Серебрянников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука, 1983.
- Скалозуб Л. Г.* Динамика звукообразования. Киев: Вища школа, 1979.
- Скорикова 1995 — *Скорикова Т. П.* Акцентогенные свойства слова (на материале устной научной речи): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 1995.
- Солнцев 1963 — *Солнцев В. М.* К вопросу о приложимости общеграмматических терминов к анализу китайского слова // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Солнцев 1971 — *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М.: Наука, 1971.
- Солнцев 1995 — *Солнцев В. М.* Введение в теорию изолирующих языков. М.: Наука, 1995.
- Солнцева Н. В.* Проблемы типологии изолирующих языков. М.: Наука, 1985.
- Соломоник А.* Язык как знаковая система. М.: Наука, 1992.
- Спешнев 1980 — *Спешнев Н. А.* Фонетика китайского языка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
- Срезневский 1959 — *Срезневский И. И.* Мысли об истории русского языка. М.: Учпедгиз, 1959.
- Стеблин-Каменский 1971 — *Стеблин-Каменский М. И.* Мир саги. Л.: Наука, 1971.



- Степанов 1975 — *Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания. М.: Просвещение, 1975.
- Степанов 1981 — *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). М.: Наука, 1981.
- Степанов 1983 — *Степанов Ю. С.* В мире семиотики // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Степанов 1985 — *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка (Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства). М.: Наука, 1985.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997.
- Тань Аошунан.* Проблемы скрытой грамматики: Синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Теньер 1988 — *Теньер Л.* Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988.
- Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М.: Наука, 1989.
- Тюркские языки 1966 — Тюркские языки // Языки народов СССР: В 5 т. Т. II. М.: Наука, 1966.
- Уфимцева 1974 — *Уфимцева А. А.* Типы словесных знаков. М.: Наука, 1974.
- Уфимцева 1990 — *Уфимцева А. А.* Знак языковой // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Федюнина 1987 — *Федюнина И. А.* Акцентуация синонимических рядов имен существительных в русском языке (к проблеме корреляции звучания и значения в слове): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.
- Флоренский 1990 — *Флоренский П. А.* Т. 2. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990.
- Фортунатов 1956 — *Фортунатов Ф. Ф.* Избранные труды: В 2 т. Т. 1. М.: Учпедгиз, 1956.
- Черемисина Н. В.* Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. М.: Русский язык, 1982.
- Черемисина-Ениколопова 1999 — *Черемисина-Ениколопова Н. В.* Законы и правила русской интонации. М.: Флинта / Наука, 1999.
- Чертов Л. Ф.* Знаковость. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993.
- Шарадзенидзе Т. С.* Проблема взаимоотношения языка и речи // Язык и речь. Тбилиси: Мецниереба, 1977.
- Шарма 1990 — *Шарма С.* Распределение и акцентуация глагольных антонимов в фокусе межуровневых связей: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Шкарбан 1995 — *Шкарбан Л. И.* Грамматический строй тагальского языка. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995.

- Шпет Г. Г.* Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольдта). М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Штейнталь Г., Лацарус М.* Мысли о народной психологии. Воронеж, 1865.
- Щерба 1957 — *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957.
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.
- Щерба 1983 — *Щерба Л. В.* Русские гласные в качественном и количественном отношении. Л.: Наука, 1983.
- Яacobсон 1963 — *Яacobсон Р. О.* Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в лингвистике. Вып. III. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.
- Якушкин Б. В.* Гипотезы о происхождении языка. М.: Наука, 1984.
- Geach 1968 — *Geach P. Th.* Reference and generality. Ithaca; N. Y., 1968.
- Jacobson R.* К характеристике евразийского языкового союза // *Jacobson R.* Selected writings. Vol. 2. P., 1971.
- Jacobson R. and Waugh L.* The sound shape of language. Brighton: Harvester Press, 1979.
- Milewski T.* Językoznawstwo. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1967.
- Milewski 1969 — *Milewski T.* Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1969.
- Pulgram 1970 — *Pulgram E.* Syllable, word, nexus, cursus. The Hague; P., 1970.
- Pulgram 1975 — *Pulgram E.* Latin-Romance phonology: prosodics and metrics. München, 1975.
- Trubetzkoy N.* Das Morphonologische System der Russischen Sprache // TCLP. 5<sub>2</sub>. 1934.
- Vachek J.* Selected writings in English and general linguistics. Prague, 1976.
- Zipf G. K.* The psycho-biology of language: an introduction to dynamic philology. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press, 1968.
- Zubkova 1997 — *Zubkova L. G.* The typological determinant and sound structure of language // Typology: prototypes, item orderings and universals. Proceedings of LP'96. Acta Universitatis Carolinae 1996; Philologica. Prague: Charles University Press, 1997.

*Научное издание*

***Людмила Георгиевна Зубкова***

## ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЯЗЫКЕ

Корректоры Г. Эрли, О. Круподер  
Оригинал-макет подготовлен Е. Морозовой  
Художественное оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 01.04.2015. Формат 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.  
Усл. печ. л. 47,5. Тираж 500. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры»  
№ госрегистрации 1037739118449.  
Phone: 8 (495) 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com  
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».  
Тел.: +7 (499) 255-77-57, e-mail: [gnoxis@pochta.ru](mailto:gnoxis@pochta.ru)  
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).  
Адрес: Москва, Турчанинов пер., д. 4

## **В нашем издательстве вышли следующие книги:**

**Язык и мысль: Современная когнитивная лингвистика** / Сост. А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев; ред. А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев, А. В. Кравченко, Ю. В. Мазурова, О. В. Федорова. — М.: Языки славянской культуры, 2015. — 848 с., ил. — (Вклейка после с. 368). — (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Международный коллектив авторов сборника, впервые собравшийся в таком составе, представляет панораму современной когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика понимается максимально широко — как исследование любого аспекта языка в связи с познавательными процессами человека. Сборник состоит из трех разделов. В статьях первого раздела обсуждается общая архитектура языка в когнитивной перспективе. Два последующих раздела посвящены двум основным режимам существования языка — язык как хранилище и язык как коммуникативный процесс. Книга будет полезна не только специалистам — лингвистам, психологам, исследователям в области искусственного интеллекта, — но и широкому кругу читателей, интересующихся строением языка, его эволюцией, процессами познания, мышления и речевой коммуникации.

**Фитч У. Т. Эволюция языка** / Пер. с англ. и науч. ред. Е. Н. Панова; послесл. Е. Н. Панова; послесл. А. Д. Кошелева. — М.: Языки славянской культуры, 2013. — 768 с. — (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

Книга представляет собой введение в междисциплинарное изучение эволюции языка. В последние десятилетия над данной проблемой работают лингвисты, антропологи, нейробиологи, генетики, эволюционные биологи и ученые других специальностей. Многие крупные достижения, полученные в этой области учеными разного профиля, обобщены в этой книге в единую систему объяснений в рамках предлагаемого автором направления, которое он обозначает как «биолингвистику».

Вместе с тем, по словам автора, книга не претендует на разрешение имеющихся противоречий и не дает окончательных ответов на наиболее важные вопросы. В ней дан обзор всех существующих гипотез и изложены разнообразные сведения, необходимые для дальнейшего синтеза имеющихся знаний. Окончательное заключение, к которому ведет текст книги, состоит в том, что ни одна из предлагавшихся моделей, взятая сама по себе, не в состоянии дать законченного объяснения эволюции языка и только взвешенное объединение позитивных идей, взятых из нескольких сценариев, может послужить основой успешной теории.

Книга будет интересна читателям самого широкого круга — от специалистов различных когнитивных дисциплин до студентов и старших школьников.

**Баранов А. Н. Дескрипторная теория метафоры.** — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 632 с. — (Studia philologica).

В книге излагаются положения дескрипторной теории метафоры, в основе которой лежит когнитивная теория процессов метафоризации. Метафора описывается как совокупность двух типов дескрипторов: сигнификативных и денотативных. Исследование частоты использования дескрипторов указанных типов позволяет создавать модели функционирования метафоры в дискурсе. Основная направленность дескрипторной теории заключается в том, чтобы создать формализованный аппарат для описания и инвентаризации метафор отдельных дискурсов или их замкнутых фрагментов. При этом широко используются компьютерные методы обработки языковых данных.

В книге описывается как концептуальный аппарат дескрипторной теории метафоры, так и примеры его реального использования в области политической лингвистики и при изучении метафоры ограниченных по объему дискурсов. В частности, приводятся примеры применения вводимого инструментария для описания понятий коррупции, бизнеса и власти. Отдельная часть книги посвящена проекту по сравнительному описанию русской (период перестройки) и немецкой (эпоха объединения ГДР и ФРГ — Wende Periode) политической метафоры. В качестве примера исследования метафоры ограниченных по объему дискурсов приводится анализ метафор Евангелий и художественных текстов А. Платонова. В приложении даны примеры нескольких важных статей словаря политических метафор, не вошедших в ранее опубликованные словари.

**Федорова О. В. Экспериментальный анализ дискурса.** — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 512 с.

Монография представляет собой описание нового, еще только формирующегося направления лингвистики — экспериментального анализа дискурса. Основная цель исследований, легших в основу данной книги, состояла в выработке, экспериментальной проверке и теоретическом обосновании методологии этого нового направления. Трехчастная цель определила структуру книги: первая часть содержит четыре главы, каждая из которых посвящена одному из основополагающих аспектов методологии; вторая часть состоит из трех глав, описывающих собственные эмпирические исследования автора; наконец, третья часть рассматривает наиболее актуальный теоретический вопрос в области экспериментального дискурса, а именно, моделирование взаимодействия собеседников в процессе диалога.

Монография адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами экспериментальной лингвистики, дискурсивных исследований, корпусного изучения устной речи, а также когнитивной психологии.

**Панов М. В. Лингвистика и преподавание русского языка в школе.** — М.: Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2014. — 272 с.; ил.

Книга представляет собой расшифровку записанного на магнитную пленку спецкурса. М. В. Панов (1920—2001), крупнейший ученый современности, излагает теорию Московской лингвистической (фортунаговской) школы на всех ее уровнях: лексика, фонетика, морфология, синтаксис — и показывает, как эту теорию можно интересно и доступно преподавать школьникам. Автор

восстанавливает сотрудничество лингвистической науки и школы, плодотворно развивавшееся в первой трети XX в. трудами его учителей и предшественников: Ф. Ф. Фортунатова, Д. Н. Ушакова, М. Н. Петерсона, А. М. Пешковского, Р. И. Аванесова, В. Н. Сидорова, А. Б. Шапира и др., показывает пути преодоления традиционного разлада школьной и научной грамматики. Заканчивает курс лекция, посвященная анализу стихотворных текстов. Книга может представлять интерес для студентов, школьных учителей, преподавателей высших учебных заведений, для ученых-лингвистов.

**Зализняк А. А. Древнерусское ударение: Общие сведения и словарь.** — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 728 с.

Книга включает очерк древнерусской акцентной системы и акцентологический словарь древнерусского и старовеликорусского языка (XIV—XVII вв.), содержащий около 12100 статей. Словарь построен на обследовании около 120 древнерусских и старовеликорусских письменных памятников указанных веков. Книга относится к тому отделу исторической русистики, который разработан еще совершенно недостаточно и в общих курсах истории русского языка либо вообще отсутствует, либо представлен лишь беглыми (и часто неточными) замечаниями. Она призвана помочь в устранении этого «белого пятна» в комплексе знаний об истории русского языка.

Издание предназначено как для специалистов (лингвистов, литературоведов, историков), так и для всех интересующихся историей русских слов и их ударения.

**Активный словарь русского языка / В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. А. Лопухина, А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д. Апресян.** — М.: Языки славянской культуры, 2014. — Т. 1. — 408 с.

**Активный словарь русского языка / В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. А. Лопухина, А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д. Апресян.** — М.: Языки славянской культуры, 2014. — Т. 2. — 736 с.

Активный словарь русского языка разрабатывался с опорой на важнейшие достижения отечественной и европейской лексикографии и с учетом результатов современной теоретической лингвистики во всех важных для лексикографии областях. Словарь ставит своей целью сообщение такого объема сведений о каждом включенном в него слове в каждом из фиксируемых в словаре значений, которые необходимы не только для понимания этого слова в произвольном контексте, но и для его правильного использования в собственной речи говорящих. Он содержит полную информацию о следующих свойствах слова: а) его грамматических формах; б) его специфической просодии — в тех редких случаях, когда такая специфика имеет место; в) его значениях в форме развернутых аналитических толкований; г) закономерных видоизменениях лексических значений и значений грамматических форм в определенных контекстуальных условиях; д) управлении и вариантах управления в данном лексическом значении, если они возможны; е) специфичных для слова в данном

значении синтаксических конструкциях; ж) лексико-семантической сочетаемости слова в данном значении; з) прагматических условиях его употребления; и) его «лексическом мире» (синонимах, аналогах, антонимах, дериватах и других семантически связанных с ним словах). Каждая такая словарная статья снабжена обширными иллюстрациями из «Национального корпуса русского языка».

Предлагаемый словарь адресован самой широкой аудитории, профессионально или практически имеющей дело с русским языком, – от школьных учителей, редакторов, переводчиков до рядового носителя языка, который хочет правильно говорить по-русски.

**Толковый словарь русской разговорной речи. Вып. 1: А—И** / Авторы-составители: М. Я. Гловинская, Е. И. Голанова, О. П. Ермакова, А. В. Занадворова, Е. В. Какорина, [М. В. Китайгородская], Л. П. Крысин, С. М. Кузьмина, И. В. Нечаева, А. Р. Пестова, Н. Н. Розанова, Р. И. Розина; отв. ред. Л. П. Крысин. — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 776 с.

В словаре содержится описание лексики современной русской разговорной речи. Словарь имеет экспериментальный характер и не является нормативным. Задачей составителей было с возможной полнотой отразить в словарной форме семантические, грамматические, сочетаемостные, стилистические свойства разговорной лексики, а также особенности ее использования в разных ситуациях неформального, заранее не подготовленного спонтанного общения. Материалом для словаря послужили записи устной русской речи второй половины XX — начала XXI в., современная публицистика, пресса, теле- и радиопередачи, киносценарии, разные жанры интернет-общения (блоги, форумы, чаты и т. п.).

В первом выпуске содержится примерно 3200 словарных статей.

Издание рассчитано в первую очередь на лексикографов и на специалистов в области изучения русской разговорной речи, а также на представителей иных лингвистических специальностей. Словарь может быть полезен и тем носителям языка, кто, не будучи связан со словом профессионально, интересуется проблемами русского языка, его развитием и современным состоянием.

**Топоров В. Н. Мифология: Статьи для мифологических энциклопедий. Т. 1** / Ред.-сост. А. Григорян. — М.: Языки славянской культуры: Знак, 2014. — 600 с. — *(Вклейка после с. 272.)*

**Топоров В. Н. Мифология: Статьи для мифологических энциклопедий. Т. 2** / Ред.-сост. А. Григорян. — М.: Языки славянской культуры, 2014. — 536 с. — *(Вклейка после с. 336.)*

В издание включены статьи, написанные для энциклопедий «Мифы народов мира», «Славянская мифология» и др. Многие статьи, печатавшиеся ранее в сокращении, даны в полной авторской редакции. Ряд статей публикуется впервые.